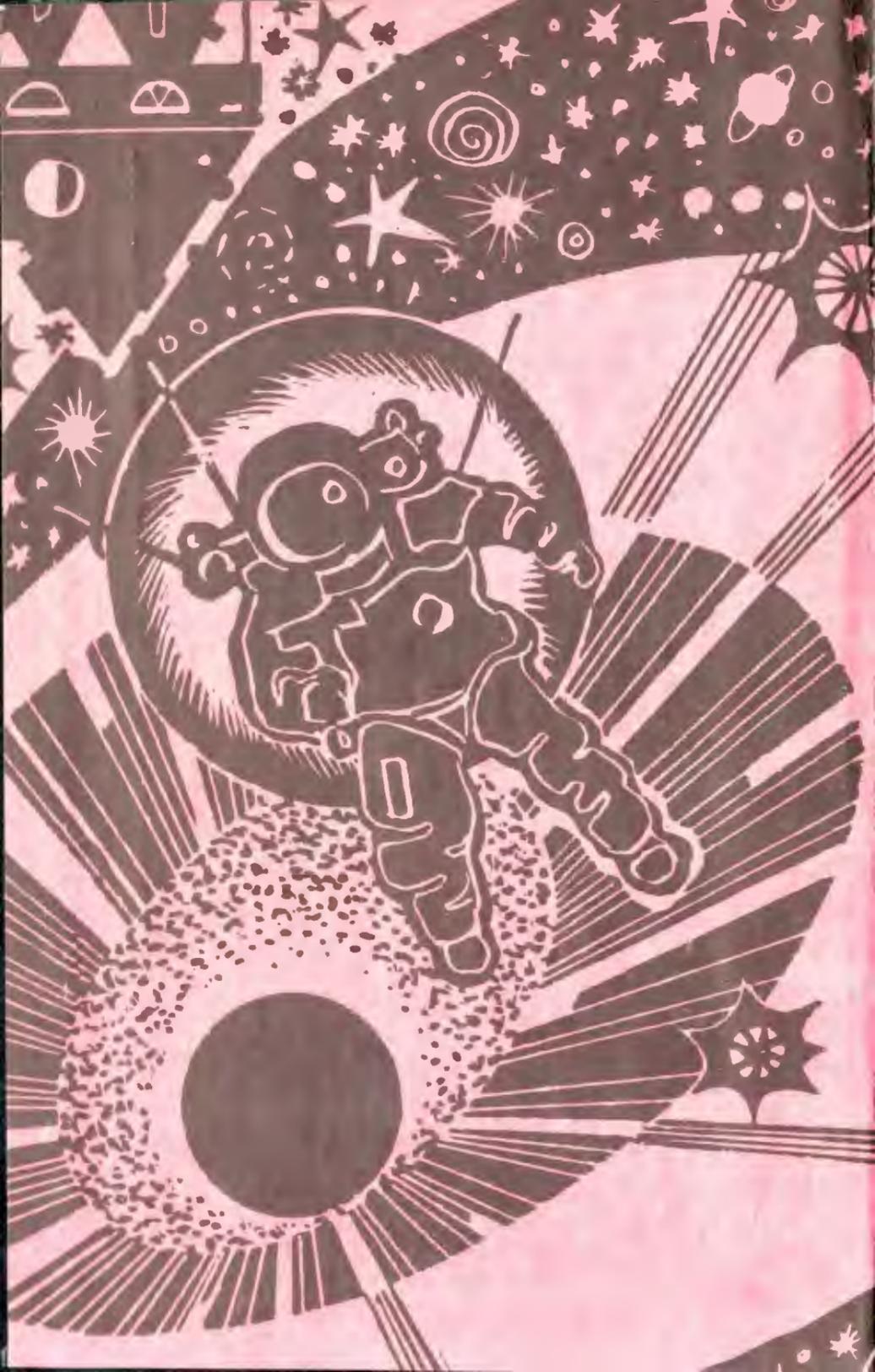


**Мван
Ефремов**







Иван Бфре.иов

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ**

Иван Бирелов

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ**

МОСКВА

СОВРЕМЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ

1993

Иван Борисович

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ**

**ТОМ
ПЕРВЫЙ**

Рассказы

МОСКВА

СОВРЕМЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ

1993

ББК 84 Р7
Е 92

Художник
ДАВИД ШИМИЛИС

Е 4702010201—020 Подписное
083(02)—93

ISBN 5—265—02735—1

© Оформление. Издательство
«Современный писатель», 1993

ОТ АВТОРА

Рассказы, вошедшие в тома сочинений, за малым исключением, написаны в начале моего литературного пути. Семь рассказов: «Встреча над Тускаророй», «Эллинский Секрет», «Озеро Горных Духов», «Путями Старых Горняков», «Олгой-Хорхой» (в первом издании неточно названный «Аллергорхой-Хорхой»), «Катти Сарк» и «Голец Подлунный» — были написаны в 1942—1943 годах и увидели свет в 1944 году (кроме «Эллинского Секрета», изданного лишь в 1968 году). Другие восемь рассказов: «Белый Рог», «Тень Минувшего», «Алмазная Труба», «Обсерватория Пурн Дешт», «Бухта Радужных Струй», «Последний Марсель», «Атолл Факаофо» и «Звездные Корабли» — написаны в 1944-м и изданы в 1945 году, кроме последнего, опубликованного в 1948 году. Третий цикл рассказов: «Юрта Ворона», «Афанеор, дочь Ахархеллена», «Сердце Змея» и «Пять Картин» — появился лишь в 1958—1959 годах. За время почти 15-летнего перерыва был написан только один рассказ «Адское Пламя» (написан в 1948 году, издан в 1954 году).

Большинство рассказов первого и второго циклов было посвящено популяризации необыкновенных явлений и научных открытий, реже — высочайших достижений мореходного мастерства («Катти Сарк», «Последний Марсель»). «Эллинский Секрет», где я впервые поставил вопрос о материалистическом понимании генной памяти, и «Звездные Корабли», с их концепцией множественности обитаемых миров и общности мыслящих существ Вселенной, слишком опережали привычные для литературы того времени представления и потому задержались с опубликованием.

В позднейшем цикле центр интереса передвинулся на людей в необычайной обстановке настоящего или далекого будущего.

Когда писались первые рассказы, наука в нашей стране да и во всем мире еще не претерпела того бурного развития, можно сказать, взрыва, какой характерен для второй половины

века. Научная популяризация по количеству книг находилась на весьма низком уровне. Знакомство широкого читателя с достижениями, а главное — возможностями науки было еще весьма ограничено.

Для меня, ученого, тогда не помышлявшего о пути писателя, казалось важным показать всю великолепную мощь познания, беспредельный интерес видения мира, открывающийся трудом ученого, решающее его воздействие на самовоспитание. Все это ныне не нуждается в доказательствах. Многое (хотя все еще недостаточно) сделано в области популяризации науки. Интерес и романтика научного исследования знакомы большинству читателей, число ученых возросло в сотни раз.

Рассказы «о необыкновенном» вряд ли удивят сейчас кого-либо из образованных людей, тридцать лет спустя после их написания.

Этот срок, большой даже для обычных темпов довоенной науки, на самом деле гораздо больше после гигантского перелома в мощности исследований и открытий, совершившегося в конце сороковых годов и ныне грозящего переизбытком научной информацией. Интересно оглянуться назад и посмотреть, как же отразилось современное развитие науки на «необыкновенностях» конца тридцатых годов, тогдашней передовой линии в некоторых естественноисторических вопросах.

Проблема накопления тяжелой воды вне термического перемещения на дне глубочайших океанских впадин («Встреча над Тускаророй») еще остается открытой. Не добыто решающих доказательств ни за, ни против.

С изобретением компьютеров и разработкой кибернетики мы приблизились наконец к материалистическому пониманию работы мозга и механизма памяти. Поэтому рассказ «Эллинский Секрет», не напечатанный сначала из-за его кажущейся «мистики», мог быть опубликован в шестидесятых годах, уже после более подробной трактовки «памяти поколений» в моем романе «Лезвие бритвы».

Поучительно для отъявленных скептиков, что все явления природы, не поддающиеся объяснению на современном уровне науки, кажутся нам мистикой. Однако они сразу теряют свое сверхъестественное одеяние, едва наука поднимается до их понимания и объяснения.

Со времени опубликования «Озера Горных Духов» на Алтае действительно открыто ртутное месторождение при них, не связанных с картиной Г. И. Гуркина, обстоятельствах. Это совпадение, а не пророчество, потому что, зная геологию Алтая, был убежден, что там будет найдено не одно месторождение ртути. Однако

среди алтайских геологов родилась легенда, соответствующая содержанию рассказа.

«Путьми Старых Горняков» не содержал никаких научных новшеств и остался памятью труда геологов. Читатели Оренбургской области отметили место действия рассказа мемориальной доской.

«Олгой Хорхой» не оправдал надежд на находку в недоступных местах Гоби особого червеобразного животного, убивающего на расстоянии. Недоступные прежде районы Гобийской пустыни сейчас обстоятельно исследованы. Очевидно, «кишка-червяк» монгольского фольклора относится к животному, ныне вымершему, но сохранившемуся в народных преданиях, подобно волосатому носорогу и мамонту у юкагиров нашего Севера или снежному человеку гималайских шерпов.

Рассказ о великолепном паруснике «Катти Сарк» исполнился до конца. Только корабль поставлен в музей не американцами, как я написал в первом варианте 1942 года, а самими англичанами. Судя по письмам английских читателей, мой рассказ в первом варианте, переведенный и опубликованный в Англии, сыграл известную роль в «освежении» памяти «Катти Сарк» у народа, построившего этот изумительный клипер.

«Голец Подлунный» в первом варианте назывался «Сумасшедший танк», но был сочтен мною неудачным и полностью переделан в хроникальное и точное описание одного из моих сибирских путешествий. Фантастическое ядро рассказа — находка пещеры с рисунками африканских животных и бивнями слонов — неожиданно зазвучало реальностью после открытия А. В. Рюминым рисунков Каповой пещеры, правда, не в Спбири, а в Башкирии (и без склада слоновой кости). Вероятно, предчувствие подобных находок говорит о возможностях дальнейших открытий пещер типа описанной в «Гольце Подлунном». Тогда окончательно снимается фантастика рассказа. Интересно отметить, что ныне утраченное искусство размягчения слоновой кости, о котором я напомнил в рассказе «Эллинский Секрет», оказалось известным еще в незапамятной древности. Недавняя находка О. Н. Бадером у города Владимира палеолитического погребения двух мальчиков показала, что люди того времени владели искусством выпрямлять и гнуть мамонтовьи бивни. В могиле оказалось прямое копые из цельной мамонтовой кости (бивня) свыше двух метров длины.

Второй цикл рассказов был написан после того, как первые семь удостоились опубликования сразу в нескольких журналах. Он отличается большей широтой «необыкновенных» научных

проблем. Я увидел, что даже сложные, далекие от разрешения гипотезы или необъяснимые открытия вызывают живой интерес читателей, лишь бы за ними стояла осязаемая перспектива новых путей в науке.

За исключением романтических «Белого Рога», «Обсерватории Нур-и-Дешт» и «Последнего Марселя», в рассказах 1944—1945 годов отразились неразгаданные и, казалось бы, непосильные для исследования вопросы тех наук, которым я посвятил свою жизнь,— геологии и палеонтологии. Неполнота геологической летописи, занимавшая меня тогда уже на протяжении всех двадцати лет научной деятельности, заставила сконцентрировать все знания и опыт в создании теоретических основ для хотя бы частичного заполнения пробелов великой исторической книги природы.

В 1943 году окончательно сформировалась та новая отрасль исторической геологии и палеонтологии— тафономия, которая в 1952 году была отмечена Государственной премией. Но и после того потребовалось еще около двадцати лет, прежде чем тафономия получила мировое признание. Строго говоря, даже до сей поры она еще не внедрилась в историческую геологию полностью. Это показывает, насколько тафономия опередила геологическую мысль тех лет.

В документах геологической летописи, как бы остроумно мы ни решали ее загадки, существует безнадежная недостаточность. Нет надежды увидеть человеческими глазами хотя бы мимолетные, случайные, но цельные живые ландшафты давно минувших времен, облики животных и растений, вид тогдашних скал и рек, озер и морей...

Безнадежность не смирила стремления к познанию и заставила обратиться к грезе о картинах прошлого, якобы запечатленных в горных породах и в особых случаях освещения и отражения предстающих перед внимательным взором исследователя. Так родился рассказ «Тень Минувшего». Опыты основателей фотографии со световыми отпечатками без бромосеребряного процесса послужили научным обоснованием «сверхнеправдоподобной правды», как выразился в своем письме один из читателей. Три года спустя известный физик Денис Габор выдвинул теоретическое обоснование голографии.

Профессор Ю. Н. Денисюк, создатель практической голографии в нашей стране, сказал в недавнем интервью, что именно рассказ «Тень Минувшего» разбудил мечту, побудившую его заняться голографией, хотя возможность технического ее осуществления сначала казалась ему делом почти невозможным. Это признание выдающегося физика не только приятный подарок писателю-фанта-

сту, но и доказательство предвидения возможностей науки в простом полете воображения.

Интересно, что я почти инстинктивно понимал, насколько «проявление световых впечатлов прошлого», как оно сформулировано в рассказе, зависит от силы источников света, направляемых на отпечаток, но по тому времени не мог говорить ни о чем другом, кроме магниевой лампы. Изобретение лазера сразу же дало надежную базу техническому осуществлению голографии.

Широкую известность приобрел рассказ «Алмазная Труба». Двенадцать лет спустя после его написания на письменный стол, за которым был написан рассказ, легли три алмаза из первых добытых в трубке, расположенной на Сибирской платформе, правда, южнее места действия «Алмазной Трубы», но точно в той геологической обстановке, какая описана в рассказе. Кстати, я написал, что распространение трубок должно быть весьма широким, и убежден, что трубки будут найдены и севернее.

Как мне рассказывали мои коллеги-геологи, ведущие поиски алмазов, они таскали в своих полевых сумках книжку рассказов с «Алмазной Трубой». Секрет этого удивительного на первый взгляд прогноз прост: будучи сибирским геологом, я, несколько лет занимаясь тектоникой древних щитов, подыскал геологические условия, очень близкие с африканским щитом, после того, как многие годы изучал Африку. В рассказе я придумал находку трубки геологическим отрядом, в приключения которого вложил испытанное в собственных маршрутах, как то сделал в «Гольце Подлунном». Разумеется, я принял во внимание все известные по тому времени факты: существование зоны повышенного давления под Сибирской платформой, аномалии силы тяжести и пластовые интрузии тяжелых основных пород, описал, что основными спутниками алмазов должны быть алые гранаты — пиропы, а вмещающими породами — кимберлиты.

Все это до такой степени точно совпало с найденными двенадцать лет спустя месторождениями, что фантастический рассказ «Алмазная Труба» стали рассматривать как научный прогноз. Нашлись даже люди, которые обвинили меня в присвоении чужих открытий, именно «теории» проф. Н. М. Федоровского, забыв, что фантастический рассказ не претендует на научную теорию, и упустив из виду, что я — исследователь Сибири. На проверку оказалось, что никакой «теории» у Федоровского не существовало. Все его высказывание о возможности находки месторождений алмазов заключается в одной строчке его популярной книги 1934 года: «Тип же южноафриканских месторождений пока что не встречен, возможно, что он будет найден в многочисленных вулканических областях Сибири и Северного Урала».

Подобные высказывания у геологов, работавших в Сибири или на ультраосновных массивах Урала, встречаются начиная с 1912 года (Я. А. Макиров). Я привожу здесь этот случай в качестве курьеза. Пожалуй, это первый раз, что автор научно-фантастического рассказа подвергся обвинению, хотя бы и клеветническому, в присвоении чьей-то научной теории! Правда, в 1945 году англо-американского научного фантаста Олафа Степльдона ФБР обвинило в разглашении сверхсекретнейшей информации об урановой бомбе, тогда еще «Манхеттенском проекте». Степльдону удалось доказать, что фантастическое описание бомбы опубликовано им еще в 1932 году, когда даже сам Эйнштейн не помышлял о техническом осуществлении уранового взрыва. Когда ретивые секретчики поостыли, то им стало ясно, что процесс изготовления урановой бомбы, особенно на первых стадиях, на самом деле тысячекратно сложнее, чем описанный фантастом. Одно лишь разделение изотопов представляло собой задачу такой технической трудности, что только гигантские затраты и ряд гениальных инженерных и научных догадок смогли преодолеть барьеры на пути к созданию убийственного оружия. Это случается в науке настолько часто, что может быть возведено в закономерность. Так и общепринятая гипотеза происхождения алмазов в трубках прорыва из стокилометровых глубин земной коры, которую я положил в основу рассказа, в свете последних наблюдений оказывается неполной, а генезис алмазов гораздо более сложным. Здесь не место обсуждать вновь открытые факты. Скажу только, что внутри кристаллов сибирских алмазов случается находить органические вещества и даже тонкие веточки растений! Это не вяжется с чудовищными давлениями и глубинами эклогитовой зоны. Очевидно, гипотеза происхождения алмазов будет в самое ближайшее время пересмотрена.

Рассказ «Бухта Радужных Струй», к сожалению, не привлек внимания ботаников или биохимиков к исследованию удивительных свойств «почечного дерева» (эйзенгартни) современными средствами. Этот долг — за учеными молодого поколения.

Судьба рассказа «Атолл Факаофо», ныне кажущегося устаревшим, не совсем проста. Основная идея и цель написания рассказа — изучение коренных пород океанического дна — зародилась у меня еще в первые годы геологической работы. В 1930 году я написал научную статью, в которой пытался обратить внимание региональных геологов на необходимость добывания образцов коренных пород из глубин океана и указывал места океанических впадин, где возможно зацепить при драгировании подводные обнажения этих пород.

Скудные возможности научных изданий тех лет заставляли меня послать статью в авторитетный немецкий геологический

журнал «Геологише Рундшау». Она вернулась с довольно обстоятельным разгромным отзывом крупнейшего в те годы специалиста по геологии морского дна профессора Отто Пратье. Он заявил, что статья представляет собою химеру. Все дно океанов и морей сплошь покрыто рыхлыми позднейшими осадками, из-за которых недоступны коренные породы, и при современной технике нет никакой возможности добывать образцы их. Жаль, что заметка не была напечатана. Я мог бы записать себе «в актив» еще прогноз, на сей раз обставленный «научно». В действительности коренные породы океанического дна в очень многих местах выступают из-под рыхлых осадков. Правда, как и в случаях с «Алманной Трубой», истинное состояние дела оказалось много сложнее, чем представлено было тогда. В упомянутой статье я обещал читателю, что всего два-три образца коренных пород, добытые из глубочайших океанических впадин, сразу же разъяснят спорные проблемы геотектоники, особенно вопрос постоянства материков и океанов. Ныне огромные корабли, например «Гломар Челленджер», ведут глубоководное бурение, добывая большие колонки геологических разрезов. Бурение еще не проникло в наиболее глубинные области, хотя недавно советской океанологической экспедицией был добыт образец очень тяжелой ультраосновной породы из глубокой впадины Индийского океана. Выяснилась геологическая сложность строения коренных пород дна морей, в общем не уступающая материкам. Изучение морского дна двинулось вперед такими темпами и с такими огромными затратами, какие не могли мне представиться в фантастическом рассказе, написанном в 1944 году. И все же современные методы изучения геологии морского дна кое в чем еще уступают описанному в «Атолле Факаофо». Еще нет телевизоров, могущих обзирать большие участки дна на лишенных света глубинах. С появлением когерентных источников света — лазеров, такие приборы, конечно, будут созданы, но пока их нет. Нет и аппаратов, способных бурить на больших глубинах и связанных с кораблем лишь кабелями для подачи энергии. Нет машин, способных работать в воде, как в воздушной среде, без столь трудно достижимой для больших давлений герметичности. Все же пока телевизор капитана Ганешина остается фантастическим.

По сравнению с «Атоллом Факаофо» написанный на четыре года позднее рассказ «Адское Пламя» полностью устарел технически. Я включил его в данное издание ввиду его вполне современной направленности против гонки вооружений. Также любопытно показать, по какому вектору наиболее ускоряется научно-техническая мысль современности. Описанная мною ракета с на-

правляющим коридорным наземным устройством выглядит по сравнению с современными самонаводящимися на цель ракетами-роботами оружием давнего прошлого.

Последний из рассказов второго цикла, вернее, небольшая повесть «Звездные Корабли» после опубликованных ранее на 15—20 лет «Аэлиты», превосходного рассказа «Чужие» А. Волкова (1928 г.) и космических вещей А. Беляева, возобновил космическую тему в нашей литературе. Повесть не сразу получила признание и подверглась критике с позиций вульгарного материализма с его геоцентризмом тогда авторитетного метафизика-космогониста Джемса Джинса. Пришельцы далеких миров, достигшие высокой ступени общественного развития в очень давние времена, пугали некоторых критиков. В результате «Звездные Корабли» были напечатаны лишь через три года после написания, в декабре 1948 года. До сей поры ископаемые кости, пробитые какими-то орудиями, привлекают особое внимание исследователей. Однако во всех известных случаях кости с подобными повреждениями получили иное объяснение, обходящееся без привлечения человеческой руки. Зато уж тема пришельцев из иных миров, некогда посетивших нашу планету, настолько широко распространилась в литературе всего мира, что надоела читателям, варьируясь в самых различных сюжетах, от библейских пророков до детективных приключений с летающими тарелками.

И все же «Звездные Корабли» остаются особняком по связи времен через геологическое прошлое нашей планеты, во время которого она проделала гигантский путь по Галактике.

Перед третьим циклом рассказов, помимо научной работы, я был занят более объемистыми литературными произведениями. После почти пятнадцатилетнего перерыва написал «Сердце Змеи» как дополнение к роману «Туманность Андромеды» о первом контакте землян с иной звездной цивилизацией. Затем переделал «Катти Сарк» по полученным новым материалам, уже после постановки клипера в специальный музей-док около Гринвича в Англии. Рассказ о подвиге геолога «Юрта Ворона» почти документален, перевал Хюндустый Эг существует, и, возможно, там будет когда-либо открыто крупное месторождение металлических руд. Я поставил в этом рассказе также вопрос о новых наименованиях женских специальностей в современном русском языке. Это осталось без внимания.

В третьем цикле «Афанеор, дочь Ахархеллена» не принадлежит к научной фантастике и написан в память о замечательном русском путешественнике, докторе Елисееве, исследователе очень интересного народа туарегов, обитателей центральных районов Сахары. Этот рассказ историко-этногеографический, из области,

которая меня интересует не меньше фантастики и к которой принадлежит повесть «На краю Ойкумены» и роман «Таис Афинская». И наконец, «Пять Картин» — научно-фантастический этюд в поддержку творчества художника А. К. Соколова, ныне уже признанного мастера космической тематики. В рассказе впервые поставлен вопрос о переброске пресной воды со льдов Антарктики в засушливые зоны.

Немало читателей интересовалось, были ли допущены какие-нибудь ошибки и неточности, обнаруженные после опубликования.

В рассказах первых двух циклов их практически не было. Тем досаднее погрешности, допущенные в первом издании повести «Сердце Змеи», вышедшей в журнале «Юность». Я в то время путешествовал в Китае и не мог выправить корректуры, а редакторы не без основания понадеялись на мой научный авторитет. Сам не понимаю, как я смог перепутать атомные числа с зарядами у столь обычных элементов, как кислород и фтор. Но случилось именно так, и я подвергся ехиднейшей экзекуции со стороны одного аспиранта МГУ. Молодой человек заявил, что ежели в повести столь грубые ошибки, то она вообще не заслуживает, чтобы ее читали. С молодыми учеными шутки плохи! На мою удачу, аспирант не был осведомлен в иных науках. Злосчастное «Сердце Змеи» таило еще худшую ошибку, с вежливым недоумением указанию мне ветеринарным врачом из Оренбурга. Описывая операцию с помощью запущенного внутрь кишечника прибора, я построил ход операции через анальное отверстие. Это описание (уже в чистовике рукописи) показалось мне некрасивым, и хирургическая «сколопендра» была запущена через рот. Однако я забыл переправить последовательность кишок, анатомия человеческого кишечника получилась «вверх ногами» (а корректуры не было). Это чрезвычайно нелепое упущение показало, что писателю-фантасту следует быть внимательным нисколько не меньше ученого в момент опыта или наблюдений.

Иногда читатели какого-нибудь из переизданий, приняв год напечатания за дату первой публикации вещи, попрекали меня архаичностью технических данных.

Сравнение научных проблем в рассказах первых двух циклов 1942 и 1944 годов с современным состоянием науки дает любопытную картину. Выбор «необыкновенного» из тысячи задач, стоявших перед наукой, не был случаен. Ощущение важности этих вопросов носилось, так сказать, в воздухе, будучи отражено в научных дискуссиях, рискованных гипотезах, намеках в популярных или строго научных статьях.

Наиболее часто в интервью, читательских письмах и беседах меня спрашивали, каким образом проблемы науки, еще находившиеся в зачаточном состоянии, нашли в рассказах разгадки, которые в общих чертах совпали с реальными решениями много лет спустя.

Не обладаю ли я неким даром пророчества, точнее, предвидения?

Мне думается, что такая таинственная способность, во всяком случае в рассказах о необыкновенном, отсутствует. Кроме полета воображения и интуиции, координат для заглядывания в будущее нет. Как для воображения, так и особенно для точной интуиции необходимо знание множества сопредельных фактов и явлений, широкая энциклопедичность, воспитанная разносторонностью интересов, помноженной на вместительную память.

Энциклопедичность образования очень помогла мне в науке. Удалось подчас проявить загадочную для моих коллег интуицию в решении вопросов разного калибра.

Та же интуиция помогла и в моих рассказах.

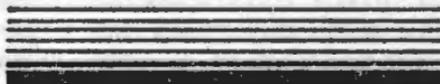
Требование развития интуиции жизнь предъявляет ко всякому творческому работнику.

*Сентябрь, 1972,
Ново-Дарьино*

Профессор И. А. ЕФРЕМОВ



Рассказы



ВСТРЕЧА НАД ТУСКАРОРОЙ

Немало лет тому назад я плывал старпомом на довольно большом пароходе «Коминтерн» — в пять тысяч тонн, добротной английской постройки. Ходили между Владивостоком и Камчаткой, изредка на юг — в Шанхай или поближе — в Гензан и Хакодате.

В июле 1926 года мы шли очередным рейсом в Петропавловск, с заходом в Хакодате, — следовательно, через Цугарский пролив. Вышли из Хакодате к вечеру, а через сутки привалил бешеный шторм, настоящий тайфун от зюйд-веста. Поднялось такое волнение, что, когда мы проходили траверз Немуро, волны стали закрывать судно. Мы имели ценный груз на палубе, а кроме того, разные хрупкие машины в трюме. Наш капитан Бегунов, очень славный, хотя и суровый старик, после короткого совещания со мной на мостике решил повернуть полнее бакштага, почти на фордевинд. Судно сразу перестало брать на себя воду и, невзирая на адскую волну, пошло спокойнее. Пришлось мне проложить новый курс вместо обычного: я оставил остров Сикотан к норду и пошел восточнее Курильских островов...

Штормом колотило нас всю ночь, и только на следующее утро стало стихать. Но ветер был очень свеж до самого вечера. К ночи же совсем стихло, и я рано завалился спать, так как устал за последние сутки отчаянно.

Ночь выдалась совершенно необычная в этих местах — безветрие, полный штиль, — ясная и безлунная. Я спал очень крепко, но, по прочно укоренившейся привычке, проснулся со звоном склянок. Хоть я и не сосчитал ударов, но знал, что до моей вахты полчаса. И действительно, почти сейчас же явился буфетчик с огромной кружкой горячего какао. Эту привычку я всем могу посоветовать — перед вахтой выпить горячего какао, тогда холод и сырость не страшны и ко сну сразу же перестанет клонить. Я вскочил, быстро оделся, выпил какао

и, закурив трубку, снова растянулся на койке. Как хороши эти десять — пятнадцать минут перед выходом на почную вахту, в холод, мрак, сырость и туман!

Затягиваясь душным, крепким табаком, я вслушивался в неравномерный всплеск волн и четкую работу машины. Ее мощный шум и легкое сотрясение всего огромного корпуса судна действовали успокоительно, вроде тихой музыкальной мелодии. В каюте было тепло, яркий свет лампы падал на столик с лежавшей на нем интересной книгой — наслаждение, которое я предвкушал после вахты. Я с удовольствием осмотрел свою каюту — крошечный «особняк», несущийся на двадцатифутовой высоте над страшной зеленой глубиной Тихого океана, — и подумал, что профессия моряка увлекла меня прежде всего тем, что она оставляла мне много времени на размышления, к которым я всегда был склонен.

Мои мысли были прерваны стуком в дверь. Дверь распахнулась, и на пороге появилась массивная фигура капитана.

— Что вы бродите в такую рань, Семен Митрофанович? — спросил я, садясь и поворачивая к нему тяжелое кресло. — Еще, наверно, не рассвело.

— Ну как не рассвело! Скоро огни гасить можно... Эх, и погода же редкостная!..

— Вот в такую-то погоду только и спать, — сказал я. — Ну, я-то, конечно, страдалец — мне на вахту, — а вы что?

— Эх, молодежь! Вам бы только понежиться! — добродушно отвечал капитан. — А мне, старику, много спать не нужно. Я уже палубу обошел, убытки от шторма посчитал... Кстати, Евгений Николаевич, вы ортодромию вашу днем проверьте, чтобы не только по счислению было, — добавил он, в то время как я обматывал шею шарфом и натягивал пальто.

— Обязательно, Семен Митрофанович, трасса у нас новая, — ответил я капитану и чиркнул спичку, закуривая трубку.

Резкий толчок и последовавший за ним глухой удар потрясли корпус судна. Почти одновременно раздался грохот где-то в кормовой части, и шум машины прервался. Несколько секунд мы с капитаном молча глядели друг на друга, прислушиваясь. Вот машина возобновила работу — и снова тот же грохот, сменившийся тишиной. Горящая спичка, которую я продолжал держать в руке,

обожгла палец, и я, опередив капитана, кинулся из каюты...

Все, кто много плавал, поймут мои чувства в те минуты, зная, с каким невольным страхом воспринимается остановка машины в открытом море. Мощное сердце корабля своим биением сообщает ему жизнь и силу для борьбы со стихией. Но вот оно остановилось, и корабль мертв, теперь он игрушка неверного океана...

Повернув к трапу, я поскользнулся и тут только заметил, что судно имеет крен на левый борт. В этот момент меня догнал капитан. Прерывистое дыхание выдавало его волнение, но поседевший на море старик не произнес ни слова.

На палубе было темно. Едва обозначившийся расцвет отмечал только общие контуры судна. Дверь штурманской рубки была раскрыта, и из нее падала полоса света. С мостика слышался встревоженный голос третьего помощника:

— Беда, Семен Митрофанович! Налетели на риф... Винт, кажется, разбит, руль заклинило...

Капитан сердито крикнул:

— Какой, к черту, риф? Здесь глубочайшая пучина океана!

«Ну конечно, Тускарорская впадина», — немного успокаиваясь, сообразил я.

Капитан поднялся на мостик. Мое место было на палубе.

— Боцман, подвахтенных наверх, приготовить лот! — приказал я.

Напрягая зрение, я видел, как капитан склонился к переговорной трубе. «Говорит с механиком», — подумал я. Слабо зазвенел телеграф. Снова слышался грохот под кормой. Звонек телеграфа совпал с прекращением работы машины.

— Евгений Николаевич, давайте лотом по правому борту! — донесся голос капитана.

Я отдал команду. Боцман откликнулся из темноты:

— Нет дна!

— Ближе к носу у крамбола! — скомандовал капитан.

— Две марки и две! — отозвался боцман.

— Четырнадцать футов? Что за черт! — воскликнул я.

По левому борту глубина оказалась от двенадцати до восемнадцати футов, за кормой — двадцать футов.

Рассветало. Я перегнулся через борт, стараясь что-нибудь рассмотреть в темной воде, плескавшейся внизу. Было то тяжелое и медлительное дыхание моря, которое зовется мертвой зыбью. С удивлением я воспринял мерное покачивание парохода на крупной и длинной волне. Это покачивание не сопровождалось ударами, что было бы неизбежно при посадке на риф. Капитан позвал меня на мостик. Перегнувшись через перила, он упорно всматривался в волны с левого борта. Вспыхнул прожектор. Серая мгла рассветных сумерек отошла дальше от корабля. Я заметил, что под левым бортом корабля волны были меньше, чем кругом, — короткие и плоские.

— Евгений Николаевич, дайте скорее место судна по счислению!

— Есть, Семен Митрофанович! — ответил я и направился в штурманскую рубку.

— Шлюпку спустить! — слышался голос капитана. — Петя (так звали третьего помощника), вы с лотом в шлюпку.

Мое уважение к капитану, без лишней суеты выяснявшему аварию, еще более возросло. «Молодец старик!» — думал я, накладывая транспортир на карту, и услышал шаг капитана за спиной.

— Ну что? — спокойно спросил он, едва взглянув на карту, где наколотая точка легла вдали от Курильских островов, над страшными глубинами Тускароры.

Внезапная догадка молнией пронеслась в моем мозгу. Даже стало стыдно за свою несообразительность.

— Я, кажется, понял, Семен Митрофанович, — проговорил я.

— Что поняли?

— На судно затонувшее налетели.

— Так оно и есть, — подтвердил капитан. — Шансов один на миллион, а вот повезло же нам, нечего сказать... Ну, как там промеры?

Мы вышли на мостик.

Шлюпка уже пристала к левому борту. Как мы и ожидали, даже в небольшом удалении от корабля дна не было.

Наступило ясное утро. Из трюмов вернулись ревизор и боцман, доложившие, что течн нет. В это время к нам поднялся начальник водолазной спасательной партии, которую мы везли для снятия с мели японского судна «Америкамару», — опытный морской инженер.

Он обошел судно, потом поднялся на мостик.

— Начнем, командир? — спросил инженер.

— Ладно, давайте скорей, — согласился капитан. — Везли вас японца спасать, да и сами в спасаемых очутились.

Два водолаза, широкие, как комоды, — по-видимому, огромной силы люди — приступили к сборам. Я сам несколько раз совершал короткие спуски под воду, но еще ни разу не видел работы водолазов в открытом море и с интересом наблюдал за ними.

Промерами на шлюпке была установлена приблизительная ширина потонувшего судна. С левого борта укрепили выстрел, с которого сбросили узкий трап. Водолаз вооружился длинным шестом и начал спуск прямо в волны, время от времени опираясь шестом в борт парохода и раскачиваясь на трапе. Вдруг он опустил лестницу и сразу скрылся под водой, оставив на поверхности тысячи воздушных пузырьков.

Начальник водолазной партии стоял на борту у телефона. Он помахал нам с капитаном рукой, подзывая к себе.

Мне показалось, что в лучах поднявшегося над горизонтом солнца под кораблем смутно очерчивается какая-то темная масса.

— Пройдите назад! — закричал в телефон инженер. — Да... Ну, проползите!.. А дальше? Хорошо...

— Что хорошо-то? — не утерпел капитан.

На это инженер ничего не ответил. Прошло, как мне показалось, много минут напряженного ожидания. Мембраны телефона время от времени глухо гудели.

— Попробуйте проникнуть в кормовое помещение или в трюм, — сказал инженер и передал телефон второму водолазу. — Ну вот что, командир, — сказал он, поворачиваясь к капитану, — чудеса, да и только! Навстречу нам под водой шел какой-то затонувший корабль. Мы с размаху налетели на него. Наш «Коминтерн», оказывается, отличается очень острыми обводами — он и вошел в корпус погибшего судна, как топор в бревно, и, видимо, крепко завяз. Потонувший корабль — очень старый деревянный большой парусник. Мачты обломаны, конечно. Форштевень «Коминтерна» сидит в кормовом помещении парусника, а винт и руль находятся как раз над обломком бушприта. Они, слава богу, целы. Когда пробовали провертывать машину, винт бил о бушприт.

Крепок же этот старикский парусник — вот что удивления достойно! У нас две тысячи двести сил — и ни с места!

— Объясните-ка мне, товарищ инженер, — спросил капитан, — как мог потонувший корабль столько времени плавать, да еще под водой, на манер подводной лодки?

— Очень просто: судно-то деревянное да, наверно, и груз у него легкий. Я послал водолаза в трюм посмотреть, что там. А под воду это вы его своим парходом загнали — он, наверно, чуть-чуть над водой высывался... Да, конечно, пусть поднимется! — прервал свои объяснения инженер, обращаясь к водолазу у телефона.

Собравшаяся у борта команда да и мы с капитаном смотрели на поднимавшегося водолаза как на вестника из неизвестной страны. Этот человек смело опустился в воду посреди океана и глубоко под парходом ходил по погибшему кораблю, много лет носившемуся в морских просторах. Веселые, слегка озорные глаза снявшего скафандр водолаза ничем не выдавали утомления, которое он несомненно должен был испытывать. На совещании в штурманской рубке водолаз начертил примерный корпус потонувшего корабля, удививший нас своими старинными очертаниями. Зная, что я интересовался всегда историей флота и особенно парусных кораблей, капитан спросил меня, не смогу ли я определить класс и возраст судна. По грубым контурам, набросанным водолазом, разумеется, было очень трудно решить что-нибудь. Во всяком случае, это был трехмачтовый корабль весьма больших размеров, с широким корпусом и приподнятой кормой. Я решил, что ему не менее ста лет со времени постройки. Водолаз сообщил, что корпус корабля построен из очень плотного дерева. Трюм, по-видимому, забит доверху легкими пластинами пробки.

Немного подумав, инженер решил попробовать подорвать правый борт парусника, с тем чтобы плавучий груз вывалился. Тогда тяжелый, пропитанный водой деревянный корпус корабля пойдет ко дну собственным весом, и мы освободимся.

— Ну что ж, давайте освобождайте, ради всего святого! — воскликнул капитан.

Инженер снова задумался.

— Какие еще затруднения? — с тревогой спросил капитан.

— Дело в том, что для этой работы нужно два человека — будет скорее и, главное, безопаснее. Если через трюм не проникнуть к борту, то придется снаружи долбить, а с течением очень тяжело справляться. Еще счастье, что так необыкновенно тихо, а то совсем плохо было бы.

— Но ведь у вас два водолаза, — сказал я.

— Водолазов-то два, но один должен быть наверху, у насоса, — ведь часть наших специалистов вперед на «Лозовском» уехала. Вот и думаю, как быть...

Тут я вспомнил о своем небольшом водолазном опыте и подумал: «А что, если мне спуститься?» Конечно, страшно было спускаться в открытом море, но я был уверен, что как вспомогательная сила пригожусь. Я предложил инженеру свои услуги в качестве второго водолаза и в ответ на его недоверчивую улыбку рассказал о своих возможностях.

— Ну, уж пусть сам водолаз решит, берет он вас в помощники или нет, — сказал инженер.

Водолаз оглядел меня оценивающим взглядом и задал несколько вопросов о работе в скафандре. Мои ответы как будто удовлетворили его, и он согласился иметь меня помощником, предупредив, что если меня как следует долбанет о корпус, чтобы я обижался только на самого себя.

Я выслушал внимательно все наставления, думая в то же время, что если «долбанет о корпус», то вряд ли я вспомню советы водолаза...

Команда отнеслась к моему погружению с дружеским и веселым энтузиазмом, и, пока одевали меня в скафандр, я успел послушаться немало острых словечек, на которые моряки мастера.

Наконец все приготовления были закончены. Надетый шлем как-то сразу отделил меня от привычного мира. Водолаз уже скрылся под кораблем, когда я, не особенно ловко передвигая пудовые ноги, стал спускаться по трапу. Все мое внимание было поглощено качавшейся подо мною темно-зеленой поверхностью воды. Я должен был одновременно надавить затылком выпускной клапан, вытравить побольше воздуха и поднырнуть под волну в момент ее отдачи назад. Я удачно проделал это, и через несколько секунд густой сумрак окутал окошечко шлема. Вода действительно сильно била меня с левой стороны, и, только напрягая все силы, я удержался на чем-то, наклонно поднимавшемся вверх справа от меня, и смог оглядеться.

Ярко светившее над морем солнце давало достаточно света. Сначала я различал только общие контуры потонувшего корабля, пересеченные косой черной тенью, падавшей от борта «Коминтерна». Затем я увидел квадратный выступ — остаток какой-то палубной постройки, а за ней толстый обрубок, как я понял потом — обломок мачты, прислонившись к которому стоял водолаз. Я немедленно добрался до него и направился следом за ним к борту парусника. Это был трудный спуск по скользкой, покрытой водорослями, раковинами и слизью наклонной поверхности. Но вода, давя навстречу, хорошо поддерживала нас. Как мы условились еще наверху, мы решили проникнуть в трюм через разбитое кормовое помещение.

Борт погибшего судна обозначался четкой линией, за которой прекращалось отражение слабого света, падавшего сверху. Дальше была темнота — обрыв в чудовищную пучину абсолютно черной воды, и я внутренне содрогнулся, представив себе, что борт судна висит над восьмикилометровой глубиной...

Вместе с колыханием волн по палубе потонувшего судна бежали пятна солнечного света. Следя за тусклыми и зеленоватыми бликами солнца, я старался воссоздать облик корабля. Тренированная на очертаниях старых парусников память помогла мне в этом. Сквозь толщу выросших раковин и извивающиеся хвосты водорослей я скорее угадал, чем увидел трехмачтовый корабль с широким корпусом, весьма массивной постройки. Низкий и тупой нос, высокая корма говорили о XVIII столетии. По очень толстому обломку бушприта угадывалась его значительная длина, что было также типично для судов XVIII века. В общем, корпус сохранился великолепно, даже крышка трюмного люка была налицо. Немного впереди грот-мачты начиналась большая вмятина. Продавленная килем нашего судна палуба просела, карленсы перекосились, торчали переломанные бимсы, придавая этой части судна вид мрачного разрушения, усиленного глубокой чернотой, царившей в проломах и щелях.

Я застыл в недоумении перед хаосом изломанных балок и досок, но мой спутник включил сильный электрический фонарь и сразу же повернул налево. Здесь действительно, как я и предполагал «теоретически», чернел правый коридор юта, уцелевший от разрушения при столкновении судов. Я тоже включил свой фонарь, и плечом к плечу с водолазом мы вошли в густой мрак; остано-

рожно нащупывая ногами доски палубного настила. Направо от нас чуть серел свет, проходивший, как я догадался, в задние кормовые окна, или, вернее, в то, что от них уцелело. Несомненно, люки и трюм, если они и были, остались позади нас, наверно, несколько правее, и мы миновали их, проникнув глубоко внутрь кормы. Подталкиваемый жгучим любопытством, я быстро сообразил, что свет должен проходить через кают-компанию, а напротив нее по обыкновению должна быть каюта капитана. На правой от меня стенке, где сейчас колыхалось чуть заметное серое пятно света, должен быть вход в каюту, которая, возможно, хранит тайну этого корабля. Я решительно двинулся направо. Красноватый в воде свет электрического фонаря скользил по черно-бурой стене без признаков каких-либо отверстий. Я положил на стену руку в резиновой перчатке и, ведя ее по ослизлым доскам, вскоре нащупал ребро дверной рамы.

«По-видимому, дверь здесь»,— догадался я и начал толкать стену плечом. Но она не поддавалась. Я ударил по стене ломом, который на четвертом ударе пробил дерево и чуть было не выскользнул из моих рук, подавшись в пустоту, вернее, в воду за дверь. Еще и еще нажимал я на дверь, когда за моей спиной расплылся световой круг фонаря водолаза. Он приблизил свой шлем к моему, и я увидел в полутьме его удивленное и встревоженное лицо. Я указал ему на дверь. Он согласно кивнул. В это самое время до моего сознания дошел голос инженера, настойчиво повторявший: «Товарищ старпом, что с вами, почему не отвечаете?» Я коротко сообщил, что пробрался в кормовое помещение, все в порядке, сейчас будем пробираться в трюм. Голос в телефоне успокоенно замолк, и я снова обратился всеми помыслами к двери в капитанскую каюту. В том, что за этой дверью была именно каюта капитана, я был безотчетно и совершенно уверен.

Водолаз провел рукой по краю дверной ниши и всунул свой ломик между дверью и дверной коробкой. «Черт возьми! Наверно, дверь открывается наружу»,— осенило меня, и я присоединил свои усилия к медвежьей силе водолаза. Не прошло и двух минут, как мы стояли в непроглядной тьме того помещения, которое когда-то служило капитану. Наши фонари не давали много света, помещение было большое, и я так и не мог себе представить точный вид капитанской каюты. Пол под нами был ровный и скользкий. Какие-то куски дерева— должно

быть, остатки мебели — постоянно попадались нам. Носок моего тяжелого ботинка стукнулся обо что-то. Свет фонаря вырвал из темноты угол квадратного ящика, лежавшего на боку у левой стены каюты.

— Ага! — обрадованно вскричал я.

И сейчас же совсем из другого мира возник голос инженера:

— Что «ага»?

— Ничего, все в порядке, — поспешил ответить я и нагнулся за ящиком.

Он был не тяжел, но мне, и без того обремененному инструментами и устившему от непривычной работы, было очень трудно нести эту дополнительную ношу.

Водолаз тем временем обошел каюту по правой стороне и тоже нашел два небольших ящика, которые нес, пажав под мышкой. Он удовлетворенно кивнул, увидев мою находку. Не найдя больше в каюте ничего примечательного, мы приступили к «совещанию». Переговорив через верхние телефоны, то есть через судно, мы вынесли наши находки на палубу и положили в укромное место. Затем снова вернулись в коридор и как-то очень быстро разыскали проход в трюм.

О дальнейшем я вряд ли сумею рассказать сколько-нибудь связно и подробно. Это был тяжелый труд в бесконечной черноте узких, загроможденных проходов. Наконец мы с водолазом выполнили нашу задачу и заложили несколько зарядов на участке днища и правого борта судна. Когда все кончилось и соединения проводов были проверены, я почувствовал, что измотался окончательно, и без сил прислонился к массивному пиллерсу где-то в трюме близ кормы. Водолаз понимал мое состояние и дал мне немного отдышаться. Поднимаясь снова на палубу, что оказалось совсем не легким делом, я обрадовался тусклому мерцанию солнечного света и в последний раз обвел взглядом необыкновенную картину палубы потонувшего судна — резко очерченную в мутном свете правую скулу корабля и торчащий обломок бушприта.

Я подал сигнал «поднимайте». Нарастающая масса света хлынула на меня, волны снова грозили ударами, блеск поверхности моря был неожидан и радостен... Пока ловкие руки снимали с меня шлем и освобождали от тяжести скафандра, был поднят и мой спутник.

Устало опустившись на кнехт, я с восхищением смот-

рел на водолаза, казалось, нисколько не потерявшего своей задорной бодрости и после второго спуска.

— Ну, молодец ваш старпом! — обратился водолаз к капитану. — Справился что надо! Мы с ним — вернее, он — еще исследовательский поход проделали и в командирской каюте что-то нашарили. — И он кивнул в сторону нашей добычи, уже поднятой на палубу.

— С этим потом, — сказал инженер, — сейчас палить будем.

Глаза всех собравшихся на палубе людей в настороженном ожидании были прикованы к маленькому коричневому ящику индуктора, перед которым на коленях стоял инженер, закручивая рукоятку. Вращение рукоятки все убыстрялось, маленькая машинка мелодично жужжала. Все слушали затаив дыхание. Было очень тихо, только плеск волн доносился из-за высокого борта. Достаточно было едва уловимого движения тонких пальцев инженера на кнопке замыкателя, как глухой гул подводного взрыва ударил по нервам. «Коминтерн» покачнулся, его железный корпус загудел, как гигантский рояль. С левого борта плеснула высокая волна. В откатившейся массе воды замелькали куски темного дерева, еще через несколько секунд поверхность воды покрылась массой почерневших пластин пробки — это всплыл на поверхность груз из трюма корабля. Все моряки, от капитана до кока, с одинаково жадным вниманием ждали, что будет дальше. Послышался сильный, но приглушенный скрип, за скрипом последовал легкий толчок, как бы поддавший пароход снизу. Мы продолжали ждать, но больше ничего не было слышно, только по-прежнему плескали волны и глухо стучали в борт обломки, всплывшие после взрыва.

Общее молчание нарушил спокойный голос инженера:

— Ну что ж, командир, давайте ход.

— Как, разве уже все? — встрепенулся капитан.

— Ну конечно!

Капитан кинулся на мостик, зазвенел телеграф, и внезапно возникший шум машин не сопровождался уже более жутким грохотом. Корабль ожил и двинулся. Под носом зашумели волны. Когда «Коминтерн» повернул, ложась на курс, все мы дружно крикнули:

— Инженеру — ура!..

— По местам! — послышалась команда капитана, против обыкновения закутившего на мостике, и палуба опустела.

Я с неохотой поднялся с кнехта, подошел к водолазу, своему товарищу по подводным приключениям, и крепко пожал ему руку. Потом я заглянул через борт назад, где в отдалении колыхались на волнах обломки, вырванные нарывом из парусного судна, и с неприятным чувством какого-то совершенного мной убийства представил себе, что судно, так долго странствовавшее после своей гибели, сопротивляясь времени и океану, сейчас медленно погружается в глубочайшую пучину... Ощущение сильного нервного подъема, владевшее мною все время, ослабло, и затем и совсем исчезло. Вместо него телом и мозгом завладела неодолимая усталость. Я сказал матросу, чтобы он отнес наши находки в штурманскую рубку, а сам пошел на мостик.

Капитан увидел меня и протянул мне обе руки:

— Ну и молодец вы, Евгений Николаевич, ну и молодец! Спасибо вам. Баночку первосортного рома разопьем вечерком с главным спасителем нашим.— Жест в сторону инженера.— А вы идите-ка отдохните — вижу, как устали!..

Я быстро спустился с мостика и, ополоснувшись под душем, отправился в свою каюту. Бросившись в постель, я еще некоторое время видел то туманный подводный свет, то колыхание солнечных бликов, то черноту трюма... Каюты равномерно подрагивала от движения машины, пароход спокойно шел своим курсом. Все происшедшее отодвинулось в небытие... Через минуту я уже крепко спал.

Был вечер, когда я проснулся с ощущением чего-то необычного, что ждет меня, и сразу вспомнил о своих находках. Одевшись и наскоро поев, я сразу же направился к капитану, где увидел оживленное общество, подогретое первоклассным ромом, до которого я и сам большой охотник. Как только я пришел, капитан распорядился расстелить на ковре брезент, и мы приступили к вскрытию найденных ящиков. Большой ящик, не поддававшийся долоту — он был сделан из крепкого дерева, — раскрылся только после нескольких добрых ударов топором. По каюте разнесся странный, острый запах. К нашему разочарованию, в ящике мы обнаружили только кашу с лоскутами кожи — все, что осталось от судового журнала. Капитан, инженер и механик невольно рассмеялись, увидев, как вытянулись наши физиономии — моя и водолаза. Мы вскрыли один из двух маленьких ящиков, найденных водолазом. В нем оказался старинный бронзовый сек-

стант. Оттерев слой зелени с одной стороны, я смог прочесть латинскую надпись. Смысл ее был в том, что секстант «сделал механик Даниэль... (фамилию забыл) в Глазго, 1784 год». Эти данные, по существу, ничего не значили, так как английские инструменты могли находиться на любом судне, а пользоваться ими могли много лет при необыкновенной прочности старинных английских приборов.

Однако третий ящик принес нам радость, хорошо знакомую всякому, добившемуся желанной цели. Ветхий наружный футляр из дерева при первой же попытке его открыть легко распался в наших руках, обнажив тускло заблестевшую в ярком электрическом свете оловянную банку, покрытую крупными каплями воды. Банка была закрыта надвигавшейся сверху толстой крышкой, очень туго забитой. Крышку снять было невозможно, и мы среза-ли ее по верхней кромке принесенной механиком ножовкой. Под ней оказалась вторая крышка, плоская, за-винчивающаяся, с кольцом посредине. Мы отвинтили ее сравнительно легко и с торжеством извлекли из банки, внутренность которой только отсырела, но не содержала ни капли воды, свернутую трубкой пачку бумаг.

Второй раз в этот день раздалось дружное «ура».

Небрежно свернутая, слегка измятая пачка плотной бумаги, серой и очень легко рвавшейся, сделалась центром внимания. Какие-то химические процессы или сырость в банке уничтожили все написанное на верхней и нижней частях каждого листка. Точно так же очень сильно пострадали листы, составлявшие наружную часть свертка. Уцелели только немногие страницы, составлявшие среднюю часть пачки листов, а также отдельный, сложенный вчетверо лист светло-желтой бумаги, вложенный в пачку. Этот лист и дал нам ключ к пониманию всего происшедшего.

Крупные неровные буквы покрывали немного вкось четыре желтые странички. Старинный английский язык несколько затруднял чтение. Написанное разбирали мы с инженером, остальные помогали в затруднительных случаях. На отдельном листке было написано примерно следующее:

«12 марта 1793 года, 6 часов пополудни, широта 38°20' южная, долгота 28°45' восточная, по утреннему числению. Воля Всевышнего Творца да будет надо мной. Примите же, неизвестные люди, мой последний привет и про-

тите важные сообщения, мною прилагаемые к сему. Я, Эфраим Джессельтон, владелец и капитан прекрасного корабля «Святая Анна», считаю свои последние минуты в этом мире и тороплюсь сообщить обстоятельства своей гибели.

Я вышел из Капштадта рано утром 10 марта, имея направление на Бомбей, с заходом в Занзибар. Днем миновал мыс Вурь, за которым был встречен необычайно большим волнением, очень сильно бросавшим корабль. К ночи с северо-востока налетел сильный ураган, заставивший дрейфовать, склоняясь к зюйду, под передними топовыми парусами. Весь следующий день «Святая Анна» лежала в дрейфе, борясь с нарастающей силой урагана. К утру буря еще усилилась, достигнув невиданной, невообразимой силы. Я потерял одну за другой все мачты. Мужество экипажа не раз спасало корабль от верной гибели. Но посланная нам судьбой чаша страданий не была исчерпана. Ряд исполинских волн беспощадно обрушился на корабль, который, как и его команда, изнемог в дикой борьбе. Течь в носу и на палубе лишила «Святую Анну» устойчивости, и в 5 часов пополудни корабль нырнул носом, затем лег на бок и стал погружаться. В момент этой последней, непоправимой катастрофы я находился в своей каюте. Только что я вошел и старался достать...» Далее следовал очень неразборчивый кусок записи, затем снова можно было прочесть: «...страшный треск и крен корабля, вопли и богохульные ругательства пересилили неистовый рев и грохот волн. Я упал и сильно разбил себе голову, потом откатился на внутреннюю стену каюты, поднялся и сделал попытку выбраться через дверь, очутившуюся теперь наверху, посредине стены. Но толстая дверь была, по-видимому, чем-то завалена и не поддавалась моим усилиям. Задыхаясь, весь в поту, я упал на пол в полном изнеможении, безразличный к близкой смерти. Немного оправившись, я снова попытался выломать дверь, ударяя в нее креслом, потом ножкой стола, но лишь изломал мебель, даже не повредив двери. Я стучал и кричал до полной потери сил, но никто не пришел мне на помощь, и я уверился в гибели своих людей и стал ждать своей кончины. Прошло много времени, однако вода в каюту прибывала очень медленно: за час ее набралось не более фута. Потрясенный катастрофой до глубины души, я не сразу сообразил, что очень легкий груз моего корабля — мы везли пробку из Португалии — и прославленная крепость

корпуса «Святой Анны» не дадут кораблю сразу пойти ко дну. Таким образом, я имею некоторое время для того, чтобы вспомнить, прежде чем погибнуть, о своих открытиях. Я хочу попытаться передать их людям, так как по беспечности и неутолимой жажде пополнить их не успел этого сделать ранее.

Необработанные записи моих исследований морских пучин между Австралией и Африкой хранятся в особой банке. Сюда же я вкладываю и эту последнюю запись, в надежде, что остатки моего корабля, несомые на поверхности океана, будут или прибиты к берегу, или осмотрены кем-нибудь в море: я знаю, что ценности и документы корабля всегда ищут в каюте капитана... Масло уцелевшего каким-то чудом фонаря догорает, в каюте уже трифута воды. Сатанинский рев урагана и качка не ослабевают. Я слышу, как огромные волны прокатываются сверху по корпусу «Святой Анны». Вот оно, крушение всех моих замыслов и жалкая гибель взаперти, внутри уже мертвого корабля! Но, как ни слаб, как ни ничтожен человек, луч надежды озаряет меня. И если я не спасусь сам, то, может быть, моя рукопись будет прочитана и дело мое не пропадет...

Больше медлить нельзя. Вода прибывает все быстрее и скоро зальет шкаф, на котором я пишу стоя и держу банку с записями. Прощайте, неизвестные люди! И не берегите моей тайны, как сделал это я, жалкий безумец. Поведайте о ней миру. Да свершится воля господя. Аминь».

Инженер закончил последние слова перевода, и все мы долго молчали, подавленные этим простым рассказом об ужасной катастрофе и мужестве давно погибшего человека.

Первым нарушил молчание механик:

— Представляете себе, как он писал это при тусклом свете старинного фонаря, запертый в погибающем корабле! Твердые люди были в старину...

— Ну, такие, положим, есть и сейчас,— перебил капитан.— Давайте-ка высчитаем: он писал в тысяча семьсот девяносто третьем — это значит, что корабль плавал до встречи с нами сто тридцать три года!

— Меня другое удивляет,— сказал инженер.— Посмотрите широту и долготу катастрофы. Она произошла где-то у Южной Африки, а мы столкнулись со «Святой Анной» у Курильских островов...

— Ну, этому легко найти объяснение,— ответил капитан и достал большую карту морских течений.— Вот, смотрите сами.— Толстый палец капитана скользнул по синим, черным и красным полосам на голубом фоне морей.— Вот очень мощное течение южных широт. Безусловно, катастрофа произошла в его пределах, к зюйд-осту от Капа. Оно идет на восток, почти до западных берегов Южной Америки, где заворачивает к северу. Тут оно смыкается с очень сильным южным экваториальным течением, идущим на запад, почти до Филиппинских островов. А вот тут, против Минданао, сложный круговорот, поскольку тут еще разные противотечения. Отдельные течения идут отсюда на север и попадают в Куро-Сиво. Вот уже ясен путь этого плавучего гроба...

Сидевший около меня водолаз взволнованно обратился к инженеру:

— Товарищ начальник, значит, он так и погиб в своей каюте?

— Ну конечно.

— А как же мы с товарищем старпомом его костей не нашли?

— Что же тут удивительного? — сказал инженер.— Разве вы не знаете, что кости в морской воде со временем растворяются? А сто тридцать три года — срок, достаточный для этого.

— Злое море! — произнес ревизор.— Доконало моряка да и костей не оставило.

— Почему злое? — возразил я.— Наоборот, приняло в себя еще лучше, чем земля. Разве это плохо — раствориться в необъятном океане, от Австралии до Сахалина?..

— Вы только послушайте его! — попробовал пошутить капитан.— Пойдешь и сам утопишься.

Но никто не улыбнулся его шутке. В сосредоточенном молчании мы обратились к уцелевшим листам рукописи.

Почерк был тот же, но более мелкий и ровный. Должно быть, эта рукопись была написана в спокойные минуты раздумья, а не в лапах надвигающейся смерти. К общему разочарованию, оказалось невозможным прочитать даже те страницы, которые не были полностью испорчены сыростью. Чернила побледнели и расплылись. Разбирать чужой язык, да еще с незнакомыми старинными оборотами речи и терминами, было для нас непосильным делом. Мы отделили те страницы, которые можно было про-

честь. Их оказалось совсем мало, но, к счастью, они шли одна за другой. Сохранились они только потому, что находились в самой середине пачки. Таким образом, мы имели целый, хотя и незначительный, кусок рукописи. Я до сих пор довольно точно помню его содержание:

«...Четвертый промер оказался самым трудным. Кран-балка трещала и гнулась. Все пятьдесят человек экипажа выбились из сил, работая у брашпиля. Я радовался прочности бимсов да и вообще тому, что так много положил труда на постройку корабля исключительной прочности для долгих плаваний в бурных сороковых широтах. Четыре часа упорного труда — и над волнами показался бронзовый цилиндр: мое изобретение для взятия проб воды и других веществ со дна океана. Помощник быстро повернул кран-балку, и массивный цилиндр повис, качаясь, над палубой. Из-под затвора очень тонкой струйкой брызгала вода, выжимаемая огромным давлением. В этот момент боцман перекинул рычаг задержателя, но так неудачно, что задел матроса Линхэма, наклонившегося, чтобы подобрать последнее кольцо перлиня. Удар пришелся по виску над ухом, и матрос упал как подкошенный. Кровь брызнула из раны. Его закатившие глаза и побелевшие, закушенные губы показывали, что ранение тяжелон. Линхэм упал прямо под водомерный цилиндр, и вода, стекавшая струйкой по цилиндру, потекла на рану. Когда мы подбежали и подняли матроса, кровь уже почему-то перестала течь. Не прошло и часа, как Линхэм, перенесенный в лазарет, очнулся. Он поправился необыкновенно быстро, хотя впоследствии и страдал головными болями, по-видимому от сотрясения мозга. Рана же закрылась и зарубцевалась уже на следующий день.

Вначале я не догадался сопоставить неслыханно быстрое заживление раны с тем, что на нее попала вода, добытая из глубины океана. Однако матросы немедленно сделали такой вывод, и по судну разнеслась молва о живой воде, добытой капитаном со дна океана.

Утром ко мне явился матрос Смит и попросил полечить чудесной водой гнойную язву у него на руке. Я намочил платок в добытой вчера пробе воды и отдал ему, а сам занялся изучением пробы. Ее удельный вес был довольно велик — тяжелее обычной морской воды. Цвет ее, налитой в прозрачный стакан, был необычен — голубовато-серого оттенка. В остальном я не мог обнаружить ничего особенного даже на вкус. Я налил всю пробу в

бутылку, чтобы отвезти своему другу, ученому-химику в Эбердние. Окончив работу, я ощутил необычайный прилив сил, бодрости, какой-то особенной жизненной радости. Я приписал это действию выпитой мной глубинной воды и, по-видимому, не ошибся. Что касается язвы Смита, то через два дня она совершенно зажила. С тех пор на все время нашего пути до Англии я держал в кармане небольшой пузырек с чудесной водой и очень успешно лечил ею раны и даже желудочные заболевания.

Мы взяли эту пробу с самого глубокого места — из большой круглой впадины на дне океана, на $40^{\circ}22'$ южной широты и $39^{\circ}30'$ восточной долготы, с глубины 10 тысяч футов.

Это было моим вторым большим открытием в океанских глубинах. До этого я считал самым замечательным находку необычайно едких красных кристаллов на глубине 17 тысяч футов, к северо-западу от мыса Бурь...

Я мечтал о том, что сделаю еще два срочных рейса с грузом для денег — проклятых денег! — и после этого смогу исследовать глубины океана выше сороковой широты на юг от Капа, где капитан Этербридж обнаружил огромные впадины на большом протяжении. Я думаю, что найду в этих таинственных пучинах древние вещества, сохранившиеся в глубине, где нет ни течений, ни волн, и никогда не появлявшиеся на поверхности...

Как обрадовался бы моим открытиям великий Лаперуз, который рассказывал мне о своих догадках и, собственно, повернул мои размышления к глубинам южных широт! Но смерть рано унесла от нас этого гениального человека, я же считаю преждевременным сообщать миру о своих открытиях и не сделаю этого, пока не исследую пучин Этебриджа...»

На последней сохранившейся странице была подчеркнута дата «20 августа 1791 года», далее шли слова: «...в 100 милях к востоку от восточного берега Кафферской земли мы встретили голландский бриг, капитан которого сообщил, что шел из Ост-Индии в Капштадт, но вынужден был отклониться к западу, уходя от урагана. Три дня назад он натолкнулся на место в море, покрытое высокими стоячими волнами, как будто бы вода была замкнута в огромном невидимом кольце. Эти волны начали так бросать его судно, что капитан испугался за целостность швов и обтяжку такелажа, и действительно, вскоре бриг дал течь. По счастью, это место было всего несколько миль

в ширину, и бриг довольно быстро под свежим бакштагом миновал эту площадь стоячих волн. Мне было интересно узнать, что очень редкое и почти никому не известное явление наблюдалось этим далеким от всяких выдумок простым моряком. Я тоже видел это явление и догадался, что появление таких волн всегда на круглой площади обозначает...»

На этом кончалась страница, и с нею все записи, которые мы смогли разобрать.

Вернувшись из этого рейса с «Коминтерном» во Владивосток, я вскоре получил назначение на «Енисей» — новый пароход, купленный в Японии. Этот грузовик в девять тысяч тонн перегонялся в Ленинград, и я был назначен на него старпомом — в виде, так сказать, премии за активное участие в спасении «Коминтерна». Мне очень не хотелось расставаться с «Коминтерном», его капитаном и командой, с которыми я свыкся за два года совместного плавания, но интерес к новому большому рейсу все же взял перевес над всеми другими соображениями. Я с болью в сердце расцеловался на прощанье со старым капитаном и со всеми другими своими товарищами по пароходу.

По дороге «Енисей» вез лес в Шанхай. Оттуда он должен был идти в Сингапур за оловом. Затем предстоял заход на Гвинейский берег, в Пуэнт-Нуар, за дешевой африканской медью, только что начавшей поступать на рынок. Следовательно, нам предстояло идти не через Суэц, а через Кап, вокруг Африки, то есть побывать как раз в местах гибели «Святой Анны». Короче говоря, этот рейс интересовал меня как нельзя более. Я перенес свой необъемистый скарб, в том числе и оловянную банку с драгоценной рукописью капитана Джессельтона, в отличную каюту старпома на «Енисее» и с головой погрузился в бесконечные и сложные мелочи приемки корабля. Мне нечего рассказать вам о самом плавании, проходившем, как и на множестве других судов, днем и ночью идущих по морям всего мира. Немало пришлось мне повозиться вместе с капитаном с прокладкой курсов в незнакомых местах и с грузовыми операциями. Бурные воды сороковых широт помпировали нас и не задали нам крепкой штормовой трепки, но все же к моменту прихода в Кейптаун я порядочно устал. Было очень приятно, что в силу необходимости снестись с нашими представителями в Кейптауне получилась задержка, и я смог около трех дней пол-

ностью провести на берегу, бродя по этому очаровательному городу и его окрестностям.

Я не последовал обычному стандарту моряков и променял разноплеменную суету Эддерлей-стрит на одинокое любованье этим удаленным от моей родины уголком земли. Величественная красота окрестностей Кейптауна навсегда завала мне в душу. Поднявшись на вершину Столовой горы, я любовался с высоты огромной белой дугой города, окаймляющей широкую Столовую бухту. Налево, далеко к югу, вдоль плоских крутых гор полуострова уходили фестончатые, сияющие на ярком солнце бухты. Ослепительная белая полоса пены прибоя окаймляла золотые сены прибрежных песков. Позади, к северу, тянулись ряды голубых огромных гор. Хребтистая масса остроконечной Львиной горы отделяла полумесяц Кейптауна от приморской части Си-Пойнта, где даже с высоты была видна сила прибоя открытого океана. Я съездил на ту сторону полуострова, в Мейзенберг, и испытал ласкающую пегу теплых синих волн Игольного течения.

По дороге, на знаменитом винограднике Вандерштея в Вейлборге, япил превосходное столетнее вино и не уставал восхищаться, сидя в машине, старинной архитектурой голландских домов под огромными дубами и как-то особенно благоухающими соснами. В последний день своего пребывания в городе я взял с утра такси и поехал на Морскую аллею — высеченную в скалах дорогу к югу от Си-Пойнта. Красные обрывы скал пика Чапман тонули в пене ревущего прибоя. Ветер обдавал лицо коленистыми брызгами. Овеянный ветром, взбодренный мощью океана, я миновал склоны Двенадцати Апостолов и бухту Камп и решил задержаться на вечер, уединившись на берегу открытого океана в предместье Си-Пойнт, известном мне по прежнему посещению Кейптауна своим уютным кабачком. Стемпело. Невидимое море давало знать о себе низким гулом. Я миновал окаймленный асфальтом бульварчик и повернул направо, к знакомой светло-зеленой двери, освещенной матовыми шарами на двух столбиках. Нижний зал, облюбованный моряками, тонул в табачном дыму, был полон запаха вина и гула веселых голосов. Хозяин знал, что сильнее всего трогает сердце моряка, и вот искусная скрипка донесла с эстрады нежные звуки Брамса.

Тихая неосознанная приятная печаль расставания охлгила меня в этот вечер. Кому из нас не приходилось

переживать эту печаль разлуки с очень понравившимся, но совершенно чужим местом! Вот завтра утром ваш корабль уйдет, и вы, наверно, навсегда проститесь с прекрасным городом — городом, через который вы прошли как чужой, ничем не связанный и свободный в этом отчуждении. Вы наблюдали незнакомую жизнь, и она всегда кажется почему-то теплой, красивой, чего, наверно, нет на самом деле...

В таком ясном и грустном настроении я уселся за столик, стоявший у выступа стены. Официант, привлеченный блеском моих нашивок, услужливо подскочил ко мне и принял заказ на основательную порцию выпивки, которой я хотел отметить свой отъезд. Я разжег трубку и стал наблюдать за оживленными, раскрасневшимися лицами моряков и нарядных девушек. Хорошая порция рома, разбавленного апельсиновым соком, дала желаемое направление моим мыслям, и я погрузился в неторопливые размышления о чужой жизни и о том восхитительном праве неучастия в ней, которое всегда ставит зоркого странника на какую-то высшую в сравнении с окружающими людьми ступень.

Скрипка снова запела, на этот раз цыганские напевы Сарасате. Я всегда любил их и всей душой отдался звукам, говорящим о стремлении вдаль, печали расставания, о неясной тоске по непонятному... Мелодия оборвалась. Я очнулся и полез в карман за спичками. В это время на эстраду вышла невысокая девушка. Я ощутил, как говорят французы, сердечный укол — такой неожиданной и неподходящей к этому кабачку показалась мне мягкая и светлая красота девушки. Мне трудно описать ее, да и ни к чему, пожалуй. Встреченная одобрителем гулом, девушка быстро подошла к краю сцены и запела. Ее голос был слаб, но приятен. Пение ее, по-видимому, любили, так как в зале воцарилась тишина. Она спела несколько песен, насколько я понял — любовно-грустного содержания. Мне понравилась какая-то тонкая, особенная обработка мотива, характерная для ее исполнения. Когда она скрылась за кулисами, гром рукоплесканий и восторженные вопли вызвали ее обратно. Она появилась снова, на этот раз в довольно откровенном костюме. Начался танец с прищелкиванием каблучков и повторением каких-то задорных куплетов под одобрительный смех присутствующих. И так не вязалась тонкая красота девушки с этой пляской и куплетами, что я ощутил подобие легкой оби-

ди и отпорнулся, наливая себе вино... Затем я занялся тщательным раскуриванием трубки, вынул часы... и вдруг быстро повернулся к эстраде, так и не посмотрев, который же час. Девушка, оказывается, снова переменяла костюм. На этот раз она была в черном бархатном платье с кружевным воротничком, что придавало ей какой-то старинный и трогательный облик. Занятый трубкой, я прослушал начальные слова песенки, которую она пела теперь. Но когда до моего сознания сквозь звуки рокочущей мелодии дошло название корабля «Святая Анна», я напряг слух и внимание, чтобы следить за быстрым темпом песни. Действительно, в песне говорилось о бесстрашном капитане Джессельтоне, избородившем южные моря, о высоких мачтах корабля «Святая Анна» и — представьте себе мое удивление! — о том, что капитан на пути около острова Тайн зачерпнул живой воды, веселившей живых и оживляющей мертвых, но вслед за тем исчез без следа со своим кораблем. Песенка кончилась, девушка поклонилась и повернулась уходить. Я стряхнул с себя невольное оцепенение, вскочил и стал так громко кричать «бис», что удивил соседей.

Девушка посмотрела в мою сторону, как будто бы удивившись, улыбнулась, отрицательно покачала головой и быстро ушла со сцены. Опомившись, я немного смутился, потому что сам не терплю бурных проявлений чувств. Но песенка девушки не позволяла мне думать ни о чем другом. Я ломал голову, стараясь разгадать связь погибшего корабля с певичкой в кейптаунском кабачке. Желание разыскать девушку и расспросить ее обо всем выросло и окрепло. И в ту же минуту, подняв глаза, я увидел ее прямо перед собой.

— Добрый вечер, — негромко сказала она. — Вам понравилась моя песенка?

Я встал и пригласил ее за свой столик. Подозвав официанта, и заказал для нее коктейль и только после этого взглянул ей в лицо. Усталая бледность проступала на нем, говоря о нездоровой жизни. Забавная манера презрительно вздергивать свой красивый носик скрашивалась милой и как бы смущенной улыбкой. Гладкое бархатное платье облегалo ее фигуру, обозначая высокую грудь.

— Вы немногословны, капитан, — сказала насмешливо девушка, повышая меня в чине. — Кто вы, где ваша родина?

Узнав, что я из Советской России, девушка стала смотреть на меня с нескрываемым интересом. Я, в свою очередь, спросил, как ее зовут, и мое сердце невольно забило сильнее, когда она ответила:

— Энн (Анна) Джессельтон.

Она принялась расспрашивать меня о моей далекой родине. Но я отвечал ей односложно, целиком поглощенный мыслью о протянувшихся через годы нитях судьбы, так странно связавших эту девушку с моей находкой на затонувшем корабле. Наконец, улучив момент, я спросил ее о родных и об отношении ее к капитану, о котором она пела в песенке. Выразительное личико Энн стало вдруг замкнутым и высокомерным, она ничего не ответила мне. Я продолжал настаивать, сделав в то же время намек на то, что интересуюсь капитаном Джессельтоном неспроста и что в силу особых обстоятельств имею право на это.

Девушка резко выпрямилась, и большие ее глаза посмотрели на меня с явным недоброжелательством.

— Я слыхала, что русские — чуткие люди, — с расстановкой произнесла она. — Но вы... вы такой, как все. — И ее маленькая рука обвела кругом шумный и дымный зал.

— Послушайте, Энн, — пробовал протестовать я, — если бы вы знали, чем вызвано мое любопытство, вы...

— Все равно, — перебила она, — я не хочу и не могу говорить с вами о важном, о своем здесь, и когда я... — Энн запнулась, потом продолжала снова: — А если вы думаете, что ваши деньги дают вам право лезть ко мне в душу, то спокойной ночи, я сегодня не в настроении!

Она встала. Встал и я, раздосадованный неслепым оборотом дела.

Энн посмотрела на мое огорченное лицо, глаза ее смягчились, и с милостивым видом она попросила проводить ее домой. Я расплатился, и мы вышли вместе. Запах и шум близкого моря сразу охватили нас. Пересекая широкую пустынную улицу, я взял Энн под руку. Вправо, вдали, темной массой сбегал в море мыс Си; налево, за освещенными электрическим заревом крышами домов и темной зеленью Грин-Пойнта, блестел маяк на Сигнальном холме. Мы углубились в тень аллей небольших деревьев, и я начал без всяких предисловий рассказывать о последнем своем плавании на «Коминтерне» и о приключении с потонувшим кораблем. В заключение я сказал, что записки капитана Джессельтона находятся

сейчас и моей каюте. Энн слушала не перебивая. Рас-
сказ, как видно, всецело захватил ее. Потом она внеза-
пно остановилась у калитки в ограде небольшого садика,
перед темным домом. Свет фонаря на высоком столбе
проицал через кроны низких деревьев, и я хорошо ви-
дел большие печальные глаза девушки. Она пристально
смотрела на меня, и выражение ее глаз совсем не соот-
ветствовало насмешливому тону голоса:

— Да, вы, без сомнения, настоящий моряк, если мо-
жете так здорово выдумывать...

— Энн тихонько рассмеялась, взялась за пуговицу мое-
го пиджака и, легко поднявшись на носках, поцеловала
меня... В ту же минуту она скрылась за калиткой, в тени
деревьев, куда не доходил свет фонаря.

— Энн! Одну минуту! — вскричал я, охваченный
волнением.

Никто не ответил мне. Я постоял с полминуты с не-
определенным чувством разочарования. Затем повернул-
ся и только сделал несколько шагов обратно по аллее,
как был остановлен голосом Энн:

— Капитан, когда уходит ваше судно?

— Я посмотрел на светящийся циферблат часов и сухо
ответил:

— Через четыре часа... Чего вы хотите от меня,
Энн? — Ответа не последовало. Я услышал лишь лег-
кий стук захлопнувшейся двери...

Ехать на корабль было еще рано, возвращаться в
набачок не хотелось. Я медленно пошел пешком вдоль
моря по направлению к яркой затухающей звезде Сиг-
нального холма. Вокруг горы до порта было не больше
четырех километров. Весь этот путь я прошел со смут-
ным ощущением какой-то утраты... На подъеме к Грин-
Шойту ветер, налетев с простора открытого океана, об-
нял меня. И, как много раз до этого, мелкими показа-
лись мне все мои огорчения перед лицом океана...

С рассветом я вышел на широкую аллею между до-
мом Викторни и мысом Муйл, а еще через полчаса спо-
койно рассматривал багряные верхушки волн в бухте,
поджидая катер. «Енисей» еще вчера отошел на рейд,
готовый к выходу в дальний путь.

Я вернулся на корабль, спустился в свою каюту и лег
на диван. Выходная вахта была капитана, но мне не хо-
телось спать. Я сунул голову под кран, потом выпил го-
рячего кофе и вышел на верхний мостик — полюбовать-

ся городом, очарование которого за два посещения крепко запало мне в душу. Мне захотелось подольше пожить здесь, у подножия фантастических гор, в тесной близости к океану. Синева бухты, прорезанная прямыми линиями двух волнорезов, окаймлялась амфитеатром белых домов города. Еще выше шла полоса густой зелени огромных деревьев, над которой поднимались синевато-серые кручи Пика Дьявола и Столовой горы, составлявшие исполинскую верхнюю часть амфитеатра. Например, за крутой дугой берега скрывался Си-Пойнт — место, уже ставшее для меня не чужим.

Громкий удар колокола на баке возвестил панер*. Свисток корабля, работа брашпиля, привычные слова: «Якорь чист!» — и «Енисей», разворачиваясь и сигналив, начал набирать ход.

Время шло, и ослепительное солнце сильно жгло палубу, когда «Енисей» изменил курс, склоняясь к порду. Очертания трех гор Кейптауна постепенно погрузились в море, скрывшись за волнами. Сменив капитана, я стоял на мостике. Широко улыбаясь, ко мне подошел капитан с какой-то бумажкой в руке: «Я получил вот это, но, наверно, оно адресовано вам — недаром вы столько времени в городе пропадали».

Недоумевая, я взял у него телеграмму, только что принятую радистом: «Капитану русского корабля. Жалею о вчерашнем, нам нужно увидеться, обязательно ищите меня, когда будете снова. Энн». На одно мгновение я увидел перед собой обаятельное лицо девушки... Ощущение утраты снова охватило меня. Но я преодолел очарование и спокойно сложил телеграмму. Я был уверен, что расстался с Кейптауном на многие годы, если не навсегда. И даже ответить ей я не смогу, так как она не догадалась дать мне свой адрес... Я поднял руку вверх и разжал пальцы. Свежий морской ветер мгновенно подхватил телеграмму и, крутя, опустил ее в пенный след винта...

Едва я попал в Ленинград, как сразу же принялся за дело. Морские специалисты, с которыми я говорил об открытии Джессельтона, только недоумевали и сомневались. Но, по совету приятеля, я обратился к знаменитому геохимнику, академику Верескову. Старик чрезвычай-

* Панер — один из моментов съемки с якоря, когда якорная цепь приходит в вертикальное положение.

но воодушевился моим рассказом и объяснил, что в океанских впадинах, образовавшихся в древние времена, мы безусловно можем найти в глубинах давно исчезнувшие с поверхности земли вещества — минералы и газы с сильно отличными от ныне известных физическими и химическими свойствами. Но их надо искать в древних пучинах, очень редких в Мировом океане и известных как раз в области южных широт между Австралией и Африкой. Однако на мой вопрос о непосредственном значении для науки найденной мною рукописи академик ограничился неопределенным замечанием, что указание широты и долготы имеет некоторое значение. Потом ученый сказал мне, что на основании данных, добытых столь необыкновенным путем, никто не возьмется сделать какое-либо заключение. Проверку открытий Джессельтона могла бы сделать специальная экспедиция, но иная-таки: кто же возьмется снарядить дорогостоящую далекую экспедицию, пользуясь столь сомнительными указаниями? Уходя от ученого, я ощутил такую же грусть разочарования и утраты, как в далеком Кейптауне. То, что казалось мне безусловно ярким и важным, как-то сразу потускнело, и я понял, что чем невероятнее и чудеснее встреченная в жизни случайность, тем труднее убедительно рассказать о ней...

1942—1943

ЭЛЛИНСКИЙ СЕКРЕТ

«Я очень благодарен всем вам,— тихо обратился к собравшимся профессор Израиль Абрамович Файнцимер, и огромные темные глаза его засветились.— В наши трудные дни вы не забыли о моем скромном юбилее... В благодарность я расскажу вам одну замечательную повесть недавнего времени. Мы, ученые, не очень любим раскрывать еще не подтвержденные многими фактами наблюдения,— примите это как знак моего уважения и доверия к вам.

Вы знаете, что я посвятил свою жизнь исследованию человеческого мозга и работы психики. Но не с одной стороны, не в рамках одной узкой специальности подходил я к этому интереснейшему разделу науки, а старался охватить деятельность и строение мозга во всей его сложности, как мыслительного аппарата. Был я прилежным анатомом, физиологом, психиатром и прочая, пока не основал своего направления — психофизиология мозга. Последние годы я усиленно работал над выяснением природы памяти и, должен сознаться, для выяснения вопроса сделал еще мало: уж очень тяжелая это задача. Пробираясь ощупью среди хаоса необъяснимых фактов, бродя, как в потемках, в сложнейших взаимосвязях первых клеток мозга, я собрал лишь отдельные, ставшие ясными крупницы, стараясь создать из них достоверный, опытом проверенный фундамент учения о памяти. Но не об этом я хочу говорить сейчас, а о том, что попутно натолкнулся на ряд особенных явлений, которые еще очень темны, и я даже не пытался ничего сообщить о них в печати. Эти явления я назвал памятью поколений, или генной памятью. Я не буду давать вам научные доказательства, а скажу только, что по наследству передается ряд довольно сложных бессознательных, иногда вполне автоматических действий нервного механизма животного. Инстинкты и сложные рефлексy не могут, по-моему, быть только в подкорковых, низших, центрах мозга. Здесь обя-

вательно принимает участие кора — следовательно, весь механизм гораздо сложнее, чем это предполагали до сих пор. Упрощение механизма инстинктов и есть крупнейшей ошибкой современной физиологии. Но это еще не память — память стоит много выше в цепи всё усложняющихся организаций, ведающих восприятием и осмыслением окружающего мира. Как и принято современной наукой, память не наследственна, то есть те отпечатки внешнего мира, которые хранит в себе мозг и накапливает во все время жизни индивида, навсегда исчезают со смертью его и никак не обогащают, ничего не передают возникшему от этого индивида потомству.

Суть моего открытия заключается в том, что я нашел факты, доказывающие передачу некоторых отпечатков памяти по наследству из поколения в поколение. Вы уж извините меня за длинное вступление, но вопрос настолько сложен, что я должен подвести к нему вас подготовленными, иначе мое не о б ы ч а й н о е вы без мистики и чертовщины себе никак не объясните. Не стоит усмехаться, это общая для всех или для очень многих слабость человеческой природы. Не вы первые, не вы последние факт достоверный, но совершенно для вас необъяснимый считаете сверхъестественным.

Продолжаю. Все вы замечали, но ни с чем не связывали факт, что, например, красота форм, будь то архитектурных, будь то местности какой-нибудь, будь то человеческого тела и так далее, чувствуется и, в общем, одинаково оценивается всеми людьми самых различных категорий, развития и воспитания. А дайте вы проанализировать эту красоту соответствующему специалисту: ваяльце — архитектору, ландшафт — географу, тело — анатому, тот сразу скажет, что красота есть совершенство в исполненном назначении, совершенство целесообразности, экономии материала, прочности, силы, быстроты. И я думаю, что опыт бесчисленных поколений дал нам бессознательное понимание совершенства, воспринимаемого в виде красоты, и это понятие отпечатывается уже в памяти — той бессознательной памяти, которая передается по наследству из поколения в поколение. Есть и другие примеры этой бессознательной памяти поколений, но о них говорить сейчас не буду. И без того проблема памяти — одна из самых еще неясных.

В представлении современной науки память гнездится как бы в ячейках, создаваемых сложнейшими переплёт-

тами отростков нервных клеток мозга в течение индивидуальной жизни, жизни одного человека. Я добавляю, что некоторые из этих ячеек, поскольку окружающая нас природа в течение сотен веков в основных своих чертах остается одинаковой, одинаково возникали у всех людей из поколения в поколение и, наконец, стали передаваться по наследству. Вот эта бессознательная или подсознательная память поколений составляет общую всем нам канву нашего мышления, вне зависимости от образования и воспитания. Исследования в этом направлении очень трудны, и я еще не имею ни одного опытом доказанного факта.

Однако я иду еще дальше и допускаю, что в редких случаях комбинации ячеек памяти из особых связей нервных клеток могут передаваться по наследству, сохраняя из жизни прошлых поколений некоторые кусочки из области уже сознательной памяти — памяти, реализуемой сознательным мышлением.

Это известные, но обычно считающиеся недостоверными факты совершенно точного описания людьми тех мест, в которых они никогда не были; сны, воспроизводящие точную обстановку прошедших событий, никогда тоже не виданных и не слыханных, и многое такое же. Все подобные явления верующими мистиками и другими чудаками считаются доказательством переселения душ, а ученые только пожимают плечами, по известной поговорке об обезьяне, которой нечего сказать. Вероятно, есть люди с более обостренной памятью поколений, также и, наоборот, с полным ее отсутствием.

Так вот, дорогие мои, недавно, в тяжелые дни великой войны, я неожиданно получил новые доказательства действительного существования памяти поколений, да еще сразу из области сознательной памяти. Война вынудила меня оторваться от чисто научной работы. Я не мог по своему характеру не принять непосредственного участия в медицинской работе Советской Армии и начал работать сразу в нескольких крупных госпиталях, где многочисленные контузии, шоки, психозы и другие травмы мозга требовали применения всех моих познаний.

Домой я попадал только к ночи. В своей квартире на Сретенском бульваре я обычно просиживал часа два в кресле перед письменным столом, отдыхая и в то же время размышляя о способах излечения особо трудных

ранения. Иногда записывал важные факты или рылся в литературе, охотясь за описаниями сходных клинических случаев.

— Такое времяпрепровождение вошло у меня в привычку. С друзьями и товарищами-учеными я виделся редко — во время возвращения домой не оставляли совсем времени, а телефонных разговоров я очень не люблю и пользуюсь этим прибором только в самых крайних случаях. Мое необычайное подошло ко мне совсем незаметно в такой обычный тихий вечер. В тишине, время от времени нарушаемой привычным мерзким лязгом трамвая, стройно шли одна за другой четкие мысли. Я думал в случае потери речи у одного старшего лейтенанта, контуженного миной. Когда только что начало вырисовываться будущее заключение, зазвонил телефон. Я не ждал звонка, в тишине и сосредоточенности вечера он показался мне настолько громким, что я быстро сдержал трубку, морщась от досады. Ухо врача отметило наволнованную напряженность голоса, осведомившегося, квартира ли это профессора Файнциммера. Затем произошел следующий диалог.

— Вы профессор Файнциммер?

— Я.

— Простите, пожалуйста, за поздний звонок. Я звонил пять раз днем, пока мне не сказали, что вы раньше одиннадцати не приходите.

— Ничего, я раньше часу не ложусь. Чем могу служить?

— Видите ли, меня направил к вам профессор Новгородцев. Он сказал, что вы единственный, кто может мне помочь. Он сказал еще, что я буду для вас интересным объектом. Я и подумал...

— Хорошо, кто вы?

— Я лейтенант, раненый, недавно из госпиталя, и мне нужно...

— Вам нужно повидаться со мной. Завтра в два часа в первом отделении Второй хирургической клиники спецгоспиталя. А, вы знаете адрес... Хорошо, спросите меня, и вас проведут.

Голос, застенчиво бормочущий благодарности, угас в трубке. Имя моего друга-хирурга, не раз находившего очень важные для меня случаи заболеваний, говорило об интересном больном. Я постарался догадаться, что это

может быть, потом закурил и возобновил прерванный ход размышлений.

Спецгоспиталь занимал прекрасное помещение, и я часто пользовался кабинетом главного хирурга для ответственных консультаций. В два часа я шел по широкому коридору клиники, вдоль огромных окон по мягкой дорожке, прекрасно заглушавшей шагн. В конце коридора у последнего окна стоял человек с рукой на перевязи. Подойдя поближе, я разглядел красивое, измученное молодое лицо. Военная гимнастерка с отпечатками недавно снятых лейтенантских кубиков очень шла к подтянутой, стройной, атлетической фигуре. Раненый поспешно подошел ко мне и сказал:

— Вы профессор Файнциммер. Я сразу почувствовал, что это вы. А я тот, кто звонил к вам вчера.

— Очень хорошо, идемте...

Я отпер дверь и провел его в кабинет.

— Давайте познакомимся, молодой человек,— по своей обычной привычке я протянул ему руку.

Раненый лейтенант, смущаясь, подал мне левую руку — правая беспомощно висела на широкой перевязи защитного цвета — и назвал себя Виктором Филипповичем Леонтьевым.

Закурив сам, я предложил ему папиросу, но он отказался и сидел, наклонившись грудью вперед, в то время как длинные гибкие пальцы его здоровой руки нервно ощупывали резные украшения массивного стола. Я с профессиональной тщательностью внимательно изучал его внешность. Безусловно красивое, правильное лицо, с тонким носом, густыми четкими бровями и маленькими ушами. Приятный рисунок губ, темные волосы и темно-карие глаза.

«Впечатлительная и страстная натура», — подумал я и отметил виновато-смущенное выражение его лица, характерное для очень нервных или больных людей. Пока я выжидательно смотрел на него, он взглянул раза два мне в глаза, сейчас же отвел их и сделал несколько движений горлом, как бы проглатывая что-то. «Ваготник», — мелькнуло в моем мозгу.

Раненый лейтенант заговорил, заметно волнуясь, тихим голосом, иногда слегка задыхаясь. Он улыбнулся, и я был очарован этой беглой, но какой-то особенно радостной и ясной улыбкой, совершенно снявшей вымученную хмурость с его очень молодого лица.

— Профессор Новгородцев сказал мне, что вы много изучали разные, трудно объяснимые мозговые заболевания. Это, знаете, очень чуткий человек,— всю жизнь буду помнить о нем с благодарностью... Я сейчас в плохом состоянии — меня преследуют галлюцинации, и нарастает какое-то дикое напряжение; кажется, что я вот-вот сойду с ума. Вдобавок бессонница и сильные боли в голове — вот тут,— и он показал на верхнюю часть латылия.— Разные врачи по-разному пробовали меня лечить — не помогло.

— Расскажите-ка мне историю вашего ранения,— потребовал я, и снова очаровательная беглая улыбка переродила его лицо.

— О, это вряд ли может иметь отношение к моей болезни. Я ранен осколком мины в сустав правой руки, но контузии никакой не было. Осколок разбил кость, ее вынули, потом будут делать пересадку кости, а пока рука болтается как плоть.

— Значит, ни при ранении, ни после никаких явлений контузии у вас не замечали?

— Нет, никаких.

— А когда у вас началось такое особое психическое состояние?

— Недавно, так месяца полтора... Да, пожалуй, еще в госпитале, где я лежал, у меня вместе с выздоровлением шло все увеличивающееся ощущение беспокойства, потом прошло, а теперь вот что получилось. Из госпиталя я уже два месяца с лишним как вышел.

— А теперь расскажите, почему, как вы сами считаете, возникло ваше заболевание? Какие ощущения и галлюцинации у вас происходят?

Лейтенант боролся с нарастающим смущением. Я поспешил ему помочь, строго заявив, что, если он хочет моей помощи, он должен дать мне в руки как можно больше сведений. Я не пророк и не знахарь, а ученый, которому для решения любого вопроса нужна определенная фактическая основа. Пусть не стесняется — у меня сегодня есть время — и расскажет все подробнее. Раненый справился постепенно с застенчивостью и начал рассказывать, вначале запинаясь и с усилием подбирая выражения, но потом привык к моему спокойному вниманию и изложил всю свою историю даже, я сказал бы, с художественным вкусом.

До войны лейтенант Леонтьев был скульптором, и я

действительно вспомнил, что видел некоторые его работы на одной из выставок на Кузнецком. Это были преимущественно небольшие статуэтки спортсменов, танцовщиц и детей, выполненные просто, но с таким глубоким знанием природы движения и тела, которые присущи лишь подлинному таланту.

Художник и сам был порядочным спортсменом — пловцом. На одном из состязаний по плаванию он встретился с Ириной — девушкой, поразившей художника совершенной красотой тела. Любовь была взаимной. Ирина, в противоположность многим красивым девушкам, была простой и чуткой. Глаза лейтенанта сияли глубоким внутренним восторгом в то время, как он рассказывал о своей возлюбленной, и я очень живо, даже с каким-то намеком на зависть, представил себе эту прекрасную молодую пару. Нужно иметь сердце влюбленного и душу художника, чтобы так живо, скромно и коротко рассказать о любимой девушке и передать всю ясность и силу своей любви. Короче говоря, лейтенант совсем покорила меня и заодно очаровал своей Ириной.

С этой любовью, где гармонически сочетались восторг художника и радость влюбленного, к Леонтьеву пришло властное желание — работы — приобщения всех людей к тому прекрасному чувству, которое было создано Ириной и им. Он решил сделать статую своей любимой и передать в ней весь блеск ее очарования, весь огонь бьющей ключом жизни, а не только создать холодный, отточенный символ прекрасного тела, подобный классическим образцам. Это вначале смутное желание постепенно оформилось и окрепло, пока наконец художник не был всецело захвачен своей идеей.

— Вы понимаете, профессор,— сказал он, наклоняясь ко мне,— в этой статуе было бы не только служение миру, не только моя идея, но и великая благодарность Ирине.

И я понял его.

Замысел художника оформился очень скоро: его любимая не разлучалась с ним, но Леонтьев долго не мог решить, какой материал взять ему для статуи. Призрачная белизна мрамора не годилась, так же не соответствовала его идее резкая смуглость бронзы. Другие сплавы или мертвили воображение, или были недолговечны,— художник же хотел сохранить векам расцвет красоты своей Ирины.

— Решение пришло, когда художник познакомился с описаниями древнегреческих авторов, в которых упоминались не дошедшие до нашего времени статуи из слоновой кости. Слоновая кость — вот нужный ему материал, плотный, позволяющий выполнить мельчайшие детали — те детали, которые волшебством искусства создают впечатление живого тела. Наконец, цвет, совершенство поверхности и долговечная прочность, — слоновая кость стояла того, чтобы ее искать.

Зная, что отдельные куски кости могут быть склеены без следов соединений, художник посвятил около года на приобретение и подбор нужных кусков слоновой кости. Нужно сказать, что это был очень упорный труд: у нас в стране слоновая кость не в ходу. Возможно, что весь материал так и не был бы собран, если бы Леонтьев не добивался разрешения получить слоновую кость за-за границы. Побывав на обширном аукционе слоновой кости в Африка-Хауз в Лондоне, он быстро подобрал все нужное количество превосходного материала и вернулся в Москву, полный желания немедленно приступить к работе, однако сильная болезнь не позволила ему сразу сделать это, а затем разразилась война.

Война увела его далеко и от любимой, и от мира его чувств и идей. Он честно выполнил свой долг, храбро боролся за все дорогое ему в родной стране, но через два месяца снова очутился в Москве после тяжелого ранения. Здесь его встретила та же Ирина: ничего не изменилось в ней, только глубокая нежность к нему, раненному, еще ярче светилась в ее облике.

Прежние мечты с новой силой охватили художника, но теперь к ним примешивалась горечь сознания, что он в одной руке не сможет создать статуи, а если и сможет, то, наверное, весь огонь его творческого порыва растворится в трудностях техники исполнения — исполнения убийственно медленного. Вместе с горечью этой беспомощности был и страх — грозная разрушающая сила современной войны только теперь по-настоящему была осознана. Страх не успеть выполнить своего замысла, не уловить, не остановить момента расцвета спящей красоты Ирины уже в госпитале заставлял его часто беспокойно метаться по постели или не спать ночами в цепях бесконечных дум.

Мысль металась в поисках выхода, беспокойство все дальше проникало в глубину души, и росло нервное на-

пряжение. Недели шли, и психическое возбуждение все развивалось, что-то поднималось со дна души, заставляя мозг напрягаться, и билось в поисках выхода, неосознанное, большое. Леонтьеву казалось, что он должен что-то вспомнить, и сразу откроется выход для быющей внутри силы,— тогда вернется прежняя ясная стройность мира. Он мало спал, мало ел, ему было трудно общаться с людьми. Сон был не настоящий — напряжение натянутой в мозгу струны и тут не покидало художника. Чаще вместо сна в полузабытьи скользили вереницы туманных мыслей-образов. Казалось, что еще немного — лопнет струна, вибрирующая в мозгу, и придет полное сумасшествие. Так после нескольких неудачных попыток с другими врачами Леонтьев пришел ко мне.

Я спросил, не было ли повторяющихся галлюцинаций, или, как он их называл, мыслеобразов. Лейтенант только покачал головой и сказал, что этот же вопрос ему задавали все другие врачи.

— Ну и что же из этого,— возразил я,— опорные точки у всех нас должны быть одинаковы, раз мы пользуемся одной наукой. Но я задам вам этот же вопрос по-другому: постарайтесь вспомнить, нет ли чего-нибудь во всех ваших видениях общего, какой-нибудь основной, связующей их идеи?

Леонтьев, недолго подумав, оживился и ответил коротко:

— Да, безусловно.

— Что же это?

— Мне кажется, Древняя Эллада.

— То есть вы хотите сказать, что все картины, проходящие в мыслях перед вами, как-то связаны с вашими представлениями об Элладе?

— Да, это верно, профессор.

— Хорошо, сосредоточьтесь, дайте спокойно течь вашим мыслям и расскажите мне для примера две-три из ваших галлюцинаций, постарайтесь наиболее яркие и законченные.

— Ярких много, а вот законченных нет, профессор. В том-то и дело, что любое видение для меня постепенно как бы растворяется в тумане, ускользает и обрывается.

— Это очень важно — то, что вы сказали, но об этом потом, а сейчас мне нужны примеры ваших мыслеобразов.

— Вот одно из особенно ярких: берег спокойного моря в ярком солнце. Топазовые волны медленно набегают на зеленоватый песок, и верхушки их почти достигают опушки небольшой рощицы темно-зеленых деревьев с густыми и широкими кронами. Налево низкая прибрежная равнина, расширяясь, уходит в синеватую даль, в которой смутно вырисовываются контуры множества небольших зданий. Направо от рощи круто поднимается высокий скалистый склон. На него, извиваясь, поднимается дорога, и эта же дорога чувствуется за деревьями рощи, позади нее... — Лейтенант замолк и посмотрел на меня с прежним виноватым выражением. — Инакше, это все, что я могу сказать вам, профессор.

— Отлично, отлично, но, во-первых, откуда вы знаете, что это Эллада, а во-вторых, не похожи ли видения, подобные только что рассказанному, на картины художников, воспроизводящих Элладу и ее воображаемую жизнь?

— Я не могу сказать, почему я знаю, что это Эллада, но я знаю это твердо. И ни одно из этих видений не является отражением виденных мною картин на темы древнегреческой жизни. А в деталях есть и похожее, есть и не похожее на общие всем нам представления, сложившиеся на излюбленном художественном произведении.

— Ну, сегодня не стоит больше утомлять вас. Расскажите еще какой-нибудь другой мыслеобраз ваших галлюцинаций, и довольно.

— Опять каменистый высокий склон, пышущий зноем. По нему поднимается узкая дорога, усыпанная горячей белой пылью. Ослепительный свет в мерцающей дымке нагретого воздуха. Высоко на ребре склона выделяются деревья, а за ними высится белое здание, охваченное поясом стройных колонн, как бы выпрямившихся гордо над кручей обрыва. И больше ничего.

Рассказы лейтенанта не дали мне ни одной трещины в стене неизвестного, за которую можно было бы зацепиться мыслью. Я распрощался с моим новым пациентом без чувства уверенности в том, что я действительно смогу ему помочь, и обещал дня через два, обдумав сообщенное им, позвонить ему.

Следующие два дня я был очень занят, и то ли вследствие усталости мозга, то ли потому, что заключение еще не созрело, я не имел никакого суждения о болезни

Леонтьева. Однако назначенный срок кончился, и вечером я с чувством вины взялся за трубку телефона. Леонтьев был дома, и мне досадно было слышать, какая надежда сквозила в тоне его вопроса. Я сказал, что не мог еще в куче других дел как следует подумать, а потому позвоню еще через несколько дней, и спросил, видел ли он еще что-нибудь.

— Конечно, очень многое, профессор,— ответил Леонтьев.

Я попросил передать тут же по телефону наиболее яркое видение. И вот что он рассказал:

— Высоко над морем находится большое белое здание, и кажется, что портик его с шестью высокими колоннами опасно выдвинут вперед над обрывом. В стороны от портика разбегаются белые колоннады, полускрытые яркой зеленью деревьев. К портику ведет широкая белая лестница, обрамленная парапетом из мраморных глыб, пригнанных с геометрической точностью. Верхний край парапета плавно закруглен, и под ним бегут четкие барельефы движущихся обнаженных фигур. На каждом уступе широкая площадка, обсаженная кипарисами, и на ней статуи. Я не могу разглядеть эти статуи: глаза режет блеск ослепительного солнца на мраморных ступенях, резкие тени деревьев пересекают площадку...

Кончив разговор, я откинулся в кресле, размышляя, и долго думал над странным случаем, представшим передо мной. Не нужно передавать вам всех моих попыток разрешения задачи. Они так же неинтересны, как и обычная цепь фактов нашего повседневного существования; неинтересны, пока не случится что-то яркое, вдруг изменяющее все.

Яркое и случилось. Ток мыслей замкнулся мгновенной вспышкой, в которой пришло сознание, что виденные художником в его бредовых картинах отрывки представляют собою кусочки одного целого в его постепенном развитии... А если это так, то... неужели я встретился с примером памяти поколений, сохранившейся и выступившей из веков именно в этом человеке. Весь захваченный своим предположением, я продолжал нанизывать известные мне факты на внезапно появившуюся нить. Леонтьев жаловался на боли в верхней части затылка, а именно там, по моим представлениям, в задних областях больших полушарий, гнездятся наиболее

древние связи — ячейки памяти. Очевидно, под влиянием огромного душевного напряжения из недр мозга начали проступать древние отпечатки, скрытые под всем богатством памяти его личной жизни. И его навязчивое ощущение усилило вспомнить что-то, без сомнения, было отзвуком подсознательного скольжения мысли по непроявленным отпечаткам памяти. Как у художника, критическая память у него была необыкновенно сильно развита, следовательно, проявляющиеся кусочки отражались в мышлении в виде картин.

Наблюдая себе точку опоры, я продолжал еще и еще подкреплять свою догадку, но прервал рассуждения и с волнением вышел снова за телефон. Если мои рассуждения верны, то я сейчас услышу от Леонтьева именно то, что и нужно услышать. Если не услышу, все неверно и снова впереди гладкая, непроницаемая стена неизвестного. Я забыл даже о позднем времени. Леонтьев по обыкновению не спал и сразу подошел к телефону.

— Это вы, профессор, — услышал я в трубку его необычному напряженный голос, — значит, вы что-то решили?

— Вот что, дорогой мой, известна ли вам ваша родословная?

— О, сколько раз меня уже спрашивали об этом! Несколько я знаю, у нас в роду нет сумасшедших и нянниц.

— Просьте сумасшедших, мне совсем не то требуется. Знаете ли вы, кто по национальности были ваши предки, откуда они, из какой страны? Вы, должно быть, южанин!

— Это так, профессор, но я не могу понять, как...

— Объясню потом, не перебивайте меня! Так кто же у нас в роду южанин?

— Я не знатная персона и точной генеалогии не имею. Знаю только, что родители моего деда оба были родом с острова Кипра. Но это было очень давно, а дед переселился в Грецию, а оттуда в Россию, в Крым. Я и слыху крымчак по месту рождения. Но зачем это вам нужно, профессор?

— Увидите, если моя догадка верна, — не скрывая своей радости, ответил я, договорился с Леонтьевым о приеме на завтра и повесил трубку.

Лежа в постели, я еще долго размышлял. Задача была ясна, и диагноз верен, теперь нужно было усилить и

продолжить проявление памяти поколений до какого-то важного для Леонтьева предела. Но, что это за предел, Леонтьев, конечно, не знал, и я тоже не мог догадаться. Уже засыпая, я решил, что будущее само покажет. На следующий день в том же кабинете и в прежней позе сидел Леонтьев. Его бледное лицо уже не было хмурым, и он безотрывно следил глазами за мной, пока я расхаживал по кабинету и посвящал его в свою теорию. Кончив, я опустился в кресло за столом, а он сидел в глубокой задумчивости. Я пошевелился, и он вздрогнул, затем, упорно глядя мне в глаза, спросил:

— А не думаете ли вы, профессор, что и самая идея статуи из слоновой кости не случайно возникла именно у меня?

— Что ж, может быть,— коротко ответил я, не желая отвлекаться от пришедшего мне в голову способа дальнейшего выяснения воспоминаний Леонтьева.

— А не имеет ли то, что я должен вспомнить, отношения к моей статуе? — продолжал настаивать художник.

— О, вот это очень вероятно,— сразу отозвался я, так как слова художника как бы поставили точку в мыслях.

Загоревшиеся глаза Леонтьева показали, как сильно подействовала на него моя догадка. Может быть, он инстинктивно чувствовал правильность пути к разрешению загадки и сам уже помогал мне в поисках.

Мы условились, что художник постарается немедленно изолироваться от всех внешних воздействий. Запершись в своей квартире, он в полутьме будет стараться сосредоточиться на своих видениях, а когда картины будут исчезать, попробует их снова вызвать мыслями о своей статуе. Не бороться с ощущением необходимости что-то вспомнить, а, наоборот, усиливать его, возбуждая память некоторыми особыми приемами по моим указаниям. В усилиях вспомнить нервное возбуждение может достичь опасного предела, но на этот риск придется пойти. О видениях и о своем состоянии Леонтьев будет сообщать мне по телефону вечером.

На этот раз лейтенант заторопился домой. Провожая глазами его стройную фигуру, я еще раз подумал о редкой привлекательности этого человека, который неведомо как стал мне дорог. Вечером, против ожидания, звонка не последовало. Слегка беспокоясь, я собирался уже

позвонить сам, но раздумал, решив не мешать одинокому сосредоточению своего пациента. Однако где-то внутри меня грызло сомнение в безопасности изобретенной мной системы лечения, и, когда на следующий вечер зазвонил телефон, я посмотрел на противный аппарат с облегчением.

— Дорогой профессор, вы, наверное, правы... Я вошел, — без предисловия сообщил мне Леонтьев, и в голосе его как будто не чувствовалось нездоровой напряженности.

— Что такое, куда вошли? — не понял я.

— Да в этот дом или дворец, ну, в то белое здание на обрыве, — торопясь, говорил художник. — Конечно, все эти анонимившиеся мне так отчетливо картины постепенно вводят одна в другую. Теперь я вижу, что внутри этого здания. Это большая комната или зал. Вместо двери широко распихнутая медная решетка. Медные же листы выстилают пол. Окон нет, вместо них широкие аркады вверху. Через них струится ровный свет без теней. Здесь много статуй и других каких-то вещей, но я не мог их разглядеть: ясно они не видны. У стены, противоположной решетке, в центре главной оси зала — никакая широкая аркада, в которую видны густые верхушки сосен и сверкающее через них небо. У этой аркады еще белая статуя, и рядом какие-то столики и сосуды... О бог мой, сейчас понял: ведь это мастерская студентора! До свидания, профессор!

Трубка глухо щелкнула. Я, пожалуй, не меньше самого художника горел нетерпением узнать побольше, отчетливо сознавая необычайность встреченного мною. Но как ученый я был обучен терпению и мог по-прежнему заниматься своими делами, несмотря на то что телефон молчал два следующих вечера. Звонок раздался рано утром, когда я только еще собирался начинать трудовой день и не ждал никакого сообщения от Леонтьева. Художник устало попросил меня сразу же приехать к нему, если смогу.

— Я, кажется, кончил свои странствования по древнему миру, ничего не могу понять, профессор, и очень боюсь... — Он не договорил.

— Хорошо, постараюсь, ждите: или приеду, или повоюю, — поспешно согласился я.

Обеспечив себе свободное утро, я поехал на Таганку и не без труда разыскал красивый небольшой дом с ба-

шенкой, расположившийся на бугре, в садике, глубоко запрятанном в изломе улицы.

Я позвонил и сейчас же был радостно встречен самим Леонтьевым. Художник быстро ввел меня в свою комнату, весьма простую, без всякого нарочитого беспорядка во вкусах и привычках, почему-то принятого людьми искусства.

Окно, завешенное толстым ковром, не давало света. Маленькая лампочка, закрытая чем-то голубым, едва давала возможность различать предметы. Я усмехнулся, увидев, с какой точностью были выполнены все мои указания.

— Зажгите же свет, ни черта не видно.

— Если можно, то не нужно зажигать, профессор,— робко попросил мой пациент,— я боюсь, вдруг опять не то, боюсь потерять свою сосредоточенность. Сосредоточиться заново у меня уже не хватит сил.

Я, разумеется, согласился, и Леонтьев, откинув голубое покрывало с лампочки, усадил меня на широкой тахте и сел сам. Даже в скудном свете я мог увидеть, как ввалились и бледны его щеки и увеличились блестящие глаза.

— Ну, рассказывайте,— подбодрил я художника, вытаскивая папиросы и внимательно следя за его лицом.

Леонтьев медленно потянулся к столу, взял с него лист бумаги и молча подал мне. Большой лист был покрыт неровными строчками непонятных знаков. Как-то крестики, уголки, дуги и восьмерки, не написанные, а скорее старательно зарисованные, шли группами, очевидно образуя отдельные слова. Я в общих чертах имел представление о разных алфавитах, как древних, так и современных, но никогда ничего похожего не видел. Сверху были написаны две короткие строчки, по-видимому обозначающие заглавие.

Я долго смотрел на страницу неведомых письмен, и предчувствие необыкновенного и интересного постепенно охватывало меня, то замечательное ощущение порога неизвестности, знакомое всякому, сделавшему какое-либо большое открытие. Вскинув глаза на художника, я увидел, что он безотрывно следит за мной,— даже губы его полуоткрылись, придавая лицу ребячески внимательное выражение.

— Вы понимаете что-нибудь, профессор? — тревожно спросил Леонтьев.

— Конечно, ничего,— прямо ответил я,— но надеюсь понять после ваших разъяснений.

— О, это все та же цепь видений. Помните, я звонил вам и рассказывал о внутренности здания? Во время разговора с вами я сообразил, что это мастерская скульптора или художественная школа. Еще лишняя мысль в моей мечтой поразила меня, и я поспешил снова вернуться к галлюцинациям, уже понимая в них какую-то определенную линию, какой-то смысл, который я и должен был, наверное, разгадать.

— Еще и еще я поддавался своим видениям, усиливая их и уточняясь по вашим указаниям, но все остальные картины, ранее мелькавшие передо мной, или снова исчезали, или как-то стусевались, сделались невинными. Как только наступал момент появления самых отчетливых и долгих видений, неизменно возвращался зал в белом здании, художественная мастерская. Больше ничего я не мог увидеть и начал уже приходить в отчаяние. Ощущение замкнутости воспоминания, о котором вы говорили, не приходило.

Вдруг я подметил, что одна часть комнаты постепенно, с каждым новым видением, становится все отчетливее, и понял: продолжение мысленных картин нужно было искать только внутри скульптурной мастерской — дальше мои видения уже не шли. Как я ни старался, так сказать, выйти из пределов мастерской скульптора, ничего другого не мог увидеть.

Но все отчетливее становилась правая сторона стены против решетки, там, где было широкое и низкое окно—арка. Видение гасло, снова появлялось, и с каждым разом я мог увидеть все больше подробностей.

Слева четким силуэтом на фоне сосен и неба, видимых сквозь аркаду, выделялась небольшая статуя, в половину человеческого роста, сделанная из слоновой кости. Я очень старался ее рассмотреть, но она не становилась постепенно яснее, а, наоборот, гасла. Так же угасла новая подробность, сначала ставшая более отчетливой, чем статуя,— низкая и длинная ванна из серого камня, наполненная почти до краев какой-то темной жидкостью. В этой ванне смутно виднелись очертания скульптурной фигуры, как бы обнаженного тела, утопленного в темной жидкости.

Но и эта деталь стусевалась, а рядом с ванной выявился широкий стол с толстой каменной плитой сверху.

и длинным сиденьем вроде лавки перед ним из желтого, гладко отполированного дерева. На столе в беспорядке лежали палочки, свертки и другие предметы, в которых, я могу поручиться за это, узнал некоторые скульптурные инструменты, похожие на те, которыми сам привык пользоваться. Ближе к правому углу стола лежала квадратная плита или толстый лист из гладкой меди без всяких украшений, покрытый какими-то знаками.

Этот лист становился все отчетливее, и, наконец, все видение сосредоточилось на этом листе меди. Отчетливо стояла передо мной его позеленевшая поверхность с вырезанными на ней значками. Ничего не понимая, я все-таки чутьем, интуитивно сообразил, что в этом месте конец серии мысленных картин, замыкание цепи видений, по вашему предположению. Томимый неясной тревогой, я стал зарисовывать знаки медной плиты. Вот видите, профессор,— гибкие его пальцы перебрали целый ворох листков,— нужно было снова и снова начинать. Видение потухло и иногда часами не возвращалось вновь, но я терпеливо ждал, пока не смог составить вот этот лист, который у вас в руках. Левая рука у меня еще не совсем приспособилась, и дело шло медленно. А сейчас я больше ничего не вижу, усталость, стало все безразлично... Только уснуть никак не могу, боюсь смутно и упорно какой-то ошибки. Я не вижу связи с собой в этих замысловатых знаках. Раньше я чувствовал ее очень резко — скульптуры, статуя из слоновой кости,— а сейчас опять ничего не понимаю. Что же это все, профессор?

— Вот что,— отвечал я, весь дрожа от сильного волнения,— примите-ка дозу снотворного — я приготовил на случай, если вы переборщите с вашими видениями. Вы заснете — это вам больше всего нужно,— а я заберу лист, и к вечеру мы получим представление, что все это значит. Действительно, ваши галлюцинации пришли к концу. Я не понимаю еще всего, но думаю, что вы вспомнили наконец то, что вам нужно... Вот только неожиданные диковинные письмена... Еще раз спрошу: совершенно ли вы уверены, что ваши видения — Эллада или, скажем, только как-то с ней связаны?

— Я говорил вам, профессор, я не могу объяснить почему, но уверен: видел Элладу, или, правильное сказать, кусочки ее.

— Отлично, теперь старайтесь уснуть, а потом долой все эти затворнические шторы, милый мой, вы вернетесь

в жизни! Ну, довольно, довольно! — прервал я дальнейшие вопросы художника и быстро вышел, унося таинственный лист.

Еще немного терпения, соображал я, направляясь к трамваю, и все должно решиться. Или это действительно вырванная из глубины прошлого запись чего-то важного, или... бредовая чепуха. Нет, на последнее не похоже. Одни и те же знаки часто повторяются, группы неравного количества знаков разделены промежутками, сверху, очевидно, заголовок. Нет, в бреду такой штуки не напишешь. «Итак, раз художник уверен, что это Эллада, нужно и алименту. Кто у нас в Москве самый крупный спец по этой части?» — продолжал я свои рассуждения, но никак не мог ничего вспомнить. У себя дома с помощью справочника научных работников, календаря академии и презервного телефона я узнал нужного мне человека и немедленно позвонил ему. Повезло, он оказался дома.

Не далее как через сорок минут я раскуривал очередную папиросу в его кабинете, в то время как ученый вился взглядом в поданный мною лист с таинственными знаками.

— Где вы нашли, вернее, списали это? — воскликнул алимент, пронизывая меня прищуренными блестящими глазами.

— Я все расскажу вам без утайки, только прежде, ради всего святого, объясните мне, что это такое?

Ученый нетерпеливо вздохнул и снова склонился над листом, говоря размеренным, без интонации голосом:

— Принесенный вами отрывок написан так называемыми кипрскими письменами, слоговой язбукой, справа налево, как раньше писали в Элладе. Этими письменами написано на эолийском наречии древнегреческого языка. Поэтому и затрудняюсь быстро перевести весь отрывок. Вот заглавная строчка — да, это интересно! — состоит из трех слов: сверху — малактер элфантос. Под ними внизу — зитос. Первые два слова означают буквально «смягчитель слоновой кости», а в переносном значении: мастер слоновой кости. Наше название «мастер» тоже происходит от этого корня. Зитос — особая неизвестная жидкость — средство для размягчения слоновой кости. Вы знаете, что в Древней Элладе художники знали секрет делать слоновую кость мягкой, как воск, и благодаря этому лепили из нее весьма совершенные произведения, которые после затвердевали, опять становясь обыч-

ной слоновой костью. Этот секрет потом был безвозвратно утрачен, и никто до сих пор...

— О черт побери, все понял! — вскочив со стула, закричал я. Увидев испуганно-недоумевающее лицо ученого, спохватился и поспешно добавил: — Простите, бога ради, но это очень важно для меня, а главное — для моего пациента. Не можете ли вы мне сейчас же передать, хотя бы в самых общих чертах, содержание дальнейшего?

Эллинист пожал плечами и не ответил. Однако я видел, что его глаза бегают по строчкам листа, и постарался застыть в кресле, сдерживая волнение и накипавшую бешеную радость. После нескольких, казавшихся очень долгими минут ученый сказал:

— Насколько я могу разобрать без специальных справок, здесь записан химический рецепт, но названия веществ нужно будет особо истолковать. Ну, тут сказано о морской воде, затем о порошке цинны и каком-то масле Посейдона и так далее. Наверное, это и есть рецепт того средства, о котором я сейчас вам говорил. Это очень важно, — заключил эллинист.

Тон его голоса показался мне слишком сухим при громадном значении его слов. Но так или иначе, все было ясно. На медной плите, то есть здесь, на листе, был записан рецепт средства для размягчения слоновой кости. Художник вспомнил наконец его через десятки поколений, и действительно теперь он сможет создать статую Ирины, просто вылепив ее!

Ученый выжидательно смотрел на меня. Полный торжества и волнения, я поднялся и тут же рассказал ему историю своего пациента и кое-что из своей теории. Когда я кончил, выражение недоверчивого изумления окончательно исчезло с лица эллиниста. Маленькие глазки стали совсем добрыми и, пожалуй, слишком влажными. Выходя из его кабинета, я увидел, как ученый уже рылся в книжных шкафах, быстро извлекая книгу за книгой. Спокойный, что обещанный перевод листа будет сделан так быстро, как это только будет возможно, я с ощущением праздничной радости мира отправился по своим обычным делам.

Ощущение покоя и счастье одержавшего победу разума не оставляли меня и в привычной тишине моего кабинета. Но нетерпение скорее сообщить все ставшее таким ясным художнику заставило меня сразу же позво-

нить ему. Он, видимо, дожидался моего звонка и на мое приглашение немедленно приехать ко мне быстро ответил:

— Сейчас еду!

Мне очень живо запомнилось в этот вечер изможденное лицо Леонтьева с резкими тенями от настольной лампы и его внимательные глаза, с пробегающими в них искрами изумления, радости и торжества.

— Так и открыл, нет, вспомнил, утраченный секрет древних мастеров? — взволнованно воскликнул художник, все еще не веря случившемуся. — Но как я мог это сделать?

И объяснил ему, что точных данных наука еще не имеет, но, по-видимому, в предыдущих поколениях его предков были мастера, знавшие этот секрет. Долгая работа и важное значение этого рецепта обусловили то, что в памяти одного из его предков образовались какие-то очень прочные связи, закрепившиеся для передачи в механизмах наследственности.

Эти связи, хранившиеся под спудом его личной памяти, возникли и у него, Леонтьева. Таким образом, здесь чудесно только одно — замечательное совпадение проявления древней памяти и важности эллинского секрета именно для него, тоже ставшего скульптором, как и его предки. Очень большое желание создать статую Ирины, воля и напряжение всех сил помогли ему вызвать из области подсознательного картины древней зрительной памяти. Сам того не зная, он все время чувствовал, что знает именно то, что так для него необходимо. Конец разъяснения художник слушал уже рассеянно, кивая головой и как бы стараясь дать мне понять, что он уже все понял. Едва я кончил, как последовал быстрый вопрос:

— Значит, когда ученый сделает перевод, у меня будет рецепт этого средства, профессор? Вы вполне уверены в этом?

Мне трудно передать радость и волнение художника после моего утвердительного ответа.

— Подумайте только! Теперь я и с одной рукой выполню свою мечту, свою цель... — И его длинные пальцы зашевелились, как бы уже обрабатывая волшебный материал мягкой слоновой кости. — Теперь, завтра... — Голос его задрожал. — И это дали мне вы, профессор, наша наука...

Художник вскочил и схватил меня за руку, потянулся ко мне, как ребенок к отцу, но устыдился своего порыва, отвернулся, сел и опустил голову на здоровую руку, на стол. Плечи его слегка вздрагивали. Я вышел в другую комнату, сам взволнованный до глубины души, и сел там, покуривая...

На следующий день я снова увиделся с художником у эллиниста, сделавшего перевод записки, содержащей точный рецепт утерянного секрета. После этого я расстался со своим пациентом и принялся наверстывать некоторые упущенные за это время дела, стараясь вместе с тем составить полный отчет со всеми возможными объяснениями о встреченном необычайном случае.

Дни шли, весенние сменились летними, незаметно подошла осень. Я сильно устал от большой нагрузки, годы как-никак давали себя знать; немного прихворнул и отсиживался дома. Неожиданно ко мне явились двое молодых людей. Я сразу узнал Леонтьева и угадал его Ирину. Рука художника еще висела на перевязи, но это был уже совсем другой человек, и я редко встречал на чьем-либо лице столько ясности и доброты. Про Ирину я скажу только, что она стояла безумной любви художника и всех наших трудов в поисках эллинского секрета.

Ирина крепко поцеловала меня, молча глядя мне в глаза, и, право же, я был больше тронут этой безмолвной благодарностью, чем тысячей дифирамбов.

Леонтьев, волнуясь, сказал, что статуя уже готова, он посвящает ее науке и мне как дань спасенного спасителю, чувства — разуму и очень хочет показать ее мне. Ну, статую я видел. Описывать ее не берусь — это будет сделано специалистами. Как анатом, я увидел в ней то самое высшее совершенство целесообразности, что все вы назовете красотой, в которую любовь автора вложила радостное и легкое движение. Словом, от статуи не хотелось уходить. Долго еще перед глазами стояла эта изумительно прекрасная женщина как доказательство всей силы власти Формы — тонкого счастья красоты, общего для всех людей».

ОЗЕРО ГОРНЫХ ДУХОВ

Несколько лет назад я прошел с маршрутным исследованием часть Центрального Алтая, хребет Листвягу, в области левобережья верховьев Катунь. Золото было тогда моей целью. Хотя я и не нашел стоящих россыпей, однако был в полном восторге от чудесной природы Алтая.

В местах моих работ не было ничего особо примечательного. Листвяга — хребет сравнительно низкий, вечная снегов — «белков» — на нем не имеется, значит, нет и сверхающего разнообразия ледников, горных озер, грозных пиков и всей той высокогорной красоты, которая поражает и пленяет вас в более высоких хребтах. Однако суровая привлекательность массивных гольцов, поднимавших свои скалистые спины над мохнатой тайгой, горы, толнящиеся под гольцами, как морские волны, вознаграждали меня за довольно скучное существование в широких болотистых долинах речек, где и проходила главным образом моя работа.

И люблю северную природу с ее молчаливой хмуростью, однообразием небогатых красок, люблю, должно быть, за первобытное одиночество и дикость, свойственные ей, и не променяю на картинную яркость юга, навзлюбиво лезущую вам в душу. В минуты тоски по воле, по природе, которые бывают у всякого экспедиционного работника, когда приедается жизнь в большом городе, перед моими глазами встают серые скалы, свинцовое море, лишенные вершин могучие лиственницы и хмурые глубины сырых еловых лесов...

Короче говоря, я был доволен окружающей меня однообразной картиной и с удовольствием выполнял свою задачу. Однако у меня было еще одно поручение — осмотреть месторождения превосходного асбеста в среднем течении Катунь, близ большого села Чемал. Кратчайший путь тогда лежал мимо самого высокого на Ал-

тае Катунского хребта по долинам Верхней Катунн. Дойдя до села Уймон, я должен был перевалить Теректинские белки — тоже высокий хребет — и через Ондугай снова выйти в долину Катунн. Несмотря на необходимость спешить, вынуждавшую к длинным ежедневным переходам, только на этом пути я испытал настоящее очарование природы Алтая.

Очень хорошо помню момент, когда я со своим небольшим караваном после долгого пути по урману — густому лесу из пихты, кедра и лиственницы — спустился в долину Катунн. В этом месте гладь займища сильно задержала нас: кони проваливались по брюхо в чмокающую бурую грязь, скрытую под растительным слоем. Каждый десяток метров давался с большим трудом. Но я не остановил караван на ночевку, решив сегодня же перебраться на правый берег Катунн.

Луна рано поднялась над горами, и можно было без труда двигаться дальше. Ровный шум быстрой реки приветствовал наш выход на берег Катунн. В свете луны Катунь казалась очень широкой. Однако, когда проводник въехал на своем чалом коне в шумящую тусклую воду и за ним устремились остальные, воды оказалось не выше колен, и мы легко перебрались на другой берег. Миновав пойму, засыпанную крупным галечником, мы попали опять в болото, называемое сибиряками карагайником. На мягком ковре мха были разбросаны тощие ели, и повсюду торчали высокие кочки, на которых вздымалась и шелестела жесткая осока. В таком месте лошади вынуждены были бы всю ночь «читать газету», то есть оставаться без корма, а потому я решил двигаться дальше.

Начавшийся подъем давал надежду выбраться на сухое место. Тропа тонула в мрачной черноте елового леса, ноги лошадей — в мягком моховом ковре. Так мы шли часа полтора, пока лес не поредел; появились пихты и кедры, мох почти исчез, но подъем не кончился, а, наоборот, стал еще круче. Как мы ни бодрились, но после всех дневных передрыг еще два часа подъема показались очень тяжелыми. Поэтому все обрадовались, когда подковы лошадей зазвякали, высекая искры из камней, и показалась почти плоская вершина отрога. Здесь были и трава для коней, и годное для палаток сухое место. Мигом развьючили лошадей, поставили палатки под громадными кедрами, и после обычной процедуры поглощения ведра чаю и раскуривания трубок мы погрузились в глубокий сон.

Я проснулся от яркого света и быстро выбрался из палатки. Свежий ветер колыхал темно-зеленые ветви кедров, выстигшихся прямо перед входом в палатку. Между двумя деревьями, левее, был широкий просвет. В нем, как в черной раме, висели в розоватом чистом свете легкие контуры четырех острых белых вершин. Воздух был удивительно прозрачен. По крутым склонам белков струились все мыслимые сочетания светлых оттенков красного цвета. Немного ниже, на выпуклой поверхности голубого ледника, лежали огромные косые синие полосы теней. Этот голубой фундамент еще более усиливал воздушную легкость горных громад, казалось излучавших свой собственный свет, в то время как видневшееся между ними небо представляло собой море чистого золота.

Прошло несколько минут. Солнце поднялось выше, золото приобрело пурпурный оттенок, с вершин сбегала из розовой окраски и сменилась чисто голубой, ледник наверху серебрил. Звенели ботала, перекликавшиеся под деревьями рабочие сгоняли коней для вьючки, заворачивали и обвязывали вьюки, а я все любовался победой светового полшебства. После замкнутого кругозора таящих троп, после дикой суровости гольцовых тундр это был новый мир прозрачного сияния и легкой, наметчивой солнечной игры.

Как видите, моя первая любовь к высокогорьям алтайских белков вспыхнула неожиданно и сильно. Любви эта не несла в дальнейшем разочарования, а дарила меня все новыми впечатлениями. Не берусь описывать ощущение, возникающее при виде необычайной прозрачности голубой или изумрудной воды горных озер, сияющего блеска синего льда. Мне хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор вызывал во мне обостренное понимание красоты природы. Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии. И я, весьма земной человек, по-иному настроился в горном мире, и, без сомнения, моим открытием, о котором я сейчас расскажу, я обязан в какой-то мере именно этой высокой настроенности.

Миновав высокогорную часть маршрута, я спустился опять в долину Катуня, потом в Уймонскую степь—плоскую котловину с превосходным кормом для лошадей. В дальнейшем Теректинские белки не дали мне интересных геологических наблюдений. Добравшись до Ондугая, я отправил в Бийск своего помощника с коллекциями и

снаряжением. Посещение Чемальских асбестовых месторождений я мог выполнить налегке. Вдвоем с проводником на свежих конях мы скоро добрались до Катуня и остановились на отдых в селении Каянча.

Чай с душистым медом был особенно вкусен, и мы долго просидели у чисто выструганного белого стола в садике. Мой проводник, угрюмоватый и молчаливый ойрот, посасывал окованную медью трубку. Я расспрашивал хозяина о достопримечательностях дальнейшего пути до Чемала. Хозяин, молодой учитель с открытым загорелым лицом, охотно удовлетворял мое любопытство.

— Вот что еще, товарищ инженер, — сказал он. — Недалеко от Чемала попадетесь вам деревенька. Там живет художник наш знаменитый, Чоросов, — слыхали, наверно. Однако, старикан сердитый, но, ежели ему по сердцу придеться, все покажет, а картин у него красивых гибель.

Я вспомнил виденные мною в Томске и Бийске картины Чоросова, особенно «Корону Катуня» и «Хан-Алтай». Посмотреть многочисленные работы Чоросова в его мастерской, приобрести какой-нибудь эскиз было бы недурным завершением моего знакомства с Алтаем.

В середине следующего дня я увидел направо указанную мне широкую падь. Несколько новых домов, блестя светло-желтой древесиной, расположилось на взгорье, у подножия лиственниц. Все в точности соответствовало описанию каянчинского учителя, и я уверенно направил коня к дому художника Чоросова.

Я ожидал увидеть брюзгливого старика и был удивлен, когда на крыльце появился подвижный, суховатый бритый человек с быстрыми и точными движениями. Только всмотревшись в его желтоватое монгольское лицо, я заметил сильную проседь в торчащих ежиком волосах и жестких усах. Резкие морщины залегли на запавших щеках, под выступающими скулами, и на выпуклом высоком лбу. Я был принят любезно, но не скажу чтобы радушно, и, несколько смущенный, последовал за ним.

Вероятно, под влиянием искренности моего восхищения красотой Алтая Чоросов стал приветливее. Его немногословные рассказы о некоторых особенно замечательных местах Алтая ясно запомнились мне — так остра была его наблюдательность.

Мастерская — просторная неоклеенная комната с большими окнами — занимала половину дома. Среди множества эскизов и небольших картин выделялась одна,

к которой меня как-то сразу потянуло. По объяснению Чоросова, это был его личный вариант «Дены-Дерь» («Озера Горных Духов»), большое полотно которой находится в одном из сибирских музеев.

Я опишу этот небольшой холст подробнее, так как он имеет важное значение для понимания дальнейшего.

Картина светилась в лучах вечернего солнца своими густыми красками. Синевато-серая гладь озера, занимающего среднюю часть картины, дышит холодом и молчаливым покоем. На переднем плане, у камней на плоском берегу, где зеленый покров травы перемешивается с пятнами чистого снега, лежит ствол кедра. Большая голубая льдина приткнулась к берегу, у самых корней поваленного дерева. Маленькие льдины и большие серые камни отбрасывают на поверхность озера то зеленоватые, то серо-голубые тоны. Два низких, истерзанных ветром кедра поднимают густые ветви, словно взнесенные к небу руки. На заднем плане прямо в озеро обрываются белоснежные кручи казубренных гор со скалистыми ребрами фиолетового и палевого цветов. В центре картины ледниковый отрог опускает в озеро вал голубого фирна, а над ним на страшной высоте поднимается алмазная трехгранная пирамида, от которой налево вьется шарф розовых облаков. Левый край долины — трога* — составляет гора в форме правильного конуса, также почти целиком одетая в снежную мантию. Только редкие палевые полосы обозначают скалистые кручи. Гора стоит на широком фундаменте, каменные ступени которого гигантской лестницей спускаются к дальнему концу озера...

От всей картины веяло той отрешенностью и холодной, сверкающей чистотой, которая покорила меня в пути по Катунскому хребту. Я долго стоял, всматриваясь в подлинное лицо алтайских белков, удивляясь тонкой наблюдательности народа, давшего озеру имя «Дены-Дерь» — «Озеро Горных Духов».

— Где вы нашли такое озеро? — спросил я. — Да и существует ли оно на самом деле?

— Озеро существует, и, должен сказать, оно еще лучше в действительности. Моя же заслуга — в правильном выражении сущности впечатления, — ответил Чоросов. — Сущность эта мне недешево далась... Ну а найти это озе-

* Трог — долина, выглаженная ледником, с очень крутыми склонами.

ро нелегко, хотя и можно, конечно. А вам зачем? Небось на карте отметить понадобилось? Знаю вас!

— Просто побывать в чудесном месте. Ведь такую штуку увидишь — и смерти бояться перестанешь.

Художник пытливо посмотрел на меня:

— А это верно у вас прозвучало: «Смерти бояться перестанешь». Вы вот не знаете, наверно, какие легенды связаны у ойротов с этим озером.

— Должно быть, интересные, раз они так поэтично назвали озеро.

Чоросов перевел взгляд на картину:

— Вы ничего такого не заметили?

— Заметил. Вот тут, в левом углу, где гора конусом, — сказал я. — Только извините, но тут мне краски совсем невозможными показались.

— А посмотрите-ка еще, повнимательней...

Я стал снова всматриваться, и такова была тонкость работы художника, что чем больше я смотрел, тем больше деталей как бы всплывало из глубины картины. У подножия конусовидной горы поднималось зеленовато-белое облако, излучавшее слабый свет. Перекрещивающиеся отражения этого света и света от сверкающих снегов на воде давали длинные полосы теней почему-то красных оттенков. Такие же, только более густые, до кровавого тона, пятна виднелись в изломах обрывов скал. А в тех местах, где из-за белой стены хребта проникали прямые солнечные лучи, над льдами и камнями вставали длинные, похожие на огромные человеческие фигуры столбы синевато-зеленого дыма или пара, придававшие зловещий и фантастический вид этому ландшафту.

— Не понимаю, — показал я на синевато-зеленые столбы.

— И не старайтесь, — усмехнулся Чоросов. — Вы природе хорошо знаете и любите, но не верите ей.

— А сами-то вы как объясните эти красные огни в скалах, сине-зеленые столбы, светящиеся облака?

— Объяснение простое — горные духи, — спокойно ответил художник.

Я повернулся к нему, но и тени усмешки не заметил на его замкнутом лице.

— Я не шучу, — продолжал он тем же тоном. — Вы думаете, название озеру только за неземную красоту дано? Красота-то красотой, а слава дурная. Вот и я карти-

ну сделал, а ноги еле унес. В девятьсот девятом я там был и до тринадцатого все болел...

— Я попросил художника рассказать о легендах, связанных с озером. Мы уселись в углу на широком диване, покрытом грубым желто-синим монгольским ковром. Отсюда можно было видеть «Озеро Горных Духов».

— Красота этого места, — начал Чоросов, — издавна привлекала человека, но какие-то непонятные силы часто губили людей, приходящих к озеру. Роковое влияние озера испытал и я на себе, но об этом после. Интересно, что озеро красивее всего в теплые, летние дни, и именно в такие дни наиболее проявляется его губительная сила. Как только люди видели кроваво-красные огни в скалах, мелькавшие сине-зелеными прозрачных столбов, они начинали испытывать странные ощущения. Окружающие снеговые пики словно давили чудовищной тяжестью на их головы, в глазах начиналась неудержимая пляска световых лучей. Людей тянуло туда, к круглой конусовидной горе, где им мерещились сине-зеленые призраки горных духов, плясавшие вокруг зеленоватого светящегося облака. Но, как только добирались люди до этого места, все исчезало, одни лишь голые скалы мрачно сторожили его. Задыхаясь, едва передвигая ноги от внезапной потери сил, с угнетенной душой, несчастные уходили из рокового места, но обычно в пути их настигала смерть. Только несколько сильных охотников после невероятных мучений добрались до ближней юрты. Кто-то из них умер, другие долго болели, потеряв навсегда былую силу и яркость. С тех пор широко разнеслась недобрая слава о Дени-Дерь, и люди почти перестали бывать на нем. Там нет ни звора, ни птицы, а на левом берегу, где происходят сборища духов, и не растет ничего, даже трава. Я еще в детстве слышал эту легенду, и меня давно тянуло побывать во владениях горных духов. Двадцать лет назад я провел там два дня в полном одиночестве. В первый день я не заметил ничего особенного и долго работал, делая этюды. Однако по небу шли густые облака, мели освещение, и мне не удавалось схватить прозрачность горного воздуха. Я решил остаться еще на день, заночував в лесу, в полуверсте от озера. К вечеру я ощутил странное жжение во рту, заставлявшее все время сплевывать слюну, и легкую тошноту. Обычно я хорошо выносил пребывание на высотах и удивился, почему на этот раз разреженный воздух так действует на меня.

Чудесное утро следующего дня обещало отличную погоду. Я пошел к озеру с тяжелой головой, испытывая сильную слабость, но вскоре увлекся работой и забыл обо всем. Солнце порядком пригревало, когда я закончил разработку этюда, впоследствии послужившего основанием для картины, и отодвинул мольберт, чтобы бросить последний взгляд на озеро.

Я очень устал, руки дрожали, в голове временами мутилось, и подступала тошнота. Тут я увидел духов озера. Над прозрачной гладью воды проплыла тень низкого облака. Солнечные лучи, наискось пересекавшие озеро, стали как будто ярче после минутного затмения. На удалявшейся границе света и тени я вдруг заметил несколько столбов призрачного сине-зеленого цвета, похожих на громадные человеческие фигуры в мантиях. Они то стояли на месте, то быстро передвигались, то таяли в воздухе. Я смотрел на небывалое зрелище с чувством гнетущего страха.

Еще несколько минут продолжалось бесшумное движение призраков, потом в скалах замелькали отблески и вспышки кровавого цвета. А над всем висело светящееся слабым зеленым светом облако в форме гриба...

Я вдруг почувствовал прилив сил, зрение обострилось, далекие скалы будто надвинулись на меня, я различил все подробности их крутых склонов. Схватив кисть, с дикой энергией я подбирал краски, стараясь торопливыми мазками запечатлеть необыкновенную картину.

Легкий ветерок проиесся над озером, и мгновенно исчезли и облако, и сине-зеленые призраки. Только красные огни в скалах по-прежнему мрачно поблескивали, дробясь на воде в отбрасываемых скалами тенях. Возбуждение, охватившее меня, ослабело, недомогание резко усилилось, словно жизненная сила утекала с концов пальцев, державших палитру и кисть. Предчувствие чего-то недоброго заставило меня торопиться. Я закрыл этюдник и собрал свои пожитки, чувствуя, как страшная тяжесть наваливается мне на грудь и голову...

Ветер над озером усиливался. Прозрачное голубое зеркало померкло. Облака закрыли вершины гор, и яркие краски окружающего быстро тускнели. Одухотворенная и чистая красота озера сменилась печальной хмуростью, красные отблески на месте призраков погасли, и лишь темные скалы чернели там среди пятен снега. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из моей груди, когда я,

борясь с упадком сил и давившей меня тяжестью, повернулся спиной к озеру. Путь до места, где, по уговору, ждали меня мои проводники, отказавшиеся идти на Дены-Дерь, и прошел как в смутном сне. Горы качались передо мной, приступы рвоты приводили меня в полное изнеможение. Временами я падал и долго лежал, не в силах подняться. Как я добрался до моих проводников, не помню, да это и безразлично. Главное, что привязанный на спине ищик с этюдами уцелел.

Проводники издалека увидели, что делается со мной. Они перенесли меня к лагерю и положили на спину, подставив под голову переметную суму.

«Однако, ты провадешь, Чорос», — тоном беспристрастного наблюдателя заметил старший из проводников. — И не умер, как видите, но долго чувствовал себя очень плохо. Болость и притупление зрения мешали жить и работать. Большую картину «Дены-Дерь» я написал только год спустя, в эту отделивал все время понемногу, когда нетал на ноги. Как видите, правда об озере Дены-Дерь и населяющих его горных духах далась мне недешево.

Чоросов умолк. Сквозь частый переплет большого окна виднелась погруженная в сумерки долина. Крайне заинтересованный рассказом, я не имел оснований не вернуть художнику, но в то же время не мог подыскать никакого объяснения чудесным явлениям, запечатленным в красках его произведения. Мы перешли в столовую. Яркая лампа «молния» над столом прогнала тень нереального, палящего странным рассказом. Я не утерпел и спросил, как разыскать Озеро Горных Духов на случай, если бы мне еще раз представилась возможность побывать в тех местах.

— Ага, забрало вас это озеро! — улыбнулся Чоросов. — Что ж, побывайте, если не боитесь. Записывайте.

— Я достал из сумки записную книжку и карандаш.

— Место это в Катунском хребте, на его восточном конце. Это глубокое ущелье между Чуйскими и Катунскими белками. Километрах в сорока вверх по Аргуту от его устья, справа по течению, выходит речка Юнеур. Это место приметно потому, что Аргут дает здесь кривун и устье Юнеура выходит в широкое плоское место. От устья его пойдете вверх по Аргуту левым берегом, считайте так — километров шесть, и здесь, справа по ходу, окажется небольшой ключ или речка, если хотите. Речка-то небольшая, а долина очень широкая и глубоко

уходит в Катунский хребет. По этой долине вам и ехать. Место сухое, лиственницы большие, раскидистые. Уже подниметесь высоко, когда встретите большой крутой порог, с него водопад маленький, и тут долина повернет вправо. Дно долины будет совсем плоское, широкое, и на нем — цепью — пять озер, одно от другого где с полверсты, где с версту. Последнее, пятое озеро, откуда дальше нет ходу, и будет Дены-Дерь. Вот и все. Только смотрите не ошибитесь ущельями, а то там и долин и озер много... Да, вот вспомнил, хорошая примета! В устье ключа, куда повернете с Аргута, будет небольшое болотце; на краю его, налево, стояла огромная сухая лиственница без сучьев, с двойной вершиной, как чертовы вилы. Если еще уцелела, по ней узнаете.

Я записал указания Чоросова, не подозревая того значения, которое имели они впоследствии.

Утром я просматривал работы Чоросова, но ни одна не шла в сравнение с «Дены-Дерь». Понимая большую ценность картины, а не решался даже намекнуть на возможность приобрести ее при моих весьма скромных средствах. Я купил два наброска снежных гор да еще получил в подарок маленький рисунок пером, где мои любимые лиственницы были изображены с глубоким знанием характера дерева.

На прощанье Чоросов сказал мне:

— Вижу, как вы к «Дены-Дерь» присматриваетесь, но эту вам подарить не могу. Я подарю вам этюд, сделанный мной на озере. Только, — он помолчал немного, — это уже после того, как помру, сейчас мне расстаться с ним трудно. Ну, не огорчайтесь, это будет скоро... вам перешлют, — серьезно, со смущающей бесстрашностью, добавил художник.

Пожелав Чоросову долгой жизни, а себе — скорой встречи с ним, я сел на коня, и судьба, как оказалось, навсегда разъединила нас.

Я не скоро попал на Алтай. Четыре года прошло в напряженной работе, а на пятый я временно выбыл из строя. Жестокий ревматизм — профессиональная болезнь таежников — на полгода свалил меня, а потом пришлось возиться с ослабевшим сердцем.

Устав от вынужденного безделья и скуки, я бежал с южного курорта в хмурый, но милый Ленинград. По предложению главка я занялся ртутным месторождением Сефидкана в Средней Азии. В солнечной суши-

Туркестана и надеялся выгнать одолевшую меня хворь и вернуться к унылой дикости Севера, навсегда пленившей меня. В этой привязанности я был однолюбом и с трудом преодолевал приступы острой тоски по Сибири.

В один из теплых весенних вечеров, когда я сидел на микроскопом у себя дома, принесли посылку, которая больше огорчила, чем обрадовала меня. В плоском ящичке на гладких кедровых досок лежал этюд «Дены-Дерь» как знак того, что художник Чоросов окончил свою трудовую жизнь. Достаточно было мне снова увидеть «Озеро Горных Духов», как на меня нахлынули воспоминания.

Далекая и недоступная красота Дены-Дерь наполнила меня тревожной грустью. Стараясь рассеять печаль работой, я установил под микроскопом новый шлиф рудной породы из Сефидкана. Привычной рукой я опустил тубус с винтом кремальеры, настроил фокус микрометром и углубился в изучение последовательности кристаллизации ртутной руды. Шлиф — отполированная пластинка породы — представлял собой почти чистую киноварь, и с его изучением дело не ладилось. Тонкие оттенки цветов, отраженные от шлифа, скрадывались электрическим светом. Я заменил опак-иллюминатор* сильвермановским для косого освещения и включил лампу дневного света — превосходную выдумку, заменяющую солнце в суженном мире микроскопа...

Озеро Горных Духов продолжало стоять перед моим внутренним взором, и я сначала даже не удивился, увидев в микроскопе кроваво-красные отблески на фоне голубоватой стали, так поразившие меня в свое время на картине художника. Секундой позже до сознания дошло, что я смотрю не на картину, а наблюдаю внутренние рефлексы ртутной руды. Я повернул столик микроскопа, и кроваво-красные отблески замигали, потухая или переходя в более глубокий коричневато-красный тон, в то время как большая часть поверхности минерала продолжала отливать холодной сталью. Взволнованный предчувствием еще не родившейся догадки, я направил луч осветителя с дневным светом на этюд «Озера Горных Духов» и увидел в скалах у подножия конусовидной горы оттенки цветов, в точности сходные с только что виденным под микроскопом.

* Опак-иллюминатор — специальный прибор в микроскопе для наблюдения минералов в отраженном свете.

Я поспешно схватил цветные таблицы, и тут оказалось, что цвета с формулами...

Впрочем, зачем приводить здесь самые формулы? Скажу только, что для науки, изучающей руды различных металлов и металлы, — минералогии — созданы цветные таблицы тончайших оттенков всех мыслимых цветов, которых насчитывается около семисот. Каждый из оттенков имеет свое обозначение, сумма оттенков составляет формулу минерала. Так вот, оказалось, что краски Чоросова в его изображении местопребывания горных духов по этим таблицам точно соответствуют оттенкам киновари в разных условиях освещения, углах падения и всей прочей сложной игры света, в науке, называемой интерференцией световых волн. Тайна озера Дены-Дерь вдруг стала мне ясной. Я только недоумевал, почему подобного рода догадка не пришла давно, еще там, в горах Алтая.

Я вызвал по телефону такси и вскоре подъезжал к ограде, за которой светились большие окна химической лаборатории. Мой знакомый — химик и металлург — был еще здесь.

— А, сибирский медведь! — приветствовал он меня. — Зачем пожаловал? Опять срочный анализ?

— Нет, Дмитрий Михайлович, я к вам за справкой. Что вы знаете замечательного о ртути?

— О, ртуть — металл столь замечательный, что книгу толстую написать можно! Что нужно-то, растолкуйте яснее.

— Да вот, ртуть кипит при трехстах семидесяти градусах, а испаряется при скольких?

— Всегда, дорогой инженер, за исключением сильного мороза.

— Значит, летуча?

— Необычайно летуча для своего удельного веса. Запомните: при двадцати градусах тепла в кубометре насыщенного ртутными парами воздуха — пятнадцать сотых грамма, а при ста градусах — уже почти два с половиной грамма.

— Еще вопрос: ртутные пары сами светятся или нет и каким цветом?

— Сами не светятся, но иногда, при сильной концентрации в проходящем свете, дают сине-зеленоватые оттенки. А при электрических разрядах в разреженном воздухе светятся зеленовато-белым...

— Все ясно. Большущее спасибо!

Через пять минут я звонил у дверей моего врача. С встревоженным видом добрый старик сам вышел в переднюю, узнав мой голос.

— Что случилось? Опять сердце пошаливает?

— Нет, в порядке. Я на минутку. Скажите, каковы главные симптомы отравления ртутными парами?

— М-м, вообще ртутью — слюнотечение, рвота, а вот вечно парив сейчас посмотрю... Заходите.

— Да нет, и на минуточку. Посмотрите скорее, дорогой Павел Николаевич!

Старик ушел в кабинет и через минуту вернулся с раскрытой книгой в руках.

— Вот видите, пары ртути: падение кровяного давления, сильное возбуждение психики, учащенное, прерывистое дыхание, а дальше — смерть от паралича сердца.

— Вот это великолепно! — не удержался я.

— Что великолепно? Такая смерть?

Но и только засмеялся, мальчишески радуясь недоумению доктора, и сбежал с лестницы. Теперь я знал, что весь ход моих мыслей безусловно верен.

Вернувшись домой, я позвонил начальнику своего Главма и сообщил, что в интересах нашей работы мне необходимо немедленно ехать на Алтай. Я попросил отлучить со мной Красулина, молодого дипломника, физическая сила и хорошая голова которого были очень нужны мне при моем все еще болезненном состоянии.

В середине мая уже можно было беспрепятственно достигнуть озера. Как раз в это время я и вышел из селения Иня на Чуйском тракте с Красулиным и двумя виртуальными таежниками-рабочими.

Я помнил все наставления покойного художника о предстоящем пути, и, главное, в боковом кармане у меня лежала старая, истрепанная полевая книжка с маршрутом, записанным со слов Чоросова.

Когда мой маленький отряд раскинул вечером палатку на сухой рели в устье долины, против похожей на вилы сухой лиственницы, я не без волнения почувствовал, что завтра будет подтверждена правильность моих предположений, верен ли путь разума через фантазию или я выдумал нечто еще более невероятное, чем сказочные духи художника-ойрота. Красулину передалось мое вол-

нение, и он подсел ко мне на бугорок, где я задумчиво созерцал рогатую листовенницу.

— Владимир Евгеньевич,— тихо начал он,— помните, вы обещали рассказать о цели нашей поездки, когда попадем в горы.

— Я надеюсь не позднее чем завтра обнаружить крупное месторождение ртути, может быть, частично самородной. Завтра увидим, прав я или нет. Вы знаете, что ртуть встречается обычно в своих месторождениях в рассеянном виде, в малых концентрациях. Большое месторождение с богатым содержанием ртути известно только одно в мире — это...

— ...Альмадена в Испании,— подсказал Красулин.

— Да, уже много веков Альмадена снабжает ртутью полмира. Один раз там было найдено крохотное озеро чистой ртути. Так вот, я рассчитываю найти нечто подобное. Что здесь целые утесы чуть ли не целиком состоят из киновари, в этом я убежден, если только...

— Но, Владимир Евгеньевич, если мы откроем такое месторождение, это переворот в ртутной экономике!

— Конечно, дорогой! Ртуть — важнейший металл для электротехники и медицины. Ну а теперь — спать, спать! Завтра поднимемся еще затемно. Кажется, день будет пасмурный, а нам это и нужно.

— Почему так важен пасмурный день? — спросил Красулин.

— Потому что я не хочу отравить всех вас да и сам отравиться. Пары ртути не шутка. Доказательство хотя бы в том, что открытие этого месторождения задержалось на сотни лет именно из-за губительных свойств ртутных паров. Завтра мы сразимся с горными духами Дены-Дерь, а там видно будет...

Дымка розового тумана заволокла хребты. В долине стемнело. Только острые вершины белков еще долго светились в невидимых нам лучах солнца. Потом они потухли. Пепельная завеса скрыла горы. Сверкнули затуманенные пасмурным небом звезды. Я все еще сидел у костра, но в конце концов поборол свое волнение и улегся спать.

Все события следующего дня запомнились мне почему-то в отрывках.

Отчетливо врезалось в память обширное, совершенно плоское дно долины между третьим и четвертым озерами. Середина долины лежала ровным зеленым ковром

минетого болота, без единого деревца, а по краям высинь большие кедры. Лишенные ветвей с одной стороны, кедры тинули могучие ветви в сторону Озера Горных Духов, как мрачные флаги на высоких столбах. Низкие, змурые облака быстро проносились над кедами, словно торопясь к таинственному озеру.

Четвертое озеро было невелико и кругло. Из голубовато-серой воды, покрытой пыльной дымкой ряби, торчала гряда острых камней. Перебравшись через них, мы попали в густые заросли кедрового сланца, и еще через десять минут я стоял на берегу Озера Горных Духов. Пепельный свет печали лежал на воде и снежных склонах горной цепи. Тем не менее я сразу же узнал в нем храм горного духа, пораивший мое воображение несколько лет назад в студии Чоросова.

Добраться до отливающих сталью скал у подножия конусовидной горы оказалось нелегкой задачей. Но все трудности были нами мгновенно забыты, когда геологический молоток, звеня, отбил от ребра утеса первый тяжелый кусок киновари. Дальше скалы понижались скошенными ступенями к небольшой впадине, над которой висел легкий дымок. Впадну заполняла мутная горячая вода. Вокруг из глубоких расселин били горячие ключи, окутывая туманом края впадины.

И поручил Красулину глазомерную съемку рудного участка, а сам двинулся вместе с рабочими сквозь пелену тумана к подошве горы.

— Что это там, товарищ начальник? — спросил вдруг рабочий.

Я взглянул в указанном направлении. Наполовину скрытое каменистой грядой, блестело тусклым и зловещим блеском ртутное озерко — моя воплощенная фантазия. Поверхность озерка казалась выпуклой. С непередаваемым волнением склонился я над его упругой поверхностью и, погружая руки в ускользящую и неподатливую жидкость, думал о нескольких тысячах тонн жидкого металла — моем подарке Родине.

Прибывший на мой зов Красулин застыл в немом восхищении. Однако пришлось умерить восторги и поторавливать своих спутников в выполнении необходимой работы. Уже чувствовалась тяжесть в голове и жжение во рту — зловещие признаки начинающегося отравления. Я защелкал направо и налево «лейкой», рабочий наполнил флаги ртутью из озерка. Красулин и второй рабочий

спешно обмеряли выходы рудных пород и размеры озера. Казалось, все было готово с молниеносной быстротой, тем не менее обратно мы шли медленно, вяло, борясь с усиливающимся чувством угнетения и страха. Пока мы с трудом огибали озеро по левому берегу, облака разошлись, и нашим глазам открылся граненый алмазный пик. Косые солнечные лучи прорвались сквозь ворота дальнего ущелья, вся долина Дены-Дерь наполнилась искрящимся прозрачным светом. Обернувшись, я увидел сине-зеленые призраки, мелькавшие в недавно покинутом нами месте. К счастью, берег постепенно выровнялся, и мы скоро добрались до лошадей.

— Гони, ребята! — вскричал я, поворачивая своего коня.

В тот же день мы спустились по долине до второго озера. В наступивших сумерках протянутые нам навстречу ветки кедров как бы грозились, пытаясь задержать нас.

Ночью мы чувствовали себя неважно, но, в общем, все обошлось благополучно.

Остается сказать немного. Волшебное озеро дало и дает теперь Советскому Союзу такое количество ртути, что обеспечивает все потребности нашей многосторонней промышленности.

А я навсегда сохранил признательную память о правдивом художнике, бесстрашном искателе души гор.

1942—1943

ПУТЯМИ СТАРЫХ ГОРНЯКОВ

Этот рассказал горный инженер Канин. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, и говорил как бы сам с собой, ни к кому не обращаясь:

— Мне хочется рассказать одну простую историю из жизни подлинно горных людей, в свое время сильно захватившую меня.

Двадцать лет назад, в 1929 году, я изучал старые медные рудники недалеко от Оренбурга. Здесь на протяжении едва ли не тысячелетий велась разработка медных руд, и рудники образовали на обширном пространстве запутаннейший лабиринт пустот, пробитых человеческими руками в глубине земли. Рудники эти давно закрылись, и ничего не осталось от их надземных построек. На степных просторах, на склонах и вершинах низких холмов выделяются красивыми голубовато-зелеными пятнами группы отвалов — больших куч бракованной руды, окаймляющих широкие воронки, — а кое-где видны провалы старых, засыпанных шахт. Местами отвалы и воронки сплошь покрывают обширные поля в несколько квадратных километров. Такая земля, по выражению местных хлеборобов, «порченная», запахивать ее нельзя; поэтому изрытые участки поросли ковылем или полынью, воронки шахт — кустарником вишни. Даже в разгар лета, когда все кругом уже выгорело и степь лежит бурой в белесой дымке палящего зноя, холмы с остатками старых горных работ покрыты цветами, которые вместе с зелено-голубыми выпуклостями рудных отвалов, темной листвой вишни и золотистыми колышущимися оторочками ковыля представляют собой причудливое и красивое сочетание неярких тонов. словно акварели талантливых художников, лежат эти маленькие степные островки на бурой равнине жнивья и паров.

Здесь хорошо отдыхается после однообразного пути по пыльной и знойной дороге. Ветер колышет ковыль и, по-

свистывая в кустах, наводит на мысль о прошлом, о том, что эти теперь такие безлюдные и заброшенные участки когда-то были самыми оживленными в степи. Раздавались крики мальчишек — погонщиков конного подъема, хлопали крышки шахтных люков, скрипели воротки, грохотали тачки, и слышалась болтовня женщин на ручной разборке руды. Все эти люди давно умерли, но глубоко под землей нерушимыми памятниками их труда стоят в молчании и темноте бесчисленные подземные ходы. Мне удалось проникнуть во многие старые выработки. Я уже в течение двух с лишним месяцев лазил по ним — иногда с помощником, чаще один (помощник боялся опасных мест) — для подземной съемки, поисков оставленных запасов руды и взятия пробы. В этих местах породы сухи, удивительно устойчивы, и многие выработки стоят сотнями лет без всякого разрушения.

Все накопленные с XVIII века архивные планы, карты и данные по оренбургским медным рудникам погибли во время гражданской войны. Поэтому системы старых подземных работ приходилось открывать заново, путешествуя по ним наугад, как по неизвестной стране.

Исследование увлекало меня, и, случалось, я по двое суток не выходил на дневную поверхность, торопясь разобраться в какой-нибудь большой системе выработок. Тьма и тишина лабиринтов штреков, орт*, извивающихся по всем направлениям, грозно нависшие в высоте над головой дворы засыпанных шахт — во всем этом я находил совершенно особенное очарование. С равномерностью часового механизма падают капли воды в сырых проходах, изредка едва слышно журчит вода, сбегая с верхних горизонтов в нижние.

С фонарем, компасом и записной книжкой я едва пролезал в узкие сбойки** или неправильные квершлагги***, соединяющие одну систему выработок с другой. Иногда проход, занесенный песком от проникновения поверхностных вод, был так низок, что по нему приходилось пробираться ползком, сжавшись в комок. Ползешь — и вдруг неудержимо хочется вздохнуть полной грудью, но, как только начнешь набирать воздух, с мгновенным

* О р т ы — поперечные по отношению к штреку горизонтальные короткие выработки.

** С б о й к а — соединение выработок между собой.

*** К в е р ш л а г — горизонтальная выработка, в отличие от штрека проведенная по пустой породе.

ощущением жутки почувствуешь висящие над тобой сотни тысяч тонн горных пород, с невообразимой силой давящие вниз.

А как интересно разгадывать систему взятия рудного гнезда, принесенную старыми мастерами, проследивши и определяя возраст выработок то в правильно нарезанных, выглаженных вручную кайлами работах середины XIX века, то в широких и прямых, но с изуродованными взрывами стенками самых новых! Еще более странно причудливо изгибающиеся по контуру рудного тела извилистые ходы выработок XVIII века или совсем узкие, но правильные и гладкие колодцы и наклонные ходы доисторических времен.

Молчаливый свет фонаря вырывает из густой тьмы то ровную стенку, всю истыканную острием кайл, то мрачно стоящий, черный от времени столб случайно уцелевшей старой крепи, то груды обваленных с кровли глыб, то ровно выложенные кладки закатей.

Поражающее впечатление производят огромные черные стволы окаменелых деревьев, иногда даже с сучьями. Гиганты давно исчезнувших лесов, теперь ставшие железом и кремнем, лежат поперек выработок, и часто вид гибнет такое дерево сверху или снизу, не в силах пробить его крепкое тело.

О подземных странствованиях того лета можно было бы много еще рассказать, но я лишь кратко очертил их, чтобы дать представление об обстановке всего происшедшего.

Я жил в поселке Горном, находившемся в глубокой долине небольшой речки, меж высоких холмов. В этом же поселке доживал свой век последний из штейгеров старых рудников — Корнил Поленов, девяностолетний, но еще крепкий старик, бывший крепостной владелец рудников графов Пашковых. Старый штейгер жил в маленьком домишке через дорогу от меня и почти каждый вечер сидел на завалинке у дома, неподвижно глядя на высокий склон с отвалами рудников, поднимавшийся перед ним. Еще в самом начале работы я выспрашивал старика о разных рудниках, которые он знал и помнил великолепно. Однако я видел, что старик мне многое не говорит, отделяваясь ссылкой на старость и слабую память. Я пробовал убеждать его, говоря, что напрасно он не хочет рассказать все, что знает, — рудники должны работать. Чем больше мы сейчас соберем сведений о запасах

руд, тем скорее и вернее развернется давно замершая работа.

Штейгер молчал, только в глубине глаз пряталась хитроватая усмешка. Как-то раз он сказал: «Много тут инженеров приезжало, все выспрашивали, записывали, обещали награду, обещали начальником над работами сделать... Наболтали много, а ведь сколько лет прошло, — ездят, смотрят, а работы так и не начинают. И никто из этих приезжих ни в одну шахтенку не спустился — грязно, сыро, ну и опасное, конечно, дело. Знаю я!» И старик умолк, важно расправляя окладистую бороду.

Я понял, что в глубине души Поленов затаил обиду на торопливых и поверхностных геологов, побывавших в районе и вместо подлинного исследования ограничившихся расспросами, вытягивая кое-какие сведения из старика путем безответных посулов. Я прекратил дальнейшие расспросы, тем более что мои рабочие отзывались о штейгере так: «Старик что дикаревый камень: упрется — слова не вытянешь».

Я продолжал свою работу, день за днем разыскивая новые доступные выработки, спускаясь на канате в полуобрушенные шахты, и завоевал прочное уважение у местных жителей — потомков старых горняков. Я забыл сказать, что и сам поселок Горный возник при горных конторах Богоявленского и Архангельского заводов, и жители его были известны у окрестного крестьянского населения под именем «рудашей».

Длинными степными вечерами, отдыхая после работы, я часто приходил на завалинку к старому штейгеру и присаживался с ним рядом покурить. Только теперь я не спрашивал его о рудниках. Беседовали мы с Поленовым о прошлых временах, о житье крепостных горных людей, о старинных способах работы. Старик отмякал, оживлялся и много рассказывал мне, удивляя своей наблюдательностью и меткостью выражений. Мои подземные «подвиги», знание истории местного горного дела и старинных горных терминов тронули сердце старого штейгера, и он стал относиться ко мне с гораздо большим вниманием.

Я заметил, что старик ждет моих расспросов о рудниках. Иногда он сам даже заводил речь о тех или иных особенностях руды, упоминая несколько новых для меня названий шахт, но я намеренно ни о чем не спрашивал его. Я знал, что душа старого горняка не выдержит и, видя во мне такого же глубоко преданного своему де-

ду человека, штейгер поделится со мной своими знаниями.

Кончался август. Солнце все еще было теплое и яркое, но в степи начали дуть холодные ветры. Было особенно приятно почувствовать при спуске в поселок горьковатый запах кизячного дыма, стлавшегося голубой завесой из десятков труб. Этот дым означал тепло для озябшего тела, еду, хорошую папиросу в постели — словом, все, что нужно для превращения утомленного работой труженика в кайфующего халифа...

Беседы с Поленовым на завалинке прекратились — дни стали короче, и я часто возвращался в темноте. Лишь иногда, когда погода или работа над накопившимися черновиками заставляли меня оставаться дома, в дверях занимаемого мною помещения вырастала высокая, сутулая фигура Поленова. Поглаживая желтоватую бороду и зорко осматриваясь не по-стариковски быстрыми глазами, штейгер заявлял: «Соскучал по тебе, Васильич, давно не беседовали. Ты все без удержу по шахтам лазишь». — «Садись, Корнилыч, чайку нам Настасья Ивановна даст, а конфет хороших мне с Егорьевского привезли», — говорил я, зная пристрастие старика к сладостям. Покрихтывая, штейгер опускался на лавку, и продолжал вычерчивать какой-либо план или профиль, и начинался беспешный разговор. Нам обоим беседа доставляла удовольствие, и мы засиживались допоздна. Я узнал недавно, что Поленов был последним из целого поколения крепостных штейгеров медных рудников. Знания передавались по наследству от деда к отцу, от отца к сыну. В примитивном горном хозяйстве штейгер был одновременно и маркшейдером, и пробщиком руды, и руководителем бурения — словом, универсальным горным специалистом.

Многолетняя, с детства воспитываемая практика работы под землей выработала у Поленовых особое чутье, про которое старик рассказывал так:

— Теперь пошли эти теодолиты, буссоли... Сорок раз вычисляй да исправляй, пока уверишься, что правильно наметил выработку. Если жилу какую-нибудь нужно проследить, куда она, родимая, ушла, начинают горную геометрию разводить, чертят, вычисляют. А вот мы — мой отец да я — как работали? Походишь под землей, примеришься и чувствуешь, куда подкоп вести, особенно если на сбойку со встречной или старой работой. Это чутье

горное нас никогда не обманывало. Сам небось видел, какие выработки прокладывали. У меня-то его меньше осталось — с буссолью заставляли работать, — но и то иной раз знаю: врет инструмент; ошибки найти не могу, а знаю — врет. Походишь, породу пощупаешь, куда жилки направлены, куда зерно укрупняется. Начнешь раздумывать, и такая уверенность придет, что прямо приказываю: бей квершлагом сюда вот! И всегда правильно угадывал, а почему — сам объяснить не могу. А то вот видел Петровеликанскую штольню? Ее английские маркшейдеры проводили, сбывая с Михайловской. И как промахнулись: громадная работа пропала! Вот тебе и инструменты!.. Так же точно и воду чувствую под землей, где к водяному слою ближе, где под песчаником вап* лежит. Много чего знаю...

И действительно, старик был по-своему прав, только он забыл, что его горной практике нужно было учиться не один десяток лет. С инструментом же любой человек может за короткий срок овладеть искусством прокладки выработок.

Я верил ему и, слушая его, не раз вспоминал о фрейбергских горных мастерах, основоположниках горного искусства в XV веке. У них точно так же из рода в род, из поколения в поколение передавались горные знания и так же было известно множество примеров как бы ясно-видения под землей. Эти мастера развивали в себе особое чувство — чувство подземного пространства и направления, заменявшее им точность маркшейдерских приборов и схемы горной геометрии. Без участия минерографии и химии, по тончайшим оттенкам руд, по неуловимому для обычного наблюдателя изменению породы старые горняки предугадывали выклинивание рудного тела, находили обогащенные участки — словом, прекрасно ориентировались в многообразной, занимающей теперь разных специалистов работе по оценке и разработке месторождения. И я думал о том, что напрасно в истории горного дела забыты простые и верные способы, требующие развития наблюдательности и своеобразной духовной остроты человека. Люди стали меньше верить в чудесные возможности, которые таит в себе человеческая природа, в воспитание подлинного мастера — мастера в прекрасном старинном значении этого слова.

* Вап — старинное название известковой твердой глины.

В ближайшее воскресенье я решил приостановить полевые работы и подвести итоги своим исследованиям. Разложив снятые карты, я печально смотрел, как посреди огромного рудного поля Ордынских рудников выделялся лишь маленький, мною исследованный участок. Точно так же изученные площади Левских и Смежных рудников были разделены широким промежутком, оставшимся неизвестным. Словом, все эти пробелы портили радость большой и интересной работы минувшего лета. Я не мог связать два больших рудных поля.

Мои размышления были прерваны приходом Поленова. В новом рыжем полушубке, в больших сапогах, старик выглядел торжественно и празднично и казался много моложе своих лет. Я сразу заметил, что он чем-то заволнован. В ответ на мое обычное приглашение садиться старый штейгер сбросил полушубок и, усевшись на табурет, спросил:

— Семен болтал, что ты уезжать собираешься, Васильич?

— Собираюсь, Корнилыч,— ответил я.— Жаль, конечно: полюбились мне и рудники и место ваше, но пора заканчивать работу, скоро с меня отчет потребуют.

— Рано ты собрался уезжать, Васильич. Хоть и облазил ты много, да самых интересных мест еще не посмотрел.

— Знаю, да пробраться к ним не могу. Работы самые старые, сверху все завалено. Придется обойтись тем, что мог посмотреть.

Старый штейгер молчал насупившись. Я исподтишка поглядывал на него, ожидая, что он скажет. После недолгого молчания Поленов тряхнул головой и с деланным спокойствием сказал:

— Ладно, Васильич, я тебе помогу немного... Еще несколько рудников, как хочешь, а нужно тебе посмотреть...

— Что же, Корнилыч, спасибо тебе!.. Но почему же ты раньше не помог мне? Все говорил, что не знаешь, вабыл.

— Я, Васильич, по человеку вижу, нужно или не нужно ему помочь,— ответил старик.— Вот пригляделся к тебе, и теперь ты как родной мне. Настоящий рудаш! И в тебе любовь большая к доброй работе... Ну, что в пустошь болтать! Скажи-ка лучше: в Мясниковском старом был?

— Был, Корнилыч, Мясниковский я хорошо знаю.

— Знаешь, да не все. Ты в верхних работал — Ордынская дача по-нашему, — ходил, наверху сырта. А вот в самых нижних, по дну лога, в Казенных-то не был.

По указанию штейгера я проник в самые низкие горизонты древних Старо-Мясниковских рудников и целую неделю изучал огромные камеры между массивами оставленной руды меденосного конгломерата.

Я сделал немало новых открытий, которые, впрочем, имеют интерес только для специалистов. Наконец настал знаменательный день, когда Поленов согласился сопровождать меня в моей попытке проникнуть в огромную подземную систему поля Ордынских рудников, расположенных на высочайшем степном плато, прямо к югу от поселка Горного.

Штейгер настоял, чтобы я никого не брал с собой и никого не посвящал в тайну похода. По его совету я взял лопату, кайлу, длинную крепкую веревку, два толстых бруска, а также запас свечей и продуктов. Поленов обещал довести меня до шахты, «через которую нужно перепрыгивать», а дальше я должен буду пройти сам и наметить план дальнейшего исследования. Для этого, по его расчетам, мне придется пробыть под землей около двух суток.

В рассветных сумерках, под свистящим в сухой траве ветром мы направились вверх по склону холма, мимо высоких белых отвалов Смежного рудника. Все взятое снаряжение было довольно тяжелым, и я обрадовался, когда старик сказал, что вход недалеко от поселка. Беспредельная, таинственная в сумеречный час степь, озабоченный вид штейгера и наш сделанный украдкой выход создавали несколько приподнятое настроение. Но все оказалось очень простым. Старик в полугоре повернул налево, и, перейдя заросшую густой полынью лощинку, мы оказались вскоре среди множества полузасыпанных шахт, отвалов и обрушенных штолен хорошо знакомого Правого рудника. В жаркие летние дни я много раз бродил по его отвалам, безуспешно пытаюсь найти путь в глубоко лежавшие под поверхностью степи выработки.

Штейгер уверенно направился к высокому отвалу в форме ровного конуса. Перед отвалом оказалась воронка плохо засыпанной шахты, заросшая кустарником. Дойдя до нее, Поленов огляделся кругом, хмурясь и отрывисто бормоча себе что-то под нос. Затем он сделал знак остановиться и начал медленно взбираться на отвал. Он дол-

го стоял на отвале, глядя вниз и для чего-то растопыри-
вая и загибая пальцы своих больших рук. Я смотрел на
него и думал о том, какие воспоминания проносятся сей-
час в голове старого штейгера.

— Ну вот, Васильич, должно быть здесь,— произнес
штейгер, спускаясь с отвала.

Он встал на колени, раздвинул руками кусты. За ку-
стами оказалось отверстие небольшой заваленной штоль-
ни, в которое мог бы пролезть разве только ребенок.

— Если в глубине работа не села, пролезем скоро!—
сказал Поленов.

Я, не отвечая, сбросил с плеч свой мешок и взялся за
лопату. Рыхлая земля, засыпавшая вход, поддалась легко,
и через полчаса я расширил отверстие настолько, что
полком можно было свободно пробраться в него. Приго-
товив свечу и спички, я растянулся на мягкой сырой зем-
ле, нагроможденной у входа, и привычным движением
вниз головой скользнул в узкий, трубообразный проход.
Несколько метров я полз вниз по склону земли, осыпав-
шейся в выработку, затем проход сразу расширился.
Верхняя его часть была свободна. Дальше можно было
уже ползти на коленях. Я остановился и зажег свечу.
Сверху приглушенно донесся голос старого штейгера,
спрашивающего, как дела.

— Отлично, Корнилыч! — крикнул я.— Полезай, да
и мешок не забудь!

Вскоре я услышал шуршание мешка, скатывающегося
вниз, и старческое покряхтывание Поленова. Из мешка
мы достали фонарь; лопату оставили у начала расшире-
ния и вскоре миновали «хвост» земли, вымытый сверху в
выработку. Можно было идти почти выпрямившись.
В штольне было сухо. Свет фонаря бросал желтоватый
отблеск на стены, уходившие далеко в черную тьму. Ста-
рик медленно шел впереди. Мне это было на руку, так
как я успевал на ходу справляться с компасом и записы-
вать направление и расстояние. Штольня была длинна и
низка. Спина начала болеть от согнутого положения, ко-
гда мы подошли к рудничному двору шахты.

— Ничего не попишешь! — буркнул Поленов.— На-
чисто засыпали. Придется в юберзихбрехен* прокапы-
ваться, нечистый его дух!..

* Юберзихбрехен — горизонтальная выработка, соеди-
няющая стволы двух соседних шахт.

Я понял, что старик хочет пробраться через ход, соединяющий большую шахту с соседней, и, не мешкая, приступил к делу. К счастью, в углу потолка рудничного двора земля не насыпалась вплотную к стенке, и мы без особого труда проползли через узкую щель в другой ход. Этот ход привел нас к маленькой шахте, которая не была засыпана полностью. На небольшой глубине от устья шахты было сделано деревянное перекрытие, сверху потом заваленное. Вверх и вниз в черную тьму уходил квадратный колодец около двух метров в поперечнике. К этому времени мы сильно углубились в склон плато, и нависшая над нами толща горных пород была уже большой.

— Теперь куда, Корнилыч? — окликнул я штейгера, склонившегося над шахтой.

Не отвечая, он бросил вниз камень, и вскоре до нас донесся отчетливый всплеск: внизу была вода. Разочарованно я посмотрел на штейгера, но лицо Поленова было спокойно.

— Ну, Васильич, теперь самое трудное начинается — спускаться надо.

— Куда же, в воду?

— Эх, а еще горняк! Или боишься? — поддразнил старик. — Помнишь, я тебе говорил, будет шахта, через которую придется прыгать, — эта самая и есть. Двадцать четыре аршина ниже будет большой штрек среднего горизонта, нам на него выйти надо. Спервоначалу я думал спускаться большой шахтой — тогда надо было через эту перепрыгнуть. Ну а теперь ты спустишься вниз, раскачаешься и заскочишь в рудничный двор второго горизонта. Веревку петелькой за пояс прикрепи, чтобы не утратить. Да тебя уж учить не надо, практику хорошую прошел. Понял мой план?

— Все понял, Корнилыч. Двадцать четыре аршина — пустяки!

Я достал принесенную веревку, на захваченный с собою крепкий брусок навязал петлю и продел в нее сложенную вдвойне веревку для спуска известным альпинистам способом, называемым дюльфером.

Пока я готовился к спуску, Поленов присел на мешок около шахты и наставлял меня на дальнейший путь. Основной моей задачей было проникнуть в грандиозные выработки глубочайших шахт района — Щербаковский рудник.

— Дай-ка бумаги, я чертеж тебе сделаю,— сказал старик.

Сдвинув головы к фонарю, мы, как два заговорщика, иполголоса совещались на краю черного отверстия старой шахты. Глубочайшая темнота и тишина окутывали нас. Мы уже настолько привыкли к ним, что, когда где-то в конце пройденной нами сбойки возник негромкий звук, он показался оглушительным. Я повернулся, едва не опрокинув фонарь; штейгер приподнялся, упершись руками в песок. Вытянув шею, вглядывался он в беспросветную черноту, заполнявшую другой конец хода. Звук напоминал шуршание большого куска сминаемой бумаги. Усиливаясь, он перешел в заглушенный гул и закончился тупым ударом. Через несколько секунд волна воздуха вышинула по коду и донеслась до нас, погасив фонарь и свечу. После этого все стихло, и снова беззвучная тьма выжарилась в подземелье. Догадываясь уже, что произошло, я торопливо нащупывал в кармане спички.

— Ну как, Корнилыч? — спросил я штейгера, и голос мой прозвучал хрипло, неуверенно.

И зажег свечу. Лицо старика было строго, но спокойно. Только сдвинутые брови и сжатые губы говорили о надвинувшейся на нас опасности.

— Эти заваленные шахты всегда... — Он не договорил, быстро поднялся и взял свечу. — Пойдем, Васильич, посмотрим... Только потихоньку.

Мы углубились обратно, в недавно пройденный ход, и очень скоро шаги наши заглохли в мягком песке, толстым слоем устлавшем пол выработки. Я посмотрел на Поленова, он кивнул головой. Слой песка все утолщался, в нем показались крупные глыбы породы. Мы сгибались все ниже и ниже, продвигаясь вперед, и наконец уперлись в насыпь из песка и камней, закрывшую наглухо отверстие штрека.

Дело было совершенно ясным: осела какая-то пустота в большой лавальной шахте. Сотни тонн земли, обрушившись сверху, отрезали нам путь назад... Мы находились в одном краю огромной, площадью во много километров, системы подземных ходов, уходивших в глубь стенового плато. Чем дальше, тем шахты становились все глубже и все были завалены. Да если бы некоторые из шахт и были открыты, разве можно было бы подняться через них из стометровой глубины? Чувство смертельной опасности, охватившее в тот момент, когда я услышал

шорох обвала, не оставляло меня. Быстро пронесся рой мыслей о жизни, работе, близких, о прекрасном, сияющем, солнечном мире, который я больше никогда не увижу. Я закурил папиросу и жадно затянулся. Табачный дым низко стлался в сыром и холодном воздухе. Овладев собой, я повернулся к Поленову. Он был хмур, спокоен и молча следил за мной взглядом.

— Что будем делать, Корнилыч? — как можно спокойнее спросил я.

— Сильно сверху надавило; пожалуй, вся труба земли села, — сердито хмурясь, сказал Поленов. — Это мы растревожили, когда прокапывались. Видно, давно уж на волоске висело. Делать нечего, не прокопаешься, опять засыпать будет... Ну, пойдем назад, к шахте. Что мы здесь корячимся.

Не говоря ни слова, я пошел за стариком. Его спокойствие удивило меня, хоть я и понимал, что за свой долгий рабочий век он много перевидал и не раз испытывал серьезную опасность.

Не знаю, сколько времени мы молча просидели у края шахты: старик — в глубокой задумчивости, я — нервно покуривая. И я невольно вздрогнул, когда Поленов неожиданно нарушил молчание:

— Ну, Васильич, выходит, мне с тобой лезть надо. Мне-то уж помирать не страшно — годом раньше, годом позже, а тебе неохота, да и нельзя: полезный ты нашему делу человек. Свечей сколь прихватил с собой?

— Три целых пачки, — ответил я.

— Это дело! Такого запаса хватит, но для всякого случая, когда спустимся, вторую свечу гаси — путь длинный... А меня сумеешь ли спустить? Я ведь тяжел. — И на суровом лице старика чуть мелькнула улыбка.

— Спущу, Корнилыч, будь спокоен, — откликнулся я. — Однако как же мы выберемся из глубин Рождественского или Щербаковского рудника? Здесь-то, может быть, и разыщут...

— Ну, какой шут нас найдет! — жестко оборвал старик. — Ищи иголку в степи. Не сказались ведь, куда пойдем. А тут дело вот какое: пройдем мы до Старо-Ордынского — это дорога верная; от Горного, почитай, километров шесть будет, но зато по старым сухим выработкам. А дальше был наверх единственный ход через Андреевский Девятый — этим ходом Андрей Шаврин первый прошел. Он его и обнаружил — рудаши потом

на его имени этот отвод назвали. Кроме него, меня да еще одного, никто там и не был, а это ведь семьдесят лет тому назад было. Ну, собирайся: спервоначалу меня спустили, потом сам, Веревку-то выдери опосля — пригодится...

— Через несколько минут Поленов повис в черном колоде шахты. Медленно выпуская веревку из-под ноги, и глядя, как фонарь, прицепленный к груди старика, опускался все ниже,

— Стой! — загудел внизу голос старого штейгера. — Нет, еще аршин выпусти!

— Быстро перевертывая веревку через брусочек, я увидел, как штейгер уперся ногами в стенку шахты, раза два качнулся и исчез. Едва заметный след мерцал где-то внизу, на противобольной стенке шахты. Потом веревка ослабла, освобожденная от груза. Я спустил вниз мешок, и затем начал спускаться сам, отталкиваясь ногами от стенок шахты, пока не достиг уровня двора среднего горизонта. Далеко внизу, на нижнем горизонте, плескалась вода, в которую сыпались кусочки породы. Подражая штейгеру, я раскачался и прыгнул в освещенное фонарем начало штрека. Штейгер стоял, прислонившись к печаннику, и тяжело дышал. Только что проделанный спуск истощил у него все силы. Я не спеша освободил и смотал веревку, медленно надел заплечный мешок, приготовил компас и наконец закурил, чтобы дать время старику оправиться. Штрек был большого сечения и, не в пример прочим, довольно высок. Мы свободно пошли, не стибаясь, в далекую дорогу в подземной глубине, отрезав себе всякую возможность возвращения. Я безусловно доверял старику. Сложнейший лабиринт разно-временных выработок где-то мог вновь приблизиться к поверхности. При знании всех подробностей расположения древних и новых выработок мы могли спастись. И это знание было у Поленова, последнего из оставшихся в живых мастеров горного дела прошлой эпохи.

Путь был утомителен и долог. Миновав без особых затруднений большие и правильные выработки Александровского рудника, мы долго пробирались ползком в частично обрушенных и низких работах двухсотлетней давности, пока наконец не выбрались в длинный штрек английской концессии. Пройдя этот штрек, мы попали в систему больших камер на месте незначительных гнезд сплошь вынутой руды, где должны были разыскать квар-

шлаг — ход, соединяющий эти выработки с выработками соседнего Щербаковского рудника. Щербаковский рудник остоял от поселка Горного по поверхности около четырех километров, мы же проделали путь под землей много больший, и к этому времени старый штейгер совершенно выбился из сил. Я постелил на сырой пол камеры свою кожаную куртку, и Поленов в угрюмом молчании опустил на нее. Однако после того, как мы поели и я дал старику шоколаду с добрым глотком коньяка, Поленов заметно приободрился. Я решил не торопить старика, зажег еще одну свечу и с удобством устроился на мешке, покуривая и поглядывая кругом. Потолок камеры едва серел при тусклом свете, неровные, уступчатые стены из плиток голубоватого рудного мергеля были испещрены черными пятнами — обугленными отпечатками древних растений. Здесь было более сыро, чем в выработках, просекавших песчаники, и неподвижная тишина нарушалась мерным, четким падением водяных капель. Местами черные полосы пропластков, обогащенных медным блеском и углистой «сажей» ископаемых растений, резко прочерчивали породу оставленных столбов. В других выступах стены были испещрены синими и зелеными полосками окисленной части рудного слоя.

Влево от нас неровный, изборозженный трещинами потолок камеры быстро понижался к изогнутой полукружием галерее. В галерее чернели три отверстия: одно из них должно было служить нам дальнейшей дорогой. Стараясь угадать какое, я подумал о среднем и оказался прав.

Я докурил вторую папиросу, когда Поленов сказал, что готов отправиться дальше.

— Отдыхай, Корнилыч, — отвечал я, — торопиться некуда, наверху все равно уже ночь.

— И то, пожалуй... — согласился штейгер. — Полпути сделали, а дальше-то хитрей будет.

— А что это за путь, которым мы пойдем, и кто такой Шаврин, открывший его?

— Ну, что за путь — сам увидишь, а про Шаврина могу рассказать — дружок он мой был...

И старик начал свой рассказ под монотонный аккомпанемент капель.

— Дело-то это незадолго перед концом крепостного права было — в пятьдесят девятом году. В ту пору я парнишкой восемнадцатилетним был, однако же по сметке и

по выучке горным десятником работал. Андрюшка Шаврин — постарше меня на два года — тоже в горных десятниках ходил. Работали мы оба на Бурановском отводе и в Чебеньках — знаешь, где роща березовая сейчас, на спуске к Уранбашу, где Верхоторская горная контора тогда стояла. Протин нее, по ту сторону речки, — Воскресенская горная контора. С Андрюшкой мы дружили, да и кто с ним не ладил — отменный парень был! Ну, не только красив, но силен да статен, а уж умен да ласков — какой-то прямо особенный! Работу горную очень любил. Еще мальчишкой с моим да со своим отцом все по старым работам ходил: по поручению управляющего смотрели, чтобы потом, что хорошее осталось, взять. Хорошо выучился, книг много разных читал и, не в пример другим, любил вечерами после работы сидеть допоздна в степи и думать о чем-то... Все было бы хорошо. Работал Андрей — не нахвалишься, да только гордый был парень. Ну, а крепостному-то гордость очень вредная, особенно когда управляющий, как наш Афанасьев, строжак был. Грифы-то Пашковы, к которым мы были приписаны, в горные дела мало вмешивались. Управляющий и орудовал как хотел. А Шаврин еще с соседями из Воскресенской конторы сдружился. Ихний управляющий — Фомой Ринардом звали — все его хвалил и к себе звал работать. Да как убьешь? Кабы государственный был, еще можно бы сделаться... Андрюшка часто у них пропадал и много чего лишнего понахватался — не по чину получилось. И это еще не беда. Прав у Андрюшки был тихий, да как до Насте дело дошло, тут все перевернулось. Девка тут была одна, плотника Ферапонтова дочка. Ничего себе, красивая, косы длинные, грудь высокая, как сосенка статная. И певунья на редкость — голос на все конторы слышался. Андрюшка и втянулся в нее, она в Андрюшку. Словом, любовь у них такая пошла — сами не свои ходят, как зачарованные. Как вечер, бежит мой Андрюшка на Покровский рудник к своей Настеньке. Узнал про это управляющий и сильно освирепел. Он эту девку давно заприметил и то ли для себя, то ли для своего сына в любовницы прочил. Позвал он Настю к себе. Жил он тогда в большом белом доме на ферме, у Верхоторской конторы. Этот дом не сохранился — в революцию пожгли. Стоял он в большом саду, у пруда. А Шаврину управляющий приказ послал: немедля собраться и ехать с павтрашним же обозом, что с рудой на завод в Уфимскую.

губернию пойдет: переводит он, значит, Андриюшку на Ивановский рудник, что недавно Пашковы за Демой купили. Андриюшка узнал — и свету невзвидел. Как же ему с Настей-то расстаться? Словом, побежал Андриюшка к Насте и узнал, что Настю управляющий к себе потребовал. А уж смеркаться начало... Андрей-то недаром умен — сообразил, что неспроста и его отсылают. Пустился он во весь дух на ферму. С Покровского-то хорошо бежать — вся дорога под гору. Уже стемнело, когда добежал. Быстро, никто его не заметил, пробрался в сад и затаился в кустах под окнами управляющего.

А управляющий как раз в это время Настю улещал. Да девка уперлась — ни в какую, хоть в Сибирь ссылай, хоть убей. Афанасьев в конце разъярился — не привык он к непокорству. Кликнул двух баб домовых — здоровенные такие бабищи были, — одежду они с Насти сорвали при нем и заперли голую в темный чулан, чтобы одумалась. Ну, Настя — девка сильная и, пока они с ней управились, шуму много наделала, и Андриюшка услышал этот шум, влез на карниз и заглянул в окно. Увидел он, как Настю бабы из комнаты утаскивают, и все в душе у парня перевернулось. Потом уже рассказывал он мне, что не в себе стал, плохо помнит, что было дальше. Высадил раму, в комнату прыгнул — кабинет это был Афанасьева — да прямо к двери, в которую Настю утащили. Афанасьев увидел его — и скорей за ружье, что висело на стенке. Только взять он ружье не успел. Андрей схватил со стола какую-то тяжелую штуку да как ахнет управителя по зубам! Зубами Афанасьев всегда гордился — они у него были, как у цыгана, крупные, белые. Андриюшка их одним ударом вышиб. Парень здоровый, да еще осатанел совсем — ну, ясно, управляющий и покотился, обливаясь кровью. Тут бы его Андриюшка и прикончил, да голос Насте услышал. Управителя бросил и кинулся искать ее. Пока то да се, по дому тревога поднялась. Афанасьев тоже крепкий был мужик, быстро очухался и заорал: «На помощь!» Сбежались тут конторские сторожа и его, Афанасьева, охранители-кучера: звери, а не люди. Навалились скопом на Андриюшку, сбили с ног, скрутили. Афанасьев на Андрея глядит, ко рту платок прижимает и слова сказать не может — рычит только. Наконец прохрипел: «В амбар, завтра рассчитаемся!» Заперли Шаврина в крепкий амбар рядом с кузницей, сторожа выставили. А в доме управителя любушка его сидит — тоже за-

пертай, своей участи дожидается. Вот как счастье-то их в один миг перевернулось, сгнуло!.. Ну ладно... Отдохнули мы, пора и дальше,— неожиданно оборвал рассказ Поленов и, покряхтывая, поднялся с земли.

Идти по широким штрекам в обширных Щербаковских выработках было легко. Но зато воздух здесь был тяжел. Огонек нашего фонаря еле мерцал, не давая даже возможности различить дорогу. Здесь, на наибольшей глубине, естественная вентиляция через системы выработок и продухи не полностью заваленных шахт почти отсутствовала. Дышать было трудно, и я серьезно тревожился за старого штейгера. Вскоре перед нами выросла огромная насыпь крупных глыб и породы, скат которой уводил высоко вверх.

— Наверх, значит, надо лезть по ней,— сказал Поленов.— Только ох как осторожно нужно, Васильич!..

Пробуя, крепко ли лежат куски породы, с глыбы на глыбу, минуя сотни зияющих щелей, поднимались мы метр за метром на горизонт 27-й сажени. Я изо всех сил старался облегчить старику трудный подъем. Поднимались мы очень долго, пока наконец не добрались до желанной цели. Цель эта показалась мне весьма невзрачной. Широкая лавообразная выработка целиком села, от кровли отделились огромные плиты по три-четыре метра толщиной. Между новым потолком и севшими плитами зияла широкая щель, не более полуметра вышины, ведущая в новую неизвестность. Двадцать семь сажен толщины пород по-прежнему отделяли нас от поверхности земли. Но здесь приятно было почувствовать тягу воздуха, вздохнуть как следует. Пламя фонаря вспыхнуло и стало гореть ярче. Долго лежали мы, отдыхая на гладкой плите, похожей на большую льдину. Движение воздуха колебало огонек фонаря и холодило разгоряченное лицо.

— Тинет здорово, Корнилыч,— нарушил я молчание.— Пожалуй, где-то близко выходные выработки.

— Ближко-то ближко, да не для нас. Это знаешь куда тянет? В большую Покровскую шахту, откуда воду берут в выселке на сырту. Ее второй горизонт примерно с этим сходится, а сбойка была, но нам туда не пробраться — село все, а понизу затоплено. Нет, наша дорога теперь направо, в Верхоторский отвод — Мясниковский Новый по-другому называется. Ну, давай полезли понемногу,— отдыхался я..

Щель, несмотря на свой зловещий вид, оказалась сравнительно легкопроходимой. Из нее мы попали в узкий ход, а дальше — в большие, правильные выработки и через несколько узких восстающих поднялись метров на двенадцать выше. Потом потянулись низкие, неправильной формы, изогнутые ходы. Они неуклонно заворачивали к юго-востоку, пока не перешли в широкую галерею.

— Вот тебе и Старо-Ордынский! — обрадованно сказал штейгер. — Это штольня кольцом вокруг пойдет, а из нее — орты внутрь, как колесные спицы. Посередке большая камера — нам туда и надо... Да вот одна орта, в нее и лезем...

Низкое сводчатое отверстие хода черпело налево у пола галереи. Пришлось снова становиться на четвереньки и, испытывая острую боль в натруженных коленях, продвигаться по слегка наклоненному вверх тесному ходу. Несмотря на всю привычку, я стал уставать от ползанья.

Внезапно орта кончилась, и мы вошли в огромный, почти круглый зал. Как я ни поднимал фонарь, мне не удалось разглядеть потолок, и только когда я зажег свечу, увидел его изрытую подсечками поверхность на высоте больше десяти метров. Огромные черные бревна столбовой крепи стояли колоннадой, подпирая своими терявшимися в темноте верхушками боковые уступы, косо сбегавшие с потолка к стенам зала. Пол был ровен и чист. Против устья орты виднелись высокие закаты — штабеля оставленной в выработке бедной руды.

— Ну и чудеса! — воскликнул я в восторге, осматриваясь кругом. — Но как крепи уцелели здесь за столет, не понимаю!

— Это дело немудреное. Прежде ведь дубами крепили. А уцелели потому, что не давило здесь. Попробуй-ка крепь — смекнешь сразу.

Я подошел к ближайшему черному столбу и тронул его пальцем. Палец вошел, как в масло, в сырую и черную мякоть, но в глубине нащупывалось твердое дерево. Присмотревшись, я заметил, что древесина окрашена местами в густо-синий, местами в зеленый цвета — значит, насквозь пропитана медными солями.

Мы расположились на отдых у штабелей руды. Часы показывали четыре утра: уже двадцать один час находились мы под землей. Усталость брала свое.

— Много ли осталось, Корнилыч? — обратился я к штейгеру, доставая еду.

— Тут уж пустое. Сейчас в Чебеньки выйдем — и в штольню в Ордынском логу, выше ключа, в лесок.

— Ну и далеко же нас завело! Досталось тебе, Корнилыч!

— И то не думал я, что перед смертью еще раз побываю. После Шаврина я был тут с сыном лет пятьдесят назад...

— Вот что, пока будем закусывать да отдыхать, доведи-ка мне, что дальше с Андреем было, — попросил я.

— Вышивки-то осталось сколь-нибудь? — спросил старик. — Заморился я. А хорош шоколад-то: как поешь, сразу силы прибудет. В наше время мы его не видывали...

Он молчал, закусывая, и, только основательно заправившись, сказал:

— Ну ладно, слушай дальше... Так, значит, Андрюшка валялся в ямбаре, скрученный по рукам и ногам, а мы ничего не слышали... Либо его связали некрепко, либо ярость в парне больно велика была, только ночью удалось Андрею от пут освободиться. И хитер же он был! Поравнился маленько и влез на толстенную балку наверх, прямо над дверью, да как завопит диким голосом! Сторож перепугался, вызвал подмогу. Решили посмотреть, что стряслось с Андрюшкой: то ли ума решился, то ли помирает парень. Дверь отомкнули, вошли с фонарем и ямбар... Андрюшка прыгнул сверху на последнего, что с ружьем у двери стоял, сбил его с ног, подхватился — и в степь. Ну, тут: «Держи, лови!» — бух, бух в темноту... Где там! Сквозь землю провалился. Да и впрямь ведь в землю ушел — выручай, родная! И выручила...

Утром мне на работу выходить. Встал еще до свету. Мать на стол собирает и говорит, что с Андрюшкой неладное случилось. Уж слух прошел: и как управляющий Настю забрал, и как Шаврин ему зубы вышиб, и как сбежал он ночью куда-то. А что с Настей было, никто не знал. У меня от этих новостей даже дух захватило, и пошел я на работу сам не свой. Все думал, что теперь будет и как бы Андрею помочь. Работали мы в Чебеньках, на самом краю отхода. Полез я шестой забой проверять. Иду по штреку задумавшись, вдруг слышу Андрюшки Шаврина голос. А я все о нем думаю, и так это меня пробрало, даже обмеря, остановился. Посмотрел туда, сюда — рядом печь старая. Посветил, гляжу — и впрямь Андрюшка меня рукой

подманивает. Огляделся я кругом — никого, фонарь притушил и в печь. А там, в глубине, разбуравлено было и старый ордынский ход пересекался. Мы с Андриюшкой туда и прошли. Я к нему с расспросами, как да что. Андрей только головой помотал — некогда, мол: Настю да и себя спасти надо. «Про тебя, — говорит, — знают, что ты дружок мой, следить будут, так ты долго здесь не задерживайся. Костьке Силаеву (это второй его дружок был) скажи, что я повидать его хочу ночью, чтобы только никто не видел. Принесите в Ордынский лог, к ключу у четырех больших берез, еды побольше — на несколько дней. Там я вас встречу и скажу, что дальше делать надо. И еще: пусть ты или Костя всенепременно перед вечером с кузнецовой Надеждой повидаются. Пусть она постарается передать Насте: жив Андрей и скоро ее освободит. Старому ироду пускай не поддается и ждет от меня известия...» На том и порешили. Харч, что я с собой взял, отдал Андриюшке, и он исчез в ордынской работе. Я потихоньку выбрался из печи — да к себе в забой. Места не нахожу, все думаю, как с Костей повидаться. На счастье, понадобились мне новые клинья, а наша кузница стояла у Верхне-Ордынского, где Костька работал. Я скорее туда. Ну, повезло: Костьку разыскал, перемигнулся, быстро ему все сказал... Сговорились, что Надежду он повидает. А встретимся мы у большого Волковского вывоза, выходить будем порознь. Отлегло у меня от сердца, вернулся я к себе на шахту. А кругом уж только и разговору, что об Андриюшке и Насте. Приказчики да сторожа в степь поскакали — Андрея ловить, да собаки охотничьи спущены были.

Управляющий занемог — видно, здорово его Андрей стукнул, — в постели лежал. Награду назначил большую, кто Шаврина поймает. Нарочный в Каргалу поскакал, полицию уведомить, а оттудова в Оренбург к полицмейстеру, за приказом ловить Андриюшку и в железо ковать.

Я, как домой вернулся, мешок приготовил да потихоньку от матери насовал в него все, что под руку попало из еды. Подождал, когда все заснули. Наудачу, луны-то как раз не было, ночи теплые да темные. Пошел я, на душе беспокойно: за Андриюшку боюсь, не знаю, что дальше будет. Тихо в степи, пусто. Где-то стороной, слышно, верховые проскочили — должно, дружка моего ищут. По узенькой тропинке подошел я к Волковским вывозам. Чуть забелел на горюшке большой вывоз — тут в кустах заворошилось, и Костька как из-под земли по-

явился. И тоже с мешком. Пошли мы потихоньку, как два волка, в темноте непроглядной. Спустились в лог, и не по дороге, а на всякий случай по-за кустами, в полугоре пошли... Костыка мне шепотом рассказывает, как был у Нади. Та, говорил, даже в лице изменилась, побледнела, однако же говорит — сделаю. В сумерках прибежала, отдышаться не может. Настю не увидеть, ни сказать ей не смогла, держат ее по-прежнему под замком. Из разговоров в доме Надежда узнала, что управляющий сильно занемог, но клянется, как только ему полегчает, непременно самолично сыскать Андриюшку и отомстить за свое уродство сполна...

Пока Костя все это рассказывал, подошли мы к месту. У родника повернули направо; здесь было чистое песчаное место, кругом — кусты чернотала, а выше — гривка небольшая с травой, и на ней четыре старые березы. Сели мы под березами. Тихо кругом. Крикнул я сычом. Послушал, еще раз крикнул. И вдруг откуда ни возьмись Андриюшка прямо перед нами. Мы даже перепугались от неожиданности. Рассказали мы ему всё. Подумал Андрей и говорит: «Вот что, дружки мои любезные, — пропал я, а я пропаду—Настя тоже: загубит ее управляющий. Коли хотите помогать, делать это надо не мешкая. Сперва покажу я вам сейчас место, где меня сам черт, а не то что Афанасьев, не найдет. Вы в это место отнесите тулупчик какой или одеяло, посуду для воды да женское платье... Вот эту цидулю снесите в Воскресенскую контору—Рикарду. В собственные руки отдайте и ответа ждите. Ответ отнесите сюда и положите — покажу, в какое место... Дальше вот еще что: старинный рудничок у самой фермы знаете? Там открытая работа большая, а в ней несколько штолен маленьких, осыпавшихся. Так вот: средняя штольня выведет в подкоп, подкоп пойдет все правее и правее, к ямам от дудок, что уже в самом Ордынском лугу, в кустах. Нужно по этому подкопу пролезть и в одну из дудок ход расчистить наружу. Только землю, чур, внутрь отгрести. Надежде скажите, что я вечером послезавтра буду ее ждать в роще на Заовражном — ей туда добегать пустяк, а вы туда же приходите, как всё обделаете. Только записку мою Рикарду обязательно завтра на свету снесите, а вечером — ответ». Шаврин вдруг замолчал, прислушался. Прислушались и мы с Костей. Внизу, по лугу, слышен конский топот. «Ну, други, прятаться надо, это ведь меня ищут»,—

шепнул Андрюшка. Взял меня за руку, я — Костьку, и пошли мы в кусты, прихватив мешки. За кустами была большая старинная штольня — Ордынской звали. Устье широченное, высокое, верхом въехать можно. А сама штольня короткая, и выхода из нее нет. «Куда ты, Андрюшка? — говорю я Шаврину шепотом. — Ведь они беспрерывно в штольню заглянут — за тем, наверное, и едут...» — «Ладно. Конечно, заглянут... Да ты поспедай, а то мы их поздно заметили, заболтались...» И верно, под землей слышно — конские копыта уже совсем близко топаят... В штольне — я знал хорошо — было три хода. Средний — самый длинный, сажень восемь, Андрюшка нас туда и повел. В конце — орта небольшая; туда и сюда печи слепыми забоями. Вот мы в левую печь заскочили. Андрюшка и шепчет: «Вверх, выше роста, подсечка узкая, всего два аршина в глубину и меньше аршина в ширину. В конце подсечки — ход вверх, ордынская выработка смыкается. Руки вперед суй, перегнешься туда вверх, ноги подтянешь — и хоть во весь рост вставай». Так и сделали, и в самое время — голоса уже по логу слышны. Тут видишь какое дело: ход-то, он прямо над подсечкой, вверх идет и назад, над штольней поворачивает, узко очень, и как ни смотри — снизу ничего не увидишь. Влезли мы все. Андрюшка подвинул два больших куска породы, опустил в подсечку и конец ее вовсе закрыл. И знать будешь, так не пролезешь. Назад от подсечки ход шире шел; сели мы втроем над самым отверстием и слушаем. Верно, в штольню идут, шарят везде, ближе к нашему забою подходят. Вот чуть-чуть засветило между камнями — это кто-то свечу прямо к забою поднес. «Так нигде ходу нет?» — слышу, спрашивает, не узнал по голосу кто. А ему Рыбин, штейгер с Покровского, отвечает: «Посмотри сам. Мы ведь каждую печь знаем, — не видишь, что ли?» А мы сидим, притаились, друг друга локтем в бок подталкиваем. Ну, ушли незваные гости; выскли мы огонь, запалили свечу. Андрей нас и повел в свое убежище. Тут, оказывается, большие ордынские работы были. И никто о них ничего не знал. Знаешь, как у ордынцев-то было — ходы узкие, без крепких труб, стоят вечно. Труба за трубой спускаются наклонно вниз до большой выработки, где ордынцы богатое гнездо брали. Здесь Андрюшка-то и основался. Показал он нам оттуда путь в Старо-Ордынский рудник — в эту вот большую залу, где мы с тобой сейчас сидим.

Большая ордынская выработка с хорошую горницу величиной была, только пониже малость. Посередине гладкие плиты крепкого песчаника были теми ордынцами положены. На них мы сложили припас из мешков, свечи оставили, огниво; сюда же уговорились записку положить. На том и закончили. Поползли по трубам наверх, добрались до потолка, камни вытащили и вылезли. Андрюшка ход за нами опять закрыл. Послушали — никого. Ну и дернули домой без оглядки! Пришли ночью и выспаться еще успели... Ну а мы с тобой, Васильич, успели отдохнуть. Хватит сказки-то сказывать, давай выбираться...

Штабель у южной стены зала, где мы сидели, постепенно повышался. С него можно было забраться на уступ стены. Выше шла узкая просечка, по которой я, упираясь в стенки спиной и ногами, забрался на второй уступ, почти под самым потолком камеры. Этот уступ, вернее карниз, был очень узок. Пришлось лечь на бок, лицом к стене, и проползти три-четыре метра налево, к выходу доисторической трубообразной выработки. В ней и наконец-то твердо закрепился и втащил Поленова на перек. Развернуться уже было нельзя, и я так полз дальше, ногами вперед. Следом за мной, отдуваясь, полз Поленов. Проклятая выработка упорно поднималась вверх, и казалось, ей не будет конца. Я уже начал было думать, что кости на моих локтях вылезли наружу, но ног ноги потеряли опору, и я лягушкой выскочил на ровный пол. Это и была та самая подземная горница, где скрывался семьдесят лет тому назад Шаврин. Гладкие стены, характерные для доисторической выработки бронзового века, имели овальные очертания, потолок поднимался куполом, а пол углублялся в виде чаши. Я увидел гладкие камни посередине камеры, о которых рассказывал Штейгер. Осмотрев камеру, я нашел две источенные бронзовые кайлы и несколько медных слитков. Кайлы, один слиток, черепки какой-то посуды и череп, найденный в смежной орте, были впоследствии отосланы мною в Русский музей в Ленинграде. Штейгер шарил с фонарем по полу, бормоча что-то.

— Вот смотри, Васильич,— сказал он и направил свет фонаря за один из больших камней. Я увидел почерневшую, но хорошо сохранившуюся дубовую кадучку.— Бадейка для воды, ее Костька приволок, а вот и нож Андрюшки...— Старик поднял с полу ржавый обломок ножа и бережно сунул его в карман.— Как есть, все

так лежит, будто год назад было...— Даже при скудном свете фонаря видно было, как молодо заблестели глаза старика.— Эх, жизнь рабочая! Прошла, как один день...

Поленову не хотелось, видно, торопиться. Он обошел с фонарем всю выработку кругом, посидел на камне, не обращая на меня внимания. Я воспользовался этим для подробного осмотра выработки и нескольких ходов из нее.

Поленов позвал меня идти дальше, и снова началось ползание по трубообразным, узким ходам. Мы поднимались постепенно выше и выше, в то же время неуклонно направляясь на юго-восток. Странно было увидеть впереди голубое облачко отраженного света, резко отличавшегося от красноватого пламени свечей, долго светившего нам в подземном мраке. Свет усиливался. И вот с чувством несказанного облегчения я погасил и спрятал в карман свечу.

Столб неяркого света поднимался над квадратным отверстием в конце хода. Свесив ноги в отверстие, я решительно скользнул в него и остановился на ступеньке верхнего вруба забоя, повернулся, второй раз проделал то же самое и очутился на почве забоя. Я помог спуститься штейгеру; и оба мы, торопясь и спотыкаясь, пробежали оставшиеся пятнадцать метров навстречу нарастающей яркости голубого света. Я нетерпеливо раздвинул густой кустарник у входа и, упиваясь морем свежего, теплого воздуха, ослепленный светом до боли в глазах, не мог удержаться от радостного крика. Обернувшись к Поленову, я подумал, что суровый старик будет смеяться надо мной. Однако и на его лице светилась счастливая улыбка, он тоже радовался красоте просторного солнечного мира.

Высокое полдненное солнце встретило нас ласковым теплом. Тихий шелест осеннего ветерка звучал в наших ушах приветственным. Двадцать девять часов провели мы во мраке и тишине подземных выработок!

— Ну, Васильич, погреемся маленько, отдохнем, да и в Уранбаш пойдем, на ферму, бывшую Пашковскую, тут близко. Там и лошадь достанем, а то домой-то далеко, не дойду я. Выручил нас Андрюшка! Не знаю ведь я, что с ним потом случилось...

— Доскажи мне, Корнилыч, про Шаврина,— попросил я, раскладывая на солнцепеке отсыревшие папиросы.

— Да уж и рассказывать-то почти нечего. Сделали мы

нев, что Андриюшка сказал. Следующей же ночью мы с Костькой опять в ордынскую работу забрались, принесли тулун старый, бадеАку, еще хлеба да ответ от Рикарда. К нему я сам ходил украдкой. Прочел он записку, усмехнулся и ушел куда-то, а я в конторе ждал. Вернувшись, пошвытал, покодил по комнате, написал что-то на бумаге и мне отдал. Я сунул бумагу за пазуху да со всех ног домой, даже спасибо не сказал. Все боялся — заметит кто-нибудь, что в Воскресенку ходил.

Назавтра мы с Костей узнали: управляющий Афанасьев маленька оправился, полиция приехала, сидят в его кабинете, шныт, совет держат, как им Шаврина изловить. Едва только смеркнелось, мы, как кошки, — из дому. Я топор несу — Андриюшка просил, — Костя еще свечей добыл. На колывне, что против фермы, в кустах залегли — ждем, когда Надька побежит по столбовой тропке мимо. Слышим — пробежала, а сами ждем да слушаем, не следит ли кто свади. Долго лежали — не слышать никого. Тогда и сами — шасьт вниз, в рощу Заовражную. Я опять выном крикнул — Андриюшка ответил тихим свистом. Подошли, смотрим, тут же, у березки, и Надежда стоит.

«Так непременно, Надюша, сделай», — говорит ей Андрей. «Все сделаю», — отвечает. «Ну, спасибо тебе, родная, прощай, не поминай лихом». Надежда обняла его, крепко поцеловала и быстро так ушла... Андрей повел нас в лог, по дороге рассказывает, что мы делать должны. Завтра управляющий самолично поедет по рудникам — выслеживать Андриюшку. Догадался старый волк, что беглец скрывается в подземных работах. Как уедут все, нам с Костькой удрать на ферму и непременно подпалить дальний амбар, что у конюшни, на горке. А как подпалим — бежать что есть духу на Бурановский, смотреть с горы, что будет, и потом непременно вернуться домой. А приходить Андриюшку проведать не раньше чем через пару дней — после пожара-то крепко следить будут за всеми и уж в Ордынском логу станут шарить всенепременно. Ну, сговорились мы, попрощались и разошлись.

Утром Афанасьев с полицией, с подручными да с любимыми борзыми уехал в Богоявленскую контору — это где Горный наш сейчас стоит, — а в обед мы с Костькой пробрались огородами по-над речкой на ферму, на зады к конюшне. Смотрим — у амбара зарод* сена клеверного

* Зарод — небольшой стог сена (местное название).

стоит для лошадей управляющего. Мы подожгли амбар да заодно и зарод подпалили — и ну бежать низом что было мочи!.. Уж порядочно отбежали — слышим крик, сполох поднялся. Мы еще ходу прибавили и Федоровским оврагом на сырт выбрались, дорогу перебежали и еле живы пошли на Бурановский. У самих сердце-то так и екает: что-то теперь будет и удастся ли Андрюшке задуманное. Дым высоко поднялся, большущий, шум да рев издалека доносятся..

Вернулись мы на работу удачно, в срок. Сидим каждый в своей шахте тихо, как мыши,— знать ничего не знаем... А тут только и разговору, что о пожаре на ферме. Загорелся, мол, амбар, да быстро потушили... После работы пошли мы с Костькой вместе домой. А дома нас встречают: «Как, вы ничего не знаете?» — «Что такое?» — спрашиваем. Как же, на деревне-то Андрюшка Шаврин объявился, поджег амбар да зарод сена. Когда все побежали туда, он кинулся в дом с топором—страшный, глаза как у волка горят. Бабы, что за Настей смотрели, бежать. Андрюшка-то знал, где Настя сидит, дверь мигом высадил, схватил Настю за руку, и побежали они через сад, а потом за Верхоторскую контору — и в степь. Тут их было нагнали. В степи-то куда скроешься? Вот уж совсем их было настигли, но они до первых вывозов старого рудника добежали и как сквозь землю провалились. Пока за штейгером в контору побежали, да за свечками, да за огнем, Андрюшки с Настей и след простыл. Искали их, искали, по всему логу шарили: знают, Афанасьев приедет — беда будет, но так и не нашли. А тут и Афанасьев вернулся. Потемнел он, как приказчик доложил ему о пожаре да о побеге. Собрал народу многое множество и кинулся сам по логу искать, а оттуда на Среднюю Каргалку уехал. Ездил, ездил и вернулся ни с чем...

Обрадовались мы с Костей: вышло у Андрея все как по писаному. День выждали — все спокойно. На второй уж как уговорились ночью к Андрюшке пробраться, как вдруг зовут нас в контору. Собрали в конторе всех, кто с Андрюшкой дружил, его да Настину семьи пригнали и допытывают, кто ему помогал да кто знает, где он укрывается. Никто ничего не знает, и мы с Костей молчим. Сильно нас подозревали, кричали. Сибирью грозили, да ведь не пойман — не вор, ничего не поделаешь... Все же посадили нас в холодную и три дня в ней продержали, и все без толку; уперлись мы: ничего, мол, не знаем,

спросите у кого хотите — работали мы в шахте, каждый вечер дома были. Отпустили нас. Мы еще две ночи выжидали — хотели увериться, что не следят за нами, и пошли в Ордынский лог знакомой дорогой, прямо в Андриюшкину подземную горницу. Смотрим — никого, припасов и платья нет; только бадейка и тулуп оставлены. А на камне письмо нам с Костей лежит: прощайте, други, век мы с Настей будем вас помнить; уезжаем далеко, не придется уже свидеться.

И с тех пор ни об Андриюшке, ни о Насте никто ничего не слышал. И сколько Афанасьев ни рыскал по степи, куда англичанцев своих ни запускал, ничего не добился. Годы полтора прошло, и крепостному праву наступил конец.

Стал я ждать от Андриюшки писем, но так и не дождался. Потом позднее спросил у Рикарда, не знает ли он чего про Андрея. Тот долго отнекивался и только года через три сказал, что это он Андрею помог. Случилось так, что как раз ихний ревизор в то время в Самару должен был ехать. Спрятал он беглецов в своем экипаже — большой такой рыдван, кони хорошие, — и к рассвету Андрей с Настей уж далеко от нашей степи были. До самой Самары довез их ревизор, снабдил деньгами и письмом, рассказывая, как дальше быть. Волга — всем беглецам помога. Уехали они в Астрахань. А что дальше случилось, не знаю; знаю только, что от нашей неволи они ушли...

Пот, собственно, и все, что я могу рассказать о приключении, которое с неизгладимой силой врезалось мне в память. На следующий год я приехал на рудники позднее обычного. В поселке Горном я узнал, что штейгер Полонов умер в начале лета. «Все вас поджидал, да вот не дождался», — говорили мне знакомые из поселка.

Лет пять спустя на большом совещании по цветным металлам в Москве я обратил внимание на высокого, хорошо одетого инженера, выступавшего с критикой организации горных работ одного большого рудного района в Сибири. Я пришел в восхищение от умного и дельного доклада и спросил одного из сибиряков, кто это такой. «Это Шаврин, — отвечал инженер. — Очень дельный работник и потомственный горняк...» Я стал искать встречи с Шавриным, но оказалось, что он на следующий день уехал в Сибирь...

ОЛГОЙ-ХОРХОЙ

По приглашению правительства Монгольской Народной Республики я проработал два лета, выполняя геодезические работы на южной границе Монголии. Наконец мне оставалось поставить и вычислить два-три астрономических пункта в юго-западном углу границы Монгольской Республики с Китаем. Выполнение этого дела в труднопроходимых безводных песках представляло серьезную задачу. Снаряжение большого верблюжьего каравана требовало много времени. Кроме того, передвижение этим арханческим способом казалось мне нестерпимо медленным, особенно после того, как я привык переноситься из одного места в другое на автомобиле. Верная моя «газовская» полуторатонка добросовестно служила мне до сих пор, но, конечно, сулуться на ней в столь страшные пески было просто невозможно. Другой пригодной машины не было под руками. Пока мы с представителем Монгольского ученого комитета ломали голову, как выйти из положения, в Улан-Батор прибыла большая научная советская экспедиция. Ее новенькие, превосходно оборудованные грузовики, обутые в какие-то особенные сверхбаллоны специально для передвижения по пескам, пленяли все население Улан-Батора. Мой шофер Гриша, очень молодой, увлекающийся, но способный механик, любитель далеких поездок, уже не раз бегал в гараж экспедиции, где он с завистью рассматривал невиданное новшество. Он-то и подал мне идею, после осуществления которой с помощью Ученого комитета наша машина получила новые «ноги», по выражению Гриши. Эти «ноги» представляли собой очень маленькие колеса, пожалуй меньше тормозных барабанов, на которые надевались кепомерной толщины баллоны с сильно выдающимися выступами. Испытание нашей машины на сверхбаллонах в песках показало действительно великолепную ее проходимость. Для меня, человека большого опыта по передвижению на автомашине

в разных бездорожных местах, казалась просто невероятной та легкость, с которой машина шла по самому рыхлому и глубокому песку. Что касается Гриши, то он казался проехать на сверхбаллонах без остановки всю Черную Гоби с востока на запад.

Автомобильных дел мастера из экспедиции снабдили нас, кроме сверхбаллонов, еще разными инструкциями, советами, а также множеством добрых пожеланий. Вскоре наш дом на колесах, простившись с Улан-Батором, исчез в облаке пыли и понесся по направлению на Цецерлег. В обтянутом брезентом, на манер фургона, кузове лежали драгоценные сверхбаллоны, громыхали баки для воды и запасная бочка для бензина. Многочисленные планы выработали точное расписание размещения людей и вещей. В кабине с шофером сидел я за специально пристроенным откидным столиком для пикетажной винки. Тут же помещался маленький морской компас, на котором я записывал курс, а по спидометру — расстояние, пройденное машиной. В кузове, в передних углах, помещались два больших ящика с запасными частями и резиной. На них восседали: мой помощник — радист и вычислитель, и проводник Дархин, исполнявший также обязанности переводчика, умный старый монгол, много повидавший на своем веку. Он сидел на ящике слева, чтобы, склонившись к окну кабины, указывать Грише направление. Радист, мой тезка, страстный охотник, восседал на правом ящике с биноклем и винтовкой, охраняя в то же время теодолит и универсал Гильдебранта... Позади них кузов был аккуратно заполнен свернутыми постелями, палаткой, посудой, продовольствием и прочими вещами, необходимыми в дороге.

Путь лежал к озеру Орок-нор и оттуда в самую южную часть республики, в Заалтайскую Гоби, около трехсот километров к югу от озера. Наша машина пересекла Хангайские горы и выбралась на большой автомобильный тракт. Здесь, в селении Таца-гол, в большом гараже мы проверили машину и запаслись горючим на весь путь, подготовившись таким образом к решительной схватке с неизвестными песчаными пространствами Заалтайской Гоби. Бензин на обратную дорогу нам должны были забросить на Орок-нор.

Все шло очень хорошо в этой поездке. До Орок-нора нам встретилось несколько трудных песчаных участков, но с помощью чудодейственных сверхбаллонов мы про-

шли их без особых затруднений и к вечеру третьего дня увидели отливающую красноватым светом ровную поверхность горы Ихэ. Как бы радуясь вечерней прохладе, мотор бодро пофыркивал на подъемах. Я решил воспользоваться холодной ночью, и мы ехали в мечущемся свете фар почти до рассвета, пока не заметили с гребня глинистого холма темную ленту зарослей на берегу Орокнора. Дремавшие наверху проводник и Миша слезли с машины. Площадка для стоянки была найдена, топливо собрано, и вся наша небольшая компания расположилась на кошке у машины пить чай и обсуждать план дальнейших действий. Отсюда пачинался неизвестный маршрут, и я хотел вначале его отнаблюдать и поставить астрономический пункт, проверив казавшиеся мне сомнительными наблюдения Владимирацева. Шофер хотел хорошенько проверить и подготовить машину, Миша — настролять дичи, а старый Дархин — потолковать о дороге с местными араатами. Объявленная мною остановка на сутки была принята со всеобщим одобрением.

Определив, с какой стороны и под каким углом машина дольше задержит лучи утреннего солнца, мы улеглись около нее на широкой кошке. Влажный ветерок чуть шелестел камышом, и особенный аромат какой-то травы смешивался с запахом нагретой машины — комбинацией запахов бензина, резины и масла. Так приятно было вытянуть уставшие ноги и, лежа на спине, вглядываться в светлевшее небо! Я быстро уснул, но еще раньше услышал рядом с собой ровное дыхание Гриши. Проводник с помощником долго шептались о чем-то. Проснулся я от жары. Солнце, отхватив большую часть тени, отбрасываемой машиной, сильно нагрело мои ноги. Шофер, вполголоса напевая что-то, копошился у передних колес. Миши и проводника не было. Я встал, искупался в озере и, напившись приготовленного мне чаю, стал помогать шоферу.

Выстрелы, раздавшиеся вдалеке, свидетельствовали о том, что Миша тоже не теряет времени даром. Возню с машиной мы закончили под вечер. Миша принес несколько уток — из них двух каких-то очень красивых, неизвестной мне породы. Шофер занялся приготовлением супа, а Миша установил походную антенну и вытащил радиостанцию, готовя ее к ночному приему сигналов времени. Я бродил вокруг лагеря, выбирая площадку для наблюдения и постановки столба. Подойдя к машине,

я увидел, что обед уже готов. Проводник, который тоже вернулся, что-то рассказывал шоферу и Мише. При моем появлении старик замолчал. Гриша, широко и беззаботно улыбаясь, сказал мне:

— Страшает нас Дархин, прямо нет спасения, Михаил Ильич! Говорит, что прямо к бесу в лапы завтра попадем!

— Что такое, Дархин? — спросил я проводника, подсаживаясь в котлу, установленному на разостланном брезенте.

Старый монгол негодуяще посмотрел на шофера и с мрачным видом пробормотал о смешливости и непонятливости Гриши.

— Гришка всегда хохочет, беду совсем не понимает...

Веселый смех молодых людей, последовавший за этим заявлением, совсем рассердил старика. Я успокоил Дархина и стал расспрашивать его о завтрашнем пути. Оказалось, что он получил подробные сведения от местных монголов. Сухим стебельком Дархин начертил на песке несколько тонких линий, означавших отдельные горные группы, на которые распадался здесь Монгольский Алтай. Через широкую долину, западнее Ихэ-Богдо, наш путь лежал прямо на юг по старой караванной тропе, через песчаную равнину, к колодецу Цаган-Тологой, до которого, по сообщению Дархина, было пятьдесят километров. Оттуда шла довольно хорошая дорога по глинистым солонцам, протяженностью около двухсот пятидесяти километров, до горной гряды Ноин-Богдо. За этими горами к западу шла широкая полоса грозных песков, не менее сорока километров с севера на юг, — пустыня Долон-Хали-Гоби, а за ней, до самой границы Китая, тянулись пески Джунгарской Гоби. Эти пески, по словам Дархина, были совершенно безводны и безлюдны и слыли у монголов зловещим местом, в которое опасно было попадать. Такая же дурная слава шла и про западный угол Долон-Хали-Гоби. Я постарался уверить старика в том, что при быстроходности нашей машины — он мог познакомиться с ней за время пути — пески нам не будут опасны. Да мы и не собираемся долго задерживаться в них. Я только посмотрю на звезды — и обратно. Дархин молча покачал головой и ничего не сказал. Однако ехать с нами он не отказался.

Ночь прошла спокойно. Я с трудом и неохотно поднялся до рассвета, разбуженный Дархином. Мотор гул-

ко зашумел в предутренней тишине, будя еще не проснувшихся птиц. Свежая прохлада вызывала легкую дрожь, но в кабине я согрелся и опустил стекло. Машина шла быстро, сильно раскачиваясь. Пейзаж ничем не привлекал внимания, и скоро я начал дремать. Хорошо дремлет, если высунуть локоть согнутой руки из окна кабины и положить голову на руку. Я просыпался при сильных толчках, отмечал компас и снова дремал, пока не выпался. Шофер остановил машину. Я закурил, прогнав последние остатки сна. Мы находились у самой подошвы гор. Солнце жгло уже сильно. Баллоны нагрелись до того, что нельзя было притронуться к их узорчатой черной резине. Все вылезли из машины размяться. Гриша по обыкновению осматривал свою «машинишку», или «машу», как он еще называл доблестную полуторатонку. Дархин всматривался в крутые красноватые склоны, от которых шли в степь длинные хвосты осыпей. Солнечные лучи падали параллельно линии гор, и каждая выбоина коричневых или карминно-красных обрывов, каждая долина или промоина были заполнены густыми синими тенями, образовавшими самые фантастические узоры.

Я любовался причудливой раскраской и впервые понял, откуда, должно быть, ведет свое начало сине-красный узор монгольских ковров. Дархин показал далеко в стороне, к западу, широкую долину, разрезающую поперек горную цепь, и, когда мы расселись по своим местам, шофер повернул уже остывшую машину направо. Солнце все сильнее накаляло капот и кабину, мощность перегревшегося мотора упала, и даже на небольшие подъемы приходилось лезть на первой передаче. Почти непрерывное завывание машины угнетающе действовало на Гришу, и я не раз ловил его укоризненные взгляды, но не подавал виду, надеясь добраться до какой-нибудь воды, чтобы не расходовать прекрасную воду из озера. Мои ожидания не были напрасны: слева мелькнул крутой обрыв глубокого ущелья, с травой на дне, того самого ущелья, в которое нам предстояло углубиться. Несколько минут спуска — и Гриша, довольно улыбаясь, остановил машину на свежей траве. Под обрывом скал, по характеру места, должен был быть родник. Крутые скалы отбрасывали благодатную тень. Ее синеватый плащ укрыл нас от ярости беспощадного царя

пустыни — солища, и мы занялись чаепитием у подножия скал.

Едва жара начала «отпускать», мы все заснули, чтобы набраться сил для ночной езды. Спал я долго и едва открыл глаза, как услышал громкое восклицание шофера:

— Смотрите скорее, Михаил Ильич! Я все боялся, что просните и не увидите... Я спросонок даже испугался — понять ничего не мог. Прямо пожар кругом.

И поднимая, ничего не соображая, и вдруг замер.

В самом деле, окружающий нас пейзаж казался невероятным сновидением. Отвесные кручи красных скал слева и справа от нас адели настоящим пламенем в лучах заходящего солнца. Глубокая синяя тень разливалась вдоль подножия гор и по дну ущелья, сглаживая мелкие неровности и придавая местности мрачный оттенок. А надо всем этим пылала сплошная стена алого огня, в которой причудливые формы выветривания создавали киние провалы. Из провалов выступали башни, террасы, яркие и лестницы, также ярко пылавшие, — целый фантастический город из пламени. Прямо впереди нас, вдаль, в ущелье, сходились две стены: левая — огневая, правая — нечерная синяя. Зрелище было настолько захватывающим, что все мы застыли в невольном молчании.

— Ну-ну! — Гриша очнулся первым. — Попробуй расскажи в Улан-Баторе про такое — девки с тобой гулять перестанут, скажут: «Допился парень до ручки...» Заехали в такие места, что как бы Дархин не оказался прав...

Монгол ничем не отозвался на упоминание его имени. неподвижно сидя на кошке, он не отрывал глаз от пылающего ущелья. Огненные краски меркли, постепенно голубея. Откуда-то едва потянуло прохладой. Пора было трогаться в путь. Мы покурили, уничтожили по банке стуженного молока, и снова крыша кабины закрыла от меня небо. Дорога бежала и бежала под край радиатора и крыло машины. Фара, обращенная ко мне своим выпуклым затылком с кольчатым проводом, настороженно уставилась вперед, вздрагивая при сильных толчках. До наступления темноты мы подъехали к колодцу Бор-Хисуты, представлявшему собой защищенный камнями родник с горьковатой водой. Впереди маячили какие-то холмы, названия которых Дархин не знал.

Стемнело. Скрещенные лучи фар побежали вперед

машины, увеличивая в своем скользющем косом свете все мелкие неровности дороги. Плотнее придвинулась темнота, и чувство оторванности от всего мира стало еще сильнее... Прямо впереди нас поднималась, вырастая, темная, неопределенных очертаний масса — должно быть, какие-то холмы. Пора было остановиться, передохнуть до рассвета. У холмов могли быть овраги — ночная езда здесь была рискованной. Скоро в багровеющем небе четко вырисовались закругленные вершины холмов — хребет Ноин-Богдо, в этом месте сильно пониженный. Легко преодолев перевал, мы остановились на выходе из широкой долины, чтобы надеть сверхбаллоны: мы вступали в Долон-Хали-Гоби. Пустыня расстилала перед нами свой однотонный красновато-серый ковер. Далеко, в туманной дымке, едва угадывалась полоска гор. Горы эти, в старину называвшиеся «Койси-Кара», и были целью моего путешествия. Я хотел поставить астропункт на низкой горной гряде, разделяющей две песчаные равнины Джунгарской Гоби. Если бы мы нашли там воду, то, пользуясь сверхбаллонами, можно было бы пересечь пески Джунгарской Гоби примерно до границы с Китаем и еще раз отнаблюдать. Так или иначе, нужно было торопиться. Вероятность нахождения воды в неизвестном проводнику месте была небольшой, а отклоняться от маршрута в сторону было бы небезопасно из-за неминуемого перерасхода горючего. Мы выехали, несмотря на то что над песками уже дрожала дымка знойного марева. Навстречу нам шли без конца все новые и новые волны застывшего душного моря песка. Желтый цвет песка иногда сменялся красноватым или серым; разноцветные переливы солнечной игры временами бежали по склонам песчаных бугров. Иногда на гребнях барханов колыхались какие-то сухие и жесткие травы — жалкая вспышка жизни, которая не могла победить общего впечатления умершей земли...

Мельчайший песок проникал всюду, ложась матовой пудрой на черную клеенку сиденья, на широкий верхний край переднего щитка, на записную книжку, стекло компаса. Песок хрустел на зубах, царапал воспаленное лицо, делал кожу рук шершавой, покрывал все вещи в кузове. На остановках я выходил из машины, взбирался на самые высокие барханы, пытаюсь увидеть в бинокль границу жутких песков. Ничего не было видно за палевой дымкой. Пустыня казалась бесконечной. Глядя на ма-

шину, стоящую накренив на один бок, с распахнутыми, как крылья, дисками, я старался победить тревогу, временами овладевавшую мною. В самом деле, как ни хороши новые баллоны, но мало ли что может случиться с машиной. А в случае серьезной, неисправимой на месте поломки шансов выбраться из этой безлюдной местности у нас было мало... Не слишком ли смело я пустил в глущь песков, рискуя жизнью доверившихся мне людей? Такие мысли все чаще одолевали меня в песках Долон-Хали. Но я верил в нашу машину. Так же успокоительно действовал на меня старый Дархин. Мало-помалу «буддийское» лицо его было совершенно спокойно. Молодые же мои спутники не задумывались особенно над возможными опасностями.

Меня смущало то, что после петлического пути вперед по-прежнему не было заметно никаких гор. На шестьдесят седьмом километре песчаные волны стали заметно понижаться и вместе с тем начали подъем. Я понял, в чем дело, когда через каких-нибудь пять километров мы переваливали небольшой глинистый уступ и Гриши сразу же затормозил машину. Пески Долон-Хали наполнили обширную плоскую котловину, находясь на дне которой я, конечно, не мог видеть отдаленные горы. Удва же мы поднялись на край котловины и оказались на ровной, как стол, возвышенности, обильно усыпанной щебнем, горы неожиданно выступили прямо на юге, километрах в пятнадцати от нас. Блестящий щебень, покрывавший все видимое вокруг пространство, был темно-шоколадного, местами почти черного цвета. Нельзя сказать, чтобы эта голая черная равнина производила отрадное впечатление. Но для нас выход на ровную и твердую дорогу был настоящей радостью. Даже невозмутимый Дархин поглаживал пальцами редкую бородку, довольно улыбаясь. Сверхбаллоны отправились на отдых в кузов. После медленного движения через пески быстро, с которой мы добрались до гор, казалась необычайной. Некоторое время пришлось проблуждать у подножия гор в поисках воды.

К закату солнца мы были на южной стороне, где и обнаружили родник в глубоком овражке, впадавшем в большое ущелье. Водой мы были теперь обеспечены. Не дожидаясь чая, я отправился вместе с Мишей на ближайшую вершину, чтобы успеть до темноты разыскать удобную для астрономического пункта площадку. Горы

были невысоки, их обнаженные вершины поднимались метров на триста. Горная цепь имела своеобразные очертания лунного серпа, открытого к югу, к пескам Джунгарской Гоби, а выпуклостью с более крутыми склонами обращенного на север. С южной стороны горной дуги между рогами полумесяца тянулся в виде прямой линии обрыв, ниспадавший к высоким барханам песчаного моря. Наверху было ровное плато, поросшее высокой и жесткой травой. Плато ограничивали с трех сторон конусовидные вершины с острыми зазубренными верхушками. Истерзанные ветрами горы казались угрюмыми. Страшное чувство потерянности охватывало меня, когда я вглядывался в бесконечные равнины на юге, востоке и севере. Только вдаль, на западе, туманились еще какие-то горные вершины, такие же невысокие, бесцветные и одинокие, как и те, с которых я смотрел.

Плато внутри полумесяца было идеально для наблюдений, поэтому мы перенесли на него радиостанцию и инструменты. Вскоре сюда же перебрались и шофер с проводником, притащившие постели и еду. Далеко внизу стояла наша машина, казавшаяся отсюда серым жуком. Мертвая тишина безжизненных гор, нарушаемая только едва слышным шелестом ветра, невольно пагнала на всех задумчивое настроение. Мои спутники расположились отдыхать на кошке, только Миша неторопливо соединял контакты сухих батарей. Я подошел к обрыву и долго смотрел вниз, на пустыню. Скалы с изрытой выветриванием поверхностью поднимались над слегка серебрищейся редкой полынью. Однообразная даль уходила в красноватую дымку заката, позади дико и угрюмо торчали пильчатые острые вершины. Беспредельная печаль смерти, ничего не ждущее безмолвие веяли над этим полуразрушенным островом гор, рассыпающихся в песок, вливаясь в безымянные барханы наступающей пустыни. Глядя на эту картину, я представил себе лицо Центральной Азии в виде огромной полосы древней, уставшей жить земли — жарких безводных пустынь, пересекающих поверхность материка. Здесь кончилась битва первобытных космических сил и жизни, и только недвижная материя горных пород еще вела свою молчаливую борьбу с разрушением... Непередаваемая грусть окружающего наполнила и мою душу.

Так размышлял я, как вдруг давящая тишина отхлынула под веселыми звуками музыки. Контраст был так

неожидан и силен, что окружающий меня мир как бы раскололся, и я не сразу сообразил, что радист нащупал точную настройку на одну из станций. И люди сразу оживились, заговорили, стали хлопотать о еде и чае. Миша, довольный произведенным впечатлением, долго еще держал натянутой невидимую нить, связывавшую затерянный в пустыне исследователь с живым и теплым бытием далекой человеческой жизни.

Ночь, как и всегда, была ясной. Здесь, высоко на плато, стало прохладно. Дымка нагретого воздуха не мешала, как обычно, наблюдениям. Не спали только мы с Мишей. На сейчас мое внимание унеслось в такую даль, перед которой все ландшафты земли казались мгновенной тенью, — звезды были надо мной. На них была навалена труба моего инструмента. Ярким огоньком горела звезда, пойманная в крест нитей, серебристо блестел лимб* в слабоосвещенном окошечке верньера**. Под окулярами горизонтального и вертикального кругов медленно сменились черточки на шкале, в то время как в наушниках радио неслись размеренные хрипловатые сигналы времени.

Я дважды уже повторял наблюдения, меняя способ, так как хотел добиться безусловно верного определения. Не скоро кто-нибудь заберется сюда повторить и проверить мои данные, и продолжительное время картографы будут опираться на этот ориентир, теперь имеющий точное место на поверхности земного шара... Наконец я выключил лампочку и отправился спать. Небольшой колышек остался до утра, обозначая точку, в которую завтра мои помощники забьют и зальют цементом железный кол с медной дощечкой. Наваленная сверху высокая пирамида камней издали укажет астрономический пункт в этой забытой местности. Право же, это хорошая память по себе и хороший вид творческой работы на общую пользу...

В чистом и прохладном воздухе плато, под низкими звездами я хорошо выспался и поэтому проснулся рано. Рассветный ветерок тянул холодом. Все уже встали и воились с установкой железного столбика. Я потянулся и

* Лимб — посеребренное кольцо с нанесенными на него делениями градусов, минут и секунд.

** Верньер — дополнительная шкала делений для точных отсчетов по лимбу.

решил еще полежать, покуривая и обдумывая наш дальнейший путь. Я решил, если пески Джунгарской Гоби окажутся трудными для нашей машины, не рисковать, гоняясь за мифической линией границы среди пустынных песков. Все же, перед тем как повернуть назад, к зеленой жизни района Орок-нора, я задумал немного углубиться в пески, чтобы составить представление об этой пустыне. Вдали я различил незначительную возвышенность. Туда я и хотел проехать и осмотреть в бинокль пустыню дальше к югу и к китайской границе.

Тихо ступая, ко мне приблизился Дархин. Увидев, что я не сплю, он сел около меня и спросил:

— Как решил: едем Джунгарскую Гоби сквозь?

— Нет, решил не ехать,— ответил я. (Лицо старика дрогнуло, узкие глаза радостно блеснули.) — Только немножко поедем вон туда.— Я приподнялся на локте и указал рукой по направлению далекого холма. За этим темным конусом тянулась цепь еще более высоких.

— Зачем? — удивился монгол.— Лучше плохое место совсем не ехать, обратно хорошо поедем...

Я поспешил подняться с кошмы и тем самым оборвал воркотню старого проводника. Солнце еще не нагрело песка, как мы уже въезжали на сверхбаллонах прямо в глубь пустыни, держа направление на группу холмов. Шофер напевал веселую песенку, заглушаемую воем машины. Качка по обыкновению начала действовать на меня, убаюкивая и клоня ко сну. Но даже сквозь дрему я заметил необычайный оттенок песков Джунгарской Гоби. Яркий свет уже сильно припекавшего солнца окрашивал склоны барханов в фиолетовый цвет. Тени в этот час исчезали, и разная освещенность песков отражалась лишь в большей или меньшей примеси красного тона. Этот странный цвет еще больше подчеркивал мертвенность пустыни.

Должно быть, я незаметно заснул на несколько минут, потому что очнулся от молчания мотора. Машина стояла на бархане, опустив передок в оседавший рыхлый скат, по которому еще катились вниз потревоженные песчинки.

Я поднял крючок, толкнул дверцу кабины, вышел на подножку и оглянулся кругом.

Впереди и по сторонам высились гигантские барханы невиданных размеров. Неверная игра солнца и воздуш-

ния потоков заставила меня принять их за отдаленные горы. И теперь не понимал, как я мог ошибиться. Всего ей несколько минут до этого я готов был клясться, что совершенно ясно видел группу холмов. Утопая в пески, я избрался на один из больших барханов и стал разглядывать песчаное море на юге. Монгол присоединился ко мне. Луканные искорки мелькали в его темных глазах. Было ясно, что дальнейшее продвижение к югу не имело смысла, — никаких холмов или гор не было заметно вдали. Даркин уверял, что монголы говорили ему в шепотах, таявшихся до самой границы. Можно было поворочивать назад. Спутники мои заметно обрадовались такому распоряжению. Безмолвные пески действовали на всех угнетающе. Гулкая песня мотора снова восторжествовала над песчаным покоем. Машина накрепилась и, сползая со склона, повернула свои фары обратно на север.

И сложил и спрятал записную книжку, прикрыл компас и приготовился продолжать прерванную дрему.

— Ну, Михаил Ильич, хорошенько поднажать — и до Орок-нора доберемся или уж до горящих скал наверно, — баста своими ровными зубами, сказал Гриша.

Звоновый грохот над головой заставил нас вздрогнуть. Это радист стучал в крышку кабины. Наклонившись к окну, он старался перекрыть шум мотора. Правой рукой он показывал направо.

— Что еще там у них? — с досадой сказал шофер, придерживая машину, но вдруг резко затормозил и крикнул мне: — Смотрите скорее! Что такое?..

Окошко кабины на минуту заслонил спрыгнувший сверху радист. С ружьем в правой руке он бросился к склону большого бархана. В просвете между двумя буграми был виден низкий и плоский бархан. По его поверхности двигалось что-то живое. Хотя это двигавшееся существо и было очень близко к нам, но мне и шоферу не удалось сразу разглядеть его. Оно двигалось какими-то судорожными толчками, то сгибаясь почти пополам, то быстро выпрямляясь. Иногда толчки прекращались, и животное попросту катилось по песчаному склону. Следом оползал и песок, но оно как-то выбиралось из осыпи.

— Что за чудо? Колбаса какая-то, — прошептал у меня над ухом шофер, словно боясь спугнуть неведомое существо.

Действительно, у животного не было заметно ни ног, ни даже рта или глаз; правда, последние могли быть незаметны на расстоянии. Больше всего животное походило на обрубок толстой колбасы около метра длины. Оба конца были тупые, и разобрать, где голова, где хвост, было невозможно. Большой и толстый червяк, неизвестный житель пустыни, извивался на фиолетовом песке. Было что-то отвратительное и в то же время беспомощное в его неловких, замедленных движениях. Не будучи знатоком зоологии, я все же сразу сообразил, что перед нами совсем неизвестное животное. В своих путешествиях я часто сталкивался с самыми различными представителями животного мира Монголии, но никогда не слышал ни о чем похожем на этого громадного червяка.

— Ну и пакостная штука! — воскликнул Гриша. — Бегу ловить, только перчатки надену, а то противно! — И он выскочил из кабины, схватив с сиденья свои кожаные перчатки. — Стой, стой! — крикнул он радисту, прицелившемуся с верхнего бархана. — Живьем бери! Видишь, ползет еле-еле!

— Ладно. А вот и его товарищ, — отозвался Миша и осторожно положил ружье на гребень бархана.

В самом деле, по песчаному склону скатывалась вниз вторая такая же колбаса, пожалуй побольше размером. В эту минуту сверху из кузова раздался пронзительный вопль Дархина. Старик, очевидно, крепко спал, и его только сейчас разбудили беготня и крики. Монгол громко кричал что-то неразборчивое, что-то похожее на «оой-оой». Шофер уже взбежал на бархан и вместе с радистом кинулся вниз. Юноши бежали быстро. Все, что произошло дальше, было делом одной минуты. Я торопливо выскочил из кабины, намереваясь принять участие в ловле необыкновенных существ. Но едва я отошел от машины, как монгол кубарем скатился на песок из кузова и вцепился в меня руками. Обычно спокойное лицо его исказил дикий страх.

— Обратио ребят зови!.. Скорее! Там смерть! — сказал он, задыхаясь, и опять завопил фальцетом: — Оой-оой!..

Крепкие пальцы Дархина едва не оторвали мне рукав.

Скорее удивленный, чем испуганный непонятым поведением старика, я крикнул шоферу и Мише, чтобы

они шли назад. Но те продолжали бежать к неизвестным животным и либо не слышали меня, либо не хотели слышать.

И сделал было шаг к ним, но Дархин потянул меня назад. Вырываясь из цепких рук проводника, я в то же время следил за животными. Мои помощники уже подбежали к ним: радист впереди, Гриша чуть сзади. Внезапно червяки свились каждый в кольцо. В тот же момент окраска их из желто-серой, сразу потемнев, стала фиолетово-синей, а на концах ярко-голубой. Без крика, совершенно неожиданно радист рухнул ничком на песок и остался недвижим. Я услышал восклицание шофера, который в это время подбежал к радисту, лежавшему в каких-нибудь четырех метрах от червяков. Секундой — и Гриша так же странно изогнулся и упал на бок. Его тело перевернулось, скатываясь к подошве бархана, и скрылось из глаз. Я вырвался из рук проводника и бросился вперед. Но Дархин с быстротой юноши ухватил меня, как вощами, за ноги, и мы вместе покатались по мягкому песку. Я боролся с монголом, стараясь вырваться от него. Вне себя выхватил я револьвер и направил его на монгола. Щелкнул спущенный предохранитель, и только тогда проводник отпустил меня. Встав на колени, старик протирал ко мне руки. Хрипкое дыхание вместе с криком: «Смерть! Смерть!» — вырывалось из его груди. Я избежал на бархан, продолжая сжимать в руке револьвер. Таинственные червяки куда-то исчезли. Неподвижные тела товарищей лежали на песке, изборожденном следами омерзительных животных. Монгол бежал вслед за мной и, как только увидел, что червяков нет, бросился, как и я, к нашим спутникам. Страшное горе сжало мне сердце, когда я, склонившись над неподвижными телами, не смог уловить в них ни малейших признаков жизни. Радист лежал с запрокинутой головой. Глаза его были полуоткрыты, лицо спокойно. У Гриши, наоборот, лицо было искажено гримасой внезапной и ужасной боли. У обоих лица были синие, будто от удущья.

Все наши усилия — растирание, искусственное дыхание, даже сделанная Дархином попытка пустить кровь — были безуспешны. Смерть товарищей была очевидной. Она оглушила нас. Все мы за долгое время, проведенное вместе, сдружились и сроднились. Для меня смерть

молодых людей была тяжелой потерей. Кроме того, меня мучило сознание своей вины в том, что я не остановил безрассудной погони за неведомыми гадами. Растерянный, почти без мыслей, я молча стоял, оглядываясь по сторонам, в тщетной надежде увидеть снова проклятых червяков и выпустить в них обойму. Старый проводник, опустившись на песок, тихо всхлипывал, и я только потом подумал, как должен быть благодарен старику, спасшему меня от смерти...

Мы перенесли оба тела и положили в кузов машины, не в силах бросить их в страшных фиолетовых песках. Может быть, где-то внутри нас чуть теплилась надежда, что это еще не смерть и наши товарищи, оглушенные неведомой силой, вдруг очнутся. Ни одним словом не обменялись мы с проводником. Глаза монгола тревожно следили за мной до тех пор, пока я не забрался на место Гриши и не запустил мотор. Включая передачу, я бросил последний взгляд на это ничем не отличавшееся от всей пустыни место, где потерял половину своего отряда. Как легко и весело было мне час назад и каким одиноким чувствовал я себя теперь!.. Машина тронулась. Унылое завывание шестерен первой скорости казалось мне невыносимым. Дархин, сидя в кабине, смотрел, как я обращаюсь с машиной, и, уверившись в моем умении, немного приободрился.

В тот день мы доехали только до ночной стоянки и там похоронили своих товарищей вблизи астропункта, под высокой насыпью из камней. Разложение уже тронуло их тела и убило последнюю надежду на «воскрешение».

Я и теперь не могу спокойно вспомнить молчаливую ночь в мрачных горах. Едва дождавшись рассвета, я погнал машину по черному галечнику как мог быстрее. Чем дальше мы удалялись от страшной Джунгарской Гоби, тем спокойнее чувствовал я себя. Пересечение песков Долон-Хали-Гоби — тяжелая работа для неопытного водителя — заняло все мое внимание, несколько отогнав горестные мысли о гибели товарищей.

На отдыхе у огненных утесов я тепло поблагодарил монгола.

Дархин был тронут.

Он улыбнулся и сказал:

— И кричал «смерть» — ты все равно бежал. Тогда и хватал тебя! начальник погибай — все погибай. А ты чуть не стрелил меня!..

— Я бежал спасти Гришу и Мишу, — сказал я, — в себе не думал.

Все объяснение этого происшествия, какое я мог получить у проводника да и у всех прочих знатоков Монголии, заключалось в том, что, по очень древним поверьям монголов, в самых безлюдных и безжизненных пустынях обитает животное, называемое «Олгой-Хорхой». Это название в торопливых выкриках Дархина и показалось мне повторением «оо!-оо!». Олгой-Хорхой не попадал в руки ни одному из исследователей отчасти потому, что он живет в безводных песках, отчасти из-за того страха, который питают к нему монголы. Этот страх, как и сам убедился, вполне обоснован: животное убивает на расстоянии и мгновенно. Что это за таинственная сила, которой обладает Олгой-Хорхой, я не берусь судить. Может быть, это огромной мощности электрический разряд или яд, разбрызгиваемый животным, — я не знаю...

Наука еще скажет свое слово об этом страшном животном, после того как более удачливым, чем я, исследователям посчастливится его встретить.

1942—1943

От автора

Это таинственное животное описано мною в рассказе, но на самом деле еще неизвестно науке — рассказ ведь фантастический.

Во время своих путешествий по Монгольской пустыне Гоби я встречал много людей, рассказывавших мне о страшном червяке, обитающем в самых недоступных, безводных и песчаных, уголках гобийской пустыни. Это легенда, но она настолько распространена среди гобийцев, что в самых различных районах загадочный червяк описывается везде одинаково и с большими подробностями; следует думать, что в основе легенды есть правда. По-видимо-

му, в самом деле в пустыне Гоби живет еще неизвестное науке странное существо, возможно — пережиток древнего, вымершего населения Земли.

Таков ли Олгой-Хорхой на самом деле, каким он описан в моем рассказе, разумеется, нельзя ручаться.

Только будущие исследователи, которым удастся наконец увидеть это животное, смогут дать вам ответ на этот вопрос.

Точно также нельзя ответить на вопрос, каким образом убивает Олгой-Хорхой на расстоянии. Все араты — гобийские кочевники-скотоводы — уверены в ужасных свойствах этого червяка, но поскольку его не видел и тем более не исследовал ни один ученый, ничего нельзя сказать о природе убийственной силы, которой обладает Олгой-Хорхой.

Я помню одного старика гобийца, опытного вожака караванов, много раз ходившего поперек всей Великой Гоби из Китая в Россию в те времена, когда верблюжья караваны были основным транспортом для чая. Каждый рейс такого каравана туда-обратно занимал около двух лет. При такой медленности передвижения, сейчас кажущейся для нас почти смешной, можно было во всех подробностях изучить гобийскую пустыню на всем ее протяжении.

И действительно, товарищ Цевен был знатоком всего, что так или иначе касалось Гоби, начиная от колодцев, трав и животных и кончая всеми путеводными звездами просторного неба Монголии.

Цевен много рассказывал нам об Олгой-Хорхое и о недоступном урочище Халдзан Дзахе в Южной Гоби, где обитает этот червяк. Рассказывал, что его можно видеть лишь в самые жаркие месяцы лета. В остальное время червяки спят в норах, которые они проделывают в песке.

Живой и впечатлительный, как все монголы, Цевен изобразил наглядными жестами, как Олгой-Хорхой ползает и как убивает при-

ближающихся к нему, подпрыгивая и сворачиваясь в кольцо.

Мы все — нас было несколько человек, — научные работники моей экспедиции, невольно рассмеялись, глядя на забавные движения старика. Цевен внезапно рассердился и, посмотрев на нас с явным неодобрением, пробормотал нашему молодому переводчику — монголу!

— Скажи им, что они глупцы, разве можно смеяться — это страшная вещь!

Вот, собрав все эти сведения о таинственном червяке, я и написал рассказ «Олгой-Хорхой», где все события вымышлены, но червяк описан именно так, как мне про него рассказывали вполне заслуживающие доверия жители гобийских районов Монгольской Народной Республики. Это все, что я могу рассказать об Олгой-Хорхое.

И кто знает — может быть, именно тем, кто в будущем станет исследователями, путешественниками и учеными, выпадет на долю найти и добыть для науки это неизвестное животное.

«КАТТИ САРК»

От автора

Первый вариант этого рассказа был опубликован в 1944 году. В то время я знал судьбу замечательного корабля лишь в общих чертах и придумал фантастическую версию о постановке «Катти Сарк» в специально построенный для нее музей. После того как рассказ был издан в Англии, английские читатели сообщили мне много новых фактов о судьбе «Катти Сарк».

В 1952 году в Англии образовалось Общество сохранения «Катти Сарк», которое на собранные деньги реставрировало корабль и поставило его в сухую стоянку.

Настоящий, полностью переработанный вариант рассказа является попыткой изложения этапов подлинной истории «Катти Сарк».

ЮБИЛЕЙ КАПИТАНА ЛИХТАНОВА

В квартирке едва умещались многочисленные гости. Все сиденья были использованы, и в ход пошли торчком поставленные чемоданы. Почтить семидесятилетие капитана явились преимущественно моряки. Табачный дым плавал голубыми слоями, неохотно убираясь в тянувшее холодом приоткрытое окно. Сам хозяин, крупный и грузный, сновал между гостями и чувствовал себя отлично среди веселых возгласов и смеха.

Молоденький штурман, стесняясь общества почтенных командиров, жался у стены, рассматривая картинки судов в простых коричневых рамках, и остановился взглядом на большой фотографии парусника. В точных линиях стремительного, узкого корпуса корабля чувствовалось совершенство, подчеркивавшееся неправдоподобной громадой белых парусов. Верхние реи были необычайно длинные и в размерах почти не уступали нижним.

Хозяин подошел ободрить робкого гостя.

— Любуетесь? — одобрительно загудел он, опуская жилистую руку на плечо штурмана.

— Этим кораблем вы тоже командовали, Даниил Алексеевич? — спросил юноша.

— Вот еще! — отмахнулся старый моряк. — Да это же «Катти Сарк»!

— Что такое? — не понял штурман.

— Ну да, откуда ж вам, береговикам зеленым, знато! — пробурчал капитан. — А впрочем... Внимание, товарищи! — ярким, «штормовым» голосом перекрыл он шум собрания.

Все лица выжидательно повернулись к нему.

— Сколько тут мориков летучей рыбы*? Поднимите руки! Раз, два... — считал капитан, — одиннадцать. Много! Ну так вот... — Капитан снял фотографию со стены и поднимал, чтобы все могли видеть. — Это «Катти Сарк»!

Последовало общее недоуменное молчание, нарушенное одиноким возгласом:

— А, вот она какая!

Капитан усмехнулся.

— Когда-то морское парусное искусство именовалось бессмертным. Да и в самом деле — оно достигло высочайшего совершенства. Прошло примерно семьдесят лет — срок одной человеческой жизни, и вот лишь горсточка старых моряков еще знает все тонкости этого мастерства. Забыты гремевшие на весь мир имена капитанов и кораблей. А когда умрем и мы, старики, человечество закроет великолепную страницу истории завоевания морей, завоевания простым парусом, управляемым искусными руками и твердыми сердцами!..

— Даниил Алексеевич, это вы через дугу! — воскликнул еще молодой, но — по орденам — бывалый моряк. — Парусное искусство и нам знакомо, а вот каждый корабль знать...

Хозяин дома рассердился:

— «Каждый»! И вам не стыдно, Силантий Семеныч? Не знать — не позорно, но уж отстаивать свое невежество, извините...

— Да ведь, — начал оправдываться его собеседник, — и хотел только...

* Моряк летучей рыбы — плававший в океане, где только и водятся летучие рыбы.

— Ну, раз «только», слушайте! Покорение океанов — настоящее корабельное дело — началось примерно лет пятьсот назад. За эти полтыщи лет наш мир постепенно расширялся. Громадный опыт борьбы с морем совершенствовал искусство постройки кораблей. Овладевая силой ветра, человек создал искусство управления парусами. Десятки тысяч безымянных или забытых жертв легли на дно океанов с обломками своих судов. Ценой неустанного труда, отваги и страданий моряков, ценой вдохновенных поисков строителей к середине прошлого века появились клипера, стригуны, «стригущие» верхушки волн. Это уже были не угловатые дома, приспособленные к плаванию, как большинство старинных кораблей, а крылатые скороходы — лебеди моря.

Клипера предназначались для самых далеких рейсов и смело бежали по океану, не смущаясь никакими бурями. Изобретенные позже железные парусники не могли с ними состязаться: днища их железных корпусов обрастали водорослями и раковинами, задерживая ход корабля. У лучших же клиперов железным был только набор, то есть скелет корпуса, а обшивка — деревянная, из особо прочных и долговечных пород дерева. Деревянная обшивка, покрытая медью, защищала их от обрастания.

Все искусство кораблестроения вместе с усовершенствованными пропорциями корпуса, мачт и соотношением парусов получило свое высшее выражение в двух английских клиперах, построенных одновременно в Шотландии в семидесятых годах прошлого века: «Фермопилы» и «Катти Сарк».

Ничего лучшего, чем эти два корабля, среди всех парусников мира не было построено. Вот почему «Катти Сарк» не «каждый корабль», как выразился Силантий Семеныч. И морякам знать ее не мешало бы... Тем более что история этого корабля не только родня занимательному роману — это собранная в фокусе история всего парусного торгового мореплавания!..

Неудивительно, что после такой речи собравшиеся уговорили старого моряка рассказать все, что он знает о «Катти Сарк».

— Случайно мне известно довольно много, хотя клипер построен за тринадцать лет до моего рождения, — начал старик. — Я еще юнгой был, а парусный флот уже давно сдал свои позиции паровому, и вместо клиперов

плавали лишь каботажные шхуны да многомачтовые барки — стальные большегрузные парусники для дальних перевозок дешёвых грузов. Лучшее всего был известен у нас «Говарриц» — учебное судно Ленинградского военно-морского училища, а наиболее знаменитым и быстрейшим — германский стальной пятимачтовый барк «Потоан» в четыре тысячи тонн, построенный в 1896 году. С «Потоана»-то, собственно, и началась для меня история «Катти Сарк».

ЧЕСТИ КАПИТАНА ДОУМЭНА

В 1922 году я был командирован в Англию и Америку для приобретения подлодящего парусника. Требовались хорошие, приспособленные к дальним плаваниям учебное судно; подготовленные молодые моряки нужны были восстанавливающемуся хозяйству нашей страны.

Промысловые американские дешёвые шхуны не годились. Шхуна, то есть судно с косою парусностью, проста в работе, она идеально лавирует и незаменима при плавании во внутренних морях и архипелагах. Но с попутными ветрами и на большом волнении шхуна опасна — очень рыскава. Для океана нужен корабль — с прямым парусным вооружением. Я и нацелился на барк «Потоан», который недавно перешел на рейсы Европа — Южная Америка.

Обменявшись телеграммами с судовладельцами и капитаном, я выяснил, что могу встретить корабль в Фальмуте. Вот почему в осенние мгlistые дни 1922 года я оказался в этом английском порту, излюбленном парусниками всех стран из-за своей легкой доступности.

Посеживаясь от пронизывающей сырости, я направился по мокрым плитам незнакомых улиц к морю. Обойдя какие-то длинные закопченные здания красного кирпича, я сразу увидел гавань. Обилие мачт как будто противоречило разговорам об умирании парусного искусства, но я знал, что это впечатление обманчиво.

Большинство мачт принадлежало легким рыбацким шхунам или парусно-моторным шаландам, никогда и не нюхавшим океанских просторов. Только два-три настоящих корабля стояли в порту, и на этом общем фоне заметно выделялся стройный рангоут знаменитого барка. Четыре мачты огромной высоты господствовали над всем частым и низким лесом береговой мелочи. Четыре мачты,

сзади пятая — сухая бизань*. Да, очевидно, это был «Потози».

В гавани было пустовато. Должно быть, дрянная погода разогнала моряков по уютным местам, достаточно многочисленным в Фальмуте. Массивные позеленелые камни набережной в средней части гавани блестели от оседавшей с воздуха воды; эстакады на сваях и мостики ослизли от сырости. Резкий ветер, серое небо и зелено-серые волны, брызгающие пеной, крепкие, бодрящие запахи моря, смолы и мокрой пеньки совсем не способствовали угнетенному настроению, как это иногда бывает у городских людей в такую погоду. Наоборот, завеса холодного морозящего дождя вызвала приятные мечты о далеком сияющем южном море, и как реальный залог возможности выйти сквозь пелену осеннего тумана в широкий и теплый мир высились могучие мачты «Потози».

Мы, моряки, не очень прихотливы к условиям жизни на суше просто потому, что и самые дрянные места для нас скоропреходящи: несколько дней — и новое плавание, новая перемена...

Полюбовавшись огромным барком, чистым, выхолоненным, и основательно продрогнув, я направился в небольшую гостиницу, где предстояло встретиться с капитаном «Потози». Я нашел хмурого щеголеватого человека на почетном месте, у камина в столовой. Вопреки первому впечатлению, мы быстро подружились. Капитан много плавал, был хорошо образован. При этих качествах способность остроумно оценивать события и заразительный юмор делали капитана приятным собеседником. Я договорился о подробном осмотре его судна и получил все нужные мне предварительные сведения.

Окончив деловую часть, капитан пригласил меня поужинать вместе. В затянувшейся беседе он признался, что рад столь высокой цене, назначенной компанией за его судно.

— Если продадут мой «Потози», я вряд ли найду парусник по вкусу: уж очень мало осталось настоящих кораблей. Придется переходить на пароход. — И капитан добрым глотком поторопился смягчить отразившееся на

* Сухая бизань — задняя мачта с косой парусностью. Корабль с прямыми парусами не менее чем на двух мачтах и с сухой бизанью называется «барк».

его лице оторчение. — Не понимаю, зачем вам платить большие деньги за знаменитость, которую мало кто оценит? За эту сумму вы два парусника купите, разве что с небольшим ремонтом, а хороший ходок вам ни к чему. Вот начнете кругосветные плавания, тогда другое дело.

Немного оторченный, я признал, что капитан прав. И тот, совсем по-дружески пожав мне руку, обещал помочь, если дело сорвется, в подыскании более дешевого, но достаточно хорошего корабля.

Как бы то ни было, переговоры моего начальства с командой — казначей «Потози» — шли своим чередом, а я должен был выполнять свои обязанности. В ближайшие два дня я вылезал весь барк, от кильсона до брам-стенга, и мог только подтвердить первоначально слышанные отзывы покупателя была бы превосходная. Я послал необходимые телеграммы и остался ждать решения.

Погода все ухудшалась, и наконец было получено интерновое предупреждение. Ожидалась грозная буря. Рыбачьи суда поспешили укрыться в гавани.

Сильнейший западный шторм разразился на следующую ночь. Солнце не показывалось четыре дня, ураганный ветер перемещивал соленую водяную пыль с потоками проливного дождя. В гавани стоял лязг якорных цепей, визг трущегося железа и деревянных брусьев, скрип рангоутов бесчисленных рыбацких судов. Буря загнала в бухту несколько больших кораблей, в том числе и два парохода...

На пятые сутки наступила ясная и ветреная погода. Я простился с «Потози». Барк развернул свои паруса и ушел на юг, в Рио, где в бухте Гаунабара высилась причудливая гора — Сахарная Голова. Спустя три года, в 1925 году, «Потози» погиб у тех же южноамериканских берегов — загорелся груз угля. Остов и сломанные мачты великолепного барка еще несколько лет были видны на отмели, где капитан затопил горевший корабль...

Я долго следил в бинокль за уходящим красавцем, проводив его на буксирном судне. Как всегда, оставаться на берегу стало немного грустно и одиноко. И вечером, возвращаясь в гостиницу, я зашел в понравившийся мне старинным названием ресторан, чтобы развлечься стаканчиком вина и поболтать с моряками. Войдя в низкий просторный зал, отделанный темным деревом, я удивился необычайному многолюдству. В правом отделении, между стойкой и огромным камином, столы были сдвинуты

вместе, а за ними заседала компания чем-то возбужденных пожилых моряков. Пока я оглядывался в поисках места, меня окликнул капитан, с которым я здесь познакомился несколько дней назад.

— Идите-ка сюда, дорогой капитан!.. Сэр, я счастлив представить вам русского капитана. Теперь в нашем собрании есть представители почти всех плавающих наций. Отсутствуют итальянцы да еще японцы.

Приветственные восклицания раздались при моем появлении, и я опустил на услужливо подставленный мне дубовый стул.

— Я уже отправил посыльного к старому Вуджету — ее последнему капитану. Старик совсем еще крепок, скоро будет здесь, — громогласно сообщил собранию массивный моряк.

На секунду наступило молчание, и я поспешил узнать, в чем дело.

— Ну вот! — воскликнул седобородый моряк с веселыми голубыми глазами. — Разве вы не слышали, что сегодня к нам в порт пришла «Катти Сарк»? Или вы не знаете, что это такое? — подозрительно оглядел он меня.

Все головы повернулись в мою сторону.

— Я слышал про знаменитый клипер, — спокойно ответил я. — Но может ли быть: ведь он, кажется, слишком давно построен?

— В 1869 году Скоттом и Линтоном, — подтвердил мой собеседник. — И плавает уже, следовательно, пятьдесят три года. Но — можете мне поверить — судно как бутылка, никакой течи...

— Извините, — перебил я восторженную речь. — Но как же я ничего не заметил? Я только сейчас из гавани и клипера не видел. Разве что прибавилась какая-то грязная, гнусно раскрашенная баркентина, должно быть испанская, и никакого клипера...

Дружный хохот заглушил мои слова. Оратор даже привскочил и весело заорал:

— Да эта баркентина и есть «Катти Сарк»! Как же вы, моряк, не разглядели?

Но я уже оправился от смущения:

— В порту я сегодня без дела не болтался и времени рассмотреть вблизи не имел. Издалека поглядел на паруса — баркентина, да еще запущенная, грязная... Больше и не интересовался.

— Ну, конечно, — примирительно вмешался плохо го-

вращающийся по-английски гигантского роста моряк, видимо ирландец. — Эти белы так запякостили судно! А чтобы грязь не бросалась в глаза, раскрасили его на свой дурацкий вкус, как балаяга...

— Теперь все понятно. Однако, насколько я понял, вы что-то собираетесь предпринять? — обратился я к моряку, взявшему на себя роль председателя импровизированной собрания.

Хор единодушных восклицаний, большей частью ирландского оттенка, поднялся и утих. Лицо моряка-председателя стало жестким, квадратные челюсти еще больше выпятились.

— Что мы можем «предпринять», по вашему выражению, сэр? — ответил он полувопросом-полуутверждением. — Мы давно уже сидим здесь, но так ничего и не придумали. Если бы иметь много денег... Ну, что об этом говорить! Даже если бы мы в складчину могли купить «Катти Сарк», то что стали бы мы с ней делать? Гноить на мертвом якорь?..

— На ведь есть же морские клубы, инженерные общества, — возразил я. — Кому, как не им, сохранить шедевр, лучшее произведение эпохи парусных кораблей?

— Э, — презрительно бросил моряк, — в клубах только рекорды всякие ставят! Разве не знаете? А у обществ этих ни денег, ни авторитета. Давно ведь о «Катти Сарк» идут разговоры, но после войны все забыли. Ну, сообщите старику Вуджету. Пусть посмотрит — ему, наверно, приятно будет повидать клипер. Такое судно, как первую любовь, никогда не забудешь. Вот и все, что мы можем сделать, да еще потолковать о былых днях за выпивкой, что мы и делаем... А вы нас за предпринимателей, что ли, приняли? — негодуяще фыркнул старый капитан.

Я замолчал. Да и что тут можно было сказать!

В это время в комнату вошел высокий, бледный, худой человек, одетый, как и многие из присутствующих, в черный костюм, оттенявший его густые серебряные волосы.

— Капитан Доуэн, только вас и не хватало! Если придет Вуджет, то соберутся все поклонники «Катти»... Вы уже видели ее?

— Не только видел, но и был на борту, говорил со шкипером.

— Зачем?

Слабая улыбка засветилась на лице Доумэна.

— В первый раз за всю свою славную службу «Катти» сдала. Степсы расшатались, швы палубы расходятся. Капитан-португалец напуган штормом, считает, что едва спасся, укрывшись в Фальмуте, и думает, что судно разваливается... Короче, я купил «Катти»!

Последовал невероятный шум восторга: суровые ветераны моря стучали кулаками и ногами, хлопали друг друга по спинам, обменивались крепчайшими рукопожатиями, кричали «ура» страшными голосами.

— Эй, выпить за здоровье капитана Доумэна! — заорал глава собрания. — За здоровье моряка, который сделал для чести Англии больше, чем чванные аристократы или денежные тузы!

— Уильям, — обратился к Доумэну какой-то молчавший до сих пор моряк, — как же ты смог это сделать?

Доумэн опять счастливо усмехнулся:

— Я съездил к мистрис Доумэн, посоветовался с ней. Оба мы староваты, детей и родственников нет... Что нам нужно? Дом наш неплох, а тут подвернулось маленькое наследство. Ну, вот мы и решили: если цена окажется под силу — купим. Реставрировать корабль друзья помогут. Кое-что соберем, ученики поработают на ремонте... Счастье, что шкипер и судовладелец давно хотели отделаться от «Катти», — невыгодна она на дешевых рейсах за нашим углем!

Капитан Доумэн умолк, и почти благоговейное молчание воцарилось в прокуренном зале. Доумэн помолчал, зажег трубку и подумал вслух:

— Вот и сбылась мечта... Смолоду много слышал я о двух жемчужинах нашего флота: «Фермопилах» и «Катти Сарк». Уже капитаном перешел на австралийские линии, и однажды «Катти Сарк» меня обогнала. Я на своем корабле еле полз при легком ветерке. Вдруг показалась эта красавица. По тяжелой зыби идет как танцует, даже лиселя* не поставлены, а восемь узлов делает, да... никак не меньше семи. Белым альбатросом пролетела мимо, играя, а ведь мой «Флайнинг Спур» («Летящее Копье») был не последний из австралийских почтовиков! Вспомнил я, как хвастался в Мельбурне пропившийся матрос (служил на «Катти»): «Мы, — говорил он про экипаж «Катти.

* Лисель — дополнительный парус, ставящийся на выдвижных реях сбоку от главного паруса (марселя или брамселя).

Сарк», — головой ручаемся: никто никогда ее не обгонит, разве только альбатрос!»

С тех пор завала мне в голову мечта: хоть один рейс покомандовать «Катти», в своих руках почувствовать таинный клипер. Но кто же из хороших капитанов с таким пораблем расстанется? Вуджет командовал ею, как поучил в вантаевой линии, до конца, пока не продали ее. И я потерял «Катти» из виду. А теперь, странно думать, я владелец «Катти Сарк». Я владелец «Катти Сарк»... — муженно повторил Доумэн. — Не поверю, пока не выйду на ней в море!

— Когда же нам едут корабль, сэр? — почтительно спросил я.

— Вот уедет она в Лиссабон, в последний рейс. Пока информиру, то для ее, не меньше полгода пройдет. Ну, как бы то ни было, а к осени встанет «Катти» под Красный флаг*, как в доброе старое время!

На следующий день, только я собрался осмотреть «Катти Сарк», как получил телеграмму от своего начальства с приказанием отложить дело с покупкой «Потози», а посетить еще два английских порта и затем Шербур во Франции, где находились другие большие парусники. И в тот же день покинул Фальмут. И на этом оборвалось мое первое знакомство со знаменитым клипером...

РУКОПИСЬ КАПИТАНА ЛИХТАНОВА

Капитан умолк и зорко осмотрел своих слушателей, как бы выслеживая на лицах скуку или утомление. Оставшись доволен, он прокашлялся, выпил бокал вина, закурил и продолжал:

— Через семнадцать лет, в 1939 году, мне пришлось снова побывать в Фальмуте. Крепко пахло войной даже в этом удаленном парусном порту. Мне посчастливилось встретить знакомого — из тех, кто участвовал в моряцком собрании по поводу «Катти Сарк». Я, конечно, спросил его про клипер и доблестного судовладельца — капитана Доумэна.

— Умер в прошлом году, — отвечал мой знакомый. — И «Катти» здесь нет. Вдова покойного подарила корабль — в самом деле, зачем он ей? — Темзинскому мореходному училищу в Гринвиче. Пока был жив Доумэн,

* Красный флаг — флаг английского торгового флота.

он понемногу восстановил «Катти Сарк» прежний рангоут. Долго ему пришлось собирать по крохам лес, парусину, тросы и деньги. Перед смертью удалось Доумэну выйти на клипере в океан, к Азорам... Помните, как мечтал он командовать «Катти Сарк»? — Моряк задумался и продолжал: — Хоронил Доумэна весь Фальмут, даже из Лондона приехали. В прошлом же году пригласили Вуджета. И с ним на борту «Катти» пошла кругом Англии из Фальмута в Темзу, откуда семьдесят лет назад она отправилась в свое первое плавание в Китай. Теперь «Катти» служит вспомогательным учебным кораблем для морских кадетов. Корабль в сохранности и крепок... хоть и не в музее, как мы тогда думали.

— Я понимаю, — осторожно сказал я. — Сейчас Англии не до музея... Но неужели еще жив Вуджет? Сколько же старику лет?

— Не знаю, много. Не только жив, но и здоров, не хуже своего корабля. Роеся в саду, поливает розы... Да, впрочем, хотите нанести ему визит?

Я с радостью согласился.

Конечно, старик был «крепок» лишь относительно. Дряхлый пережиток парусного флота ничем не напоминал отважного капитана-гонщика, прославившего Англию на морских путях. Но живость ума и великолепная память не оставили капитана Ричарда Вуджета.

Я погостил у него два дня — до понедельника. В субботу вечером приехал сын капитана, тоже Дик, и его товарищ Ирвинг. Оба когда-то служили учениками на «Катти Сарк», а теперь сами командовали кораблями, хоть и не столь знаменитыми, да вдобавок еще пароходами. Меня глубоко тронула нежность, с которой оба эти уже не первой молодости моряки относились к старому Вуджету.

Мы подолгу сидели на террасе с раздвижными, на японский манер, стенками. С шумевшего поодаль моря ползли вереницы слезливых туч. Прихваченные морозом поздние розы посеребрил моросистый дождь, и беспомощные лепестки устлали потемневшую землю. Но горячий чай был крепок, и беседа подогревалась милыми воспоминаниями о выносливой молодости с ее вечным ожиданием необычайного.

Дополняемый сыном и Ирвингом, старый Вуджет рассказал мне историю своего корабля. К несчастью, я не записывал тогда ничего, надеясь на память, а она-то

после болезни стала подводить... Только недавно собрался с духом и написал все, что смог припомнить. Получился вроде маленькая повесть, и я когда-нибудь прочту ее вам.

Но отложить прочтение повести капитану Лихтанову не удалось. Развлекательные гости потребовали от юбиляра «выкладывать все, и теперь же». Он сдался, принес пакету переписанных листков и, презирая, как всякий настоящий моряк, точки, прочел из-под пальца, держа перед собой на вытянутой руке.

МРИТА-ВИДЬМА

Главный строитель верфей Скотта и Липтона в Думбартоне встал навстречу важному заказчику. Фирма уже давно переименовалась с судовладельцем Джоном Виллисом и его намерении построить **корабль-мечту**, который не только имел бы первенство на гонках кораблей чайной торговли, но и смог бы постоянно удерживать его.

Оба шотландца пожали друг другу руки. Общительный, полный юмора кораблестроитель был противоположностью угрюмому и заносчивому судовладельцу.

— Мне доставил сведения насчет того нового клипера, — начал, отдуваясь, Джон Виллис, — что строится Худом в Эбердане.

Кораблестроитель выразил живейший интерес. Судовладелец извлек книжку в черной коже:

— Сравните с нашими расчетами. Регистровых тонн будет девятьсот пятьдесят, длина двести тринадцать с половиной.*

— У нас двести четырнадцать, — вставил инженер, — и девятьсот шестидесят тонн. Ширина тридцать шесть с половиной.

— Ого, такая же!

— Глубина двадцать и восемь десятых...

— У них больше — двадцать один с третью. Но это пустяк. Положе, очень похоже... Набор железный, обшивка — тик, яс и сосна?

— Да, да!

— Попробую. Они учли весь опыт Великой гонки прошлого, шестьдесят шестого года.

* Меры даны в футах. Фут равен 30,5 сантиметра.

— Вы имеете в виду гонку из Фучоу в Лондон?

— Да. Гнались девять лучших чайных клиперов. Победитель — Джон Кэй со своим «Ариэлем». На десять минут позже «Тайпинг». На девяносто девятый день после выхода из Фучоу.

— Худ взял пропорции «Ариэля». — Инженер порылся в справочниках. — Да, «Ариэль» чуть-чуть короче и уже — восемьсот пятьдесят две тонны. Но главное не это, главное — площадь парусности. Она вам известна?

— Все известно, даже имя корабля — «Фермопилы». Странное имя! Почему...

— Так что же парусность? — перебил судостроитель.

— Сейчас. Мне дали ее в этих новых мерах — квадратных метрах. Вот, площадь основной парусности — две тысячи пятьсот двадцать этих метров.

Судостроитель сделал быстрый расчет, и лицо его стало озабоченным.

— Что такое? — встревожился Джон Виллис. — Неужели у вас меньше?

— Меньше... две триста пятьдесят. Да, этот корабль будет серьезным соперником... Сколько дополнительной парусности?

— Девятьсот тридцать... Слушайте, сэр, я столько лет собирался заказать особый корабль, понимаете — самый лучший! Я плачу вам шестнадцать тысяч фунтов! Что же получается с этими «Фермопилами», черт возьми это дурацкое имя!

— Вы получите самый лучший. Я увеличу нашу дополнительную парусность, всего дополнительной будет одиннадцать тысяч квадратных футов — около тысячи метров.

— Вам виднее! Но извольте сделать обшивку только из тика, ну... можно еще горный вяз. Но чтоб без сосны, как у худовского клипера! Плохо будет, если мой клипер окажется не самым быстрым кораблем на чайных линиях!

Судостроитель встал.

— Слушайте, Виллис, я хочу, чтобы вы поняли меня, — медленно сказал он. — Мы строим корабль самый прочный, самый легкий на ходу, самый совершенный по всем пропорциям и парусности, самый безопасный для плавания в любых морях. Я не буду ставить лунных парусов на нашем клипере, разве только маленький грот-

трюмсели*. Вель я не собираюсь построить рекордиста на скорости. Такой уже был. И до сих пор, через одиннадцать лет, его рекорд еще никем не побит. Наверно, и не будет побит: тут нужен не только корабль, но и капитан, не жалеющий ни корабля, ни людей.

— Кого вы имеете в виду?

— Американцев. Их три клипера — «Летящее облако», «Молния» и «Джемс Бэйнс». Антони Энрайт на «Молнии» поставил и пятьдесят седьмом в Южной Атлантике, в югу от острова Гоф, мировой рекорд — прошел за сутки четыреста тридцать миль.

— Виг миф! «Джемс Бэйнса» я сам видел по пути из Кейптауна в Сидней.

— В каком году?

— В пятьдесят шестом.

— В этот именно год он поставил рекорд скорости. Рекорд опубликован... Возьмите журнал. Двадцать один узел!

Виллис схватил номер «Морского альманаха».

— А наш клипер так ходить не будет? — спросил он с нескрываемой обидой.

Кораблестроитель положил руку на плечо упрямого шотландца:

— Поймите, Виллис, это не годится! Американцы оказались слишком смелы: еще пятнадцать лет назад они заострили обводы, отодвинули назад фок-мачту и начали крепить стеньговые штаги на палубу, а не к топам мачт... Корабли стали нести громадную парусность. Но эти знаменитые клипера служили только лет шесть-семь, не больше. Гнать такую громадину со скоростью двадцать узлов! «Джемс Бэйнс» — две с половиной тысячи тонн, «Молния» — две. Грота-рей у «Джемса Бэйнса» чудовищен — сто футов, вдвое больше ширины корабля. Деревьев таких не нашлось, склепали из пластин орегонской сосны... Такая парусность! А набор деревянный, дубовый, с медным креплением. Разве можно? Они и развалились, эти великолепные ходоки, едва себя окупив... Мы вам построим несокрушимый корабль наиболее совершенных пропорций, но ходом на три-четыре узла меньше. Все рав-

* В вигийском флоте самые верхние паруса (трюмсели) назывались лунными, бом-брамсели — небесными, брамсели — королевскими и т. п.

но быстрее никого не будет, разве худовский... Ну, да мы примем меры...

— Так вы ручаетесь за восемнадцать узлов? — повеселел Виллис.

— Скажем так: с попутным ветром всегда семнадцать, а можно будет выжать и восемнадцать. Не рекорд! **Постоянная коммерческая скорость!**

Судовладелец вскоре откланялся, захватив с собой «Морской альманах». Провожая его к дверям, строитель вспомнил:

— Имя, давайте имя клипера, на днях будем закладывать. Иначе не успеем оснастить и отправить в рейс в шестьдесят девятом!

Джон Виллис приехал в свой просторный, несколько мрачный дом и заперся в кабинете.

— «Джеме Бэйнс». 1856 год. Одиннадцать лет назад... — бормотал он, раскрывая журнал и водя пальцем по оглавлению.

Наконец он нашел нужное — выписку из вахтенного журнала клипера-рекордиста.

«1856, июня 18, широта 42° 47 южная, долгота 115° 54 восточная, барометр 29,20 дюймов. Ветер меняется от З до ЮЗ. Первую половину дня сильно свежеет... В 8 ч. 30 м под всеми лиселями с правой и грот-трюмседем скорость 21 узел. С полуночи шторм от ЮЗ, но ясная светлая ночь. В 8 часов утра ветер и погода те же. Пройдено за сутки 420 миль».

Джон Виллис опустил альманах на колени и глубоко задумался.

...Июнь 1856 года. Да, в двадцатых числах. Ему было тогда всего сорок шесть лет, и здоровье еще не начало сдавать, как теперь. Им была предпринята поездка в Австралию с целью самолично изучить условия австралийских фрахтов. Корабль его находился в водах великого западного дрейфа в пятистах милях к югу от Австралии, на долготе ее западных берегов. До Бассова пролива оставалось еще около тысячи двухсот миль, а до цели плавания, Сидней, — тысяча семьсот. «Ревущие сороковне»*, как бы приветствуя судовладельца, посылали крепкие зимние штормы — все время западные, попутные. Океан взметывался громадными волнами, сеял во-

* Ревущие сороковне — сороковые широты южного полушария, очень бурные.

данную пыль. Ключья и струи пены в воздухе обгоняли корабль. Старый крепкий почтовик скрипел, взмахивал длинным, крутым бушпритом и грузно проваливался между склонами мечущихся водяных холмов. Мокрые канверы на секунду обвисали и вновь надувались с гулким рычанием, сотрясая корпус. Виллис не вел корабль, но проводил на палубе долгие часы, зачарованный мощью этого моря. Океан поражал своей мрачной первобытной силой. Внезапные шквалы у южноамериканских берегов, бешеные тайфуны китайских морей были опаснее, но ни один океан не требовал такой прочности от корабля и непрерывной, немыслимой борьбы с бурей и страшным волнением, как здесь, вдоль сорокового градуса южной параллели, на границе Индийского и Южного Ледовитого океанов.

Незабываемая встреча произошла в светлую июньскую ночь. Джон Виллис задержался на палубе, пытаясь расшевелить головную боль от тяжелой многодневной качки. Ветер крепчал с каждым часом. Грустное пение такелажника, которому вторил низкий гул парусов, становилось резче и как-то наглее, пока не перешло в победный вой. Вахтенный помощник вызвал людей наверх — уменьшить парусность. Лог исправно отсчитывал мили, и заслуженный корабль шел со скоростью в тринадцать узлов.

Внезапный крик вахтенного перекрыл свист ветра и всплески волн:

— Корабль справа, с кормы, идет тем же галсом!

В свете луны показалось сначала расплывчатое белое пятно, потом черная точка корпуса. С невероятной быстротой догонявшее судно росло, становилось отчетливее. Джон Виллис бросился на мостик. Корабль шел в бакштаг* правого галса с креном на левый борт. Корпус казался странно узким под огромной массой парусов и почти исчезал в облаке пены. Исполинские нижние реи разносили белые полотнища далеко в стороны от бортов. Нижние паруса будто касались гребней пенящихся волн в двадцати пяти футах от бортов. С правой стороны все лисели были выдвинуты на лисель-спиртах. Корабль загребал начинающуюся бурю простертым направо крылом и рвался вперед, отталкиваясь от ураганного ветра. Обращенный к Виллису борт корабля едва различался

* Бакштаг — ветер, дующий сзади лансось по курсу корабля; адесь: дующий в правый борт корабля.

в хаосе волн и всплесков, по палубе извивались водяные потоки, пологий бушприт протыкал верхушки встречных валов. Судно словно могучим плугом вспарывало океан, тяжело трудясь в борьбе с надменной стихией.

Корабли сблизилась. Несколько сорванных ветром выкриков в рупор, приветственные взмахи — и изумительный корабль, точно Летучий Голландец, исчез впереди в волнах и несомом бурей водяном тумане.

— «Джемс Бэйнс», Бостон! — наконец раскрыл рот вахтенный помощник. — Клянусь Юпитером, это моряки!..

Джон Виллис только кивнул в знак согласия.

— Мы убрали часть парусов, а у них не только лисели, даже лунный парус стоит. Видели?

Виллис вспомнил, что действительно видел парус на самой верхушке грот-мачты, но промолчал. Ему хотелось наедине обдумать впечатление. Встреча с американским клипером потрясла его сильнее, чем сначала показалось. И в Австралии, и на обратном пути он не мог забыть ломившегося сквозь бурю с поразительной отвагой корабля, который обогнал их, будто какую-нибудь баржу. Гордость судовладельца, собственника отличных кораблей, вдобавок еще шотландца, была уязвлена. Уж очень велико было превосходство американского клипера! Перебирая в уме — в который раз! — все известные ему корабли британского торгового флота, Виллис признавался, что нет ни одного, который мог бы совершить подобный же подвиг двадцатиузлового полета через ураган. А еще через год миру стал известен рекорд «Молнии», в западном дрейфе Атлантики на десять миль превысивший суточный переход «Джемса Бэйнса»...

Но что-то мешало Виллису признать «Молнию» или «Джемса Бэйнса» идеалами корабля. Встреча в Индийском океане разбудила не только жажду соревнования, но и смутное ощущение, что идеальный клипер, корабль-мечта, должен быть другим. Громадный плуг, вспарывающий океан под напором чудовищной парусности, — нет, в этом судне не было той чарующей легкости усилий, какой-то простоты движения, которое пленяет нас в быстрых лошадях, собаках или птицах.

Несколько лет спустя, осторожно, боясь показаться смешным, Джон Виллис поведал свои мечты знаменитому судостроителю. И вот подошла пора осуществления, а строитель говорит, что клипер не будет таким же быст-

рым, как те прославленные американцы. Но он обещает неустороннее совершенство корабля.

Это верно! Клипер-мечта должен быть меньшим, легки нести свои паруса и скользить по волнам, а не пахать их. Как прекрасен был бы танец на верхушках волн! Неистовь вместе со свитой пенных гребней, сливаясь с движением ветра.

Внезапное острое воспоминание как молния вспыхнуло в мозгу. Джон Виллис понял, откуда появилось у него представление о скользищем полете. Сорок лет назад он видел картину художника — он давно забыл какого, — изображавшую молодую ведьму из поэмы Бернса — Нэн Короткую Рубашку. Вызывающе смеясь, лукавая и желанная, юная женщина неслась в беге-полете над вереском и кочками шотландских болот, ярко освещенная ущербной луной. Ее обнаженная левая рука была поднята вверх и изогнута, словно лебединая шея, а правая легко отведена в сторону. Тонкая рубашка, ниспадавшая с плеч, короткая, как у выросшего из нее ребенка, открывала по всю длину сильные стройные ноги. В круглом лице и изгибе широких бедер художник сумел отразить незначительную порочность, напоминавшую, что эта красивая не по-английски девушка, настоящая дочь Шотландии, все же... ведьма!

Картина впервые разбудила у юного Джона Виллиса сознание сладкой и тревожной привлекательности женщины. Образ юной Нэн Короткой Рубашки накрепко запечатлелся в памяти, связанной с ожиданием неопределенных чудес будущего. И только самому себе сознавался гордый судовладелец, что ему пришлось позже встретить похожую на ту Нэн девушку. Простая служанка из горной шотландской деревни, она не могла быть женой, подходившей чопорной семье молодого Виллиса. Стыдясь своей любви, Джон грустно вздыхал, так и не признавшись насмешливой и смелой девушке. Все давно миновало, жизнь прошла совсем по-иному, чем это мечталось смолоду, но в потаенных уголках души заносчивого богача продолжало жить сожаление о сладостном и запретном образе Нэн, сливающимся с утраченной любовью к Джэн.

И сейчас, слегка взволнованный воспоминаниями прошлого, Джон Виллис решил, какое имя больше всего подходит его будущему кораблю.

Нэн Короткая Рубашка! Быстрая, как ветер, прекрасная и своенравная! И его клипер будет носиться по океанам в легком беге-полете юной ведьмы!

Джон Виллис довольно ухмыльнулся, но тут же сообразил, что имя ведьмы, данное кораблю, вызовет недоумения и нарекания. Что ж, у него хватит воли отстоять свое, но все же лучше назвать клипер просто «Короткой Рубашкой» — «Катти Сарк», без имени Нэн. Носовая фигура, деревянная статуя под бушпритом, будет изображать Нэн Короткую Рубашку. Он позаботится, чтобы ее сделали похожей на ту самую Нэн — Джэн...

ДВА СОПЕРНИКА

Клипер Виллиса получил название «Катти Сарк», сколько бы ни удивлялись и ни отговаривали упрямого шотландца приятели и товарищи.

А осенью 1868 года вышел из Эбердина новый художский клипер «Фермопилы». Вскоре среди моряков разнеслась слава о необыкновенном корабле, превосходившем всех быстротой, управляемостью, легкостью хода. В следующем году отчалила от пристани Темзы и «Катти Сарк», направляясь в далекий Китай. Флот чайных клиперов, пораженных мореходными качествами «Фермопил», скоро понял, что у этого замечательного корабля есть соперник, не худший, а может быть, даже и превосходящий его. Как настоящая ведьма, «Катти Сарк» достигла только что ушедший в очередной рейс художский клипер и, несмотря на отчаянные усилия его экипажа, пришла одновременно с ним в Шанхай. С этой поры между двумя лучшими парусниками мира началось неустойное соревнование, продолжавшееся двадцать пять лет.

Когда на туманном рассвете с наступлением прилива «Катти Сарк» и «Фермопилы» одновременно исчезли из Шанхая, моряки поняли, что началась самая интересная за столетие гонка кораблей. Оба соперника пролетели Зондский пролив, не теряя друг друга из виду. Затем медленно, час за часом, сутки за сутками, «Катти Сарк» стала опережать «Фермопилы». В бейдевинд* оба клипера шли по тринадцати узлов — неслыханное дело, недопустимое всем другим клиперам. Затем бейдевинд стал

* Бейдевинд — ветер, дующий навстречу, спереди и сбоку.

вруче, и тут «Катти» оказалась быстрее на полтора узла, чем шедший десятиузловым ходом ее соперник.

Все дальше расходились корабли. «Катти Сарк» скрылась за горизонтом, и, как ни лавировал ее противник, в течение двух суток впереди ни разу не показались паруса «Катти Сарк».

Барометр неуклонно падал, густой, удушающий зной плавил над маслянистым океаном, и вечерние звезды бланкали и дрожали у горизонта. Ведьма Нэн Короткая Рубашка бесстрашно пошла навстречу грозному тайфуну, не изменив курса, и вдалеке, невидимые за выпуклым горизонтом моря, так же неустрашимо и упорно следовали за ней сферические.

Оба клипера проскочили через тайфун, но «Катти Сарк» не пошел. Штурвал был замышкавшийся рудевой. Тяжелый вал ударил по старинности*, расщепил руль. Штурвал доверху, вывернутый на сторону руль оторвался. Клипер, потерявший управление, начал с опасным шумом судорожно нырять в гремящих валах. Но моряки не растерялись. Положенный в дрейф клипер справился с тайфуном и с помощью прилаженным временным рулем благополучно прибыл в Англию, уступив на этот раз пальму первенства «Фермопилам».

В чайном флоте «Катти Сарк», как и «Фермопила», прибыла недолго. Развитие чайного дела на Цейлоне сократило китайскую чаесторговлю, и держать на ней замечательные корабли стало невыгодным. Клипера перешли на австралийские рейсы и тут-то наилучшим образом проявили себя.

От мыса Доброй Надежды до Австралии путь кораблей пролегал через «Ревущие сороковые» с их постоянными штормами и крупным волнением. Здесь «Фермопила» и «Катти Сарк» возглавили весь шерстяной флот, состоявший из отборных судов, ибо австралийская шерсть срочно требовалась все увеличивающемуся текстильному производству Англии.

Джон Виллис долго подыскивал подходящего капитана для своего любимого клипера, пока не остановился на Ричарде Вуджете. Молодой моряк зарекомендовал себя наилучшим образом в ужасный ураган 1875 года, и судовладелец решил поручить ему корабль.

* Старинность — ахтерштевень, вертикальный коревой брус, в которому крепится руль.

Дик Вуджет радостно согласился и в первый же рейс понял, что не ошибся в выборе. Это плавание стало незабываемым, редким наслаждением. Вуджет изучал свой превосходный корабль на смене галсов. Не было случая, несмотря на шквальные ветры или тяжелое волнение, чтобы корабль не выполнил поворота оверштаг быстро, без всякой задержки, бросаясь к ветру, едва руль переключивался на ветер.

В штилевых полосах тропической Атлантики «Катти Сарк» окончательно и навсегда покорила свой экипаж.

В знойном воздухе реял почти неощутимый ветерок, верхушки медленных, лениво зыбившихся волн закруглились, будто расплавились, море горело под безжалостным солнцем. Но клипер, чуть раздувая всю массу своих парусов, продолжал скользить по волнам шестиузловым ходом. Это казалось чудом, но это было так! Штилевая полоса на этот раз не мучила моряков вынужденным бездельем, нелюбимым гораздо сильнее всякой непогоды и особенно отвратительным в душную жару.

В южных широтах устойчивый зюйд-вест сразу прибавил клиперу ходу. Лаг принялся отсчитывать серебристыми звонками пресловутые тринадцать узлов в бейдевинд. Капитан Вуджет стоял у борта, вглядываясь в даль, где холодные фиолетовые волны прочерчивались красноватыми, вблизи совсем багряными гребнями. Море меняло оттенки красок каждую минуту, по мере того как летели навстречу срываемые ветром всплески и солнце склонялось все ниже к четкой линии горизонта. Светлая бронза заката резко граничила с голубовато-серой поверхностью моря. После зноя угасшего дня сильный зюйд-вест нес прохладу из ледяных просторов Антарктического океана.

Вуджет, устремив невидящий взгляд на едва заметно вибрировавшие вант-путенсы*, думал о тех моряках, которые на несравненно худших, чем его клипер, судах проникали в глубь этого всемирного ледяного погребца. Знаменитый соотечественник Кук и храбрый русский Беллинсгаузен далеко заходили в область холодных туманов, среди которых смертоносными призраками скользили гигантские айсберги.

Вуджет старался представить по читанным когда-то описаниям плаваний странный материк на Южном полю-

* Вант-путенсы — боковые нижние растяжки мачт.

го — чудовищную ледяную шапку, с которой дуют крепчайшие в мире ураганы и в клубящейся белесоватой бессолнечной мгле в океан ползут мертвые льдины. Именно антарктические бури на всем пути от южной оконечности Африки до Австралии дыбят огромные волны и рождают частые штормы.

Капитану не терпелось принять сражение с угрюмой мощью бурных широт. Но дни и ночи сменялись по-прежнему спокойно, как всегда на хорошем корабле в старинную погоду, различаясь лишь вахтами, реже — смелой галсами да еще наблюдениями места корабля.

Красивая ведьма пронесла, плавно покачиваясь, свои пышные белорудые мачты мимо мыса Игольного в Индийский океан, когда всем находившимся на клипере стало ясно, что безмятежному плаванию пришел конец. Барометр падал медленно, но непрерывно, с зловещим упорством.

Вахта капитана Вуджета пришлось на безлунную светлую ночь. Однообразно гудел ветер в парусах, не нарушая ощущения тишины. Волны мерцали свежерезанным свинцом и, казалось, освещали борта корабля. Вода тускло отблескивала; обычные зеленый и красный блики портовых огней совсем не замечались в волнах. Блеск волн не исходил изнутри, как при обычном свечении моря, вызываемом морскими животными. Вода казалась огромным волнистым зеркалом, отражавшим невидимый свет, и, может быть, это и было так на самом деле.

Капитан внимательно оглядел небо. Оно стало пепельным. Справа, на юге, звезды на горизонте затемнялись узкой, серповидной полоской облаков. Удивленный странным состоянием моря, Вуджет долго вглядывался в далекие тучи, но не заметил угрожающего расширения облачной полосы. Зайдя в рубку, капитан сильно затянулся, направив красный огонек трубки на стекло равномерно качавшегося барометра. Ртуть стояла на 28,3 и своим быстрым падением обещала бурю. Вуджет снова направился к борту, бросив взгляд на рулевого, четким силуэтом выделявшегося в желтом свечении нактоуза*.

— Кто на руле? — негромко спросил Вуджет.

— Бэйкер, сэ! — звонко отозвался матрос.

Это прозвучало для капитана успокоительно. Бэйкер

* Нактоуз — деревянная колонка, на которой устанавливается судовой компас.

был опытным матросом, плававшим еще на китайской линии.

Вуджет продолжал свою молчаливую прогулку по палубе, наблюдая за облачной дугой, западный конец которой все больше вытягивался позади клипера. Море темнело, волны потеряли свой блеск, зато небо начало светлеть. Первые лучи солнца сверкнули над водой, и одновременно облака справа и сзади стали густеть, кудрявиться по краям и задерживать небо снизу, от горизонта, плотной массой.

Капитан вызвал всех наверх взять рифы на фокке и фор-марселе, а также закрепить грот и контр-бизань. Первые шквалы потрясли корабль. В хаосе брызг, в пронзительном свисте ветра «Катти Сарк» вздрагивала, кренясь и прибавляя ход. Шторм склонялся все больше к западу, пока не перешел на чистый фордевинд. Тяжелые, низкие облака потушили золотившийся восток, опускаясь все ниже, и, казалось, утюжили верхушки грозных валов, полчищем двинувшихся на клипер.

Капитан распорядился закрепить все крьюсельные* паруса, рискнув оставить полный грот-марсель, все брамсели и бом-брамсели**, положившись на прекрасную остойчивость «Катти Сарк». Он не ошибся. Судно мчалось четырнадцатиузловым ходом совершенно спокойно, несмотря на крупные волны. Рулевые на штурвале работали сосредоточенно, но без всякого напряжения. Вуджет лишний раз убедился, что многовековой опыт кораблестроения действительно воплотил все лучшее в его замечательном судне.

Шторм установился в одном направлении. Клипер несся сквозь бушующий океан словно заколдованный. Гривастые водяные горы вздымались вокруг, угрожая задавить судно своей тяжестью, но не могли даже захлестнуть палубу, обдаваемую только брызгами. Серые разлохмаченные облака с огромной скоростью бежали по небу, обгоняя «Катти Сарк».

Видимость сократилась. Океан не казался беспредельным и стал похож на небольшое озеро, замкнутое в свинцовых стенах туч и изборожденное гигантскими волнами. Слева начал подниматься вал непомерной выши-

* Крьюсельные паруса—паруса на задней мачте (бизани).

** Брамсели и бом-брамсели—верхние паруса на мачтах.

на. Темная зловещая бездна углублялась у его подножия. Дал рос, приближался, заострялся. Вот уже совсем низко над палубой «Катти Сарк» его заворачивающийся вина гребень. В долю секунды клипер взлетел на него, легкий и увертливый. Чудовище исчезло, подброши корму своим последним вздохом. Волшебница Нэн плыла на волнах, и угнетающая сила бури не имела над ней никакой власти.

— Весь экипаж клипера был охвачен задорной смелостью, которую порождает в людях буря, если они полностью уверены в своей безопасности. Чуткое ухо капитана уловило сквозь рев урагана обрывки песни — матросы из тех же гаванин какой-то старинный пиратский напев, а боцманы, ругаясь, требовали молчания. Вуджет привикал первому помощнику не уменьшать парусов.

— Наша красавица несет их совершенно легко, — добавил капитан, еще раз окинул взглядом беснующееся море и удалился в свою каюту...

Еще не проснувшись как следует, Вуджет понял, что давно спал, и вскочил на ноги.

На палубе его приветствовал молодой второй помощник:

— Все великолепно, сэр! И вас убаюкало на славу!

— Только не знаю, на чью! — буркнул Вуджет, удивляясь, что проспал полторы вахты.

— Конечно же, во славу нашей «Катти»! — восторженно воскликнул молодой моряк.

Капитан согласно кивнул, зорко оглядывая небо и море.

Волны катились ровнее, и слои облаков поднимались все выше. Ветер еще выл и гудел над палубой, когда в небе произошла внезапная и резкая перемена. Словно гигантский нож распорол толстое облачное одеяло от края до края горизонта. Серая пелена, заграждавшая простор океана, расплзлась в стороны, уходя на норд и зюйд. Разрез в тучах открыл чистое небо, уже слегка тускневшее в преддверии вечера, и проложил на поверхности моря широкую, светлую дорогу.

Необъятное сизое крыло низких туч на севере медленно отступало в темную даль.

Внезапно оттуда вынырнул корабль. Сильно накрепнившись, он мчался по бурному морю с той же неуловимой и необъяснимой легкостью, как и сама «Катти». Буря утихла, но ветер, зашедший к югу, был еще очень

свеж, чтобы не сказать крепок. Встречный клипер шел почти в халфвинд*. Кроме основных парусов, судно несло все стаксели и даже два лиселя. Затаив дыхание моряки следили за кораблем, и ревнивое чувство завладело ими. Клипер несся по бурному морю еще быстрее их корабля. Он прошел вдали, уже слабо различимый в темнеющем небе, не подав никакого сигнала, а может быть, его сигналы уже не различались.

— Это «Фермопилы», только «Фермопилы»! — восхищенно воскликнул один из матросов, не раз встречавший соперника «Катти Сарк» в китайских водах.

Капитан Вуджет и сам инстинктивно понял, что это мог быть только второй клипер. Что-то одинаковое с «Катти» было во всей повадке корабля; та же чудесная слаженность всех пропорций корпуса, рангоута и парусов, заставлявшая восхищаться неопытных пассажиров.

Закусив губу, Вуджет распорядился прибавить парусов. Для «Катти» ветер был бакштагом — наилучшим для парусника. Скачком увеличив ход, судно понеслось по волнам. Вскоре звонки лага возвестили семнадцать узлов. Но ветер слабел, можно было рискнуть, и Вуджет приказал поставить все стаксели и лисели — всю дополнительную парусность корабля. Три тысячи триста пятьдесят квадратных метров парусины низко загудели, надулись огромными белыми рядами.

— Восемнадцать узлов! — завопил помощник, осекся, покраснел, но, встретив сочувственный взгляд своего капитана, вновь приосанился.

Некоторые вновь принятые в экипаж моряки не хотели верить. Но ветер дул теперь ровно, мягко шипела и плескалась под носом вода, а скорость клипера оставалась все той же. Только звонки лага отмечали милю за милей да победно пели тросы стоячего такелажа. И каждый моряк экипажа «Катти Сарк» чувствовал себя наследником прежних победителей морей, прокладывавших новые пути по грозным необозримым океанам, среди которых любой корабль терялся ничтожной песчинкой. Судьба отметила и возвысила их: они плавают на лучшем корабле мира! Если бы только не «Фермопилы»! А впрочем, может быть, и хорошо, что их — кораблей-альбатросов — два. Будет с кем потягаться, попробовать силы!

* Х а л ф в и н д — полветра, когда ветер перпендикулярен курсу корабля.

ПАР И ПАРУС

Капитан Ричард Вуджет при поддержке своей команды не переставал изучать «Катти Сарк». В его руки попало чудесное творение рук человеческих, с помощью которого можно было бороться за скоростной полет по поверхности земного шара при любых условиях того сложного сочетания жары и холода, ветра и штиля, дождей и сухих бурь, которые для сокращения именуется погодой и к которому на море добавляются волнение, течения и противотечения, приливы и отливы. Вуджет учился брать от корабля все богатство его управляемости, невероятно гибкой для парусника с прямым вооружением, способностями в лавировке и движении при слабых ветрах. Результаты труда капитана и экипажа не замедлили сказаться: все бегущие шестипалубного флота оказывались неизменно побежденными. Быстроногая ведьма, выходя одновременно в другие суда, опережала их на целые недели.

«Фермопилы» были тоже побеждены: и в первый, и во второй, и в пятый раз... Первенство «Катти» утвердилось, хотя и не столь прочно, как хотелось бы капитану и команде корабля. «Фермопилы» уступали «Катти Сарк» в переходах всего на часы, самое большее — на сутки. Упрямый корабль не прекращал состязания, казалось впитав в себя шотландское упорство своих строителей.

Целыми неделями «Катти Сарк» мчалась с попутными ветрами со скоростью семнадцать узлов, покрывая более трехсот шестидесяти миль в сутки. В 1885 году «Катти Сарк» сделала переход из Лондона в Сидней, преодолев расстояние в двадцать одну тысячу триста километров с буксировками, ожиданием лоцманов и заходом в Кейптаун за шестьдесят семь дней. Джон Виллис, которому перевалило за семьдесят, устроил банкет и принимал поздравления, как владелец лучшего в мире корабля. Однако новая сила вступила в соревнование на морских просторах: пароходы — эти жалкие каботажные скорлупки — превращались в настоящие океанские суда. Применение винта сделало их надежными; строители паровых машин и котлов накопили нужный опыт. И даже на далеких и тяжелых австралийских рейсах доставка почты была поручена пароходам... Резвость шерстяных клипоров с каждым годом все более уступала работе машин, более стойкой и постоянной, меньше зависящей от капризов погоды.

«Фермопилы» и «Катти Сарк» дольше всех держали знамя в соперничестве пара и паруса, вызывая неизменное восхищение у пароходных пассажиров и команды, когда при попутном ветре тот или другой из красавцев клиперов возникал белокрылым лебедем среди моря, нагонял дымившее, глухо шумевшее чудовище и скользил вперед, чистый, безмолвный и легкий.

В 1889 году мир удивился новому подвигу «Катти Сарк». «Британия» — один из лучших почтовых пароходов Полуостровной и Восточной Компании — отправился в австралийский рейс. У острова Гарбо пароход встретил «Катти Сарк», шедшую тоже в Сидней. Крутой бейдевинд не давал клиперу развить более двенадцати узлов, а пароход исправно, сутки за сутками, делал четырнадцать. Упорная работа машины одолевала капризы погоды.

Пассажиры и моряки «Британии» наблюдали за усилиями клипера лавировать побыстрее: по неслышной команде менялись галсы, разворачивались дополнительные паруса.

И все же белое облачко осталось позади, растаяло в голубом сверкании спокойного моря. Многие зрители, знавшие, что встретили самый быстроходный из старых клиперов, поспешили объявить, что паруса побеждены. Но капитан, лучше знавший, с кем имеет дело, только покачал головой, заявив, что впереди еще несколько тысяч миль пути.

Велико было удивление пассажиров, когда через трое суток позади начал вырастать знакомый белый силуэт. «Катти Сарк» теперь шла с попутным ветром и приняла в себя всю его торжествующую силу.

Капитан Вуджет не мог отказать себе и своим людям в удовольствии пройти совсем близко от бортов «Британии». С мягким шипением воды и гудящим на высоких базах такелажем клипер промчался в двух кабельтовых* от парохода. Огромные мачты высоко встали над морем. Поддерживаемые надменно выпяченными парусами, они, казалось, несли клипер по воздуху, приподняв его над волнами, в которых тяжело переваливался пароход. И команда и пассажиры «Британии», высыпавшие на палубу, устроили «Катти Сарк» бурную овацию. Приветственные крики неслись вслед клиперу, когда он, делая восемнадцать узлов, оставил пароход позади, несмотря

* Кабельтов — 0,1 морской мили — 185,2 метра.

на распоряжение капитана «Британия» увеличить ход до предела. Только один человек на пароходе — один из лучших инженеров паровой компании — молчаливо стоял у борта, не отрывая глаз от парусного красавца.

— Не знаю, как вам, а мне горько видеть эту красоту и знать, что она уходит, что она обречена на исчезновение! — отвечал он на вопросы спутников.

— Несмотря на то, что пароводная машина в этом рейсе без единой аварии печатала свои четырнадцать узлов, паруса победили пар. «Катти Сарк» пришла в Сидней на четыре часа раньше парохода. Снова газеты заговорили о триумфе клипера. Но старый Виллис лежал уже под каменной плитой — он не дождался новой победы своей любимой над пароводами, которых не понял и не любил. Упрямый шотландец мог быть доволен: его мечта-ведьма много раз вступала в соревнование с пароводами и побеждала их. И все же пароводный инженер оказался прав...

«КАТТИ САРК» ОБРЕЧЕНА

Лунная ночь чем-то тревожила капитана Вуджета. Атлантический океан был спокоен. Уже шестые сутки несат гнал клипер ровным, быстрым ходом. Ни единого звука, кроме журчания воды и гула снастей, не слышно на затихшем корабле. Изредка возглас впередсмотрящего или удары колокола, отбивавшего склянки, — и снова молчание теплой, светлой ночи.

Вуджет, сняв фуражку, теребил свои поседевшие, коротко остриженные волосы. Старший помощник заступил на вахту, но капитан не уходил с мостика. Шагая взад и вперед, Вуджет думал.

Решетки настила из крепкого тикового дерева истерты его ногами. Не так уж много осталось до дня, когда он отпразднует пятнадцать лет командования «Катти Сарк». Замечательный клипер по-прежнему крепок: никакой течи в корпусе, никакого износа главного рангоута. Он, капитан, не щадил корабля, выжимая из него невиданную скорость, и в то же время берег корабль, пользуясь слабостью старого Виллиса. Но старик давно уже умер, а наследникам... что им до корабля! «Больше фунтов, шиллингов, пенсов, капитан! Капитан, наш клипер скоро станет убыточен!»

Вуджет мысленно злобно передразнил старшего сына Джона Виллиса. Тревога не оставляла моряка, все больше овладевала им. Сознание обреченности «Катти Сарк» проникало в душу и, точно ржавчина, разъедало ее.

Он всего себя отдал кораблю. Отборная команда подбиралась годами. За счет морской выучки и сработанности каждой вахты Вуджету удалось уменьшить против обычной нормы число людей. Но все равно — шестьдесят человек! И девятьсот шестьдесят регистровых тонн. По шестнадцати на человека, на деле и того меньше! Даже большие американские клипера-скоростники середины столетия были выгоднее. При сотне человек экипажа они обладали средней грузоподъемностью в две тысячи тонн — около двадцати тонн на человека.

Пока в тяжелых морских условиях возили скоростной дорогой груз, клипера чайного и шерстяного флота были рентабельны. Но что же можно сделать теперь, когда пароходы, точные, как часы, возят по сотне тонн на человека команды, а новые — и по сто пятьдесят... Им не уступают вновь придуманные барки. После того как американцы провалились с постройкой дешевых больших шхун — эти рыскливые суда оказались очень опасными в океане на попутном волнении, — в Европе стали строить большие стальные суда с прямой парусностью, но очень простым такелажем. Марсели разрезали на две части, поставили лебедки, и четыре человека легко справляются там, где раньше едва хватало десяти. С барком в три, а то и четыре тысячи тонн управляются лишь двадцать четыре человека команды. Скорость, конечно, несравнима с клиперами — дай бог десять узлов, но ведь сколько есть дешевых, нескоростных грузов: уголь, лес, соль, удобрения, руда!..

Капитан Вуджет был образованным моряком и не мог не понимать назревшую трагедию старых парусников. Уже два года, как исчез с австралийских рейсов клипер «Фермопилы», вечный соперник «Катти Сарк». По слухам, он продан куда-то в Канаду, но и там вряд ли продержится. Парусники покупают сейчас на Средиземном море и Зондских островах — в странах, где труд дешев и численность команды на коротких рейсах не имеет большого значения.

Вуджет наклонился и осторожно потрогал рукой отполированное углубление в медной поперечине поручня.

Здесь, у этого столбика, он привык стоять в трудные минуты жизни корабля и, упираясь коленом в стойку, встретить лицом к лицу ярость бушующего моря.

«Конечно, они позолотят пилюлю,— вернулся он снова к мыслям о судовладельцах,— но надо смотреть правде в глаза. Песенка моей «Катти» спета. Боюсь, что они стесняются только славы корабля, но ее хватит еще года на три, не более! Ну, пятнадцать лет отпраздную, а дальше...»

Капитан оказался прав. Невыгодность знаменитого корабля надоели потомкам Джона Виллиса. И в 1895 году британский флаг сняли с «Катти Сарк», с этой гордости английского флота, как пятью годами раньше его сняли с «Фермопила». Оба гордых океанских лебедя, четверть века честно служившие своим хозяевам, были проданы и в буквальном смысле слова пошли по рукам. Никому из британцев, занятых только чистоганом, не пришло в голову, что такие совершенные творения мысли и опыта подобны произведениям искусства и принадлежат, в сущности, всему человечеству как памятники развития его культуры.

Судьба обоих кораблей сложилась по-разному.

В португальском военном флоте тогда были настоящие знатоки. Проследив за «Фермопилами», они приобрели в Канаде этот клипер, уже приспособленный было к перевозкам свежей рыбы, «Фермопилы» вошли в состав португальского военного флота в качестве учебного судна. С таким кораблем моряки могли чувствовать себя в безопасности у родных берегов и в Бискайе, всегда отличавшейся грозными бурями и справедливо прозванной «кладбищем кораблей». Владельцы «Катти Сарк» также продали ее португальцам — фирме Феррейра в Лиссабоне. Если бы они решили отделаться от «Катти Сарк» на полгода раньше, то учебным судном стала бы «Катти», а не «Фермопилы». Вся история нашего клипера стала бы иной.

«Фермопилы» выдерживали шквалы Бискайского залива, бури Средиземного моря и неистовые налеты штормов близ Южной Америки еще двенадцать лет. В 1907 году, когда исполнились сроки службы корабля, стала очевидна его дальнейшая непригодность. Связи корпуса расшатались еще за время работы в шерстяном флоте. Постоянная гонка с максимальной парусностью на крупном волнении состарила в конце концов замечательный

корабль, и надо лишь удивляться его долгой жизни. Сказалась облегченная в сравнении с «Катти Сарк», частично сосновая, обшивка. Но моряки португальского флота остались верны себе. Они не продали состарившийся клипер на дрова, не превратили его в угольный плашкоут или речную баржу. Португальское адмиралтейство издало специальный приказ: парусник вывели в море и устроили ему морские похороны перед строем военных судов. Под звуки шопеновского траурного марша украшенный флагами клипер был торпедирован.

Очевидцы рассказывали потом, что день был ослепительно ярок, воды моря у бухты Лагуш сияли прозрачной синевой. «Фермоилы» погружались кормой. Когда нос корабля под грохот орудийного салюта скрылся под водой, многих старых мореходов прошибла слеза. Хорошо, что на свете имеются люди высокой и мечтательной души, как эти португальские моряки!

Совсем не такие слезы навертывались на глаза капитана Ричарда Вуджета, когда он сдавал свой корабль представителям фирмы. Вести его в Лисабон он отказался и покинул клипер на родном берегу. Невыразимая горечь расставания с кораблем усугублялась тем, что лучший клипер мира был продан по дешевке в чужую страну. Матросы и офицеры оставили судно и в гробовом молчании ожидали на берегу своего капитана. Вуджет никак не мог покинуть мостик. Стыдясь набегающих слез, он обращал глаза к мачтам. Их уходящие высоко в пасмурное небо клотки столько раз пересекали плотный напор бури, накалялись тропическим солнцем, жутко светились огнями святого Эльма в предгрозовых ночах... Как знакома каждая черточка строгого рисунка на ореховых панелях переднего дэкхауза, тысячи раз встречавшего взгляд капитана за тысячи вахт!

Два клерка, не понимающие и удивленные, ожидали на палубе. Капитан потрогал отполированные спицы штурвала и вдруг крепко сжал поручни мостика, так что побелели пальцы загорелых рук. Это было как последнее рукопожатие перед разлукой навсегда. Сторбившись, понуриив голову, моряк сбежал на палубу, перешел на берег и не оглядывался до тех пор, пока щели узких улиц не скрыли от него мачт «Катти Сарк».

Вуджет не показывался из дому несколько дней, пока клипер не исчез из порта...

После гибели «Фермопил», «Катти Сарк» оставалась совсем одинокой, единственной в мире, но и она фактически исчезла для него. Португальский флаг не прибавил ничего нового к прошлой славе клипера. А старая слава вымывалась, как забывается все в быстром течении жизни, несмотря на усилия людей, особенно власть имущих, удержаться подольше в памяти человечества.

Новые капитаны неплохо обращались с кораблем. Память прошлой любви и тугой кошель давно умершего Жюльена Виаллева продолжали играть свою роль — тяжелый железный набор и тиковая обшивка «Катти Сарк» сделали ее корпусом несокрушимым. Годы шли, а клипер продолжал плавать без малейшей течи. Разразилась первая мировая война. «Катти Сарк», проданная и забытая своим отечеством, снова начала служить Англии, войдя в состав торгового флота союзников как одна из самых незамысловатых и незначительных единиц. Скромные перевозки английского угля на юг Франции, в Италию и Гибралтар стали уделом старого парусника.

В один из холодных дней поздней осени 1915 года клипер шел из Лисабона к западным берегам Англии. Дождь, моросивший из низких туч, подхватывался резким ветром. Серое, взъерошенное море сливалось с таким же серым горизонтом. Темное небо опускалось все ниже на побелевшую от вспененных гребешков волну. Барометр предвещал сильную бурю, но капитан клипера и его совладелец, один из молодых родственников известных в Лисабоне судовладельцев Феррейра, был отважным моряком. Раскачиваясь под глухо зарифленным фоном, верхними марселями и брамселями, «Катти Сарк», сохранившая прежнюю резвость юной ведьмы и под новым, благочестивым именованием, шла тринадцатизуловым ходом. Съежились у вант вахтенные, посинел на мостике офицер; все мечтали о конце вахты и кружке горячего кофе. До зоны плавающих мин было еще далеко, и капитан Феррейра мирно спал в той самой каюте, в которой провел такой большой кусок жизни капитан Вуджет.

Гулкие раскаты прогремели впереди слева, там, где смыкалась узкая щель между тучами и морем. Баковый матрос закричал, что видит отблески огня. Вахтенный помощник разбудил капитана. Тот, позевывая, вышел на палубу, но сумрачное море молчало. Капитан, постояв

на мостике с полчаса, озябнув и кляня помощника, направился в каюту, но был остановлен криком вахтенного: — Судно слева по носу!

То, что предстало спустя некоторое время его глазам, мало походило на судно. Из моря торчала высокая башня, ржаво-красная, черно-белая. Она высилась над водой неподвижно, пугая своей необычностью. Это тонул кормой большой пароход, став среди моря почти вертикально. Множество обломков плавало вокруг, появляясь и снова исчезая в волнах, по которым все шире расплзалась радужная пленка масла.

Изменив курс, клипер подошел к гибнущему великану. Передняя мачта парохода тонким крестом нависла на уровне верхних рей парусника. В проходах между спардеком и носовой палубой, на передней стенке салона и ходовой рубки сгрудились люди, казавшиеся на белой краске скопищем черных мух. Некоторые в страхе цеплялись за лебедки, горловины люков, грузовые стрелы — за все выступы носовой палубы, стоявшей отвесно. Среди волн плавали четыре опрокинутые шлюпки, много белых досок, весел, донных решеток.

Холодный ветер выл над бурным морем, и волны тяжело и глухо шлепали о подножие страшной башни. У переднего выреза фальшборта появился моряк с рупором в руке: немецкая подводная лодка торпедировала пароход, кормовое орудие которого успело несколько раз выстрелить и, по-видимому, повредило перископ. Обозленная сопротивлением субмарина всплыла и расстреляла все шлюпки, которые удалось спустить до того, как крен корабля стал так велик. Положение судна безнадежно, хотя погружение приостановилось, — должно быть, в носовой части образовалась воздушная подушка.

Капитан Феррейра стоял на мостике, задрав вверх голову, и чувствовал, что сотни глаз жадно следят за ним. Для всех погибавших он явился избавителем от страшной участи, и не было на свете корабля благословеннее его клипера.

— Сколько людей на корабле? — не теряя времени, крикнул капитан в рупор и с ужасом услышал, что осталось не меньше тысячи.

Распорядившись лечь в дрейф и спускать шлюпки, капитан Феррейра не переставал думать о том, что взять всех немисливо. Небольшой клипер, не приспособленный к перевозке людей, мог разместить в трюмах и на палубе

самое большое семьсот человек. Не оставалось времени выбросить в море груз руды, но он, по счастью, и не занимал много места. Дело не в весе, а в объеме живого груза. Вдобавок эту массу людей маленькие шлюпки клипера будут возить до ночи. А ветер все крепчает, и пароклад может затонуть в любую минуту, как только сдаст главная передняя переборка.

Храбрый португалец, уверенный в своем корабле, решился на отчаянный маневр. Развернув реи по продольной оси клипера, управляясь двумя стакселями и кливером, Феррейра стал медленно осаживать корабль боком к ветру. Затаяв дыхание обреченные люди на тонущем пароходе следили за клипером... Вот корма его коснулась борта парохода — там уже висели приготовленные краны и брезенты. В следующую секунду захлопали спущенные стаксели. Движение клипера замедлилось, и волны начали отводить нос парусника прочь от парохода, но канаты были уже заброшены, и парусник заболтался на волнах в опасной близости от тонувшего гиганта. Эта близость стала спасительной для погибавших. По четкой команде экипаж парохода, военные и добровольцы из мужчин-пассажиров образовали крепкую стену в проемах бортов, откуда начали передавать людей. Женщин оказалось немного, гораздо больше было раненых: транспорт вез выздоравливающих с турецкого фронта. Каким головоломным ни казалось это предприятие — спускать почти беспомощных людей с высоты отвесно вставшего парохода на пляшущий в волнах внизу парусник, — но, выполняемое сотнями рук, оно быстро подвигалось. Наконец ранеными оказались забиты все свободные места в трюмах, кубрике, каютах, рубке, палубных проходах и даже в камбузе «Катти Сарк». Все раненые были переправлены до последнего человека. Оставались здоровые.

— Капитан, сколько еще сможете принять? — раздался сверху чистый, сильный голос. Загорелый полковник с седыми усами, как старший чином, взял на себя команду эвакуацией парохода.

— Еще на палубу, — хрипло выдал Феррейра, — человек двести...

Полковник окинул взглядом ожидавшую спасения толпу.

— В первую очередь идут молодые! — крикнул он не допуская возражения голосом.

Ни слова протеста не раздалось в ответ. Люди вы-

страивались в очередь. Короткие споры возникали только там, где молодые отказывались идти, пытаясь предоставить возможность спасения старшим. Но, подчиняясь приказу, цепляясь за канаты, молодежь перепрыгивала на ванты парусника и молча размещалась на палубе, стараясь занять как можно меньше места. Клипер заметно оседал ниже. Феррейра едва успевал следить за всем, но восхищение мужеством моряков и солдат росло в нем, внушая озорную смелость. В утробе гибнувшего парохода послышалось глухое урчание. Громадный корпус вздрогнул и как будто стал погружаться в пучину.

— Отваливайте, капитан! Да сохранит вас бог за ваше мужество! — прогремел голос полковника. — Ура в честь капитана и его корабля!..

Борясь с подступавшим к горлу рыданием, Феррейра отдал приказание. Тихо, словно яриэрак, клипер начал удаляться от парохода. Спасенные стояли у борта «Катти Сарк», не спуская глаз с героев-товарищей, отдавших свои жизни ради их спасения. Усилием воли Феррейра заставил себя распорядиться лечь на курс к берегам Англии. Неохотно, как бы борясь с собой, его матросы выполнили команду.

Торчавшая из моря башня скрылась за кильватерной струей парусника, и нельзя было решить, погрузился ли несчастный пароход или еще на плаву скрылся в туманной дали... Волнение усиливалось, шторм надвигался быстро и неотвратно. Вдруг недалеко от клипера вынырнула из волн вертикальная серо-зеленая трубка — перископ подводной лодки. Никогда Феррейра не испытывал такого ужаса. Более семисот жизней зависели сейчас от его смелости и отваги.

— Все наверх! — заорал не своим голосом капитан. — Пошел паруса ставить!..

Почуввав беду, команда опрометью вылетела из кубрика, где подвахтенные кое-как дремали у стенки, отдав гостям все остальное помещение. Подводная лодка отказалась от торпедной атаки. Или ее перископ был действительно поврежден, или же, увидев беззащитный парусник, она пожалела торпеду, решив расстрелять его из орудия. Из воли вынырнула рубка, затем продолговатый корпус.

Плотно сбившиеся на палубе клипера люди следили за субмариной. Видимо, это была большая лодка секретной постройки, может быть, один из тех подводных крей-

веров, которыми хвасталась немецкая пропаганда, грозя союзникам истребительной войной. Второй раз смерть шагнула милотную, и нервы людей начали сдавать. Гуана загудела и заколыхалась.

— Молчать, стоять по местам!.. — взревел Феррейра на английски и добавил спокойнее: — Если хотите спасти свои шкуры...

Краем глаза капитан следил за быстро темневшим на юго-западе небом.

— Рви обрассонить на левый галс! Руль — два шлага под ветер! — звучали резкие слова команды.

Капитан начал терять ход, и моряки из спасенных стали с недоумением оглядываться. Тем временем на подводной лодке открылись люки. Из переднего показалось длинное орудие — стопятидесятимиллиметровая дальнобойная пушка; из рубки высунулся ствол пулемета. Сейчас безжалостные снаряды начнут рвать в куски деревянное тело корабля, никогда не носившего никакого вооружения и созданного для борьбы со стихией, но не с человеком. Ливень пуль врежется в плотную массу людей на ничем не прикрытой палубе!

Волны накатывались на подводную лодку. Феррейра со влорадством заметил, как артиллеристы у орудия свользнили и падали, цепляясь за леера поднявшихся из люка стоек.

Кусая губы, Феррейра не замечал, что громко говорит сам с собой.

— Еще минуту, минуту, минуту!.. — твердил он, весь дрожа от тревоги ожидания.

Клипер вздрогнул, покачулся: огромные полотнища курсовых парусов наполнились ветром. Расстояние между субмариной и парусником стало медленно увеличиваться. Зелено-желтая молния блеснула в темнеющем море. Над головой моряков заурчал снаряд, и высокий столб воды стал справа от клипера, с тупым грохотом обрушив вниз свою косматую голову.

— Капитан, они приказывают остановиться! — выкрикнул с палубы чей-то высокий, дрожащий голос.

— Молчать, смирно! — яростно рявкнул Феррейра. — У меня шлюпок на пятьдесят человек!.. Эй, ложись на палубу!

Команда пришлась к стати. Клипер набирал ход, и с субмарины послышался треск пулемета. Пули застучали

по обшивке, впиваясь в борта. Опять вспышка, грохот близкого разрыва, водопад, рухнувший на палубу. Еще!..

Минуты «Катти Сарк» были сочтены. Но тут... будто все ведьмы моря пришли на помощь своей любимице. Гул, свист, рев — и первый шквал бури обрушился на клипер. Он повалился на борт под скрип мачт и оглушительный треск разрываемой парусины.

— Руль прямо! Прямо руль!! — вопил капитан, стараясь удержаться на мостике, в то время как крен корабля и напор ветра силились перебросить его через перила.

Только «Катти Сарк» могла выпрямиться из такого крена, и она сделала это.

Подхваченный бурей, клипер рывком прыгнул вперед. Вспышка, грохот... Мимо!

«Сейчас перестанут стрелять...» — подумал Феррейра. Подводной лодке приходилось туго на поверхности моря в такую бурю. Но прежде чем уйти в глубину, хорошо выученные убийцы старались собрать легкую жатву.

Клипер гордой беспомощной птицей летел по волнам, распустив все свои белые крылья словно в предсмертном порыве. Два шестидюймовых снаряда вылетели вдогонку за ним один за другим. Взрыв оглушил капитана, палуба накренилась. Со слепящей вспышкой вал воды обрушился на клипер. Феррейра упал, смутно, как сквозь стену, слыша вопли людей и треск дерева. Но вода схлынула, и капитан увидел, что корабль цел. На палубе валялись люди, обломки рей, обрывки спутанных канатов. «Катти Сарк», кренясь, продолжала мчаться прямо в кипящий котел урагана. Феррейра хотел встать, но не смог и застонал от беспомощности и внезапной боли. Еще ясный разум капитана понимал, что необходимо сейчас же убрать паруса, изменить курс с бакштага на фордевинд. Ни о каком преследовании со стороны субмарины не могло быть и речи — бурный океан взял клипер под крепкую защиту.

Капитану казалось, что он громко командует, отдавая важные распоряжения. Но склонившиеся над ним люди не могли разобрать эти отрывистые, слабые звуки. А корабль тем временем продолжал нестись на крыльях бури. Прочные стеньги гнулись, а стальные растяжки — фордуны — начали звенеть невыносимо режущим ухо стоном.

Пока ошалевший от событий помощник начал распоряжаться, ряд последовательных страшных рывков по-

трио клипер. Капитан Феррейра, умирая, уже ничего не почувствовал. Славный моряк мог не беспокоиться: «Катти Сарк» выдержала испытание моря, а снаряды врага не попали на нее. Только, как в первую гонку с «Фермопилази», сорок пять лет назад, клипер потерял руль и опять с временным приспособлением дошел до Англии, доставив в целостности свой груз человеческих жизней.

«КАТТИ САРК» — БАРКЕНТИНА

Гибель капитана Феррейры повернула судьбу «Катти Сарк». Еще раз проданный, еще дешевле, клипер попал в плавающие руины.

Весной 1916 года в Бискайском заливе разразился шторм, сильный даже для этого котла бурь. «Катти Сарк», в третий раз переименованная, шла из Англии с обычным грузом угля. Испугавшись дикой ярости шторма, шкипер решил повернуть на фордевинд и ударить от урагана. Ленивая, собранная из случайных бродяг команда ненавидела работу со снастями, точно брава, топчанты и шкоты были личными врагами каждого матроса. Перед грозной опасностью вместо слаженных и самоотверженных усилий матросы сыпали замысловатые ругательства, а иногда вместе с капитаном призывали Иисуса Христа и деву Марию. Поворот недопустимо замедлился, и ураган сильно накренил клипер. Экипаж еще больше растерялся и упустил время.

«Катти Сарк» поднялась бы из крена, но сместился груз угля, и клипер совсем повалился на борт. Оставалось срубить мачты — те самые мачты, которые не мог согнуть никакой напор ураганов в самых штормовых морях мира. Мачты полетели за борт, унося с собой весь такелаж. Корабль немного выпрямился.

Угрюмые, как после убийства, молясь и ругаясь, люди ожидали своей гибели. Но клипер и без мачт, повалившись на левый борт, вынес редкий по силе ураган и добрался до Лисабона с временной фок-мачтой.

Леса, годного, чтобы восстановить прежний рангоут «Катти Сарк», не нашлось, а если бы он и нашелся, то оказался бы слишком дорогим для новых владельцев. Огромная и сложная парусность корабля требовала многолюдной команды для управления и большого искусства от офицеров. Всего этого не было, и вот лучший клипер мира стал баркентинной. Иначе говоря, фок-мачту остави-

ли с прямой парусностью, а грот- и бизань-мачты снабдили косыми, как у шхуны, парусами. «Катти Сарк», превращенная в баркентину, переименованная в четвертый раз, запущенная и пестро раскрашенная, утратила свою поразительную резвость и плавала на случайных фрахтах между мелкими портами Средиземного моря, ценимая сменявшимися владельцами только за корпус, который так и не давал течи.

Исполнилось пятьдесят три года службы корабля, когда разразилась ужасающая буря 1922 года. Тут-то не ремонтировавшаяся с давних времен палуба бывшего клипера поддалась, проржавевшие бимсы лопнули, и капитан с напуганной командой, готовые проститься с жизнью, едва добрались до Фальмута.

ПРОШЛОГО НЕ ВЕРНУТЬ

В сентябре 1922 года «Катти Сарк» вернулась в Фальмут с тем, чтобы навсегда остаться в Англии. Капитан Доумэн израсходовал все свои сбережения, чтобы выкупить и восстановить «Катти Сарк». Приобретение мачт и рей было последним усилием старого капитана. Но начатое им дело не остановилось. Был начат сбор средств на такелаж; каждый из ветеранов флота считал своим долгом что-нибудь достать для знаменитого корабля: хоть бухту троса, хоть несколько блоков. Кто не мог дать материалов или денег — помогал работой. Сменялись сгнившие брусья и доски обшивки, перестилалась палуба, постепенно вырастали громадные мачты.

Так простые люди Англии, сознававшие, что сохранение лучшего корабля страны, всем обязанной морю, является делом национальной чести, сберегли «Катти Сарк». Аристократы, столь ревниво оберегающие традиции своей родины, когда эти традиции касаются их собственных привилегий, забыли о реликвии английского флота. Забыли о ней и те богачи, состояния которых были добыты трудами тысяч безвестных моряков и славных кораблей. Но простые моряки, не заслужившие чинов и орденов, понимали ценность народного труда и бережно отнеслись к одному из лучших воплощений гения и рук английского народа... Их соединенные усилия воскресили корабль.

Капитан Доумэн наконец дождался исполнения своей полувековой мечты. Открытое море приняло возрож-

денный клипер. Корабль семидесятилетнего возраста оставался почти прежним, созданным для бега взапуски с ветрами морей. Но глухая тоска не покидала капитана Доумэна с того момента, когда берега скрылись за простором моря и океанская зыбь стала привычно качать «Катти Сарк». На мостике, крепко вросши ногами в настил, стоял капитан — командир и владелец лучшего клипера его страны, да что там... всего мира. Что же нет настоящей радости исполнения заветной мечты? Скорее безпричинная грусть, какая-то жалость к самому себе одолевает его!

Доумэн почувствовал усталость и направился в капитанскую каюту. Он выткнулся на старом диване и закрыл глаза, прислушиваясь к гудению ветра и тупым ударам волн и борти. Сомьдесят лет волны всех морей бьются в порты «Катти Сарк»; на корабле безвестной чередой прошли разные люди. Он, капитан Доумэн, тоже оставит здесь какую-то частицу себя и тоже уйдет в прошлое...

«Прошлое! Вот в чем разгадка этой печали», — продолжал думать Доумэн. Его мечта родилась давно и вся принадлежит прошлому — отважной молодости, закаленной зрелости парусного века и... его самого!

Но жить прошлым нельзя! Разве может он сейчас, одолеваемый старческими недугами, вести бессменно и неустанно борьбу с морем, гнаться с соперницами в трехмесячном рейсе? Да если бы и мог, то кому нужен теперь пробег его клипера в Австралию, куда ежедневно уходят десятки пароходов и десятки тысяч тонн грузоподъемности! Этот гордый кораблик теперь будет только смешон, выйдя на состязание с современностью. Ведьма «Катти Сарк» была создана для важных дел, но значение их давно умерло, и нелепы попытки возродить прошлое. Соревноваться с пароходами на коммерческих рейсах бессмысленно. Но клипер еще не умер — он может учить! Он, Доумэн, может гордиться тем, что сохранил судно для этой цели — учить приходящую на смену молодежь тому пониманию моря, близости с ним, которое может дать только парусное плавание.

Капитан Доумэн присел и принялся раскуривать трубку. Боль в груди сделала курение редким удовольствием. Докурив, Доумэн вышел на мостик. Старый настил поскрипывал под его ногами, выдавая возраст корабля. Ветер, неизменный спутник моряка, обвевал отя-

желевшую голову. В душе капитана стало легко, пусто и бездумно. Протерев заслезившиеся глаза, Доумэн приказал повернуть на обратный курс.

ОБЩЕСТВО СОХРАНЕНИЯ «КАТТИ САРК»

Даниил Алексеевич окончил чтение своей рукописи, вытер лицо и попросил чаю покрепче. Его гости и слушатели продолжали сидеть, будто ожидая еще чего-то.

— Я кончил! — пробурчал старый капитан и, сам взволнованный, сурово нахмурился.

После минутного молчания гости заговорили, перебивая друг друга:

— А дальше, что же дальше? Ведь вы довели рассказ до тридцать девятого года, а сейчас пятьдесят девятый. Где теперь «Катти Сарк»? Ведь еще двадцать лет прошло!

— Я был в Лондоне в 1952 году и видел ее стоявшей на Темзе у Гринхита, рядом со старым «Уорчестером». Этот двухпалубный военный корабль был учебным судном морских кадетов и практикантов торгового флота, а подаренная вдовой Доумэна «Катти Сарк» — вспомогательным. Затем в качестве учебного судна куплен «Эксмут». А оба старых ветерана остались плавучими памятниками. Дерево на «Катти» выветрилось, краска облезла и облупилась — восемьдесят три года службы! Не было еще корабля в истории флота, который плавал бы — и как плавал! — почти столетие!

— Даниил Алексеевич! — чуть не с отчаянием вскричал молодой штурман. — Неужели нельзя уберечь «Катти Сарк» от разрушения? Разве так трудно построить здание? Ведь это...

Старый капитан поднял руку, призывая к молчанию:

— Погодите немного!

Он порылся в столе, извлек несколько английских газет и два номера журнала «Судостроительные и морского флота сообщения».

— Я собрал тут все последние сведения. В конце 1951 года в Клэрнс Хауз собралась группа людей, заинтересованных в судьбе клипера, на этот раз под председательством герцога Эдинбургского. Образовалось Общество сохранения «Катти Сарк». Сумма сборов за пять лет превысила триста тысяч фунтов. Клипер поставлен в специальный сухой док около восьмидесяти метров

длина и шесть метров глубины, близ королевского Морского колледжа в Гринвиче. «Катти Сарк» теперь полностью реставрирована и открыта для осмотра всем желающим с лета 1957 года. Разыскана носовая фигура, но, к несчастью, уже не первоначальная, не та самая Нэн Короткая Рубанка. Теперь наконец англичане не расценивают больше на старых чудаков капитанов, а взялись за дело по-серьезному, дружно.

Найдены полные доказательства первоначального устройства раундута «Катти Сарк». Основные факты взяты из книги Лонгриджа «Последние из чайных клиперов». Некоторые дополнения даны Монгриффом Скоттом из Дюсса в Норфолке, сыном одного из владельцев фирмы, строившей знаменитый клипер. Сохранилась картина маслом, написанная художником Туджей в 1872 году для капитана Джона Виллиса — владельца «Катти Сарк». На картине клипер показан под всеми парусами, что прямо таки бесценно для восстановления его оригинального вооружения.

Из трех тысяч листов металла Мюнца, которыми обшита подводная часть корабля, около шестисот потребовали замены. Вновь ставящимся листам придали старинный вид специальной химической обработкой, на что потребовалось особое научное изыскание.

Проволочные канаты стоячего такелажа заменены стальными тросами, а для бегучего такелажа химический институт предложил териленовое волокно — пластмассу, — которому придан цвет слабо просмоленной пеньки. Из этого волокна специально для «Катти Сарк» приготовлены канаты необычайной прочности и стойкости. Великолепные мачты клипера возвышаются почти на пятьдесят метров над стенами дока, а корпус, обновленный и перестроенный по прежним чертежам, стал музеем парусного флота и училищем для морских кадетов.. Одно мне не нравится — стоянка у корабля открытая, а в английском климате это плохо. Стоило бы довести дело до конца и построить над кораблем стеклянный навильон — не так уж сложно это теперь, при современной технике. Тогда и только тогда клипер бы сохранился на вечные времена...

Старик помолчал, усмехнулся чему-то и медленно заговорил снова:

— Последнее мое впечатление о «Катти» было... как бы это сказать... странным. Может быть, я не сумею его

выразить. В последнюю поездку мне пришлось сначала осмотреть новый лайнер «Гималайя», только что пришедший из Австралии, а потом уже ехать в Гринвич к «Катти Сарк». Представьте себе гигантский снежно-белый с голубыми полосами корабль. Верхние надстройки с красиво изогнутыми, обтекаемыми очертаниями сверкали зеркальными стеклами. С высоты мостика «Гималайи», размером чуть не во всю палубу «Катти Сарк», знаменитый клипер показался бы скорлупкой с тоненькими мачтами.

В ходовой и штурманской рубках гиганта находилось множество приборов. Радар, авторулевой, свободные от магнитной девиации гироскопические компасы, курсограф, вычерчивающий ход корабля, эхолот для измерения глубины ультразвуком — всего не перечислишь! Великан шутя справлялся с «Ревущими сороковыми» и мчался по путям старых клиперов со скоростью двадцати пяти узлов.

Я любовался и восхищался красавцем лайнером — детищем нашего века, олицетворением колоссальной технической мощи и безусловного покорения морской стихии.

Но обветшалый, маленький клипер не показался мне жалким по сравнению с «Гималайей». Больше того, взгляд на «Катти Сарк» будил в душе какую-то бодрую гордость. Простые вещи — дерево корпуса, паруса, канаты такелажа, магнитная стрелка. Но когда за ними стояли искусство строителя, мужество и умение моряка, то... корабль-крошка шел сквозь бури ревущих широт несколько не менее уверенно, чем его колоссальный электроход-потомок. А скорость в тридцать семь километров в час, достигнутая парусами сто лет назад, вовсе не убога перед пятьюдесятью километрами, выжимаемыми машиной во много десятков тысяч сил...

И вот на набережной Гринвича я закрывал глаза, силясь мысленно представить себе оба эти корабля в океане. И, как много лет назад Джон Виллис при виде клипера «Джемс Бэйнс», я почувствовал в лайнере «Гималайя» то же яростное вспарывание океана, теперь еще более подчеркнутое высотой корабля и защитой тысячесильных машин. При всей своей мощи это не было искусство. Вместо единого ритма, почти музыкального бега корабля, сочетавшегося с силой стихии в согласном и легком «танце на волнах», мощи океана противопоставлялась прямая сила. Власть над стихией достига-

даже путем огромной затраты сил и материалов и стоила человеку дорого...

Тогда я понял, что наша культура еще не сказала последнего слова в идее океанского корабля... и что это слово не будет сверхгигантом лайнером!

Мне думается, что понять законы стихий — это знание, а владение этими силами, подчинение их — это искусство! И в нашем веке искусство породит корабль, независимый от ветра, но столь же согласный с законами моря, как была в свое время «Катти Сарк»... Вот почему знаменитый клипер — это не просто корабль с богатой историей, так сказать, реликвия. Нет, не только... Человеческая мысль, экономика, техника развиваются — как бы это сказать? — рейсами, что ли, этапами.

И в каждом из этапов есть свои высшие выражения, высшие достижения. Именно они остаются в истории, на них опираются мечтатели и смелые творцы нового. Эти высшие достижения, каким бы народом они ни были порождены, по существу, плод трудов и мысли всего человечества, воли людей к борьбе с природой, результат опыта самых разных народов. Умение видеть эти камни фундамента будущего в прошлом — вот в чем задача каждой страны, на долю которой выпало счастье владеть ими!.. Вот почему я думаю, что англичане должны постронть еще и крышу над сухим доком «Катти Сарк», — закончил свою речь практичный капитан.

Он с размаху опустил в кресло, с минуту ожесточенно грыз мундштук и воскликнул:

— А если нам, старикам, иногда становится грустно, то тут вам нечему удивляться!

— Отчего же грустно? — спросил кто-то.

— Я написал стихи и отвечаю ими:

Но это сон... Волны веселой пены
Давным-давно не режут клипера.
И парусам давно несут на смену
Дым тысяч труб соленые ветра!..

Что поделать — в этом наша молодость!..

ГОЛЕЦ ПОДЛУННЫЙ

— Попробую и я рассказать вам кое-что,— сказал молчавший весь вечер Георгий Балабин, коренастый, плотный, похожий на медведя человек, заросший до глаз короткой щетинистой бородой.

За этой простоватой внешностью скрывались знания и огромный опыт заслуженно уважаемого в ученом мире исследователя Сибири.

— Во всех ваших рассказах,— продолжал Балабин,— я подметил одну особенность: необычайное, встреченное почти каждым из вас, как бы соответствует внутренним исканиям каждого... Разве эти встречи не результат многолетних, может быть бессознательных, поисков? Терпеливое стремление тренирует нашу чуткость, дает умение отделить настоящее от случайного — это своего рода внутренний компас, который в нужную минуту подскажет вам, что вы на верном румбе... И кто знает, быть может, мы потому и встречались в жизни с интересными и замечательными событиями, что постоянно следовали этому своему компасу.

В Восточной Сибири есть Витимо-Олекминский национальный округ. Северо-восточная часть этой обширной горной страны, примыкающая к южной границе Якутии, представляет собою сплошной узел горных хребтов, едва ли не самых высоких во всей Сибири. Недоступность и безлюдье этих мест исключительные. До самого последнего времени путешественники в них не бывали. Пятнадцать лет тому назад мне пришлось первому пересечь это «белое пятно» на карте. Я говорю «первому», подразумевая, конечно, ученых-исследователей. Коренные жители страны — тунгусы и якуты — во время своих охотничьих перекочевок исходили вдоль и поперек и эту дикую область. Тунгусские охотники сообщали мне не раз драгоценные сведения об участках, еще не пересеченных маршрутами, и уверенно чертили подробные карты речек, ключей и горных хребтов. Даже самые

мелкие речки, служившие основными путями при кочевьях, имели у них свои названия. Не так обстояло дело с горами. Практический ум таежного охотника избегал лишнего загромождения памяти названиями не важных для передвижения или обитания мест, и для горных вершин мне приходилось придумывать названия самому.

Итак, в конце декабря 1935 года я находился на реке Токко, готовясь покинуть пределы Якутии и пройти к верховьям реки, в Витимо-Олекминский национальный округ. От моей большой экспедиции остался лишь маленький отряд, остальных сотрудников я направил в сторону Алдана и на Лену, расширив район своих исследований.

Сам же я, невзирая на свирепые морозы и недостаточные запасы продуктов, стремился пересечь горный увал, доступный легче всего именно в зимнее время, когда бурные реки, бушующие в непроходимых ущельях, скованы льдом и передвижение по дну ущелий на оленьих нартах не встречает особых затруднений. Три моих спутника были незаменимы каждый в своем роде. Якут Габышев — проводник, он же вожатый и хозяин оленьего каравана, геолог Александр Александров и рабочий Алексей, исполнявший обязанности повара, золотоискатель и охотник, — все испытанные таежники, не раз ходившие со мной в глухие места Сибири.

Восьмой месяц моего путешествия близился к концу, но впереди была еще очень трудная часть пути. Наш караван из семи нарт с четырьмя запасными оленями быстро двигался по замерзшей реке, и все больше мест долины Токко наносились впервые на географическую карту. Река изменила свое извилистое течение, оправдывавшее ее название «токкорикан» (по-тунгусски «извилистый»), и текла теперь поразительно прямо. День за днем планшеты нашей съемки пристраивались к большой карте — результату многомесячного упорного труда, показывая широкую прямую долину, направляющуюся к истокам реки — к югу. День за днем раздавался в тишине дробный стук оленьих копыт, скрип покачивающихся нарт, и мы уносились все дальше, туда, где вставала над округлыми волнами низких сопок зубчатая линия мрачных гор.

Мы продвигались по однообразной местности — южному краю Ленской платформы. Это невысокое плато, расчлененное на бесконечные ряды сопки почти одина-

ковой высоты, мы старались, несмотря на короткие дни, проехать как можно скорее. Двадцать первого декабря закругленные, покрытые темной щетиной елового леса сопки сменились длинными, заострившимися кверху увалами, поросшими лиственницами, рыжевато-серый цвет которых резко выделялся на темной зелени лесов из ели и кедра. Это означало, что мы покинули пределы платформы с ее однообразным рельефом и известняками и подошли к передовым бастионам горной страны из гранитов и гнейсов — твердых пород древнейшего цоколя материка, поднятых здесь недавними движениями земной коры на большую высоту. Оживание геолога, до сих пор сумрачно сидевшего на своей карте со съёмочной планшеткой на груди, как нельзя лучше показывало перемену в окружающей местности.

Небо расчищалось и голубело над головой, низкие тучи плотной завесой отходили на юг, косо нависая над преддверием горной страны. Мороз усиливался, скрип нарт становился все звонче и выше тоном, над караваном вилось облако пара от короткого и частого дыхания оленей. Я удобно расположился на широких грузовых нартах, на вещах, поджав под себя левую ногу и свесив правую, игравшую роль тормоза и руля. Время от времени я перекладывал вожжу из одной руки в другую или тревожно пошевеливал пальцами ног, стараясь уловить грозные признаки замерзания, требовавшие немедленной пробежки. Мы давно приковчили наш запас масла — это понижало сопротивляемость холоду.

Серые облака впереди окрасились красным, и в углубления снежной пелены легли длинные голубые тени. Выпуклый крутой бок массивного гольца выдвинулся на повороте реки. Обогнув его, мы увидели, что долина образовала широкую развилку, разделенную массивной сопкой с зубчатым гребнем. Это и была большая развилка вершины Токко в месте впадения крупного левого притока Чироды. Отсюда долина Токко, превращаясь в узкое ущелье, загроможденное порогами, поворачивала к юго-западу, приближаясь к верховьям Чары. Там, в обширной котловине, между двумя высокими хребтами находился небольшой населенный пункт с факторией и радиостанцией. Туда мы и стремились для возобновления запасов продовольствия. Свернув в долину Токко, уже в сумерках мы быстро выбрали место для палатки. В нашем давно путешествовавшем отряде все необходимые вечер-

ние работы производились с быстротой и, я бы сказал, изощренностью хорошо сыгравшейся труппы артистов. В ступающей темноте мы связали шесты, разгребли снег, поставили палатку и напилили дров. Алексей установил печку и занялся приготовлением обеда. Из торчавшей сбоку от входа в палатку печной трубы вырывалось бледное пламя. Оглядев в последний раз смутно черневшие на снегу нарты, мы вошли в палатку и, осторожно минув раскалившую печку, погрузились в тепло. Что может быть приятнее первых минут в нагретой палатке после трудного дня на жестоком морозе? Яростно срывая с себя обледеневший мокрый шарф, закрывающий лицо, снимаешь шапку. Еще немного терпения — и оленьи шкуры постланы на лиственничных ветках, набросанных на мерзлую землю, развернуты спальные мешки. Освободившись от тяжелой одежды, закуриваешь огромную козью ножку и с наслаждением впитываешь всем намерзшимся телом чудесную теплоту.

Так было и в этот вечер, когда мы расселись в палатке, поджав ноги, и начали поглощать невероятное количество горячего чая в ожидании, пока сварится мясо. Большой мороз сушит не хуже зноя, пить целый день нечего, и к вечеру появляется неутолимая жажда. В благодатном тепле, при красноватом мерцании уютно потрескивающей печки, хмурые, обветренные лица отмикали, суровые морщины разглаживались. Наконец в печку перестали подкладывать дрова, и в палатку неумолимо стал забираться ледяной воздух. Нужно снова надеть ватники, запасные меховые носки и влезать в спальные мешки, тщательно закупориваясь. В тишине и резком холоде остывшей палатки еще некоторое время металось уже бессильное пламя угасавшей печки, освещая то висащие над головой для просушки унты, рукавицы, шапки и шарфы, то приготовленную на утро растопку, то угол вьючного чемодана. Печка погасла. Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий грохот оседающего льда, треск лопающегося дерева, беготня согревающихся оленей...

Следующий день, день зимнего солнцеворота, принес хорошую погоду и еще более крепкий мороз. Бледное небо стояло над нами высокое и ясное. В недвижимом воздухе морозного утра пар дыхания, вырываясь изо рта, сразу превращался в мельчайшие льдинки. Трение льдинок на лету друг о друга и производило характерное ти-

хое шуршание. Этот тихий шелест, называемый якутами «шепотом звезд», означал, что мороз больше сорока пяти градусов. Геолог, взявшийся голый рукой за оставленный на ночь снаружи ртутный термометр, невольно издал крик удивления: стеклянная палочка термометра разлетелась на длинные иглистые осколки, а замерзший ртутный шарик прилип к пальцам. Пришлось извлекать со дна чемодана спиртовой термометр, который вскоре показал почтенную цифру -57° .

Возобновив запас дров и согревшись горячим чаем, мы разбрелись по своим делам. Геолог поехал на нартах вверх по Чироду, проводник ушел проверять оленей. Алексей — промывать золото. Я решил взобраться на гольц, чтобы осмотреться и заснять с высоты окружающую местность. Иначе трудно было разобраться в частоте горных пиков.

Лагерь опустел. Палатка, наполовину скрытая мелкими лиственницами, казалась совсем маленькой, затерянной среди огромных скал. Выбрав пологий отрог, я начал медленно подниматься по звонко скрипевшему, немислимо чистому снегу. Гладкие подошвы моих унтов скользили: приходилось цепляться за стволы деревьев. Морозный воздух не давал возможности глубоко дышать. Это очень утомляло; крупные капли замерзшего пота окружали лицо по краю меховой шапки. Но все же я достиг небольшой площадки на вершине гольца, где стояли две большие глыбы гранита, обточенные ветрами и покрытые лишайником. Я вскарабкался на макушку одной из глыб и оглянулся кругом.

Позади склон гольца круто обрывался в широкий распад, густо заросший кедрачом и казавшийся сверху пушистым ковром с узором из темно-зеленых и белых пятен. Налево, за ребристой сопкой, шла белая полоса замерзшей Чироды, направо такая же полоса обозначала Токко. С юга из голубой солнечной дали подходила покрытая серебристой дымкой стена хребта Удокан. Эта стена приблизительно на расстоянии полусотни километров от меня переламывалась углом и поворачивала на восток к Олекме. В месте перелома хребта высилось скопище огромных гольцов, значительно превосходивших по высоте все виденные здесь мною.

Один гольц особенно привлек мое внимание. Он стоял впереди всех остальных, ближе ко мне, одиноко подымаясь, как гигантская, слегка суживающаяся кверху

банни, верхушка которой увенчана тремя огромными зубцами. С трудом справившись с непослушным в качающихся руках карандашом, я зарисовал виденное и шёл к компас засечки. Пора было спускаться.

Все та же застывшая тишина окружала меня, не чувствовалось ни малейшего колебания воздуха. По-прежнему высоко стояла надо мной чистейшая голубизна неба, такого же глубокого, как окружающая тишина. Каменный, застывший, скованный морозом мир был враждебен мне. И я почувствовал, как острая тоска по теплым странам шевельнулась в моей душе...

Еще о детских лет я безотчетно любил Африку. Детские впечатления от книг о путешествиях с приключениями сменились в юности более зрелой мечтой о малоисследованном Черном материке, полном загадок. Я мечтал о залитых солнцем саваннах с широкими кронами одиноких деревьев, о громадных озерах, о таинственных лесах Кении, о сухих плоскогорьях Южной Африки. Позднее, как географ и археолог, я видел в Африке колыбель человечества — ту страну, откуда первые люди проникли в северные страны вместе с потоком переселившихся на север животных. Интерес ученого еще более укрепил юношеские мечты о душе Африки — о могучей, все побеждающей древней жизни, разлившейся по просторам высоких плоскогорий, водам мощных рек, по овеяемым ветрами побережьям, открытым двум океанам...

Мне не пришлось осуществить свою мечту и стать исследователем Черного материка. Моя северная Родина по необъятности не уступала Африке, а неизученных мест в ней было не меньше. И я сделался сибирским путешественником и попал под очарование беспредельных безлюдных просторов Севера. Только изредка, когда тело уставало от холода, а душа — от хмурой и суровой природы, меня охватывала тоска по Африке, такой интересной, манящей и недоступной...

Беспощадный мороз вернул меня к реальности. Я спустился со склона и пошел в лагерь. Солнце уже зашло за гора, но еще никто из товарищей не вернулся. Я затопил печку, поставил котел с замерзшим чаем и опустился на оленью шкуру, ожидая, когда палатка нагреется настолько, чтобы можно было раздеться.

Двадцать третье и двадцать четвертое декабря были трудными днями. Долина Токко превратилась в узкое ущелье, стиснутое боками высоких гольцов. Весь снег со

льда был начисто сметен бушевавшими в теснине ветрами. Река застыла неровными буграми, вздымавшимися по всему течению, повторяя контуры волн на перекатах и порогах. В ущелье часто раздавался грохот, отдаленный гул или низкий стон лопающихся и оседающих льдин. Местами изо льда торчали острые зубья камней.

Странно и жутко было идти, скользя и балансируя, и видеть прямо под своими ногами сквозь зеленоватую прозрачную плиту льда полуметровой толщины бушующие волны реки, мелькавшие в зеленоватом мерцании с огромной быстротой. Особенно жутким казалось то, что этот хаос воды и пены несся под нашими ногами совершенно беззвучно, как будто заколдованный тяжелой морозной мглой, нависшей в ущелье. Продвижение каравана по гладкому льду связано с большим трудом. Олени совершенно беспомощны на скользкой твердой поверхности — копыта их разъезжались в разные стороны, животные бились, падали.

Из глубины ущелья послышался глухой шум, который все нарастая и вскоре превратился в низкий непрерывный рев. Мы приблизились к одному из самых больших порогов, мощную силу которого не смогли укротить даже пятидесятиградусные морозы. Белый туман заполнял ущелье почти на половину высоты его отвесных стен из темно-серых метаморфических сланцев. Темная в белой рамке льда и снега вода плавно закругленным валом вспучивалась на трехметровую высоту, переваливалась вниз, разбивалась в пену и брызги об острые камни и с ревом бросалась на скалу правого берега, там, где над чернеющими, выдолбленными водой пустотами нависли, едва держась, огромные глыбы. Левый берег был также обрывист. От скалы шел гладкий скат огромной льдины, спадавший прямо в порог. Проход был опасен и узок, но другого пути не было.

Геолог, подъехавший первым, нахмурился, взялся за связку — ремень, соединяющий недоуздки каждой пары оленей, — и медленно повел свою упряжку. Следующая очередь была моя. Я встал между головами своих быков, беспокоившихся и неторопливо стремившихся вперед, и стал молча следить за геологом. Помочь товарищу я не мог: нельзя было отпустить свою упряжку, так как каждый сантиметр, выигранный в начале прохода, правее, к стене ущелья, имел решающее значение. Упряжка геолога, продвигаясь вперед, неуклонно сползала на край

льдины, и дымящимся волнам ревущего порога. Олени падали и снова вскакивали. Метр, полметра... Если ледяной бык упадет еще раз, все пропало. Бык не упал. Еще минута — и я приветствовал успех геолога криком, затерявшимся в шуме воды. Мои олени толкали меня ногами и стучали рогами, как бы напоминая о моей очереди. Зайдя с левой стороны упряжки, я отжимал плечом оленей к каменной стене ущелья и провел нарты у самой вершины ледяного ската. По моему следу перебрались проводник и рабочий; затем мы перевели грузовые нарты.

Еще один незамерзший порог пришлось преодолеть к концу дня. Его реп убаюкивал нас ночью. Наутро, едва мы прошли три-четыре километра, за поворотом ущелья прямо в лоб ударил нас сильный и непрерывный ветер. На льду, на крутых скалах, среди редких голых деревьев — нигде не было ни одного местечка, в котором можно было бы укрыться от полета бесчисленных копий мороза. Мы шли, наклоняясь вперед, закутав лица так, что оставались лишь узенькие щелки для глаз. Олени низко опустили головы, почти касаясь снега черными носами. Сильный ветер при шестидесятиградусном морозе почти непереносим. Через несколько минут я почувствовал, что вся передняя половина тела застывает до полного онемения. Приходилось поворачиваться спиной, идти пятясь, пока не согреешься. Шум и свист ветра заглушали все звуки...

К вечеру мы вышли из страшного ущелья в громадную котловину — впадину с плоским дном, окруженную ступенчатыми горами. Перед нами расстилалось ровное снежное, сияющее в сумерках поле, окаймленное черной полосой леса. После шума ветра в ущелье тишина и покой поразили нас. Мы назвали эту впервые открытую нами котловину Верхне-Токкинской, пересекли ее по глубокому снегу и достигли в темноте опушки леса. Прошел еще один ничем не запомнившийся день однообразного передвижения. Проводник поднял нас очень рано. В неправдоподобных голубых сумерках, предвещавших темный, как и все предыдущие, день, мы начали подъем на перевал в седловине двухвершинного гольца, покрытого обильным снегом. Поочередно мы выходили вперед, раздевшись до фуфайки, и протапывали лыжами дорогу для нарт. На морозе от идущего впереди валил пар, спина покрывалась инеем. Так, изнемогая и сменяя друг

друга, мы доползли до вершины перевала между двумя пологими снежными скатами. Олени, хватая снег, сейчас же легли. Покурив, мы расселись по нартам и принялись спускаться с седловины по широкому склону, выходящему на огромный пологий скат в несколько километров ширины, спадавший к реке Тарыннах, притоку Чары.

Два темных пятна показались на обрыве справа. Проводник, ехавший во главе каравана, ловко остановил разбежавшихся оленей. Я быстро выхватил из-под брезента свой винчестер. Коричневые пятна вскоре превратились в двух великолепных толстых кабарожек*. Шелкнул отведенный мной назад затвор (из осторожности на тряской езде я не держал патрона в стволе). Кабарги вздрогнули. Внимательные черные глаза зорко следили за нами, тонкие ножки напряглись, готовые взметнуть своих владельцев вверх по склону. Затвор автомата не захлопнулся, а медленно пополз вперед и, дойдя до края патрона, остановился раскрытым. Как ни тщательно было вытерто масло, жестокий мороз сделал свое дело. Я шевельнулся, пытаюсь дослать патрон; кабарги взвились по склону и исчезли в гуще листвянок.

Караван снова тронулся в путь, петляя между деревьями по склону.

— Тохто-о-о!..**

Внезапный вопль заставил меня вздрогнуть. Не размышляя, я скатился с нарт в снег и поймал их за задние копылья, чтобы своим телом сыграть роль тормоза. Нарты проводника уже скрылись за поворотом и исчезли. Скорость моих нарт была слишком велика; олени дернули, взметнулись в прыжке, и я ласточкой взлетел кверху, цепляясь за копылья. Не успев ничего сообразить, я уже лежал рядом с проводником, и тормозной олень грузовой нарты наступил мне на руку. Новый вопль:

— Тохто!

Из-за поворота показались две нарты геолога, и еще через секунду на склоне образовалась груда оленей, людей и нарт, продолжавших скатываться вниз. Ничего особенного не случилось — просто крутизна спуска внезапно превысила допустимый для проезда нарт предел.

Мы обрушились на дно распадка. Я так ударился спиной о лед, что на минуту потерял дыхание. На гребне

* Кабарга — жвачное млекопитающее из семейства оленей.

** Тохто! — Стой! (якутск.)

убравшись появились олени Алексея, оставшего от нас. Увидев груды тел и нарты, он растерялся и судорожно вцепился в нарты, вместо того чтобы прыгнуть. Тела оленей вытянулись в прыжке, нарты перенеслись через лежащего под откосом геолога и, ударившись о лед, развалились на куски. Алексей остался сидеть на вещах, удивленно и испуганно моргая, а олени, оторвав бурундук, сделали несколько скачков и остановились.

Выяснив, что все олени целы и вещи не повреждены, мы посмеялись над своим приключением и решили ввиду поломки нарты добраться до ближайшего корма и ночевать. Проехав еще немного до начала обширного ската в Тарыннах, мы остановились в редком лесу. Здесь когда-то давно прошел пал — лесной пожар. После него успел вырасти молодой березовый и лиственничный подлесок. Старые лиственницы, лишенные ветвей и коры, — самое лучшее топливо, и мы запаслись им в избытке, а кроме того, разожгли громадный костер, чтобы отогреть и гнуть бурундуки и обвязку копыльев. Геолог с Алексеем пошли на ближайший ключ сделать промывку на золото, а мы с проводником заготовили весь материал для починки.

Стемнело. Мы пообедали и напились чаю, а товарищи все не возвращались. Я решил выйти им навстречу. Дневная морозная мгла исчезла. Высоко над горами в прозрачном воздухе встала луна. Я вскоре увидел две темные фигуры, спешившие мне навстречу.

— Золотишко тут должно быть, — сказал геолог. — Правда, Алеша?

— Подтверждаю, — отозвался рабочий.

Мы закурили и молча стояли, очарованные лунной морозной ночью, покрывшей окружающий нас мир слесом искрящегося матового серебра.

— То не ваши ли страшные гольцы, Георгий Петрович? — спросил геолог и указал вверх по долине Тарыннаха.

Левее долины виднелась группа голубовато-серебряных пильчатых вершин с очень резко выделявшимися контурами. Глубокая черная тень скрывала подножия гольцов, а холодный свет высокой луны прочерчивал несуществующие пропасти и углублял далекие планы. Казалось, гигантская серебряная пила висела в воздухе, ни на что не опираясь. Отдельно от других стоял высокий башнеобразный пик с тремя зубцами на вершине, заме-

ченный мною еще раньше. Трехзубчатой вершинной пик словно касался луны, под лучами которой сияли скалистые ребра и ледяные кручи его южной стороны.

— Вот и название хорошее для вашего пика, Георгий Петрович,— снова нарушил молчание геолог.— Голец. Подлунный. Видите, уперся своими зубцами в луну...

— Очень хорошо,— согласился я, направляя компас на голец и беря вторую засечку.

Теперь расстояние до гольца стало известно, и он встанет точно на карту...

Работы по починке нарт были закончены к полудню, и, развалившись в палатке, мы отдыхали, обсуждая дальнейший путь. В три дня мы рассчитывали добраться до Чарской котловины и дня в два — по котловине до поселка. Пять дней — и можно будет спать в доме фактории, позволить себе роскошь раздеться, поесть как следует...

Послушать московские новости, если есть приемник!

Мы решили немного понежиться, прежде чем свертывать палатку, и лежали, делясь мечтами о скором приезде в поселок и небольшом отдыхе.

Мечты наши были прерваны неожиданными звуками — хрустением оленьего бега, скрипом нарт и человеческим голосом. После безлюдья скованной морозом тайги появление человека показалось чудом, и все, кроме меня, на ходу нахлобучивая шапки, выбежали из палатки. Я остался на месте, как и подобает начальнику, испытавшему все виды таежных бед и радостей. Вскоре в дверь палатки, нагнувшись, вошел неизвестный мне человек, а за ним последовали и мои спутники. Вошедший уселся, поджав ноги, около печки, горделиво поднял голову и, ударив себя в грудь, громко произнес:

— О-хо! Улахан тойон (большой начальник).

Я спокойно и внимательно посмотрел на него, и он, смутившись, потупился и полез за трубкой. Это был высокий старый якут, необыкновенно худой. Большие ястребиные круглые глаза, горбатый нос, впалые щеки и узкое лицо с остроконечной бородкой напоминали Дон Кихота.

Я предложил старику свой кисет, подмигнул Алексею, чтобы тот поставил на печку свежий чай и мясо: раз «улахан тойон», так примем с подобающим почетом.

Помолчав приличествующее время, я произнес обычную формулу:

— Капсе, тогор (рассказывай, друг).

— Со-охи, сьй капсе (нет, нечего рассказывать, ты рассказывай), — протянул старик.

Мы обменялись еще несколькими традиционными фразами по-якутски; затем старик неожиданно заговорил по-русски, очевидно найдя, что его русский язык лучше моего якутского. С большим интересом якут расспрашивал меня о путешествии, одобрительно кивая головой при упоминании мной названий особенно трудных мест пути. Несколько раз старик пытался меня поддеть на знании особенностей местной природы, но благодаря большому опыту странствований я оказался на высоте положения. Ему поднесли стаканчик спирта, он съел сытный обед и несколько размяк, утратив свою надменность. Он сказал, что покажет мне «такую штуку», какую я, наверно, не находил здесь. Старик быстро вышел из палатки и направился к своим двум нартам.

— Ты знаешь этого старика? — спросил я у Габышева.

— Знаю, — отвечал проводник. — Его Кильчегасов фамилия. Охотник хороший, всякий место знает.

Старик вернулся в палатку, и я прекратил расспросы.

— Такой видел на Токко? — хитро усмехаясь, спросил старик и протянул мне тяжелый обрубок бивня мамонта.

Я объяснил старику, что это бивень мамонта, и описал рукой в воздухе дугу, показывая его в целом виде. Кильчегасов опечалился, видя мою осведомленность, а когда я сказал, что, вероятно, он нашел бивень в подмыше берега, он и совсем погрузстнел.

— Много знаешь, начальник, — покачал он головой.

Польщенный признанием старика, я рассказал ему об островах в устье Лены, где бивни мамонтов валяются прямо на земле вперемешку с костями китов и обломками принесенных морем лесин. Якут внимательно выслушал меня, сплюнул и придвинулся ко мне, словно на что-то решившись.

— Твой умный человек, начальник, однако, наши охотники тоже знают, чего-чего твой не знает. Я знаю голец, где такой мамонт рога, как лес лежит. Его, она-

ко, не кривой, какой я нашел, а прямой, мало-мало кривой.

— Это интересно! — удивился я.

Кильчегасов протянул руку за кисетом. Закурив, он поднял лицо кверху, будто вспоминая что-то.

— Мой отца брат согджоя* гонял, ходил очень далеко, туда,— Кильчегасов махнул рукой на восток,— видел, потом рассказывал. Ты слышал, оннако? — обратился он к проводнику.

— Слышал. Думал — врал,— равнодушно отозвался Габышев.

— Оннако, не врал, его кусок рога, конец, приносил, я сам смотрел.

— Где же этот голец? — спросил я старика.

— А если близко, пойдешь посмотреть?

— Конечно, пойду,— кивнул я.

Минутная пауза, и колебание, выразившееся на лице старика, исчезло.

Я развернул свою большую карту, на которой только вчера отметил место гольца Подлунного.

— Вот тут, между вершина Чирода и вершина Токко, много большой голец, прямо куча.

— Верно! — отозвался я.

Но старик не обратил на мой возглас никакого внимания.

— Вершина Чирода и Чиродакан около есть самый большой голец, как высокий пень. (Мы с геологом переглянулись, узнав в метком слове старика своего вчерашнего крестника — голец Подлунный.) Это голец стоит сам один, сюда ближе Токко вершина. Право гольца есть высокий, ровный, чистый место — все равно стол. Это место рога, оннако, и лежат. Там есть еще дырка большой, и там тоже рога.

— А как отсюда, далеко будет? — спросил я, загоревшись любопытством.

— Этот место недалеко-о,— протянул старый якут.— Тарыннах пойдешь, вершина Тарыннах право пойдет, лево пойдет Ичончокит. Ичончокит вершина пойдешь на средний перевал, там ниже ровный место, оннако, маленький ключик. Этот ключик сходится Талумакит. Токко вершина, оттуда налево будет речка небольшой... Киветы скала режет — все равно нож. Онна-

* Согджой — дикий северный олень.

но, Киветы пойдут тот плоский место...— Кильчегасов подумал и сказал: — Верста девяносто ли, сто ли будет.

Старик умолк. Молчали и мы. Только дрова в печке глухо потрескивали. Я раздумывал о возможности сделать маршрут в сторону, по труднопроходимой местности, при почти иссякших запасах продовольствия. Геолог выжидательно поглядывал на меня, ничем не выдавая своих чувств. Габышев обратился к старику по-якутски, и оба они тихо заговорили. Я уловил лишь несколько знаковых слов: «большой порог... корма много... нартами не проехать... черта много...»

— Где это много черта, Габышев? — вмешался я в их разговор.

Я знал, что под «чертом» тунгусы и якуты подразумевают необъяснимые с их точки зрения явления природы.

— То место я слышал, там черта много, — подтвердил проводник, — однако, еще большой порог есть, там смерть близко ходи.

— Какой порог? Речки-то все маленькие.

— То не речка: порог большой — весь дорога.

Мы поняли, что речь идет о ригеле — отвесном уступе, иногда перегораживающем поперек ледниковые долины. Я все колебался, не подавая виду. В конце концов, сто километров в один конец по сибирским масштабам — пустыки. Вопрос в лишние дни, которые надо прибавить к пяти, отделяющим нас от отдыха в поселке. Попасть снова в эту недоступную область вряд ли придется.

Я кивнул на Кильчегасова:

— Пойдешь с нами до того места?

По оживлению моих спутников я увидел, что они поняли мое решение. Старик раздумывал, посасывая трубку. Не торопя его, я спросил геолога:

— Как вы думаете, Анатолий Александрович?

— Ну, ясное дело, слазаем, посмотрим, — одобрительно отозвался он.

— А ты, Алексей, как? Продуктов хватит на десять дней?

— В обрез хватит: мешок лепешек есть, чай есть да пять банок бобов...

После раздумья старик согласился сопровождать нас. Теперь очередь была за Габышевым.

— Как, Василий, пойдешь? — спросил я. — Груз оставим, нарты грузовые оставим, оленей погоним с собой.

Проводник невозмутимо мусолил трубку, склонив голову и глядя в землю. От согласия его, как владельца оленей, зависело многое.

— Пойдем, начальник, — спокойно ответил якут и так же невозмутимо добавил: — Однако, мы пропадем, я думаю...

Я крепко пожал руку этому славному якуту, считавшему наше предприятие опасным и тем не менее спокойно шедшему навстречу этой опасности.

До вечера шло обсуждение предстоящего пути. На ночь в палатке прибавился пятый жилец. А утром мы быстро съехали в долину Тарыннах, расставили запасную палатку и сложили в нее коллекции, ненужный груз, лишние нарты. Затем повернулись спиной к желанной Чаре и направились к страшным гольцам в верховья Тарыннаха.

По широкой долине реки струился белый туман от многочисленных наледей. «Тарын» и значит по-якутски «наледь». Иногда воды было немного под снегом, а иногда нарты, как лодки, разрезали серую неподвижную воду или проваливались в подледные пустоты. Местами мы с гиканьем мчались, гоня оленей во весь опор по тонкому, прогибающемуся льду. Торопясь, мы проехали за день большой кусок пути и уперлись в отвесную стену, перегородившую долину, — знаменитый уступ в добрые четверть километра высоты. Направо ложе реки врезало в кромку порога узенький пропил. Через него, изгибаясь, спадал вниз огромный ребристый ледяной столб, по которому кое-где сочилась вода и вился едва заметный пар. Левее голые желтые скалы образовали неприступную стену, обрушившуюся в одном месте. Здесь только и можно было начать подъем.

Наутро три пары самых сильных быков волокли облегченные нарты. Каждую пару тащил наверх один из нас, а другой поднимал и подталкивал нарты. Запасные олени шли следом, несмотря на страх, внушаемый им крутизной подъема. Медленно-медленно поднимались мы наверх по этой стене, при виде которой даже бывалый человек отказался бы от мысли втащить на нее нарты. Уже у самого верха обрыва, где подъем стал особенно крут, геолог поскользнулся и скатился вниз на оленей.

Большой черный бык подхватил его на свои рога и в диком страхе двумя сильными рывками добрался до обрыва. Там, на просторной площадке, мы повалились все без исключения — олени и люди, едва живые от изнеможения.

— Вот порог так порог! — воскликнул Алексей. — Страх берет вниз посмотреть... А если бы кто туда сошелся?

— От нарты один спичка останется, а от тебя один печенка вниз прилетит, — невозмутимо ответил проводник.

Оставалось пересечь речку и правым бортом долины ехать дальше. Чего бы, казалось, проще, но и тут внезапно возникшая опасность показала, что каждую секунду нам нужно быть начеку. На льду речки свежая наледь образовала гладкий и плоский бугор, чуть припорошенный сухим снегом. Едва мы въехали на бугор, олени заскользили. Спрыгнувшие с нарт люди сами скользили и падали и не были в силах удержать упряжки. Я сообразил, что все мы неудержимо сползаем к краю ледяного обрыва, с которого спадает на трехсотметровую глубину замерзший водопад... Раздался высокий, звенящий голос проводника:

— Держись, смерть близко ходи!

В страхе за судьбу товарищей я метнулся вперед, уцепился за задок наиболее далеко сползших нарт, поскользнулся снова и упал. Десятью килограммов моего живого веса, обрушившись на молодой лед, пробили в нем большую дыру, и таким образом я получил наконец твердую опору. Невзирая на воду, пропитавшую ватные брюки, я держал проклятые нарты, пока спутники не справились с оленями и не завернули их круто назад от пропасти. Выбравшись на правый борт распадка, в устойчивый снег, мы погнали оленей подальше от опасного места.

Ночевали мы уже на Ичончоките. С утра светлые легкие облака затянули все небо сплошным покровом. Невидимое солнце излучало сильный свет, дробившийся в облаках и отраженный снегом. Этот свет сглаживал все неровности, искажал перспективу и менял очертания предметов, крайне затрудняя передвижение. Кильчегасов с проводником только морщились, сплевывали и бранились, видя в этом неверном свете одну из особенностей чертова места.

Наконец спуск с перевала закончился. Котловина, в которую мы спустились, была невелика. Со всех сторон ее окружали гольцы, вершины которых терялись в молочно-белом покрывале, затянувшем небо. Прямо перед нами возвышались почти отвесные стены горного хребта, закрывавшего нашу цель — то самое место, о котором рассказывал Кильчегасов.

Когда мы поставили палатку и запасли дрова, наши якуты занялись непонятным делом. Срубив высокие шесты, они прицепили к ним какие-то тряпки, заостренные дощечки и расставили вокруг лагеря, укрепив в мерзлой земле с помощью камней и льдин. Как я узнал, это была защита от черта. Он и в самом деле не замедлил вскоре появиться. Едва в котловине начали сгущаться сумерки, как раздались жуткий визг, скрежет и хохот, сменившиеся утробным воплем. Эти звуки, подхваченные и умноженные необыкновенно сильным эхом, произвели на меня такое впечатление, что я испугался, кажется, больше якутов, ожидавших появления черта. Геолог выскочил из палатки с ружьем, но ничего не увидел в угасавшем неверном свете.

— Вот они! — вдруг завопил Алексей, тоже вышедший наружу, и показал на какие-то пятна, двигавшиеся над низкими ветвями скорченных берез и почти совершенно сливавшиеся с синевато-серым мерцанием воздуха.

Геолог вскинул ружье, длинная вспышка вылетела из ствола, и затем раздался такой потрясающий гром, что мы все остолбенели. Гром усилился; стихая затем, он уходил все дальше и разнесся по горам, как весть о дерзновении вторжении человека. Что-то упало поодаль на снег и стало биться. Геолог бросился туда и принес громадную сову. Она скорее походила на филина, только с иным, молочно-белым цветом оперения, с черными пятнами и полосами на крыльях, спине и верхней части головы. Алексей с торжеством понес сову проводникам, не покидавшим палатки: вот, мол, ваши черти, смотрите! Но он, кажется, мало убедил якутов, объявивших, что здесь черта еще будет много.

Мы забрались в палатку и начали обсуждать план завтрашнего похода на голец с мамонтовыми бивнями. По недоступной летом долине речки Киветы мы, по уверениям Кильчегасова, должны были, пройдя пятнадцать километров, выйти в «чистое место» и оттуда подняться

на плито с бивнями. Проводник не решался идти с нами: большие ноги не давали Кильчегасову этой возможности. Алексея мы решили оставить с якутами. Все складывалось так, что в пешеходный маршрут могли идти и и геолог.

Только что мы приготовились заснуть, как вокруг снова все загремело. Глухие удары, зловещее рокотанье закончились адским, долго не стихающим грохотом. Я посмотрел на геолога, думая о лавине. Геолог спокойно сказал:

— Это скала рухнула, Георгий Петрович. Здесь необыкновенно крутые склоны вследствие больших молодых сбросов, так что, наверно, часто сыплется... А вдобавок еще необыкновенное эхо. В нем-то и заключается весь черт.

Мы рассмеялись и быстро нырнули в спальные мешки.

Ночью ослабевший за два последних дня мороз стал усиливаться. Поднялся весьма неприятный хиуз*. Ветер дул как раз в мою стенку палатки, пробираясь в спальный мешок и замораживая обращенный к стене бок. Я проснулся от холода, но долго еще лежал, борясь с дремотой и ленью вылезать и затапливать печку. Наконец я все-таки выскочил из спального мешка и, трясаясь от холода, зажег заготовленную растопку, а сам скорчился у печки в ожидании живительного тепла. Дрова, потрескивая, медленно разгорались. Я сидел, думая о завтрашнем походе, и вдруг отчетливо услышал тяжелые шаги — грузный топот громадного животного. Шаги приближались к палатке, затем обошли палатку кругом. Алексей, спавший крайне чутко, проснулся и разбудил геолога. Топот возобновился, близкий и грозный. Я схватил свой винчестер, который, против обыкновения, взял и палатку, чтобы отогреть, а в случае чего и испробовать на черте действие свинцовой пули 351-го калибра. Геолог и я быстро выбежали из палатки, для чего нам пришлось перепрыгнуть через проводников, завернувшихся с головами в одеяло и упорно не желавших вставать. Небо расчистилось. Ущербная луна недобро кривилась над зубцами вершин. На ровном снегу не было видно никаких следов, сколько ни напрягали мы зрение. Мороз пробирал, и мы вскоре вернулись в палатку. При моем по-

* Хиуз — поэмка, устойчивый холодный ветер.

явлении Габышев приподнялся, сел и тревожно спросил:

— Ну, чего видел?

— Ничего.

— Так... И завтра след никакой не найдешь.

— А что это было, по-твоему?

— Здешний хозяин ходи.

— Какой хозяин?

— Чего тебе не понимаю? — рассердился якут. — Хозяин, я говорил!..

Я пожал плечами и больше не стал расспрашивать его, хотя так и не мог понять, что за «хозяин» бродил вокруг палатки.

Предра рассветная мгла еще наполняла котловину, когда я и геолог стали собираться в путь при свете свечи. Ружья решено было оставить — путь был не близкий, и нужно было идти совсем налегке, чтобы иметь возможность принести собранные образцы. Револьвер и медвежий нож заменили нам винтовку и топор. И все же наше снаряжение с анероидом, фотоаппаратом, съемочной планшеткой и припасами получилось ощутительно весомым. Пока мы собирались и закусывали, рассвело. Проводник обошел с Кильчегасовым вокруг палатки и заявил, что ничьих следов, кроме следов наших оленей, нет...

Мы двинулись в путь и быстро пересекли котловину. Синий снег звонко скрипел под унтами.

— Опять под шестьдесят! — недовольно сказал геолог, натягивая на рот край шарфа.

Через полчаса мы достигли начала ущелья Киветы и углубились в него. Там еще было темно, и мы прошли несколько километров в пепельно-сером сумраке, прежде чем солнечные лучи достаточно осветили ущелье. Вид ущелья был необычаен. Мы невольно говорили вполголоса, как будто боялись оскорбить какого-нибудь здешнего «хозяина». Ущелье имело в среднем не более четырех метров в ширину. Гладкие угольно-черные стены вздымались кверху или сходились совсем, образуя арки и тоннели, в которых царил густой мрак. Огромные бревна, ободранные, измочаленные, были крепко забиты поперек ущелья на высоте четырех-пяти метров над нашими головами, показывая уровень весенней воды. В стенах ущелья вода высверлила глубокие ниши и

ны — мельничные котлы; в них лежали круглые валуны диаметром с автомобильное колесо.

Заморашее русло реки спадало уступами. Наледи текли во всю ширину ущелья, так что скоро торбаса наши промокли и обратились в комья льда, по которым мы время от времени с ожесточением колотили палками. Обледеневшие торбаса отчаянно скользили по ледяным уступам, а эти уступы становились все круче. В другое время, не зимой, речка представляла собой ревущий водопад, и никакие силы не помогли бы нам пройти здесь летом, весной или осенью. Тишина и теснота ущелья, черный цвет его стен — все это действовало несколько угнетающе. Мы прошли уже около девяти километров вверх по ущелью, когда оно повернуло к югу и в какой-то просвет между нависшими сверху склонами проникли солнечные лучи. Здесь обрывистая стена обвалилась, и слагавшие ущелье породы выступали в свежем разломе. Это оказались слюдистые сланцы, из золотистой мелкой слюды. Словно куски серебряного и золотого шелка, горели они в лучах солнца на стенах ущелья, совершенно его преобразив. Золотые и серебряные глыбы лежали повсюду на прозрачном изумрудном льду. Еще четыре километра по ледяным уступам — и мы вышли на маленькую круглую поляну, поросшую кедрами и заваленную большими камнями. Слева, теперь ясно видимый в чистом небе, возвышался голец Подлунный, как чудовищная каменная башня, заслоняя от нас весь северо-восток. Впереди виднелся прямой, словно обрезанный ножом, крутой уступ. Час быстрого хода — и мы, обливаясь потом в тяжелой одежде, взобрались на этот стометровой высоты обрыв, но не увидели ничего, кроме гранитного вала, загораживавшего нам дальнейший путь. Вал был невысок, и мы легко одолели и эту последнюю преграду. С гребня вала раскинулась перед нами цель тяжелого пути — небольшое плато с выпуклой поверхностью, окруженное редкими конусовидными сопками. Выпуклая поверхность плато была почти лишена снежного покрова. Поодаль, за кустами кедрового сланца, виднелось несколько острых глыб светлого гнейса, расположенных удивительно правильно — в виде буквы П.

Продравшись сквозь заросли кедрового сланца, мы нашли на большой поляне несколько слоновых бивней — не мамонтовых, закругленных в полукольцо, а громад-

ных, слабо изогнутых бивней, похожих на бивни самого большого африканского слона. Я насчитал четырнадцать штук. Самые большие были до трех метров длины. Слоновая кость почернела и с задних концов рассыпалась на мелкие кусочки. Зубов и других костей не было. С холма мы увидели в центре плато еще одну большую кучу слоновых бивней, которые лежали, наваленные как дрова, занимая большую площадь. С радостными восклицаниями мы побежали вперед, обгоняя друг друга. Тут было несколько сотен бивней. Между ними кое-где торчали громадные кости, которые мгновенно рассыпались, едва мы притрагивались к ним.

Недалеко от вершины холма между острыми камнями виднелась глубокая промоина: не та ли «дырка в гольце», про которую упоминал Кильчегасов? В левом борту промоины мы разыскали широкий заваленный ход и поползли внутрь. Сначала пришлось карабкаться под низкими оледенелыми сводами куда-то наверх, затем мы быстро скатились вниз и очутились в кромешной тьме. На счастье, в рюкзаке геолога оказался кусок свечи, которой суждено было в дальнейшем оказать нам еще одну важную услугу. Пещера была велика, с несколькими высокими ходами. На полу из наледи торчали кости животных. Мы углубились в наиболее высокий ход и в ту же минуту испустили дружный крик удивления. На гладких, отвесных стенах пещеры при свете свечи виднелись грубые, громадные изображения животных, сделанные или резкими штрихами, или превосходно сохранившимися красками — черной и красной. Эти рисунки были сделаны очень точно и верно и с удивительной выразительностью. В колеблющемся свете свечи они казались живыми.

Вне себя от удивления, я смотрел, как на черных стенах развевалась жизнь Африки. Вот огромные слоны с растопыренными, как крылья летучей мыши, ушами, антилопы, львы. Вот головы двурогих африканских носорогов...

— Черт возьми, носороги и слоны-то ведь африканские! — вскричал я.

Мы находили все новые рисунки. Вот пятнистая гиена с покатою спиной, жирафы, полосатые зебры. Африка в сердце скованных стужей сибирских гор! В пещере было сравнительно тепло. Я забыл про мокрые, обледе-

новые торбасы; мне было жарко, словно меня коснулся живой пламень африканского неба.

Пройдя дальше, мы обнаружили две ниши, заполненные бивнями слонов. Тут были собраны особенно большие, до четырех метров в длину. Сложенные штабелем, как дрова, они поблескивали под огнем свечи своей гладкой черно-желтой поверхностью.

Я увлекся и побежал было в другое большое разветвленное пещеры, но меня остановил геолог, напомнив, что уже три часа. До темноты осталось не более полутора часов: нам нужно было торопиться. Ночевать в этом безлесном месте, на шестидесятиградусном морозе, в мокрой одежде было слишком опасно. Все же мы еще с полчаса торопливо продолжали поиски хоть каких-нибудь остатков тех, кто здесь жил и рисовал африканских животных. Нам хотелось как можно больше узнать о таинственных обитателях пещеры, но ничего, кроме двух каменных наконечников копий и еще какого-то неизвестного мне костяного инструмента, мы не нашли.

Солнце уже спустилось низко за горы, когда, навьюченные образцами зубов и бивней, мы поднялись на гребень гранитного вала и в последний раз окнули взглядом необычайное место. Быстрый поток мыслей пронесся в моем мозгу. Я вспомнил о великих переселениях африканских животных в Азию, о том, что перед оледенением в Забайкалье и части Монголии была жаркая степь, где жили страусы, антилопы и жирафы. Теперь я понял, что нашел крайний северо-восточный форпост Африки — место, куда до оледенения докатилась волна переселений.

Случилось действительно необычайное: тоскуя по Африке в морозных ущельях Сибири, я открыл в них кусочек земли, в древности бывшей Африки и сохранившейся нетронутой с того времени. Кто же были эти таинственные древние люди, рисовавшие животных? Если они жили до оледенения, то, значит, они принадлежали к очень древней расе. В то же время эта раса была уже сравнительно высокоразвитой, если судить по рисункам на стенах пещеры. Таких рисунков в Сибири и вообще в СССР пока никто не находил. В правильном расположении каменных глыб я обнаружил большое сходство с загадочными сооружениями из огромных камней, нередко встречавшимися в Центральной и Восточной Африке. Да, скорее всего эти люди пришли сюда из Аф-

рики следом за потоком переселявшихся животных — древние племена художников и мужественных охотников на гигантских слонов.

Ошеломленный находкой, я, по обыкновению каждого исследователя, быстро соображал, пытаюсь сразу же найти наиболее правдоподобное объяснение. И только постепенно я начал сознавать все значение нашего открытия. Теперь может быть решен старый спор ученых об одном или нескольких оледенениях, решен в пользу одного оледенения. Совсем по-новому придется пересмотреть прежние взгляды геологов на историю этой области Сибири в четвертичный период и представления зоологов о распространении животных и происхождении современной наземной фауны. И, наконец, самое интересное — люди, самые древние обитатели Центральной Сибири, неожиданно оказавшиеся современниками и, возможно, родственниками тех, которые до сих пор были найдены только на западе и юге. Да, ученым придется теперь всячески обдумывать открытие, добытое в результате труда и упорства кучки людей здесь, в оледенелых горах, под жестоким морозом...

Молча мы спустились вниз и пошли к речке, к началу ущелья, где мы оставили собранные в нем образцы пород. Геолог спросил меня, что я думаю о нашей находке. Я рассказал ему о своих размышлениях, и он согласился с моими догадками.

— Да, я тоже думаю, что эти куски и рисунки древнее здешних поднятий и оледенений, — сказал он. — Пещера промыта в известняках какими-то водами, а где теперь на высоте вы найдете столько воды? Когда вся эта огромная область подверглась поднятиям и оледенению, что было около пятидесяти тысяч лет назад, земная кора была здесь расколота на отдельные участки. Одни поднимались кверху и образовывали горные хребты, другие спускались, образуя котловины. А этот голец, который мы открыли, — словом, небольшой участок древней почвы — был поднят на меньшую высоту, чем другие, и не претерпел оледенения и размыва. В то же время он не был опущен настолько, чтобы его завалило моренами и речными галечниками. Потому-то все на поверхности его сохранилось нетронутым... ну, конечно, не считая атмосферных влияний...

На этом наши ученые рассуждения оборвались. Наступившая ночь заставила нас все внимание сосредото-

нить на дороге. У входа в ущелье мы подобрали оставленные камни и вступили в полную темноту. За свою многолетнюю скитальческую жизнь я, кажется, не попадал в худшие переделки, чем этот ночной поход в ущелье Киветы. Мы то и дело проваливались в воду наледей. Все больше льда нарастало на наших торбасах. С тяжелым грузом за спиной было трудно двигаться по гладкому льду, а на уступах замерзших водопадов мы падали и катились вниз. Скоро и одежда наша обледенела. Все тело было набито. Не знаю, сколько километров мы прошли таким образом, но в конце концов мы остановились, не в силах продолжать этот путь. И в то же время мы знали: нужно идти дальше — долгий отдых без костра грозил гибелью. Разжечь костер не было возможности — кругом только скалы и лед. Вдруг я вспомнил о свече. Какое счастье, что я не бросил огарка после осмотра пещеры! В неподвижном воздухе свеча могла гореть, как в комнате. С трудом разожгли мы замерзший фитиль и двинулись дальше, поочередно неся свечу в высоко поднятой руке. Теперь ледяные каскады Киветы стали менее страшны — можно было осторожно скользить и скатываться по ним. Остатка толстой «железнодорожной» свечи хватило почти на час. Когда снова нас окутал мрак, до конца ущелья осталось уже немного. Поздняя луна повисла над гольцами, освещая правую стену черного коридора высоко над нашими головами. Прошло немало времени, прежде чем черные стены разошлись и выпустили нас на свободу, в серебристое снежное поле. Теперь до палатки осталось не более четырех километров. Но леса не было, а следовательно, и тут сделать остановку было нельзя. Я прошел не более полукилометра по котловине и вдруг почувствовал, что перенапряженное сердце сдает. Трудный путь: почти сутки на морозе в шестьдесят градусов, в мокрой, тяжелой одежде, с грузом за плечами, нечеловеческое напряжение при спуске по ущелью, и при всем этом — невозможность дышать глубоко, так как легкие не принимали ледяного воздуха...

Нужно ли удивляться, что даже два таких закаленных человека, как я и геолог, стали быстро сдавать в конце пути? Мое предложение бросить здесь рюкзаки с образцами и все другое снаряжение геолог выполнил, не теряя ни секунды.

Мы едва плелись по гулко хрустевшему снегу, подбадривая друг друга. Силы убывали с каждым шагом.

Еще полкилометра, километр — и геолог зашатался, упал на четвереньки в снег и сел, тяжело дыша. Борясь со слабостью, я подошел к нему и стал уговаривать подняться, продолжать путь. Он ответил, что сейчас ему все безразлично, идти дальше он не может. И все же я заставил геолога подняться и пойти. Но через несколько сотен метров ощутил, что и сам не могу двигаться. Огромным усилием воли я заставил себя отсчитать двести шагов, потом еще сто, потом пятьдесят и затем, подобно геологу, рухнул в снег. Блаженный покой охватил меня. Спать, спать — больше ничего!.. Слабо шевельнулась мысль, что заснуть — значит умереть... И я рассердился, услышав очень громкий топот. Это возвращался геолог, возвращалась жизнь, возвращалась невыносимая необходимость вставать и идти. Не помню, сколько еще времени мы шли бок о бок, боясь отойти друг от друга, боясь подумать об отдыхе...

Я наступил на тонкую ветку или сучок, скрытый под снегом. Необычайная громкость звука переломленного сучка дошла даже до моего угасающего сознания. Я вспомнил сразу все: и чудовищный гром обвала, и гулкий топот вчерашнего ночного гостя, и громкие шаги геолога... Остановился, содрал твердую, как кора, рукавицу и вытащил револьвер. Обыкновенный браунинг загремел, как пушка. Звук раскатывающейся волной пронесся по долине. Еще и еще я повторял свой гремющий призыв, пока не услышал усиленные эхом крики. Я сунул пистолет в карман и, едва разжав сведенные пальцы, опустился на колени рядом с геологом.

Мы задремали, но были разбужены приближающимся топотом: к нам спешили оба якута и Алексей. Услышав мои выстрелы, они сразу догадались, в чем дело. За пазухой Алексей принес флягу с горячим чаем и бутылку водки. Нас под руки довели до палатки, и мы, не раздеваясь, погрузились в крепкий сон. Алексей вскоре разбудил нас, чтобы покормить и уложить как следует. А наутро мы уже совсем пришли в себя. Припасы были на исходе, и, к радости якутов, мы решили спешно покинуть котловину, даже не разобрав образцов, принесенных на рассвете якутами. Нам хотелось встретить Новый год в менее унылом месте.

Габышев подошел ко мне, смущенно усмехаясь, подождал, пока я кончу обвязывать нарты, и тихо сказал:

— Я понимал, какой ночью хозяин ходи, Кильчегасов тоже. Это звук такой сильный здесь, это олень наш ходи...

Проводник весело рассмеялся и, подмигнув мне, направился к своим нартам.

Обратно по знакомой, проторенной дороге мы подвигались гораздо быстрее.

Второй день нового, 1936 года застал нас совсем близко от долины Чары. Олени легко бежали по проложенному Кильчегасовым следу. Алексей пел заунывную песню о том, как «идет бодайбинец-старатель по Витиму и ужасный мороз». Нарты ныряли и качались подо мной, солнце весело блестело на белой ленте замерзшей реки...

1942—1943

БЕЛЫЙ РОГ

В бледном и знойном небе медленно кружил гриф. Без всяких усилий парил он на огромной высоте, не шевеля широко распластанными крыльями.

Усольцев с завистью следил, как гриф то легко взмывал кверху, почти исчезая в слепящей жаркой синеве, то опускался вниз сразу на сотни метров.

Усольцев вспомнил про необычайную зоркость грифов. И сейчас, как видно, гриф высматривает, нет ли где падали. Усольцев невольно внутренне содрогнулся: пережитая им смертная тоска еще не исчезла. Разум успокоился, но каждая мышца, каждый нерв слепо помнили пережитую опасность, содрогаясь от страха. Да, этот гриф мог бы уже сидеть на его трупе, разрывая загнутым клювом обезображенное, разбитое тело...

Засыпанная обломками разрушающихся обнаженных скал долина была раскалена как печь. Ни воды, ни дерева, ни травы — только камень, мелкий и острый внизу, обрывисто громоздящийся угрюмой массой вверху. Разбитые трещинами утесы, нещадно палимые солнцем...

Усольцев поднялся с камня, на котором сидел, и, чувствуя противную слабость в коленях, пошел по скрежетавшему под ногами щебню. Невдалеке, в тени выступающей скалы, стоял коны. Рыжий кашгарский иноходец насторожил уши, приветствуя хозяина тихим и коротким ржанием. Усольцев освободил повод, ласково потрепал лошадь по шее и вскочил в седло.

Долина быстро раскрылась перед ним: иноходец вышел на простор. Ровный уступ предгорий в несколько километров ширины круто спускался в бесконечную степь, затянутую дымкой пыли и клубящимися струями нагретого воздуха. Там, далеко, за желто-серой полосой горизонта, лежала долина реки Или. Большая быстрая река несла из Китая свою кофейную воду в зарослях ко-

лючей джидды и цветущих ирисов. Здесь, в этом степном царстве покоя, не было воды. Ветер, сухой и горячий, шелестел тонкими стеблями чия*.

Усолец остановил иноходца и, приподнявшись на стременах, оглянулся назад. Вплотную к ровной террасе прилагала крутая коричневатая-серая стена, изрезанная короткими сухими долинами, разделявшими ее гребень на ряд неровных острых зубцов. Посредине, как главная башня крепостной стены, выдавалась отдельная отвесная гора. Ее изрытая выпуклая грудь была подставлена шибным ветрам широкой степи, а на самой вершине торчал совершенно белый зубец, слегка изогнутый и зазубренный. Он резко выделялся на фоне темных пород. Гора была значительно выше всех других, и ее острая бора першина походила на высоко взметнувшийся в небо гигантский рог.

Усолец долго смотрел на неприступную гору, мучимый стыдом. Он, геолог, исследователь, отступил, дрожа от страха, в тот самый момент, когда, казалось, был близок к успеху. И это он, о ком говорили как о неутомимом и стойком исследователе Тянь-Шаня! Как хорошо, что он поехал один, без помощников! Никто не был свидетелем его страха. Усолец невольно огляделся кругом, но палящий простор был безлюден — только широкие волны ветра шли по заросшей чием степи и лиловатое марево неподвижно висело над уходившей на восток горной грядой.

Иноходец нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Что же, Рыжик, пора нам домой, — тихо сказал геолог коню.

И тот, словно поняв, выгнул шею и двинулся вдоль уступа. Маленькие крутые копыта отбивали частую дробь по твердой почве. Быстрая езда успокаивала душевное смятение геолога.

С крутого спуска Усолец увидел стоянку своей партии. На берегу небольшого ручья, под сомнительной защитой филигранных серебристых ветвей джиддовой заросли, были раскинута две палатки и поднимался едва заметный столбик дыма. Подальше, уже на границе степи, стоял толстый карагач, словно обремененный тяжестью своей густой листвы. Под ним виднелась еще одна

* Ч и й — высокий, растущий пучками злак среднеазиатских степей.

высокая палатка. Усольцев посмотрел на нее и отвернулся с привычным ощущением грусти.

— Ребята не вернулись еще, Арслан?

Старообразный рабочий-уйгур, мешавший плов в большом казане, подбежал к лошади.

— Я сам расседлаю, а то пригорит у тебя плов... Есть не хочу, жарко...

Узкие темные глаза уйгура внимательно взглянули на Усольцева.

— Наверно, опять Ак-Мюнгуз* ездил?

— Нет...— Усольцев чуть-чуть покраснел.— В ту сторону, но мимо.

— Старики говорят — Ак-Мюнгуз даже орел не садится: он острый, как шемшир**,— продолжал уйгур.

Усольцев, не отвечая, разделся и направился к ручейку. Холодная прозрачная вода дробилась на острых камнях и издалека казалась лентой измятого белого бархата. Звонкое переливчатое журчание было исполнено отрады после мертвых, раскаленных долин и свиста ветра.

Усольцев, освеженный умыванием, улегся в тени под зонтом, закурил и погрузился в невеселые думы...

Сознание поражения отравляло отдых, вера в себя пошатнулась. Усольцев пытался успокоить свою совесть размышлением о признанной недоступности Белого Рога, но это ему не удалось. Глубоко задетый своей неудачей, он невольно потянулся к той, которая уже давно была его неизменным другом, но только... в мечтах.

Сегодняшняя неудача надломил волю. Вопреки давно принятому решению, Усольцев поднялся и медленно пошел к высокой палатке под карагачем. Он вспоминал недавний разговор.

«Что пользы говорить об этом? — сказала она.— Все давно глубоко запрятано, покрылось пылью...» — «Пылью?» — гневно спросил Усольцев и ушел, не сказав ничего, чтобы не возвращаться больше. Это было два года назад, а теперь работа снова нечаянно свела их вместе: она заведовала шлиховой партией, обследовавшей район его съемки. Уже больше двух недель палатки обеих партий стоят рядом. Но она так же далека и недостижима для него, как... Белый Рог.

* Ак-Мюнгуз — Белый Рог (уйгурск.).

** Шемшир — меч.

И вот он, избегавший лишних встреч, обменивавшийся с ней только необходимыми словами, идет к ее палатке. Еще одно поражение, еще одно проявление слабости...

— Ну, все равно!..

На ищике у палатки сидела и шила полная девушка в круглых очках. Она дружелюбно приветствовала Усольцева.

— Вера Борисовна в палатке? — спросил геолог.

— Да, читает запоем весь день.

— Иходите, Олег Сергеевич, — раздался из палатки мягкий, чуть насмешливый голос. — Я узнала вас по походке.

— По походке? — переспросил Усольцев, откидывая полу входа. — Что вы нашли в ней особенного?

— Она у вас такая же угрюмая, как и вы сами!

Усольцев вспыхнул, но сдержался и осторожно заглянул в строгие серые, с золотыми искорками глаза.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось, — поспешно проговорил Усольцев. — Вы ведь скоро уезжаете, я и зашел вас прощать на прощание.

— А у меня сегодня был день приятного безделья. Мои поехали в Подгорный за почтой. Управление телеграфировало еще на прошлой неделе об изменении дальнейшего плана. Должны прислать подробное распоряжение. Работа здесь кончена, и мы на отлете... Вот прекрасная книга, прислали по почте. Я весь день читала. Завтра тоже отдых, а там — в новые места, скорее всего на Кегень. Жаль, что здесь все было так неудачно. Нашли несколько кристаллов касситерита... и все. А месторождение, когда-то бывшее наверху, давно разрушено, снесено!

— Да, если бы уцелели более высокие вершины, — согласился Усольцев.

— Только Белый Рог, — вздохнула Вера Борисовна. — Но он неприступен, а сверху ничего не падает: должно быть, очень крепкая порода. Мой совет — просите сюда пушку, чтобы отбить кусок Рога, а то плохо ваше дело: секрет останется неразгаданным, — весело закончила она.

Усольцев протянул руку к лежавшей на чемодане книге.

— «Восхождение на Эверест». Вот чем вы зачитывались весь день!

— Чудесная книга! На ее страницах лежит отблеск вечных гималайских вершин. Меня захватила... как бы вам сказать... не самая атака Эвереста, а постепенное внутреннее восхождение, которое проделали в душе — каждый — главные участники атаки. Понимаете, борьба человека за то, чтобы стать выше самого себя.

— Я понимаю, что вы имеете в виду, — ответил Усольцев. — Но ведь они так и не поднялись на самую вершину Эвереста?

Глаза Веры Борисовны потемнели.

— Да, с вашей точки зрения, это было поражением. Они сами признавали это. «Нам нет извинения, мы разбиты в этом честном сражении, побеждены высотой горы и разреженностью воздуха», — прочитала Вера Борисовна, взяв книгу из рук Усольцева. — Разве этого мало — выбрать себе высокую, невероятно трудную цель, пусть несоразмерную с вашими данными? Вложить всего себя в ее достижение. Я так ясно представляю себе Эверест! Роковая обнаженная, скалистая гора. На той недоступной вершине ужасные ветры, даже снег не держится. Вокруг — страшные пропасти. Рушатся ледники, скатываются лавины. И люди упорно ползут наверх, вперед... Если бы мы могли почаще ставить себе подобные завоеванию Эвереста цели!

Усольцев молча слушал.

— Но ведь только единицы способны на такие подвиги! — воскликнул он. — И Эверест, в конце концов, он тоже только один в мире.

— Неправда, это просто неправда! У каждого могут быть свои Эвересты. Неужели вам нужны примеры из нашей жизни? А война — разве она не дала героев, поднявшихся выше своих собственных сил!

— Но тот, настоящий Эверест, он безусловен для всех и каждого, — не сдавался Усольцев, — а в выборе своего Эвереста можно ведь и ошибиться.

— Это вы хорошо сказали! — воскликнула Вера Борисовна. Она насмешливо посмотрела на Усольцева. — В самом деле, представьте себе, вы вкладываете все, что у вас есть, в Эверест, а на деле это оказывается маленькая горушка... ну, хоть вроде этих наших. Какой жалкий конец!

— Вроде этих наших? — вздрогнув, переспросил Усольцев.

И в тот же момент с потрясающей отчетливостью вспомнил, как всего несколько часов назад он распластался на крутом каменистом откосе, по которому, как дробь, катились мелкие угловатые кусочки щебня. Пытался удержаться, он прижимался к склону всем телом. Чувствовал, что при малейшем движении вниз или вверх он неминуемо сорвется со стометрового обрыва. Как медленно текло время, пока он, собирая всю волю, боролся с собой и наконец, решившись, толчком бросился в сторону, пошатнулся, перевернулся и повис, вцепившись скрюченными пальцами в трещины камня.

Одинокая молчаливая борьба в смертной тоске...

Усольцев вытер выступивший на лбу пот и, не прощаясь, ушел...

* * *

Четыре головы склонились над придавленной камешками картой. Палец прораба царапал бумагу слованным ногтем.

— Сегодня мы дошли наконец до северо-восточной границы планшета. Вот здесь эта долина, Олег Сергеевич. Там опять сброс, впритык стоят древние диориты. Следовательно, конец нашего островка метаморфической толщи* — последняя точка.

Прораб начал развязывать мешочки, торопясь до темноты показать образцы.

Усольцев разглядывал изученную до мельчайших подробностей карту. За извивами горизонталей, стрелками, за цветными пятнами пород и тектоническими линиями перед геологом вставала история окружающей местности. Совсем недавно — что такое миллион лет по геологическим масштабам! — низкое, ровное плоскогорье расколосось гигантскими трещинами, вдоль которых большие участки земной коры задвигались, опускаясь и поднимаясь. На севере образовался провал; теперь там, в этой котловине, течет река Или и расстилается широкая степь. К югу от того места, где стоят их палатки, поднимается

* Метаморфическая толща — пласты осадочных пород, измененных влиянием давления и температуры в более глубоких слоях земной коры.

уступами хребет, как гигантская лестница. На самых высоких уступах работа воды, ветра и солнца разрушила ровные ступени, образовав беспорядочное скопище горных вершин. Верхние пласты на этих горах снесены. Они рассыпались и легли рыхлыми песками и глинами на дно низкой котловины. Но вот этот первый уступ должен хранить под покровом наносов те породы, которые исчезли на горах: его поверхность не подвергалась размыву. Если бы пробить верхний покров уступа шурфом или шахтой — ведь он не более тридцати метров толщины! Но для того чтобы предпринять такую работу, нужно знать хотя бы приблизительно, что обещает исчезнувшая на горах верхняя толща. Ответ на этот вопрос может дать только Белый Рог: на его неприступной вершине уцелел маленький островок верхних слоев. Граница между темными метаморфическими породами и загадочным белым острием видна совершенно отчетливо — падение в сторону сброса. Следовательно, нет сомнения, что в опущенном участке эта белая порода полностью сохранилась. А гора словно заколдована: сколько ни искал он в осыпях разрушенной породы у ее подножия, он не смог найти ни одного куска, отвалившегося от Рога... Какая-то вечная, несокрушимая порода слагает белый зубец! Но ведь именно у подножия Ак-Мюнгуса были найдены два огромных кристалла касситерита — оловянного камня...

Нет, тайну Белого Рога надо раскрыть во что бы то ни стало! Только на этой вершине лежит ключ к рудным сокровищам, погребенным снизу. Олово! Как нужно оно нашей стране! Это ясно сознает он, геолог. Значит, геолог и должен сделать то, чего не могут другие — те, кто не понимает всей важности открытия.

Уставшие за день помощники Усольцева быстро заснули. Чистый холодный воздух опускался на теплую землю. Лунный свет струился зеленоватыми каскадами по темным обрывам. Усольцев лежал в стороне от палаток, подставляя ветру горящие щеки, и старался уснуть.

Он снова переживал неудачную попытку восхождения на Белый Рог. Он считал чудом свое спасение от неминуемой гибели и в то же время знал, что еще раз повторит попытку.

«Теперь же, на рассвете! — решил он. — Пока не зашла луна, нужно достать зубила».

Усольцев встал, осторожно пробрался между веревками палаток к ящику со снаряжением и, стараясь не шуметь, принялся рыться в нем.

От дальней палатки послышалось тихое пение. Усольцев прислушался: пела Вера Борисовна.

«Узнаешь, мой княже, тоску и лишения, великую страду, печаль...» — тихо разносился голос по выбеленной луной степи.

Усольцев захлопнул ящик и вернулся на свое место.

«Нет, подожду немного, пока не уедет. Если разобьюсь, еще подумает что-нибудь... Будто я из-за нее полз... Тут еще этот разговор об Эвересте... Хорош Эверест — в триста метров высоты!»

* * *

— Куда мы сегодня поедем, Олег Сергеевич? — спросил Усольцева прораб.

— Никуда — планшет окончен. Даю вам два дня на приведение в порядок съемки и лекций. Потом поедете в Киргиз-Сай за подводой.

— Значит, переберемся поближе к границе?

— Да, в Такыр-Ачинохо.

— Это хорошо, там места куда лучше: горы повыше и рощицы есть, не то что здешнее пекло. А вы сегодня будете отдыхать?

— Нет, проедусь вдоль главного сброса.

— К Ак-Мюнгuzu?

— Нет, немного дальше.

— Знаете, я забыл вам сказать. Когда я был в Ак-Таме, мне рассказывали, что на Ак-Мюнгуз пробовали избираться альпинисты. Приезжали какие-то спецы из Алма-Аты...

— Ну и что? — с нетерпением перебил Усольцев.

— Признали Белый Рог абсолютно неприступным.

* * *

Облако пыли поднималось за ржым иноходцем. Усольцев ехал изучать непобедимого противника. Белый Рог повис над ним всей своей выдвинувшейся в степь громадой, словно чудовищный бык, старающийся подняться из захлестнувших его волн каменного моря. Прямо к подножию горы ветер накатывал клубки сухих колючих

растений. Здесь когда-то зияла трещина, здесь терлись друг о друга два передвигавшихся горных массива. Следы этого трения остались на груди утеса, поблескивая полированным камнем. Темно-серые и шоколадные метаморфические сланцы, пересеченные тонкими жилами кварца, были наклонены внутрь горы и образовали мелкослоистую поверхность обрыва — стену из тонких, плотно уложенных плиток. Как ни напрягал свое воображение Усольцев, но ни малейшей надежды подняться вверх хотя бы на полсотни метров с этой стороны Ак-Мюнгуса не было. Восточный отрог горы представлял собою острое, как нож, ребро, глубоко выщербленное в середине. Нет, единственный путь — с юго-западной стороны, из долины, отделяющей Белый Рог от других вершин, там, где Усольцеву уже удалось подняться почти на сто метров, то есть на треть высоты страшной горы. До вершины оставалось еще двести метров, и каждый из них был неприступен.

Закинув голову, Усольцев смотрел на острие горы.

Если бы иметь специальное снаряжение, крючья, веревки, опытных товарищей... Но где же взять все это? Альпинисты и те отказались от подъема на Белый Рог.

Усольцев повернул коня и поехал вокруг Ак-Мюнгуса к устью сухой долины. «Эверест, Номиомо, Макалу, Кангченгюнга — высочайшие пики Гималаев, — думал он, — Что Гималаи? Совсем близко отсюда светящийся голубой Хан-Тенгри, алмазные зубцы Сарыджаса. Красивые, грозные снежные вершины. Мир прозрачного воздуха, чистого света. Все это как-то невольно настраивает на подвиг. А здесь — низкие, угрюмые, осыпанные обломками горы, тусклое, лиловое от жары небо, пыль и дрожащее степное марево... Нет, не нужно преувеличивать, и этот ветреный палящий простор тоже прекрасен, и в этих обломках старых, полуразваленных гор есть свое особенное, грустное очарование. Даже на висящих у горизонта бледных, простых по очертаниям облаках тоже печать сухой, грустной Азии, страны обнаженного камня и высокого, чистого неба».

В душном зное долины душу окутала тень пережитого здесь... Вот этот столб пегматитовой жилы, похожей на рваное мясо, пересекающей темную массу сланцев... По выступам этого столба с серебряными зеркальцами слюды он тогда добрался до идущей нанкось второй жилы. Но дальше — дальше пути не было. Он попытался ползти по крутому склону, извиваясь, как червяк.

Склон оказался покрытым мелкими кусочками щебня, натившимися от малейшего прикосновения, как дробь, и не дававшими ни малейшей опоры. Здесь чуть было и не произошла катастрофа...

Усольцев спешил и поднялся на противоположный склон долины. Нет, ничего не выйдет, не обойдешь вот эту крутизну. Если бы одолеть северо-западное ребро, то оттуда почти до самого Рога ровная поверхность склона. А какими силами удержишься на ребре? Кто спустит веревку с самого пика? Усольцев проследил взглядом за протянутым мысленно канатом и вдруг заметил у основания белого зубца небольшую площадку, порнее, выступ нижних черных пород, примыкающий к отвесной белой стенке. Поверхность площадки понижалась к зубцу и почти не была видна снизу.

«Странно, как я раньше не видел этой площадки? Правда, сейчас она не имеет значения: добраться до нее — это значит добраться до зубца».

Усольцев устал стоять и, найдя удобный выступ, уселся, не спуская глаз с горы.

* * *

— Какой прохладный вечер! — Прораб лениво развалился на кошке в ожидании чая.

— Так бывает на середине луны, — пояснил Арслан. — Потом пять дней дует сильный ветер оттуда. — Уйгур махнул рукой в сторону Или. — Бывает совсем холодно.

— Отдохнем от жары перед отъездом. Верно, Олег Сергеевич?

Усольцев молча кивнул.

— Товарищ начальник какой стал: сидит, молчит. Раньше почему был другой? — Уйгур засмеялся мелким смешком, но глаза остались серьезными. — Я понимаю, начальник Ак-Мюнгуз любит. Скоро ехать Ачинохо, как бросать будет? Баба лучше — собой тащить можно. Ак-Мюнгуз нельзя!

Молодежь расхохоталась; невольно улыбнулся и Усольцев. Ободренный успехом шутки, Арслан продолжал:

— У нас старый сказка есть, как один батур влез на Ак-Мюнгуз.

— Что ж ты раньше не говорил, Арслан? Расскажи! — воскликнул с интересом прораб.

— Джажши, чай готовлю, потом буду рассказать,— согласился Арслан.

Старый уйгур поставил на кошму чайник, вытащил пиалы, лепешки, уселся, скрестив ноги, и, прихлебывая чай, начал рассказ.

Несмотря на ломаную русскую речь уйгура, Усольцев слушал с жадным вниманием. Воображение его наделяло легенду яркими, горячими красками. Такой она, вероятно, и была на самом деле у этих поэтических жителей Семиречья.

Усольцева поразило, что, по словам уйгура, все это произошло сравнительно недавно — лет триста назад. Легенда так отвечала его собственным мыслям, что геолог не переставал думать о ней, когда все улеглись спать. Сон не шел. Усольцев лежал под яркими, близкими звездами, вспоминая рассказ Арслана и дополняя его новыми подробностями.

...Всей этой областью владел могучий и храбрый хан. Его кочевой народ обладал многочисленными стадами, постоянно умножавшимися благодаря удачным набегам на соседей. Однажды хан предпринял с большим отрядом далекое путешествие и дошел до Таласа. Недалеко от древних стен Садыр-Кургана хан наткнулся на целую орду свирепых джете*. Завязался кровопролитный бой. Джете были разбиты и бежали. Хану досталась богатая добыча. Но больше всего радовался хан одной из пленниц, женщине необыкновенной красоты, возлюбленной побежденного предводителя. Она была похищена джете в Ферганской долине, на пути из какой-то далекой страны к своему отцу, служившему при дворе могущественного кокандского повелителя. Ее красота, совсем иная, чем у здешних женщин, околдовывала и зажигала сердца мужчин. Хан привез пленницу к родным горам, и здесь она, по древнему обычаю, стала любимой наложницей его и двух его старших сыновей.

Прошло два года. Снега уже высоко поднялись на склонах гор, когда хан раскинул свой лагерь у края зеленой глади Каркаринской долины. К нему съезжались на пир владыки соседних дружественных племен. Все большее количество юрт выросло на равнине.

Неожиданно к хану прибыл высокий мрачный воин.

* Джете — в древности так назывались крупные разбойничьи отряды или племена.

Он приехал совершенно один, не на коне, а на огромном белом верблюде с короткой, мягкой, как шелк, шерстью. Странен был и наряд его: лицо обвязано черным платком, на голове — золоченый плоский шлем со стрелой, широкая кольчуга спадала почти до колен, обшитая и стянутая черными ремнями. Меч, два кинжала, маленький круглый щит и большой топор на длинной рукоятке были его вооружением. Приезжий потребовал, чтобы его провели к хану. Неторопливо сложил он на белую кошму свое оружие, опустил на шею платок, открывавший лицо, почтительно и смело поклонился властелику.

Его суровое лицо было отмечено следами большого и тяжелого жизненного пути — пути воина и начальника, пути храбреца, неспособного на низкие поступки. Хан невольно залюбовался чужеземцем.

— Великий хан, — сказал приезжий, — я приехал к тебе из далекой жаркой страны, где страшный пламень солнца жжет мертвые пески на берегах горячего Красного моря. Трудны были мои поиски. Целый год блуждал я по горам и долинам от Коканда до синего Иссык-Куля, пока слухи и рассказы не привели меня к тебе. Скажи, у тебя ли находится девушка, прозванная нами Сейдюрш, взятая у джете Таласа?

Хан утвердительно кивнул, и воин продолжал:

— Эта девушка, хан, моя нареченная невеста, и я поклялся, что никакие силы неба и ада не разлучат меня с нею. Три года воевал я на границах Индии и в страшной пустыне Тар, вернулся и узнал, что родные, не дождавшись меня, послали ее к отцу. Снова пустился я в далекий и опасный путь, сражался, погибал от жажды и голода, прошел множество чужих стран — и вот я здесь, перед тобою. Быстро мчится река времени по камням жизни. Я уже не молод, но все по-прежнему бесконечно сильна моя любовь к ней. Скажи, о хан, разве не заслужил я ее этим трудным путем? Верни мне ее, могущественный повелитель, — я знаю, не может быть иначе: она тоже долго и верно ждала моего возвращения.

Легкая улыбка пробежала по лицу хана. Он сказал:

— Благородный воин, будь моим гостем. Остайся на пир, сядь в почетном ряду. И после, вечером, тебя проведут ко мне, и сбудется, что начертал аллах.

Суровый воин принял приглашение. Веселье гостей возрастало. Наконец появились певцы. После любимой

песни хана о горном орле зазвучали песни, восхваляющие Сейдюрюш, возлюбленную хана и его сыновей. Хан украдкой взглядывал на чужеземца и видел, как все больше мрачнело лицо воина. Когда старый певец—гордость народа—пропел о том, как любит и ласкает Сейдюрюш своих повелителей, чужой воин вскочил и крикнул старику:

— Замолчи, старый лжец! Как смеешь ты клеветать на ту, у которой недостойн даже ползать в ногах?

Ропот негодования пронесся по толпе гостей. Старшие вступились за оскорбленного певца. Пылких юношей возмутило презрительное высокомерие воина. Двое джигитов яростно бросились на чужеземца. Сильной, не знающей пощады рукой он отбросил нападавших, и вот на пиру хана засверкали мечи. Воин огромным прыжком метнулся к своему оружию, схватил щит и длинный топор. Прижавшись спиной к стене, встретил толпу врагов. Они разбились о него, как волны о твердый камень, отхлынули, бросились вновь. Два, три, пять человек упали, обливаясь кровью, а воин был невредим. С быстротою молнии рубил он направо и налево, повергая лучших джигитов. Все более грозным становилось лицо воина, все страшнее удары его топора. Но тут хан властным окриком остановил нападавших.

Нехотя отступила разъяренная толпа, сжимая мечи. Опустил топор и чужеземец и стал перед лицом врагов, неподвижный и страшный, обогранный кровью.

— Чего хочешь ты, чья дерзкая самонадеянность пролила столько крови? — гневно спросил хан.

— Правды, — ответил воин.

— Правды? Хорошо. Так знай же, я, не сказавший никогда лживого слова, говорю тебе: все, что пели певцы, — истинная правда!

Вздрыгнув чужеземец, выронив топор и щит. Старым и измученным стало его лицо.

— Что же, ты по-прежнему просишь отдать ее тебе? — спросил хан.

Воин сверкнул глазами и выпрямился, как распрямляется согнутый арабский клинок.

— Да, хан, — был твердый ответ.

В жестокой усмешке оскалил хан зубы:

— Хорошо, я отдам ее тебе, но ты заплатишь за это дорогой ценой.

— Я готов, — бесстрашно ответил воин.

Хан задумался.

— Теперь год быка*,— обратился он к гостям.— Помните пророчество, написанное над входом древнего гумбиза, который стоит вблизи Ак-Мюнгуса? «В год быка кто положит свой меч на рог каменного быка, пронесет свой род на тысячи лет». Несколько храбрецов погибли, пытаясь выполнить эту задачу, но Ак-Мюнгус остался недоступным. Вот твоя плата, храбрец,— повернулся хан к неподвижно слушавшему воину,— поднимись на Ак-Мюнгус и положи мой золотой меч на его вершину, исполни древнее пророчество, и тогда — слово мое твердо! — ты получишь женщину.

Радость и страх охватили присутствующих. Приказ хана звучал смертным приговором.

Но чужеземец не дрогнул. Его мрачное лицо осветилось гордой улыбкой.

— Я понимаю тебя, хан, и выполню твою волю. Только знайте, ты, повелитель, и вы, его подданные: каков бы ни был конец — я сделаю это не ради своей любимой, не ради Сейдюрш. Я иду защищать поруганную ею честь своей гордой родины, вернуть в глазах вашего народа славу моей далекой страны. Милость всемогущего бога будет вести меня к высокой и славной цели!

По приказу хана оружейники принесли его знаменитый золотой меч, чтобы сохранился он навеки на вершине Ак-Мюнгуса. Залили салом волка ножны, обвили просмоленной тканью. Множество народа поехало к Ак-Мюнгусу. До него был целый день пути, и только к вечеру хан и его гости слезли с утомленных коней на широком уступе у подножия страшной горы. Хан приказал чужеземцу отдохнуть, и тот безмятежно проспал ночь под стражей воинов.

Наутро выдался хмурый, ветренный день. Словно само небо гневалося на дерзость храбреца. Ветер свистел и стонал, обвевая неприступную кручу Ак-Мюнгуса. Чужеземец разделся и, оставшись почти обнаженным, привязал к спине ханский меч, а сверху накинул свой широкий белый бурнус.

И он сделал то, чего не удавалось ни одному храбрецу за все время, пока стоит Ак-Мюнгус: он положил меч на вершину рога и спустился обратно. Шатаясь, стоял он

* Мусульманский календарь солнечного года имеет двенадцатилетний цикл, каждый год которого называется по имени животного.

перед ханом, весь изодранный, окровавленный. Хан сдержал слово — к чужеземцу привели Сейдюрюш. Она испуганно отшатнулась при виде его. Но воин властно привлек ее к себе, открыл ее прекрасное лицо и впился в него мрачным взглядом. Затем, мгновенно выхватив спрятанный за поясом острый нож, он пронзил сердце своей невесты. С яростным воплем сыновья хана бросились к чужеземцу, но отец гневно остановил их:

— Он заплатил за нее величайшей для человека ценой, и она его. Пусть уедет невредимым. Верните ему оружие и верблюда.

Чужеземец гордо поклонился хану, и вскоре его белый верблюд скрылся за далеким отрогом Кетменя...

* * *

Иноходец раскачивался под Усольцевым, копыта скользили по камням. Облака быстро бежали по небу, гонимые могучим напором ветра. Закрытые от солнца, горы выглядели суровыми и хмурыми.

Усольцев спешил и нежно погладил иноходца, поцеловал его в мягкую верхнюю губу. Затем оттолкнул голову лошади, хлопнул по крупу. Рыжий конь отошел в сторону и, изогнув шею, смотрел на хозяина.

— Иди пасись,— строго сказал ему Усольцев, чувствуя, как горло сдавливает волнение.

Геолог снял лишнюю одежду, привязал к руке молоток. Он был нужен для забивания зубил на твердом обрыве Белого Рога и потом — если удастся...

Усольцев сбросил ботинки. Острые камни скоро изрежут ему ноги, но он знал: если он влезет, то только босиком. Геолог повесил на грудь мешок с зубилами и двинулся к красному столбу пегматитовой жилы.

Окружающий мир и время перестали существовать. Все физические и духовные силы Усольцева слились в том губительном для слабых последнем усилии, достигнуть которого не часто дано человеку. Прошло несколько часов. Усольцев, сотрясаемый дрожью напряжения, остановился, прижавшись к отвесной каменной груди утеса. Он находился уже много выше места, откуда повернул направо при первой попытке. От главной жилы отходила тоненькая ветвь мелкозернистого пегматита, пересекавшая склон наискось, поднимаясь вверх и налево. Ее твердый верхний край едва заметно выступал из сланцев, об-

ризу карниз сантиметра в два-три шириной. По этой жилке можно было бы приблизиться к срезу западной грани горы там, где она переламывалась и переходила в обращенный к степи главный северный обрыв Белого Рога. Выше склон становился как будто не столь крут, и была надежда подняться по нему на значительную высоту.

Усольцев предполагал забить в трещинах сланцев мышью тонкой жилки несколько зубил и с их помощью удержаться на карнизе.

И вот, прилепившись к стене на высоте ста пятидесяти метров, геолог понял, что не может отнять от скалы на ничтожную долю секунды хотя бы одну руку. Положение оказалось безнадежным: чтобы обойти выступавшее ребро и шагнуть на карниз, нужно было ухватиться за что-то, а вбить зубило он не мог.

Распростертый на скале, геолог с тревогой рассматривал нависший над ним обрыв. В глубине души поднималось отчаяние. И в тот же миг ярко блеснула мысль: «А как же сказочный воин? Ветер... Да, воин поднялся в такой же бурный день...» Усольцев внезапно шагнул в сторону, перебросив тело через выступ ребра, вцепился пальцами в гладкую стену и... качнулся назад. С болью, будто разрываясь, напряглись мышцы живота, чтобы задержать падение. В ту же секунду порыв вырвавшегося из-за ребра ветра мягко толкнул Усольцева в спину. Схваченное смертью тело, получив неожиданную поддержку, выпрямилось и прижалось к стене. Усольцев был на карнизе. Здесь, за ребром, ветер был очень силен. Его мягкая мощь поддерживала геолога. Усольцев почувствовал, что он может двигаться по карнизу жилы, несмотря даже на подъем ее вверх. Он поднялся еще на пятьдесят метров выше, удивляясь тому, что все еще не упал. Ветер бушевал сильнее, давя на грудь горы, и вдруг Усольцев понял, что он может выпрямиться и просто идти по ставшему менее крутым склону. Медленно переставляя окровавленные ступни, Усольцев ощупывал ими кручу и сдвигал в сторону осыпавшуюся вниз разрыхленную корку. Медленно-медленно поднимался он все выше. Ветер ревел и свистел, щебень, скатываясь, шуршал, и Усольцева охватило странное веселье. Он словно парил на высоте, почти не опираясь на скалу, и уверенность в достижении цели придавала ему все новые силы. Наконец Усольцев уперся в гладкую отвесную стену высокого

цоколя. На этом цоколе, все еще на большой высоте, стремился в облака острый конец Рога. Усольцев отметил, что белая масса Рога вблизи казалась испещренной крупными черными пятнами. Но это впечатление сейчас же стерлось радостью при мысли о том, что все его двенадцать зубил сохранились неизрасходованными. Стена примерно на высоту десяти метров была настолько плотна и крута, что никакие силы не помогли бы ему преодолеть это препятствие. Опытный глаз геолога легко находил слабые места каменной брони — трещины кливажа*, места соприкосновения различных слоев. Усольцев забивал сюда зубила поглубже. Он взял с собой только самые тонкие и легкие зубила, а достаточно было одному из них сломаться, и...

Поднявшись по зубилам, геолог был вынужден перейти на южную сторону каменной башни. Головы слоев** образовывали небольшие уступы — возможность дальнейшего подъема. Здесь ветер, бывший до того верным союзником, стал опасным врагом. Только прикрытие скалы спасло Усольцева от падения под ударами ветра. Несколько раз геолог срывался с осыпавшихся выступов и долго висел на руках, обливаясь холодным потом и судорожно нащупывая пальцами ног опору. Все большее число смертоносных метров подъема уходило вниз. Наконец Усольцев в последних отчаянных усилиях, дважды соскальзывая и дважды мысленно прощаясь с жизнью, сумел опять переброситься на западную сторону вершины и, вновь подхваченный ветром, уцепился за края площадки у основания Рога. Не думая о победе, без мыслей, словно оглушенный, он подтянулся на руках и повалился на наклонную внутрь ровную поверхность величиной с небольшой стол. Он долго лежал, изнуренный многими часами смертельной борьбы, слыша только однообразный резкий вой ветра, разрезаемого острым лезвием Рога. Потом в сознание вошли низко летящие над вершиной облака. Усольцев поднялся на колени, повернувшись лицом к загадочной белой породе. Она была теперь перед ним, упиралась в его плечо, вздымалась еще на несколько метров вверх. Ее можно было ощупать рукой, отбить сколько угодно образцов.

* К л и в а ж — система трещин разной величины, пронизывающих породу.

** Г о л о в ы с л о е в — края наклонных слоев, срезанных обрывом или какой-либо поверхностью.

Достаточно было одного взгляда, чтобы распознать в белой породе грейзен — измененный высокотемпературными процессами гранит, переполненный оловянным камнем — касситеритом. В чисто белой массе беспорядочно мешались серебряные листочки мусковита*, жирно блестящие топазы, похожие на черных пауков «солнца» турмалинов и главная цель его предприятия — большие, массивные бурые кристаллы касситерита. Этот грейзен обладал особенностью, ранее неизвестной Усольцеву: от самого гранита почти ничего не осталось, его место занял молочно-белый кварц, очень плотный и крепкий.

«Похоже на полностью измененную пластовую интрузию**,— подумал Усольцев.— Если это так, то месторождение, скрытое под степью, внизу, может быть огромным».

Геолог взглянул вниз. Гора спадала круто и внезапно; основание ее тонуло в клубящейся пелене поднятой ветром пыли. Усольцев стоял как бы на невероятно высоком столбе, ощущая беспредельное одиночество. Ему казалось, что между ним и миром там, внизу, оборвалась всякая связь. И действительно, между ним и жизнью лежала еще не пройденная смертная грань; спуск был опаснее подъема. И еще он подумал о том, что, если ему суждено будет вернуться в жизнь, он вернется другим — не прежним. Сверхъестественное напряжение, вложенное им в достижение цели, как-то изменило его душу.

С усилием отбросив эти мысли, Усольцев принялся выполнять долг исследователя. Много труда стоило ему обнаружить тонкие, как ниточки, трещины в стекловидной слитности кварца. Вслед за этим под настойчивыми ударами молотка вниз с грохотом полетели крупные куски белой породы. Усольцев внимательно следил за их падением: они подскакивали на гранях горы и, свистя, летели в долину. Геолог отметил места их падения на плане, набросанном в записной книжке, затем аккуратно записал элементы залегания пород вершины, начертил контур предполагаемого месторождения и прибавил несколько слов о направлении дойсков,

Он открыл первую страничку и поперек нее крупно и четко написал: «Внимание! Здесь данные об открытом

* Мусковит — белая слюда.

** Пластовая интрузия — вторжение расплавленной лавы между слоями осадочных пород. После остывания сама изверженная порода залегает в виде пласта.

мною месторождении Белого Рога», положил книжку в карман и застегнул пуговицу. На секунду мелькнула картина: как поворачивают его разможенный труп, ищут в карманах документы... Усольцев невольно зажмурился, размотал взятую с собой веревку. Она была коротка, но все же ее должно было хватить на спуск по отвесному основанию Рога до вбитых им зубил.

«Где же закрепить веревку? Вот за этот выступ? Выгоднее бы пониже, на самой площадке...»

В поисках трещины геолог начал разрывать молотком тонкий слой щебня. Ветер выл все сильнее, подхваченные им исколки щебня ударяли по лицу и рукам Усольцева. Молоток вдруг звякнул о металл, и этот тихий звук потряс геолога. Усольцев вытащил из-под щебня длинный тяжелый меч, золотая рукоять которого ярко заблестела. Истлевшие лохмотья развеялись вокруг ножен. Усольцев оцепенел. Образ воина — победителя Белого Рога из народной легенды — встал перед ним как живой. Тень прошлого, ощущение подлинного бессмертия достижений человека вначале ошеломили Усольцева. Немного спустя геолог почувствовал, как новые силы вливаются в его усталое тело. Будто здесь, на этой не доступной никому высоте, к нему обратился друг со словами ободрения. Усольцев накинул веревочную петлю на небольшой выступ белой породы. Осторожно поднял драгоценный меч, крепко привязал его за спину и, улыбаясь, положил на площадку свой геологический молоток...

У основания отвесного фундамента Белого Рога геолог остановился, выбирая путь. Прямо на Усольцева, гонимое ветром, двигалось облако. В полете огромной белой массы, свободно висевшей в воздухе, было что-то неизъяснимо вольное, смелое. Страстная вера в свои силы овладела Усольцевым. Он подставил грудь ветру, широко раскинул руки и принялся быстро спускаться по склону, стоя, держа равновесие только с помощью ветра, в легкой радости полета. И ветер не обманул человека: с ревом и свистом он поддерживал его, а тот, переступая босыми ногами, пятная склон кровью, спускался все ниже. С бредовой невероятной легкостью Усольцев достиг узкого карниза, миновал и его. Тут ветер угас, задержанный выступом соседней вершины, и снова началась отчаянная борьба. Усольцев скользил по склону, раздирая тело, кроша ногти, переворачивался, задерживался, снова сползал. Сознание окружающего исчезло совсем, ос-

талось только ощущение необходимости цепляться изо всех сил за каждый выступ каменной стены, судорожно искать под собой ускользающие точки опоры, с жуткой обреченностью прижиматься к камню, борясь с отрывающей от горы, беспощадно тянущей вниз силой. Никогда позже Усольцев не мог вспомнить конец своего спуска с Белого Рога. В памяти сохранился только самый последний момент. Больше не осталось ни сил, ни воли. Усольцев коснулся ногами острого выступа камня, качнулся назад, отпустил изодранные руки и полетел вниз...

* * *

...Он открыл глаза и увидел над собой золотое утреннее небо. В небе, совсем низко, так, что виднелись растопыренные перья крыльев, кружил большой гриф.

Усольцев долго смотрел на птицу, прежде чем сообщил, что гриф спустился на этот раз прямо к нему. Нет! Он не только не погиб — он победил Белый Рог, и гриф не властен над ним.

Усольцев попытался сесть. Что-то мешало ему. Геолог нащупал привязанный за спиной меч, освободился от него и сел. И сразу ему вспомнились переживания вчерашнего дня. У него закружилась голова. С ужасом увидел Усольцев свои обезображенные, почерневшие от крови ноги и руки, изодранную и перепачканную кровью одежду. Сделав несколько движений, он убедился, что кости целы. Тогда, не обращая внимания на рвущую боль в ступнях, геолог встал. Он услышал приветливое ржание своего коня и снова погрузился во мрак.

...Холодная вода лилась на лоб, попадала в рот. Усольцев глотал без конца, утоляя ненасытную жажду. Открыв глаза, он снова увидел над собой голубой небосвод, на этот раз уже дышавший дневным жаром, и испуганное лицо старого уйгура. Геолог поднялся на колени. Уйгур отступил от него с почтительным страхом.

— Чего ты боишься, Арслан? Я живой.

— Где ты был, начальник? — спросил Арслан.

— Там! — Усольцев поднял руку к небу. Над долиной торчал черный с теневой стороны выступ Ак-Мюнгуса. — Вот, смотри! — Он протянул уйгуру меч с золотой рукояткой.

Половина ножен отвалилась при спуске, из-под расгрескавшейся бурой корки блестела драгоценная голубая

сталь — сталь легендарных персидских оружейников, секрет изготовления которой ныне утрачен.

Старик опустил на колени, не притрагиваясь к мечу.

— Что же ты? Бери, смотри, — повторил геолог.

— Нет, — затряс головой уйгур, — никакой человек не смеет брать такой шемшир, только батуры, как ты...

* * *

Два больших шарообразных карагача, веером расходясь из одного корня, стояли на краю поселка. За ними поднимался затянутый голубой дымкой вал Кетменского хребта. Иноходец Усольцева миновал последний поросший полынью холм. Узенькая степная тропа влилась в мягкую пыль наезженной дороги. Дорога поворачивала налево и у края зеленых садов соединялась с другой, направлявшейся на юг мимо промоин и обрывов красных глин. Над ней вздымалось облачко желтой пыли — крытая циновкой подвода катилась из Подгорного. Кто-то ехавший по краю дороги верхом вдруг повернул коня и понесся обратно, наперерез Усольцеву. Геолог натянул поводья. К нему подъехала Вера Борисовна.

— Я вас узнала издали.— Она внимательно присматривалась к нему.— Куда вы едете?

— Я еду в управление. Нужно немедленно организовать тяжелую разведку Белого Рога.

Усольцев впервые смотрел на нее спокойно и смело.

— Я поняла, что совсем не знаю вас...— негромко сказала Вера Борисовна, сдерживая пляшущую лошадь.— Я видела вашего Арслана...— Она помолчала.— Когда встретимся осенью в управлении, я буду очень просить вас подробно рассказать о Белом Роге... и золотом мече... Ну, мои уже далеко.— Она поглядела вслед подводе.— До свидания... батур!

Молодая женщина прищипорила коня и умчалась. Геолог проводил ее взглядом, тронул иноходца и въехал в поселок.

ТЕНЬ МИНУВШЕГО

— Наконец-то! Вечно вы опаздываете! — весело воскликнул профессор, когда в его кабинет вошел Сергей Павлович Никитин, молодой, но уже широко известный своими открытиями палеонтолог. — А у меня сегодня были гости. Прямо с сельскохозяйственной выставки. Два знатных чабана из восточных степей. Вот и подарок на уважения к ученым. Смотрите: дыня, большущая, желтая... и как пахнет! Давайте ее вместе того... за здоровье знатных пастухов.

— Вы меня за этим и звали, Василий Петрович?

— Уж очень вы нетерпеливы, молодой человек! Повернитесь-ка налево, вот к этому столику...

Никитин быстро подошел к маленькому столику в углу кабинета.

На сером картоне были аккуратно разложены гладкие темно-коричневые обломки крупных ископаемых костей. Палеонтолог схватил лежавшую слева кость, постучал по ней ногтем, повернул другой стороной. Поочередно пересмотрел все восемь кусков, тяжелых и плотных, пропитанных кремнием и железом.

Многолетняя практика в анатомии скелета давала возможность сразу же мысленно дополнять, восстанавливать недостающие части костей и за их характерной формой угадывать полный скелет вымершего животного.

— Ну, теперь я все понимаю, Василий Петрович. На костях темная полированная корка — пустынный загар*. Значит, чабаны их собрали прямо с поверхности, в пустыне... Василий Петрович, ведь это динозавры! Такой сохранности! Это первая находка в Союзе. Нужно что-то сделать, чтобы отблагодарить этих чабанов.

* Пустынный загар — блестящая черная корка, которой покрываются долго находящиеся на поверхности в пустыне камни, даже кирпичи в развалинах старых городов.

— Вы думаете — премию? Да они, мой дорогой, богаче всех нас! Спрашивали, не нужно ли нам чего от их колхоза... Нет, тут чистый интерес к науке. Они завтра придут опять — хотя с вами встретиться и еще принесут какое-то сыляу*. Ну-ка давайте дыньку разрежем да рассудим на досуге.

С ломтем ароматной дыни в руке Никитин присел на корточки перед огромной картой на стене кабинета, вглядываясь в левый нижний угол, испещренный мелкими точками — знаком грозных песков.

Старый ученый перегнулся с кресла, следя за пальцем Никитина.

— Это огромное поле костей динозавров примерно здесь, — говорил палеонтолог. — Триста пятьдесят километров от родников Талды-сай. Поблизости — колодцы Биссекты. Ехать придется песками до бугров Лайили. Дальше — каменистая пустыня и местами степь.

Ослепительный солнечный свет, отражаясь от белых стен низких построек, с непривычки резал глаза. Никитин, болезненно щурясь, шел через просторный двор товарной станции по мягкому ковру желтой пыли.

Три новенькие автомашины уже выехали из ворот и стояли гуськом у края дороги, поджидая начальника. Высоко горбились их белые брезентовые верха, на светло-сером, еще блестящем лаке уже лежала красноватая пудра пыли. Вдоль дороги, в ту же сторону, куда были повернуты машины, по крупным камням широкого арыка, журча, стремилась чистая вода, словно смеясь над зноем и пылью. И в тон ей тихо гудели на малых оборотах заведенные моторы машин.

Никитин сел в кабину передней машины. Хлопнула дверца; косым столбом взвилась и зазолотилась пыль. Машины пошли в город белых домов и зеленых аллей, раскинувшийся у северного склона опаленных солнцем холмов.

Никитин, возвращаясь с позднего заседания, медленно шел вдоль тихо шепчущего арыка. У домов, под густой листвой деревьев, стало темно.

Прямо перед ним выскользнула из тени аллеи, легко

* С и л я у — дружеский дар в Средней Азии.

перескочила арык и пошла по дороге девушка в белом платье. Голые загорелые ноги почти сливались с почвой, и от этого казалось, что девушка плывет по воздуху, не касаясь земли. Толстые черные косы, резко выделяясь на белой материи, тяжело лежали на ее спине и спускались до бедер своими распушившимися концами.

Глядя на быстро удалявшуюся фигурку, Никитин остановился, поддавшись минутной задумчивости, потом шагал быстрее и скоро очутился у больших дощатых ворот приютившего экспедицию дома.

На обширном дворе, освещенном электричеством, Никитин увидел всех участников своей экспедиции, собравшихся у машин. Люди весело смеялись над чем-то, даже угрюмый старший шофер добродушно ухмылялся.

К Никитину быстро подошла черноглазая Маруся, препаратор экспедиции, на днях выбранная парторгом.

— Где вы пропадаете, Сергей Павлович? Мы собрание решили провести, а вас нет. Ждали, ждали, да как-то само собой и началось.

— Веселое собрание! — улыбнулся Никитин.

— Все из-за названий машин, — отозвалась Маруся.

— Каких названий?

— Вы знаете, мы решили начать соревнование между экипажами машин. А тут Мартын Мартынович предложил: для удобства дать имя каждой машине.

— И на чем же порешили?

В разговор вмешался Мартын Мартынович, пожилой латыш в круглых очках, специалист по раскопкам.

— Вашу назвали «Молния», а две другие — «Истребитель» и «Динозавр».

Мощный гудок в три тона раздался на улице: в воротах вспыхнули и снова погасли фары черного «ЗИЛа».

Никитин пошел навстречу секретарю обкома, с которым уже встречался по делам экспедиции.

— Недурно устроились, — огляделся тот. — Когда же в дорогу?

— Послезавтра.

— Отлично, товарищ Никитин! А у меня к тебе просьба... — Секретарь сделал паузу. — Я прямо с заседания... Там, как раз у Биссекты, оказывается, есть месторождение асфальта. Необходимо исследовать. Мои геологи настаивают... Короче, нужно захватить сотрудника из Геологического управления...

Никитин озабоченно нахмурился. Секретарь взял его под руку, и оба пошли в глубину двора.

— Как будто все?

— Все, Сергей Павлович. Можно приступать к погрузке.

— Действуйте вместе с Мартыном Мартыновичем. На нашу «Молнию», передовую, — горючее и инструменты, на «Динозавра» — горючее, доски и оборудование лагеря, на «Истребителя» — воду, продукты и резину.

В низкую открытую дверь врывалось знойное дыхание дня. Никитин собирал в сумку разбросанные по столу бумаги, торопясь на телеграф.

— Можно? — раздался со двора мягкий женский голос.

В слепящем ярком четырехугольнике двери возник стройный черный силуэт, обведенный горящим ореолом по освещенному краю белого платья. Пришедшая слегка наклонилась, вглядываясь в полумрак комнаты, и перед Никитиным мелькнули вчерашние черные косы. Так вот о каком геологе говорил секретарь!

Смутное предчувствие чего-то хорошего заставило забиться сердце Никитина. Он поднялся навстречу гостье, державшей в руке небольшой чемоданчик, и знакомство состоялось.

— Мириам... а дальше как? — спросил палеонтолог.

— Нургалиева. Но достаточно Мириам, — улыбнулась девушка.

— Так вас не пугает, Мириам, что экспедиция наша трудная и далекая?

Черные глаза насмешливо блеснули.

— Нет, не пугает. Ваша экспедиция так снаряжена... Вчера диспетчер заявил мне, что эта поездка может заменить путевку на курорт.

— Ну хорошо. — Никитин протянул ей руку. — Выбирайте себе машину, какая понравится.

— Мне, если можно, на «Истребитель», к Марусе, — попросила девушка.

— Как это женщины успели сговориться? — рассмеялся палеонтолог, выходя во двор вместе с Мириам. — Да, — спохватился он, — ведь я, собственно, с вами познакомился еще вчера вечером, на улице Энгельса...

Он поклонился и пошел к воротам, а девушка недоуменно посмотрела ему вслед.

Машины шли гуськом, раскачиваясь и ныряя по бездорожью. Сероватая плоская степь, поросшая полынью, сторала под высоким солнцем. Однообразным, бескрасочным было блеклое грозное небо без единой тучки, тяжело нависшее над равниной. Четыре дня ровно шумели моторы. Несмотря на медленный ход машин, экспедиция удалилась на четыреста километров от белого города и железной дороги.

На протяжении четырехсот километров, развертываясь, высокие барханы песков сменялись каменистыми холмами, ровной полянкой степью, желто-белыми солончаками.

Надрывно скрежетали шестерни передач. Гудели моторы, черные круги рулей скользили в потных, усталых руках шоферов. И летели, летели легким сизым дымком в необъятную степь сотни литров драгоценного бензина.

Только один раз на этом пути, поздним вечером, из-за высоких холмов встало приветливое зарево электрического света — серный завод. А дальше лишь изредка попадались круглые войлочные юрты — временное жилье человека здесь, где вечно лишь неизменная и безликая пустыня...

Миновав завод, ехали долго, пользуясь яркой луной и последним участком сносной дороги. Гладкие такыры* блестели в лунном свете, как бесчисленные маленькие озера; машины ускоряли ход на их твердой поверхности. Ночью степь казалась таинственной и приветливой.

Никитин дал распоряжение остановиться на ночлег только тогда, когда машины снова начали нырять, вздымая густую пыль на кочковатой поверхности пухлых глин.

Ярко осветили бивак электрические лампочки, прикрепленные к задкам автомобилей. Но место ночлега оказалось неприветливым. Ноги проваливались, как в плотный снег, в кочковатую пыльную почву, из которой кое-где торчали хрупкие голые стебли какой-то высохшей травы.

Впереди, еле различимые за завесой лунного света, виднелись бугры Лайили — начало наиболее безводной каменистой пустыни, скрывающей в своей глубине кладбище ископаемых чудовищ.

* Такыр — участок степи, покрытый засохшей гладкой и твердой глиной, без растительности.

За бесконечными рядами бугров, усыпанных серым щебнем, особенно сильно чувствовалась оторванность от мира. В неисчислимых поворотах, объездах, спусках и подъемах экспедиция потерялась, словно ушла в небытие. Три серые машины миновали холмы и вышли на мертвую бескрайнюю равнину, занесенную тонким слоем мелкого песка. Над пустыней дрожала дымка разогретого воздуха, дрожащие струи которого скрывали и задушевывали неприглядный пейзаж.

Перед участниками экспедиции возникали манящие голубые озера, чудесные рощи, мерцающие вдали зубцы снежных гор. Иногда перед тупыми носами машин совсем близко плескалось море, легкие туманные волны взметывали белую пену... Через несколько минут на месте моря появлялись ряды белых домов, затененных густыми деревьями, похожие на оставшийся далеко на юге, за песками город. Да и очертания самих машин, такие строгие и отчетливые, расплывались, то удлиняясь до невероятных размеров, то, наоборот, росли в высоту и вздымались подобно исполинским слонам.

Темнело. В последний раз в багровых лучах заката показались высокие голубые и зеленые башни нового призрачного замка и исчезли.

«Молния», вздымая столбы пыли и далеко освещая равнину своими сильными фарами, продолжала путь во главе колонны — здесь можно было ехать и ночью. «Динозавр» и «Истребитель» отстали, чтобы не тонуть в скрывающей дорогу пыли, как это всегда делалось при езде по пыльной местности.

Равномерно шумел мотор, навевая сон. Никитин заснул, сидя в кабине, но был скоро разбужен резкими гудками шедшего позади «Динозавра». «Молния» остановилась; медленно подошли две другие машины.

— Что случилось? — спросил Никитин у водителя «Динозавра».

— Не могу ехать, товарищ начальник, — смущенно ответил шофер. — Мерещится разная чепуха...

— Что такое?

— Да ведь верно, Сергей Павлович, — поддержал шофера Мартын Мартынович. — Днем миражи видятся вдали, а сейчас — прямо под носом, ужас берет.

— Но я-то еду! — бросил старший шофер, водитель «Молнии».

— Ты едешь впереди, Владимир,— сказал подошедший шофер «Истребителя»,— а мы за твоей пылью. Фары на пыль светят, и черт-те что видится. Нельзя ехать.

— Чушь городите!— обозлился старший шофер.— Я знаю, иной раз на пыли мерещится, но чтобы ехать нельзя было...

— Попробуй сам. Давай я вперед поеду!— обиженно крикнул водитель «Динозавра».

— Ладно, давай,— угрюмо согласился старший.

Люди разошлись по кабинам, зажужжали стартеры. «Динозавр», покачивая высоким верхом, медленно миновал «Молнию» и исчез в туче пыли. Водитель «Молнии» подождал, пока пыль, осев, не начала золотиться редкими пылинками в лучах фар, и двинулся следом.

Заинтересованный, Никитин следил за дорогой, протерев ветровое стекло. Несколько километров они пролетели, ничего не встретив, и шофер начал насмешливо фыркать, что-то бурча себе под нос. Машина шла ровно, внимание стало ослабевать. Вдруг Никитин почувствовал, что водитель резко повернул руль и машина вильнула в сторону. Впереди отчетливо виднелась огромная крутая стена, обложенная белыми изразцами. Никитин изумленно протер глаза — по обе стороны коридора, проложенного светом фар, в кружащихся пылинках выстроились ряды высоких домов. Видение было так правдоподобно, что палеонтолог вздрогнул и тут же услышал злобное «тьфу» шофера.

Дома исчезли, степь разбежалась узором черных и желтых полос, а на дороге зияла черная трещина. Стиснув зубы, шофер вцепился в руль, стараясь преодолеть обман зрения. Несколько минут — и впереди выгнулся невероятно крутой сводчатый мост, совершенно ясно видимый, настолько реально, что Никитин тревожно повернулся к шоферу, но тот уже тормозил машину. Сзади раздавались настойчивые сигналы «Истребителя». Остановив машину, шофер покурил, промыл глаза, поднял стекло и упрямо двинулся дальше. И снова перед машиной вставали все новые пыльные призраки, пугающие, близкие и реальные. Нервное напряжение росло. «Молния» тормозила и вертелась в попытках избежать несуществующие препятствия, и, наконец, шофер застонал, плюнул и, остановив машину, стал сигналить «Динозавру» о сдаче. Когда улеглась пыль, подошел и давно уже остановившийся «Истребитель».

На стоянках безумный, призрачный мир исчезал. Ночь раздвигала горизонт в темную бесконечность. Огромные звезды спокойно светились, и привычные очертания созвездий радовали своей неизменностью. А днем в рокоте моторов и покачивании машин вновь мерцали и переливались фантастические видения. И все начинало казаться несуществующим.

Никитин очень обрадовался, когда из-за переливчатой стены очередного миража внезапно поднялись угрюмые черные контуры гор Аркарлы. Сперва их вершины долго держались на уровне пробки радиатора «Молнии», потом они стали быстро вырастать, закрывая собой весь горизонт на северо-западе. Проводник показал на испещренную трещинами гору, чей крутой передний склон имел очертания правильной трапеции. «Молния» немедленно направилась прямо к ней. Почва опять становилась неровной, вздымаясь каменными валами все выше.

Но вот наконец, крепясь на склоне, «Молния» сделала поворот, заскрипели тормоза, и машина медленно спустилась на обширную равнину — дно огромной древней межгорной впадины.

С запада угрюмо торчали темные утесы, обрывистые склоны восточных холмов были сложены ярко-красными песчаниками. В высоте над равниной медленно кружили два орла.

По указанию проводника экспедиция двинулась вдоль красных утесов к северу. Там, в месте стыка темных и красных пород, должен был находиться родник Биссекты с выкопанным в незапамятные времена колодцем.

Ровная поверхность долины была кое-где изборождена неглубокими промоинами и обильно усеяна гладкой галькой, покрытой пустынным загаром. Эти гальки придавали почве неестественно темный цвет, на фоне которого мириадами огоньков сияли на солнце бесчисленные кристаллы прозрачного гипса, рассыпанные между гальками. «Молния» повернула, обходя низкий обрыв красных пород.

— Стой, стой! — вдруг закричал Никитин и быстро выскочил из машины.

Следом за ним ринулись его верные помощники, тоже увидевшие ископаемых. Слева от пути машин лежали под углом друг к другу два больших ствола окаменевших деревьев. В ярком свете солнца отчетливо выступали их прямослойная древесина и следы сучьев. Вокруг стволов

и дальше к западу были разбросаны огромные кости с темной блестящей поверхностью.

Восхищенные исследователи рассыпались по равнине. С волнением они отыскивали все новые и новые скопища. Превосходно сохранившиеся кости гигантских ящеров покрывали большую часть долины. Палеонтологи с радостными восклицаниями бросались то в одну, то в другую сторону. Шоферы и рабочие заразились их энтузиазмом и приняли участие в осмотре, весело удивлялись необыкновенному зрелищу.

Только часть костей свободно лежала на поверхности, другие еще находились в темном песчанике и гальке. Кости торчали повсюду в промоинах, переполняли обнаженную на бугорках породу, громоздились целыми скоплениями.

Знатные пастухи были совершенно правы — они открыли невиданное по размерам кладбище гигантских умерших ящеров, где скопились остатки сотен тысяч разнообразных животных.

Странное впечатление производила эта раскаленная черная, безжизненная долина, заваленная исполинскими костями. Невольно на ум приходили древние легенды о битвах драконов, о могилах великанов, о скопищах погубленных потоком гигантов. И сразу становилось понятным возникновение этих легенд, несомненно имевших своей основой подобные открытые скопления огромных костей.

— Не прибавилось?

— Нет, Сергей Павлович.

— Нужно копать еще глубже.

— Глубже некуда, там пошла скала.

Никитин бросил записи, вскочил и устремился к роднику. Убедившись в правоте латыша, палеонтолог почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось. Скрывая страх, Никитин медленно пошел от лагеря к горам, чтобы поразмыслить наедине.

Страшное открытие пришло уже на вторые сутки их пребывания в долине: количества воды, даваемой родником Биссекты, не хватало для экспедиции. Если воды было достаточно для двух-трех путников с их верблюдами, ее было мало для большой экспедиции с рабочими и машинами. Может быть, родник был хорош сто лет назад, а теперь иссяк. Пришлось начать аварийный запас.

А вода на обратный путь? Нужно, бросив все, как можно скорее пробиваться на восток — в двухстах километрах отсюда, наверно, есть колодцы. Если привезти воду отсюда? Но тогда не хватит горючего на возвращение.

Ошеломленный внезапным ударом судьбы, ученый остро почувствовал всю свою беспомощность перед окружающей беспощадной природой. Что может сделать он, вся его великолепно снаряженная экспедиция без воды? Откуда взять ее здесь, в опаленных камнях, оживляемых только крохотной струйкой древнего колодца?

Попытки расчистить источник ни к чему не привели. Неужели эта неожиданная беда сорвет всю так тщательно организованную экспедицию, лишит успеха, заставит рисковать людьми?

Погруженный в безотрадные думы, Никитин машинально углубился в горы. Он тихо шел вверх по небольшому ущелью, глубоко врезавшемуся в черный бок седловидной горы. Накаленные черные обрывы обдали ученого душным жаром. Никитин остановился и увидел Мириам.

Девушка сидела на камне, подобрав ноги и изогнув тонкий стан. Она держала на коленях раскрытую записную книжку и так глубоко задумалась, что не слышала приближения Никитина. Тяжелые косы, казалось, обременяли ее склоненную голову, лицо было обращено к туманящей жаркой дали. Весь облик девушки и ее поза вдруг поразили палеонтолога соответствием с окружающей природой. Никитин впервые почувствовал, что Мириам — дитя своей страны: от нее веяло спокойной твердостью, скрытой под маской внешней покорности. Никитин застыл на месте, боясь потревожить Мириам.

Страна палящего мертвого простора, где ничего не дается сразу... Только упорный труд многих поколений приносит победу над жестокой природой. Идти напролом в страстном порыве нельзя — этот путь не приведет здесь к цели. Нужно медленно, терпеливо и верно продвигаться вперед, быть всегда наготове для борьбы с новыми и новыми трудностями, подавляя волей свойственную каждому человеку жажду чудесного, внезапного счастья...

Девушка, почувствовав взгляд Никитина, оглянувшись, вскочила и пошла к нему навстречу. Мириам пытливо заглянула в глаза молодого ученого.

— Что с вами, Сергей Павлович? — как всегда медленно, произнесла она.

Ученый уловил неподдельную заботу в ее тоне. В безотчетной потребности быть откровенным с ней он рассказал Мириам о крахе, ожидающем экспедицию. Девушка молчала и, только когда они возвращались обратно, у самого лагеря, смущаясь, сказала будто сама себе:

— Я слыхала, что в прошлом году при работах на Дюрт-Кыре удалось увеличить дебит* источников... — Мириам сделала паузу, — с помощью динамита. Вот если бы у нас был...

— Черт возьми, ведь аммонал у нас есть! — вскричал Никитин. — Подорвать место выхода родника — это не всегда помогает, но иногда получается! Совсем упустил из виду... Попробуем сейчас же! — повеселел палеонтолог, убустряя шаги. — Рискнем на самый большой заряд.

...Громовой удар взрыва потряс мертвые горы. Высокий столб пыли взвился над родником, и несколькими секундами позже что-то со страшным грохотом обрушилось в горах. Все участники экспедиции бросились к роднику и стали молча разбирать завал породы, снова раскапывая выход ключа. Еще тише стало в лагере, когда Никитин и Мириам начали замерять приток воды. Начальник экспедиции вдруг выпрямился.

— Спасибо, Мириам! — Он схватил руку девушки и крепко пожал.

— Качать Мириам! — раздался дружный крик.

Девушка стрелой помчалась искать спасения за спиной старшего шофера. Тот, расправив могучие плечи, грозно заявил:

— Не дам!

— Как ваши дела с асфальтом, Мириам? — весело спросил Никитин.

— Здесь очень интересное месторождение, Сергей Павлович. Это не асфальт, а какая-то особенная, очень твердая смола.

— Покажите мне ее завтра, хорошо? А сейчас советую познакомиться и с нашими успехами.

На равнине повсюду виднелись горки нарытой земли. Поднимался легкий дымок костра, на котором варился жидкий столярный клей. Мартын Мартынович, в одних

* Дебит — количество воды, даваемой источником в определенный промежуток времени.

трусах, загорелый до черноты, усердно пропитывал клеем рыхлые кости. Ближе к центру равнины работало несколько человек. Большая площадка расчищенной сверху породы была обрыта глубокими канавками. Двое рабочих осторожно ковыряли рыхлый песчаник большими ножами, разделяя окопанную глыбу на три части. Маруся доканчивала расчистку черепа, поливая шеллаком* поврежденные участки.

Никитин повел Мириам к глыбе, и удивленная девушка увидела на ее поверхности распластавшийся скелет огромного ящера. Он лежал на боку, подвернув длинный хвост и скрестив тяжелые задние лапы. На позвонках, ребрах, даже на тупых копытцах — всюду виднелись четко написанные цифры. Череп чудовища, около двух метров длины, на затылке переходил в огромный костяной воротник, усаженный тупыми шипами. Над глазами торчали два длинных, косо направленных вперед рога, третий рог сидел на носу, а морда оканчивалась клювом.

— Это трицератопс — трехрогий травоядный динозавр, хорошо вооруженный против хищников, — пояснил Никитин. — Скелет сохранился полностью, и мы его разделим на три части, заделаем в крепкие рамы, — палеонтолог указал на приготовленные брусья, — зальем гипсом и увезем в виде тяжелых монолитов, чтобы окончательно освободить от породы уже на месте, в лаборатории.

— Каковы же были хищники, если против них такое страшное вооружение? — спросила Мириам.

— Хищники! — воскликнул палеонтолог. — Ну вот, например. — И он выбрал из ящика плоский зуб с загнутой верхушкой и пильчатой нарезкой по обоим краям, около пятнадцати сантиметров в длину. — Это тиранозавр, владыка ящеров, ходивший на задних лапах исполнин... Скоро переедем с раскопками к самым горам, — продолжал ученый, — там Мартын Мартынович нашел сразу три скелета панцирных динозавров с костяной бронею, усаженной шипами. Настоящие танки, только без пушек, в отличие от современных танков, которые являются оружием нападения. Ведь травоядное животное может только пассивно защищаться: оно прячется за броней или выставляет рога, не нападая само.

* Шеллак — индийская смола, после растворения в спирте дает прочный лак.

Не доходя до восточного ущелья, Мириам свернула влево и повела Никитина вдоль подножия горы, меж разбросанных каменных глыб.

Перед палеонтологом и его спутницей неожиданно стала плотная стена красновато-черных пород. Ее прорезал узкий проход, похожий на след от удара исполинского меча. По обе стороны этой каменной щели возвышались две скалистые башни, высоко вверх снабженные нависающими над проходом выступами.

Узкий проход был прям, как ружейный ствол, с гладкими, словно отполированными, стенами. Пройдя по нему несколько десятков шагов, Мириам и Никитин попали в просторную долину, замкнутую со всех сторон крутыми утесами. Противоположная проходу сторона изгибалась правильным полукругом, в самой середине которого выступал огромный куб очень твердого бурого песчаника. Подножие куба утонуло в груде плоских, по-видимому, недавно обрушившихся глыб, а на скошенной поверхности блесло громадное черное зеркало. Палеонтолог в недоумении осматривался вокруг.

— Месторождение асфальта, — тихо заговорила Мириам, — вернее, затвердевшей смолы здесь. Смола залегает ровными слоями в твердых железистых песчаниках; по всей вероятности отложенных ветром, — нечто вроде древних дюн. Когда мы взорвали источник, здесь обвалились скалы и открыли свежий пласт ископаемой смолы. Ею гладкая поверхность еще не повреждена выветриванием и блестит как зеркало.

— Когда, по вашему мнению, отлагались смола и песчаник? — быстро спросил палеонтолог.

— Примерно одновременно с костями динозавров, — ответила Мириам. — Все эти отложения накопились тут, в долинах этих древних гор, и остались почти неприкосновенными.

Никитин одобрительно кивнул головой и уселся на крупный хрустящий песок. Девушка устроилась напротив в своей любимой позе, поджав под себя ноги.

В закрытой со всех сторон долине почему-то было очень жарко. Удивительная тишина стояла вокруг. Едва слышно, точно далекие хрустальные колокольчики, звенели сухие травы, росшие на дне этого естественного горного зала. Никитин впервые в жизни услышал их шелестящий печальный зов и удивленно посмотрел на Мириам. Девушка наклонила голову и приложила палец

к губам. Вскоре в этот слабый, точно призрачный, звон вплелись такие же безмерно далекие, редкие аккорды низкого тона — голоса кустарников, окаймлявших подножие кольца скал. Под эту едва различимую музыку молчаливой пустыни Никитин погрузился в глубокую задумчивость.

Травы звенели и звали заглянуть в глубину природы, говорили о том скрытом, что обычно проходит мимо нашего сознания, притупленного укоренившимися привычками и лишь в редкие минуты жизни раскрывающегося с настоящей остротой.

Никитин думал о том, что природа безмерно богаче всех наших представлений о ней, но познание ее никогда не дается даром. В тесном общении, в постоянной борьбе с природой человек подходит вплотную к ее скрытым тайнам. Но и тогда нужно, чтобы душа была ясной и чистой, подобно тонко настроенному музыкальному инструменту, и она отзовется на звучание природы...

Медленно поднял Никитин свой взгляд и увидел устремленные прямо на него глаза Мириам. Палеонтолог неловко поднялся на ноги и голосом, показавшимся ему самому грубым, погасил нежные зовы трав:

— Пора идти, Мириам!

Девушка безмолвно встала.

Уходя, Никитин с удовольствием оглядел полную покоя долинку.

— Что же вы раньше не говорили об этом хорошем месте? — укорил он девушку.

— Вы были поглощены своей работой, — тихо ответила Мириам.

— Я перенесу лагерь к подножию каменных башен завтра же, — решил Никитин. — Кстати, главные раскопки теперь будут совсем рядом.

Уверенным, щегольским ударом Мартын Мартынович вогнал последний гвоздь в длинный ящик.

— Конец, Сергей Павлович! — весело воскликнул лагерьщик и вытер потное лицо.

— Конец! — откликнулся Никитин. — Завтра отдых и сборы, вечером — в путь, домой! Больше задерживаться нам нельзя.

— Сергей Павлович, — просительно вмешалась Маруся, — вы давно уже обещали рассказать про этих... —

девушка показала на лежавшие повсюду ящики,— зверюга, да все некогда было. Что бы сегодня? Еще три часа только.

— Хорошо. После обеда пойдем в ту долинку, там побеседуем,— согласился начальник экспедиции.

Все четырнадцать человек сотрудников внимательно слушали своего начальника. Никитин говорил хорошо, о подъеме. Он рассказал, как еще в древние эпохи развития наземной жизни медленно, в миллионах поколений, совершенствовался организм животного, как появились подчас причудливые, странные формы четвероногих земноводных и пресмыкающихся. Как в борьбе за существование, в преодолении влияния окружающих условий постепенно отмирали все менее совершенные, менее жизнедеятельные виды; жестокая гребенка естественного отбора прочесывала поток поколений во времени, отменяя все слабое и непригодное.

— К началу мезозойской эры, около ста пятидесяти миллионов лет назад, на древних материках повсюду росли пресмыкающиеся и одновременно от них же возникли наиболее совершенные из всех животных — млекопитающие, развивавшиеся в суровых условиях конца палеозойской эры. Но вскоре сравнительно резкий и сухой климат повсюду сменился влажным и жарким, обильная, пышная растительность покрыла сушу. Эти условия существования были более легкими, более благоприятными, и вот по всей земле распространились огромные пресмыкающиеся. Они завоевали сушу, море и воздух, достигли небывалой величины и численности.

Гигантские травоядные для защиты от хищников имели чудовищные рога или броню из костяных шипов и щитков. Другие, не защищенные броней, прятались в воде прибрежных морских лагун или озер. Они достигали двадцати пяти метров длины и шестидесяти тонн веса. В воздухе реяли летающие ящеры; из всех летающих животных они имели наибольшее удлинение крыла и, следовательно, были лучшими летунами.

Хищники ходили на задних ногах, опираясь на толстый хвост. Их передние лапы превращались в слабые, почти ненужные придатки. Для нападения служила огромная голова с большими острыми зубами в пасти. Это

были чудовищные треножники, до восьми метров высоты, безмозглые боевые машины страшной силы и беспощадной свирепости.

В окружении исполинских ящеров жили древние млекопитающие — маленькие зверьки, похожие на ежа или крысу. Пресмыкающиеся в благоприятных условиях мезозойской эры подавили эту прогрессивную группу животных, и с этой точки зрения мезозой был эпохой мрачной реакции, длившейся около ста миллионов лет и замедлившей прогресс животного мира. Но едва только начали вновь изменяться климатические условия, стала происходить смена растительности, — сразу же плохо пришлось громадным ящерам. Травоядные великаны требовали обильной, легкоусвояемой пищи. Изменение кормовой базы явилось катастрофой для травоядных и одновременно для гигантских хищников. Естественный баланс животного населения резко нарушился. Произошло великое вымирание пресмыкающихся и бурный расцвет млекопитающих, которые стали хозяевами Земли и в конце концов дали мыслящее существо — человека. Представьте себе на миг бесконечную цепь поколений без единой мысли, прошедших за эти сотни миллионов лет, — закончил палеонтолог, — все невообразимое число жертв естественного отбора по слепому пути эволюции...

Ученый умолк. Высоко в уже посиневшем небе раздался клекот орла. Слушатели продолжали тихо сидеть, глядя на палеонтолога.

Никитин задумчиво улыбнулся и снова заговорил:

— Да, величие моей науки — в необъятной перспективе времени. В этом отношении палеонтология сравнима разве только с астрономией. Но у палеонтологии есть одна слабая сторона, очень слабая, мучительная для стремящихся к глубокому познанию: неполнота материала. Только очень малая часть ранее живших животных сохраняется в пластах земной коры, и сохраняется лишь в виде неполных остатков. Возьмем наши раскопки — мы добыли только кости. Правда, по этим костям мы можем восстановить полный внешний облик животных, но только в известных пределах. Хуже всего то, что мы никогда не сможем узнать в подробностях внутреннее строение животного, полностью представить его живым. Тем самым мы никогда не сможем проверить точность наших представлений, установить ошибки. Физические законы незыблемы. Сила человеческого разума и заключается в

том, чтобы прямо взглянуть им в лицо, не обольщаясь сказками...

Глубокая тоска зазвучала в голосе Никитина, передаваясь слушателям. Палеонтолог резко встал:

— Ничего. Для вас, не искушенных в науке, остается важная и могучая фантазия писателей. Не стесненные устоями точных фактов, они ярко и убедительно воскрешают исчезнувший животный мир. Советую вам прочитать «Затерянный мир» Конан Дойля и «Борьбу за огонь» Рони Старшего. Это мой любимый писатель, который даже на палеонтолога может действовать силой своего воображения, прекрасным описанием древней жизни, удачно схваченной тенью минувшего... — Палеонтолог, увлекшись, начал цитировать: — «Вместе со сгустившимся сумерками упала смутная тень минувшего, и по степи, весь красный, катился зловещий поток...»

Легкий вскрик Маруси заставил ученого прервать цитату и обернуться. В следующее мгновение дыхание его остановилось, и он замер, потрясенный.

Над отливающей синью плитой ископаемой смолы встал откуда-то из ее черной глубины гигантский зелено-серый призрак. Громадный динозавр замер неподвижно в воздухе, над верхним краем обрыва, вздыбившись на десять метров над головами остолбеневших людей.

Чудовище высоко несло свою горбоносую голову; большие глаза тускло и мрачно смотрели куда-то вдаль; безгубая широкая пасть обнажала длинный ряд загнутых назад зубов. Спина животного, слегка согнутая, круто спадала в невероятно мощный хвост, подпиравший динозавра сзади. Огромные задние лапы, согнутые в суставах, не уступали в мощности хвосту, подобные двум колоннам, трехпалые, с широко распластанными пальцами, вооруженными кривыми исполинскими когтями. И почти под самой шеей, на наклонно нависшей над землей передней части туловища, нелепо и беспомощно торчали две тонкие когтистые передние лапки, такие крошечные по сравнению с гигантским туловищем и головой.

Сквозь призрак просвечивали черные утесы гор, и в то же время можно было различить малейшую подробность тела животного. Испещренная мелкими костными блишками спина чудовища, его шероховатая кожа, местами обвисшая тяжелыми складками, странный вырост на горле, выпуклости исполинских мышц, даже широкие фиолетовые полосы вдоль боков — все это придавало ви-

дению изумительную реальность. И неудивительно, что пятнадцать человек стояли онемевшие и зачарованные, пожирая глазами гигантскую тень, реальную и призрачную в одно и то же время.

Прошло несколько минут. В неуловимом повороте солнечных лучей видение неподвижного динозавра растаяло и угасло. Перед людьми не было ничего, кроме черного зеркала, потерявшего синий отлив и отблескивавшего медью.

Громкий вздох вырвался одновременно у всех. Никитин облизнул пересохшие губы.

Долгое время никто не был в состоянии произнести хотя бы слово. Невероятное появление призрака чудовища разрушило все установленные образованием и жизненным опытом представления. Каждый чувствовал, что в его жизнь ворвалось неожиданно нечто совсем необычайное. Более всех потрясен был сам Никитин — ученый, привыкший анализировать и объяснять загадки природы. Но сейчас никакое разумное объяснение происшедшего не приходило ему в голову. Все терялись в догадках. Лагерь шумел до поздней ночи, пока наконец Никитин не успокоил страсти заявлением, что в этой стране миражей нет ничего удивительного увидеть мираж чудовищного ископаемого. Этот призрак, по определению Никитина, никем иным, как тиранозавром, не мог быть.

Гудели проверяемые перед дальней дорогой моторы. Голубоватый дымок стлался над коричневыми гальками равнины.

Никитин взглянул на часы и поспешно направился к узкой щели в скалах.

Черное зеркало взглянуло на него глубоко и бесстрастно. Прежней тишины не было в этом месте покоя — из-за скалистых стен неся шум моторов. Неясное ощущение чего-то оборвавшегося, утраченного охватило Никитина. Он ожидал появления вчерашнего призрака, но призрак не появлялся. Должно быть, Никитин не точно заметил время его появления и опоздал.

Сожалая об упущении и сам удивляясь силе своего огорчения, Никитин долго стоял перед грудой камней, образовавших пьедестал зеркала. Позади него послышался хруст песка — Мириам быстро подошла к нему.

— Мартын Мартынович говорит, можно ехать. Я вы-

палась сбегать за вами... захотелось еще раз взглянуть... — отрывисто и быстро проговорила запыхавшаяся девушка...

— Сейчас иду,— нерешительно отозвался палеонтолог, помолчал и добавил: — Подождите, Мириам!

Девушка послушно приблизилась и стала так же, как и он, всматриваться в черное зеркало.

— Что вы будете делать, когда вернетесь, Мириам? — вдруг спросил Никитин.

— Работать, учиться,— коротко ответила девушка.— А вы?

— Тоже работать... над этими динозаврами и думать...— ученый запнулся и неожиданно резко закончил,— о вас!

Мириам опустила голову, ничего не ответив.

— Если бы я была на вашем месте, я бы все силы отдала на решение загадки с призраком динозавра. Ведь это не просто мираж...— заговорила она через минуту.

— Я и сам знаю, что не мираж!— невольно воскликнул Никитин.— Но ведь я только палеонтолог. Если бы я был физиком...

Никитин оборвал разговор с неясной досадой на самого себя и подошел ближе к пласту удивительной окаменевшей смолы. Он долго вглядывался в его черную безответную глубину, и почти нестерпимое, дикое желание нарастало в его душе. На секунду раскрылась непроницаемая, недоступная человеку завеса времени. Из всего огромного числа людей только ему и его спутникам было дано заглянуть в прошлое. И из них только он достаточно вооружен знаниями, опытом научной работы. Мириам права... Никитина охватило властное стремление раскрыть тайну природы.

Внезапно Никитин сообразил, что видит какие-то серебристые тени, всплывающие из черной глубины. Палеонтолог стал вглядываться уже осмысленно, напрягая зрение и внимание. Разрозненные части быстро сложились в неясное, но цельное изображение; оно было подобно плохо проявленному снимку огромных размеров. В центре проступала перевернутая фигура вчерашнего тиранозавра, однако, сильно уменьшенная, слева виднелась группа огромных деревьев, а позади и внизу совсем смутно угадывались вершины каких-то скал.

Достав записную книжку, Никитин окликнул Мириам и стал зарисовывать новое призрачное видение. Оба жад-

но вглядывались в серебристо-серые тени, но изображение не становилось яснее. Скоро перед уставшими от напряжения глазами поплыли световые пятна, и снова глубокая чернота зеркала стала слепой и беспредметной.

С усилием Никитин заставил себя уйти из загадочного места. Он сознавал, что следовало бы остаться еще на несколько дней для наблюдения над зеркалом.

По редкому капризу судьбы ему довелось встретиться с невероятным, из ряда вон выходящим явлением. Очень скоро, может быть, через несколько дней, солнце и ветер разрушат гладкую поверхность слоя смолы, и навсегда исчезнет загадка, так и не понятая им. Долг ученого — да что долг! — весь смысл существования — не упустить случайно открывшееся ему, передать всем людям.

И вопреки всему приходится оставить чудесное око в прошлое у далеких, труднодоступных гор. У него больше нет времени. Оттягивать отъезд опасно. И без того для полноты раскопок экспедиция работала до последнего дня. Впереди — трудный обратный путь с перегруженными машинами. Рисковать из-за полубредового, необъяснимого явления человеческими жизнями, доверенными ему? Нет, нельзя.

Никитин быстро, почти бегом, вернулся к машинам.

Подойдя к «Молнии», он еще раз оглянулся на Мириам. Она неподвижно стояла у «Истребителя», повернувшись ко входу в ущелье. Это было последним впечатлением палеонтолога, которое он увозил с собой, покидая это загадочное место.

— Поехали! — громко крикнул он и, захлопнув дверцу кабины, стал смотреть, как засверкали, убегая под крылья машины, искры гипса в долине костей.

...Холодный, пасмурный свет быстро мерк в свинцовом небе. Сквозь двойные рамы виднелась черная обледенелая крыша с большими пятнами снега. Выходивший из трубы дым срывало резкими порывами ветра.

Никитин отодвинул книгу и выпрямился в кресле, охваченный глухой тоской.

Упрямый разум ученого не хотел сдаваться, но где-то внутри уже зрело горькое сознание бессилия.

С грустью вспоминал Никитин, что только безупречная репутация спасла его от явных насмешек, даже подозрений в ненормальности. Помощь, за которой он обратился к физикам, вылилась в шутливое недоумение — мало ли, в конце концов, какие бывают обманы зрения,

миражи, галлюцинации! И, ставя себя на их место, Никитин не мог осудить ученых.

Еще там, в горах, у кладбища динозавров, Никитин понял, что гладкая поверхность черной смолы хранила в себе что-то вроде фотографического снимка, непонятным образом отразившегося в воздухе. Но как мог получиться снимок без бромосеребряных пластинок, без проявления и фиксирования? И, главное, обычный рассеянный свет не создает никакого изображения — нужна камера-обскура, то есть темная камера с узкой щелью или отверстием, проходя через которое световые лучи дают перевернутую картину того, что находится в фокусе. И тиранозавр в глубине черного зеркала казался перевернутым! Но...

Чтобы разгадать эту тайну, нужен был необычайный порыв, страстное напряжение ума и волн, слившихся в достижении единственной цели. Нужно было вдохновение, но вдохновение здесь, в размеренном, привычном существовании, не приходило. Более того — все дальше отодвигалось случившееся там, за четыре тысячи километров отсюда, за степью и буграми знойных песков. Разве можно рассказать кому-нибудь, разве можно самому верить в призрачное видение страны миражей здесь, в бледном и трезвом свете холодного зимнего вечера? И Мириам... Разве не ушла Мириам из его жизни, не стала таким же исчезнувшим миражем?

Никитин закрыл глаза. Миг — и исчезло потемневшее окно, снег и холод. Перед мысленным взором Никитина возникали одна за другой картины.

Слепящие, яркие белые стены, темная, пронизанная горячим золотом зелень листвы, журчащие арыки, медные клубы пыли... Снова шли, покачиваясь, машины под мерный гул моторов в дрожащем, жарком воздухе, прорезая голубые цепи причудливых миражей. Сквозь дымку фантастического, ускользающего мира, повисшего над беспредельной сожженной равниной, все ярче выступал такой знакомый облик далекой Мириам. Палеонтолог вскочил, громыхнул креслом.

«Как я не понял этого сразу? Почему не сказал ей тогда? — думал он, шагая по комнате. — Но ведь можно и сейчас поехать, написать...»

Никитин заволновался — к сердцу подступало что-то властное, требовавшее немедленного решения... Он поедет к ней, скажет все. Теперь же.

Никитин неуклюже взмахнул рукой и задел позвонок динозавра, лежавший недалеко от края стола. Тяжелая кость с грохотом упала на пол, разбилась на несколько кусков. Ученый опомнился и бросился подбирать рассыпавшиеся осколки. Ему стало стыдно, точно его сокровенные грезы подглядел кто-то чужой. Никитин торопливо оглянулся, и окружавшее его опять неумолимо наполнило душу. Это его мир, спокойный, простой и светлый, хотя временами, может быть, и слишком узкий. Высокий шкаф со стеклянными дверцами хранит на своих полках еще много неизученных сокровищ — остатков древней жизни...

И, кроме всего этого, великая загадка тени минувшего. Разве это мало для него, неповоротливого тяжелодума, вечно опаздывающего, как говорил его учитель? Вот и с Мириам — он опоздал, безнадежно опоздал сказать ей там, в горах Аркарлы, в долине звенящих трав... А сейчас, чтобы завоевать Мириам, ему нужно все свои помыслы, все силы отдать этому. Как раз тогда, когда так много времени и энергии требует от него разгадка тени минувшего. Разве он сумеет, разве его хватит на все? Да и почему он так уверен, что Мириам готова любить его? А если она любит другого?

Никитин внезапно успокоился и снова сел в кресло.

Человеческий ум не мог опустить свои мощные крылья перед непостижимым. Призрак динозавра должен был иметь какое-то объяснение!

Эта непреклонность перед самыми трудными задачами, протест против слепой веры и есть самая замечательная черта человеческого ума...

И все же думы Никитина невольно возвращались к экспедиции в пустыню. Он припоминал все до мелочей, особенно последние дни перед возвращением в Москву. Цепкая память натуралиста неожиданно оказала ему большую услугу.

Никитин вспомнил, как он в день отъезда из белого города ожидал машину в гостинице. Он растянулся на широком диване. Окно комнаты выходило на улицу, залитую могучим южным солнцем. Ставни были закрыты, в полумрак комнаты из щели между ставнями вонзался прямой и слабый световой луч.

На стене против окна промелькнули какие-то тени. Невольно проследив их движение, Никитин вдруг увидел ясное перевернутое изображение противоположной сто-

роны улицы. Совершенно четко вырисовывались голые ветви тополей, приземистый дом с новой крышей, решетка железных ворот. Вот быстро прошел человек, скидывая полами халата, смешной, маленький, перевернутый вверх ногами...

Подобно свежему ветру, в голове Никитина пронеслось быстрое соображение: маленькая, замкнутая, затененная нависшими скалами впадина в горах Аркарлы... узкая щель — проход на просторную равнину, и точно напротив нее смоляное зеркало... Ведь это огромная естественная камера, фокус которой можно вычислить! Теперь для него ясно, как могло получиться изображение, но... но главное все еще непонятно: как же запечатлелся снимок, как могла сохраниться в тысячах веков мимолетная игра света и теней? Фотография не дала пока никакого ответа.

А! Стой!..

Никитин вскочил и зашагал по комнате.

Изображение было цветным! Нужно тщательно просмотреть теорию цветной фотографии.

Весь следующий день Никитин, забыв обо всем на свете, изучал толстую книгу по цветной фотографии. Он уже успел ознакомиться с теорией цветов и анализом человеческого зрения и теперь, просматривая последний отдел, «Особые способы цветной фотографии», внезапно наткнулся на письмо Ниэпса к Дагерру, написанное еще в 30-х годах прошлого столетия.

«...причем оказалось, что лакировка (асфальтовая смола) пластинки изменялась под действием света, что давало в проходящем свете нечто подобное изображению на диапозитиве, и все цветные оттенки можно было видеть очень отчетливо», — писал Ниэпс.

Никитин глухо вскрикнул и, стиснув виски, как будто сдерживая разбегающиеся мысли, стал читать дальше:

«Когда полученное изображение рассматривалось под определенным углом в падающем свете, то можно было видеть очень красивый и интересный эффект. Явление это следовало бы поставить в связь с ньютоновским явлением цветных колец: возможно, что какая-либо часть спектра действует на смолу, создавая тончайшие различия в толщине слоев...»

Драгоценная нить объяснения призрака тиранозавра потянулась через страницы. Вначале тонкая и хрупкая, она постепенно становилась все крепче и надежнее.

Никитин узнал, что под воздействием стоячих световых волн изменяется структура гладкой поверхности фотографических пластинок, что эти стоячие волны создают определенные цветовые отпечатки, не зависящие от обычного черного изображения, получаемого в результате химического воздействия света на бромистое серебро фотопластинки. Эти отпечатки сложных отражений световых волн, совершенно невидимые даже при сильных увеличениях, отличаются только одной способностью — избирательно изображать свет только определенного цвета, при освещении изображения под одним, строго определенным углом. Сумма этих отпечатков и дает великолепное изображение в естественных цветах.

Значит, в природе существует непосредственное воздействие света на некоторые материалы, достаточное для получения изображения и без помощи разлагаемых светом соединений серебра. Именно это и было той зацепкой, которой так не хватало ученому.

Никитин ускорил шаги. С подтаявших крыш падали редкие капли. Ученый, волнуясь, спешил в институт. Три месяца работы не прошли даром — он знал, что и где искать, и теперь помощь оптиков, физиков и фотографов далеко продвинула решение задачи. И вот сегодня он впервые решается выступить перед ученым миром.

Тема доклада и имя Никитина собрали значительную аудиторию. Палеонтолог рассказал о невероятном случае с призраком тиранозавра и сейчас же заметил веселое оживление собравшихся. Никитин нахмурился, но продолжал неторопливо и четко:

— Этот свежевскрытый слой ископаемой смолы, оказывается, хранил в себе световые отпечатки — снимок одного момента существования природы мелового периода.

Солнечные лучи, отражаясь от этого черного зеркала под определенным углом, отбросили вроде проекционного фонаря на какие-то создающие мираж струн воздуха гигантский призрачный облик живого динозавра уже не в перевернутом виде. Получилось своеобразное слияние отраженного изображения с миражем, увеличившее размеры светового отпечатка.

Без сомнения, выдержка, нужная для получения светового отпечатка в смоле, была велика... Но, возможно, сила солнечного освещения в те времена в районах с тро-

ническим климатом была несколько больше, а может быть, и динозавры могли целыми часами стоять неподвижно. Современные крупные пресмыкающиеся — крокодилы, черепахи, змеи, большие ящерицы — по несколько часов остаются неподвижными, не меняя положения. Их нельзя сравнивать с бурлящими энергией млекопитающими. Поэтому при условии большой выдержки вполне возможны снимки живых ящеров, что и доказано виденным мною динозавром.

Я рассчитал место, с которого был запечатлен снимок, — ученый показал на большой план местности, приколотый к доске, — оно в ста тридцати девяти метрах от подножия каменных башен. Полученный благодаря сильному освещению, или особенно расположению облаков, или еще каким-либо другим условиям снимок, очевидно, был немедленно закрыт натеками последующих слоев асфальтовой смолы и таким образом сохранен от уничтожения. Сотрясение от взрыва отделило все верхние слои, вскрыв непосредственно асфальтовый снимок...

Никитин помолчал, стараясь преодолеть охватившее его волнение.

— В конце концов, — продолжал он, — важно не это чудесное происшествие, не то, что несколько человек впервые в мире увидели живой облик ископаемого животного. Величайшее значение только что доложенного вам наблюдения заключается в реальном существовании световых отпечатков древнейших эпох, запечатленных в горных породах и сохраняющихся десятки, может быть, сотни миллионов лет. Это реальные тени миувшего из таких глубин времени, которых мы даже не можем охватить своим разумом. Мы не подозревали об их существовании. Никому и в голову не приходило, что природа может фотографировать самое себя, поэтому мы и не искали этих световых отпечатков.

Конечно, снимки миувшего требуют такого количества совпадений различных условий, что могут получиться и сохраниться только в невероятно редких случаях. Но ведь за огромное количество прошедшего времени и число таких случаев должно быть очень большим! К примеру: каждый случай сохранения ископаемых костей тоже требует очень редких совпадений. Тем не менее мы знаем уже очень много вымерших животных, и их число возрастает чрезвычайно быстро по мере развития палеонтологических исследований.

Световые отпечатки, снимки минувшего, могут образоваться и сохраниться не только на асфальтовых смолах. Без сомнения, мы можем искать их в некоторых распространенных веществах горных пород — солях окиси и закиси железа, марганца и других металлов. Давно известно фотографирование методом выцветания, путем разрушения светом какой-нибудь нестойкой к нему краски и получения таким образом дополнительного цвета. Где искать их, эти картины прошлого? В тех отложениях горных пород, где мы можем предполагать очень быстрое наслоение на открытом воздухе или в очень мелкой воде. Вскрывая без повреждения поверхность напластований и улавливая световые отражения какими-нибудь приборами, облегчающими восприятие световых отпечатков, мы должны научиться понимать эти следы световых волн минувших времен.

Наконец, мы вправе предположить, что природа фотографировала свое минувшее не только с помощью света. Вспомните еще не объясненные наукой до конца снимки окружающего, которые оставляет изредка молния на деревянных досках, стекле, коже пораженных ею людей. Можно представить себе запечатление изображений с помощью электрических разрядов, невидимых излучений вроде радия. Отдайте себе только ясный отчет в том, что вы ищете, и вы будете знать, где искать, и найдете!..

Никитин закончил доклад. Последовавшие выступления были полны скептицизма. Особенно горячился один известный геолог, который с присущим ему красноречием охарактеризовал выступление Никитина как увлекательную, но с научной точки зрения гроша медного не стоящую «палеофантазию». Но все нападки не задели ученого. У него давно уже окрепло твердое решение.

Металлические удары глухо разносились по огромному залу. Никитин остановился у входа. В двух стоявших друг против друга витринах приземистые ящеры скалили черные зубы. За витринами пол был завален брусьями, железными трубами, болтами и инструментами. Посредине на скрещенных балках поднимались вверх две высокие вертикальные стойки — главные устои большого скелета динозавра. К задней стойке уже присоединились сложно изогнутые железные полосы. Два препарата осторожно прикрепляли к ним громадные кости

видных лап чудовища. Никитин скользнул взглядом по плавному изгибу трубы, обрамлявшей каркас сверху и щетинившейся медными хомутиками. Здесь будут установлены все восемьдесят три позвонка тиранозавра по контуру хищно изогнутой спины.

У передней стойки Мартын Мартынович с большим газовым ключом балансировал на шаткой стремянке. Другой preparator, мрачный и худой, в холщовом халате, карабкался по противоположной стороне лестницы с длинной трубой в руках.

— Так не выйдет! — крикнул палеонтолог. — Осторожнее! Не ленитесь передвинуть леса.

— Да ну, что тут канителиться, Сергей Павлович! — весело отвечал сверху латыш. — Мы — да не сумеем? Старая школа!

Никитин, улыбнувшись, пожал плечами. Мрачный preparator всталил нарезку трубы в верхний тройник, которым заканчивалась стойка. Мартын Мартынович энергично повернул ее ключом. Труба — опора массивной шеи — повернулась и повлекла за собой мрачного preparatora. Он и латыш столкнулись грудью с грудью на узенькой верхней площадке стремянки и рухнули в разные стороны. Грохот упавшей трубы заглушил звон стекла и испуганный крик. Мартын Мартынович поднялся, смущенно потирая свежую шишку на лысой голове.

— Падать — это тоже старая школа? — спросил палеонтолог.

— А как же ж! — подхватил находчивый латыш. — Другие бы покалечились, а у нас пустяк — одно стекло, и то не зеркальное... Леса-то придется передвинуть, неладно же, — как ни в чем не бывало закончил Мартын Мартынович.

Никитин надел халат и присоединился к работающим. Наиболее медленная часть работы — предварительная сборка скелета и изготовление железного каркаса — была уже пройденным этапом. Теперь каркас был готов, оставалось собрать его и прикрепить на уже припаянных и привинченных к нему упорах, хомутиках и болтах тяжелые кости — тоже результат многомесячного труда; preparatory освободили их от породы, склеили все мельчайшие отбитые и рассыпавшиеся части, заменили гипсом и деревом недостающие куски.

Каркас был прилажен удачно, исправления в ходе монтировки скелета оказались незначительными. Ученые

и препараторы работали с энтузиазмом, задерживаясь до поздней ночи. Всем хотелось скорее восстановить в живой и грозной позе вымершее чудовище.

Через неделю работа была закончена. Скелет тиранозавра поднялся во весь рост; задние лапы, похожие на ноги гигантской хищной птицы, застыли в полушаге; длинный выпрямленный хвост волочился далеко позади. Громадный ажурный череп был поднят на высоту пяти с половиной метров от пола; полураскрытая пасть напоминала согнутую под острым углом пилу с редкими зубьями.

Скелет стоял на низкой дубовой платформе, сверкающей черной полированной поверхностью, подобно крышке роаяля. Косые лучи вечернего солнца проникали через высокие сводчатые окна, играя красными отблесками на зеркальных стеклах витрин и утопая в черноте полированных постаментов.

Никитин стоял, облокотившись на витрину, и придирчиво оглядывал в последний раз скелет, стараясь найти какую-нибудь не замеченную ранее погрешность против строгих законов анатомии.

Нет, пожалуй, все достаточно верно. Огромный динозавр, извлеченный из кладбища чудовищ в пустыне, теперь стоит, доступный тысячам посетителей музея. И уже заготавливаются каркасы для других скелетов рогатых и панцирных динозавров — великолепный результат экспедиции...

Блеск солнца на черной крышке постамента живо напомнил палеонтологу смоляное зеркало в горах Аркарлы... Да, конечно, скелет поставлен им в той же позе, в какой неизгладимо врезался в память призрак живого тиранозавра. И эта поза производит впечатление полной естественности, чего нельзя сказать про монтировки других музеев.

«Если бы мои уважаемые коллеги знали, чем я руководствовался! — усмехнулся про себя Никитин. — Впрочем, победителей не судят».

И снова мысли ученого, подобно стрелке компаса, повернулись к разгаданной тени минувшего. Призрак перестал быть загадкой, явление было ясно ученому. Исчезла и страстная напряженность мысли, возмущение разума перед непостижимой тайной природы. Ход размышлений стал спокоен, холоден и глубок.

Ученый хорошо понимал, что до тех пор, пока он не

докажет миру действительное существование световых отпечатков прошлого, ему придется работать одному. У него, по всей вероятности, не будет ни специальных средств, ни лишнего времени — все ему придется делать попутно со своей основной работой. Огромная, непосильная задача! И сама геология против него.

В процессах, создающих осадочные горные породы, то есть те наслоения, которые могут воспринимать световые отпечатки, чрезвычайно редки случаи быстрого отложения одного слоя за другим. Тем более на поверхности, а не в глубинах озер и морей! Нужно отыскать наслоения, отложенные со скоростью, достаточной для того, чтобы избежать последующего воздействия света. И это должно совпасть с условиями, хотя бы отдаленно подобными камере-обскуре, чтобы на поверхность слоя упал не просто рассеянный свет, а световое изображение. А сколько уже полученных снимков может погибнуть в дальнейшем при уплотнении, перекристаллизации или других химических изменениях осадочных пород!

Какие шансы найти в бесконечно большом числе наслоений именно ту поверхность, которая одна из миллионов ей подобных сохранила снимок минувшего?

Неужели глубины времен навсегда останутся безотчетными и недостижимыми для нас?

Нет, именно эта бесконечная, бездонная глубина прошлого должна помочь нам. Нужна редчайшая случайность, та, которая может быть раз в тысячу лет, и нет никаких шансов наткнуться именно на нее. Но если этих тысячелетий прошли миллионы, то миллион случайностей — это уже вполне доступное для наблюдений число... И оно во много раз увеличивается еще тем, что поверхность Земли огромна.

Территория нашей Родины — это сотни миллионов квадратных километров, сложенных разными горными породами, образовавшимися в самых различных условиях. Имея дело с большими числами, нужно отказаться от узких, рожденных житейским опытом представлений... «В понсках минувшего моя Родина за меня, — думал ученый. — Где же еще обнаружить новые снимки прошлого, как не на ее необозримых просторах!»

Уверенность и стремление к новым понскам, новой борьбе снова воскресли в душе Никитина.

Прежде всего необходим аппарат, улавливающий отраженный от слоя породы свет. Может быть, камера с

очень светосильным и в то же время широкоугольным объективом. Очень важно правильно установить угол отражения... Может быть, сделать вращающуюся призму?

Никитин, не взглянув более на скелет тиранозавра, поспешил в свой кабинет.

— Нет, не сюда, товарищ профессор.— Бородатый колхозник с суровым лицом остановил шедшего в задумчивости Никитина.— Тропинка эта верховая, а нам надо налево, в овраг.

— А далеко еще до красных обрывов? — спросил один из помощников Никитина.

— Как спуститься оврагом до реки — с километр, да берегом километра четыре.— И проводник деловито зашагал вперед.

Огромные, толстые ели стеснили тропинку. В промежутках между серовато-зелеными стволами и косыми замшелыми нижними ветками глубоко внизу поблескивала река, как разбросанные осколки разбитого зеркала. Воздух был насыщен сладковатым запахом еловой смолы, более мягким и приторным, чем запах сосны. Овраг, заросший ольхой, походил на длинный крытый коридор, устланный толстым слоем побуревших старых листьев. Листья становились все чернее и мокрее, под ними захлюпала вода. Овраг кончился. Исследователи оказались на берегу быстрой и холодной реки, узкое русло которой пролегалo в высоких крутых берегах. Каждый поворот реки и тихое плесо обозначались издали ярким блеском солнца. Быстрины были тусклые и от этого казались хмурыми и холодными. Невдалеке виднелись крутые обрывы темно-пурпурных глин, окаймленные сверху зелеными арками заросшей верхней кромки склона.

Вскоре маленький отряд достиг обрывов, и рабочие приступили к делу. В дюжих руках быстро замелькали лопаты и кирки. Глина крупными зернами, шурша, катилась в реку, словно дождь орехов. Осторожно подбивая клинья, обнажили блестящую, гладкую поверхность слоя глины. Пласт лежал с небольшим наклоном, и Никитину пришлось соорудить помост и установить свой аппарат высоко над вскрытым слоем. Кончив свое дело, рабочие ушли, помощники отправились вверх по берегу с удочками, и палеонтолог остался один.

Часы шли, Никитин дежурил у аппарата, изредка позволяя себе на две-три минуты закрыть усталые глаза.

Ученый не волновался, почти совершенно уверенный в очередной неудаче. Неоднократно и в разных местах Никитин устанавливал свой прибор, в томительном ожидании вглядываясь в мертвую гладь камня. С каждым разом волнение и ожидание нового открытия слабели, угасала надежда, но ученый упорно продолжал свои наблюдения во всех подходящих, по его мнению, местах. Так и теперь, почти без интереса, связанный лишь взятием на себя тяжелым долгом, Никитин наблюдал в аппарат свежевскрытый слой затвердевшей пурпурной глины. Солнце медленно изменяло углы освещения, мощнее или слабо качали своими верхушками, чуть слышно плескала вода в прибрежной осоке. И вдруг в однообразном ровном освещении появились редкие темные пятнышки, стали резче, разбросались по всему вскрытому слою. Подбирая наклон отражения с помощью вращающейся призмы, Никитин добился наконец ясной видимости.

Перед ним был очень светлый берег необычайно прозрачного зеленого моря. Почти идеальная плоскость серебряно-белого песка неуловимо переходила в изумрудную воду. Длинные прямые гребешки маленьких волн застыли в своем взлете, прочертив кристально ясную поверхность воды яркими синевато-зелеными полосами. На более далеком плане полосы дробились в треугольники, заостренные верхушки волн заворачивали вниз, показывая вспышки ослепительно белой, тоже серебряной пены. В чистейшей зелени воды даль казалась голубой, чувствовалась дивная прозрачность воздуха и поразительная яркость света.

Почти со страхом смотрел Никитин на этот кусочек несказанно светлого и ясного мира, сознавая, что гребешки волн застыли в солнечных лучах, светивших более четырехсот миллионов лет назад. Это был берег энлурийского моря...

Видение исчезло очень скоро с ничтожным поворотом солнца. Дневной свет, вызывая видение, сам же и гасил его, не давая возможности пустить в ход фотографический аппарат. Никитин остался ночевать тут же, под помостом. Только завтра в этот же час солнце снова могло вызвать к жизни призрачные тени.

Но напрасно дрожал ученый от ночной сырости, отбивался от надоедливых комаров. Переменчиво северное лето: пасмурное утро закончилось дождем. В промозглом тумане ученый с отчаянием следил, как струилась вода.

по гладкой поверхности глины, как струйки дождя постепенно краснели и как, наконец, снимок чудесного слуррийского моря превратился в липкую бурую грязь.

Второй раз удалось Никитину увидеть тень минувшего, только на миг восхитившись прекрасным видением. Но все же, если поиски удались однажды, нужно пробовать снова и снова!

Теперь Никитин решил попытаться искать снимки прошлого на стенах пещер — этих естественных камерах-обскурах. Там снимок защищен от капризов погоды, от изменений солнечного освещения. А он, наученный горьким опытом, будет теперь готовить фотоаппарат заранее, перед наблюдением. Тогда минувшее не ускользнет. Нужно искать в неглубоких пещерах, где в известковых натеках окажутся изменяющиеся от света вещества.

Над густой масляной водой медленно полз редкий серый туман. Берега светились от инея, а круто спадавшие горные склоны угрюмо чернели, оттаяв в лучах поднявшегося солнца. Тупой нос неуклюжего карбаза, закрытый просмоленным брезентом, был направлен на далекую отвесную скалистую кручу, вставшую поперек могучей реки.

Широкое плесо дышало пронизывающим холодом, струилось беззвучно и быстро. Издалека неся рокошущий тяжелый рев. Никитин стоял на ослизлых досках рулевого помоста рядом с лоцманом, крепко державшимся за деревянные колышки, вбитые в бревно рулевого весла. На бортовых веслах сторожко напряглись гребцы.

Лоцман потер неуклюжей рукавицей покрасневший нос.

— То Боллоктас ревет,— хрипло сказал он, придвигаясь к Никитину,— самый страшный порог!

— За поворотом? — медленно спросил Никитин.

Лоцман хмуро кивнул.

— Там есть и пещера? — продолжал Никитин.— На левом берегу?

— Взаправду причаливаться хотите? — тревожно прохрипел лоцман.

— Да, другого выхода нет, берегом по кручам не пройти,— твердо ответил ученый.

Поверхность воды начала вспучиваться длинными и плоскими волнами. Карбаз — тяжелый плоскодонный шлюп с треугольным носом — стал медленно покачиваться и нырять. Под носом захлопала вода. Рев приближался, нарастая и отдаваясь в высоких скалах. Кажется, самые камни грозно ревели, предупреждая пришельцев о неминуемой гибели.

Лоцман подал команду, гребцы заворочали тяжелыми веслами. Карбаз повернулся ныряя. Река входила в узкое ущелье, сдавившее ее мощный простор. Гигантские утесы, метров четырехста высотой, надменно вздымались; приближаясь все больше и больше. Русло реки напоминало широкий треугольник, вершина которого, вытягиваясь, исчезала в изгибе ущелья. У основания треугольника высокий пенистый вал обозначал одиночный большой камень, а за ним треугольник пересекался рядом острых, похожих на черные клыки камней, окруженных неистово крутящейся водой. Ущелье вдали было заполнено острыми стоячими волнами, точно целый табун вздыбленных белых коней протискивался в отвесные темные стены. Слева в каменную стену вдавался широкий полукруглый залив, искривляя левую сторону треугольника, и туда яростно била главная струя реки, взметывая столбы сверкающих брызг.

Никитин опустил бинокль и схватился за рулевое весло, помогая лоцману. Навстречу летел, оглушительно шумя, средний камень. Карбазу нужно было пройти не по сливу, а с опасной левой стороны, иначе непреодолимая сила воды отбросит судно к гряде камней, и... к берегу можно будет попасть лишь в будущем году. А это значит — никогда, потому что работы экспедиции были закончены, предстояло спешное возвращение.

— Бей пуцел! Пуцел! — заорал лоцман.

Карбаз взлетел на гребень высокого вала — за камнем вода падала в глубокую темную яму. Карбаз рухнул туда. Раздался тупой стук днища о камень, рывок руля, вода не сбросил Никитина и лоцмана с мостков, но оба крепко уперлись в бревно и пересилили. Судно слегка повернуло и несло теперь под тупым углом к берегу, отклоняясь к грозным каменным клыкам. Карбаз, заливаемый водой и пеной, отчаянно дергался, прыгая на высоких волнах.

— Греби! — надсаживался лоцман.

Промокшие и вспотевшие гребцы — рабочие и сорудники экспедиции Никитина — изо всех сил рвали непослушные весла. Менее опытные со страхом ожидали крушения, взглядывая на упрямого начальника. Его лицо, обросшее темной бородой, казалось грозным.

Никитин стоял, широко расставив ноги, на дрожащих мостках, мысленно измеряя и рассчитывая расстояние до белой пенной линии — границы отраженного обратного течения. Лоцман, закусив губу, смотрел туда же. Карбаз замедлил ход, потом снова рванулся вперед и бросился прямо в кипящую пену. Хотелось зажмурить глаза и сжаться в комочек — секунда, и судно неминуемо разобьется в щепы о скалы. Однако ход карбаза снова стал замедляться. С резким толчком судно остановилось и, подхваченное обратным течением, вошло в глубокою черную воду, тихо плескавшуюся у подножия гнейсовых уступов, круто спадавших в реку.

Никитин не сдержал вздоха облегчения. В конце концов рискованное исследование пещер Боллоктаса вовсе не входило в задание его экспедиции, и если бы в погоне за тенью минувшего случилось несчастье... Но карбаз уже причалил, мягко ткнувшись в скалу. Коллектор лихим прыжком соскочил на выступ скалы и закрепил за камень причальный канат.

— С благополучным прибытием, товарищ начальник! — шутливо согнулся перед Никитиным лоцман.

— Лихо прошли! — одобрительно отозвался ученый.

— По-русски, верняком! — отрубил лоцман.

Крутые склоны поднимались над карбазом метров на полтора. Выше склон образовал широкий уступ, длинную площадку, полукольцом огибавшую выступ берега. Над площадкой склон горы становился пологим. У его основания располагалось девять черных отверстий — входы в пещеры. Весь склон зарос невысокими кудрявыми соснами, белел сухим оленьим мхом.

Никитину и его помощникам без особого труда удалось поднять наверх все нужное снаряжение. Весь остаток дня провел палеонтолог в пещерах, пока не убедился, что был прав в своих предположениях.

На плоской задней стене пещеры тонкие гладкие натёки наслаивались последовательно. Порода была окрашена в густой желто-зеленый цвет. Никитин надеялся, что примеси солей железа и хрома, изменившись под действием света, могут сохранить в каком-либо слое све-

товой отпечаток той эпохи, когда здесь были горячие ключи и еще не потухла окончательно вулканическая деятельность,— около шестидесяти тысяч лет назад.

Помощники ученого расчистили ход. Круглое отверстие отбрасывало свет на заднюю стену. Пещера и в самом деле была похожа на внутренность фотографического аппарата.

С бесконечным терпением и тщательностью Никитин приступил к работе. Счищая слой за слоем, он освещал поверхность каждого слоя специально сконструированной им магниевой лампой.

Ученый поворачивал то лампу, то призму, меняя углы освещения и отражения, но ни малейшего намека на видение не проступало в стеклах прибора.

Больше десяти тонких слоев уже было осмотрено и сбито со стены. Оставалась очень тонкая корка натека. Никитин незаметно проработал всю ночь, но, озлобленный неудачей, не чувствовал усталости. Только рябило в глазах от яркого света да подходил к концу запас магниевой смеси.

Неужели еще одно потерянное лето — сейчас, когда он достаточно вооружен для поимки тени прошлого!

Одиннадцатый слой показался Никитину еще более гладким, чем все прежние. Ученый снова зажег магниевую лампу. Несколько поворотов шаровой головки — и в приборе проступило круглое смутное изображение. Серая, неясная тень в правом углу походила на согнутую человеческую фигуру с какой-то косой линией за плечом: налево смутные пятна очерчивали нечто округленное и непонятное. Никитин регулировал прибор, но видение не становилось яснее. Он понимал, что перед ним новый снимок минувшего, однако настолько неясный, что было бы затруднительно даже описать его, не только сфотографировать. Никитин высыпал новую порцию магниевой смеси, увеличив до предела свет лампы. Да, это, без сомнения, человеческая фигура. Значит, все дело в силе освещения. Хотя магниевый свет и дает спектр, подобный солнечному, но сила его недостаточна. Только могучее солнце может дать жизнь им же порожденным теням! И чувствительность его аппарата недостаточна — он слишком прост, этот копирующий фотокамеру прибор. Придется ждать, пока техника создаст чудо-осветитель!

Перегретая лампа, вспыхнув в последний раз, погасла. В тьме пещеры явственно выделялось круглое от-

верстие входа... Рассвет! Обычное спокойствие оставило ученого — в ярости он стукнул кулаком по ни в чем не повинному прибору.

Никитин совсем разъярился. В пещере ему не хватало воздуха, он бросился наружу и, сильно стукнувшись головой о свод, упал на колени. Удар несколько образумил ученого, но ярость, клокодавшая в нем, не утасла. Прищуренным глазом он оглядел нависшую над входом глыбу. Так, его лампа не годится! Но он увидит тень минувшего при солнечном свете! Он всегда имел при себе аммонал, чтобы при случае быстро вскрыть нужные слои, взорвав лежащую на них породу.

Палеонтолог деловито осмотрел склон над пещерой, заметил длинные вертикальные трещины, рассекавшие гнейсовые глыбы. Обрушить этот каменный занавес — пустяки!

Ученый начал спускаться к берегу, где расположились на ночлег его спутники, но передумал и вернулся в пещеру. Там он определял угол, под которым падал на поверхность известкового слоя свет его лампы, и взял по компасу направление. Отлично! Солнце будет тут между двумя и тремя часами. Можно успеть выспаться как следует, а то глаза так устали, что и при солнце он ничего не увидит. Хорошо, что утро обещало погожий день!

Как только рассеялась пыль от взрыва, Никитин стал поспешно устанавливать аппарат, балансируя на гудах каменных осколков. Гладкая зеленоватая стена, не поврежденная взрывом, влажно отблескивала в ярком дневном свете.

Нет, теперь он не будет наивен — приготовленная кассета крепко зажата в руке. Едва мелькнет в стекле прибора рожденное солнцем изображение — и он установит фокус, сразу же кассета будет вставлена в аппарат. В результате удачного снимка будет доказано существование, более того — возможность сохранения и передачи теней минувшего. Решительный поворот в трудном пути — дальше он пойдет уже не один! Что значат усилия одиночки в сравнении с дружной работой многих людей, очень хорошо известно каждому, кто пытался проложить новые дороги в науке или технике.

Никитин посмотрел на часы — два часа двадцать три минуты — и прильнул к стеклу, вцепившись в поворотный винт призмы. Снова медленно потянулось время,

но сейчас ожидание было напряженным — ученый знал, что увидит минувшее.

Медленно, очень медленно солнце изменяло свое положение на небе. Никитин забыл про все окружающее. Вот свет коснулся плиты, порождая неясные отблески.

Вот серая согнутая тень направо постепенно вырисовалась четким контуром человеческой фигуры. Косая линия обрисовала копые.

Вобрав голову в широкие плечи со вздутыми, напряженными мускулами, человек уселся, пригнувшись, выставил вперед длинное копые. Широкое, изборожденное морщинами лицо было наполовину повернуто к Никитину, но глаза устремлены на синеющие вдали округлые, заросшие лесами горы, открывавшиеся за обрывом площадки. Никитин успел заметить густые всклопоченные волосы, обрамлявшие довольно высокий лоб, выдающиеся скулы, массивные челюсти. Ученому показалось, что на лице человека он прочел тревожное и мучительное раздумье, словно тот в самом деле пытался заглянуть в будущее. Все это Никитин рассмотрел за несколько мгновений. Несмотря на жгучий интерес к другим деталям картины, палеонтолог не мог разрешить себе дольше всматриваться в аппарат, ему нужен был снимок. Никитин быстро вставил кассету и схватился за шибер, чтобы открыть пластинку, но замер на месте, так и не сделав нужного движения. Блеск гладкой стены внезапно потух, вокруг потемнело, и, оглянувшись, Никитин увидел массивную длинную тучу, медленно наползавшую на солнце. А за ней сомкнутыми рядами, оседающая на вершины окрестных сопков, ползли из-за гор тяжкие свинцовые облака того зловещего лилового оттенка, который предвещает сильный снегопад.

С отчаянием в душе ученый осматривал небо. Если пойдет снег, то он больше ничего не увидит — тончайшие отпечатки света неминуемо будут стерты.

Затаив смутную надежду, Никитин покрыл аппарат плащом, оставив его на месте до следующего дня, и апатично поплелся к палаткам. Нелепая случайность, новая неудача отравили сознание, обессилили тело.

Спутники Никитина притихли, глядя на подавленно-го, молча сидящего начальника; они переговаривались шепотом, как у постели тяжелобольного.

В скалах жалобно завывал ветер, закрутились крупные хлопья снега.

Никитин налил себе спирту, выпил и приказал принести сверху аппарат. Не только погибла всякая надежда увидеть снова образ древнего человека—больше нельзя было допускать ни одного лишнего часа задержки. Приходилось взять себя в руки: запоздание могло привести к тому, что карбаз попадет в ледостав и застрянет в замерзшей реке ниже порогов, среди безлюдной тайги.

Наутро, едва лишь на небе резко выступили вершины сопок, люди засуетились, укладывая вещи.

Причальный канат тихо плеснул, упав в воду; карбаз едва заметно продвигался к пенной границе главной струи. Вдруг словно чудовищная мягкая лапа подхватила судно. Карбаз рванулся вперед и понесся в ущелье, где исчез, прыгая, как щепка, в реве и пене острых волн.

Настольная лампа с глубоким колпаком бросала круг света на заваленный книгами стол. В большом кабинете было полутемно. Никитин в напряженном раздумье неподвижно сидел у стола.

Три года, как он не знает покоя... Прежняя работа кажется ему теперь такой спокойной и ясной, так манит снова отдаться ей целиком! А он не может и разрывается между старым и новым, стараясь добросовестно выполнять свои прежние задачи, в то время как вся душа его — в погоне за тенью минувшего. За эти три года еще дважды минувшее было у него в руках, два раза он видел то, что не дано было никому увидеть. И он так же далек от выполнения задачи, как в тот незабываемый момент в горах Аркарлы. И аппарат... он не годится. Он слишком груб.

Должно быть, он сделал ошибку в прошлом. Человек не должен быть одинок...

Никитин зажег верхний свет и, шурясь, стал собирать разбросанные бумаги. Бросил взгляд на свой прибор, стоявший на отдельном столике, потертый и исцарапанный в путешествиях. На секунду сравнил себя с ним, горько усмехнулся и вышел.

В музее было темно. Кабинет Никитина находился в конце огромного зала, заполненного витринами и скелетами вымерших животных. Выйдя из освещенной комнаты, Никитин как бы ослеп. Он знал проходы между витринами, но знал также, что в нескольких местах в проходе выступают рога и оскаленные пасти скелетов, стоя-

щих на открытых платформах. В темноте легко было ушибиться или, что еще хуже, разбить хрупкие кости.

Ученый остановился и стал ждать, пока глаза привыкнут к темноте. Вот едва заметно заблестели стекла витрин, но темные кости скелетов сливались с темным пространством зала, который казался пустым. Многолетней привычкой Никитин чувствовал незримое присутствие мертвого населения музея. Странное впечатление овладело палеонтологом — словно зал был наполнен призраками, ощущаемыми, но невидимыми.

Никитин двинулся вперед, ворча на несовершенство собственных глаз. Он знает все, что здесь находится, знает, что где стоит, и ничего не видит. Не хуже тени минувшего! Скелеты существуют и в то же время исчезли — для глаз слишком мало света...

И вдруг Никитин остановился — сравнение с тенью минувшего поразило его. Как он был наивен, надеясь только на свои глаза! Почему он упустил из виду, что тончайшие отпечатки световых волн могут в огромном большинстве случаев отражать лишь ничтожные количества света, количества, не воспринимаемые обычным зрением? Потому и искусственное освещение не могло вызвать вполне отчетливо запечатлевшиеся картины минувшего. А сколько, значит, пропущено более слабых отпечатков!

Никитину стало стыдно. Он, ученый, действовал при создании своего прибора кустарно, по-дилетантски! Он забыл про мощь современной техники, обладающей приборами, чувствующими самые ничтожные количества света!

Медленно переступая, двигался палеонтолог по темному залу музея, и с каждым шагом крепло представление о новой конструкции его аппарата. Он обратится снова к физикам и техникам. Ему нужно получить восприятие отраженного от снимка света не непосредственно, а через комбинацию чувствительных фотоэлементов, перевести свет в электрический ток, усилить его и снова превратить в свет, уже видимый глазом.

Затруднение предвидится в точной передаче цветов, но тут можно комбинировать. Можно дать усиление контуров, а цвет получится из непосредственного отражения.

Никитин задел плечом витрину и шарахнулся в сторону... Да, тут есть над чем подумать, но, кажется, ключ к решению вопроса найден. «Если удастся создать такой аппарат, — продолжал думать ученый, — мне ничего не

страшно. На открытом воздухе я делаю навес, даю искусственный свет. А под землей и говорить нечего! Тогда тень минувшего — тут! — Палеонтолог сжал пальцы в кулак.— С несколькими фотоэлементами я могу менять настройку аппарата, повышая или понижая чувствительность к разным лучам спектра».

...Веселый молодой машинист придвинулся поближе к инженеру, провожавшему в шахту группу явно наземных людей.

— Как их, Андрей Яковлевич? — шепотом спросил он.— С ветерком или с подпояской? — Машинист выразительно подмигнул на пришедших.

— Что ты, что ты! — ужаснулся инженер.— Это ведь знаменитый ученый! — Он украдкой указал на замешкавшегося Никитина.— И аппарат их повредишь... Посмей только! — угрожающе закончил инженер.

Никитин, отличавшийся тонким слухом, расслышал весь этот короткий и непонятный для непосвященных разговор и поспешил вмешаться.

— Давайте и с ветерком и с подпояской! — громко обратился он к машинисту.— Ни мне, ни аппарату ничего не сделается. Люблю вспомнить старые времена! А моим ребятам полезно — пусть привыкают.

Смутившийся машинист удивленно посмотрел на ученого, потом широко улыбнулся и кивнул головой.

Клеть медленно начала спускаться и внезапно рухнула вниз, точно оборвался канат. Ноги отделились от пола, сердце, казалось, подступило к горлу, дыхание оборвалось. Падение клетки все ускорялось, затем так же внезапно и резко замедлилось. Огромная тяжесть придавила людей к полу. словно невидимые руки перетянули каждого широким, неумолимо стягивающим поясом.

Это ощущение длилось не более секунды, и снова пол ушел из-под ног, тело стало невесомым, а замирающее сердце устремилось вверх.

— Ох! — вскрикнул помощник Никитина.

Но клеть уже плавно замедляла свой спуск и остановилась на одном из наиболее глубоких горизонтов шахты.

— Чтоб им пусто было! — выругался помощник, стараясь унять дрожь в коленях.

Никитин задорно расхохотался, к негодованию своих перепуганных сотрудников.

Палеонтолог спускался в шахту с небывалой уверенностью в успехе. Причиной этой уверенности был и заново переконструированный аппарат, и то, что здесь горняки обнаружили слой окаменевшей смолы, подобный черному зеркалу, впервые показавшему ему призрак динозавра, и... только что полученное письмо.

Никитин улыбнулся, перебирая в памяти немногие строки... Писала Мириам, не забывшая ни его, ни тени минувшего.

Она писала, что через год ей удалось снова побывать на асфальтовом месторождении. Черное зеркало оказалось разрушенным, но ничто не могло разрушить впечатления от призрака динозавра, глубоко запавшего ей в душу... Ей удалось заинтересовать тенью минувшего талантливое исследователя Каржаева. И теперь у них ведутся поиски слоев, сохранивших отпечатки световых полн.

Она не писала ему раньше потому, что это не было ему нужно — тут Никитин почувствовал скрытый между строк упрек, — но она все время следила за его работой и верила в то, что он доведет дело до конца. А теперь они нашли интересное наслоение и просят его приехать к ним.

Никитин еще не успел осознать все значение для него письма Мириам. Слишком мало времени было у него для размышлений в последний день подготовки к исследованию. Только вернулась к нему легкость прежних молодых дней, и эта возвращенная молодость удивляла окружающих его людей.

...Из длинного старого штрека тянуло пощипывающей горло гарью, тихо шелестел всасываемый мощным вентилятором воздух. Никитин спешил приступить к испытанию сразу после отпалки* заложенных по его указанию шпуров**. Здесь, в старых выработках, в стороне от оживленного движения электровозов, грохота вагонеток, мелькания фонарей, было пусто и тихо. Беспросветный подземный мрак, плотно обняв идущих, сливался с безымянной чернотой угольных стен.

Где-то едва слышно сочилась вода, далеко в стороне мерно потрескивала крепь, предупреждая горняков о гнетом давлении породы.

* Отпалка — взрыв шнура.

** Шпур — скважина глубиной до двух метров, пробуренная в горной породе для закладки взрывчатого вещества.

— Кто показал это замечательное место? — вполголоса спросил Никитин шедшего рядом помощника.

Тот кивнул на маленького старика, замыкавшего шествие вместе с инженером.

— Он редкостный горный мастер, знает каждый слой во всех забоях. Если бы не он, потребовались бы годы поисков в этих бесконечных выработках...

Палеонтолог посмотрел с немой благодарностью на старого горняка.

Впереди забелела чистая колоннада новых крепких столбов. Уже по их числу можно было догадаться, что ход заканчивался обширной камерой. Действительно, черные стены разошлись, открывая большое пустое пространство с высоким потолком.

Помощники Никитина замешкались, протаскивая громоздкий аппарат между столбами. Инженер выступил вперед и высоко поднял сильный фонарь. Истерзанная взрывами толща углистых сланцев окружила исследователей, грозя бесчисленными острыми выступами и отсвечивая сталью на гладких сколах...

В самом начале камеры по обеим сторонам стояли чуть покачнувшиеся толстые рубчатые стволы. Вросшие одной стороной в массу угля, они выделялись лишь ромбическим узором коры. На расчищенной поверхности пола распластались, словно громадные пауки, могучие пни с разветвленными корнями. Корни стлались по древней почве, служившей им опорой в бесконечно давно минувшие времена. Все пни были срезаны под один уровень — уровень воды в затопленном каменноугольном лесу. В уцелевших больших стволах мрачно зияли большие дупла.

Участок мертвого, превращенного в уголь и известь леса подавлял глубокой древностью, как будто над головами людей висела не двухсотметровая толща пород, а почти ощутимая глубина сотен миллионов лет, пронесшихся над этими стволами и пнями.

В конце камеры гряда обвалившихся сланцев обозначала место произведенного взрыва. Над ними блестела косая черно-бурая плита — затвердевший натек битума. Это и был намеченный к испытанию прослой, отлагавшийся в крутом склоне небольшого холма в каменноугольном лесу.

Скоро магниевая лампа уперлась ярким белым лучом в плиту, и Никитин установил фокус отражатель-

ной камеры. Ученый, волнуясь, кашлянул и хрипло сказал:

— Будем пробовать...

Что скажет сейчас эта так тщательно выбранная поверхность слоя? Палеонтолог включил фотоэлементы и усилил ток. Повернув винт призмы, Никитин снова посмотрел в аппарат: порода уже не была черной — на прозрачном сером фоне проступали неясные вертикальные штрихи.

Терпеливо и осторожно ученый регулировал прибор, пока с невиданной ясностью не проявилась четвертая тень минувшего, открытая им, — тень, которую теперь увидят тысячи людей!

Никитин смотрел на прогалину в чаще затопленного леса. Бледно-серые стволы деревьев с насеченной ромбиками корой обступили маслянистую черную воду. Вверху каждое дерево разделялось на две расходившиеся под углом толстые ветки, исчезающие в густой тени плотно стеснившихся крон. Толстый чешуйчатый ствол лежал поперек воды, упав на небольшой бугорок, выступавший налево. Бугорок зарос странными растениями, похожими на грибы, высокие и узкие фиолетовые бокалы которых усеивали мокрую красную почву. Мясистые отвороты чашечек каждого гриба показывали маслянистую желтую внутренность. За бугорком, над резко изогнутыми стеблями без листьев, виднелся просвет, заполненный вдали мутным, слабо розовеющим туманом. Впереди из тумана торчал какой-то искривленный голый сук, а на нем съежилось, втянув голову, непонятное животное существо.

Всматриваясь в изображение, Никитин вздрогнул — из-под фиолетовых грибов, скрывая тело в их гуще, выступала широкая параболическая голова, покрытая слизистой лиловато-бурой кожей. Огромные выпуклые глаза смотрели прямо на Никитина, бессмысленно, непреклонно и злобно. Крупные зубы выступали из нижней челюсти, обнажаясь во впадинах края морды. Справа лился, освещая всю картину, какой-то тусклый жемчужный свет. Освещенный воздух казался черноватым, словно через закопченное, но прозрачное стекло...

Долго смотрел Никитин в это волшебное окно в прошлое, в жизнь мира каменноугольной эпохи. Триста пятьдесят миллионов лет легли уже между настоящим и тем временем, когда в редкой игре случая световые вол-

ны запечатлели свой снимок. Невероятно отчетливо виднелись злобные глаза невиданной твари, фиолетовые грибы, неподвижная вода и странный серый воздух. А в шахте слабо шипел прожектор и слышалось прерывистое дыхание людей...

Никитину показалось, что он сходит с ума. Он отшатнулся от аппарата. Реальные, грубо изломанные угольные стены, древние пни — может быть, остатки тех самых деревьев, которые сейчас, живые и стройные, видны в его аппарат... Сосредоточенные лица окружающих людей... Овладев собой, ученый поспешно приготовил камеру и сделал несколько цветных снимков.

На столе высилась стопка оттисков статьи Никитина, и к каждому была приложена цветная репродукция поименной тени прошлого. Надписав последний из назначенных к рассылке оттисков, палеонтолог вздохнул.

Давно уже не было ему так легко и радостно.

Теперь по его дороге пойдут многие, более молодые, может быть, более талантливые. Раскрыта первая страница тайной книги природы. Кончилось одиночество на долгом и трудном пути! Но одиночество — оно было только в познании... В работе ему помогали многие десятки людей, не говоря уж о его сотрудниках, совсем чужие, казалось бы, люди, далекие от науки...

Вереница знакомых лиц прошла перед мысленным взором ученого. Вот они, горняки, рабочие каменоломен, колхозники, охотники. Все они доверчиво и бескорыстно, не спрашивая о конечной цели, уважая в нем известного ученого, помогли ему найти и схватить тень минувшего.

Значит, он работал и пользовался их помощью в долг... Да, и теперь этот долг уплачен — вот откуда громадное облегчение!

Никитин вспомнил, как в этом же кабинете он не раз тосковал и сомневался в правильности своего жизненного пути.

Ученый улыбнулся, быстро набросал текст телеграммы Мириам, извещавшей ее о завтрашнем выезде. Уверенность в дальнейшем пути переполняла его радостью. Нет, он не сделал ошибки, не зря потратил годы на трудную борьбу с загадкой природы!

АЛМАЗНАЯ ТРУБА

Начальник главка раздраженно отодвинул наполненную окурками пепельницу и негодуяще посмотрел на собеседника.

Тот, худой, маленький, седобородый, утонул в большом кожаном кресле, сжавшись, подобрав ноги. Глаза его поблескивали сквозь очки непримиримым упорством.

— Третий год работает Эвенкийская экспедиция — и никаких результатов! — бросил начальник.

— Как — никаких? А кимберлиты?*

— Вот, кстати, о кимберлитах. Вы знаете, что академик Чернявский дал о них отрицательное заключение? Он не признает эту породу за кимберлит. И вообще, Сергей Яковлевич, лично мне все ясно. Это ведь огромная, почти неисследованная страна. Экспедиция стоит дорого, особенно после того, как вы прибавили к ней маятниковую партию. Результатов же нет. Я категорически настаиваю на прекращении работ! У нашего института много более неотложных задач, и расходование крупных ассигнований на такого рода изыскания идет в ущерб практике. На этом кончим...

Начальник главка, недовольно морщась, бросил папиросу. Сидевший в кресле директор института, профессор Ивашенцев, резко выпрямился:

— Вы прекращаете дело, которое должно принести стране миллионы, и не только экономии, но и прямых доходов от экспорта!

— Это дело принесло пока только разочарования. Впрочем, я уже сказал, что для меня все ясно. Решение мое окончательное.

Начальник встал. Рядом с ним профессор казался совсем маленьким и беззащитным. Он молча поднялся с

* Кимберлит — плотная туфообразная горная порода из группы ультрасосновных, то есть с малым содержанием кварца и увеличенным — железа и магния.

кресла, поправил очки. Потом пробормотал что-то невнятное и протянул начальнику круглый камень.

— Я уже видел это,— сухо сказал тот.— «Река Мойеро, река Мойеро!» Три года слышу! И эту гриквантовую породу* вы мне тоже показывали.

Профессор сгорбился над портфелем, застегивая непослушный замок.

Начальнику стало жаль ученого. Он подошел к Ивашенцеву:

— Сергей Яковлевич, вы должны признать мою правоту. Но, извините, я не понимаю вашего упорства в этом вопросе...

— Всякой работой,— перебил Ивашенцев,— легче управлять, когда относишься к ней беспристрастно. А я не могу быть беспристрастным. Понимаете ли, я уверен в этом деле горячо, всей душой! Только огромные неисследованные, малодоступные пространства стоят между теоретическим заключением и реальным доказательством. Вы скажете, конечно, что этого уже достаточно для провала дела. Да, знаю: государственные деньги и все такое!..— начал сердиться профессор, хотя начальник и не думал возражать.— Железный закон экономики знаете? Чтобы миллион добыть, нужно семьсот тысяч затратить! А мы ведь десятки, сотни миллионов ожидаем...

С этими словами он направился к дверям.

Начальник посмотрел ему вслед и покачал головой.

Вернувшись в институт, профессор Ивашенцев приказал секретарю немедленно вызвать к нему начальника производственного отдела.

— Какие у вас последние сведения от Чурилина? — спросил он, когда тот вошел в кабинет.

— Последние сведения были месяц тому назад, Сергей Яковлевич.

— Это я знаю. А новостей никаких нет?

— Нет, пока ничего.

— Где они сейчас, по-вашему, могут быть?

— Чурилин сообщал о приходе на озеро Чирингда, на факторию. Они выступили вниз по Чирингде на Хатангу, а оттуда должны были перевалить вершину Мойеро. Пожалуй, теперь они уже закончили этот маршрут

* Гриквант, гриквантовая порода — порода из смеси гранита и оливина из очень глубоких зон земной коры.

и могут подходить к Туринской культбазе — таков был их план. Но план — одно, а тайга — другое...

— Это мне хорошо известно, благодарю вас.

Оставшись один, профессор Ивашенцев откинулся на спинку кресла и задумался. Перед его мысленным взором мелькнула карта огромной области между Енисеем и Леной. Где-то в центре ее, в хаосе невысоких гор, прорезанных бесчисленными речками и покрытых сплошным болотистым лесом, находилась экспедиция, посланная им... мечтой. Профессор достал из портфеля камень, который он показывал начальнику главка. Небольшой кусок темной породы был плотен и тяжел. На грубозернистой поверхности скола мелкими каплями сверкали многочисленные кристаллы пироба — красного граната — и чистой, свежей зеленью отливали включения оливина. Эти кристаллы отчетливо выделялись на светлом голубовато-зеленом фоне массы хромдиоксида. Кое-где сверкали крошечные васильковые огоньки дистена*. Порода очаровывала глаз пестрым сочетанием чистых цветов. Профессор повернул образец другой стороной, где на мазке белой эмалевой краски стояла надпись: «Река Мойеро, южный склон Анаонских гор, экспедиция Толмачева, 1915».

Ивашенцев вздохнул: «Ведь это типичный гриквэит Южной Африки! Ни в Анаонских горах, ни в долине Мойеро не удалось обнаружить даже признаков подобных пород. И в этом году опять неудача: «Чурилин молчит. Значит, мечта не сбылась».

Ивашенцев взвесил камень на руке и запер в нижний ящик письменного стола. Потом решительно снял трубку внутреннего телефона:

— Отправьте Чурилину телеграмму: «Отсутствию результатов ликвидируйте экспедицию возвращайтесь немедленно...» Да, я подпишу сам, иначе он не послушает. Куда? На Туринскую культбазу. Ну, разумеется, по радио, через Диксон.

Звякнул рычаг телефона, оборвав разговор и все возможности осуществления давнишней мечты Ивашенцева. Он снял очки и прикрыл глаза рукой.

Ивашенцев мечтал хотя бы на склоне лет добиться постановки исследования глубоких зон земной коры путем бурения скважин особой мощности. Но даже первые

* Хромдиоксид и дистен — породообразующие минералы глубинных основных пород.

шаги к решению задачи — погоня за мечтой, скрытой в лесах и болотах Средне-Сибирского плоскогорья, — оказались напрасными. Ничему, как видно, не научила жизнь, и на шестом десятке профессор остался мечтателем, стремящимся к слишком большому размаху исследований.

Радиоволны понеслись из Москвы на северо-восток — над тундрами Севера, холодными просторами Ледовитого океана — и достигли высоких мачт радиостанции на голом острове. Через два часа новые волны промчались отсюда на юг, миновали хребет Бырранга, болота Пясины и пронесли над бесконечными лесами. На Туринской радиостанции застучал аппарат, и радиоволны запечатлелись в короткой фразе, четко написанной на голубом бланке.

— У тебя есть кто-нибудь из корвунчанских эвенков, Вася?

— А что?

— Срочная телеграмма экспедиции Чурилина. Они сейчас на вершине Корвунчана.

— Корвунчанских нет, однако завтра поедет Иннокентий к себе на Бугарихту. Парень хороший, пятьдесят километров лишних сделает, особенно если ты ему скажешь.

— Пойдем вместе его искать, я сразу и отдам ему телеграмму.

* * *

На широкую долину речки Никуорак, в трехстах километрах от Туринской культбазы, опускались сумерки. Пологие склоны щетинились еловым лесом, угрюмо черневшим внизу. На плоском холме, загромаждавшем с севера круглое болото, было еще совсем светло. Между редкими лиственницами стояли четыре темно-зеленые палатки, а перед ними на ровной площадке, покрытой светло-серым оленьим мхом, горел костер. Огня почти не было видно. Густой коричневый дым с резким, одуряющим запахом багульника расплывался в спокойном воздухе. По правую сторону площадки возвышалась груда вьючных ящиков, сум, тюков и седел. Туча мошки и комаров висела вокруг костра, за спинами людей. Сидевшие у костра старались держать головы на грани дыма и чистого воз-

духа, что давало возможность дышать и в то же время избавляло от упорно лезущего в глаза, нос и уши гноса.

— Чай готов! — провозгласил черный, насквозь пропитанный дымом человек и снял с огня большое ведро, наполненное темно-бурой жидкостью.

Каждый из сидевших у костра вооружился объемистой кружкой и взял по огромной тунгусской лепешке, тяжелой и плотной, — своеобразный хлебный концентрат. Мошка покрывала поверхность горячего чая серым налетом, который приходилось сдувать через край кружки. Люди с наслаждением прихлебывали чай, перебиваясь короткими фразами.

В редкое позвякивание ботал разбредшихся внизу лошадей вплелся размеренный отдаленный звон.

— Слушайте, товарищи! Никак наши идут.

Молодежь бросилась к палаткам за ружьями. Встреча отрядов одной экспедиции после долгой разлуки всегда является торжественным моментом в жизни таежных исследователей. Сумерки еще не успели сгуститься, как на большой прогалине северного склона водораздела появилась цепочка худых утомленных лошадей, вяло поднимающихся вверх. Ободранные выюки, обвязанные намочалившимися веревками, свидетельствовали о долгом пути через густые заросли.

Загремели выстрелы. Прибывшие ответили нестройным залпом. К палаткам подъехал угрюмый плотный человек — геофизик Самарин, начальник маятникового отряда. Он грузно слез с лошади. Шея его была кое-как обмотана грязным бинтом. Он поднял с лица черную сетку и шагнул навстречу начальнику экспедиции Чурилину — высокому, гладко выбритому человеку.

— Привет, товарищ Чурилин, — глухо сказал Самарин в ответ на дружеское приветствие начальника.

— Вот хорошо, как раз к чаю! Ну, что интересного?

— Кое-что есть. А пришлось тяжело... Я заболел, трех лошадей потеряли...

— Что с вами?

— Дрянь какая-то — мошка разъела, кругом воспаление.

— Чесались?

— Еще бы не чесаться! — сердито проворчал Самарин в ответ на укоризненный взгляд Чурилина. — У меня мошка не такая дубленая, как у вас. Теперь не знаю, как пойду в следующий маршрут.

Чурилин распорядился выдать всем понемногу из драгоценного запаса спирта. Прибывшие также расположились у костра. Громкие, веселые голоса перебивали друг друга, люди рассказывали о разнообразных приключениях. Начальник экспедиции уселся рядом с геофизиком, который, выпив чаю и закусив, немного обмяк и пришел в себя.

— Модест Африканович, жажду ваших сообщений!

Самарин рассказал о пройденном им маршруте, широким углом охватывавшем район от реки Джеромо до вершины Вилючана. На этом пути удалось сделать больше двадцати измерений силы тяжести*.

— Везде довольно большие положительные аномалии** — шестьдесят, восемьдесят. Но вот в одном месте я сделал даже три измерения подряд на небольших расстояниях. Получилось... — Геофизик сделал паузу.

— Не томите, Модест Африканович! — быстро сказал Чурилин.

Самарин довольно усмехнулся и продолжал:

— Получилось двести...

— Ого!

— Погодите: двести семьдесят и триста пять!

— Где? — взволнованно воскликнул Чурилин.

— Амнунначи... Обширное низкое плато, сплошная болотина, к западу от Мойерокана.

— Мойерокана! Вот тебе и на!

Разговоры у костра стихли. Вновь прибывшие разошлись спать. Только сотрудники Чурилина, отдохнувшие за четырехдневную стоянку, остались у костра, с интересом прислушиваясь к разговору начальника с геофизиком.

— Ну, я замучил вас, Модест Африканович, — сказал Чурилин, — извините меня. Идите скорее отдыхать. Мы-то здесь уже так откормились, что не ложимся раньше полуночи.

Самарин неохотно поднялся и, стоя на коленях, свернул последнюю папиросу.

Чурилин некоторое время пристально всматривался в его усталое опухшее лицо.

— Хорошо быть геофизиком, Модест Африканович, — сказал он, — точные задачи, ясные ответы — вот как у вас, например.

* Сила тяжести — подразумевается сила земного тяготения.

** Положительные аномалии — местные увеличения силы тяжести.

— Нашли чему завидовать!

Лицо Чурилина было серьезно.

— Я сравнивал мои и ваши исследования. Я восхищен могуществом геофизики! Я плохой физик и еще худший математик. Может быть, поэтому, как всякая незнакомая научная дисциплина, ваша работа представляется мне гораздо более значительной, чем моя. Посмотрите хотя бы со стороны: прибор Штюкрата* устанавливают на намеченной точке. Внутри него мерно качаются два коротких тяжелых маятника, снабженных зеркальцами, отражающими свет от крохотных лампочек. И это все. В дальнейшем нужно только наблюдать совпадения периода качания маятника с ходом астрономических часов — хронометров. Впрочем, конечно, — спохватился Чурилин, — до этого еще нужно тщательно выверить прибор, провести наблюдение звезд для проверки часов. Но, в общем-то, как гениально просто! Качается маятник и едва уловимо отзывается на увеличение или уменьшение силы тяжести в данном месте. А в руках геофизика это сказочный меч, незримо рассекающий на несколько километров в глубь толщи горных пород, это глаз, показывающий недоступные подземные глубины.

Самарин бросил в костер окурки и усмехнулся:

— Я, наоборот, ясно представляю себе всю беспомощность геофизики, обилие неразрешимых еще вопросов, несовершенство методов. И ваша геология кажется мне более ясной, более могущественной наукой, имеющей в своем распоряжении неизмеримо большее число фактов... Ну, я иду спать.

С уходом геофизика у костра наступило молчание. Столб пламени в высоте окаймлялся звездным венцом, едва слышно шипели дымокуры, и неумолимо ныли комары. Из долины по-прежнему доносилось позвякивание ботал лошадей.

— Максим Михайлович, неужели геофизика может легко решить то, над чем мы так долго бьемся? — осторожно спросил молодой геолог.

Чурилин невесело усмехнулся:

— Я говорил о могуществе геофизики не в этом смысле. Мы ищем алмазные месторождения. Почему мы ищем их именно здесь? Пять лет назад наш директор первый об-

* Прибор Штюкрата — маятниковый прибор для измерения самых незначительных колебаний силы тяжести.

ратил внимание на необычайное сходство геологии здешних мест и Южной Африки. Средне-Сибирское и Южно-Африканское плоскогорья обладают поразительно сходным геологическим строением. Там и здесь на поверхность прорвались колоссальные извержения тяжелых глубинных пород. Сергей Яковлевич считает, что извержения были одновременными у нас и в Южной Африке, где они закончились мощными взрывами скопившихся на громадной глубине газов. Эти взрывы пробили в толще пород множество узких труб, являющихся месторождением алмазов. На пространстве от Капа до Конго известны сотни таких труб, и, несомненно, огромное их количество еще скрыто под песками пустыни Калахари. Алмазов хватило бы на весь мир. А вы знаете, как необходимы они в промышленности и для нашего дела — в бурении. Крупные компании скупили все месторождения. Из десятка богатых труб разрабатываются только пять, остальные обнесены проводами высокого напряжения и охраняются часовыми. Оно и понятно: пустить в разработку все месторождения — значит резко удешевить алмазы. В Советском Союзе не обнаружено до сих пор сколько-нибудь значительных месторождений, и если нам удастся отыскать подобные трубы, сами понимаете, как это важно! Здесь все удивительно сходно, кроме алмазов, с Южной Африкой — и платина, и железо, и никель, и хром; на этом Средне-Сибирском плоскогорье один и тот же тип минерализации. Сергей Яковлевич подметил, что те районы в Южной Африке, в которых обнаружены алмазоносные трубы, отличаются положительными аномалиями силы тяжести. Она больше нормальной, потому что из глубин к поверхности поднимаются массы тяжелых, плотных пород — перидотитов* и гриквантов. Аномалии доходят до ста двадцати единиц. Здесь в первый же год работы с маятником мы сразу уловили аномалии от сорока до сотни, и теперь... теперь вот обнаружили аномалии до трехсот единиц. Значит, здесь мы имеем большие скопления тяжелых пород. Но до решения нашего вопроса еще далеко. Маятник подтвердил нам еще одну черту сходства с Южной Африкой и дал косвенные указания на районы, в которых могут быть обнаружены месторождения алмазов. Я говорю «могут

* Перидотиты — глубинные изверженные породы, состоящие преимущественно из оливина (ультраосновные).

бить», но ведь столько же шансов, что и не будут обнаружены. В Южной Африке легко искать — там сухие степи, почти без растительного покрова, с энергичным размывом. Первые алмазы и были найдены в реках. А у нас здесь — море лесов, болота, вечная мерзлота, ослабляющая размыв. Все закрыто. И пока за три года работы мы имеем то же, с чего начали: только таинственный кусок грикванта, найденный в гальке реки Мойеро! Эта порода из смеси граната, оливины и диоксида встречается только в алмазных трубах в виде округлых кусков в голубой земле, содержащей алмазы. И вот мы прошли всю верхнюю Мойеро, обследовали множество ключей и речек бассейна...

У потухавшего костра наступило молчание. Собеседники расходились один за другим. Чурилин сидел, глубоко задумавшись. Последние вспышки пламени бросали красные отблески на его сухое индейское лицо. Против Чурилина сидел, облокотившись на вычурную суму и спокойно посасывая трубку, чернобородый, похожий на цыгана его помощник Султанов.

Ковш Большой Медведицы перекосялся в черном небе — подступало глухое время ночи.

«До окончания полевого сезона осталось не больше месяца, — думал Чурилин, — еще один короткий маршрут... И если вернуться опять с неудачей, наверное, работы будут прекращены. В этих необъятных залесенных горах нужны десятки партий, десятки лет исследования. Но, во всяком случае, необходимо задержать экспедицию как можно дольше, нужно разбить ее на маленькие группы, чтобы успеть выполнить побольше маршрутов».

На южном склоне посыпались мелкие камни. Чурилин и его помощник насторожились. Неясный шум приближался. Затем в световой круг костра из темноты просунулась собачья морда с острыми, торчащими ушами. Послышалось тяжелое дыхание верхового оленя. К костру подъехал эвенк с пальмой* в руке. Опираясь на нее, он легко спрыгнул с оленя, и олень сейчас же лег. Круглое лицо эвенка улыбалось.

Он осведомился, где начальник, и протянул Чурилину конверт с огромной сургучной печатью.

Чурилин поблагодарил вестника, пригласил поеть и обещал два кирпичика чая. Разворошив костер, Чурилин

* П а л ь м а — тяжелый нож-секач на длинной рукояти.

вскрыл конверт и, развернув листок голубой бумаги, прочитал. Глаза его сузились и заблестели недобрый огоньком.

Султанов внимательно посмотрел на него и вполголоса спросил:

— Плохие вести, Максим Михайлович?

Вместо ответа Чурилин протянул ему листок. Султанов прочитал и закашлялся, поперхнувшись слишком глубокой затяжкой. Оба они молчали. Потом Султанов тихо сказал, глядя поверх костра в ночь:

— Что ж, это конец...

— Посмотрим! — ответил Чурилин. — Только молчание, Арсений Павлович.

Чурилин взял телеграмму и бросил в костер. Затем они уселись у костра. Султанов достал листок бумаги и начал покрывать его вычислениями. Заготовленные к утру дрова кончились, когда Чурилин и Султанов ушли от угасавшего костра.

* * *

На рассвете следующего дня Чурилин поднял всех затемно. Два каравана разошлись в разные стороны. Один, в двадцать восемь лошадей, растянулся длинной цепочкой между елями в долине Никуорака, направляясь с веселыми песнями на юг, домой. Оставшиеся четыре человека — Чурилин, Султанов, рабочий Петр и проводник Николай — с пятью лошадьми, навьюченными до предела, дали два прощальных залпа, поглядели несколько минут вслед уходящим и стали спускаться с холма в противоположную сторону. Там, за рядами однообразно расплывчатых гор, чернели кедровники высокого плато в вершине Люлюктакана...

* * *

Движение вьючного каравана сквозь тайгу, поход через неисследованные области, «белые пятна» географических карт... Казалось бы, что может быть романтичнее покорения неизвестных пространств! На самом же деле только тщательная организация и твердая дисциплина могут обеспечить успех подобного предприятия. А это значит, что обычно не случается ничего непредвиденного: день за днем тянется размеренная, однообразная тяжелая работа, рассчитанная далеко вперед по часам.

Один день отличается от другого чаще всего числом преодоленных препятствий и количеством пройденных километров. В тяжелом походе душа спит, впечатления новых мест скользят мимо, едва задевая чувства, и механически отмечаются памятью. Потом, в более легкие дни или после вечернего отдыха, а еще вернее — после окончания похода, в памяти возникает вереница воспринятых впечатлений. Пережитая близость с природой, обогащая исследователя, заставляет его быстро забыть все невзгоды и снова манит, зовет к себе.

Наступили жаркие дни. Солнце поливало тяжелым, густым зноем мягкую, мшистую поверхность болот. Его свет казался мутным от влажных испарений перегнившего мха. Резкий запах багульника походил на запах перебродившего пряного вина. Зной не обманывал: обостренные длительным общением с природой чувства угадывали приближение короткой северной осени. Едва уловимый отпечаток ее лежал на всем: на слегка побуревшей хвое лиственниц, горестно опущенных ветках берез и рябин, шляпках древесных грибов, потерявших свою бархатистую свежесть...

Комары почти исчезли. Зато мошка, словно предчувствуя грядущую гибель, неистовствовала, сбиваясь в мерцающие рыжевато-серые облака.

Маленький караван Чурилина уже давно шел через обширные болота Хорпичекана.

В сердце тайги царит душная неподвижность. Ветер, отгоняющий назойливого гнуса, здесь редкий и желанный гость. На ходу мошка еще не страшна — она облаком вьется сзади путников. Но стоит остановиться, чтобы осмотреть породу, записать наблюдения или поднять упавшую лошадь, и туча мошки мгновенно окутывает нас, липнет к потному лицу, лезет в глаза, ноздри, уши, в воротник. Мошка забирается и под одежду, разъедает кожу под поясом, на сгибах колен и щиколотках, доводит до слез нервных и нетерпеливых людей. Поэтому мошка является своеобразным «ускорителем», определяющим убыстренный темп работы на случайных остановках и сводящим к минимуму всякие задержки. И только во время длительного отдыха, когда разложены дымоуры или поставлена палатка, появляется возможность неторопливо оглянуться на пройденный путь.

Чвакали копыта лошадей, поскрипывали ремни и кольца вьюков на седлах. Громадное болото скрывалось

вперед в зеленоватой дымке испарений. Покосившиеся столбы сухих лиственниц возвышались над редкими и чахлыми елями. Сосредоточенное молчание, в котором двигался отряд, иногда прерывалось вялой бранью по адресу того или другого коня. Впрочем, лошади, хорошо освоившиеся с тайгой за лето, трудились добросовестно. Понури́в головы, они шли цепочкой без всяких поводков. Эвенк Николай в мягких мокрых олочах, с палкой в руке и берданой за плечами, как-то особенно расставляя согнутые в коленях ноги, быстро семенил впереди каравана.

Позади всех шел со съемкой Султанов. На его раскрытую записную книжку падали капли пота, липли мошки, оставляя на страницах расплывчатые розоватые пятна крови.

— Далеко до Хорпичекана? — задал Чурилин проводнику обязательный вечерний вопрос.

Холодная ночь заставляла всех придвигаться поближе к костру, разложенному на небольшом сухом бугре.

— Не знаю, наша тут не ходи, — ответил проводник. — Я думаю, его шибко далеко нету.

Чурилин с Султановым переглянулись.

— Двадцать дней уже крутимся вокруг Амнунначи, — тихо сказал Султанов. — Собственно, Хорпичекан — последняя речка.

— Да, — согласился Чурилин, — больше нет никакой зацепки. Все Амнунначи — сплошная болотина, низенькое, ровное плоскогорье. Если Хорпичекан ничего не покажет, придется поворачивать ни с чем. И так без лошадей можем остаться, зимы хватим.

Только на второй день удалось дойти до таинственного Хорпичекана, ничем не замечательной речки с темной водой, быстро струившейся между извилистыми берегами. С высоких подмывов почти до воды свисали жесткие косы густой травы. При ширине не более трех метров речка была глубока.

Дрова из ивняка и черемухи плохо грели, костер шипел и сильно дымил, разгоняя мошку. Эта неудобная стоянка была решающей. Но что могла дать глубокая болотистая речка, лишенная всяких обнажений коренных пород? Даже гальки — показателя состава пород в верховьях речки — не нащупывалось на вязком, илистом дне.

В этот вечер луна не светила на мрачное болото: приход на Хорпичекан совпал с переменной погоды. Редкие

гускые звезды загорались и гасли, показывая передвижение невидимых облаков. К полуночи молчаливое болото ожгло—зашумел ветер. Стал накрапывать редкий дождь.

Утром холодный туман быстро поднялся вверх: принак ненастья. Без солнца невеселая местность стала еще угрюмее, рыжеватая площадь болота посерела, воды Хорпичекана казались совсем черными.

Султанов длинным шестом ткнул в дно:

— Придется нырять!

Нащупав мелкое место, в котором палка сквозь жидкую глину упиралась в какие-то камни на дне, Чурилин первым разделся и бросился в ледяную воду.

— Вот вам три камня! — крикнул он, вылезая на берег.— Бегу одеваться в палатку, а то мошка съест. Бейте, Арсений Павлович!

— Углистый сланец и диабаз*, — сказал Султанов, взглядывая через несколько минут в палатку.— Все то же самое!

— Нет, не могу я так бросить начатое дело! — Чурилин взглянул на Султанова.— Мы пойдем в вершину Хорпичекана, в центр Амнунначи. У меня какое-то предчувствие: здесь что-то есть, или вся наша затея — погоня за несбыточным... Давайте завьючиваться, не теряя времени.

— Ух и надоело! — засмеялся Султанов, обвязывая свернутую в тюк палатку.— Подумайте только, который уж месяц! Вечером все развязать, разложить, утром собрать и снова связать. И так каждый день...

* * *

Шесть дней под непрерывным мелким дождем шел караван на северо-восток. Следы человека, зимних кочевков эвенков исчезли; ни одного порубленного дерева не встречалось маленькой партии. Вершина Хорпичекана пряталась в гуще густого мелкого ельника. Оглянувшись назад, перед тем как войти в заросли, Чурилин увидел позади почти весь путь последних двух дней. В прояснившемся на несколько часов воздухе дрожали влажные испарения, придавая обширному пространству болота призрачный вид.

* Д и а б а з — излившаяся глубинная древняя порода, аналогичная базальтовым лавам.

Чурилин и его товарищи насторожились: болото пересекали два больших лося. Они шли спокойно, не видя людей. Высокие ноги животных двигались неторопливо, но размашистый шаг легко и быстро нес массивные тела по топкой, пропитанной водой толще мха. Передний лось закинул назад огромные рога, поднял голову и каким-то презрительным взглядом оглядел покорные ему пространства болот. Животные скрылись за неровной серой гребенкой сухих лиственниц.

— Досадно смотреть! — произнес Султанов. — На таких длинных ногах никакое болото не страшно. В день по двести километров можно делать! — Он с огорчением поглядел на свои ноги в тяжелых сапогах.

Чурилин рассмеялся, а проводник расплылся в улыбке, хотя и не понял, о чем шла речь.

— Мясо, однако, здесь будет! — весело сказал эвенк.

Чувство тревоги не оставило Чурилина. Времени на работу, собственно, уже не было. Они двигались вперед за счет срока, необходимого на возвращение. И все-таки маленький отряд все глубже забирался в удаленные от больших речек, безлюдные болота.

Центр Амнунначи вполне соответствовал данному эвенками названию: это была совершенно безлесная равнина, покрытая кочковатой сухой травой, на серо-желтой поверхности которой выделялись темные пятна моховых полян. Равнина постепенно понижалась, охваченная вдали едва видной щеткой низкого леса. Только налево горизонт закрывался чернеющей ровной полосой: там местность, видимо, имела более крутой спад и выступали далекие горы. Вскоре небо затянулось ровной свинцовой пеленой, снова заморосил дождь. Огромное пространство труднопроходимых болот, в которых затерялись четыре человека, давило и угнетало, внушая мысли о недостаточности человеческих сил. Как бы ни хотелось человеку выбраться отсюда, но только недели, только месяцы могли освободить его из этого плена. И не случайно Султанов позавидовал лосям: самый сильный человек, самые привычные ноги смогут сделать за день по мягкому моховому покрову, хлюпающей грязи, цепляющейся траве и багульнику не более тридцати тысяч шагов. И если их нужно полмиллиона, чтобы выйти из этих болот, кричите, бейтесь в тоске, зовите кого хотите — ничто вам не поможет. Тридцать тысяч шагов, и из них ни одного неверного. Иначе, попав между кочками, корня-

ми, в щели каменных глыб россыпей, треснет хрупкая
кость. Тогда — гибель.

Караван повернул под прямым углом налево, к дале-
кой долине Мойеро. За сеткой дождя ничего не было
видно, целыми днями шли только по компасу. Чурилин
и Султанов почти не разговаривали, рабочий с эвенком
тоже молчали. Ночью жалобно звенели ботала лошадей,
голодные кони толклись вблизи палатки. Иногда разда-
вался хриплый короткий рев лося — началось время
осенних боев между самцами...

* * *

На повороте только что проложенной тропинки Чури-
лин увидел остановившийся караван. Лошади сбились
в кучу.

— Максим Михайлович, идите скорее! Воронок на-
поролся! — крикнул Петр с отчаянием в голосе.

Чурилин подошел. Молодой вороной конь был уже
освобожден от вьюка и седла и стоял в стороне. По коже
его пробежала крупная дрожь, задние ноги подгибались.

— Провалился сразу обеими ногами — и на пенек
брюхом, — мрачно пояснил Султанов.

Кровь широкой струей сбегала по левой задней ноге
Воронка. Конь пошатнулся и поспешно лег.

— Что делать, Арсений Павлович? — осмотрев рану,
спросил Чурилин.

— Что тут сделаешь? — Султанов отвернулся и по-
шел в сторону. — Только я не могу...

Жалость к животному больно кольнула Чурилина. Но
караван стоял, и Чурилин, слегка побледнев, взял бердан-
ну и лягнул затвором. Ствол стал медленно поднимать-
ся к уху Воронка. Петр, застывший было в горестной не-
подвижности, сорвался с места и вцепился в бердану:

— Максим Михайлович, не стреляйте! Говорю вам,
Воронка поправится, сам пойдет за нами...

Слезы текли по его щекам.

Чурилин охотно уступил просьбам Петра. Груз, кото-
рый нес Воронка, распределили между тремя другими
лошадьми, седло взвалили на четвертую. Воронка лежал
и, вытянув шею, следил за исчезающим вдали караван-
ном...

Справа, у крутого бугра, из расплывчатой светлой
грязи талика совсем незаметно возник маленький ручеек.

— Камни, Максим Михайлович! — И Султанов указал на небольшую возвышенность посередине ручья.

Крупные округлые гальки с красным налетом железа просвечивали сквозь воду.

— Я посмотрю.— Чурилин шагнул к ручью.— А вы скажите Николаю, что сегодня будем идти до темноты.

Султанов поспешил к проводнику. Эвенк, выслушав распоряжение, хмуро кивнул головой и объявил, что сам знает: надо торопиться.

От ручья донесся голос Чурилина:

— Стой, Арсений Павлович!

Сердце Султанова учащенно забилося. Он бросился назад. Чурилин размахивал куском камня и от волнения не мог произнести ни слова. Он молча сунул Султанову разбитый камень, а сам принялся лихорадочно выбрасывать на берег один за другим ослизлые валуны. Султанов взглянул на свежий раскол породы — и вздрогнул от радости. Кроваво-красные кристаллики пиропы выступали на пестрой поверхности в смеси с оливковой и голубой зеленью зерен оливина и диопсида.

— Гриквоят! — крикнул Султанов.

И оба геолога принялись ожесточенно разбивать набросанную Чурилиным гальку.

Вязкая, плотная порода с трудом поддавалась ударам молотка. Каждый новый раскол открывал ту же пеструю грубозернистую поверхность. Султанов полез в ручей за новыми камнями, и только когда перед геологами предстал излом другого характера — темной, почти черной поверхности с зелеными точками,— Чурилин выпрямился и вытер пот с лица...

— Уф! — вздохнул Султанов.— Почти сплошь галька из гриквояита. А этот уж не кимберлит ли?

— Думаю, что да,— подтвердил Чурилин.— Из неразрушенной части интрузии*.

Руки Чурилина, свертывающие папиросу, дрожали.

— Это не галька, Арсений Павлович,— тихо и торжественно проговорил он.— Такие валуны слишком крупны для маленького ручейка.

— Значит, ручей размыл...— Султанов в нерешительности остановился...

* Интрузия — внедрение расплавленных пород (магмы) в трещины, пустоты или между слоями в отдельных участках земли.

— ...элювиальную россыпь* гриквантовой породы! — твердо окончил Чурилин. — Вспомните-ка, ведь гриквантовые обломки встречаются в африканских трубах в виде валунов, они округлены при извержении.

Впервые за много дней Чурилин широко и светло улыбнулся.

— Та-ак... — протянул Султанов. — Значит, нам нужно к вершине ручья, туда, где еловая релка.** Поворачивай обратно! — крикнул он подошедшему Николаю и Петру.

Эвенк, сощурившись, внимательно следил за радостными лицами своих начальников, а Петр хлопнул Буланого по крупу:

— К Воронку вертаемся, дурья башка!..

* * *

С треском рухнула срубленная ель, за ней повалилась другая. В молчании темного леса гулко разносились удары топора.

Усталые люди присели покурить.

— Воронок-то наш поправляется, только еще хромает, — сообщил Петр, ходивший смотреть коней. — Я что говорил?.. Только тощат конишки, прямо тают — трава вся посохла.

Севший с вечера туман к утру лег сплошным покровом инея. Болото заискрилось, засверкало. Под елями по-прежнему было темно. В сумраке громоздились поваленные стволы, покрытые наростами грибов. Грибы волнистыми оборками торчали на пнях и корнях, цвели всевозможными оттенками красного, зеленого и желтого, издавали гнилостный запах и по ночам отливали едва заметным фосфорическим светом. Бугор был обиталищем сов. Пучеглазые любопытные птицы в сумерках восседали на ветвях близ лагеря и, склонив набок головы, рассматривали людей яркими желтыми глазами. Ночью их крики надрывно разносились в гуще ветвей, переключаясь с ревушими на болоте лосями.

Люди рылись в земле, изредка уделяя время сну и еде, ожесточенно долбили кирками твердую и вязкую

* Элювиальная россыпь — месторождение, образовавшееся на месте без переноса или смещения продуктов разрушения горных пород.

** Релка — залесненный бугор посреди болота.

глину. Не хватало инструментов. Вечномерзлая почва плохо поддавалась. Только огромные костры, разложенные в шурфах*, заставляли ее уступать. Тогда на смену появлялся другой враг — вода. Два шурфа пришлось бросить: они попали внизу на талики и мгновенно наполнились водой.

Чурилин рассчитывал встретить коренную породу** на двух-трех метрах от поверхности. Однако и эта ничтожная глубина давалась с большим трудом.

Еще один шурф был заложен на самой вершине холма. Дым от костра заполнял еловую рощу, стелился над мохнатыми ветвями, длинным сизым языком выползал на болото и смешивался вдаль с холодной, сырой мглой.

Проводник принес на плече еще один сухой еловый ствол, бросил в костер и решительно подошел к Чурилину:

— Начальник, говорить надо. Кони скоро пропади, наша тоже пропади. Мука кончай, масло кончай, охота ходил не могу, работай надо. Плохо, шибко плохой дело, ходить надо ско-оро!

Чурилин молчал. Проводник лишь высказал вслух давно мучившие Чурилина мысли.

— Максим Михайлович,— вдруг предложил Султанов,— пускай он с Петром уведет лошадей, а мы с вами добьем шурф. Инструмента все равно только на двоих. А мы потом по реке, на плоту...

Чурилин быстро шагнул к своему помощнику, внимательно взглянул в его похудевшее, заросшее черной бородой лицо, в покрасневшие от дыма и бессонницы глаза и отвернулся...

— Вы пойдете со всем грузом прямо на Соттыр,— спокойно говорил он через несколько минут проводнику и помрачневшему Петру.— Там, в поселке, сдадите лошадей. Я обо всем договорился еще весной с начальником полярной станции. Я дам письмо, чтобы вас снабдили продуктами, а Петра доставили в Джергалах. Там он пусть заготовит лодку и ждет нас. Может быть, успеем сплавиться по Хатанге до аэропорта. Николай получит в Соттыре продуктами, деньги выдам сейчас — пусть возвращается к себе. Как дойдете до Мойеро, оставьте все

* Шурф — колодецеобразная разведочная выработка.

** Коренная порода — твердое основание под рыхлыми, молодыми наносами.

продовольствие, какое сможете выделить, на видном месте. Путь отмечайте засечками, мы пойдем следом. Сколько отсюда до Соттыра?

— Не знаю.— Эвенк покачал головой.— Километра триста будет, однако.

— Ну вот, а до Мойеро пятьдесят.

— Нет, здесь тебе Мойеро ходить нельзя: шибко большой порог много. Через горы, та сторона ходи, тогда останется только маленький порог.

— Ну, сто километров?

— Сто ли, сто двадцать, однако, будет...

* * *

На еловом бугре стало совсем одиноко и тихо. Палатку увезли; вместо нее был устроен балаган из еловых лап. Горевший перед ним костер чуть дымился под дождем.

Султанов проснулся ночью от холода. Все тело ныло. Мучительно не хотелось вставать, казалось просто невозможным пошевелить рукой. С огромным усилием Султанов поднялся и разбудил Чурилина. Тот быстро встал, выпил кружку пустого чая и начал искать впотьмах лежавшую где-то у костра короткую шурфовочную кайлу.

Пламя костра заметалось, оживленное новой порцией сухих дров. В шурфе, углубившемся в землю уже на два с половиной метра, было совершенно темно. Чурилин долбил кайлой наугад, выгребая комья глины руками в ведро, которое время от времени поднимал наверх на веревке Султанов.

Боясь затопления, геологи не протаивали мерзлоту огнем, предпочитая мучительно медленную, но более верную работу в мерзлой почве. Вода и так уже стояла в яме на четверть, и каждый удар кайлы сопровождался громким всплеском.

Чурилину казалось порой, что он работает согнувшись в этой тесной, сырой яме уже много лет. Уже давно он только и слышит глухое буичанье породы, звяканье ведра, копается ободранными, распухшими пальцами в жидкой ледяной грязи.

— Довольно вам, уже двадцать пять ведер нарыли! Теперь моя очередь! — крикнул сверху Султанов как раз

в тот момент, когда Чурилин почувствовал, что больше не сможет поднять кайлу.

Он выбрался из шурфа, упираясь в стенку ногами и руками, и тяжело опустился на мокрую глину.

Султанов исчез в яме, и оттуда послышался его приглушенный голос:

— Подходяще! Ну и сила у вас, Максим Михайлович! Еще четверть метра осталось, мелкие камешки уже звякают... Нет, дальше опять глина.

В то же время Султанов ощутил, что глина пошла несколько другого рода: по-прежнему плотная, она отворачивалась крупными кусками; неподатливая, липкая вязкость исчезла.

Ведро за ведром таскал Чурилин, и горка вынутой глины все увеличивалась. Уже подходила к концу длинная осенняя ночь, когда Султанов слабо и хрипло крикнул из шурфа:

— Камни пошли! Один крупный есть, тащите!

Последнее ведро показалось Чурилину невероятно тяжелым. Он извлек липкий, холодный и тяжелый кусок породы и у костра разбил его молотком. Темная матовая порода в мерцающем свете пламени ничем не отличалась от надоевших за время пути диабазов.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Султанов.

— Не знаю, темно, — не желая огорчать товарища, ответил Чурилин и бросил куски камня на кучу вырытой глины. — Вылезайте, нужно поспать. Шесть часов, скоро рассвет.

* * *

Хотелось долго-долго спать. Но время текло неумолимо, и в девять часов оба геолога были уже на ногах и готовили скудный завтрак.

— Как ни тяжела работа, а порции придется уменьшать, — сумрачно сказал Чурилин. — В мешке совсем мало муки.

Султанов усмехнулся, помолчал. Затем, подняв кружку с чаем, торжественно продекламировал:

— «Погибель верна впереди... и тот, кто послал нас на подвиг ужасный, — без сердца в железной груди...»

— Еще ужасней, что никто нас не послал. И пожаловаться не на кого.

— Да, черт возьми, кто, собственно, держит нас здесь? — тихо сказал Султанов, опустив голову.

Товарищи медленно поплелись к шурфу. Вдруг Султанов крепко вцепился пальцами в локоть Чурилина:

— Максим Михайлович, желтая земля!

На верху кучи вынутой породы кусками лежала какая-то особенная, зернистая и в то же время плотная глина рыжеватого-желтого оттенка. Чурилин поспешил поднять расколотый ночью камень. Это была тяжелая, жирная на ощупь сине-черная порода. Наружный слой камня был мягким и более светлого, синевато-серого оттенка.

— Воды, Арсений Павлович, побольше воды! — прошептал Чурилин. — Да вот в затопленном шурфе возьмем. Выливайте чай, черт с ним! Нужно второе ведро. Вы начинайте промывку желтой породы, доведете на лотке, а я займусь осколками камней.

— Неужели... — начал Султанов,

— Подождите! — резко оборвал Чурилин.

Неторопливо, словно нисколько не волнуясь, Чурилин принялся промывать все добытые кусочки твердой черной породы, отчищая рыхлые корки и грязь.

Позабыв про все на свете, геологи занимались своим делом. Внезапно Чурилин издал приглушенное восклицание и торопливо достал из нагрудного кармана складную лупу. Султанов бросил лоток и подбежал. На синевато-черном фоне небольшого куса породы сидели почти рядом три прозрачных кристаллика с горошину величиной. Треугольные площадки их граней не были абсолютно гладкими, но тем не менее ярко блестели. Каждый кристалл представлял собою две соединенные основаниями четырехгранные пирамиды. Геологи не спускали глаз с кристаллов. В глубоком безмолвии леса слышалось лишь прерывистое дыхание людей.

— Алмазы, алмазы! — Горло Султанова сжалось спазмой.

— Да, типичные октаэдры, как в Южной Африке, — произнес Чурилин. — Чистой воды, хоть и не голубоватые. По тамошней номенклатуре — второй сорт высшего класса; так называемый первый — Капский. Вот и все, Арсений Павлович, наше дело сделано. Это вы... — Чурилин не договорил, сжал испачканную глиной руку Султанова.

Тот устало опустил на забрызганный грязью принятый багульник.

— Значит, эта рыжая глина и есть «изллоу грунд» — желтая земля африканских копей, — говорил Чурилин, —

самая верхняя и вдобавок всегда обогащенная алмазами покрывка алмазной трубы. Несколькими метрами ниже пойдет «синяя земля» — «блю грунд», вот эта самая, черная, куски которой мы нашли в желтой земле. Это менее разрушенная, менее окисленная кимберлитовая порода. А наш еловый холм, без сомнения, оконтуривает границу алмазной трубы. Такие холмы часто помогают в Южной Африке при поисках алмазных месторождений, показывая выступающую на поверхность, но скрытую под почвой верхнюю, расширенную часть трубы. И помните, дорогой Арсений Павлович,— основная заповедь африканских охотников за алмазами: где одна труба, там ищи еще несколько. Они никогда не бывают в одиночку! Теперь нам нужно промыть всю нарытую желтую землю, тщательно отобрать образцы. Чтобы нести их, придется отказаться от части продовольствия. Репер*, заявочный столб,— и с рассветом уходим отсюда: наши жизни теперь особенно драгоценны.

Султанов в последний раз встряхнул лоток и высыпал на листок чистой бумаги все, что осталось после промывки целой тонны желтой земли. На белом листе рассыпались мелкие кристаллы — столбчатые, призматические, многоугольные — красного, бурого, черного, голубого, зеленого цветов. Это были сопутствующие алмазу ильменит, пироксен, оливин и другие стойкие минералы. А среди них, подобно кусочкам стекла и все же не сходные с ним своим сильным блеском, выделялись мелкие кристаллы алмазов. Здесь были белые, чистой воды камни, были и покрытые шероховатой бурой корочкой. Некоторые кристаллы имели розоватый или зеленый оттенок.

— Вот посмотрите, кроме октаэдров — ромбододекаэдр**.— Чурилин отделил спичкой зеленый двенадцатигранник.— Этот вид алмаза отличается необыкновенной даже для этого камня твердостью. В Африке такие алмазы встречаются преимущественно в трубе Фoorспед. А это борт***,— он указал спичкой на округлое зернышко черного цвета,— сросток мельчайших алмазных кристалликов. Я измерил диаметр нашего холма,— продолжал Чу-

* Репер — высокий сигнальный или опознавательный знак.

** Ромбододекаэдр — двенадцатигранник, каждая грань которого имеет очертание ромба.

*** Борт — вид алмаза, образованный сростком микроскопических кристаллов.

рилин.— Эта алмазная труба не из маленьких, не меньше четверти километра в поперечнике. Правда, в Южной Африке есть и больше; например, Дютойтспан — чуть не семьсот метров. То уже не труба, а целое вулканическое жерло.

Султанов задумчиво глядел на холм. Он старался представить себе огромную трубу, входящую почти отвесно на глубину в несколько километров и заполненную драгоценной черновато-синей породой с алмазами. И это было здесь, в заболоченной, мрачной равнине, под мхом и грязью, едва прикрывавшими панцирь вечной мерзлоты!

Молчал и Чурилин. Он ссыпал в мешочек алмазы, написал этикетки к кусочкам пород, тщательно завернул образцы и принялся вычерчивать подробный план месторождения.

Все это геолог делал без всякого воодушевления, будто сейчас, у достигнутой наконец цели, куда-то исчезли все владевшие им ранее стремления. Усталость была слишком велика...

Султанов обтесал высокий пенёк в виде столба и, раскалив кайлу, выжиг на нем несколько букв и цифр. Вскоре был готов репер — высокая ель с обрубленными сучьями и перекладиной наверху.

* * *

Путь напрямик через горы был нелегок: пересекая множество распадков*, приходилось преодолевать до пятнадцати перевалов в день. Геологи механически шагали, без слов и мыслей. Ничтожных порций пищи не хватало на покрытие огромной затраты сил. Передвижение началось при первых проблесках утреннего света, а кончилось далеко за полночь. Осыпалась ярко-желтая хвоя лиственниц, лес был насыщен водой от непрерывного дождя. Ватники геологов быстро промокали насквозь и вечером долго дымились у сильного огня, а на следующее утро снова пропитывались влагой в первый же час пути. Вода выступила на болотах, покрыв на четверть высокие кочки, между которыми при малейшем неверном шаге люди проваливались по пояс. Тонкий ледок хрустел под размокшими сапогами. Никакой дичи не встречалось на пути —

* Распадок — короткая, обычно сухая долина.

горы словно вымерли, и бердана попеременно давила плечи бесполезным грузом.

Утро четвертого дня застало Чурилина и Султанова взбирающимися на крутой подъем. На вершине перевала перед путниками расступилась красновато-серая дымка тумана и открылся обширный пологий спуск, образованный россыпью огромных остроугольных каменных глыб. Вдали вставал стеной темно-синий, испятнанный рыжим противоположный склон долины большой реки.

— Ну, вот и Мойеро! — Чурилин, присев на камень, вывернул карман в поисках последних крошек махорки. — Как они тут прошли с лошадьми? Последняя задержка — на вершине, а дальше ничего не видно.

— Спустимся прямо по россыпи в долину и пойдем вниз по реке, — предложил Султанов, — потом вернемся вверх. Где-нибудь обязательно пересечем их след.

* * *

Начальник производственного отдела института вошел в кабинет Ивашенцева и молча опустил в кресло.

— Seriously тревожусь за Чурилина, — озабоченно сказал профессор, — этот человек слишком упрям, чтобы быть осторожным. Самарин приехал уже месяц назад, а Чурилин с Султановым остались в тайге. Нужно послать телеграммы всюду, куда можно, с запросами: в Соттыр, на Туру, Хатангу, Чирингдинскую базу Союзпушнины...

И с высоких мачт радиостанции острова Диксон опять понеслись над тайгой колебания эфира. Прерываясь, снова возобновляясь, они несли один и тот же вопрос: «Хатанга, Соттыр, Тура... Сообщите срочно, имеются ли известия экспедиции Главминсырья инженера Чурилина...»

Радиоволны достигли высокой каменной россыпи. Но оба геолога, конечно, не знали и не чувствовали, что пространство насыщено вопросами об их судьбе. Они осторожно балансировали на скользкой, покрытой лишайниками поверхности громадных каменных плит, дперепрыгивали глубокие провалы между глыбами, карабкались по острым гребням и ребрам.

Россыпь растянулась на несколько километров невероятным хаосом изломанного камня — сплошное мертвое поле, покрытое серыми костями гор. Будто столкнувшиеся в страшной битве силы земной коры разбились, исковеркали,

рассыпали горные вершины, и они повалились здесь порванными скелетами, выставив обнаженные острые ребра...

— Сергей Яковлевич! Соттыр сообщает: вчера прибили рабочий и проводник Чурилина с лошадьми; геологи остались в тайге. Вот телеграмма.

Профессор яростно стукнул кулаком по столу:

— Так и знал! Погибнут ни за что! Телеграфируйте и Соттыр... Впрочем, кто же передаст им? Экспедицию снаряжать надо... — Ивашенцев, волнуясь, стал перебирать бумаги на столе. — И, главное, упрямство-то бесполезное: раз за три года ничего не нашли, так и в один лишний месяц ничего не добьешься.

* * *

— Молодцы! Смотри-ка, Арсений Павлович: плотишко приготовили из сухих еловых лесни. Молодцы! Продуктов примерно на неделю. Ну, не беда: река быстра, понесет хорошо. А ну, берем. Раз-два!..

Маленький плот закачался на воде, повернулся и, направляемый шестами, быстро поплыл посередине реки. Здесь Мойеро еще не была глубокой, под плотом быстро мелькали на дне длинные гладкие гальки. Оба геолога впервые почувствовали за много тяжелых дней радостное облегчение. Котомки не давили больше натруженные плечи, истертые расползшимися сапогами ноги наслаждались отдыхом, а река несла плот со скоростью не меньше шести километров в час. Пожалуй, в этом и была главная радость — сидеть, покуривая оставленную Николаем махорку, изредка выправляя плот толчками шестов, и в то же время сознавать, что продвигаешься вперед, что с каждым часом уменьшается бесконечный путь.

Можно было позволить себе роскошь подумать, вспомнить, что существует другой мир. Плеск воды, переливы ее журчанья на узких галечных косах, быстрое движение маленьких волн — все казалось полным веселой жизни после гнетущего молчания, однообразия и неподвижного воздуха огромных болот.

Мойеро текла извилисто, описывая крутые кривуны. Мимо проплывали низкие берега. Широкая пойма осталась позади; лес подошел прямо к речке и зажал ее русло в темные высокие стены. Плот шел, словно по коридору, меж густых елей. Многие деревья, подмытые рекой,

склонялись к воде. Вдали лесной коридор, казалось, суживался; вершины наклоненных с противоположных берегов лесин скрещивались над водой, терявшей свой живой блеск, выглядевшей сумрачно и холодно.

Огромная, недавно поваленная ель лежала поперек реки, почти касаясь своей еще зеленой вершиной широкой отмели левого берега. Геологи отвели плот к берегу и, спрыгнув в воду, протащили его по гальке. Дальше попало еще несколько таких деревьев, задерживавших ход плота, но все это казалось Чурилину и Султанову пустяками, пока из-за крутого поворота реки они не уступали громкое журчание и плещущие удары.

— К берегу, живей к берегу! — крикнул Чурилин. — Впереди залом!

Но было уже поздно — плот шел слишком быстро. Шест воткнулся в дно реки, с треском сломался, и плот, как слепой, устремился прямо на высокую грудку древесных стволов, перегораживающих реку.

Направо, где нагромождение деревьев было более редким, вода, громко kloкоча, устремилась под завал. Ветки и тонкие стволы пружинили и вибрировали под напором воды, производя характерные всплески, похожие на удары гигантского валька.

Султанов и Чурилин бросились к заднему концу плота и схватили драгоценные мешки, топор и бердану. В ту же секунду плот нырнул под залом, остановился и начал подниматься вертикально, уходя все глубже под воду. Сильный толчок бросил товарищей вперед, но им удалось прыгнуть на залом. Вода взревела, пучась валом за плотом, загородившим часть узкого прохода. Не теряя ни минуты, Чурилин с Султановым принялись поочередно рубить стволы единственным топором. После двух часов тяжелой работы можно было высвободить плот и с помощью веревки подтащить его ближе к берегу, где у края завала воды было по пояс. Борясь со сбивавшей с ног ледяной водой, геологи насилу подняли плот повыше и проволокли его в прорубленную брешь через толстые скользкие бревна, лежавшие под водой в основании залама. Дальше путь был свободен, но, увы, всего на полтора километра! И снова перед плотом вырос лесной залом, с еще более широким нагромождением побелевших окоренных бревен, между которыми грозными пиками торчали толстые сучья и корни глубоко зарывшихся в гальку деревьев.

На белесой песчаной косе горел большой костер. Плот стоял, приткнувшись к берегу. Чурилин и Султанов сидели лицом к реке, повернув к огню дымящиеся мокрые спины. Над песком круто поднимался берег, сухая трава на нем золотилась под ярким солнцем, разбудившим тучи окоченевшей было мошки.

Султанов вдруг поднялся и неверными шагами направился в сторону. Его тошнило: желудок отказывался принимать только что съеденную пищу. Чурилин с тревогой следил за своим помощником. Он и сам чувствовал себя плохо. Истомленное непомерной работой, долгим недоеданием, бессонницей сердце то падало и билось тяжело и редко, то учащенно и слабо трепыхалось, требуя отдыха, длительного покоя.

Темный страх перед цепкими тисками лесной пустыни наполнил душу исследователя. Нужно было проплыть около четырехсот километров рекой. А они вот уже второй день пробиваются сквозь заломы и проплыли за эти два дня семь километров. Семь километров! Еды осталось на четыре дня при самых маленьких порциях. А сколько предстояло еще непосильной работы по плечи в холодной воде: рубить толстые бревна; надсаживаясь, перетаскивать плот... Больше нет сил! Вряд ли они выдержат еще хотя бы один день. Кто знает, сколько впереди заломов — один или сотня?

Султанов вернулся к костру и лег на песок. Чурилин подвинул под голову товарища сумки и стал на колени.

— Полежите, Арсений Павлович, я пройду вперед.— Он показал налево, где за широкой отмелью и сверкающей в солнечных лучах водой громоздилась груда перелетенных серых бревен.

Султанов сел.

— Максим Михайлович, вот что...— Он замаялся.— Если я совсем разболеюсь, так вы идите один. Нужно, обязательно нужно кому-то спастись. Я серьезно, я не шучу! — Султанов рассердился, увидев улыбку Чурилина.

— Бросьте, дорогой! Отдохните, и все пройдет. Если выйдем, так оба! — громко сказал Чурилин, сам не находя в своем тоне нужной уверенности.— Ну, я пошел! — И, подняв бердану, он медленно поплелся по песку и хрустящим галечным отмелям на пересечку крутого кривуна.

Чурилину хотелось пройти дальше вниз по реке, чтобы осмотреть долину ниже залама.

Страх, охвативший его, не проходил, как ни пытался Чурилин справиться с ним. Ему хотелось скорее вернуться в привычный мир карт, книг, научных исследований, отдать своей стране богатства, спрятанные под мхами и мерзлотой болот Амнунначи, иметь время для тихого, спокойного раздумья за микроскопом, для бесед с товарищами. Неужели так и не удастся вернуться туда, где нет мошки, вечно мокрой одежды, едкого дыма и беспросветной гонки вперед, вперед?

Чурилин пересек кривун и повернул вдоль берега.

Он шел и думал о Султанове: «Что заставляет людей идти на такие невиданные, никому не известные подвиги? Если мы выйдем, разве кто-нибудь узнает о стойком героизме этого человека? Пережитое быстро сотрется, забудется, покажется тяжелым сном... Кто же рассказывает всерьез о снах? А если мы не выйдем, тоже никто не узнает. Больше того: скажут — погибли от неумелости, неосторожности. А у Султанова там, в далеком мире, за тысячи километров... жизнь, счастье, любимая женщина, ожидающая давно, тревожно и нетерпеливо».

Справа, на противоположном берегу, послышался шум. Хрустела галька, тихо шелестела сухая трава. Чурилин очнулся, посмотрел, и сердце его бурно заколотилось.

Под уступом берега, погрузив копыта в воду, стоял огромный самец-лось. Могучее тело его казалось издали совсем черным. Широкие рога, как ладони гиганта с растопыренными острыми пальцами, были светлые, а между ними, обращенные в сторону Чурилина, ижицей торчали большие раструбы ушей. Лось всматривался в застывшего на месте геолога, склонил голову, выставив рога, и издал хрипкое «уоп». Чурилин не шелохнулся, до боли зажав в кулаке ремень берданы.

Лось повернулся и сразу стал другим — поджарым, горбатым, на высоченных ногах. В повадке животного чувствовалась ежесекундная готовность к стремительному бегу, скрытая энергия взведенной пружины. Мощная горбоносая голова поднялась, на горле растопырилась жесткая черная борода, крутой загривок обозначился еще резче. Затем лось расставил широко ноги, ткнулся носом в воду и вошел в реку. Чурилин рванул с плеча бердану. Лось молниеносно прыгнул на берег. Щелкнул снятый с предохранителя затвор, и Чурилин послал пулю в высо-

ный загревок. Лось споткнулся, упал, вскочил опять. Гром второго выстрела разнесся по реке, и животное исчезло в кустах. Вне себя Чурилин бросился в реку, высоко поднимая бердану. Течение сбивало его с ног, но он справился с ним и вскоре был на противоположном берегу. В десяти метрах от воды в высокой траве виднелось черновато-бурое тело. Чурилин осторожно приблизился к нему и убедился, что зверь мертв. Лось лежал, напрокинув упершуюся на рог голову; передние ноги согнулись в коленях. Великолепная мощь животного чувствовалась и в неподвижном теле.

Чурилин не был настоящим охотником. Став на одно колено, он погладил морду лося, сожалея о случившемся. Как бы то ни было, но шестнадцать пудов превосходного мяса меняли судьбу геологов.

Чурилин выпрямился, опершись на бердану, оглянулся и увидел на реке еще один залом, в четверть километра ниже. Дальнейший путь реки скрывался густым лесом, казавшимся темной щеткой. Однако эта щетка в одном месте понижалась, и там виднелся горный склон, подходивший вплотную к реке.

«Если река пойдет в ущелье, будут пороги, но заломы окончатся», — подумал Чурилин. Он быстро выпотрошил лося, взял губы, сердце, кусок мяса, отметил место высоким шестом и перебрался через реку по верхнему залому, кстати, тщательно осмотрев его.

Обильная мясная еда сначала еще больше ослабила путешественников, но наутро Чурилин и Султанов заметно приободрились.

* * *

За последним заломом Мойеро приняла в себя справа большую речку. Долина сужалась, отроги пятнистых, черно-желтых от осенних лиственниц гор спускались к реке, течение которой все убыстрялось. Тусклая свинцовая поверхность воды словно дышала, плавно вздымаясь и опускаясь. Галечные косы возвышались как крепостные валы. Быстро неслись назад отмели, деревья, черные промоины. Вот скалы надвинулись совсем близко, зашумели волны, вся река покрылась струйчатыми бороздами и островерхими пенными гребешками. Вода заливала несшийся по шивере плот. Несколько тревожных минут — и плот снова вышел на мерно вздымавшуюся просторную воду.

Быстрое движение бодрило истомившихся людей. Наконец в полной мере их охватило веселье одержанной победы.

Пройдет немного времени — и тысячи людей придут туда, где томились они оба в плену лесов и болот. Мощество труда рассечет непроходимые пространства дорогами, расчистит леса, высушит болота. Шум машин и яркий электрический свет нарушат темное молчание тайги,

* * *

— Сергей Яковлевич, телеграмма из Хатанги. Наверно, от Чурилина.

— Что? Давайте скорее! — Профессор поспешно вскрыл и прочитал телеграмму. Она выпала из его рук. — Ничего, я сам подниму... Идите, с ними все благополучно, возвращаются.

Оставшись один, Ивашенцев перечитал короткий текст: «Все что искали найдено возвращаемся самолетом здоровы тчк Чурилин Султанов».

Профессор Ивашенцев встал и низко поклонился телеграфному бланку, который он бережно положил на стол.

ОБСЕРВАТОРИЯ НУР-И-ДЕШТ

В тормозах громко зашипел воздух, размеренный стук колес перешел в непрерывный гул. Облако снежной пыли поднялось за окном вагона.

Разговор оборвался, и подполковник выглянул в окно, порозовевшее в лучах низкого закатного солнца. Но поезд набирал скорость и безостановочно мчался, неся пассажиров навстречу новым боевым судьбам нового, 1943 года.

Один из собеседников, военный моряк, вышел в коридор и сел на откидную скамеечку, думая о неизгладимой суровости войны, на все налагавшей свой отпечаток. Обветшалые деревни мелькали за окном изношенного вагона.

Около него остановился сосед по купе, молодой высокий майор-артиллерист. Еще при первой с ним встрече моряка поразила сдержанная энергия, исходившая от всей ловкой и стройной фигуры майора. Глаза, казавшиеся особенно светлыми на сильно загорелом лице, были удивительно спокойными, но в глубине их светилась какая-то сила, которую моряк с самого начала определил как проявление упорной радости жизни, надежно прикрытой привычной выдержкой.

Майор протянул моряку руку.

— Лебедев,— сказал он.— Я слышал ваш разговор с соседями и их нападки на вас. Мне понравилось, что вы утверждаете право человека на радость. Я думаю, ваши противники правы. Но правы, разумеется, и вы. Такова жизненная диалектика. Чувство радости сейчас реже других чувств приходит к людям... Тем более что человеческая радость иной раз зависит от совершенно необъяснимых на первый взгляд причин.

Поколебавшись, он добавил:

— Я расскажу вам любопытное происшествие, одним из действующих лиц которого довелось быть мне самому, и совсем недавно.

Стемнело. Они вошли в купе и заняли свои места на верхних полках. Наглухо закрытые шторы придавали купе, едва освещенному единственной лампочкой, особенно уютный вид. Моряк лежал на верхней полке против майора и слушал рассказ, до того не подходящий к окружающей обстановке, что временами сознание как бы раздвигалось, улетая в далекую солнечную и просторную страну...

— Я был призван на третьем месяце войны, — рассказывал майор Лебедев. — Прошел тяжелый путь отступления в непрерывных боях. Семь месяцев пули и осколки снарядов врага щадили меня. Не стоит рассказывать обо всем пережитом... До войны я был геологом, поклонником непокорной нашей природы, мечтателем. Трудная для тихой души военная страда, разрушения и зверства, чинимые на моей родной земле полчищами захватчиков, едва не сломили меня. Но все же я справился и скоро стал закаленным, подобно сотням моих боевых товарищей. И моя мечтательность, казалось, навсегда покинула меня. Я сделался жестким, мрачным. В душе осталась какая-то тяжкая пустота — пустота, которая заполнялась только в боевых схватках с врагом, только удачными налетами моих батарей.

В марте я был серьезно ранен и на несколько месяцев вышел из строя. После лечения в госпитале я получил отпуск и был направлен на отдых, на курорт в Среднюю Азию. Я протестовал, доказывал необходимость немедленной отправки меня на фронт, говорил о том, что совершенно одинок, — ничто не помогло.

Словом, в конце июля тысяча девятьсот сорок второго года я оказался в поезде, мчавшем меня по просторным казахстанским степям навстречу жаркому солнцу.

Я часто стоял по ночам у открытого окна. Ветер, пахнувший полынью, сухой и свежий, приветливо обвеивал меня. Легкая степная темнота подчеркивала древнее безлюдье равнины. Но я, я был весь там — далеко на западе.

Все же извечная безмятежность природы сделала свое дело, и к концу недели своей поездки я как-то внутренне немного смягчился, а главное — стал с большим вниманием смотреть на окружающий мир.

После Арыси дневная духота в раскаленном вагоне сделалась мучительной, и я с удовольствием высадился поздней ночью на небольшой станции. Автобус из санатория должен был прийти только утром. Мягкую прохладу южной ночи не хотелось менять на ночлег в стан-

ционном зале. Я уселся на чемодане у фонарного столба и, вдыхая ночную свежесть, оглядывался кругом. Поезд подерживался. Пассажиры прогуливались по хрустящему гравию в свете фонарей. Закурив папиросу, я разглядывал пассажиров.

Девушка, прошедшая несколько раз по перрону, привлекла мое внимание красивым сочетанием зеленого платья, красноватой бронзы загара и пепельных светлых волос.

В ней было что-то выделявшее ее из толпы. Я и сейчас помню свое первое впечатление: пожалуй, это была радостная свежесть, переполнявшая все ее существо.

Она, несомненно, кого-то искала. Вот она остановилась, встряхнула короткими волосами и, подняв к фонарю круглое лицо, забавно надула губы. Почувствовав мой пристальный взгляд, девушка открыто взглянула на меня, отвернулась и пошла обратно.

Поезд ушел. Красный огонь хвостового вагона затерялся среди темных бугров; фонари, за исключением двух, погасли. Я еще некоторое время посидел на своем чемодане в сумраке затихшей станции. На душе впервые после долгого времени было как-то спокойно то ли от прохладной темноты вокруг, то ли от ощущения простора ночной степи.

Мне стало холодно, и я неохотно направился к станции. Крошечный зал был едва освещен. За низкой деревянной перегородкой, в отделении для раненых, никого не было. В открытое окно свободно врывался ветер. Я прилег на скамейку, но спать не хотелось. В полутемном зале прозвучали легкие шаги. Я обернулся и узнал встреченную на перроне девушку. Она посмотрела на занятые спящими узбеками скамьи и нерешительно подошла к перегородке моего отделения. Я поднялся ей навстречу и пригласил устроиться на свободной скамье. Девушка поблагодарила и уселась на скамью, откинув назад голову и плотно сжав колени. С ее появлением мне показалось, что эта затерявшаяся в степи станция стала менее пустой. Девушка как будто не собиралась спать. Я решил задать ей несколько обычных дорожных вопросов, на которые она ответила коротко и с неохотой. И все же постепенно мы разговорились. Татьяна Николаевна, или просто Таня, была аспиранткой Института восточных языков в Ташкенте и сопровождала в экспедиции знаменитого профессора-археолога. Профессор ис-

следовал развалины древней астрономической обсерватории, построенной около тысячи лет назад в предгорьях хребта, в двухстах километрах от станции. В обязанности Тани входило восстанавливать и переводить арабские надписи, попадавшие на стенах и камнях развалин.

— Вам не кажется смешным после фронта, после этого,— она легонько притронулась к моей руке, висевшей на перевязи,— что люди занимаются сейчас такими делами? — Она смущенно взглянула на меня.

— Нет, Таня,— возразил я.— Я бывший геолог и верю в высокое значение науки. А еще: значит, мы с товарищами хорошо защищаем нашу страну, раз вы имеете возможность заниматься своим делом, далеким от войны...

— Вот как вы думаете! — улыбнулась Таня и замолчала, погрузившись в задумчивость.

— Вы говорили, что обсерватория далеко в степи. Как же вы сюда попали? — возобновил я разговор.

Таня довольно подробно рассказала мне об экспедиции на древнюю обсерваторию. Состав экспедиции был немногочислен: профессор, Таня и ее пятнадцатилетний брат, работавший в качестве съемщика планов. Рабочих достать, конечно, было очень трудно. Несмотря на желание помочь экспедиции, ближайший колхоз дал только двух стариков. Но после двух недель работы старики вернулись в свой колхоз. Другие отказались идти, и, таким образом, работа по расчистке развалин прервалась. Профессор послал письмо в свой институт с просьбой выслать одного научного работника, оставшегося в Ташкенте для подготовки диссертации, чтобы произвести несколько несложных расчисток и завершить работу. Вот Таня и выехала встречать нового товарища. Прошли уже два поезда, но никто не приехал. Таня послала телеграмму в Ташкент с запросом и ждет утром ответа.

— Вот и все,— сказала девушка, сдерживая вздох огорчения.— Как все это неудачно! Если бы вы знали, какая интересная работа и какое чудесное место Нур-и-Дешт!.. Нур-и-Дешт — это название развалин обсерватории. Означает оно «Свет пустыни».

— А если место чудесное, как вы говорите, так чего же сбежали ваши старики?

— Там бывают подземные толчки, довольно сильные и частые. Кругом все дрожит, где-то глубоко в земле раздается сильный гул, мелкие камешки и земля сыплют-

он со стен развалин. Наши рабочие считали эти толчки предвестниками большого землетрясения, от которого все погибнут...

Я задумался над ее словами и, когда снова хотел обратиться к ней с каким-то вопросом, увидел, что Таня тихо спит, склонив голову на плечо.

Я осторожно подsunул свернутую шинель под бок Тани, а сам перешел на соседнюю скамью, улегся и заснул...

Когда я проснулся, девушки не было. В зале прибавилось людей, заполнивших маленькое помещение своими пестрыми халатами и звуками незнакомой речи.

Я умылся и пошел узнавать насчет автобуса. Ничего утешительного я не узнал: автобус запаздывал, и его можно было ждать только после обеда. Я отправился бродить по станции, надеясь встретить где-нибудь Таню. Обошел кругом здания, вышел в степь, но начавшее сильно припекать солнце прогнало меня в тень деревьев станционного садика. Еще издали увидел я зеленое платье Тани у входа на телеграф. Девушка в раздумье сидела на каменном крыльце под акацией.

— Доброе утро. Получили телеграмму? — осведомился я.

— Получила... Семенов ушел в армию, и, значит, никто к нам не придет. Что же я скажу Матвею Андреевичу? Он так надеялся!

— А кто это Матвей Андреевич?

— Мой начальник, профессор. О нем я вчера вам рассказывала, — с чуть заметной досадой сказала девушка.

Тут меня осенила идея, от которой мне стало сразу весело.

— Слушайте, Таня, возьмите меня в помощники! — сказал я. — Едва ли я буду хуже ваших стариков.

Таня удивленно взглянула на меня.

— Вас?.. Но ведь вы должны лечиться. И потом... — Девушка замаялась, остановившись взглядом на моей висевшей на перевязи руке.

Я поймал ее взгляд, вынул из перевязи руку и сделал несколько резких движений.

— Не беспокойтесь, Таня, рука у меня действует, а на перевязи висит, чтобы не затекала. Ее нельзя долго держать опущенной вниз, — пояснил я. — Я ведь еду не лечиться, а выздоравливать. Так не все ли равно где? Вы же сами хвастались, что место хорошее этот ваш Нур-и-Дешт.

Девушка колебалась. Серые глаза ее повеселели.

— Все будет хорошо,— шутливо продолжал я,— если только он, ваш профессор, не будет меня держать на пище святого Антония...

— Ну что вы! Еды у нас много! Только как же все-таки с санаторием вашим? Потом, дорога к нам трудная...

— Чем это трудная? Ведь вы же в четвертый раз собираетесь проделать ее.

— А вы не смотрите, что я невысокая: я сильная,— отвечала Таня.— Туда знаете как ехать? Отсюда до совхоза ходят автомашины — это сто двадцать километров. От совхоза нам дают обычно лошадь до поселка Туз-Куль — маленький такой колхоз, дорога к нему прескверная: песок и камни. А от Туз-Куля приходится доставать верблюда и пробираться километров тридцать через безводные пески. Я терпеть не могу ездить на верблюде: сидишь, словно на огромной бочке, и качаешься взад и вперед, как маятник. А верблюд, вы знаете, идет ровно четыре километра в час, не меньше и не больше.

Долго убеждать Таню мне не пришлось, и еще задолго до захода солнца пустая трехтонка, мячиком подкакивая на выбоинах, понесла нас на юго-восток от голубоватой линии снежных гор, в противоположную от санатория сторону. Мы сидели на полу у кабины, весело переглядываясь: разговаривать было невозможно — откусишь язык. Рыжее облако густейшей пыли взвивалось за кузовом машины, расплзалось и скрывало холмы, за которыми осталась станция. Часа через три пути темная полоска тополей, маячившая на горизонте, раздвинулась перед нами, открыв два ряда белых домиков, разделенных широкой, как площадь, прямой улицей. Пирамидальные тополя поднимали вверх правильные ряды зеленых башен, а справа и слева к поселку сбегали пологие склоны, шетинившиеся светло-желтыми пучками чия.

Машина остановилась у журчащего арыка, недалеко от конторы совхоза. Мне и сейчас приятно вспомнить простое, душевное гостеприимство в этом далеком совхозе. Мы решили ехать как можно позже: прохладная ночь — самое хорошее время для пути. Увидев на дороге просторный тарантас, Таня тихонько засмеялась.

— Выгодный вы помощник, Иван Тимофеевич: почет какой — в тарантасе везут.

Агроном, тоже ехавший в колхоз, взял на себя обязанности ямщика; мы с Таней уселись в корзинку и дви-

дулись навстречу слабому ветерку. Темная степь под
сияющими теплыми звездами окружила нас.

Вскоре я почувствовал, что плечо Тани стало часто
прикасаться к моему. А затем и кудрявая головка ее
широко устроилась на моем плече. Время шло. Бархатный
ветерок выпустил холодные когти. Предраассветный хо-
лод не дал нам уснуть как следует.

Туз-Куль не показался мне приятным местом. Голый
бугор с редкими, недавно посаженными тополями был усе-
ян низенькими домишками, обмазанными красно-бурой
глиной. В шесть часов вечера мы двинулись в пески в
сопровождении проводника с верблюдом, нагруженным
продовольствием. Я решил последовать примеру Тани и
пошел рядом с ней пешком. Невысокие песчаные бугры
выросли какой-то колючкой голубого цвета. Идти было
совсем нелегко, и я дивился выносливости моей спутницы.
Ноги погружались в сыпучую массу, душный жар шел
от песков — легко можно было представить, каково идти
здесь в жаркие часы дня. После короткого привала при
свете высокой вечерней зари мы вошли в заросли саксау-
ла. Светящийся циферблат моих часов показал четверть
первого, когда окончились пески и ноги с облегчением
стали твердую почву каменистой полынной степи.

На высоте, вдалеке, виднелся красный огонек, окру-
женный облаком золотистой световой пыли.

— Это костер на площадке у палаток,— пояснила
Таня.— Что-то наши долго не спят — должно быть, ме-
ня ждут.

В темноте раздался звонкий мальчишеский голос:

— Матвей Андреевич, Таня приехала!

Мое знакомство с профессором состоялось при свете
костра. Это был маленький круглый человек с квадрат-
ным лицом. Умные глаза его прикрывали большие тол-
стые стекла очков. Я несколько задержался, подгоняя
ближе к костру упиравшегося верблюда. Профессор, по-
доровавшись с Таней, крикнул в мою сторону:

— Показывайтесь, Семенов! Где вы там прячетесь?
Рассказывайте, что в Ташкенте.

Я вышел в освещенный костром круг. Профессор
откинулся назад, поправил очки и посмотрел на
Таню.

— Кто это?.. А Семенов где?

— Семенов не приехал, Матвей Андреевич,— вино-
вилто, тонким голоском ответила Таня.

— Ничего не понимаю! Что за шутки? — начал сердиться профессор.

Я подошел к нему и, протягивая руку, назвал себя. Затем вкратце объяснил причину моего появления здесь.

— Что вы! Ну как же так? Вы майор раненый, орденосец. Неудобно, мой друг, неудобно! — ворчал профессор, сердито поглядывая на Таню.

Та помалкивала.

— И, наконец, ваша рука... Гм-гм!.. Разве вы сможете работать?.. Вот уж не ожидал от вас, Таня, такого легкомыслия!

Я рассмеялся, схватил здоровой рукой тяжелый тюк, снятый с верблюда, и легко поднял его над головой. Таня захлопала в ладоши. Профессор как будто смягчился.

— Ну, ну... Что мне с вами делать?

— Попробуйте на работе. Не подойду — выгоните, — смиренно произнес я.

Таня фыркнула. Очки профессора блеснули, уставившись на нее.

— Ох уж эти девы! Вечно они... Все ничего, а появится душка военный — и готово. Ну ладно, пейте чай, устраивайтесь, потом увидим.

В конце концов все обошлось. Когда профессор узнал, что я геолог и, следовательно, знаком с археологией, то и совсем забыл о неожиданности моего появления.

Наутро обсерватория Нур-и-Дешт показалась мне действительно на редкость приятным местом. На каменном высоком холме стояла полукруглая стена с выступающей на ее задней стороне приземистой башенкой. Концы стены перекрывались сверху двумя массивными сводами, подпертыми толстыми кубическими основаниями. Между кубами сохранился красивый, в арабском стиле портик, на котором еще оставались следы буквенной золотой вязи по бирюзовому фону. Между башенкой и сводами в почве была выкопана глубокая воронка, облицованная туфом. Большую часть воронки заполняла вогнутая вниз правильная мраморная дуга астрономического квадранта, спадавшая и снова подымавшаяся двумя полосами с углублением посередине. На боковых стенках дуги были высечены какие-то знаки и деления. Параллельно дуге спускались вниз мелкие, аккуратно высеченные ступеньки.

Профессор не стал задерживаться в обсерватории.

— Здесь мы уже все изучили,— сказал он мне.— Теперь место нашей работы будет вон там.— И он махнул рукой в оконечности правого крыла стены, около которой торчали остатки осыпавшихся сводов и стояла тонкая заостренная башенка.— Здание для астрономических наблюдений, как видите, хорошо сохранилось. Ну конечно, бронзовые части дуги квадранта и другие приборы давно расхищены, еще во времена монгольского нашествия. А тут, где мы будем продолжать изучение, должно быть, было хранилище инструментов, звездных карт и книг, а может быть, и жилище астрономов. Часть здания высечена в скале. Тут есть какие-то ходы, колодцы и подземелья, в назначении которых нам еще нужно разобраться. Верхняя надстройка рухнула, кучи щебня и песка загромождают нижние ходы, и до сих пор у меня нет ясного представления об этом здании. Оно больше похоже на маленький форт, чем на обсерваторию... Ну что ж, приступим...— И с этими словами профессор нырнул под засыпанный пылью и покрытый засохшей травой свод.

Мы все трое последовали за ним.

В полумраке квадратного помещения под сводом была приятная прохлада. Я вооружился инструментом вроде широкой тяпки — кетменем — и по указаниям профессора принялся отгрести завал из земли и каменных обломков, образовавшийся от проседания следующего свода. Я старался вовсю; пот катился с меня градом, и груды отброшенной мной земли все увеличивались по обе стороны камеры. Профессор, очень довольный, велел мне отдохнуть и взялся сам за кетмень. Потом копала Таня, и снова я. Так мы рыли в поту и пыли еще долго, пока наконец не проникли в низкий просторный подвал, чуть освещенный сквозь щели в камнях под сводами, наверху. Внимание профессора и Тани сразу привлекли какие-то плитки из гладкого камня, кучкой сложенные в углу. Для меня в этом темном пустом подвале не было ничего интересного, я принялся осматривать соседние с ним другие помещения. Узкие, как щели, проходы без дверей соединяли еще три подвала с высокими, в противоположность первому, потолками. Все они были совершенно пусты, только в конце второго помещения выступала толстым цилиндром какая-то постройка из плотно сложенных серых камней. По наружной стороне цилинд-

ра вилась наверх обрушившаяся узкая лестница, верх которой исчезал в хаосе обломков, засыпавших квадратный люк. В нижней части цилиндра чернели крохотные оконца, проникнуть в которые не могла бы даже крыса. Я заглянул в одно из них и долго всматривался в тьму, пока мне не показалось, что я вижу какой-то слабый отсвет. Я посмотрел снова и опять увидел едва заметный блеск. Я позвал профессора. Он с неохотой оторвался от разглядывания плиток и последовал за мной. Я обратил его внимание на цилиндрическую постройку, но профессор не выразил никакого интереса.

— Смотрите, Таня,— сказал он шедшей позади девушке,— это цоколь наружной башенки, той, что вроде минарета. Она одна только и уцелела: построена из крепчайшего диабаз.

На мое замечание о чем-то блестящем внутри профессор ответил:

— Ну что там может быть? Какая-нибудь изразцовая плитка завалилась. На башенку поднимались по наружной лестнице, а пустота внутри — только для экономии материала, хода внутрь нет.

Он двинулся было обратно, но вдруг остановился:

— Эге! Вот это на самом деле важно!

И профессор указал на завалившуюся стенку подвала за выступом щелеобразной двери. Из-под осыпи едва виднелась ступенька — очевидно, начало лестницы, шедшей куда-то вниз.

— Видите, Таня, я говорил вам, что должен быть еще третий этаж, самый нижний. Это первый ход вниз, который нам удалось обнаружить. Тут и будем копать. Сколько времени, Иван Тимофеевич? — спохватился профессор.

— Скоро пять.

— Ну-ну! То-то я так есть хочу! Пойдемте скорее.

Наверху нас встретил сухой жар и ослепительный свет. После сумрака под сводами зарябило в глазах. Я пропустил вперед Таню и профессора и остановился, чтобы лучше осмотреть местность с высоты бугра обсерватории. На ровной площадке слева от бугра стояли две наши палатки. И бугор и площадка находились на плоской вершине широкого куполовидного холма. Этот холм возвышался посредине группы из восьми подобных же холмов, покрытых редкой и жесткой травой, совсем не похожей на веселую зеленую траву нашего севера.

Сквозь ее щетинистый покров просвечивали угловатые выступы черных камней, присыпанных крупным песком. Камни, выступавшие из-под тонкого почвенного покрова на том холме, где стояла обсерватория, были другого, более светлого цвета. Поэтому бугор обсерватории довольно резко выделялся по окраске среди остальных черных собратьев.

Девять холмиков теснились на краю бесконечной, постепенно понижающейся к югу равнины, а с запада, справа, почти у самого горизонта, виднелась иззубренная полоса далеких снеговых гор. В той же стороне равнину пересекала узенькая, отливающая сталью извилистая лента; сбегавшая с гор речушка огибала холм обсерватории и, отклоняясь на восток, терялась в песках. Вокруг обсерватории, внизу, расстилалась желтая степь, испятнанная кустиками серебристой полыни и голубых колючек. Дальше, к северу, степь очерчивалась по краю песков темной лентой саксаульника.

Покой, простор, чистый горный воздух, синева тяжелого зноя над головой...

Как удачно сложилась судьба, приведшая меня сюда! И что еще нужно сейчас моей душе? Радостное чувство примирения с собой, с природой охватило меня.

— Иван Тимофеевич,— донесся крик Вячика, Таниного брата,— обедать!

— Куда вы девались? — встретила меня Таня вопросом.— А я чудесно искупалась и вам хотела предложить. Сейчас будем обедать, а купание отложимте до вечера.

После обеда и небольшого отдыха мы опять отправились откапывать обнаруженную профессором лестницу. Она уходила в широкую выемку, высеченную в песчанике и доверху заваленную всяким мусором. По тому, как медленно подвигалась работа, было ясно, что понадобится несколько дней наших соединенных усилий, чтобы откопать лестницу.

Закончив намеченную на сегодня работу, я напомнил Тане о ее обещании. Она повела меня по узенькой тропинке вдоль берега речки к подножию второго холма. Я молча шел следом, прислушиваясь к ровному шуму быстрой воды, дробившей солнечный свет в быстрых струйках. У поворота речки Таня остановилась.

— Вы здесь посидите, подождите меня. Мы с Вячиком сделали плотину, так что воды по пояс будет.

Таня скрылась за выступом берега, а я улегся на жесткой траве, подставив лицо прохладному слабому дуновению ветра. Журчание речки наводило дремоту.

— Уснули? Идите скорее. Как чудесно!

Свежая, веселая Таня стояла передо мной — безупречная красота юности, дружной с водой и солнцем. Я вскочил и спустился под высокий берег, где нашел маленькую запруду против крохотного песчаного пляжа. Два искривленных деревца, как часовые, охраняли эту первобытную ванну со стороны низкого правого берега. Я быстро приспособился купаться лежа, борясь с напором холодной воды. Купание замечательно освежило меня. У палатки нас уже ждали профессор и Вячик с чаем.

— Как понравилось купание?—спросил профессор.— А ну-ка испытаем геолога! Ничего в речке не заметили? Нет? Ну, дорогой мой майор, повоевали и все забыли! Древнее название этой речки, сохранившееся в летописях,— «Экик», что значит сердолик. И в гальках русла иногда попадаются красные камешки. При случае посмотрите.

Раскопки нижнего этажа оказались сложнее, чем мы ожидали. Шедшая наклонно вниз выемка постоянно заваливалась осыпавшейся землей и щебнем. Я работал уже четыре дня с утра до позднего вечера. Мускулы наливались новой силой. Словно из неведомых мне самому уголков души поднимались новые, свежие, как весенняя зелень, чувства — такие же бесконечно спокойные и светлые, как окружающая природа. Уверенная радость жизни владела мной: я почти забыл про усталость и недовольство. Тело, как это и должно быть у всякого вполне здорового человека, не существовало для меня, ничем не давая знать о себе, кроме наслаждения избытком жизненной энергии. Сейчас я разлагаю эти ощущения на отдельные элементы, тогда же это было иначе и выражалось, собственно, в чувстве обостренного восхищения местностью, где были расположены развалины Нур-и-Дешт. Я ломал голову, стараясь понять секрет очарования пустынных каменистых холмов и печальных развалин в жарком кольце степи и песков. Я поделился своими впечатлениями с Таней и профессором. Они согласились со мной.

— Я, признаться, ничего не понимаю,— сказал Матвей Андреевич.— Знаю только, что никогда не чувствовал себя так хорошо, как здесь.

— Мало сказать — хорошо, — подхватила Таня. — Я, например, переполнена светлой радостью. Мне кажется, что эта древняя обсерватория — храм... ну, не могу этого ясно выразить... земли, неба, солнца и еще чего-то неведомого и прекрасного, неуловимо растворяющегося в свободном просторе. Я видела много гораздо более красивых мест, но ни одно из них не обладает таким могучим очарованием, как эти, казалось бы, равнодушные развалины...

Еще один трудовой день кончился затемно, но спать не хотелось.

Наступила ночь. Мы улеглись у костра. В зените черного купола над нами сияла голубая Вега; с запада, как совиный глаз, горел золотой Арктур. Звездная пыль Млечного Пути светилась раскаленным серебром.

Вот там, низко над горизонтом, светит красный Антарес, а правее едва обозначается тусклый Стрелец. Там лежит центр чудовищного звездного колеса Галактики — центральное «солнце» нашей Вселенной. Мы никогда не увидим его — гигантская завеса черного вещества скрывает ось Галактики. В этих бесчисленных мирах, наверно, тоже существует жизнь, чужая, многообразная. И там обитают подобные нам существа, владеющие могуществом мысли, там, в недоступной дали... И я здесь, ничего не подозревая, смотрю на эти миры, тоскуя, взволнованный смутным предчувствием грядущей великой судьбы человеческого рода. Великой, да, когда удастся справиться с темными звериными силами, еще властвующими на земле, тупо, по-скотски разрушающими, уничтожающими драгоценные завоевания человеческой мысли и мечты.

— Вы спите, Иван Тимофеевич? — раздался голос профессора.

— Нет, я смотрю на звезды... Они здесь какие-то особенно ясные и близкие.

— Да, обсерватория выстроена с толком; здесь необыкновенная прозрачность воздуха. Впрочем, почти во всех местах Средней Азии прозрачное и яркое небо. Недаром местные народы — хорошие наблюдатели звезд. Знаете, киргизы называют Полярную звезду Серебряным гвоздем неба. К этому гвоздю привязаны три коня. За конями вечно гонятся по кругу четыре волка и никак не могут догнать. А когда догонят, то будет конец света.

Разве это не поэтическое изображение вращения Большой Медведицы?

— Очень хорошо, Матвей Андреевич! Помню, я читал где-то о небе Южного полушария. Высоко, где сияет Южный Крест, в Млечном Пути находится яркое звездное облако, а рядом с ним абсолютно черное пятно — огромное скопление темного вещества в форме груши. Первые мореплаватели назвали его Угольным мешком. Так вот, древняя австралийская легенда называет это пятно зияющей ямой — провалом в небе, а другая легенда говорит, что это воплощение зла в виде австралийского страуса эму. Эму лежит у подножия дерева из звезд Южного Креста и подстерегает опоссума, спасающегося на ветвях этого дерева. Когда опоссум будет схвачен эму, тогда наступит конец света.

— Да, похоже, только животные совсем различны, — лениво сказал профессор.

— Объясните мне, пожалуйста, Матвей Андреевич, кто и когда создал Нур-и-Дешт, эту «с толком выстроенную» обсерваторию, и почему она в таком пустынном месте?

— Работали здесь уйгурские астрономы, ученики арабских мудрецов. Ну а место-то стало пустынным после монгольского нашествия. Тут кругом развалины — следы поселений. Семьсот лет назад здесь, без сомнения, было богатое, населенное место. Чтобы построить такую обсерваторию, нужно много знать и много уметь.

Речь профессора прервалась. Что-то случилось. Я сначала не сообразил, что именно. Второй толчок дал почувствовать, как заколебалась земля под нами, — словно по поверхности прошла каменная волна. Почти одновременно мы услышали отдаленный гул, будто исходивший из глубины под нашими ногами. Посуда в ящике дребезжала, головешки в костре развалились. Толчки следовали один за другим.

Все кончилось так же неожиданно, как и началось. В наступившей тишине было слышно, как катятся по склонам потревоженные камни и что-то сыплется в развалинах обсерватории.

Наутро, как только мы явились к месту ежедневной работы, нас встретили неожиданные изменения, вызванные ночным землетрясением. Подрытый снизу в левой стороне земляной завал осел и рухнул, обнажив в правой стенке неглубокую нишу, обведенную заостренной

стрельчатой аркой. В глубине ниши из-под пыли и налипших комьев земли виднелась каменная плита с вырезанным на ней совершенно неразборчивым для неприщипанного взора сплетением знаков арабского куфического письма*. Обрадованные находкой и в то же время пороченные новым завалом лестницы, мы быстро расчистили надпись, столько веков скрывавшуюся под сухой и пыльной землей. На гладкой синеватой плите буквы были углублены и покрыты чем-то вроде глазури очень красивого оранжевого цвета с зеленым отливом. Таня и профессор принялись расшифровывать надпись, а мы с Пячком опять взялись за расчистку лестницы.

Матвей Андреевич расправил плечи и шумно вздохнул:

— Жаль, ничего важного! Правда, подтверждение сохранившихся в истории сведений. Надпись гласит, что по указу такого-то в таком-то году, в месяце Ковус... это Стрелец по-арабски, Таня?

— Да.

— Значит, в ноябре окончена постройка в местности Нур-и-Дешт, у речки Экик на холме... как это, Таня?

— Не совсем понимаю название — что-то вроде Светящейся чаши.

— Какая поэзия! На холме Светящейся чаши, на месте прежних разработок царской краски... Ага, это по нашей части, майор. Где же следы разработок и что могло здесь добываться?

— Не знаю, не заметил никаких выработок.

— Да вы были когда-нибудь геологом? — шутливо возмутился профессор.

— Погодите, Матвей Андреевич. Вот прокопаю вам лестницу, тогда отпустите несколько часов побродить. Может быть, и геолог пригодится. А то ведь мой ежедневный маршрут только один: речка — подвал, речка — палатка.

— Ага! — рассмеялся профессор.— Побывали в шкуре археолога — нос всегда в землю... А ведь вы правы: стоит объявить выходной день. Завтра не будем рыться — походите, исследуйте. Таня, конечно, стиркой зай-

* Куфическое письмо — вид арабского шрифта. Отличается расширенными квадратными очертаниями тесно соединенных друг с другом букв.

мется... Нет? А что же? Тоже побродить, геологии поучиться? Гм!..

— А что там дальше в надписи, Матвей Андреевич? — перебил я профессора.

— А дальше следует: в память великого дела сделана эта надпись и замурована древняя ваза с описанием постройки.

— Но, профессор, ведь находка вазы имела бы большое значение для изучения обсерватории?

— Конечно. Но где она замурована, не сказано. Ясно, что в фундаменте. Как ее найдешь? Лестницу прокопать — и то не можем.

* * *

Утром я попросил у Вячика дробовую бердану в надежде подстрелить какую-нибудь дичину. Сопровождаемые насмешливыми напутствиями профессора, мы с Таней отправились в обход холмов Нур-и-Дешт. Оказалось, что никто из членов маленькой экспедиции не отходил далеко от развалин — работа отнимала все время. День был на редкость зноен и тих, ни малейшее дуновение не стогняло сухого жара, шедшего от каменистой почвы. Мы долго ходили по холмам, карабкаясь по склонам, пока не изнемогли от жажды. Тогда мы спустились к речке, напились вволю и принялись бродить босиком по руслу. Крупные камешки разъезжались под ногами. В прозрачной воде среди черных и серых галек изредка резко выделялись разноцветные, сглаженные водой кусочки опала и халцедона. Охота за красивыми камнями увлекла нас обоих, и, только когда ноги совсем ооченели, мы вышли на берег и стали греться на теплых камнях, занимаясь разборкой добычи.

— Красные кладите сюда, Таня. Это сердолик — очень ценившийся в древности камень, якобы обладавший целебной силой.

— Красных больше всего. А вот смотрите, какая прелесть! — воскликнула девушка. — Это вы нашли? Прозрачный и переливается, как жемчуг.

— Гиалит, самый ценный сорт опала. Можете сделать из него брошку.

— Я не люблю брошек, колец, серег — ничего, кроме браслетов. Но если вы мне подарите его просто так...

спасибо... А зачем вы взяли эти три камня — мутные, нехорошие?

— Что вы, Таня! Разве можно так порочить самую лучшую мою находку? Смотрите.— И я погрузил непрозрачную белую гальку в воду. Камень сделался прозрачным и занграл голубоватыми переливами.

— Как красиво! — изумилась девушка.

— Ага, некрасивый камень оказался волшебным. Он и считался в древности волшебным. Это гидрофан, иначе называемый «око мира». Он сильно пористый и поэтому в сухом состоянии непрозрачен. Как только поры заполняются водой, он делается прозрачным и очень красивым. Это все разновидности кварца; их еще много сортов различных оттенков, ценности и красоты.

— Что же вам дала наша сегодняшняя экскурсия? — спросила Таня.

— Теперь я имею представление о строении всей этой местности. Правда, оно оказалось неинтересным: древние граниты и толща черных кварцитов, пронизанных жилами кварца. Холм, на котором стоит обсерватория, несколько отличается от других: он сложен какими-то очень плотными стекловидными кварцитами. Красивые камни в русле речки остались от размыва кварцитов — в жилах, в пустотах и натеках по трещинам, должно быть, довольно много халцедона и опала.

— А где же разработки, о которых говорится в надписи?

— Так и не знаю. Сами же видели, — нигде ни малейших следов. Может быть, они скрыты под развалинами обсерватории.

— Плохо! Опять Матвей Андреевич будет смеяться... — заключила Таня. — Пора обратно. Смотрите, солнце садится. И так придем в темноте.

На красном огне заката круглые плечи холмов выступили резкими силуэтами. Полное отсутствие ветра подчеркивало глухое молчание окрестных песков. Когда мы добрались до холма обсерватории, с западной стороны уже погасли последние отблески зари.

Развалины, едва различимые при свете звезд, встретили нас молчанием. Только сплюшка* где-то вдали издавала свой мелодичный крик. Ночью здесь было непри-

* Сплюшка — небольшой сыч; водится в южных районах Советского Союза.

ветливо; неясное ощущение опасности овладело нами, и мы пошли крадучись и шепчась, словно боясь разбудить что-то дремавшее среди угрюмых стен.

Внезапно я почувствовал, что дневная усталость куда-то отходит, уступая место бодрости. Сухой, неподвижный воздух, несмотря на тепло, исходившее от нагретых стен, казался необычайно свежим. Приятное, едва ощутимое покалывание изредка пробегало по коже.

— Я совсем не устала,— шепнула мне Таня, придвигаясь так близко, что почти касалась меня плечом.— Здесь что-то в воздухе.

— Да, я бы сказал, воздух — точно вблизи динамо-машины. Потрогайте-ка ваши волосы, Таня: они что-то очень распушились.

Таня провела рукой по волосам, стараясь пригладить их, и множество мельчайших голубых искорок замелькало под пальцами.

— Будто перед грозой,— сказала Таня,— только небо ясное и духоты совершенно не чувствуется, наоборот...

— Странно. Вообще в этом месте много необъяснимого...— начал я и вдруг увидел слабое зеленоватое свечение, мелькнувшее где-то в проломе стены.

Мы уже подходили к главному зданию с дугой квадранта. Я присмотрелся и заметил, что чуть видимым отблеском светится несколько букв надписи на внутренней стенке портика.

— Смотрите, Таня! — Я подвел свою спутницу к обрушенной части стены.

В непроглядной тьме сводов явственно выступали извивы букв, очерченные зеленовато-желтым сиянием.

— Что это такое? — взволнованно прошептала девушка.— Тут кругом много надписей, но ведь они не светятся.

— Все те надписи сделаны золотом. Так, кажется?

— Правильно,— подтвердила Таня.

— А это... Одну минуту...

Я осторожно проскользнул в портик и зажег свечку. Загадочное свечение мгновенно исчезло. Обветшавшая стена слепо встала передо мной. Но я все же успел заметить уцелевший кусок изразцовой плитки, покрытый гладкой глазурью, с выведенными на ней оранжево-зелеными буквами.

— Это сделано не золотом, а такой же эмалью, как у лестницы в подвале.

— Пойдемте скорее посмотрим! — живо предложила девушка.

— Пойдемте, — согласился я и спросил: — Вы бывали когда-нибудь ночью на обсерватории, вы или профессор?

— Нет, ни разу.

— Тогда вот что, пойдем сначала в лагерь — только не говорите пока ничего профессору, — мы поужинаем и, когда все заснут, продолжим исследование, если хотите. А если устали, я один займусь.

— Что вы! При чем тут усталость? Все так таинственно, интересно!

— Отлично. Только уговор, Таня: профессору ни слова. Я сам еще ничего не понимаю, но, если мы с вами додумаемся до какого-то объяснения, вот будет Матвею Андреевичу сюрприз наутро!

Теплая крепкая рука девушки сжала мою. Мы быстро спустились с холма к площадке, на которой по обыкновению горел небольшой костер. Поворчав на нас по поводу опоздания к ужину, профессор принялся расспрашивать меня о результатах похода. Как Таня и ожидала, добродушные насмешки профессора посыпались на мою бедную голову, едва Матвей Андреевич узнал, что я так и не нашел следов разработок красок.

— Ладно, лучше не буду спрашивать, что вы нашли в темноте вместе с Таней... Ну-ну, не сердитесь! Показывайте ваши камешки... Как много сердолика! Пожалуй, если несколько дней поработать, набрали бы целый мешок. Теперь сердолик мало ценится: еще один из многих примеров забытой с веками мудрости человеческого опыта. Раньше во всей Ближней Азии этот камень ценился наравне с лучшими драгоценностями. Из него делали браслеты, ожерелья, пряжки. И верили, что сердолик предохраняет человека от многих заболеваний. А самое любопытное — оказывается, эта вера больше, нежели простое суеверие. Я недавно узнал... — Профессор замолчал, задумчиво разглядывая красный камень при свете костра.

— Что вы узнали, Матвей Андреевич, расскажите, — попросила Таня.

— Да очень просто: медики начинают пробовать лечение сердоликом. Оказывается, он почти всегда облада-

ет радиоактивностью, слабой, можно сказать — ничтожной, равной сумме радиоактивности человеческого организма. Но именно потому, что радия в сердолике только ничтожные следы, он действует благотворно на нервную систему, восстанавливая в ней какой-то баланс, что ли, — не знаю толком.

«Радий?» Меня пронзила неясная догадка, и в голове вихрем завертелись мысли об электрических разрядах, светящихся надписях, оранжево-зеленых красках. Я нетерпеливо вскочил, но сейчас же взял себя в руки и поспешно вытащил папиросы.

— Что это вы, словно вас кольнуло, Иван Тимофеевич? — удивленно спросил профессор. — Пожалуй, и спать время. Завтра пораньше примемся — наверно, разгребем вход. Вы как хотите, а мы с Вячиком на боковую.

Я и Таня остались вдвоем. Я нервно курил, ожидая, пока профессор заснет и можно будет взять свечи для ночного исследования тайны обсерватории Нур-и-Дешт.

Наконец Таня достала две свечи, а я вытащил из кучи инструментов тяжелый лом.

— Это зачем? — удивилась девушка.

— Пригодится. Вдруг придется отвалить камень, вернуть какую-нибудь плиту...

Внизу, в каменных подвалах, царил полнейший мрак. Хорошо знакомой дорогой мы пробивались ощупью, не зажигая света. Повернули направо, в щелевидный вход, добрались до лестничной ниши. Таня вскрикнула: большая доска очень слабо, но явственно светилась сплетением куфических букв. Такая же золотистая светящаяся полоска шла по выступу лестничной арки.

— Так, понимаю, — подумал я вслух, — здесь днем мало света...

— Ну и что же? — нетерпеливо спросила Таня.

— Не спрашивайте меня сейчас, пока не решу всю задачу. Пойдемте наверх, к квадранту. Наверно, мы встретим еще остатки светящихся надписей... Стоп! Дайте свечу. Заглянем сюда.

Я вспомнил загадочный отблеск внутри цоколя астрономической башни, виденный в первый день, и решил попробовать проникнуть в цоколь. Я принялся осторожно выворачивать ломом крепко спаявшийся с остальными брусок камня над узкой вентиляционной щелью. Уступая моим настойчивым усилиям, камень зашатался.

И надавил сильнее и, дернув камень к себе, извлек из щели. Второй отделился легче. Образовалось отверстие, достаточное для того, чтобы просунуть голову и руку со свечой.

Огонь свечи озарил тесную внутренность башни, круглую, уходящую высоко в темноту. Налево, против пробитой мною дыры, находился широкий обтесанный камень, а на нем, покрытый густой пылью, стоял большой широкогорлый сосуд, мутно поблескивая запыленной глазурью. Даже на мой взгляд форма вазы была старинной.

— Ваза, Таня, ваза! — воскликнул я и уступил девушке место у пролома.

— Не пролезть. Как достанем? — спросила она, подавая радостный вздох.

— Сейчас.

Воодушевленный находкой, я быстро справился еще с двумя камнями. Едва я проник внутрь башни, как поспешно отпрянул назад: правее и позади камня, на котором стояла ваза, зияла темнота колодца. В колодец шли узкие ступеньки, спиралью завивавшиеся до какого-то выступа внутренней части башенки. Я передал вазу девушке через пролом и сказал:

— Подождите меня, Таня. Я спущусь вниз.

— Нет, нет, я пойду за вами: кто знает, что там... — Она замолчала, смутившись.

Наши глаза встретились, и я... Ну, словом, я спустился, упираясь руками в стенки колодца, и помог следовавшей за мной Тане.

Колодец был неглубок. Впрочем, это оказался вовсе не колодец, а неровный, немного наклонный ход, высеченный в скале. Холод охватил нас сквозь легкую одежду. Но это не был холодный, застоявшийся воздух подвемелья — чистый и свежий, он походил на богатый озоном воздух горных вершин. На глубине нескольких метров ход расширялся в неправильную большую пещеру с изрытыми стенами, изборозженными узкими, просеченными в разных направлениях бороздками. Я уже знал, что искать: кое-где в трещинах кремнистых сланцев и кварцитов, на дне бороздок оставались небольшие охристые примазки лимонно-желтого и оранжевого цветов.

— Вот и рудник красок, Таня! Только краски-то не простые.

Мы поднялись наверх. Не слушая протестов Тани, и совершил кощунство — понес вазу, не дожидаясь дня. Крепко прижав к груди тяжелую вазу, я осторожно ступал, боясь споткнуться. Около портика мы оставили дорогую находку и медленно обошли все здание. Я оказался прав: еще в нескольких местах мы обнаружили свечение каких-то знаков. Светящиеся черточки были и на дуге квадранта.

Спустившись к речке, мы осторожно сняли крышку сосуда. Внутри его не было ничего, кроме пыли. Тогда мы обмыли вазу снаружи и бесшумно принесли в палатку, поставили у изголовья профессора, заранее слаждаюсь, как он будет удивлен и потрясен утром.

— Ну а теперь рассказывайте! — шепнула мне на ухо Таня. — Я все равно спать не буду, пока не узнаю.

Отойдя от палатки, мы уселись на берегу речки, с мелодичным журчанием бежавшей в темную степь.

— Все, оказывается, очень просто, Таня: здесь имеется месторождение урановых руд и, следовательно, присутствует радий. Эти желтые пятна — урановые охры. Они применяются в керамике для получения очень прочной глазури с яркими и чистыми цветами: оранжевым, желто-зеленым, оливковым. Урановые руды встречаются в натеках, по трещинам кварцитов и были еще в древности выработаны, но радий — радий! — помимо урана, вероятно, рассеян в ничтожном количестве в кремнистой массе светлых кварцитов. И я думаю, что весь холм обсерватории, состоящий из этих кварцитов, излучает эманиацию радия. Кварциты, должно быть, слаборадиоактивны. Соли радия, смешанные с другими минералами, дают необычайно прочные светящиеся краски. Сейчас, особенно в войну, эти светящиеся составы имеют широкое применение. Оказывается, древние астрономы тоже знали этот секрет, и, может быть, само название «Нур-и-Дешт» — «Свет пустыни» — тоже связано со странными явлениями на обсерватории. Радий все еще мало изучен. Мы знаем, что он ионизирует воздух, накапливает электричество и озон, убивает микробов, обезвреживает яды. Теперь я понимаю, в чем секрет необычайно радостного воздействия этого места: огромная масса радиоактивных кварцитов, не прикрытых сверху другими породами, создает большое поле слабого радиоактивного излучения, очевидно, в дозировке наиболее благоприятной для человеческого организма. вспомните, что профессор гово-

про сердолик. А сегодня из-за отсутствия ветра получилось большее, чем обычно, накопление эманации радия. Мы с вами сразу и заметили это ночью. Какое неожиданное и интересное открытие, правда? — И я положил свою руку на руку девушки.

— Да, интересно... — отчужденно произнесла Таня и быстро поднялась. — Ну, надо идти спать, уже поздно...

Немного озадаченный внезапной холодностью Тани, я остался на берегу. Все мои мысли вертелись вокруг неожиданного открытия. Я продолжал находить новые и новые факты в доказательство своей догадки и долго еще сидел в темноте. Наконец я запутался в дебрях химии и побрел к своей постели...

Разбудили меня шумные возгласы профессора, звавшего всех нас. Ваза была извлечена на свет. Узор блестящей эмали бархатистого зелено-черного цвета шел между яркими оранжевыми, коричневыми и оливковыми полосами. Такие прекрасные тона глазури могли дать только соединения урана. Новое подтверждение ночного открытия в ослепительном свете дня!

Я рассказал профессору все свои соображения. Надо было видеть радостное возбуждение ученого! Я прибавил, что радиевые излучения, может быть, способствуют еще большей прозрачности воздуха непосредственно над обсерваторией.

— Ну это вы, пожалуй, хватили, — возразил профессор. — А что до нашего состояния, то я совершенно с вами согласен. Это место не только место света, но и место радости. А вот почему Таня у нас сегодня грустная? Что случилось?

— Нет, Матвей Андреевич, со мной ничего...

После вторичного осмотра выработки мы вернулись к работе на лестнице. К концу дня удалось расчистить небольшое отверстие, в которое все мы поочередно пролезли. Там был подвал из нескольких камер. Я не знаю, что он дал археологу, но, на мой взгляд, подвал был так же пуст, как и все виденные мною ранее.

Закатный ветер мчался по степи; розовая пыль клубилась над стальным ковром полыни. Профессор с Вячиком шли впереди, а Таня в раздумье замедлила шаги, отстав от них. Я догнал девушку и взял ее за руку.

— Что с вами, Таня? Вы всегда такая веселая, оживленная, и вдруг... Мне кажется, вы изменились после вчерашнего нашего открытия.

Девушка пристально посмотрела мне в лицо...

— Не знаю, поймете вы или нет, но я скажу... Нур-и-Дешт действительно место радости. И я думала, что эта радость во мне, от меня, что я сильная, свободная, веселая. Тут появляетесь вы...— девушка запнулась,— суровый, ушедший в себя, опаленный огнем войны. И вы тоже делаетесь ясным, радостным... И вдруг оказывается, что всему причиной этот радий — и только... Значит, если бы не было радия,— голос девушки упал почти до шепота,— не было бы и дивного очарования этих дней на древней обсерватории.

Таня отвернулась, вырвала руку и побежала вниз по склону холма. Я медленно пошел следом за ней. Остановился, оглянулся на развалины Нур-и-Дешт.

«Свет пустыни» — да, несомненно, свет и для пустыни моей души. Не пройдет, навсегда останется радость дней на обсерватории Нур-и-Дешт!

...И опять, как много раз до этого, угасал костер у палаток, и около него сидели мы с Таней. А рядом излучала золотистое сияние древняя ваза, светящаяся чаша давно минувших, но не умерших человеческих надежд.

— Таня, дорогая,— говорил я,— здесь ожила моя душа, и она открылась... навстречу вам. Кто знает, может быть, в дальнейших успехах науки влияние радиоактивных веществ на нас будет понято еще более глубоко. И кто поручится, что на нас не влияют еще многие другие излучения — ну, хотя бы космические лучи. Вот там,— я встал и поднял руку к звездному небу,— может быть, есть потоки самой различной энергии, изливающейся из черных глубин пространства... частицы далеких звездных миров.

Таня поднялась и порывисто подошла ко мне. В ясных глазах девушки отразился пепельный звездный свет.

В высоте над нами, прорезая световые облака Млечного Пути, сиял распростертый Лебедь, вытянув длинную шею в вечном полете к грядущему.

БУХТА РАДУЖНЫХ СТРУИ

Покинув библиотеку, профессор Кондрашев поднялся на следующий этаж и направился в свою лабораторию. Длинный коридор со множеством белых дверей по обеим сторонам был полуосвещен и тих. Лишь несколько сотрудников задержались, оканчивая срочную работу.

Профессор прошел к столу, втиснутому между двумя химическими стойками, и устало опустился в кресло. Газовые горелки едва слышно шипели, колба и стаканы сияли химической чистотой, наводящей трепет на непосвященных. Безупречность помещения, приспособленного к размышлениям и опытам, успокаивала, и горьковатый осадок в душе профессора исчез. Он еще раз мысленно перебрал основные положения своей последней опубликованной книги, стараясь беспристрастно оценить сделанные ему критические замечания.

В этой книге профессор Кондрашев отстаивал необходимость широкого изучения скрытых свойств различных растений, в особенности древних форм растений, являющихся пережитками, реликтами еще более древних эпох существования Земли. Подобные растения, живущие сейчас в тропических и субтропических странах, могут оказаться носителями очень важных и ценных свойств, выработавшихся в приспособлении к иным условиям существования десятки миллионов лет назад. В качестве примера профессор приводил растения, обладающие очень ценной древесиной и являющиеся пережитками древнетретичной эпохи (шестьдесят миллионов лет назад): у нас, в Закавказье,— самшит и «железняк», в южных странах,— тик, гринхирт, черное африканское дерево, японское гингко с его еще не изученными целебными свойствами, существовавшее более ста миллионов лет назад. Женьшень, уцелевший от третичного периода...

Эта работа профессора Кондрашева подвергалась резкой критике со стороны авторитетных ученых, и сей-

час в угрюмом молчании профессор признался себе, что его критики во многом правы. Положения работы основывались больше на горячем убеждении, а фактического материала, требуемого железными законами научного мышления, увы, было маловато. В то же время профессор Кондрашев был уверен в правильности своих положений. Да, больше убедительных фактов...

Вот если бы иметь в руках доказательства действительного существования «дерева жизни» средних веков! В шестнадцатом и даже в семнадцатом веках еще было известно это дерево, обладавшее чудесными, необъяснимыми свойствами. Чаши или бокалы, сделанные из него, превращали налитую в них воду в чудесный голубой или огненно-золотистый напиток, излечивавший многие болезни. Происхождение этого дерева и вид растения оставались неясными. Тайной дерева владели иезуиты, дарившие волшебные деревянные чаши королям, добываясь от них пожертвований и привилегий.

Дерево это в старинных сочинениях Монардеса, изданных в Севилье в 1754 году, а также у Атаназиса Кирхериуса называется по-латыни «лигнум вите» или «лигнум нефритикум», что по-русски значит «дерево жизни» или «почечное дерево».

По одним сведениям, оно происходило из Мексики, по другим — с Филиппинских островов. Действительно, у ацтеков было известно чудесное целебное дерево под названием «коатль» («змеиная вода»). Профессор вспомнил опубликованные опыты с чашей из почечного дерева, проделанные знаменитым Бойлем, описавшим явления голубого свечения налитой в чашу воды и тогда же отметившим, что это не краска, а какое-то еще необъяснимое физическое явление.

— Можно, Константин Аркадьевич? — раздался знакомый женский голос, и в двери мелькнули светлые кудряшки и вздернутый носик Жени Пановой.

Способный научный работник и в то же время хорошенькая женщина, Панова имела успех не только у молодежи, но и у более почтенных по возрасту сотрудников института. Профессор Кондрашев, сам не зная, по каким обстоятельствам, пользовался ее особой симпатией.

— Послушайте, дорогой Константин Аркадьевич, не огорчайтесь... Я знаю, чем вы опечалены... Но, мне кажется, вы слишком обгоняете тот уровень науки,

который определяется наличным фактическим материалом.

— Я знаю сам, что нетерпелив! — буркнул Кондрашев, слегка задетый замечанием и недовольный вмешательством. — Вы-то можете ждать, но мне уже маловато времени осталось. А чудес, внезапных открытий в мире не бывает. Только один медленный труд познания, подчас тоскливый...

Желая переменить разговор, Панова вытащила из сумочки два билета.

— Константин Аркадьевич, поедemте в филармонию. Там сегодня Чайковский — моя любимая «Березка». Вы же тоже любите. А Сергей Семенович нас подвезет, он сейчас едет. Я и побежала за вами... — Она дружески улыбнулась.

В девять часов они были в филармонии. Скрипки пели о русской беспредельной природе, о покое медленных и широких рек, обрамленных темными лесами, под низко сплетающимися хмурыми облаками, о трепетании свежей, как радостное обещание, зелени стройных берез...

И Кондрашев, смирившись в своем нетерпении, думал о неотвратимой безудержности знания, которое все шире и дальше распространяется по бескрайним равнинам неизвестного, захватывая все большие массы людей...

— Я всегда убегаю слушать музыку, если на душе нелегко, — шепнула Панова.

Профессор улыбнулся и уже с удовольствием посмотрел на нее. В антракте, когда они шли по коридору, из встречного потока людей выделился загорелый человек в морской форме. Кондрашев заметил необычный загар его энергичного лица и весело блестящие глаза. Моряк — вернее, морской летчик, судя по крыльям, нашитым на его рукаве, — увидел Панову, мгновенно очутился перед ними, восклицая:

— Женя, Женя!

Девушка вспыхнула и рванулась к нему, но тут же сдержалась, подала ему обе руки:

— Борис! Откуда ты взялся?

Профессор почувствовал себя лишним и направился к курительную. Он успел докурить папиросу, прежде чем Панова с летчиком разыскали его.

— Познакомьтесь. Это Борис Андреевич, мой большой, большой друг. И знаете, Константин Аркадьевич, он

летал очень далеко, только что вернулся и видел нечто необычайное. Как бы чудо, которое вы сегодня отрицали, действительно не случилось... Но это замечательно — разыскать меня здесь!.. Всего три часа, как приехал... — торопясь и несколько бессвязно говорила девушка.

Летчик прямо сиял от радости...

Профессор с удовольствием пожал руку моряку, приятный вид которого... да, он безусловно производил приятное впечатление.

Они обменялись обычными при первом знакомстве незначительными словами, но девушка нетерпеливо перебила:

— Борис, вы не понимаете... если есть у нас хоть один человек, который может объяснить ваше необыкновенное открытие, то это только Константин Аркадьевич!

Все трое оказались у профессора на квартире, и здесь летчик подробно и обстоятельно рассказал о своем путешествии. Уже начало рассказа заставило профессора радостно насторожиться.

Всего два с половиной месяца назад молодой, но уже занимающий крупный командный пост морской летчик Борис Андреевич Сергиевский получил очень важное задание. Позднее, когда станет возможным предать огласке то, что мы сейчас должны хранить в тайне, подобные предприятия войдут в историю как примеры беззаветного мужества исполнителей и мудрой дальновидности руководства.

Борис Андреевич был назначен в дальний беспосадочный полет для доставки ценного груза, от скорости прибытия которого зависело многое в сложных судьбах войны с фашистами.

Мутный день соответствовал унылой картине окружающего. Низенькие дома поселка терялись среди больших темных елей. Повсюду торчали свежеспеленные пни. Беспросветные облака застилали все кругом и, осаждаясь, расплывались у самых верхушек леса редкими бесформенными клочьями. Остро пахло лесной прелью, под ногами хлюпала размокшая болотистая почва и с неприятной бесшумной податливостью оседал толстый слой мха. Шаги приобретали четкость лишь на грязно-серой ленте бетонной дорожки, испещренной там и сям радужными кольцами масляных пятен.

Сергиевский с радостью окинул взглядом свою машину, уже вырулившую на старт. Самолет был высотный, пассажирского типа, по бокам его толстого фюзеляжа виднелись небольшие окна. Спереди фюзеляж заканчивался сплошным металлическим конусом, в верхней части перерезанным застекленной полосой. Длинные приподнятые крылья несли каждое по два мотора, защищенных широкими кольцами полированного дюрала. Их трехлопастные винты медленно вращались. Позади резко выделялся очень высокий руль. В своем обнаженном серебряном сверкании самолет был вызывающе красив, подобный дерзкому альбатросу.

Командование аэродрома явилось на проводы. Сергиевский оглянулся на торжественные и серьезные лица провожающих и с улыбкой посмотрел на часы. Все было готово. Последние, такие жадные затяжки — и папироска полетела в лужу. Сергиевский решительно подошел к самолету.

Тревожное напряжение долгой и тщательной подготовки отошло, настало время действовать. Облегченно выдохнув, летчик бросил взгляд на хмурое небо. Там, за тучами, на огромной высоте, на которой он поведет своего альбатроса, сияет яркое летнее солнце...

Несколько четких команд, и герметические двери захлопнулись, мягко зашипел проверяемый радистом край уравнивателя воздушного давления, затем все потонуло в оглушительном реве тысячесильных моторов.

Двадцатитонный серебряный альбатрос легко оторвался от земли, повинуясь едва заметному движению руки пилота, и почти мгновенно исчез в непроницаемой, облачной мгле. Гирогоризонт в матовой серой панели автопилота показал крутой наклон; стрелки альтиметров неуклонно ползли вверх. Застилавший окна туман вдруг начал розоветь, перешел в палевую дымку, и наконец голубой яркий свет хлынул через наклонные стекла. Прорбитая толща облаков осталась под самолетом. Вершины хаотических нагромождений облаков по белизне не уступали горному снегу, глубокие впадины и провалы тускло серели. На высоте семи тысяч метров Сергиевский лег на курс, перевел моторы на крейсерские обороты и включил автопилот.

Второй летчик, Емельянов, занимавший правое сиденье, снял наушники и, хмурая высокий затылок, пытался ослабить слишком тугую пружину. Сидевший

позади Емельянова штурман неторопливо шелестел справочником.

Сергиевский откинулся в мягком кресле, изредка взглядывая на приборы. Перед самолетом лежали тысячи миль пути над океаном, прежде чем снова ляжет под его крыльями чужая, но гостеприимная земля. Часы над просветом центрального стекла показывали восемь. Еще полчаса, и начнется опасный район. Там, в синеве безмятежного неба, рыскают немецкие воздушные хищники. Хотя высотный альбатрос и был оборудован четырьмя пулеметами, все же встреча с проворными «мессерами» представляла грозную опасность...

Сергиевский думал не о себе, а о драгоценном грузе, лежавшем за его спиной в кабине. Между тем товарищи Сергиевского спокойно занимались своими обязанностями, не разговаривая и даже не обмениваясь жестами. Все словно молчаливо условились, что до того, как опасный район останется позади, рассуждать, собственно, не о чем. Наиболее озабоченный вид был у механика, сосредоточенно следившего за бесчисленными стрелками своих приборов.

Серебряный альбатрос несся с огромной скоростью. Успокоительно и ровно гудели моторы. Толстый слой облаков по-прежнему висел между землей и самолетом. Изредка в нем темнели глубокие провалы с рваными краями. В них мелькала далекая и безразличная к людям в самолете земля, с высоты полета казавшаяся плоским темным полем без всяких подробностей.

Так прошел час, кончался второй. Самолет находился уже глубоко внутри опасного района, размеры которого были, увы, слишком велики. Стрелки до боли в глазах вглядывались в чистую синь неба и белизну облаков. В двадцать минут одиннадцатого Сергиевский резко выпрямился в кресле, твердо сжав штурвал:

— Внимание! Три неприятельских самолета!

Далеко вперед, перед кудрявившимся белым облачным скатом, возникли три маленькие черные черточки. Властная воля к борьбе соединила в одно целое маленькую группу людей, наглухо замкнутых в просторной кабине.

Емельянов, смотревший в бинокль, вдруг громко и презрительно сказал:

— Эти нам не страшны, Борис!

Снова тысячи сил и тысячи оборотов сотрясли самолет. Метнулась направо стрелка указателя скорости подъема, спидометр качнулся налево. Самолеты врага приблизились, расходясь в стороны. Сергиевский наконец прекратил подъем, и машина устремилась вперед с прежней скоростью, оставив внизу мрачных преследователей, напрасно пытавшихся достичь ее потолка.

Белая равнина облаков, сгладившаяся и оставшаяся далеко внизу, разорвалась на гигантские пухлые куски.

Под ними тусклым оловянным листом лежало море, а налево такой же, только более темного оттенка, полосой с причудливыми вырезами виднелась земля.

Все дальше и дальше уходил самолет, пересекая опасную зону. Курс был изменен. Взяв к югу, Сергиевский увеличил скорость. Еще немного — и самолет углубится в океан, оставив за собой район действий противника. Беспредельная гладь океана как бы остановила летящий самолет своим подавляющим однообразием. Волны с семикилометровой высоты не были заметны, блестящая поверхность воды казалась выпуклой. Впереди виднелся облачный фронт, суливший перемену в спокойной обстановке полета. Однако перемена наступила раньше.

Число пройденных километров перевалило за три тысячи, когда в воздухе снова возникли угрожающие черные точки, а далеко-далеко внизу показались крошечные салюты военных судов. Два вражеских самолета, задрав носы, начали набирать высоту, а третий держался поодаль впереди, у изогнутого края плотного длинного облака. Время словно прекратило свой размеренный бег.

Все последовавшее произошло как бы в одну секунду невероятного напряжения. Тупые хлопки пулеметных очередей, хлеставших самолет поперек фюзеляжа, едва донеслись сквозь шум моторов. Сергиевский наклонил машину и резко бросил ее влево. Одновременно заревели пулеметы обеих турелей. Еще поворот — на миг в окне мелькнул «мессершмитт», углом падающий вниз; затем альбатрос понесся с нарастающим ревом вниз в пологом пике, быстро сближаясь с третьим вражеским самолетом. Снова взревели пулеметы — мимо лица Сергиевского пролетело что-то горячее, брызнули во все стороны осколки, и альбатрос нырнул в густую белесую мглу.

Сергиевский почувствовал почти твердую струю холодного воздуха, бившего в лицо, и понял, что в носу кабины пробонны. Самолет продолжал мчаться в непро-

нищаемом облаке; моторы по-прежнему тянули свою победную песнь.

Вот, вызывая тревогу, блеснул яркий солнечный свет, но навстречу снова надвигалась облачная стена. Еще и еще вспыхивало и исчезало сияние солнца, пока самолет окончательно не зарылся в глубь многокилометровой толщи облаков, шедших с запада высоко над океаном. Ровный полет сменился ныряющим потряхиванием: воздух был неспокоен и словно старался сбросить многотонную тяжесть корабля.

Сжавшееся от напряжения тело Сергиевского ослабевало. Он выровнял самолет, бросил взгляд на гироскопас и застыл от изумления: вся верхняя часть стойки с приборами представляла собой нагромождение истерзанного металла. Сергиевский обернулся. Поток броневой и разрывных пуль, разбив переднюю часть кабины, пронесся, видимо, дальше — между пилотами — и ударил в основание стойки турели, где была смонтирована радиоустановка. Радист лежал на разбитом аппарате, прижав руку к щеке. Механик, не обращая внимания на выступившую на плече кровь, с сосредоточенным видом тушил слабо горевшие обломки, а второй пилот Емельянов хмуро ощупывал руку сквозь разодранный рукав комбинезона. Уже стучало в ушах и не хватало дыхания — давление в пробитой кабине упало, сравнявшись с разреженным высотным воздухом, и без кислородных аппаратов долго удержаться на этой высоте было нельзя.

Пока товарищи забивали широкую пробойну в носу самолета и перевязывали раненых, Сергиевский, убедившись, что толщина облаков достигает такой высоты, на которой самолет с пробитой кабиной держаться не может, начал снижаться.

Положение самолета было тяжелым вследствие гибели основных ведущих приборов и повреждения радиоустановки. Без солнца лететь над лишенным ориентиров океаном было почти все равно что лететь слепым полетом.

Пока налаживали уцелевший магнитный компас, Сергиевский мечтал о птичьем чувстве направления. Каким особым чутьем руководятся птицы при своих долгих полетах в дождь и туман над морем? Выработается ли это чувство у человека, тоже ставшего птицей?

Магнитный компас, несмотря на очевидно изменившуюся после такого сотрясения и смещения девиацию,

но же давал, хотя бы в пределах четверти горизонта, ту линию направления, без которой самое совершенное искусство слепого полета становится опасной и неверной игрой...

Вокруг темнело. Начинался шторм. Вот по окнам заструилась вода; потоки ее хлестали по самолету, легкая пена тумана уступила место мутной, серой водяной пелене. Емельянов со штурманом, отчаявшись привести в порядок радиоустановку, принялись извлекать и налаживать аварийную. Механик, балансируя на правом кресле, пытался исправить неработавшие, но уцелевшие приборы.

Тьма сгущалась. Самолет вздрагивал от резких толчков. На высоте двухсот метров окна посветлели: машина выходила из облаков. Еще пятьдесят метров — и внизу показались извилистые белые гребни волн. Океан продолжал бушевать. Под угрюмо нависшими тучами, в узкой щели между облаками и громадными волнами, самолет, подобно настоящему буревестнику, прокладывал свой путь со стремительной силой. Машину бросало и покачивало, обломки и незакрепленные вещи перекачивались по кабине.

Порывы ветра, заглушаемые гулом моторов, с яростной силой набрасывались на самолет и бессильно скользили по гладким полированным, заметно вибрировавшим крыльям. Замечательная конструкция самолета позволяла ему садиться и на воду; но вынужденный спуск в безумном метании вздыбленных вод был губительным даже и для летающей лодки. Впрочем, летчиков занимали сейчас совсем другие мысли: сложные расчеты возможных ошибок ненадежного магнитного компаса, дрейф воздушного корабля, расход горючего...

Сергиевский передал управление Емельянову (рана второго пилота была пустяковой), а сам вместе со штурманом склонился над развернутыми картами. Аварийная радиоустановка почему-то никак не хотела действовать, и серьезно раненный радист не мог помочь летчикам. День угасал, туман над океаном густел, а все еще ни один радиопеленг не зазвучал в наушниках.

— Давайте английскую карту две тысячи девятьсот двадцать семь! — распорядился Сергиевский.

Зубчатые голубые, красные линии штормов и пассатов перекрещивались со стрелками на квадратной сетке карты. Вычисления были недостаточно точны — слишком

мало давали показания уцелевших навигационных приборов. Однако гостеприимный берег — там, далеко впереди, — простирался на тысячи миль. Отклониться настолько сильно на юг и на север, чтобы миновать его, было невозможно. Взвесив все, Сергиевский успокоился.

Две лампочки в потолке кабины ярко освещали разбитые щитки приборов. Океан скрылся, отступив в темноту, в которой лишь угадывалось его опасное присутствие. Уже тысячи километров водной пустыни остались позади, но внизу по-прежнему были одни волны, только волны — вечное дыхание необъятной массы воды.

Полет продолжался более полусуток, и далекая цель, несмотря на задержку самолета в бою и штормовые условия полета, должна была значительно придвинуться.

Время ползло медленно, гораздо медленнее, чем стрелки указателей расхода горючего. Больше трех тонн бензина еще находилось в баках самолета, но это было уже много меньше половины первоначального запаса. Расход горючего был чересчур высок: встречный ветер мешал самолету двигаться с нужной скоростью.

Сергиевский пытался успокоить себя разумными рассуждениями, что все равно ничего не поделаешь — нужно лететь и лететь, а там видно будет. Погода не благоприятствовала определению места самолета: область циклона осталась позади, но высокие облака закрывали звезды. Ночь тянулась бесконечно, времени для тревожных мыслей оставалось утомительно много. Девятнадцать часов полета — и все еще никаких признаков береговых огней!

Теперь было ясно, что не только шторм задержал самолет, но еще и отклонение от нужного курса. Сергиевский повернул немного к северу, пытаясь выправить предполагаемое отклонение к югу.

Безупречные моторы работали, как в первый час полета, хотя сделали уже три с половиной миллиона оборотов. Оставалось всего полтонны бензина, а берега все нет.

Рассвет наступил быстро. Солнечный багрянец залил половину океана позади самолета. Прозрачное утро, казалось, несло надежду и радость. А стрелки бензиномеров все ползли и ползли налево, к грозной для пилота цифре — белому кружку нуля с толстой чертой, подчеркивающей страшный символ: горючего больше нет!

Отсутствие земли казалось невероятным и тем не менее было совершенной реальностью. Еще немного — и могучая сила моторов погаснет, бешено крутящиеся воздушные винты остановятся, и воздушный корабль беспомощно рухнет в волны. Волны словно ждали своей добычи — плавно и мерно вздымались они из глубин океана, застывая на миг, перед тем как сникнуть, будто пытаясь достать низко летевший над ними самолет.

Появление солнца наконец дало возможность определиться.

— Двадцать семь градусов широты! — воскликнул Сергиевский. — Мы взяли порядочно к югу... Самое важное для нас долгота, а с ней-то хуже — примерно семьдесят девять западной... Ну, товарищи, должна быть видна земля.

Пилот набрал высоту. Действительно, едва заметная, похожая на неподвижный гребешок высокой волны темная полоска возникла на горизонте. К ней жадно устремились взгляды воспаленных, усталых глаз. Емельянов поднял бинокль, и Сергиевский увидел, как летчик облегченно вздохнул. Полоска темнела и утолщалась. Вот ее верхний край стал неровным — обнаружались закругленные вершины гор или холмов.

Еще двадцать минут — и белая пена прибоя стала отчетливо видна. Моторы, черная последние литры бензина, гулко ревели, набирая высоту для решающей минуты вынужденного спуска. Сесть на воду у берега было нельзя — мощные волны бились о тупые выступы темных камней; крутясь в провалах и трещинах, отбегали назад извивы пенящихся струй.

Выше полосы прибоя берег вздымался гранеными уступами, с густым зеленым ковром по распахнутым вверх склонам ущелий и неглубоких долин. Здесь тоже ничто не указывало на возможность благополучной посадки.

За прибрежными горами местность понижалась и, насколько хватал глаз, была покрыта сплошным лесом. Местами блестели на солнце зеркальные пятна болотной воды. Направо, в отблесках моря, очень далеко на севере, выступал узкий мыс, на котором угадывалось белое возвышение, сделанное человеческими руками, — возможно, башня маяка.

Сергиевский заметил уже ясно вырисовывавшиеся на берегу деревья. Это были пальмы. Стрелки бензиноме-

ров трепетали на нуле — товарищи Сергиевского изо всех сил качали ручные насосы, не отрывая взгляда от своего командира. Слева берег заворачивал внутрь суши и отклонялся на запад. Самолет перелетел гребнистый и длинный, покрытый пальмами мыс, и в этот момент неожиданно наступила тишина. Моторы остановились. Только крайний левый еще издал несколько стреляющих вспышек, перед крыльями замахали лопасти пропеллеров, словно предупреждая о том, что больше держать корабль в воздухе они не могут.

— Прыгать по очереди через левую дверь. Емельянов, распорядись! — приказал Сергиевский, толкнул штурвал вперед и повел тяжелую машину вниз по пологой линии, стараясь протянуть спуск как можно дольше и в то же время избежать роковой потери скорости.

В грозной тишине спускался самолет. Он покачнулся. Справа взвились вверх зеленые выступы гор. Еще немного — и блестящий металл красивой птицы сомнется, разлетится на бесформенные куски вместе с исковерканными трупами летчиков. Но экипаж самолета безмолвствовал, затаив дыхание, не решаясь расстаться с прекрасной машиной и надеясь на искусство пилота. А Сергиевский, отдав приказ, уже не думал о людях, весь уйдя в полное надежды усилие сохранить самолет и его груз. Две-три секунды земля приближалась...

Но тут пилот заметил небольшую спокойную бухту, загражденную лесистыми выступами берега от ударов прибоя. Решение вспыхнуло мгновенно: поворот, еще больший наклон самолета вниз — и земля помчалась навстречу...

Сергиевский резко рванул штурвал на себя, осадив огромную машину, как послушного коня. Не выпуская шасси, самолет задел низкий лесок на выступе берега в грохоте ударов и треске ломающихся деревьев. Обессиленная серебряная птица смяла деревья, как траву, тяжело плюхнулась в воду бухты и скользнула по ней среди брызг. Пробежав полторы сотни метров, она остановилась совсем близко от высокого противоположного берега. В последнюю секунду движения Сергиевский еще успел выпустить шасси, чтобы использовать малейшую возможность задержать инерцию тяжелого корабля. Маневр удался: огромная машина легла на прозрачную голубоватую воду, слегка накренившись на правое крыло.

Самолет еще покачивался и вздрагивал, когда летчики выбрались на крыло. Гнетущая тяжесть ответственности свалилась с души Сергиевского. Он расправил плечи, радуясь ослепительному солнцу, ласковой воде и буйной тропической зелени. Глубина воды под самолетом не превышала трех метров, колеса шасси уперлись в плотный песок постепенно поднимавшегося дна. Герметичская кабина не пропускала воды, а носовая пробонна находилась выше уровня осадки самолета.

— С прибытием, товарищи!— весело сказал Сергиевский.—Правда, не совсем к месту назначения, но это не беда. Могло быть и хуже. А сейчас мы где-то во Флориде...

Зной, причудливые формы незнакомых растений и без пояснений говорили о далеком юге.

Все происшедшее за последние сутки казалось быстро промелькнувшим сном.

— Ну, робинзоны, еще раз осмотрим самолет и поспим немного. Рекомендую раздеться, не то сваримся в комбинезонах.

Посоветовавшись с механиком и вторым пилотом, Сергиевский решил после отдыха подпереть хвостовую часть и правое крыло какими-нибудь стойками для обеспечения полной безопасности машины от увязания в грунте во время отлива.

Полдневное солнце нагрело самолет, ослепительно отражаясь от его полированной поверхности. Летчики вылезли, отдуваясь, наружу. Раиенному радисту стало лучше, и он был удобно устроен на сквозняке между двумя вынутыми окнами.

Летчики разложили складную резиновую лодку, готовясь отправиться на берег за подпорками для машины. Сергиевский оставил одного из стрелков дежурить в самолете и, поднявшись на верхнюю часть левого крыла, оглядел бухту, выбирая наиболее подходящие деревья.

Гладкая вода бухты имела сердцевидный контур. В середине берегового выступа возвышалась крутая скала с тонкими, изогнутыми пальмами. Направо когтеобразный мыс порос перистыми деревьями, сплошь покрытыми белыми цветами. Мыс пересекала широкая дорога, проложенная самолетом. Обломанные вершины, вывороченные с корнем деревья и нагроможденные у края воды свежерасщепленные стволы привлекли внимание Сергиевского. «Много материала для стоек наготовили»,— усмехнувшись, подумал летчик. Некоторые обломки де-

ревьев были отброшены далеко в глубь бухты — такова была сила удара самолета, прочность его корпуса.

— Да, если бы не этот пружинящий забор... — вслух сказал сам себе Сергиевский и, не докончив мысли, поглядел на противоположный берег бухты, о который неминуемо бы разлетелась вдребезги длиннокрылая машина.

Погрузившись в лодку, летчики медленно двинулись по зеркальной воде, нехотя морщившейся вокруг. Там, где в прозрачной воде громоздились расщепленные обломки деревьев, придавленные сверху целым лесным завалом, летчиков поразила невероятная, незабываемая картина.

Ровный, плотный песок на дне давал однотонную, казавшуюся бурой поверхность сквозь голубеющую воду. Над ней во всех направлениях в пронизывающих воду солнечных лучах изгибались и двигались, переплетались и перемешивались струи глубочайшего синего и огненно-золотистого цвета.

Небольшой песчаный бугорок на дне, под грудой изломанных стволов, был окаймлен светло-синим полукольцом, заполненным клубами искрящегося золота и чистойшей сини. Временами между золотом и синью мелькали извивы алых, пылающе-пурпурных и изумрудно-зеленых струй. Сказочная симфония сверкающих красок переливалась, отсвечивала, клубилась и струилась, приковывая взгляд своим почти гипнотическим очарованием.

Ошеломленные невиданным зрелищем, летчики долго не могли отвести взгляд, пока наконец Сергиевский решительным толчком не ввел лодку прямо в клубящееся золото.

Налево два обломка, отброшенные в глубину бухты и воткнувшиеся в дно, стояли почти вертикально, и вокруг них извивались те же струи золота с синью, только более узкие и прозрачные.

Сладкое благоухание таинственных деревьев распространялось в воздухе, усиливая впечатление чудесного. Вода в этом уголке бухты опалесцировала слабыми, как бы разведенными во много раз, но такими же безупречно чистыми красками золота, сини и пурпура.

Сергиевский и его товарищи вошли в мелкую воду у берега и принялись выбирать подходящие для стоек обломки деревьев. Стволы не были толстыми — всего шесть-семь сантиметров в диаметре, — с очень плотной и тяжелой древесиной. Сердцевина дерева была темно-

бурого цвета и окаймлялась почти белым наружным слоем.

Механик, найдя расщепленный пополам ствол, погрузил его для опыта в воду. Сначала — первые две-три минуты — в воде медленно распространилось едва заметное голубое опалесцирующее облачко, затем от ствола начали отделяться маленькие радужные струйки. Они заворачивались спиралью, распространяя сияние.

Так вот разгадка чудесных красок в воде бухты — присутствие расщепленной древесины загадочного дерева! Сергиевский внимательно смотрел на берег, стараясь запомнить очертания деревьев. Ничего особенного не было в их раскидистых ветвях, перистых листьях и гроздьях белых цветов.

Вдруг откуда-то из-за мыса донесся слабый, но отчетливый шум, который нельзя было спутать ни с каким другим звуком, — мотор! Далекое гудение было ровным и сильным, несомненно приближавшимся к бухте.

— К самолету! Скорее! — скомандовал Сергиевский.

С левого крыла, приподнявшегося над водой, виднелись волны, размеренно и непрерывно катившиеся на берег. Обогнув длинный восточный мыс, серый моторный катер неожиданно рассек плавные волны белым пенящимся буруном. Нос, высоко поднявшийся над водой, слабо покачивался, под ним лежала черная тень, а металлические части орудийной и прожекторной установок горели туманными огоньками.

Катер повернул, моторы стихли, и маленькое судно подлетело к самолету. На носу его выросли крупные фигуры моряков береговой охраны в белых куртках и широких трусах, казавшихся легкомысленным нарушением необходимой суровости военной формы.

Переговоры не затянулись, и катер исчез так же быстро, как появился, а спустя некоторое время два куцых гидросамолета тяжело опустились на воду большой бухты, в километре к западу от «бухты радужных струй». Раненый и часть груза были взяты на гидросамолеты, в баки советской машины влито две тонны бензина. Оставалось ждать прибытия двух судов, для того чтобы во время отлива отбуксировать самолет из маленькой бухты через узкий проход между рифами.

Короткие сумерки сменились густой темнотой. Сергиевский спохватился, что нужно взять с собой образец волшебного дерева, иначе все виденное в бухте скоро

покажется невероятным сном. В ожидании восхода луны летчик поднялся на крыло самолета и увидел отчетливое голубое сияние, распространившееся в воде вокруг стоек, подпиравших крыло и хвост самолета. Удивленный новым проявлением чудес бухты, пилот поглядел в сторону сокрушенного самолетом леса. Окруженное темной водой, яркое голубое пятно горело там, где днем сверкали извивы радужных струй.

Сергиевский опустил в лодку и поплыл к светящемуся пятну. Вокруг расщепленных стволов вода казалась облаком светящегося голубого газа, бросавшим серебристый отблеск на лицо и руки Сергиевского. Света, испускаемого водой, было достаточно для того, чтобы ориентироваться, и летчик быстро отобрал несколько кусков древесины, не забыв прихватить и ветки с листьями и цветами.

Во время работы по буксировке самолета из бухты Сергиевскому было не до расспросов, а потом, когда «бухта радужных струй» осталась позади, летчику уже не удалось узнать ничего вразумительного. Дерево, о котором он рассказывал, было знакомо местным жителям под названием «сладкое дерево». Оно встречалось здесь редко, и никто не слышал о чудесных свойствах его древесины.

Медленно и осторожно, вместе с отливом, серебряный корабль был выведен на простор спокойного моря, и рев моторов потряс безмятежный тропический берег.

Альбатрос покинул навсегда чудесную бухту и вскоре перенес обратно через океан всю маленькую группу людей, удостоенных судьбой увидеть одно из неизвестных чудес природы.

* * *

Профессор Кондрашев повернулся на высоком стуле к входившему в лабораторию Сергиевскому и молча протянул ему стойку с пробирками, на дне которых лежали маленькие кусочки волшебного дерева, привезенного летчиком. В воде переливались и блестели струйки и облачка огненно-желтого и прозрачно-синего цветов, иногда переходившие в зеленовато-желтые или сверкающие голубые тона.

— Похоже на вашу бухту? — вопросительно улыбнулся профессор.

— Не совсем,— серьезно ответил летчик.— Там краски и свечение были куда ярче.

— А, конечно,— спохватился Кондрашев,— ведь в бухте вода-то морская! — и капнул в пробирки по нескольку капель какого-то раствора.

Синь тотчас сгустилась и из прозрачной стала почти непроницаемой для глаза, а желтые облачка показались отлитыми из червонного золота.

— Оказывается,— пояснил профессор,— добавление в пресную воду небольшого количества щелочей резко усиливает способность дерева окрашивать воду. Впрочем, это не краска, а какое-то особое вещество, еще не разгаданное наукой. Его способность светиться и опалесцировать может оказаться весьма ценной. Дерево мне удалось определить — оно сродни обыкновенным серым орехам, но является очень древним представителем этой группы и называется «эйзенгартия». Эйзенгартия существовала не менее шестидесяти миллионов лет назад. Сейчас это кустарник, широко распространенный на юге Соединенных Штатов и не обладающий никакими чудесными свойствами — очевидно, выродившийся в неблагоприятных условиях жизни. И вот оказывается, что в Южной Мексике, на Юкатане, и очень редко там, где вы были, эта же самая эйзенгартия сохранилась в виде небольшого дерева, так же как в древние эпохи своего существования. Это дерево обладает особыми, уже знакомыми вам свойствами. Именно оно и представляет собою «коатль» ацтеков, или «дерево жизни» средневековых ученых. Вам, дорогой, принадлежит честь открытия — вернее, возобновления открытия — этого ценного растения.

Профессор встал и торжественно извлек из стеклянного шкафчика небольшой бокал из темной древесины эйзенгартии.

— Вам,— продолжал он, наливая в бокал чистую воду из колбы,— по праву надлежит первому выпить волшебный напиток, сохранявший здоровье средневековых владык...

Вода в темном бокале казалась зеркальцем глубочайшей синевы. Сергиевский, смущенно улыбаясь, принял бокал из рук профессора и, не колеблясь, осушил до дна.

ПОСЛЕДНИЙ МАРСЕЛЬ

Корабль умирал. Море, несколько часов тому назад покорно несшее его на себе, теперь врывалось в него с глухим плеском. Горячее сердце судна остыло и смолкло, в машинном отделении воцарилась гробовая тишина.

Лишенный хода корабль тяжело качался с борта на борт, уваливался под ветер, рывком бросался к ветру и опять продолжал свое неравномерное вращение.

Нос корабля поднялся, высоко выставив над волнами красные скулы и ржавое закругление форштевня. На палубе, заваленной обломками, битым стеклом, обрывками тросов, не видно было людей. День, вначале солнечный и веселый, кончился туманом, липнувшим к волнам и, казалось, душившим даже ветер. Туман густел и обтекал корабль, охватывая его не спеша, как заранее обреченную жертву.

Семь часов назад «Котлас» был вполне исправным транспортом, совершавшим свой шестой рейс из Америки в СССР. Вместе с десятком более крупных пароходов под конвоем военных судов «Котлас» благополучно проделал большую часть пути, несмотря на два налета немецких бомбардировщиков.

Если бы корабль мог говорить, он рассказал бы, как в солнечной синеве погожего осеннего дня появились фашистские бомбардировщики и завязался бой. «Котлас», один из «малышей» каравана, шел в числе концевых кораблей. Грязно-серый «юнкерс», круживший вначале над головными крупными кораблями, неожиданно отвернул и, задрвав хвост, ринулся на «Котлас». Zenитка бесстрашно встретила ревущее чудовище, но «Котласу» не повезло. Одна бомба, сокрушив гакаборт, разорвалась под кормовым подзором, подбросив судно так, что искорверканный руль на секунду повис в воздухе; другая через полукот проникла в заднее отделение кормового трю-

ма. «Котлас», потеряв руль и винты, под угрозой затопления топок стравил пар.

Громкое шипение, как тяжелый вздох, разнеслось вокруг, оповещая караван об аварии одного корабля. Начальник конвоя не счел себя вправе из-за этого задерживать весь караван. «Котлас» был взят на буксир кораблем охранения, раненых перевезли на другое судно, и дым от многочисленных труб закрыл горизонт впереди: караван, развивая ход, двинулся своим путем.

В течение пяти часов оба оставшихся корабля шли покойно, надеясь вскоре увидеть эсминец, который начальник конвоя обещал выслать навстречу, едва караван минует опасную зону. Но задул свирепый норд-вест, ветер развел волну, буксир оборвался. Вся команда «Котласа», не исключая кочегаров и машинистов (кроме тех, которые во тьме трюмов боролись с проникновением воды через разбитый рецесс и туннель гребного вала), была на палубе, выбирая тяжелый перлинь буксира. Отчаянными усилиями обрыв буксира удалось ликвидировать. Но перлинь лопнул вторично, и почти у самой кормы буксирующего корабля. В довершение всего появился вражеский разведчик.

Не успели моряки «Котласа» полностью выбрать буксир, как вызванные разведчиком бомбардировщики атаковали из-за облаков оба судна. Сторожевик получил две пробойны и, приняв сотни две тонн воды, осел носом. Бомбардировщики старались уничтожить корабль охранения, справедливо полагая, что без него беспомощный «Котлас» все равно не уйдет. Израсходовав тяжелые бомбы, фашисты бросили на палубу «Котласа» лишь несколько осколочных, а затем секли оба корабля пулеметными очередями. При этом погибли капитан «Котласа», боцман и несколько моряков; некоторые были ранены.

Самолеты исчезли, но поврежденный ими сторожевик больше не мог буксировать: он сам оказался в опасном положении. Оставалось одно — уходить, пока сторожевик еще не потерял возможности двигаться своим ходом. Командир сторожевого корабля предложил затопить «Котлас», но старпом парохода, заменивший убитого капитана, отказался. Вместе с ним решили остаться все не получившие ранения моряки с «Котласа». Они хотели продолжать борьбу за живучесть гибнущего корабля, надеясь на скорый приход эсминца конвоя.

Сторожевик ушел, взяв на борт раненых с «Котласа». Море было пустынным, и таким же пустым, покинутым казался «Котлас», медленно дрейфовавший на зюйд-зюйд-ост. Рация на нем больше не работала, паровые донки не могли откачивать воду, свет отсутствовал. В сущности, это был лишь холодный труп корабля, еле державшийся на воде. Но с ним оставались шесть моряков.

Один из них, высокий, худощавый, осматривал рубку. Это был старпом «Котласа» Ильин. Углы его рта опустились, на щеках обозначились длинные вертикальные морщины, отчего лицо стало напряженным и жестким. Туман — прежде друг, скрывавший корабль от врага, — сейчас был грозной опасностью. Найти «Котлас» в обширной зоне тумана для шедшего на помощь корабля конвоя было непосильной задачей. Дать радио Ильин не мог: для гудков не было пара. Оставалось бить в колокол, рискуя приманить подводную лодку или рейдер врага.

Старпом задумался. Скоро ночь, норд-вест, по-видимому, установился надолго. Холодный ветер, пролетая над теплыми струями Гольфстрима, подхватывает насыщенный водой воздух и гонит его сюда, сгущая в туман. Дрейф несомненный, и этот дрейф несет «Котлас» к вражеским берегам. До них далеко, но и осенняя ночь длинна, и если вовремя не придет помощь... Ильин сжал зубами мундштук давно погасшей трубки, представив себе растаявший поутру туман и «Котлас» в виду вражеского берега.

Волна плеснула, слабо звякнула дверца шпигата. Этот звук напомнил старпому картину недавних похорон погибших в бою товарищей и капитана «Котласа». Ильин любил капитана, и мало кто на судне знал о задушевной дружбе, связывавшей обоих. У старпома снова защемило сердце, как в тот момент, когда он наклонился над смертельно раненым капитаном. В последний раз заглянул он в глаза друга, которые вдруг потеряли обычную серьезность и смотрели на старпома по-детски открыто и ясно. Побелевшие губы разжались. Ильин уловил слабый шепот: «...вам... Вы сохраните для...» Старпом так и не узнал, говорил ли капитан о корабле или о своей заветной тетради.

Капитан уже несколько лет писал записки по истории русского флота.

«История русского флота,— не раз говорил капитан Ильину,— для меня делится на три части. Одна — это военный флот, имеющий большую официальную историю. Вторая — торговый флот, такой истории не имеющий. Длинная цепочка тянулась от царствующего дома (тут капитан пускал крепкое морское слово) до хозяина. Кому здесь было историю писать? Однако русский торговый флот рос и развивался, давал замечательных моряков, и тут он никому, кроме как русскому народу, не обязан. О нем вы прочтете в разных произведениях, учебных и литературных. Но уже совсем никакой истории не имеют те русские моряки, которые не нашли себе места в царской России и вынуждены были уйти на чужие корабли. Об этих подчас замечательных моряках ничего не известно, истории своей они никакой не имеют. Пробел этот я пытаюсь заполнить. Ведь я — из старинного моряцкого рода и многое знаю такое...»

Все это Ильин вспомнил сейчас, стоя на исковерканной палубе «Котласа».

* * *

Два керосиновых фонаря, качаясь и копя, бессильны разогнать душный мрак. Вода выше пояса. С каждым размахом судна тяжелая масса воды грозно и глухо ударяет в переборки. Эта черная, кажущаяся невероятно глубокой вода — самый неумолимый, опасный враг.

— Ух, холодище! — послышался ясный молодой голос откуда-то из темноты.

— Ничего, Витя, сейчас погреемся! — отзвался другой, хриловатый голос. — А ну, Титаренко, давай есюда.

— Не подпереть, выдавливает...

— А богатырь наш где?

— Курганов, на подмогу!

— Не могу, мы тут с механиком...

— Стой! Вот попало... Давай жми, дер-ржи-и-и! Эх проклятая!..

— Выдавило опять? — спросил сверху Ильин. — Сейчас я спущусь... Заводи под стрингер... Стой!.. Так, бей!

Удары молота, всплески воды, резкие окрики наполнили темное и тесное помещение.

— Фу! — отдуваясь, сплюнул кто-то. — Нахлебался...

— Вкусна трюмная водичка? — подшутил над ним другой голос.

— Как будто все, Матвей Николаевич? — негромко спросил Ильин.

— Все пока, — ответил второй механик, Головин, беспрерывно отплевываясь.

— С тоннелем справились, — продолжал старпом. — А в машинном?

— Там ничего не сделаешь! — И невидимый в своем углу механик махнул рукой, появившейся в свете фонаря. — Гребной вал согнут, сальники протекают, ахтерпик разбит, рецесс разбит, коридор поврежден — давить все равно будет...

— Да, тут подкрепить нечем, — согласился старпом.

Насквозь промокшие моряки вылезли на палубу, где их сразу до дрожи в теле прохватило холодным ветром. Солнце село, но было еще достаточно светло, чтобы видеть, насколько плотен туман, — даже шпиль на приподнятом носу «Котласа» расплывался. Пятеро мокрых, дрожащих людей посмотрели на Ильина, и на лицах их был написан один и тот же вопрос. Молодое, красивое лицо третьего помощника казалось растерянным, механик зло закусил губу, а гигант-кочегар угрюмо хмурился. Ильин предложил всем поскорее переодеться и подкрепиться, а затем поочередно дежурить у судового колокола, уцелевшего на покрывившейся стойке. Это было единственное средство дать знать о себе — звонить в колокол. Делать это надо осторожно, все время прислушиваясь, и чуть что — прекратить и звать всех наверх. «А там — как судьба!» — заключил Ильин и, сопровождаемый своим немногочисленным экипажем, направился в каюту.

* * *

— Прибавляется? — отрывисто спросил механик.

— Еще фут.

— Порядочно, даже чересчур! — Механик вопросительно посмотрел на старпома.

— Запускайте, — распорядился Ильин. — Бензина мало, но другого выхода нет.

Механик поманил рукой кочегара, и оба исчезли в темноте. Скоро к размеренным ударам колокола прибавилось пытение мотора. Механик кончил регулировку, любовно погладил по гладкому зеленому цилиндру бензиновой помпы:

— Выручай, милая!

Слегка сконфузившись, он посмотрел на стоявшего с фонарем кочегара. Но кочегар прислушивался к звуку мощной струи воды, лившейся за борт, и одобрительно мивнул:

— Маленькая, да удаленькая! Эх, хватило бы бензина!.. — Кочегар замолчал и совсем другим тоном закончил: — Пойдемте, Матвей Николаевич.

Темная, беспросветная ночь, нависшая над кораблем, гналась медленно. Моряки собрались в каюте старпома, поближе к выходу. Сменялись дежурные у колокола — входили закоченевшие, отогреваясь приготовленной на столе стопкой. Много раз старпом и механик спускались в трюмы измерить уровень воды. И по мере того как шло время, приближаясь к рассвету, все меньше оставалось надежды на спасение корабля. Приток воды усиливался. Глухой стон переборки и скрип упоров говорили о возрастающем давлении воды. Если еще в помпе кончится бензин... Моряки старались не раздумывать, скрашивали тяжелое ожидание шутками и рассказами, но под конец все замолчали. В тишину едва освещенной каюты злоеще и настойчиво доносились редкие удары колокола, словно твердившие: «Нет, нет...» Минута тишины, нарушаемой слабым тарыхтением помпы, и снова: «Нет, нет...»

Кочегар вдруг смущенно улыбнулся:

— Спой-ка нам, Витя...

Остальные поддержали его.

Третий помощник, Виктор Метелицын, не заставил себя упрашивать. Юное лицо его порозовело и стало мечтательным, едва только пальцы коснулись гитары, которую он принес из своей каюты. Высоким, сильным голосом он запел знакомую песню. Метелицын пел, склонившись слегка набок и подняв красивое лицо к тускло светящему фонарю. Мрак каюты, квадрат белой скатерти на столе и снаружи, в открытую дверь, настойчивые удары колокола, которые уже не казались злоещими, а как бы аккомпанировали песне... Надолго запомнил этот предрассветный час каждый из четырех моряков, слушавших молодого помощника.

Ты, родина, долго страдала,
Сынов своих верных любя,
Ты долго меня ожидала...

Голос певца оборвался. Последняя высокая нота еще звучала в гитарной струне, когда, словно подчиняясь пев-

цу, внезапно замолчал и колокол. Ильин быстро выбежал к дежурившему матросу Чегодаеву.

— Мотор, Антон Петрович! — прошептал матрос.

Едва различимый рокот почудился Ильину. Моряки долго стояли в безмолвии ночи. Потом снова запустили остановленную было помпу.

Близился рассвет, но туман не пропускал лучей солнца, и контуры судна всплывали из сумерек рассвета очень медленно. Ильин вместе с молодым помощником упорно старался определить скорость дрейфа корабля, пока после долгих расчетов не убедился, что судно за ночь сильно отнесло к зюйд-осту и приблизило к вражеским берегам. Исчезла последняя надежда на помощь: слишком много воды принял «Котлас», чтобы долго держаться на поверхности, и слишком далеко отнесло его.

Под испытующим взглядом товарищей старпом сохранял спокойствие. Он не хотел сообщать печальные вести, прежде чем люди не подкрепятся, и с бодрым видом председательствовал за столом, чудом державшим тарелки на своей наклонной плоскости. Дневной свет после полной тревог ночи, казалось, обещал скорое появление помощи. Моряки повеселели.

Вдруг Головин изменился в лице и, с грохотом двинув стулом, бросился на палубу. Все замолчали, быстро поняв, в чем дело: остановилась помпа. Это значило, что бочка бензина, присоединенная шлангом к баку мотора, опустела и, следовательно, до гибели «Котласа» остались считанные часы.

— Пойдемте, друзья, на палубу, на простор, посоветуемся! — Эти непривычные в устах строгого старпома слова подчеркивали наступление критического момента.

Из-за крена на палубе было трудно стоять. Пятеро моряков уперлись спинами в переднюю стенку рубки, защищавшую их от ветра, и выжидательно смотрели на Ильина. Тот, сгорбившись и расставив ноги, чтобы противостоять качке, обдумывал те простые и грозные слова, которые сейчас должен был сказать товарищам. Волны заливали корму и набегали на палубу со стороны накрененного борта. Изредка корабль вздрагивал, будто по его большому телу пробегала судорога, и тогда глухо звякал маленький колокол.

— Друзья, надежды сохранить корабль больше нет, — начал тихо, не поднимая головы, старпом. — Через час «Котлас» пойдет ко дну. Мы отнесены ветром и течением

к берегам Норвегии, захваченной немцами. Шлюпки разбиты. Есть спасательные плоты, но продержаться на них долго мы не сможем, а подобрать... подобрать нас могут только враги. Значит, плен. Если выживем, прибудем к берегу — тоже плен... или...

Старпом открыто взглянул на побледневших товарищей.

Механик зябко вздрогнул. Ему представился клочок грязной земли, обнесенной колючей проволокой, а за ней — толпа измученных, исхудалых людей с погасшими глазами... «Нет, никогда!» Словно отвечая ему, Метелицын закричал:

— Только не плен! — и сжал рукой тяжелый автоматический пистолет.

Шестеро моряков стояли лицом к лицу с невыносимой для мужественных людей судьбой — погибнуть без борьбы.

— Не нужно, — отстранил револьвер помощника кочегар Курганов. — Я думаю так, — кочегар ударил своим огромным кулаком по стенке рубки, — в плен нам нельзя, а так умирать тоже неладно. Надо прибиваться к берегу. Высадимся и будем биться... Я уж себя меньше чем за десяток не продам. А патроны кончатся — с этим всегда успеем... — Курганов показал на револьвер.

Словно горячим ветром пахнуло на моряков от слов кочегара. Смерть в бою не казалась тяжелой. Метелицын поспешно спрятал револьвер. Ильин крепко пожал руку кочегару.

Туман рассеивался, видимость улучшалась.

— Сцепим оба плоты, — распорядился старпом, — иначе нас быстро унесет в разные стороны. Что приготовили? — обратился он к Метелицыну.

— Воду, галеты, шоколад, вино... — перечислял помощник.

— Водку, спирт. А колбаса есть?

— Есть.

— Еще один автомат возьмите в каюте капитана. Револьверы у троих, одну винтовку в запас, патроны грузите все. Компас, фонарь, журнал и карты района на всякий случай... Да сапоги не забудьте подвязать накрепко!

Старпом критически осмотрел, как принятовлены к плотам тючки, и поспешил в капитанскую каюту. Он бережно завернул толстую черную тетрадь в клеенку и

бегом вернулся на палубу. Возраставший крен судна заставлял торопиться: вода с правого борта подступала уже к центральной надстройке, корма скрылась в волнах. Тетрадь капитана Ильин засунул вместе с картами и журналом в жестяной ящик.

Скользя по мокрой наклоненной палубе, моряки перетаскивали оба сцепленных вместе плота ближе к корме, надели спасательные нагрудники и торопливо выпили по стакану водки. Кочегар, старпом и рулевой вооружились веслами, чтобы отвести плот подальше от тонущего корабля.

Решительная минута приближалась, но моряки невольно задерживались на палубе. Внутри корабля раздавался глухой, похожий на тяжелый вздох шум. Корпус содрогнулся и начал заметно оседать.

— Пора! — резко скомандовал старпом.

Моряки выпрямились, обводя взглядом палубу, прощаясь с родным кораблем. Их ждали одиночество и полная неизвестность.

Ильин нахмурился и, схватившись за петлю леера, потянул плот через фальшборт. Волны приняли моряков в свои ледяные объятия. Плоты отошли.

— Ну и вода... — через силу выговорил механик.

Никто не ответил. Все смотрели в сторону «Котласа».

Для всякого представляющего себе гибель судна лишь по картинкам обычно рисуется уходящий носом в воду корабль с вертящимися в воздухе винтами и развевающимся на корме флагом. Но страшно самому видеть тонущее судно, особенно когда оно тонет кормой. Корабль словно падает навзничь, в судорогах поднимая высоко нос, затем медленно переворачивается, показывая ослизлое, обросшее днище, безобразное, подобное разложившемуся трупу, и медленно исчезает в волнах. Такое зрелище предстало перед моряками «Котласа», уносимыми ветром и течением в даль моря.

* * *

Никто из них не мог сказать, сколько прошло времени — может быть, всего несколько часов, может быть, несколько суток: в сознании моряков перестали существовать обычные человеческие представления. Только воля еще жила в этих полумертвых телах. Это она заставляла людей поднимать голову над захлестывавшими

волнами и держаться за леера продетыми по локоть в петли руками: кисти рук, опухшие и сведенные, не могли больше служить морякам.

Инстинктивное ощущение близости берега проникло в слабеющее сознание старшего помощника. Ильин поднял тяжелую голову и некоторое время боролся с плавающими в глазах черными пятнами. Наконец ему удалось разглядеть, что берег совсем близко. Редкий на море, возле берега туман становился гуще. В глубине скалистого коридора — фиорда, — черные ворота которого привлекли внимание Ильина, туман стоял плотной сизой стеной.

— Берег! Берег! — хрипло прокричал кочегар.

Моряки зашевелились, собирая остатки сил. Ильин достал заветную бутылку со спиртом. Девятиностапятиградусная жидкость вливалась в горло, и в глазах моряков появился живой, осмысленный блеск. Ильин настолько пришел в себя, что сказал кочегару:

— Хорош сейчас наш десант!

— Спрятаться надо на берегу, пока в себя придем, — отозвался Курганов.

Крутые темно-серые стены фиорда надвигались и вырастали, всплывая из тумана. Теперь моряков относило налево, за скалистый мыс или остров, за которым фиорд разветвлялся, выдвигая посередине скалистый клин. От клина шла полоса ровной земли, поросшей деревьями, осенняя листва которых едва краснела сквозь туман. Дальше ничего не было видно, а близ устья фиорда, на обрывистом каменном мысу, выступали четыре белых домика, гуськом спускавшихся по пологому склону.

Против мыса волны начали швырять плоты. С большим трудом морякам удалось обогнуть мыс, и они очутились на спокойной темной воде, в белесой мгле густого тумана. Отвесные скалы отошли, образовав полукруглую бухту. Ближний берег бухты представлял нагромождение огромных камней, разделенных узкими протоками. Меж этих камней виднелись две высокие мачты парусного судна, а дальше сквозь туман смутно рисовался целый лес мачт.

Ильин щелкнул языком от неожиданности. Моряки на своем плоту осторожно продвигались по протоку, надежно скрытые высающимися с обеих сторон черными камнями. Узкий просвет пересекался бушпритом судна, чьи мачты моряки заметили при входе в бухту. Напряженно

вытянув шею, все шестеро старались разглядеть это судно. Что-то в его внешнем облике говорило о том, что судно давно не ходило в море: рангоут был убран, швы конопатки виднелись четкими серыми линиями на черном борту.

Тихо причалив к тупому носу парусника, моряки внимательно прислушались. Ни одного звука не доносилось с палубы или изнутри. Судно, очевидно, было пусто. Старпом молча кивнул. Товарищи поняли его без слов. По узкой полосе воды между левым бортом судна и каменистым обрывом люди быстро добрались до руля, надеясь по нему подняться на судно, и увидели свисавший по срезанной прямо корме парусника штормтрап.

Уцепившись за руль, было не трудно подняться по трапу, но оказалось, что у моряков не хватает на это сил. Наконец кочегар отчаянным усилием подтолкнул вверх старпома и, скрипя зубами от напряжения, взобрался сам с леером на шее. На палубе у обоих все поплыло перед глазами. Ильин упал, но кочегар устоял и принялся разматывать линь, чтобы помочь взобраться на палубу остальным.

Вдруг где-то внизу закрипели доски под тяжелыми шагами — на палубе выросла огромная фигура в синей рубашке, высоких морских сапогах и... остановилась в изумлении. Ветер трепал светлые, как солома, волосы и узкую золотистую бороду, которой обросло крупное, смелое лицо неизвестного. Курганов выпрямился — два светловолосых гиганта стояли друг против друга. Ильин тоже поднялся и стал рядом с кочегаром...

Высокий норвежец пытливо разглядывал незнакомую форму и сказал что-то, показав в сторону моря. Ильин и Курганов переглянулись, затем старпом решительно ответил по-английски:

— Русские моряки... спаслись с потонувшего судна.

— Рашен, рашен... — забормотал норвежец, заметно взволнованный. Он обвел рукой вокруг фиорда и добавил, коверкая английские слова: — Немцы везде, будут хватать... — и сжал в кулак раскрытую ладонь.

Кочегар тряхнул головой и сделал вид, что прицеливается из винтовки. Норвежец опять внимательно посмотрел на моряков — едва заметный насмешливый огонек зажегся в его спокойных глазах. Тут из-за борта появилась голова Метелицына. Беспокорство за товарищей придало силы оставшимся на плоту, и они принялись ка-

рабкаться на парусник. Норвежец невольно попятился, но кочегар просто, по-товарищески взял его за руку и поднял к борту. Норвежец опять забеспокоился и произнес несколько слов, из которых одно было английское: «прятать». С его помощью моряки подняли на борт плоты, и затем красноречивой мимикой норвежец дал понять, что скоро подует ветер из фиорда, прогонит туман, поэтому с палубы все должно быть немедленно убрано.

Плоты спустили в трюм. Норвежец зажег фонарь и повел неожиданных гостей вниз, в носовую часть парусника. Согнувшись в три погибели, он нырнул в низенькую дверцу небольшого помещения, вроде кладовой или шкиперской, и подвесил фонарь к потолку, энергично топоча тяжелыми сапожищами. По его знаку моряки очутились на массивной переборкой, в маленькой каюте, заваленной старыми парусами, которые были постелены норвежцем на пол.

В потолок выходил шпор бушприта, охваченный железными стяжками и обрамленный массивными дубовыми балками. Соответственно наклонному положению бушприта потолок каюты поднимался по направлению к носу, а к выходу понижался так, что можно было войти, только сильно согнувшись. Неподвижный воздух, пропитанный запахом смолы, лежалой парусины и дуба, показался морякам жарким, их исхлестанные водой и ветром лица загорелись. Хозяин опустил на колени и возобновил жестикуляцию, часто повторяя по-английски: «Не отворять! Не отворять!» Ильин объяснил товарищам, что норвежец, по-видимому, собирается уйти и просит, чтобы русские не отворяли, если кто-нибудь взойдет на судно. Когда он вернется, он постучит к ним так: кулак норвежца стукнул по полу дважды двойными ударами, как бьют склянки. Ильин бросил норвежцу: «Иес»*, и тот быстро вышел, заботливо прикрыв дверь.

Моряки некоторое время молча переглядывались. Тепло помещения приятно охватывало их, туманя рассудок. Клонило ко сну.

— А не пошел ли наш друг за фрицами? — тревожно спросил механик, выразив общее недоверие, возникшее у моряков при поспешном уходе хозяина.

Только кочегар энергично запротестовал:

— Я первый его встретил и заглянул, можно сказать,

* Да (англ.).

в самую душу, когда раздумывал, треснуть ли его по башке. Нет, он моряк и смелый человек, не будет он за фашистов, которые его родину поганят. Верить ему можно.

Старпом поддержал кочегара:

— Деваться сейчас все равно некуда, оружие у нас с собой, норвежец о нем не знает. Скоро ночь. Забаррикадируемся покрепче и, если начнут дверь ломать, обязательно услышим. Зато как следует отдохнем, а там... утро вечера мудренее.

Все согласились со старшим помощником. Надежно заклинив крепкую дверь болтом и найденной тут же свайкой, моряки принялись стаскивать с себя и выкручивать мокрую одежду. Невыразимое ощущение тепла, покоя и слабости овладело измученными людьми, но у них все же хватило энергии развязать тюк с оружием. Автоматы и винтовки были аккуратно вытерты и положены по три с каждой стороны. Моряки укрылись несколькими слоями парусины и, прижавшись друг к другу голыми телами, почти мгновенно забылись крепчайшим сном.

Глухо, будто издалека, Ильин услышал сквозь сон неясный шум, затем в дверь постучали. Старпом, откинув парус резким движением, сел. Сон слетел. Морщась от боли во всех мышцах, Ильин разбудил товарищей. Между тем за дверью раздавалось настойчивое «тук-тук-тук-тук» — условные удары хозяина.

С револьвером в руке, согнувшись, старпом двинулся к двери, а за ним, выставив плоские штыки, выстроились остальные. Едва открылась дверь, моряки увидели тусклый дневной свет, падавший через люк сверху. За дверью знакомый голос норвежца сказал кому-то несколько слов на своем языке. Кряхтя и цепляясь спиной за низкую притолоку, в каюту пролез седобородый старик почти такого же роста, как сам хозяин, который следовал за ним, и тотчас притворил дверь.

Оба пришельца изумленно рассматривали необычайную картину. В низкой, душной кладовой, под потолком, завешанным мокрой одеждой, слабый свет фонаря едва освещал шестерых совершенно голых людей, сжимающих в руках оружие. Старик сурово улыбнулся и что-то сказал хозяину. Тот обратился к морякам, по-прежнему коверкая английские слова:

— Вот. Старый моряк. Он может. Немцев нет. Наверху сторожит еще человек.

Старик шагнул вперед, бесстрашно отстранил автомат кочегара и, с облегчением выпрямив спину, сел. Хозяин потрогал одежду моряков, покачал головой, быстро обрал ее в тюк и вышел наружу.

Моряки уселись против старика, все еще не выпуская из рук оружия. Старый норвежец осмотрел каждого острыми, глубоко сидящими глазами, поскреб пальцем густую бороду и заговорил по-английски. Все, даже не знавшие языка, внимательно слушали. Хозяин тихо вошел и опустился на пол, присоединившись к слушателям. Старик подмигнул морякам и закурил вонючую трубку. Тут только моряки вспомнили, как давно не курили. Нашелся обрывок бумаги, две невероятной величины самокрутки пошли по рукам, а Ильин бережно извлек из кобуры револьвера свою верную трубку. Моряки наслаждались. Только некуривший Курганов кашлял и чертыхался да изредка вторил ему тоже некуривший хозяин.

Старпом начал переводить товарищам слова старика:

— Мы попали в фискевер (рыбачий порт). Имеется здесь отряд береговой охраны немцев, но морская база — в соседнем фиорде. Этот парусник стоит уже давно здесь, приведен из Кумагсфьюра; шкипер бежал к англичанам, команда тоже разбежалась. В бухте около шестидесяти рыбачьих моторных судов. На ловлю не ходят — не хотят снабжать немцев, а немцы иначе не разрешают ходить в море, да и горючего нет. Наш хозяин живет здесь потому, что немцы выселили его с братом из дома на той стороне фиорда — дом понадобился для береговой охраны. Вот и облюбывал он этот парусник: помещение просторное и ненавистных фашистов не видит. Оказывается, хозяин-то наш бегал вечером в поселок, рыбаки собрали совет: что с нами делать? Старик спросил меня, что мы сами думаем. Я сказал: «Биться с немцами. Каждый моряк стоит десяти немцев, так за шестьдесят мы ручаемся». Он ответил, что тут их больше, чем шестьсот. Но шутки в сторону. Рыбаки решили, что, если дело до боя дойдет, немцы на сто километров кругом всех перебьют или загонят в тюрьму — решат, что спрятали парашютный десант. Рыбаки предлагают помочь нам бежать, и как можно скорее. Из бухты ни одно моторное судно не выйдет, горючего нет. Кроме того, от мотора шум. Лучше всего на этом же паруснике, на котором мы находимся: он стоит очень удачно, у самого входа в бухту.

В это время года всегда туманы, когда ветер с моря. К вечеру ветер меняется — дует из фиорда на запад — и сгоняет туман в море. Если мы успеем выйти сразу, вместе с туманом, успех обеспечен. Парусник идет бесшумно, и за ночь мы сможем отойти далеко от берега, в зону, где патрулируют английские суда. Перед вечером, в тумане, придут на судно рыбаки из поселка — поставят реи и привяжут паруса. Конечно, судно большое, морское, справиться нам с парусами будет очень трудно. Кроме того, и опасно — оснастка старая. Но другого выхода нет — провести нас в горы к партизанам они не берутся: нет умелого человека... А молодцы! Слово не расходуется с делом: этой ночью, пока мы спали, они доставили сюда два бочонка с водой, соленой рыбы, ячменного хлеба. Вот люди! А проспали мы, оказывается, больше двенадцати часов, — закончил старпом. — Ну как? Я думаю, дело стоящее?

— Ясно, стоящее! — хором отозвались моряки.

— Да, — обратился Ильин к старику по-английски, — исчезновение большого судна немцы ведь заметят?

— Это наше дело, — ответил старик. — Целая ночь. Приведем старую большую шхуну и затопим здесь, чтобы мачты торчали.

Хозяин принес высушенную у печки одежду и котел с горячим кофе.

— Товарищ старпом, — вдруг сказал Курганов, — вы у него спросите, — кочегар кивнул на хозяина, — может быть, он с нами? Чего ему тут с немцами? Парень хороший.

Старик с насмешливым огоньком в глазах перевел вопрос старпома хозяину. Тот улыбнулся и быстро заговорил по-норвежски.

— Он говорит — нельзя, семья пропадет. Его брат отвез обе семьи — свою и его — в Рерос, там дядя в лесничестве работает. Зимой и он туда.

— Жаль, подходящий человек, — ответил кочегар. — Ну, фамилию его и адрес запишите, хорошо бы встретиться после войны... А куда это мы попали?

— Черт, не могу разобрать название поселка, они его так произносят... — смущенно сознался Ильин. — А район называется Лоппхавет, между большими островами Серё и Арнё. Это значит, на северо-восток от Тромсё.

Моряки крепко жали руки норвежцам. Потом старпом, выполняя общее желание, написал на двух листках бумаги фамилии и адреса советских моряков и вручил их обоим норвежцам. Старик тщательно сложил записку и долго засовывал ее куда-то за кушак, бросив несколько отрывистых слов.

— Он говорит, что это нужно хорошо спрятать, — перевел старпом, — если увидят немцы, то смерть ему.

Норвежцы ушли. Моряки, возбужденные событиями, оживленно обсуждали дальнейший план действий.

— Что я говорил! — торжествовал Курганов.

— Погоди радоваться, — буркнул Титаренко. — Это, может быть, все липа, чтобы полегче нас взять...

— А ты не каркай, ворона! — с сердцем оборвал кочегар. — Не может фашистская сволочь всех людей испохабить. Есть еще люди... В себя веришь, а другие, думаешь, хуже тебя?

Растерявшийся от неожиданного красноречия кочегара рулевой замолчал. Ильин, приказав товарищам не появляться на палубе, решил осмотреть судно, а главное, состояние рулевого привода, и осторожно поднялся по скрипучим ступенькам наверх. Деревянный колпак, прикрывавший люк с носа, не давал возможности видеть море; зато фиорд был весь как на ладони.

Узкий язык почти черной воды вползал далеко внутрь обрывистых гор. Суровые, изборозжденные трещинами утесы наступали на берега. Разбросанные вдоль берега домишки робко прижимались к подножию скал. Немного дальше, на каменной площадке, возвышалась странная постройка. Балюстрада из коротких столбиков поддерживала несколько чешуйчатых деревянных крыш, громоздившихся одна над другой. Казалось, что на один дом насажен другой, меньший, а на этом точно таким же способом сидел еще меньший, с четырехгранной крышей, оканчивающейся заостренной башенкой с высоким шпилем. Здание украшали железные флюгера в виде голов драконов с раскрытой пастью и высунутым тонким языком.

Удивленный странной архитектурой, Ильин долго осматривался, пока не различил небольшие кресты. По-видимому, это была старинная норвежская церковь. Дерево почернело от времени, и угловатая, устремленная вверх форма здания резко выделялась мрачно и угрожающе. Темные ели окружали церковь, а позади уже са-

дились на горы белесые хмурые облака. Ильин ощутил вдруг печаль, исходящую от этой полной холодного покоя обители севера.

Прячась за борт, он вылез на палубу. Высота мачт ему, привыкшему к пароходам, вначале показалась несоразмерной. Фок-мачта имела поперечные реи и, следовательно, прямые паруса, бизань вооружена гиком и гафелем, судно было бригаantinoй. По обе стороны люка, только что покинутого Ильиным, стояли две лебедки для марса-фалов и брам-фалов. «Марсели разрезные, с лебедками — может быть, справимся», — отметил про себя старпом, торопясь припомнить свою парусную практику, которую когда-то проходил в мореходных классах. Сложные перекрещивания тросов, то взвивавшихся высоко и казавшихся тонкой паутинкой, то спадавших с мачты вниз — на борта, на палубу, на бушприт, на другую мачту, — казались совершенно непостижимыми. А ему, начальнику, предстояло управлять этим судном, командовать.

Ильин поморщился и посмотрел на море. Левее бушприта, вдоль черной тени скал фиорда, море в отдалении преграждалось цепью куполообразных, близко расположенных островов. Они походили на костяшки исполинского подводного кулака, выступавшие на поверхность моря: «Обогнем мыс, держать правее, только мнль через десять ложиться на чистый вест», — продолжал соображать старпом. Оснастка судна все еще не давала ему покоя. «Будь эта шхунка... да что угодно, лишь бы поменьше и с косою парусностью...» Он перегнулся через борт и прочитал надпись на носу: «Свольвер».

Предсказание старика норвежца сбылось совершенно точно. Перед вечером фиорд заполнился густейшим туманом, еще более непроицаемым, чем вчера. Моряки вылезли наверх и вдруг схватились за винтовки: на палубе одна за другой стали вырастать человеческие фигуры. Скоро судно было полно людей. Норвежцы неторопливо, но не теряя ни одной лишней минуты, обтягивали такелаж, вытаскивали, разворачивали и поднимали паруса, улыбаясь русским морякам. Управлял коренастый старик, негромко покрикивавший на работающих.

— Это старый капитан, — объяснил Ильину пришедший утром знаток английского языка.

Опасная работа близилась к концу. Коренастый капитан подошел к Ильину, пожал руку:

— Я Оксхольм. Все готово. Паруса поставил левен-тик к ветру, который сейчас. Подует из фиорда — для такого положения рей будет бакштаг. Когда ветер рванет из фиорда, брасопить реи некогда будет: расклепывайте якорные цепи — и пошли. Да, еще: бом-брамселя, бом-кливера — этих парусов не ставим. Они перепрели. Стаксели тоже не все. Вместо крьюйс-стенъги-стакселя мы поставили штормовой апсель.

— Спасибо, — ответил Ильин, когда сообразил, что нет бом-брамселя — паруса, находящегося на той самой ужасной высоте, которая поразила его в первый момент, и облегченно вздохнул.

Ветер стих, слабо хлопавшие паруса повисли, время бегства подходило. Норвежцы, вытирая пот, по-прежнему молча, по-дружески пожимали советским морякам руки или хлопали по плечу и исчезали за бортом. Курганов обнял хозяина парусника, повторяя ему свою фамилию, пока тот не произнес почти чисто: «Кургановфф!»

— Ветра и счастья! — донесся из-за борта голос капитана Оксхольма. — О, ветер есть, расклепывайте цепь. Гуд бай!

Паруса, уходившие в туман над головами моряков, расправили складки. Ветер из фиорда тихо зашипел в снастях. Времени оставалось немного. Кочегар вооружился заранее приготовленными инструментами и стал выбивать шпильку, расклепывая верхнюю смычку якорной цепи; механик взялся за другую. Туман заглушал удары, но все же они разносились по бухте. С грохотом, наставившим моряков вздрогнуть, якорная цепь упала в воду, за ней другая. Едва заметный толчок прошел по судну; медленно, почти нечувствительно оно двинулось. С увеличением скорости стал наконец действовать руль, и вовремя: даже в таком тумане можно было различить впереди смутные контуры скалистого мыса.

— Лево руля! — тихо скомандовал Ильин, не снимая руки со штурвала.

Тупой, тяжелый нос едва слышно плескал о воду: волнение сделалось попутным, бушприт быстро метнулся налево. Титаренко, закусив губу, завертел штурвалом в обратную сторону.

— Уваливается, одерживай! — шепнул Ильин, глядя в серую стену тумана, протыкаемую бушпритом судна.

К счастью, выход из фиорда был широк. Миновав

мыс, Ильин повернул к северу, взял к ветру. В густом тумане судно бесшумно шло в открытый океан, покидая норвежский берег, где совершенно неожиданно для себя советские моряки получили товарищескую поддержку стольких людей. Предсказание старого капитана сбывалось — бригантина не встретила никого.

Через час она опять легла в бакштаг на вест и пошла заметно скорее. Старпом собрал свою немногочисленную команду, объявил, что парусную науку придется изучать на ходу, и предложил пока ознакомиться с оснасткой бригантины.

— Раскиньте мозгами, соображайте, как управиться в случае надобности. Шлюпочные паруса всем вам знакомы, теперь постигайте настоящие. Вот, кстати, судно увальчиво, значит, надо...

— ...уменьшить парусность на фок-мачте, — быстро ответил Метелицын.

— Правильно! Хотя и невыгодно, а придется брамсель убрать: мало парусов у нас на бизани — получается неуравновешенная парусность. За это дело всем нам нужно браться, а я от руля отойти не могу, пока Титаренко не приспособится.

— Мы вчетвером, — отозвался механик.

И моряки бросились к лебедкам.

Бригантина ушла далеко в открытое море и сильно качалась на крупной волне. Метелицын первым достиг салинга и, стараясь не смотреть вниз, полез по вантам, добираясь до верхнего брам-рея. Палуба исчезла в тумане, мачта уходила далеко вниз, а брам-стенга казалась чересчур тонкой. Было слышно, как она потрескивает в эзельгофте.

С каждым креном судна мачта описывала в воздухе дугу. Когда бригантина ныряла носом, мачта словно проваливалась под Метелицыным, и он судорожно цеплялся за перекладины вант. Еще хуже показалось молодому моряку при подъеме судна на волну — огромная мачта ринулась на него, словно желая ударить, ноги ушли вперед, и он повис над палубой спиной вниз. На лбу Метелицына выступил пот, слегка мутило на непривычной высоте. Но он быстро освоился и смог рассмотреть проводку снастей — гитовых, топенантов и горденей.

Общими усилиями на кофель-планках у бортов судна были разысканы ходовые концы этих снастей — правых и левых. Навалившись животами на парус и упер-

инсь ногами в зыбкие, качающиеся, как люлька, перты, «паровые мореходы» сумели справиться с непривычной задачей. Несмотря на темноту, брамсель был убран.

Ветер сильно засвежел и начал заходить, но экипаж бригаантины уже немного освоился со снастями. Реи обрасопили как нужно, парусность уравнилась, и старое судно бежало по морю со скоростью десяти узлов. Единственно, что смущало моряков, — это сильный скрип и треск, исходивший откуда-то из глубины судна.

— Всегда это так у парусников? — недоумевал Метлицын, обращаясь к старпому. — Ребята беспокоятся, как бы не развалилась наша посудина.

— Не знаю. По-моему, тоже что-то неладно. Вода в трюме не прибывает?

— Течет понемножку, но это что за течь: двумя помпами покачали — и сухо.

— Спускаюсь-ка я сам, — решил Ильин, — а вы здесь побудьте.

Взяв оставленный норвежцами фонарь, старпом спустился в трюм, ступая по покрытым водою шатким доскам, проложенным поверх балласта. Громкий треск наполнял душное пространство трюма, подавляя шум моря, бившего в деревянные борта. Походив по трюму, старпом уяснил себе, что треск издается почти всем корпусом бригаантины, а раздражающий уши скрип идет от мачт судна. Ильин постоял и вернулся на палубу.

— Неладно, конечно, — ответил он на вопрос помощника. — Черт его знает, посудина расхлябалась, да и наш стоячий такелаж, наверно, следовало бы еще раз обтянуть. Мачты пошатываются в гнездах.

— Ночь как уголь, где уж тут этим заниматься с единственным фонарем!

— Попробуйте все-таки.

— Сейчас приступим.

— Фонарь прихватите!

— А разве он вам у компаса не нужен?

— Ох, морячок! — рассмеялся Ильин. — На компасе и не посмотрел! Из котелка спирт давно уже выпит или высох. Куда ветер — туда и мы, только бы скорее уйти. И не все ли равно — вест, зюйд-вест, или норд-вест? Свидание с англичанином у нас, к сожалению, не назначено. Вы бы, наверно, хотели, по всем морским правилам, в бейдевинд, с переменной галсов? А как вы, дружок, вчетвером с такой парусностью управитесь? То-то.

Карманный светящийся компасишко есть, и ладно..
Черт, как курить хочется...

Ночь шла для Ильина и рулевого в чутком выслушивании звучания ветра в парусах. Едва только шум ветра становился сильнее и звонче, оба моряка уже знали, что судно бросилось к ветру. Возросшее сопротивление штурвального колеса немедленно сигнализировало о том же. Для остальных четверых ночь прошла в бесперывной возне со снастями. Руки моряков, привычные к работе совсем другого рода, болели, а на ладонях образовались волдыри.

Утром судно встретилось с сильным волнением. Ветер стал слабее, но громадные волны росли, бросая бригантину, как щепку. Ход судна сделался неровным, паруса во время судорожных нырков тяжело хлопали. Треск и скрип уснулились; казалось, что доски палубы выбрируют и гнутся под ногами.

— Развалится наша посудина, честное слово!.. Вот вода стала прибывать заметнее,— ворчал механик.

— Чего вы боитесь, Матвей Николаевич? — неуверенно возразил Метелицын.— Пока прем здорово...

— «Марсфлот» этот мне не по душе, не понимаю я в этом деле. А когда не понимаешь, чувствуешь себя неладно... как и вы, милый Витя.— И механик снисходительно потрепал по плечу Метелицына.

Тот вспыхнул и открыл рот, чтобы возразить, но тут раздались резкий сухой треск и оглушительные хлопки — разорванный сразу в нескольких местах фок бил по мачте и штангам. Огромные лоскутья парусины завивались вокруг снастей, колотя бросившихся к парусу моряков. Чегодаев получил такой удар по лицу, что свалился на палубу.

— Ножом, ножом режьте гордени! — закричал снизу старпом.

Совет пришелся кстати. Из-под рея взмыли белые ковры-самолеты, цепляясь за штанги, словно не желая расставаться с судном, и полетели, кружась и скрываясь, за вставшими перед парусником валами.

Новые парусные матросы во главе с «бодманом» Метелицыным смущенно предстали перед старпомом.

— Тут вы ни при чем,— хмуро сказал он,— паруса, видно, сильно подопрели.

За три часа скачки по волнам бригантина потеряла еще три паруса — бизань-гаф-топсель, фор-стаксель и

Верхний марсель: то лопались снасти, то разрывалась перерывившая парусина. А волны все росли, наваливаясь на судно, тормозя и без того замедлившийся ход.

— Как бы не было шторма! — кричал старпом своему помощнику сквозь треск и скрип мачт и снастей. — Жаль, барометра у нас нет. Давайте задраим люки покрепче, заложим румпель-тали.

— А с парусами как? — тревожно спросил Метелицын.

— А с парусами?.. — протянул старпом. — Сейчас. Давайте сообразим... Больше половины парусов уже нет, но нужно, нужно...

— Бизань бы убрать, — осторожно подсказал помощник.

— Бизань-то само собой. Тогда у нас на бизань-мачте останется один этот косо́й парус, который ходит по бизань-штагу, как его тот парусный спец называл — апсель. Он сказал, что это специально штормовой. Кливера, конечно, придется убрать, но на фок-мачте у нас остался единственный парус и здоровенный нижний марсель. Придется оставить, только глухие рифы взять. Да, еще, кажется, спускают на палубу верхние реи и гафель — вот это надо сделать. Пожалуй, и все. Начинайте с парусов. Вы думаете, еще что-нибудь? — спросил Ильин, глядя на замаявшегося помощника.

— Нет, что вы, Антон Петрович, но... как этот марсель глухо зарифить и что значит — глухо?

Ильин разъяснил Метелицыну, сам удивляясь, как могли так долго храниться в памяти все эти подробности прямого парусного вооружения. А моряки уже возились у бортов, подтягивая риф-тали и гордени, затем полезли на рей. Площадь огромного паруса сильно уменьшилась. Моряки тянули еще и, уменьшив ее до предела, стали привязывать риф-сезни.

— Поплывать так месяца два — лихим парусниками стали бы! — сказал Ильин Титаренко, вернувшемуся к рулю после короткого отдыха.

Украинец утвердительно кивнул, следя за гигантским, отблескивавшим сталью валом, который грозно вздымался справа. Сложив свои крылья, бригантина походила теперь на большую растрепанную птицу. Небо закрывала густая облачность. Ветер то ослабевал, то налетал порывами, неся издали как бы хор глухих воплей, в которые изредка врывались пронзительные звуки труб.

Голос приближающегося шторма обладал тягостным и зловещим очарованием. Исполинская мощь его готова была обрушиться на старую бригантину, метавшуюся на волнах, и шестеро моряков почувствовали себя такими же одинокими, как тогда, когда покидали свой тонущий «Котлас».

Море неистовствовало. Огромные, сплошь покрытые пеной валы вздымались на десятиметровую высоту. Ветер с ревом обламывал гребни, и пена, похожая на разлохмаченные седые космы, летела по ветру. Казалось, каждый из исполинских валов, вставая из моря, простирает свои длинные руки навстречу судну. Все звуки моря слились в непрерывный тяжелый гром, которому вторил рев ветра.

Бригантина под единственным уцелевшим марселем неслась по бурному морю. Скрип судна, голоса людей потонули в оглушительном грохоте шторма. Мачты, казалось, бесшумно раскачивались и гнулись в своих гнездах, угрожая обрушиться на палубу. Бушпритто устремлялся вниз, намереваясь вонзиться в крутую стену воды над глубоким ущельем между двумя волнами, то пытался проткнуть побуревшие облака. На палубе крутилась и неслась вспененная вода, водопадом низвергаясь со шканцев. Иногда передняя половина судна исчезала, отрезанная стеной пены, хлеставшей поперек палубы, или гигантский вал опрокидывался своей вершиной, догнав убегающий парусник. Тогда, цепляясь изо всех сил за поручни, согнувшись и задерживая дыхание, моряки чувствовали, как оседает под ними судно, придавленное многотонной тяжестью, и наконец резко, будто собрав все силы, выпрямляется, сбрасывая с себя цепкие щупальца моря, которые, извиваясь и пенясь, устремляются обратно за борт.

Старпом вместе с Титаренко, обливаясь потом под мокрой насквозь одеждой, крепко держали штурвальное колесо. Штурвал сопротивлялся, и малейшая неверность руля грозила немедленной гибелью. Ильин старался угадывать в неистовом танце волн ту линию, стремясь по которой судно, как балансирующий над пропастью человек, могло надеяться сохранить свое существование.

Остальные моряки, изнемогая от усталости, непрерывно качали помпы: вода в трюме — из разошедшихся швов — быстро прибывала. Никто не испытывал страха: слишком яростна была борьба за жизнь.

В просторной кают-компани английского крейсера «Фирлесс» ярко горел свет. Большинство свободных офицеров собрались здесь, расположившись в удобных кожаных креслах. Качка изматывала, не давая возможности чем-нибудь заняться или спать.

— Ужасная вещь, джентльмены, быть сейчас в море! Наше патрулирование совпало с началом осенних штормов,— сказал молодой лейтенант своему соседу.

— Ничего, скоро уйдем в базу,— откликнулся тот, не раскрывая глаз.

— Свирепое здесь море,— продолжал лейтенант.— Я понимаю теперь, отчего норвежцы слывут лучшими моряками в мире!

— Где это вы слышали, Нойес? — насмешливо спросил другой офицер.— Лучшие моряки — мы, англичане.

Офицеры заспорили. Настроение несколько оживилось. В кают-компанию, протирая глаза платком, вошел еще один офицер, красное лицо которого говорило о том, что он только что с палубы. Несколько голосов на перебой приветствовали вошедшего:

— Наконец, Кеттеринг! Сменились?

— Мы скучали без ваших старинных рассказов...

— Что наверху?

— Бал сатаны,— отвечал Кеттеринг на последний вопрос.— Сейчас сам капитан на мостике. Будем поворачивать на фордевинд.

— Отлично! — обрадовался кто-то.

— А мы тут спорили, сэр,— почтительно обратился к Кеттерингу лейтенант Нойес.— Ждем вашего просвещенного заключения.

— О чем спор?

— Какие моряки лучшие в мире.

— И что вы решили?

— Мнения разошлись,— вмешался заспоривший с Нойесом офицер.— Я утверждаю, что мы, англичане, Нойес — что норвежцы, Уотсон — что японцы, а Кольер клянется, что лучше турок нет и не было моряков.

— Спор интересен,— улыбнулся Кеттеринг,— но я боюсь спешить с заключением. Могу рассказать вам одну небольшую историю, происшедшую больше века назад. Потом мы обсудим все доказательства в пользу той или другой нации. Идет?

Офицеры согласились. Кеттеринг уселся поплотнее в кресле, расставив длинные ноги, и зажег трубку. Помолчав, он начал:

— Вы знаете, что я работал до войны в архиве адмиралтейства по поручению Парусного клуба. В числе других документов я обнаружил интересный рапорт полковника индийских колониальных войск Чеверленджа и сублейтенанта флота его величества Губерта о причинах гибели трехмачтового корабля Ост-Индской компании «Фэйри-Дрэги» в тысяча восемьсот семнадцатом году. Этот корабль попал в большой циклон в Индийском океане. Шквал налетел так внезапно, что рангоут корабля был сильно поврежден, груз сместился в трюмах вследствие крена. Только опытность искусного капитана и героическая работа матросов вывели «Фэйри-Дрэги» из крайне опасного положения. К несчастью, шквал был предвестником страшного циклона, противостоять которому поврежденный корабль в конце концов уже не смог... Черт! — прервал свой рассказ Кеттеринг.

Крейсер повалился на борт, резко выпрямился и метнулся в противоположную сторону.

— Слава богу, повернули... Когда разбитый корабль уже погружался в океан, — возобновил Кеттеринг рассказ, — с него заметили бриг неизвестной национальности, шедший тоже на фордевинд и догонявший тонущий «Фэйри-Дрэги». Неуклюжий широкий корпус судна временами весь исчезал в колоссальных волнах, виднелись только верхушки его двух мачт. Судно шло под единственным парусом, не соответствующим силе циклона, — нижним марселем. Пораженные благополучным состоянием судна, моряки тонущего корабля дали сигнал бедствия. Неизвестный бриг стал осторожно приближаться к «Фэйри-Дрэги», но тут «Фэйри-Дрэги» пошел ко дну...

В кают-компанию быстро вошел старший офицер в штормовой одежде, с которой еще стекала вода, на ходу бросив стюарду:

— Виски!

— Что-нибудь случилось, сэр? — тревожно спросили офицеры, приподнимаясь в креслах.

— Ничего. В море парусник неизвестной национальности, под одним марселем, идет на фордевинд, как и мы.

— Что такое, сэр? — вскочил Кеттеринг. — Уж не черное ли двухмачтовое судно?

Теперь настала очередь старшего офицера изумиться!

— Вы угадали, Кеттеринг! Будь я проклят, если знаю, каким образом. Ему плохо приходится. Я сигнализировал — не ответили, только зажгли, кажется, фальшфейер, на секунду что-то вспыхнуло. Помочь сейчас невозможно, однако мы идем одним курсом, и шторм начинает стихать. Сигнализировали, чтобы держались около нас, но близко не подходили, а то потопим. Но не немецкая ли это ловушка?

Старший офицер выпил свое виски и вышел. За ним направился к выходу Кеттеринг.

— Стоп! Рассказ — на самом интересном месте! — кричали ему.

— Обязательно доскажу, только взгляну на судно, — ответил Кеттеринг уже из-за двери.

Следом за ним стали подниматься и другие офицеры.

* * *

Шторм утих. Красные лучи заходящего солнца кое-где пробивались сквозь тучи. Багряные отблески змеились на мокрой палубе.

Только что был окончен трудный маневр подъема спасательной шлюпки. Люди, собравшиеся на палубе, почтительно расступились перед шестью русскими моряками, которых старший офицер повел переодеваться.

Спустя некоторое время офицеры обступили Кеттеринга, вернувшегося от командира:

— Ну, что русские?

— Спят, — улыбнулся Кеттеринг и коротко рассказал удивительную историю шестерых моряков с «Котласа».

— Вот это история! — воскликнул лейтенант Нойес. — Шесть «паровых» моряков — и справились с таким парусником! А мы считали русских сухопутной нацией.

Долгое молчание, отметившее подвиг русских, нарушил высокий офицер:

— Кеттеринг, а конец вашего рассказа? Он так удивительно совпал с появлением судна, что я готов думать...

— Вы не ошиблись, — быстро ответил Кеттеринг. — Судьба уже досказала за меня. Тот бриг, называвшийся «Нюр», был французским судном, но команда была русская, и вел бриг после смерти капитана-француза русский помощник. Русские моряки показали тогда изумительное искусство. Им удалось спасти часть экипажа «Фэйри-Дрэгги», в том числе и авторов рапорта, и благополучно справиться с циклоном, несмотря на грубую

оснастку и неуклюжий вид брига. Начиная этот рассказ, я хотел показать вам, что есть нация, морские способности которой часто недооцениваются...

— Полно, Кеттеринг! — перебил высокий офицер. — Неужели вы решаетесь ставить русских рядом с англичанами? Мы создали всю культуру мореплавания, науку о море, все флотские традиции... Как же может быть, чтобы континентальный народ оказался настолько способным к морскому искусству?

— Мне кажется, тут дело в особых свойствах русского народа. Из всех европейских наций русская сформировалась на самой обширной территории, притом с суровым климатом. Этот выносливый народ получил от судьбы награду — способности, сила которых, мне кажется, в том, что русские всегда стремятся найти корень вещей, добраться до основных причин всякого явления. Можно сказать, что они видят природу глубже нас. Так и с морским искусством: русский очень скоро понимает язык моря и ветра и справляется даже там, где пасует вековой опыт.

— Но... — начал высокий офицер.

— Но, — перебил Кеттеринг, — подумайте над нашей встречей! У нас еще много времени, чтобы закончить спор до возвращения в Англию.

На рассвете «Фирлесс» остановил пароход, шедший из Англии в СССР, и шестеро советских моряков продолжали свой отдых уже на пути к Родине.

...Осеннее солнце клонилось к закату, когда Ильин вышел из штурманской рубки. Он знал, что до места встречи с конвоем осталось всего два часа ходу. Старпом вошел в коридор и остановился. Толпа сгрудилась у притворенной двери, из-за которой доносился прекрасный тенор Метелицына. Он пел ту самую песню, которая так захватила Ильина в темной каюте тонувшего «Котласа». Только в голосе Метелицына не было теперь звенящей печали.

Ты, родина, долго страдала,
Сынов своих верных любя.
Ты долго меня ожидала —
И, видишь, приплыл к тебе я!

Ильин тихо вышел на палубу. Далеко впереди, в ясном небе, проступала светлая полоса — отблеск близких полярных льдов. Там — поворот на восток.

АТОЛЛ ФАҚАОФО

Небольшой светлый зал был переполнен. Среди разнообразия штатских костюмов выделялись синие кители моряков. Неторопливо осмотрев зал, капитан-лейтенант Ганешин заметил чьи-то энергичные жесты из дальнего ряда — знакомые приглашали на свободное место. Ганешин стал пробираться к ним между рядами стульев.

— Даже вы прибыли! — сказал капитан второго ранга Исаченко, пожимая ему руку. — Весь флот, что ли, собирается?

— А что? — удивился Ганешин.

— Ткачев выступает с докладом.

— Это какой Ткачев? Тот, что по непотопляемости?

— Наоборот, по потопляемости, — сострил Исаченко. — Командир сторожевого корабля Северного флота.

— Вот как, — равнодушно отозвался Ганешин. — А что за доклад?

— Так он ни шута не знает! — воскликнул Исаченко.

Окружавшие собеседников моряки рассмеялись.

— Ну-ну, просветите, — добродушно улыбнулся Ганешин.

— Сегодня ведь заключительное заседание сессии Академии наук, посвященной морским делам. Ну а Ткачев выловил необыкновенного гада; командующий приказал ему обязательно довести об этом до сведения ученых. Ткачев — командир смелый, но насчет докладов не любит... Впрочем, начинается, — оборвал разговор Исаченко, — следственно, сами узнаете.

Раздался звонок председательствующего. На кафедре решительно поднялся среднего роста светловолосый офицер с острым лицом. Орден Нахимова украшал его тщательно отглаженный китель. Моряк обвел глазами притихший зал и заговорил, в волнении часто и осто-

рожно притрагиваясь к верхнему крючку воротника. Но вскоре докладчик овладел собой.

Ганешин не раз плавал в тех местах и поэтому слушал Ткачева с особенным интересом. Едва только Ткачев произнес: «Мой корабль пять суток патрулировал далеко в открытом море, около тридцать второго меридиана, по-нашему—в четвертом районе», как перед внутренним взором Ганешина встало хмурое, свинцовое море...

Водный простор не чувствовался в холодном, мутном от влажности воздухе. Горизонт был близок и потому таил в себе опасные неожиданности... Появление германской подводной лодки, шедшей полным ходом в надводном положении, было совершенно внезапным. Очевидно, немцы не предполагали встретить советский сторожевой корабль так далеко от берегов, и пока лодка погружалась, Ткачеву удалось сблизиться с неприятелем.

Над морем пронеслись подобные ударам в гигантский бубен выстрелы, и немного впереди того места, где только что скрылась рубка подводной лодки, встали столбы воды с проблесками красных молний и облачками черного дыма. Это рвались глубинные бомбы, поставленные на небольшое углубление. Опытный истребитель лодок, Ткачев мгновенно определил вероятный сектор нахождения врага и начал забрасывать его бомбами.

Тем временем корабль достиг места, где скрылась подводная лодка. Ткачев приказал прекратить сбрасывание бомб и застопорил машину. Лейтенант Малютин подал Ткачеву наушники гидрофонов, одной рукой продолжая поворачивать рычажок усилителя. Неопределенный шум моря, отдававшийся в гидрофонах, не выдавал присутствия подводного врага. Ткачев понял, что подводная лодка услышала прекращение работы винтов над собой и тоже застопорила моторы.

Кивнув лейтенанту, Ткачев рванул ручку машинного телеграфа, машина заработала полным ходом, винты зашумели в гидрофонах, как водопады. Снова раздался звонок телеграфа. Машина мгновенно остановилась, и в отзвуках движения корабля Ткачев уловил ускользящий, казалось, очень далекий шум винтов подводной лодки.

— Лево на борт!

По-прежнему из глубины неслись равномерные глухие шумы. Ткачев представил себе подводную лодку там, внизу, украдкой пытающуюся ускользнуть, влияя на хо-

ду и стопоря свои электромоторы. Через несколько секунд подводная лодка опять остановила моторы. Шум винтов смолк. Но Ткачев уже знал пеленг, примерную глубину и направление бегства противника. Быстрые руки минеров установили гидростатические взрыватели на глубину девяноста метров: взрыв тяжелых глубинных бомб эффективнее по направлению вверх, чем в глубину. Ткачев поставил ручку телеграфа на «полный вперед», судно рванулось с места, мощные машины взбили за кормой огромный пенный вал. Когда скорость корабля достигла пятнадцати узлов, Ткачев стал поочередно нажимать спусковые рычаги правого и левого лотков. Каждая глубинная бомба, похожая на бензиновую бочку, мягко шлепалась своей многожудовой тяжестью в пенящуюся за кормой воду, и на ее место важно и медленно подкатывалась другая. А сверху по лотку непрерывной цепью катились все новые черные гладкие бочки, такие безобидные с виду.

Сторожевой корабль прошелся по широкой дуге, оставляя за кормой зеленые водяные столбы, уже без огненных проблесков и более низкие. Ткачев следил за распределением взрывов, не переставая рассчитывать размеры завесы и площадь накрытия. «Еще одну, последнюю, для верности, — подумал Ткачев, нажимая правый рычаг бомбосбрасывателя. — Все равно никуда не денется. На дно ей не лечь, глубина здесь почти в километр. Попалась!»

Лейтенант, следивший по секундомеру, удивленно пожал плечами. Уже прошло необходимое для погружения бомбы время, а разрыва не было. Ткачев приказал повернуть корабль обратно, чтобы прослушать лодку в покрытой бомбами зоне.

— Гавриленко! — окликнул лейтенант минного старшину. — Вы как поставили взрыватель у последней?

— Точно как у всех: девяноста метров, товарищ лейтенант!

— Должно быть, взрыватель отказал. Странно, это у меня первый случай... — произнес удивленно Ткачев.

В этот момент в полукабельтове справа по носу встал низкий водяной бутор. Едва слышимый удар донесся из глубины, сейчас же заглушенный громким всплеском накатившейся на нос волны. Корабль качнуло. Ткачев ухватился за поручень, отрывисто бросив:

— Время, лейтенант?

— Две минуты сорок пять секунд,— ответил Мэлютин.

— Ого! Значит, утонула чуть не на полкилометра, оттого и взрыв такой слабый. Ясно, во взрывателе дефект... Ага, попались! — вдруг вскричал Ткачев, впиваясь глазами туда, где по скатам невысоких волн расплывалось огромное масляное пятно.

Машина затихла, и снова чуткие подводные уши гидрофонов насторожились, следя за борьбой уже подбитой вражеской лодки. Послышался шум винтов, уже не ровный, а прерывистый, смолк, опять возник. «Ну и нырнули! Наверно, заклепки текут»,— подумал Ткачев и послал по новому пеленгу еще две бомбы, продолжая следить в бинокль за вспененной поверхностью воды.

— Слева за кормой предмет! — раздался позади голос краснофлотца.

Изумленный несоответствием только что взятого пеленга и местом всплытия, Ткачев резко повернулся, направил бинокль на смутное красное пятно близ места падения последней бомбы и чуть не отшатнулся от неожиданности. Хрустальный круг бинокля в опаловой дымке приблизил к его глазам очертания гигантского красно-бурого тела среди равномерного колыхания волн. Это было какое-то животное невиданных размеров и цвета. Ткачеву показалось, что у него широкое тело, огромные плавники и могучая круглая шея: голову и хвост скрывали волны. Всего удивительнее была гладкая кожа, местами изборожденная морщинами и складками густо-красного цвета, переходившего в темно-бурый.

— Справа по носу пузыри!

Голос сигнальщика вернул командира к действительности, и Ткачев снова сосредоточился на борьбе с подводным врагом. Тысячи воздушных пузырьков усеяли поверхность волн. Минуту спустя корабль стоял уже над местом выхода воздуха, вслушиваясь в глубину.

Вдруг вода заклокотала от большого количества воздуха, сразу пришедшего снизу. Одновременно в гидрофонах возник короткий, тупой и невнятный гул. Люди молча смотрели. Корабль уже потерял ход и становился лагом к волне. Прошло несколько минут. Последние пузырьки воздуха исчезли. Ни одного звука не доносилось из глубины в гидрофон. Только масляное пятно расплывалось все шире, выравнивая заостренные гребни валов.

Где-то далеко внизу, под поверхностью моря, разби-

тая лодка, не смогшая всплыть, проваливалась все глубже в пучину, и беспомощное давление воды выжимало из нее воздух и масло. Ткачев дал ход кораблю и подошел к снимавшему наушники Малютину.

— Запишем еще одну, лейтенант, но чтобы окончательно убедиться, подождем немного, послушаем... Да, а как же чудовище? — вспомнил он. — Скорее к нему!

На месте всплытия неведомого животного моряков ожидало разочарование: никакого следа красного чудовища не было уже видно. Холодные волны были пустыни насколько хватал глаз.

Ткачев досадливо потер заслезившиеся от напряжения глаза: «Неужели почудилось? Ну нет...»

— Товарищи, кто еще видел этого... как его... ну всплывшего зверя? — обратился он к команде корабля.

Откликнулись сразу несколько краснофлотцев и старшина Гавриленко, который клялся, что это не что иное, как морской змей, оглушенный нашей бомбой.

— Нет, не змей, — перебил сигнальщик Епифанов, — я видел: туловище у него толстое, широкое, и лапы есть — какой же змей?

— Ну все равно не рыба и не зверь морской, а гад подводный, — стоял на своем Гавриленко.

Гавриленко предупредил собственную догадку Ткачева, что животное было оглушено или убито бомбой и всплыло на поверхность. «Эх, досадно, что потонул! Поймать бы такое чудо, — подумал Ткачев. — А теперь кто поверит?..»

Словно угадывая невысказанный вопрос командира, лейтенант Малютин отозвался:

— Этот гад из глубины — глубоководное животное, и хлопнула его наша последняя бомба, та, что с испорченным взрывателем. Она ушла на глубину метров в пятьсот, да и всплыл-то зверь около этого места. Может быть, он потонул, а может, и очнулся... Впрочем, я все-таки успел... — И Малютин вытащил из кармана «лейку». — За качество не ручаюсь, а пять раз щелкнул: уж очень занятная зверюга! Удачно, что телеобъектив был ввинчен.

Ткачев восхитился находчивостью лейтенанта, не дозревая, что из-за этих снимков ему придется выступать с докладом в Москве...

Снимки лейтенанта Малютина были проявлены со всей возможной тщательностью, но все же они не полу-

чились достаточно отчетливыми: серый день, малая выдержка и красный цвет гада были неблагоприятными совпадениями. Ткачев был вызван к командующему, изложил все обстоятельства дела, показал снимки и получил распоряжение ехать в Москву, на морскую сессию Академии наук.

— Это неважно,— возразил командующий на уверения Ткачева, что никто не поверит.— Мы должны изучать море, мы обязаны оповестить ученых о таком необыкновенном происшествии. Если же ученые не поверят тому, что целая группа моряков видела, нечего тогда на их авторитет полагаться...

Этими шутливыми словами адмирала, под одобрительный гул зала, закончил офицер свой короткий доклад и приступил к демонстрации снимков. Свет потух, и на высоком экране появилось неясное изображение.

Медленно прошли один за другим все пять снимков, но Ганешин так и не смог представить себе зверя: впечатление было ускользающим, неопределенным. Вспыхнул свет. Десятки людей, старавшихся определить животное в зыбких очертаниях снимков, шепотом делились впечатлениями. Исчезло живое, общее всем людям очарование неизвестного, но осталось что-то. Это что-то, как определял Ганешин, было сознание реальности происшедшего — скваченной, но ускользнувшей тайны моря. Ганешин с удовольствием отметил, как молодо заблестели глаза у сидевших в его ряду почтенных ученых и суровых командиров. Словно в зале пронеслась мечта, поднимающая и соединившая самых различных людей.

В президиуме собрания произошло движение. На кафедру поднялся огромного роста старик с широкой седой бородой. Зал стих: многие узнали знаменитого океанографа, прославившего русскую науку о море.

Ученый нагнул голову, показав два глубоких залива над массивным лбом, обрамленным серебром густых волос, и исподлобья оглядел зал. Затем положил здоровенный кулак на край кафедры, и мощный бас раскатился, достигнув самых отдаленных уголков зала.

— Вот он, наш Георгий Максимович! — шепнул Ганешину Исаченко.— С таким голосом лиякором в шторм командовать, а не лекции читать.

— Так ведь он и командовал,— бросил Ганешин.

— Товарищи,— говорил тем временем океанограф,— я очень рад, что мне удалось услышать изумительное со-

обшение капитана Ткачева. Как нельзя более кстати его доклад пришелся на заключительное заседание нашей сессии. Мы слишком привыкли к существованию неразгаданных тайн моря, многие вопросы океанографии считаются пока неразрешенными. Но, я думаю, всем присутствующим знакомо сообщение отважного американца, профессора Биб, спускавшегося в стальном шаре — батисфере — на глубину километра. Биб наблюдал огромных животных, проплывавших в невообразимой тьме перед окнами его батисферы, слишком больших для ничтожного освещения, которое давал его прожектор, и для маленького поля зрения кварцевых иллюминаторов. Известно ли вам, что незадолго до войны у восточных берегов Африки была выловлена огромная рыба — латимерия — из породы, давно исчезнувшей с лица земли и считавшейся вымершей уже в древнюю геологическую эпоху, чуть ли не сто миллионов лет тому назад? И вот теперь неведомый гад, обнаруженный в Баренцевом море капитаном Ткачевым, дает нам еще одно подтверждение таинственной жизни морских глубин. Это еще тень, только мелькнувшая перед нами, но от реального, действительно существующего.

Несмотря на войну, флот и наши ученые продолжают расширять знания о море. Но победа уже близка, товарищи, и я надеюсь вскоре увидеть вас на послевоенной морской сессии, когда наши возможности неизмеримо возрастут..

Я обращаюсь к вам, товарищи моряки, от имени науки. Нашему флоту предстоит большое будущее. Вы, вооруженные техническими познаниями и огромной производственной мощью нашей страны, после войны, в спокойных условиях работы, можете оказать огромную по своему значению помощь науке..— Ученый остановился, шумно вздохнул и загремел сильнее прежнего: — Многие думают, что мы знаем море. О да, конечно, мы хорошо изучили его поверхность. Всем нам известно, например, что в Индийском океане встречаются наиболее крутые волны. Южный Ледовитый океан отличается гигантскими волнами с необычайно длинными фронтами, а Атлантический дает самую высокую волну. Мне незачем перечислять вам успехи океанографии — вы знаете их не хуже меня. Но как только от поверхности океана мы обращаемся к его глубинам, сразу же чувствуется наша слабость.

Конечно, мы знаем общее распределение осадков на дне океана. Изобретение эхолота сразу двинуло вперед изучение рельефа морского дна, и недалеко то время, когда мы будем знать этот рельеф не хуже рельефа суши. Но все дело в том, что само дно океана, строение и состав его коренных пород нам совершенно неизвестны. Я не преувеличу, если скажу, что поверхность Луны мы изучили гораздо лучше. Представьте себе океан в виде каменной чаши, налитой водой. Так вот, самую чашу мы совершенно не знаем и не в силах пока осуществить ее изучение.

Моря и океаны занимают семьдесят один процент поверхности нашей планеты. Поэтому геология в своем изучении земной коры вынуждена пока ограничиться только двадцатью девятыми процентами этой поверхности. Неудивительно, что первейшие, основные вопросы геологии, познание которых даст нам подлинную власть над богатствами земных недр, не могут быть решены без исследования геологии морского дна. Нам нужны глаза и руки в самых страшных глубинах морей. Вы, молодые командиры и инженеры, подумайте над этим!

Я позволю себе задержать еще на пять минут ваше внимание. В центре Тихого океана, к северу от островов Самоа, есть группа коралловых островов Токелау, часть которых представлена низкими атоллами—кольцеобразными коралловыми островами, часто с лагуной в центре. Среди вас много молодежи, и я не думаю, чтобы ей приходилось видеть настоящие атоллы. А низкий атолл, то есть остров, очень мало выступающий над поверхностью моря,— это незабываемое зрелище. Как метко выразился один из старых капитанов, низкий атолл — это кольцо непрерывного грохота, тумана и пены от волн, неистово бьющихся вокруг. Белое кольцо пены, накрытое радужной блистающей шапкой преломленных в водяной пыли солнечных лучей, удивительно красиво издали на сияющей голубой глади моря. Но поблизости такой атолл выглядит сурово, а в часы прилива, пожалуй, и страшно. Ровные волны, колеблющиеся вокруг поверхность океана, у самого атолла вдруг вырастают, с гулом мчатся и с потрясающим грохотом обрушиваются на атолл. Если же вам придется побывать на низких атоллах в ураган, запаситесь мужеством. Густые облака погасят солнечный свет, и море сразу станет темным и грозным, изборожденным, словно гневными морщинами, черными провала-

ми огромных валов. Волны, поднимаясь все выше, ринутся на атолл, затопляя и сокрушая все на своем пути. Лишь один-два небольших участка кораллового кольца останутся незатопленными, и на них, полузадушенный ветром, оглушенный грохотом, ослепленный брызгами, человек будет искать спасения. Ужас наполняет и неробкие души при виде острова, словно тонущего в страшном одиночестве посреди беснующегося океана.

Так вот, среди низких атоллов Токелау есть атолл Факаофо — небольшой остров, около трехсот метров в диаметре; однако населения на нем шестьсот человек. В прилив от Факаофо над поверхностью моря виден только плотный серо-зеленый купол густой рощи кокосовых пальм. Атолл Факаофо лежит в девяти градусах к югу от экватора, на пути постоянных ураганов. В то время как ураганы затопляют соседние островки, обитатели Факаофо чувствуют себя в безопасности. Бронзовокожие природенные моряки-полинезийцы обнесли остров стеной из крупных кусков кораллового рифа и сделали насыпь в середине, подняв поверхность своего острова почти на пять метров над уровнем прилива. Таким образом, туземцы, лишённые всяких механизмов, создали себе безопасный приют. Какое бесстрашие и глубокое вековое знание океана нужно было иметь, чтобы противопоставить грозной мощи стихии слабые силы простых человеческих рук!

Атолл Факаофо всегда служит для меня примером могущества человека и его власти над морем. И я рассказал об этом атолле, чтобы показать, чего можно добиться самыми простыми средствами. Неужели же мы, вооруженные всей мощью современной науки и техники, не добьемся окончательной победы над океаном — власти над его глубинами!

Вот все, что я хотел вам сказать. Позвольте мне остаться с надеждой, что некоторые из вас унесут хотя бы мечту о покорении глубин океана. А мечта умного и сильного человека — это уже очень много...

* * *

Мелкий дождь, разгоняемый ветром, порывами налетал на корабль. Горизонт быстро приближался. Свет мерк, словно в воздух сразу вытряхнули огромное количество пепла. Наступала ночь.

Корабль плавно покачивался, равномерно вздрагивая от работы машины. Один из вахтенных задрал иллюминаторы штурманской рубки. Ярко вспыхнул топовый огонь. Ганешин медленно расхаживал по мостику. Головная боль сгикала, как бы растворяясь в сыром и холодном океанском ветре. Эти боли, последствия ранения в Великую Отечественную войну, повторялись еще и теперь, спустя несколько лет. Ганешин прислонился к поручням, взглядываясь в тьму. В неясном смещении мрака и судовых огней выступали белые надстройки корабля.

Стукнула дверь. Настия мостика рассекла широкая полоса света и исчезла. Вышедший из рубки, очевидно, приглядывался к темноте. Он нашел Ганешина и обратился к нему:

— Товарищ капитан первого ранга, опять острая зубрина. Хотите посмотреть...

— Слушайте, капитан второго ранга, то есть Федор Григорьевич, — перебил Ганешин, — хватит тебе меня величать, говорил уже не раз!..

— Верю, Леонид Степанович, верно! — рассмеялся Щитов, командир гидрографического судна. — Все еще живы привычки военного времени...

Офицеры вошли в ярко освещенную рубку, блестящую полированным деревом, приборами, зеркальными стеклами окон. Переход от холодной темноты и безграничности моря к теплоте уюту помещения был приятен. Ощущение уславилось тихими звуками скрипичной мелодии, доносившейся из репродуктора в углу рубки. Мичман, стоявший перед большим циферблатом эхолота, оглянулся на входивших и при виде Ганешина вытянулся. Ганешин опять усмехнулся: он никак не мог привыкнуть к почтительному вниманию к себе товарищей по работе. Теперь, в мирной обстановке, это казалось ему излишним.

— Продолжайте ваше дело, мичман! — Ганешин сбросил дождевик, зюйдвестку и вынул трубку.

Мичман смутился, тихо ответил:

— Я... я, собственно... просто любовался на него...

— Ага, так вам нравится наш новый эхолот, — одобрительно посмотрел на юношу Ганешин. — А чем, по-вашему, он лучше кьюзовского, последней модели?

— Да как же можно сравнивать! — воскликнул мичман. — Во-первых, диапазон глубин — наш берет любую без всяких угловых смещений; огромная чувствитель-

ность; очень точная автоматическая выборка поправок, и главное, главное... сухая запись эхографа и тут же на ленте курсовые отметки...

— Очень хорошо! Я вижу, что вы уже вполне ознакомились с нашим прибором.

— Товарищ Соколов — энтузиаст глубоководных измерений, — вмешался Щитов. — Однако зубчик нужно посмотреть, а то лента уйдет.

Ганешин вынул трубку из рта и шагнул к большому диску, где в центре горел оранжевый глазок и дрожала тонкая стрелка, окруженная тройным кольцом делений и цифр. Это был указатель глубин эхолота, а под ним, в черной прямоугольной рамке, за блестящим стеклом, медленно, почти незаметно ползла голубоватая лента эхографа — прибора, вычерчивающего непрерывный профиль дна на пути следования корабля.

Звуковые колебания высокой частоты, излучаемые из днища судна, летели вниз, в недоступные глубины океана, и, возвращаясь через сложную систему усилителей, заставляли стрелку колебаться, вычерчивая профильную линию. Мичман поспешил указать соответствующее место ленты. Здесь, между толстой чертой дна судна и косыми жирными отметками пройденного расстояния и изменений курса, шла плавная линия пологого дна, вдруг прерывавшаяся резким изломом: заостренная подводная вершина поднималась почти на два километра из четырехкилометровой впадины океана.

Ганешин удовлетворенно улыбался:

— За рейс четырнадцать «зубчиков» уже нашли! Не зря я пошел с вами...

— Леонид Степанович, признайся мне по чистой совести, — начал командир судна, — эти подводные «зубчики» тебе для нового прибора нужны?

— Угадал, угадал, Федор Григорьевич! — обернулся к Щитову Ганешин. — Сядем-ка, а то я во мостику километров двадцать отшагал. Мой новый прибор уже прошел все испытания, и мы с тобой будем его пробовать на работе сразу как вернемся. Могу сейчас рассказать, пусть и мичман послушает — из принципа устройства прибора мы тайны не делаем. Мой прибор приспособлен для того, чтобы видеть под водой на самых больших глубинах, по принципу телевизора. Главная трудность задачи заключалась в освещении достаточно больших пространств, чтобы из-за огромного поглощения световых

лучей в богатой кислородом глубинной воде телевизор не был подобен глазу очень близорукого человека. Я добился хороших результатов тем, что создал «ночной глаз» — прибор, который настолько чувствителен к световым лучам, что ничтожных количеств света ему достаточно для получения изображения. Далее я применил двойной прожектор с двумя совпадающими пучками лучей: одним — богатым красными и инфракрасными лучами, другим — синими и ультрафиолетовыми. Вы знаете, что вода скорее всего поглощает красные длинноволновые лучи; лучи коротковолновые идут значительно глубже (ультрафиолетовые доходят до тысячи метров от поверхности океана). Но зато вода с мутью рассеивает свет, и коротковолновые лучи в этом случае легко поглощаются, в то время как длинноволновые лучше пробивают толщу такой воды. Соответственные комбинации самых коротких и самых длинноволновых лучей в пучке света моего прожектора пригодны для разных условий, могущих встретиться на глубине. Такой аппарат, опущенный в глубину, передает по кабелю наверх электрическими волнами изображение, которое превращается в видимое на специальном экране. Угол освещения и угол зрения моего аппарата очень широки; двойные объективы, раздвигаемые, как в дальноте, дают глубокое стереоскопическое изображение. Прибор видит шире и резче человеческих глаз... Что-то у тебя вид разочарованный, Федор Григорьевич, — улыбнулся Ганешин. — Ты думал, мое изобретение в другом роде?

— Нет, нет! — с виноватым видом стал оправдываться Щитов. — Я только не совсем понимаю, что им можно сделать на больших глубинах. Для всяких спасательных работ такой «глаз», разумеется, важен, но в этих случаях глубины невелики и такая сложность ни к чему... Ну, опустили, посмотрели скалу какую-нибудь или рыбищу, и все.

— Для начала и этого много, Федор Григорьевич.

— Так-то так, а дальше?

— А дальше — руки.

— Что такое? — не понял капитан.

— Сперва глаза, а потом и руки, говорю, — повторил Ганешин.

— Но рук-то еще нет?

— Нет, есть, но пока в чертежах еще...

— Эге, — обрадовался Щитов, — хорошо иметь такой клотик, как твой! И я бы не отказался.

— Не знаю, Федор Григорьевич, иногда тяжело, когда бьешься годами над выполнением...— ответил Ганешин, вставая и потягиваясь.— Задумать— одно, а выполнить... Подчас пустяковина с ума сводит... Ну, я пошел.— Ганешин набросил высохший плащ.

— Минутку, Леонид Степанович!— остановил его Щитов.— Скоро Ближние острова, а ты хотел захватить западный край Алеутской пучины. Остров Агатту уже близко. Где же поворачивать?

— Сейчас не помню,— подумав, ответил Ганешин,— где у них береговой огонь. На мысе Дог, кажется? Видимость его...

— ...восемь миль,— подсказал Щитов.

— Ну, это близко. Тогда по счислению, не доходя двадцати пяти миль.

Дверь за Ганешиным захлопнулась. Щитов и мичман остались вдвоем. Прошло около часа. Лента эхолота неторопливо ползла. Дно постепенно понижалось: уже пять километров глубины было под килем судна. Механики с точностью часов держали ход, от равномерности которого зависела точность получаемого профиля дна.

Щитов долго курил, размышляя о личной судьбе группы людей, когда-то спаянных великой войной. То ли был слишком крепок табак, то ли он курил очень жестоко, но скоро Щитов ощутил знакомую боль в груди и вышел на мостик. Дождь все еще не кончался, порывы ветра по-прежнему срывали и вспенивали гребни волн. Вдруг Щитову показалось, что далеко впереди, прямо перед носом корабля, что-то блеснуло, мгновенно исчезнув. Почти одновременно послышался хриплый голос вахтенного: «Огонь прямо по носу!»

Понадобилось добрых пять минут, чтобы слабое мерцание превратилось в белую звездочку — встречное судно. Минуты шли, но никакого признака бортовых огней. Не больше двух миль разделяло сближающиеся корабли, когда Щитов скомандовал:

— Внимание, впереди гакабортный огонь!

— Будем обгонять, товарищ капитан второго ранга?— спросил вахтенный помощник.

— Обязательно. Оно едва плетется.

— А как же курс на промере?

— Не беда, немного отклонимся.

Корабли сближались, продолжая находиться в створе кильватера. Помощник взялся за цепочку гудка —

два коротких, низких и сильных звука пронесли над темным морем, рулевой привод застучал, и нос корабля покати́лся влево.

В просторной каюте Ганешина горела слабая ночная лампочка. Ганешин сбросил китель, сапоги и улегся на диван. Раздеваться и забираться на койку не хотелось, да и встать скоро... Ганешин думал о своем новом аппарате. Глубинный телевизор готов, за результаты окончательных испытаний изобретатель не беспокоился. Этим выполнена первая часть когда-то поставленной им себе задачи. Несколько лет назад старый ученый, которого сейчас уже нет в живых, говорил о победе над океаном, об атолле Факаофо. Он говорил не только о «глазах», но и о «руках»; значит, теперь дело за «руками». Возник образ сложного механизма, всверливающегося, как буровой станок, в океанское дно под наблюдением телевизора и управляемого телемеханически. Основной принцип — работа без всяких герметических закупорок; уже давно изобретены низковольтные, высокоамперные электромоторы, прекрасно работающие в воде. Вода должна быть для этих механизмов такой же естественной средой, как воздух для наших земных машин: тогда не страшно огромное давление — вот в чем здесь секрет успеха!

Отрывистые гудки заставили задрожать переборку. Ганешин машинально прислушался: два коротких — поворот влево. «Кого-то обгоняем...» Встреча судов в открытом море всегда волнует душу моряка. Ганешин вскочил и стал натягивать сапоги.

На мостике Щитов и помощник увидели красный бортовой огонь и выше топового огня — еще более сильный красный свет.

— Тралящее судно, — негромко сказал помощник. — Это не гакабортный был огонь, а круговой топовый, и выше — трехцветный фонарь.

— Вижу, вижу, — отозвался Щитов. — А это видите?.. Вахтенный сигнальщик, ко мне!

На неразличимом еще борту неизвестного судна замелькал огонек. Короткие вспышки чередовались с острыми долгими лучами, вызывавшими ощущение протяжного крика «а-а-а-а».

— Вызывают нас, — буркнул Щитов. — Эге, вот оно в чем дело!

Три короткие вспышки сменились одной долгой: в

темноту ночи летели одна за другой латинские буквы — просьба о помощи.

На мостике появился запыхавшийся сигнальщик с ратьеровским фонарем. Одновременно поднялся на мостик Ганешин.

— Скажите Соколову, чтобы остановил эхолот! — распорядился капитан.

Два корабля в океанской ночи некоторое время перемигивались световыми вспышками: «РикOVERи», Сан-Франциско — «Аметист», Владивосток.

— У меня есть километр троса кабельной свивки, — пробурчал Ганешину Щитов, — могу им одолжить...

— Очень хорошо! Давайте подходить, может быть, еще чем-нибудь полезны будем...

— Прожектор! — скомандовал Щитов.

По палубе затопали проворные ноги. Мощный прожектор «Аметиста» пробил в темноте широкий светящийся канал. В конце его возникло черное низкое судно с далеко отнесенной назад трубой. «Пусть стоит на месте, подходить буду я, — подумал капитан. — Не знаю, как они ловки...» Прожектор потух, сигнальщик быстро выполнил распоряжение, затем «Аметист» снова зажег свет и начал сближаться с неуклюжим на вид «американцем».

— Любопытно! Тоже океанографы, как и мы, — оживленно заговорил Ганешин («американец» передал световым сигналом, что на нем океанографическая экспедиция). — Что у них стряслось?

«Аметист» подошел к кораблю, насколько позволяло волнение, развернулся лагом, и хорошо говоривший по-английски Ганешин взялся за рупор. Из отрывистых слов, заглушаемых плеском волн в борта и подсвистом ветра, советские моряки быстро уяснили себе трагическую суть происшедшего. Батисфера — стальной шар, недавно построенный для изучения больших глубин, — с успехом сделала несколько спусков. При последнем спуске оборвался подъемный канат вместе с электрическим кабелем, и стальной шар остался на глубине около трех тысяч метров — наибольшей, на какую он был рассчитан. Батисфера снабжена парафиновым поплавком и должна всплыть самостоятельно при обрыве кабеля, как только прекратится ток, питающий электромагниты. Магниты перестают притягивать тяжелый железный груз, и батисфера всплывает. Но на этот раз не всплыла. В ней два человека: инженер, построивший батисферу, Джон

Милльс, и ученый-зоолог Норман Нурс. Запас воздуха — на шестьдесят часов. Уже сорок восемь часов идут безуспешные попытки нащупать батисферу и зацепить гаками за специально сделанные на ней скобы. Если шар цел и исследователи в нем живы, им осталось воздуха только на двенадцать — пятнадцать часов...

Советские моряки молча стояли на мостике. Большая грузовая стрела американского судна, вынесенная за борт, кивала своим носом, как будто показывая на волны, поглотившие стальной шар.

— Похоже, их дело труба, Леонид Степанович, — тихо сказал Щитов. — Разве нащупаешь на трех километрах в открытом море! Без берегов пеленговать не на что... Да, не хотел бы я быть там...

Ганешин, не отвечая, смурнулся, поглядывая на «Риквери».

— Федор Григорьевич, дайте мне шлюпку, — неожиданно сказал он.

Щитов увидел его тяжелый, настойчивый взгляд.

Американцы заметили танцующую на волнах шлюпку и быстро спустили трап. На мостике Ганешина окружили. Его спокойные и решительные глаза, смотревшие из-под козырька военной фуражки, прикрытой желтым капюшоном, притягивали к себе измученных борьбой людей.

— Кто начальник? — негромко спросил Ганешин.

— Я помощник начальника, капитан судна Пенланд, — ответил стоявший против Ганешина американец. — Начальник там. — Пенланд указал на море.

— Разрешите задать несколько вопросов, — продолжал Ганешин. — Извините за краткость, нужно спешить, если мы хотим...

— Вы хотите помочь нам? — звонким голосом спросил кто-то.

— Да. Но не перебивайте меня, — сухо добавил Ганешин, — я говорю с командиром.

— Слушаю вас, — быстро ответил американский капитан.

— Сколько у вас тралящих тросов?

— Два.

— Какой длины трос остался на батисфере?

— В том-то и несчастье, сэр, что канат оборвался около самого места своего прикрепления на шаре. Захватить за него нечего рассчитывать, только за скобы.

— На батисфере есть радио?

— Есть, но не работает, питание было только от кабеля.

— По вашим расчетам, у них воздуха еще на двенадцать часов?

— На двенадцать — пятнадцать. Это все, сколько они могут протянуть при самой жесткой экономии.

— Да, положение очень серьезное. А что вы думаете делать дальше?

— Продолжать теми же средствами — пока ничего не поделаешь. В бухту Макдональд, на Агатту, прилетят два самолета. Утром они будут здесь и привезут усовершенствованные захватные приспособления. В день катастрофы по радио вызвано военное судно, оборудованное тралом-индикатором для отыскания батисферы электромагнитным способом. Оно идет со всей возможной скоростью и может быть здесь завтра. Это, собственно, наша последняя надежда, — заключил капитан Пенланд, зачем-то понижая голос и приближаясь к Ганешину. — Вместе с нами тралили еще два военных судна, сейчас они ушли в бухту Макдональд.

— Благодарю вас, капитан. Надеюсь, нам удастся помочь вам. Будьте любезны показать ваши лебедки и подъемные приспособления.

Ганешин с Пенландом спустились на обширную палубу, загроможденную бухтами тросов, с огромной лебедкой в центре. Качающаяся вместе с мачтой электрическая лампа освещала нагромождение самых разнообразных предметов.

— Мне кажется, положение безнадежно, сэр, — быстро сказал капитан Пенланд, едва они удалились от мостика. — Посудите сами: чудовищная глубина, открытое море, никакой возможности ни пеленговать, ни бросить буюек... Я делаю что могу, двое суток не уходил с палубы. Там, на мостике, жена Милльса, гидрохимик нашей экспедиции. Я не хотел при ней высказывать свое мнение.

Ганешин вспомнил стремительный вопрос, почти вскрик на мостике.

— Это она спрашивала меня? — И получив утвердительный ответ, пожалел о резкости, с которой оборвал говорившую. — Наметим с мостика примерный район нахождения батисферы, и я буду благодарен вам за полную информацию... Еще вопрос, капитан, — помолчав, сказал Ганешин, в то время как они осторожно пробирались

по заваленной палубе: — Зачем вашим исследователям понадобилось опускаться здесь, в открытом море?

— Видите ли, здесь одно из редких мест, оно изобилует крутыми скалами, и коренные породы совершенно обнажены от наносов. Одной из задач наших исследований является изучение коренных пород в глубинах океана. Только пока что-то не получается.

Ганешин ничего не ответил. Он легко взбежал по ступенькам на мостик:

— Сейчас мы примемся искать, поставим буюк...

— Как буюк?—сразу послышалось несколько голосов.

— Увидите! — Ганешин скупно улыбнулся и поднял руку, но был остановлен маленькой рукой, притронувшейся к его рукаву.

Моряк обернулся и увидел огромные, сильно блестящие глаза, смотревшие с мучительным напряжением.

— Сэр капитан, скажите мне прямо: есть надежда спасти их? Вы сможете это сделать?

Ганешин серьезно ответил:

— Если батисфера цела, надежда есть.

— Боже мой!..— воскликнула американка.

Но Ганешин мягко перебил:

— Простите меня, время не ждет,— и обратился ко всем стоявшим на мостике: — Советское гидрографическое судно «Аметист» немедленно примет меры для спасения. Это, разумеется, не исключает вашей работы, но сейчас, если вы согласны довериться нам, я прошу на время отойти от места погружения батисферы. Я располагаю приборами, крайне важными для настоящего случая, однако основной прибор находится во Владивостоке. Я вызову скоростной самолет. Раньше чем через пять-шесть часов он не сможет прибыть — слишком велико расстояние. За это время попытаемся найти батисферу и отметить ее место буюком, что сильно облегчит спасательную работу по прибытии самолета, когда времени у нас будет всего семь часов. Поднимать батисферу придется вам, у нас нет таких мощных лебедок и тросов. Все. Дайте сигнал нашему судну, чтобы погасили прожектор, и зажгите свой. Я возвращаюсь на «Аметист».

В прожекторе «РикOVERи» невидимый раньше за ослепительным сиянием «Аметист» вдруг показался во всем своем белоснежном великолепии. Острый очерк корпуса, легкость надстроек сочетались с мощностью отогнутых назад труб — признаком силы машины.

— Это гидрографическое судно? — вскричал капитан Пенланд.— Да это лебеды!

Действительно, белый, блестящий огнями корабль походил на громадного лебедя, распростершегося на воде перед взлетом.

— Это военное гидрографическое судно,— подчеркнул Ганешин, поднес руку к козырьку и пошел с мостика.

Его шлюпка быстро понеслась по широкому световому коридору. Американские моряки молча смотрели ей вслед, слегка озадаченные как появлением Ганешина, так и его уверенными распоряжениями.

— Это, должно быть, важное лицо у русских, сэр,— проговорил наконец помощник капитана.— И если он сумеет спасти батисферу...

— Не знаю, спасет ли,— ответил Пенланд.— Но вы посмотрите на их корабль!

Прежнее молчание воцарилось на «РикOVERи», только настроение было уже другим. Безотчетно верилось, что белый прекрасный корабль, так неожиданно выплывший из океанской ночи, и этот человек с умными, упрямыми глазами, дружески протянувший руку помощи, действительно сумеет помочь.

Между тем Ганешин, не теряя времени, вместе с Щитовым направился в радиорубку. Взвыл умформер, замелькали огоньки неоновых ламп, над тысячами километров океана понеслись условные позывные. Долго-долго стучал ключ, пока радист не повернул к офицерам вспотевшее лицо:

— Владивосток отвечает.

— Ну, сейчас решится судьба тех двух бедняг,— обернулся к Щитову Ганешин.— Если удастся вызвать командующего... А вдруг он в отъезде?

Ключ стучал, умолкал, в ответ слышался характерный треск морзе, снова радист работал ключом, и снова Ганешин напряженно прислушивался к скачущему сухому языку аппарата. Ждали и покачивающийся рядом корабль, и те двое, запертые в стальном гробу на дне океана, и уже загоревшийся желанием спасти американцев экипаж «Аметиста»...

В штабе сообщили, что адмирал в море, на своем корабле. В безмерную даль полетели позывные мощного нового линкора. Где-то в пространстве они нашли антенны грозного корабля.

— Наконец-то! — облегченно вздохнул Ганешин.

Ключ коротко, точно и ясно простучал просьбу и замолк. Несколько минут напряженного ожидания — и в треске тире и точек моряки услышали: «Даю распоряжение, желаю успеха».

Теперь все было просто.

Щитов повел свой корабль на противоположный край района предполагаемого нахождения батисферы.

— Приготовить глубоководный буй, две тысячи семьсот метров! — скомандовал помощник.

Мгновенно зацепили гак и вывалили за борт тускло блестящий снаряд, похожий на авиационную бомбу. Матрос дернул линь, гак выложился, и снаряд почти без всплеска исчез в зеленоватой черноте моря. Через четверть часа и пятьдесят секунд, по секундомеру помощника, над волнами в свете прожектора «Аметиста» выскочил слегка дымящийся предмет, раскрылся, подобно зонту, и маленький белый купол лег на воду. Советский корабль просигналил «американцу» просьбу держаться на плавучем якоре и застопорить машину.

— Я хочу избежать малейшего резонанса из винтов, — пояснил Ганешин мичману, становясь сам у эхолота и неторопливо поворачивая различные верньеры регулировки.

— Разрешите спросить... — робко начал мичман. — Неужели вы думаете эхолотом нащупать батисферу?

— Конечно. Разве вы не знаете, что еще довоенные чувствительные эхолоты обнаруживали потонувшие корабли? Например, хьюзовский эхолот так прямо и вычертил эхографом контур «Лузитании», даже вышло расположение надстроек. И это на глубине в пятьдесят фатомов... Размеры батисферы, сообщенные мне американцами, конечно, несравнимы с «Лузитанией»: шар три метра, сверху грибовидный поплавок двухметровой высоты. Но ведь наш эхолот гораздо чувствительнее и излучает поляризованно...

— А... глубина? — осторожно возразил мичман.

— А точность регулировки? — в тон ему ответил шутиво Ганешин и снова склонился над шкалой, заглядывая в таблицы океанографических разрезов.

Американцы, непрерывно следившие за советским кораблем, видели, как он то появлялся в полосе света, то снова исчезал, показывая красный или зеленый огонь.

— Смотрите, они ставят буйки! — оживленно загово-

рил помощник, когда на втором повороте «Аметиста» перед носом «РикOVERи» закачался белый грибок.

— Очевидно, изобрели буй для глубин. Такие штуки давно употреблялись в подводной войне, и тут все дело в прочности линя. Они добились этой прочности, вот и все. Очень просто.

— Все вещи просты, когда знаешь, как их сделать! — буркнул помощник в ответ своему капитану.

Час за часом белый корабль бороздил небольшую площадь моря между четырьмя накрест поставленными буйками. Ветер стих, поверхность воды стала маслянистой, гладкой. У запертых в батисфере осталось воздуха на десять часов. Снова тяжелая безнадежность нависла над американским кораблем. Но все собравшиеся на мостике и на палубе не отрывали глаз от «Аметиста», как будто само их горячее желание могло помочь ему в поисках. Вот «Аметист», показав зеленый огонь, опять повернулся к «РикOVERи» и пошел у самого левого края обозначенной буйками площади. Советский корабль все приближался, острый нос его вырастал, еще сотня метров — и опять безнадежный поворот к северу. Вдруг едва слышимый шум машины на «Аметисте» прекратился. В безмолвии ночи было слышно даже, как прозвенел телеграф, донесся громкий голос капитана, отдавшего какую-то команду. В незнакомой плавности русской речи было понятно одно слово: «буй».

— Нашли... они нашли! — вскрикнула, вся затрепетав, жена инженера Милльса.

На американском судне заспорили, и это как нельзя лучше показывало оживление смертельно уставших людей. Но тут, поднимая, как на крыльях, и обещая так много, уже знакомый им голос с «Аметиста» спокойно сообщил в мегафон:

— Батисфера найдена!

Полсотни человек на палубе «РикOVERи» ответили радостным криком.

В штурманской рубке Ганешин набивал трубку, полузакрыв перенапряженные глаза. За четыре часа поисков лента эхографа покрылась серией кривых, сменявших одна другую, но ни один выступ не нарушал гладкой линии скального профиля. Корабль двигался очень медленно, однообразие получаемых результатов усыпляло внимание, и нужно было все время поддерживать бдительность волей. Недалеко от очередного поворота перо эхо-

графа, до сих пор шедшее плавно, подскочило, и крошечная дужка едва приподнялась над ровной линией.

— Есть! — радостно вскрикнул Ганешин.

Помощник стрелой метнулся к мостику. Звякнул два раза телеграф — «стоп» и «назад». Щитов прокричал:

— Буй, две тысячи восемьсот метров!

И тяжелая бомба рухнула с левого борта.

— Ура, повезло! — поздравил изобретателя Щитов, зайдя несколько минут спустя в рубку.

— Ну, не очень, — устало отозвался Ганешин, — четыре часа крутились... Времени осталось мало, но нужно ждать. Я тут на диване поваляюсь, пока самолет...

В дверях появился помощник:

— Американцы спрашивают: может быть, им начать попытки зацепить батисферу сейчас же?

Щитов посмотрел на Ганешина. Тот, не открывая глаз, ответил:

— Конечно. В таком положении нельзя пренебрегать ни одним шансом.

«Аметист» уступил свое место у буя американскому судну. Отойдя на несколько кабельтовых, он плавно покачивался, будто отдыхая. И в самом деле, уставшие моряки разошлись по каютам, оба командира устроились в рубке. Только вахтенные смотрели в сторону американского судна. Там слышался лязг лебедок, свист пара и скрежет тросов: американцы снова действовали, зараженные удачей советских моряков.

Ганешин и Щитов проснулись одновременно от шума самолетов.

— Нет, не наш, — определял Щитов.

Светало. Сырость и холод забирались под одежду, подбодряя невыспавшегося капитана. С мостика море казалось необычайно оживленным: у бортов «РикOVERIA» ныряли, качаясь, два самолета, а немного поодаль стояли два военных судна — длинный серый высоконосый крейсер и приземистый сторожевой корабль.

— Население увеличивается, — усмехнулся Ганешин. — Сейчас должны быть и наши. Проедусь-ка я к американцам, посмотрю, что и как...

На этот раз еще при подходе шлюпки с борта «РикOVERIA» раздались приветственные крики. Однако лица встретивших Ганешина людей были серы и невеселы. В течение трех часов работы захватить батисферу так и не удалось, не удалось даже ни разу зацепить ее тросом.

Для спасения находившихся в глубине океана осталось семь часов.

— Судно с тралом-индикатором еще не пришло,— говорил капитан Пенланд Ганешину,— но оно сейчас уже менее нужно после вашего замечательного вмешательства. Как захватить батисферу на этой проклятой, немыслимой глубине? Тросы, должно быть, отклоняются... возможно, какое-нибудь течение в глубоких слоях воды. Бук ведь тоже не дает точного места...

— Может отклониться,— поддержал Ганешин, покосившись на приближавшуюся к нему жену Милльса.

Он повернулся к молодой женщине, приложив руку к фуражке. Глаза американки под страдальчески сдвинутыми бровями встретили его взгляд с такой надеждой, что Ганешин нахмурился.

— Мы работали все это время...— Слезы и боль звучали в словах молодой женщины.— Но ужасная глубина сильнее нас. Теперь я надеюсь только на ваше вмешательство...— Она тяжело перевела дыхание.— Когда же вы ждете ваш самолет?

Ганешин поднял руку, чтобы взглянуть на часы, и вдруг громко и весело сказал:

— Самолет? Он здесь!

Все подняли вверх головы. Самолет, вначале неслышный за грохотом работающей лебедки, снижался, потрясая небо и море ревом моторов. «Пикирует для скорости»,— сообразил Ганешин.

Узкая машина, несшая высокие крылья, взбила водяную пыль, повернулась и вскоре, смиренная и безмолвная, покачивалась возле «Аметиста». Утренний туман, словно испуганный самолетом, расходился. Высоко вознесся голубой небосвод. Солнце заиграло на тяжелых, маслянистых волнах, осветило белоснежный корпус «Аметиста», засверкало сотнями огоньков на медных, ослепительно надраенных частях. Ганешин перевел взгляд с самолета на «Аметист» и, улыбаясь, сказал американцам:

— Сейчас мы увидим батисферу.

Женщина, подавив восклицание, сделала шаг к Ганешину. Тот, угадывая ее мысли, добавил:

— Если хотите, я с большим удовольствием... Сейчас поедем.

Ганешин попросил капитана Пенланда подождать установки телевизора, а после нахождения батисферы

немедленно сближаться с советским кораблем и действовать по его сигналам.

В это время на «Аметисте» механик, размахивая ключом, держал речь к машинистам и монтерам.

— От скорости установки привезенной машины,— говорил он,— зависит спасение людей, у которых на шесть часов воздуха. И еще: если мы их спасем — это будет чудо, сделанное руками советских моряков.

— Еще бы не чудо! Я водолазом работал, понимаю, что значит с трех километров такую козявку достать,— ответил один из машинистов.—Справимся, я так думаю...

Капитан Щитов не удивился появлению гостя. Ее пригласили в рубку, и Щитов немедленно прикомандировал к ней мичмана, владевшего английским языком. Жена инженера Милльса рассеянно слушала его объяснения и часто поглядывала в окно рубки, откуда можно было видеть кипевшую на палубе работу: там свинчивали какие-то станины, тащили провода, выгружали из самолета ящики.

На минуту в рубку заглянул Ганешин. Молодая женщина сейчас же бросилась ему навстречу:

— О, простите меня, но ваш прибор, кажется, очень сложен. Его могут не успеть собрать, ведь...— И она молча показала на большие часы, ввинченные в переборку.

— Еще шесть с половиной часов в нашем распоряжении,— ответил Ганешин.— Прибор действительно сложен, но наши моряки, если захотят, сделают эту — не скрою — невероятно трудную работу. А они хотят... Верьте нашим морякам, миссис Милльс, вы можете им довериться.

Для молодой женщины снова потянулось мучительное ожидание. Если бы она могла помочь в приготовлении этого таинственного аппарата... Страшный рев оглушил ее. Для натянутых нервов молодой женщины это было слишком.

— Боже мой, что это такое? — В изнеможении она прислонилась к переборке.

— Гудок. Он у нас в самом деле очень силен,— деловито пояснил мичман.— Это «Аметист» дает сигнал, что аппарат готов и поиски начинаются.

Мичман не ошибся. Сейчас же явился Щитов и пригласил жену Милльса вниз. Телевизор был временно установлен в темной лаборатории. Глубоководная часть аппарата раскачивалась на вынесенной за борт стреле,

огромная катушка троса и кабеля была вставлена в лебедку. Корабль медленно шел к буйку, обозначавшему место батисферы.

— Опускать? — обратился Щитов к показавшемуся на палубе Ганешину.

— Пожалуй, пора.

— А ты не боишься?

— Чего?

— Ну, мало ли чего... Аппарат только что собран, наскоро установлен — вдруг откажет! Я и то волнуюсь...

— Нет, много раз испробован, испытан. Спускай смело, побыстрее...

Телевизор быстро скрылся в волнах, а кабель сбегал еще долго через счетчик катушки, пока чудесный «глаз» не достиг, наконец, нужной глубины. Трос присоединили к амортизатору, смягчавшему качку судна, и в тот же момент в темноте лаборатории Ганешин включил ток. Жена Милльса, вне себя от волнения, смотрела на овальную пластинку экрана, которая вдруг из черной превратилась в прозрачную, пронизанную голубоватым сиянием. Ганешин бросал непонятные американке отрывистые слова Щитову, от него команда передавалась на палубу, к лебедке.

Как только телевизор был установлен на высоте пятнадцати метров над дном, Ганешин стал нажимать две белые кнопки справа от экрана. Там, внизу, маленькие винты заработали, поворачивая аппарат. В голубом свете экрана показалась черная тень, и сразу стало понятным, что эта светящаяся голубизна — прозрачная глубинная вода, в которой тончайшая муть осадка носилась роем крошечных серебристых точек, отражая и рассеивая свет. Вид океанского дна на экране телевизора был необычаен. Человек, попавший на другую планету, наверно, был бы так же поражен и не способен понимать видимое. Один Ганешин, освоившийся с видом океанских глубин при прежних испытаниях своего «глаза», осторожно направлял аппарат. Черный, слегка клубящийся от мути горб слева был плоским выступом скалистого дна. Дальше к северу дно чуть-чуть понижалось, потому что красноватый отсвет дна впереди исчезал, отрезанный тем же серебристым голубым сиянием.

Манипулируя разными рычажками, Ганешин менял границу резкого изображения, одновременно медленно поворачивая прибор, и соответственно менялось изображе-

ние на экране. Сначала вдали возникла черная стена, которая приобретала красный оттенок под усиленным светом прожектора, затем в ней начали выделяться подробности: косая огромная трещина, выпуклый выступ... Но тут телевизор повернулся, и мрачные скалы утонули в сияющей голубизне прежнего освещения. В глубине экрана показались туманные острые зубцы, они стали резче, но, приближаясь и становясь отчетливее, терялись своим основанием в сине-черной темноте заднего плана.

— Предел освещения,— пояснил Ганешин,— около километра.

Высокие зубцы подводной каменистой гряды смотрели мрачно, едва выделяясь среди вечной тьмы подводного мира. Телевизор обошел полный круг — везде простиралось бугристое скальное дно, прикрытое слоем ила, блестящего в лучах осветителя, как алюминиевая пудра. Вид океанских глубин вызывал ощущение чего-то враждебного, таинственного в глубочайшем мраке, окружавшем поле зрения телевизора. Это был чуждый земной поверхности грозный мир безмолвия, тьмы и холода, неподвижный, неизменный, лишенный надежды и красоты.

Батисферы нигде не было видно. «Неужели промахнулись бум так сильно? — мелькнуло в голове Ганешина.— На полкилометра! Ясно же, она должна лежать в этой впадине!» Ганешин стал наклонять объективы аппарата вниз. Смутное темное пятно появилось с края рамки. Ганешин быстро повернул рычажок. Пятно передвинулось в середину, приблизилось и вытянулось. Неясные края его стали резкими. Черный цвет опять стал казаться красным... Молодая женщина за спиной Ганешина слабо вскрикнула, сейчас же зажав рот рукой. Яйцеобразный аппарат, наклонившись, стоял в центре рамки, казавшейся теперь прозрачным стеклом. Четкость изображения была настолько велика, что ясно виден был свисавший сверху кусок оборванного троса, толстые петли спасательных скоб и отсвет на иллюминаторе, который смотрел на моряков, как блестящий гранатово-красный загадочный глаз.

— Иллюминаторы у батисферы со всех четырех сторон, значит, они уже видят нас,— объяснил Ганешин жене Милльса.— Сейчас самое главное — посмотрим, живы ли...— Ганешин поспешно поправился: — ...попробуем поговорить с ними.

Он щелкнул чем-то и положил длинные пальцы на кнопку. Соответственно движениям пальцев экран гас и

вспыхивал снова. Присутствующие сообразили, что, гася и вновь зажигая осветитель, Ганешин посылал в окно батисферы световые сигналы морзе. Много раз повторив один и тот же вопрос, Ганешин выключил свет и замер в ожидании ответа перед погасшим экраном. Все собравшиеся в тесной каюте затаили дыхание, сдерживая волнение решающей минуты. Она прошла — экран оставался черным. Медлительно и зловеще потянулась вторая минута, и тут в темноте экрана возник яркий бирюзовый огонек, исчез, вспыхнул ярче и разлился широким синим кругом — безмолвный ответ, принесенный светом со дна океана.

— Живы! Передайте на «РикOVERи», пусть подходят зацеплять батисферу! — радостно закричал Ганешин. В это время синий свет замигал подобно сигнальному фонарю. — Они говорят... — обернулся Ганешин к жене Милльса, но услышал вздох и мягкое падение тела.

— Отнесите в рубку, врача к ней! — обратился Щитов к подбежавшим людям. — Не выдержала, бедняжка. Почти трое суток... Ну, что там? — обратился он к Ганешину.

— Передают, что оба живы, экономят кислород как могут, но больше двух часов не протянут. Батисфера в порядке, не отделился груз... — читал мелькавшие на экране вспышки Ганешин. — «Не можем понять, как...» Не поймете, подождите, — вслух отозвался моряк и услышал гудок американского судна.

Спуск тросов с захватами уже начался. Синий круг на экране погас, и сейчас же замигал прожектор телевизора. Ганешин передал запертым в батисфере людям о принимаемых мерах к спасению.

Еще час прошел в непрерывном наблюдении в окно телевизора. Свистки, крики в мегафон, шум машины американского судна, шипенье пара и грохот лебедек разносились над морем. А людям в батисфере оставался еще час жизни — шестьдесят минут, — когда уже почти шестьдесят часов усилий сотни людей не дали результата.

Незаметно и внезапно подошла победа. Огромные крапцы, опускавшиеся с «РикOVERи» по указаниям Ганешина, ухватили за боковую скобу, громко рывкнул гудок «Аметиста», и в тот же миг машинист на лебедке «РикOVERи» переставил муфту на обратный ход. Медленно вышла слабина громадного, в руку толщиной, троса,

барабан закрипел от напряжения: гибкий стальной канат, сплетенный из двухсот двадцати двух проволок, вместе с батисферой весил шестьдесят тонн — в три раза больше допустимой рабочей нагрузки.

Трос выдержал. В голубом сиянии экрана телевизора батисфера качнулась, выпрямилась, дернулась вверх и медленно начала подниматься. Ганешин, вращая объективы, некоторое время следил за ней, пока она не скрылась, выключил ток, зажег свет в лаборатории и, постояв немного, чтобы привыкли глаза, вышел на палубу. Телевизор был более не нужен. Все внимание сосредоточилось теперь на лебедке «Риковери», медленно извлекавшей из глубины непомерную тяжесть. Капитан Пенланд неотрывно смотрел на аккуратно ложившиеся на барабан витки, вычисляя в уме скорость подъема — сорок минут оставалось до рокового срока. «Не успеем, задохнутся...»

Взяв на свои плечи смертельный риск, Пенланд приказал ускорить подъем. В напряженном молчании лебедка застучала чаще, барабан стал вращаться быстрее. Прошло еще несколько минут. Острый свист пара рассек вдруг однообразный шум лебедки. Лебедка сделала несколько быстрых оборотов; мгновенно побледневший машинист перебросил рычаг на «стоп». «Трос!..» — испуганно выкрикнул кто-то. Ужас приковал людей на обоих судах к месту и заставил одним движением вытянуть шею, вглядываясь за борт. Пенланд мгновенно вспотел, во рту пересохло, мысли разбежались. Он не мог командовать, да и не знал, что скомандовать. Но тут из медленного колыхания волн быстро выскочил огромный голубой яйцообразный предмет, исчез в столбе брызг и через секунду плавно закачался в белом кольце пены.

Это внезапно отделился груз батисферы, она рванулась кверху, и храпцы автоматически раскрылись, освободив аппарат от тяжести троса. Люди разразились победными кликами, сейчас же покрытыми могучим ревом четырех гудков. Суда бросали в простор океана весть о новой победе человеческого разума и воли.

Ганешин стоял, расставив ноги, и пристально смотрел на спасенную им батисферу. Щитов положил свою тяжелую руку на его плечо:

— Леонид Степанович, адмирал запрашивает о результатах.

— Сейчас иду. Ты распорядись поднимать телевизор... А как наша гостья?

— Я отправил ее назад, там она нужнее,— улыбулся Щитов.— Она так и смотрела во все стороны, видимо, искала тебя — благодарить.

Ганешин слабо махнул рукой и направился в радиорубку. Батисферу уже буксировали к «Риковери». Выходя из радиорубки, Ганешин снова увидел Щитова.

— Я тебе вот что хочу сказать,— строго и серьезно произнес Щитов,— насчет твоего телевизора. Я его напрасно ругал...— Дальнейшие слова его были заглушены ревом моторов нашего самолета, взмывшего в высоту.

Ганешин крепко пожал протянутую ему руку приятеля.

— Что дальше будем делать? — спросил Щитов.

— Как— что?— удивился Ганешин.— Закончим подъем телевизора и пойдем своей дорогой.

— А разве ты к ним не поедешь? — воскликнул капитан.— Я и шлюпку приказал не поднимать.

— Нет, не поеду.

— Вот диво! Разве не интересно посмотреть на спасенных, расспросить? Они ведь тоже изучают дно...

— Конечно, интересно, но, понимаешь...— Ганешин шутливо сморщился: — Ведь будут благодарить... Жена инженера смотрела такими глазами... А мы сейчас дадим ход и удерем.

На судне американской экспедиции были заняты подъемом и отрыванием батисферы и не заметили, как советский корабль быстро поднял шлюпку и телевизор. «Аметист» запросил о здоровье спасенных, получил ответ, что «слабы, но вне опасности», развернулся и начал набирать ход. Американцы с недоумением смотрели на действия «Аметиста» и только тогда, когда на фалах нашего судна взвился сигнал традиционного прощания, поняли, в чем дело. Сигнальщик с «Риковери» отчаянно замахал флажками, но «Аметист» увеличил ход, и только мощный гудок и махавшие бескозырками матросы посылали дружеский прощальный привет. Спасенные исследователи, офицеры и матросы, как один человек, смотрели вслед белому кораблю, становившемуся все меньше и меньше в солнечной дали. Внезапно гулкий грохот орудий раскатился над зелеными волнами: крейсер дал салют удаляющемуся «Аметисту». Опять и опять гремели орудия. В ответ на «Аметисте» взвнились звезды и полосы Америки.

Советское судно как ни в чем не бывало шумело винтами, рассекая тихоокеанские волны. Ганешин наблюдал за уборкой телевизора, мечтая о мягкой койке: спасение американской батисферы далось ему не даром. С мостика послышался голос Щитова:

— Леонид Степанович, иди-ка, вызывают американцы.— В словах капитана звучала дружеская насмешка.— Техника тебя все равно достанет, даже из глубины океана.

Американцы вызывали «Аметист» по имени, без позывных, и название драгоценного камня настойчиво звучало в эфире. Радиоаппарат выстукивал любезные слова благодарности, просьбу сообщить фамилию командира, руководившего спасением, восхищение беспримерной работой русских моряков, чудесным изобретением. В сухое потряскиванье радио с «РикOVERи» вдруг вмешалось резкое щелканье позывных «Аметиста», характерное для мощной радиостанции нового линкора. Радист простучал ответ, и Ганешин выслушал четкие сигналы, слышавшие привет американской экспедиции и поздравления личному составу «Аметиста». Особенное удовольствие адмирал выражал Ганешину. Ответив командующему, Ганешин приказал радисту:

— Передайте на «РикOVERи» начальнику американской океанографической экспедиции Милльсу: «Командующий советским Тихоокеанским флотом только что передал вам поздравление со спасением и пожелания дальнейших успехов в вашей отважной работе».

Через пять минут Ганешин крепко спал у себя в каюте.

* * *

Осенний владивостокский дождь лил нескончаемыми потоками, хлестал в высокое окно кабинета Ганешина. Моряк перечитывал, собираясь отвечать, письмо от обоих спасенных им полтора месяца назад американских ученых. Догадливые люди направили письмо на имя командующего с просьбой передать Ганешину, разыскать которого не составило для адмирала затруднения.

«Только тот, кто провел в безнадежности и отчаянии шестьдесят часов на недоступном дне океана, может понять, что сделали вы,— писали ученые.— Несколько часов изо всех сил мы пытались отделить с помощью вин-

тового пресса присосавшийся груз, задыхаясь и обливаясь потом в ледящем холоде батисферы. Нельзя передать, что пережили мы, уже впадая в тупое безразличие перед лицом неотвратимой судьбы, когда увидели свет в иллюминаторах и поняли ваши сигналы. С этой незабываемой минуты мы живем с твердой верой в безграничную силу человека, в его светлое будущее, в то, что нет одиночества даже в самых смелых, еще не понятых миром исканиях...»

Перечитав письмо, Ганешин начал писать ответ. «На вопрос, как я достиг таких результатов в завоевании океанских глубин, мне трудно ответить. Пожалуй, главное здесь было в точной направленности поставленных задач и, конечно, в огромных материальных возможностях. Первое дал мне наш старый ученый, который несколько лет назад призывал нас, моряков, помочь науке найти «глаза» и «руки», которые могли бы достать океанское дно. Он же показал нам, на что способен человек в борьбе с морем, рассказав о замечательном атолле Факаофо. Второе дала мне родная страна.

Я только развил идею, отказавшись пока от необходимости опускать человека в пучины океана и заменив его прибором, не нуждающимся в воздухе и не боящимся страшного давления. Так возник мой телевизор — «глаз» человека, опущенный на дно, таковы будут мои бурильные приборы для взятия коренных пород со дна океана — эти протянутые на дно «руки». Вспомните глубоководных животных. Некоторые из них обладают глазами на длинных стебельках; вот что натолкнуло меня на мысль использовать телевизор...»

Ганешин писал еще некоторое время, задумался, потом быстро закончил: «Поэтому я считаю, что ваша благодарность должна быть направлена не мне лично, а моей стране, моему народу. Поддержка, помощь правительства, огромного коллектива флота, разных людей, от ученого до слесаря, — всего, одним словом, что является для меня моей Родиной, — привели к тем достижениям, которые показали вам почти сверхъестественным могуществом. И это только начало, мы будем продолжать...»

Ганешин кончил письмо, встал и подошел к окну. По стеклам струилась вода, сквозь которую, будто очень далекий, виднелся поросший дубами скалистый мыс.

АДСКОЕ ПЛАМЯ

Тяжелые грузовики раскачивались и глухо урчали в знойной пыли. Массивные баллоны с хрустом давили поросли колючек. Горячий ветер задувал под тенты, сохли и трескались губы людей, скучившихся на дне кузова, под надзором конвойных с автоматами.

Машины бросало из стороны в сторону на кочковатых песках, головы усталых людей вяло мотались. Лязгали и гремели замки бортов, назойливо колотились на ветру распахнутые брезентовые стенки, шестерни передач тянули безнадежно унылую песню.

На сотни миль вокруг простиралась Большая Песчаная Пустыня северо-западной Австралии. Машины пробирались к какой-то неведомой цели, скрывшейся за серой пылевой завесой тусклого горизонта. Озлобленные тяжелой дорогой и жарой, водители упрямо гнали, форсируя моторы, не обращая внимания на рытвины и бугры бездорожья и не церемонясь с живым грузом, плотно забитым в раскаленные железные кузова.

Ауробиндо сидел среди товарищей по несчастью в предпоследней машине, прижатый к горизонтальному ребру борта. Это ребро, точно осатанелый враг, непрерывно толкало его в наболевшее плечо. Но мысли индуса были далеко. В тысячный раз перебирал он в памяти все, что привело его к этой участи. В тысячный раз спрашивал он себя, не допустил ли ошибки, согласившись променять тюрьму на родине, в Южной Африке, на работу здесь, в три раза сокращавшую срок его заключения.

Около двух месяцев прошло со времени суда, который, несмотря на благоприятные показания многих свидетелей, знавших Ауробиндо с пеленок, несмотря на умелую защиту опытных адвокатов, приговорил его к трем годам тюремного заключения. Ведь он был индус, и его защитники тоже были индусы...

В тюрьме, в тишине одиночной камеры, он мог без конца предаваться своим мыслям. Индус не думал о

мести при воспоминании о подлом предательстве, бросившем его в тюрьму, опозорившем его имя, повергшем в отчаяние его родных. Ауробиндо понял, что жизнь столкнула его с огромной и безжалостной системой, составлявшей основу благополучия другого, обладавшего властью и силой, государства. Те подлецы были только частичками, неотвратно включенными в ход всей машины... Он думал бороться с произволом властей оружием интеллигентного человека — противопоставить их уму и знаниям, их воле и философии свой ум и свою философию. А они в мгновение ока применили к нему грубую силу, обошлись с ним как с низким преступником. С глубокой печалью Ауробиндо прощался со своими юношескими мечтаниями. Он думал идти по жизни бесстрастным, чистым и далеким от всей ее мелочности, тоски и убожества, постепенно совершенствуя себя в духе великих установлений Веданты. Отстраняясь от всего недостойного, не преследуя никаких личных целей, кроме самовоспитания, он думал быть неуязвимым для ударов судьбы. Но вся его жизнь сломилась от первого серьезного столкновения с судьбой, подобно вот этой веточке кустарника, только что вдавленной в песок тяжелым колесом автомобиля.

«Легко быть хорошим среди хороших, много труднее быть хорошим среди плохих» — так говорил новый его друг, зулус Инценга. Ауробиндо встретился с зулусом, тоже студентом, только другого, Блюмфонтейнского университета, в тюрьме, в которую тот попал по столь же подлому обвинению, как и он сам. Инценга сообщил ему, что среди заключенных производится набор на тяжелые работы в Австралийской пустыне, где белые не могут работать из-за жары, а цветные рабочие бегут вследствие трудных условий. За год работы там осужденным не за слишком тяжкие преступления засчитываются три года заключения. Зулус советовал Ауробиндо рискнуть и отработать год, зато быстро покинуть тюрьму и вернуться к жизни. Индус согласился и оказался вместе с двумя сотнями подобных ему заключенных — негров, индусов, малийцев — в Австралии. Но сейчас, несмотря на то что неунывающий Инценга находился за несколько десятков метров от него, в другом грузовике, Ауробиндо терзался сомнениями. Тупое существование изнуренного рабочего скота среди таких же отупевших товарищей было очень тягостно нервному индусу. Ауробиндо начинал мечтать о покое тюремной камеры, где он мог хотя бы спокойно

размышлять, погружаясь в философскую флегму. Но как только он начинал думать о сроке, то сразу ощущал прилив сил, угасавшая в душе надежда возрождалась снова...

Грузовик повернулся, солнце позолотило запыленные складки брезента, остро напомнив индусу складки занавесей в его родном доме. На мгновение Ауробиндо унесся мыслями в тот далекий и недоступный ему мир.

Ауробиндо шел, гордо неся голову в белоснежном тюрбане. Прямые улицы Йоганнесбурга были полны тяжелого зноя. Запах разогретого асфальта смешивался с перегаром бензина. Прохожие, редкие в этот час январского солнцепека, укрывались под рядами белых навесов, затенявших витрины магазинов.

В подъезде большого дома прятался пожилой газетчик, хрипло и вяло выкрикивавший последние новости. Ауробиндо, поравнявшись с ним, был выведен из задумчивости.

«Мэлан отстаивает свои позиции в комитете ЮНО с прямотой и твердостью истинного британца... Мы не позволим вмешиваться в наши внутренние дела... Долой коммунистическую пропаганду и слезливое сочувствие индусам!..» — хрипел газетчик, обмахиваясь пачкой свежих листов.

Молодой индус поспешил взять газету, стараясь не замечать лукавой гримасы старого пропойцы.

Худшие опасения оправдались. Ни полные истинно человеческой гуманности выступления лидеров Советского Союза, ни заявления делегатов Индии не имели результатов. Реакционеры в правительстве Южно-Африканского Союза продолжали неистовствовать, а Совет Безопасности не хотел вмешиваться... Смутное ощущение надвигающегося несчастья легло на душу Ауробиндо. Мысли индуса перенеслись к своим соплеменникам. Как по-разному воспринимают они полосу притеснений здесь, в этой стране, ставшей для многих второй родиной!.. Ауробиндо и не знал никакой другой родины. Да разве в Ориссе, где родился его отец, индусы в лучшем положении? Он вспомнил молодого Ананд-Наду с обогатительной фабрики де Бирса, посещавшего вечерние курсы, где преподавали студенты-добровольцы. Ауробиндо нередко беседовал с ним, отдавая должную дань силе его ума. Теперь Ананд-Наду в тюрьме, и с ним несколько сот ин-

дусов — тех, которые думали серьезно бороться с притеснениями... Вот и весь их короткий путь. Разве не более прав он, последователь Веданты, носящий имя величайшего философа Индии Ауробиндо Гоза? Внутренний путь усовершенствования — вот та единственная дорога, которая приведет его к торжеству над угнетателями, над их грубой силой и животными инстинктами. И все же он не мог не думать о тех, в тюрьме, без чувства невольного уважения. Много других покорно склонилось перед неизбежной судьбой. Одни — с отчаянием, другие, богатые, — с надеждой на продажность чиновников и судей. Но его путь — ни тот, ни другой.

Молодой индус незаметно дошел до своего дома. Длинный проход подворотни встретил его приятным полумраком. Домашние отсутствовали, и Ауробиндо быстро прошел в свою комнату, выходящую в глубину двора. За приоткрытой дверью слышались легкие шаги. Голос сестры окликнул его. Девушка быстро вошла, чем-то встревоженная, с гневными словами:

— Ты знаешь, Ауробиндо? Это становится нестерпимым!.. Отца вызвали в полицию и угрожали, что вышлют отсюда. Им не нравится, что ты студент, скоро уже будешь врачом. Ищут, к чему бы придраться... Будь осторожен! — Девушка подняла опущенную руку брата и прижала к своей щеке.

Ауробиндо повернулся к сестре и ласково посмотрел на нее. Черные глаза из-под длинных ресниц ответили ему преданным взглядом. Бронзовое лицо сестры, как всегда, обрадовало Ауробиндо своей нежной красотой, часто свойственной дочерям индусского народа. Ауробиндо нежно коснулся неслышными черными волос, прикрытых голубой шелковой кисеей, и стал уверять сестру, что ему ничего не угрожает. Если бы он знал, что через два дня будет увезен в полицейском автомобиле как тяжкий преступник!..

На северной окраине пустыни Джибсона протянулась унылая гряда холмов красного песчаника. Вокруг, насколько хватал глаз, простиралось скопище бесчисленных бугров песка, поросших пучками редкой и высокой, неизмеримо колючей травы — спянифкса. Резкий ветер почти не колебал ее жестко торчащих вверх серых побегов, но зато наполнял воздух тучами пыли, сквозь которую

даже свет ослепительного солнца казался красноватым. Этот красноватый свет, красные пятна голого песка между редкими пучками спинафека, красные скалы на склонах холмов подчеркивали безжизненность пустыни, казалось затерявшейся на краю света. Высокие заросли малли-скреба — эвкалиптового кустарника — тянулись полосами среди песчанниковых гряд, но лишь усиливали безотрадное впечатление мертвым сизо-зеленым цветом своей жесткой, повернутой ребром к небу листвы.

На востоке горизонт был яснее, и там очень далеко едва выступала среди песчаного моря в призрачной голубой дымке острая вершина горы Разрушения. Но на западе в багровой дымке пыльного воздуха виднелись неожиданно четкие контуры каких-то построек, стальных вышек. Ночью зрелище было еще более поразительно. В непроглядной тьме горели, как большие звезды, яркие огни сторожевых вышек, разливалось общее сияние освещенных зданий, мастерских, строительных площадок...

Зулус Инценга, тщательно подбирая все крошки драгоценного табака, набивал самодельную трубку. Оба товарища лежали рядом на самом краю деревянного помоста, под низкой крышей без стен — месте ночного отдыха сотни рабочих. Сильные электрические лампочки на высоких столбах бросали резкий свет в глубину мрака пустынной ночи. Где-то направо, у колючей ограды, слышались ленивые шаги часового. Почему-то на всей территории строительства было много охраны, хотя бежать из лагеря в окружающую пустыню было то же самое, что попросту повеситься.

Слабое дуновение ветра чуть обвевало обнаженные тела — индус и зулус были в одних набедренных повязках. Черная кожа и бронзовая одинаково отблескивали в свете сторожевых фонарей, падавшем на край помоста. Ауробиндо растирал свои руки — они превратились в мозолистые, грубые лапы с исковерканными ногтями. Когда-то, бесконечно давно, он мечтал о тончайших операциях нервной хирургии. Представив себе такую операцию, производимую своими лапами, он горько улыбнулся. Инценга раскурил трубку и, как бы угадав мысли индуса, сказал:

— Забавно подумать, что тут вот, в этой безлюдной пустыне, лежат два студента, девять месяцев работавшие землекопами и каменщиками. Должно быть, мир очень богат медиками и гидрогеологами...— Зулус невесело

рассмеялся.— И как зависит человек от своей жизненной обстановки!.. Вот мы с тобой в Австралии — такой интересной стране, когда-то называвшейся раем для белого человека. А что мы видели здесь, кроме пустынь? Даже высадить нас сумели в самом унылом порту... Где-то растут исполинские леса пятисотфутовых эвкалиптов, расстилаются цветущие просторы голубых трав, плавают черные лебеди... А как интересна Австралия для людей нашей науки — гидрогеологии! Огромные бассейны подземных напорных вод, очень древних по своему происхождению, — таковы и наши артезианы здесь, в этом гиблом месте. Большинство этих вод горячие — Австралийский материк таинственным образом более горяч в своих глубинах, чем все другие материки мира... Да, обо всем этом нужно сейчас забыть, — оборвал зулус, — иначе не вытерпишь и того, что осталось!

Они замолчали, припоминая все испытанное ими за двести семьдесят дней отупляющего рабского труда. Они строили дорогу через пустыню, вырубали ужасные колючие кустарники акаций — мультга-скреб, — протянувшиеся бесконечными милями под безжалостным солнцем. Дробили щебень, ломали камни, вертелись, дрожа и задыхаясь от усталости, у ненасытной пасти машины, изготовлявшей бетон, и копали, копали и копали песок и затвердевшую красную глину, трещиноватую скальную почву... Тянули провода, ставили столбы, возводили стены и крыши...

Ауробиндо невольно повернул голову налево, туда, где слышался ровный, монотонный гул электростанций и разливалось в темноте сияние электрических ламп.

Там возвышались огромные массивы бетона, покрытые толстыми стальными плитами, — странные и чудовищные постройки неизвестного назначения. Поодаль вытянулись разборные белые дома — жилища только что приехавших сюда серьезных людей в безукоризненно белых костюмах, которым, казалось бы, вовсе не место в этой глухой безлюдной пустыне. Окруженные рвом, стояли низкие здания без окон, как бы наглухо замкнувшиеся от окружающего мира. Они намекали на недобрую и таинственную работу, которая должна была происходить внутри, работу, прятавшуюся от света дня и человеческих глаз.

Ииценга и Ауробиндо давно уже пытались разгадать назначение этих таинственных построек, так поспешно возведенных в удаленном от всего мира и неудобном для

жизни месте. Они понимали, что только соображения величайшей тайны и в то же время опасности могли заставить государство, взвешивающее каждый грош при экономике, хромающей на обе ноги после войны, проводить такую работу в сердце пустыни.

Зулус высказал предположение, что деньги, возможно, были даны другой страной, не обедневшей, а разбогатевшей от страшной войны. Это предположение, по видимому, оправдывалось: Ауробиндо слышал обрывки разговоров недавно приехавших незнакомцев — их речь с характерным американским произношением.

Если бы оба осужденных студента принимали участие во внутренней отделке загадочных зданий, площадок и туннелей, то они смогли бы лучше понять их назначение. Однако, как только здания были вчерне закончены, цветные рабочие потеряли всякое право доступа в расположение городка. Теперь дела здесь большие не было. Позавчера большинство рабочих отправились на запад, к уединенной морской бухте у края бесплодных песков. Там, как узнали от партии прибывших оттуда арестантов, выстроились высокие мачты радиовышек.

Осужденным студентам оставалось около трех месяцев каторжного труда. Самое страшное было уже позади, и они с честью вышли из испытания. Когда-нибудь, много позднее, они смогут рассказать, чего стоило им быть безупречными рабами, терпеливыми и молча сносящими любой произвол начальствующих над ними людей, чтобы неосторожной вспышкой не свести на нет все усилия, сделанные для скорейшего освобождения.

Ауробиндо и Инценга остались людьми, но этого нельзя было сказать про всех заключенных. Лишь небольшое количество удержалось на моральной и духовной высоте. Это были по большей части скоро освобождавшиеся. Другие, срок терпения которых был гораздо большим, надламывались психически или теряли голову от отчаяния, пытаясь бессильно бунтовать. Проступки их неизбежно удлинляли сроки их заключения, и не было никакого выхода из мрачной бездны.

Ведущий инженер строительства приказал отобрать сорбк лучших рабочих в какую-то отдаленную поездку на море. Ауробиндо и Инценга попали в их число, избежали переброски на железнодорожное строительство и получили три дня неожиданного отдыха. Завтра они должны были покинуть опустевший лагерь и направить-

ся на грузовиках на «Восьмидесятимильное побережье», где предстояла посадка на судно.

Инцинга давно докурил свою трубку. Больше табака не было, и зулус меланхолически сосал пустой чубук. Два дня товарищи почти непрерывно спали, и теперь освободившийся от тумана усталости мозг требовал деятельности. Зулус потянулся и сел, поджав под себя ноги.

— Я подслушал кое-что из разговора двух приехавших инженеров. Третьего дня меня послали вымыть их машину.. — задумчиво начал Инцинга.

— Неужели они разговаривали при тебе? — усомнился Ауробиндо.

— Да, это было так. Инженеры, американцы, не могли представить себе, что грязный и невежественный негр сможет понять что-либо из их разговора. Они не виноваты, ха-ха-ха! — рассмеялся зулус. — Откуда могли они знать, что этот негр едва не получил университетского диплома и только заботами их просвещенных сородичей вернулся к прежнему дикому состоянию! Англичане, безусловно, правы...

— В чем? — нетерпеливо спросил Ауробиндо.

— С дикарями им спокойнее. Легче чувствовать себя белыми богами, непогрешимыми и непонятными...

— Довольно шутить! Что же именно ты услышал от этих богов?

— Один сказал: «Вот мы и кончили здесь раньше срока». А другой ответил: «Осталось только мишень на Русалочьих рифах...»

— Мишень? — воскликнул Ауробиндо.

— Тише!! Да, именно мишень, я не ослышался. Но что это за Русалочьи рифы?

— Не знаю. Какие-нибудь мелкие островки в океане...

Зулус снова схватился за пустую трубку, ожесточенно грызя мундштук. Энергичное лицо его напряглось, твердые челюсти сжались.

— Тебе действительно удалось услышать нечто весьма важное, — сказал Ауробиндо после раздумья.

Инцинга не отвечал, возбужденно раздувая ноздри. Он старался восстановить общую картину всего строительства по тем кусочкам его, в которых сам принимал участие, по отрывочным сообщениям других заключенных, попадавших в его отряд из соседних отделений. Огромные выемки в почве, обделанные в сталь и бетон, продолжавшиеся двумя толстыми стенами, были направ-

лены на северо-запад. Дорога к побережью, пересекавшая пустыню, направлялась на северо-запад... Далеко в пустыню шли двумя параллельными рядами стальные мачты с какими-то антеннами наверху. Они шли на северо-запад и, вероятно, доходили до побережья. Да, все направлялось к северо-западу, по направлению к Русалочьим островам, по направлению к мишени. Зулус подскочил. Ему показалось, что он разгадал тайну этих странных работ. Поспешно, словно опасаясь, что пойманная догадка ускользнет, Инценга зашептал в ухо индусу свои соображения. Ауробиндо крепко сжал руку товарища:

— Ты прав, мой дорогой. Здесь должны стрелять чем-то в острова. Чем же иным, как не ракетами? Но если отсюда до побережья почти тысяча миль, сколько-то еще до островов, получается необычайный по длине полигон — больше тысячи миль. О таких ракетах я еще не слышал, и это, наверно, атомные ракеты. Ужасную вещь узнали мы! Вот зачем тут, в скрытом от всего мира месте, идет такое дорогое строительство...

— Тсс!.. Кто-то идет,— прошептал зулус, заслышав приближающиеся шаги.

Оба бывших студента поспешно растянулись на помосте. Темная фигура медленно прошла в двадцати шагах от края помоста. Это был один из часовых, которые днем и ночью стерегли окрестности строительства. Ауробиндо и Инценга долго молчали. Индус заговорил первым.

— Помнишь годы войны? — зашептал Ауробиндо. — У всех нас было ожидание больших и хороших перемен...

Инценга усмехнулся и согласно кивнул.

— Сначала Атлантическая хартия,— продолжал индус,— прекрасные устремления Рузвельта... Затем показавшаяся чудом великая боевая мощь Советского Союза, растоптавшая чудовищную силу расистской коалиции. Все шло к тому, что Советский Союз с Америкой поведут мир к свободе, пресекут произвол и угнетение в колониях, больше того — уничтожат самые колонии... И что же? Вот мы тут свидетелями жестокой насмешки судьбы... Америка стала оплотом подавления колоний и маленьких стран, до конца порвав с мудрой политикой Рузвельта. Советский Союз, оставшийся нашей единственной надеждой, слишком далеко от нас, жителей южных стран. А здесь затеяно серьезное дело. Создают новое оружие

против демократий и свободы народов, как в прежней Германии. И мы принимаем в этом участие! — Ауробиндо тоскливо вздохнул.

Инценга слушал печальную речь индуса, и странным образом в нем росла озорная бодрость, словно раскрытие этой вредоносной для человечества затеи придавало особую значимость его дальнейшему существованию. Теперь и близящееся освобождение имело совсем другой, больший смысл.

— О, мы еще многое можем узнать там, на островах! — шепнул он индусу, оставляя без ответа его думы, слишком созвучные его собственным.

Ауробиндо понял все, что стояло за этой короткой фразой. Глаза истинной мудрости человечества должны проникнуть в тайные дела, творимые в этих стенах. Но привычная настороженность индуса и тут не изменила ему.

— Нам нужно быть очень осторожными, — едва слышно сказал он зулусу. — Ведь если нас заподозрят хотя бы в небольшом интересе к тому, что мы делаем, все погибло.

— Конечно, конечно, — подхватил Инценга, — и так кто-то сделал большую ошибку, направив сюда нас, образованных людей. Должно быть, уж слишком велико презрение к нам. Мы для их чиновников всегда только глупые, невежественные цветные.

— И кто-то повторяет эту ошибку, направляя нас туда, на мишень. Впрочем, мы, должно быть, заслужили это старанием и тупостью, которые так усердно соблюдали. Но повторную ошибку легче заметить, — заключил индус.

— Ничего, осталось уже мало времени, — беспечно ответил Инценга.

* * *

За красными песчаными дюнами засветилась синева моря. Ауробиндо восторженно встрепенулся. После долгого пребывания в пустыне особенно отраден был запах морского простора, влажный и свежий, обещавший что-то новое и хорошее. И в самом деле, возвращение к морю было для Ауробиндо обещанием скорого освобождения. Так не похоже было оно на его отъезд из Кейптауна в ветреную погоду, в сыром и душном носовом трюме! Тогда мо-

ре ничего не сулило, кроме тяжелых испытаний в далекой стране, кроме позорного и униженного существования.

Все те же красные песчаные дюны шли до самой воды, уходили под нее, и прибрежная вода моря становилась мутной, приобретала суровый серый цвет. Лишь вдали от берега расстилались в своем великолепии сверкающие темно-голубые воды Индийского океана. Ветер шумел среди редких казаурин, древних деревьев с безлистными нитевидными побегами, похожих издали на низкие сосны.

Грузовики остановились. Люди выбрались, отряхивая густую пыль и разминая кости. Сержант, командовавший рабочим отрядом, заговорил о чем-то с офицером, подъехавшим на белой военной машине. Затем партия заключенных рабочих быстро зашагала вниз по дороге к пристани. Едва только привезенные арестанты разместились на грузе, почти целиком заполнявшем все помещения небольшого парохода, как судно сразу же отвалило. По-видимому, с работами на островах очень торопились...

Океан встретил невольных путешественников тяжелой зыбью. Много рабочих, в том числе и Ауробиндо, заболели от качки. Индус валялся, безмолвный и неподвижный, на брезенте, брошенном поверх мешков с цементом, и почти не разговаривал с Инценгой за весь полуторасуточный переезд. Зулус был бодр и здоров. Целыми часами он сидел, поджав под себя ноги, подле Ауробиндо, тихонько напевал дико звучащие зулусские военные песни. По временам Инценга погружался в глубокую задумчивость или вычерчивал ногтем на брезенте непонятные знаки.

К концу второго дня по суете на палубе арестанты угадали, что подходят к цели. Машина остановилась, и якорная цепь загремела уже в сумерках, когда тусклые лампочки трюма стали бросать заметный свет вокруг потемневшего отверстия открытого люка. Рабочий отряд вывели на палубу только утром. Шумели вокруг корабля и бежали к берегу посеревшие волны. Рассвет над рифом вставал во всем своем тропическом могуществе. Первые лучи пробили влажную мутноватую мглу, и внезапно появившееся солнце залило все ярким розовым светом. Легкий туман засеребрился над рифом, и тот засверкал перламутровыми переливами, точно вытянувшаяся вдаль створка чудовищной раковины. Русалочий риф... Да, в

Этот рассветный час казалось вполне возможным, что в чистой тишине острова, в дымке жемчужного тумана возникнут сказочные зеленоглазые девушки моря... Слева далеко в открытое море уходил широкий мыс — низкая скалистая площадка, выровненная приливами. Белая полоска прибойя виднелась в отдалении двух миль с западной стороны мыса. В глубине небольшой бухты, прямо перед носом судна, вздымалась небольшая гора. Ее обнаженные скалистые склоны спадали в мангровые заросли, темневшие у подошвы. Направо розовела широкая лента прибрежных песков. Арестанты принялись за разгрузку судна. По пояс в воде, шатаясь под ударами волн на ускользавшем из-под ног песке, люди до темноты таскали тяжелые ящики и мешки, железные полосы и большие катушки проводов из баркасов на прибрежный уступ. На следующее утро, еще в предрассветном сумраке, работа возобновилась снова. Так продолжалось три дня, пока наконец последние ящики и бочки с бензином не легли на берегу, перед горой нагроможденных правильными штабелями грузов. За все это время ни одно человеческое существо не приблизилось к месту выгрузки — остров был совершенно безлюден. Первобытная тишина нарушалась только грохотом лебедек да непрерывными воплями ворочавших тяжести людей, которым вторили резкие крики морских птиц и плещущие волны моря.

После невероятно тяжелой работы в раскаленной пустыне арестанты вздохнули здесь свободнее. Свободой казалось и то, что здесь не было неотступно сопровождавших каждую рабочую группу часовых с автоматами, гранатами и пистолетами. Инценга и Ауробиндо скоро поняли причину такого «доверия» к арестантам.

Обоим друзьям было поручено установить прочный железный столб на самом краю рифа, там, где выровненная волнами плоскость кораллового известняка покрывалась почти на метр водой во время прилива. Партия рабочих притащила бочонок цемента, столб, железные костыли и молот и, оставив зулуса с Ауробиндо, направилась к другому уступу рифа. Друзья упорно долбили камень, меняясь у молота. Столб надо было поставить и зацементировать до прилива, и арестанты спешили изо всех сил.

Скважина подходила к концу. Решив освежиться купаньем, Инценга и Ауробиндо пошли к краю рифа, всего

в двухстах футах от столба. Край рифа круто обрывался здесь в прозрачную воду до глубины около двадцати футов. Даже сквозь колыхание волн ясно виднелось серебрищающееся песчаное дно. Еще не достигнув обрыва, друзья остановились в испуге. На них смотрело много глаз, без всякого выражения, но с пугающей настойчивостью. Косые хвосты, острые спинные плавники, морды конусом, угловатые щелястые рты, наполненные ужасными зубами,— это были акулы.

Ауробиндо знал из географин о поразительном обилии акул в водах Австралии, но реальная картина этого обилия наполнила его ужасом. Гигантские десятиметровые свинцово-серые тела хищных рыб сновали взад и вперед.

— Что это за мерзость, во имя всех чертей! — воскликнул оторопевший зулус.

— Так называемые белые акулы, или акулы-людоеды,— самая страшная их порода,— меланхолически отозвался индус.— Вот она, наша стража. Попробуй бежать отсюда на плоту или в шлюпке — перевернут и разорвут в клочья. Плыть нечего думать... Понятно, отчего наши начальники купались только на мелком песочке, у самого берега!..

Две страшные твари высоко подняли из воды огромные морды и пристально следили за людьми, балансируя хвостами. Зулус внезапно преисполнился ярости. Он отломил, пнув ногой, крупный кусок коралла и с силой бросил его в голову акулы. Камень ударил тварь около глаза, но акула не обратила на него никакого внимания, зато другая, плывшая под водой, в мгновение ока перевернулась и подхватила падающий на дно бесполезный снаряд Инценги.

Зулус злобно плюнул и поплелся назад.

Товарищи работали до самого прилива и, только когда первые всплески его зашумели на рифе, наконец установили столб по отвесу. Оставалось лишь зацементировать. Ауробиндо поспешно откачивал воду из ямки, в то время как зулус размешивал портландский цемент. Внезапный крик вырвался из груди Инценги. Индус поднял голову и увидел незабываемое. Прилив медленно поднимался, и на прибрежной плоскости рифа было уже около четверти метра воды; лишь небольшая выпуклость, где работали друзья, оставалась незатопленным островком. Десятиметровая акула подплыла к обрыву рифа, с ходу

выскочила на его край, тяжело перевалилась боком и затем поползла, извиваясь всем телом, иногда перекатываясь с боку на бок, по направлению к столбу. Волосы стали дыбом на голове индуса, он схватил товарища за руку и ринулся к берегу. Но было уже поздно. Между берегом и краем рифа поверхность известняка была слегка углублена, всего на каких-нибудь полметра. Для акулы этого оказалось достаточно. Она скатилась в прибрежное углубление и стала двигаться быстрее. Секунда — и она оказалась между берегом и двумя товарищами. Друзья остановились...

Инценга бросился назад, к столбу, схватил молот.

— Бери бур! — крикнул он индусу. — Скорее, скорее, вода все прибывает, нельзя, чтобы тварь плавала свободно!

Ауробиндо оглянулся на море. Там, за набегающими пенящимися волнами, торчали вверх еще шесть конических рыл. Отчаяние придало индусу силы. Плечом к плечу с товарищем он поспешил вперед и вошел по пояс в замутневшую воду. Акула, подползая по дну, подобралась близко. Под тяжестью ее тела, одетого прочной шершавой кожей, скрипели и хрустели отростки кораллов. В раскрытую треугольную пасть заплескивали волны. Жаберные щели пульсировали позади головы, хвост бил по воде, и акула извивалась в усилиях схватить обреченную добычу. Инценга выжидал, рассчитывая расстояние...

— Ауробиндо, пасть! — крикнул зулус.

И индус, инстинктивно поняв, что надо делать, воткнул двухметровый стальной бур прямо в глотку страшной рыбы. Акула метнулась, бур вырвался из рук индуса, но в этот момент зулус, подскокивший сбоку, изо всех сил ударил тварь по голове. Двадцатикилограммовый молот на длинной ручке глубоко вмял твердую шкуру в хрящевой череп. Оглушенная рыба забилась, перекатываясь со спины на брюхо, но очень быстро пришла в себя и снова устремилась на людей. Однако товарищи уже миновали опасную зону и быстро выбрались на сушу, где проклинали мерзкую рыбу, пока не подбежали другие рабочие с солдатами. Треск автоматов раздавался в течение нескольких минут, но это мало подействовало на невероятно живучую рыбу. Лишь когда над морем пронеслись бухающие разрывы гранат, с акулой было покончено.

— Теперь, черти, можете отдыхать! — весело обратился к рабочим помощник инженера. — Вы славно поработали эти два месяца и получите хорошие отзывы... Завтра придет наш пароход, и мы поедем домой.

Помощник инженера произнес последнее слово с особенным удовольствием. Удачно выполненная работа сулила премию и, может быть, повышение по службе. Помощник инженера удовлетворенно окинул взглядом приготовленное к погрузке, теперь уже ненужное здесь оборудование и зашагал к домику отдать рапорт начальствующему инженеру. Рабочие проводили его взглядами — одни тоже веселыми, другие хмурыми — и разбрелись по берегу в ожидании обеда; большая часть поспешила растянуться в тени нескольких пальм, стоявших у полосы влажного песка. Этим людям возвращение сулило только новую подневольную работу, наверно, еще худшую, чем проделанная здесь. В конце концов, здесь было не так уж плохо по сравнению с пустыней. На кормежку начальство, очень торопившееся с выполнением задания, не скупилось: остатки военных запасов были еще велики.

Но для двадцати трех человек возвращение с острова должно было совпасть с освобождением. Конец заключения, и впереди — свободный путь к далекому дому, к миру прежних забот и жизненных планов, прежде казавшемуся канувшим в небытие. Инценга и Ауробиндо были в числе счастливых.

Подтрунивая друг над другом, они присоединились к группе, спешившей к голубоватому дымку кухни. Молодость пробивалась в их унылом существовании, подобная ярким зеленым росткам, упрямо завоевывавшим солнечную радость в трещинах серых скал. А оба студента были очень молоды.

Помощник инженера вошел в затененный тентами домик, пропитанный запахом душистого табака. Инженер поднял на него вопросительный взгляд, задержал руку с вечным пером на раскрытой записной книжке.

— Все готово, сэр. Можно радировать, что завтра мы покидаем остров. Если судно не запоздает, то к полудню можем отойти.

— Отлично, Фредди! Я пробуду здесь до конца. Мой катер на подходе...

— Вы возьмете меня с собой, сэр? — взволнованно спросил помощник.

Инженер некоторое время размышлял, крутя автоматическую ручку своими толстыми пальцами.

— Хорошо, — наконец сказал он (и лицо помощника осветилось), — вы заслужили это. Завтра, отправив пароход, мы переедем с вами на риф Клерка. Наблюдательная станция там. Здесь останутся только приборы, автоматические фотоаппараты и радар.

— А в свинцовом блиндаже разве никого не будет, сэр? — осторожно спросил помощник.

— Конечно, нет, — усмехнулся инженер. — В момент выстрела... Блиндаж — для последующих наблюдений за излучением...

Помощник поднял брови в знак понимания и, помолчав, сказал:

— Наши цветные хорошо работали, сэр. Они заслужили отличные отзывы... Особенно удачными оказались один негр и один индус, понятливые молодцы. Я их приспособил даже к топографической работе...

Инженер внезапно встрепенулся, и помощник был встревожен озабоченностью своего патрона.

— Вы имеете в виду Ауробиндо и Инценгу, Фредди? Эти двое, конечно... — Инженер бросил ручку и потянулся за трубкой. — Скажите, вы не замечали у них явного интереса к производимым нами работам? Отвечайте обдумав, это очень важно!

— Нет, сэр... то есть они... — замаялся не подготовленный к вопросу помощник, — они только показались мне способнее всех других. Но за ними ничего не замечено, и агент наблюдения ничего не доносил... Да и что могут они понять в нашей работе, эти цветные! Мозги не росли... — успокоился помощник.

Инженер порылся в столе, извлек какую-то бумажку и задержал ее в руке.

— Для того мы и набрали цветную рабочую силу, чтобы обеспечить полную секретность, — подтвердил инженер. — Но иногда бывают ошибки. Сюда особенно опасно допустить каких-нибудь таких... понятливых, как эти двое... И я послал запрос в управление лагеря. Вот ответ, — инженер взмахнул бумажкой: — Ауробиндо и Инценга — студенты из южноафриканских университетов.

— Студенты! — ужаснулся помощник. — Но кто же допустил?..

— Кто бы там ни допустил, ошибка налицо. Вот вам ваши понятливые молодцы, Фредди. Вы сами еще очень молоды...

Помощник растерянно молчал.

— Еще полбеды, ведь оба не техники — медик и гидрогеолог, — проворчал инженер, которому стало жаль своего подчиненного, — следовательно, ничего не смыслят в наших делах. Но мы не можем рисковать ничем. Немедленно повидайте агента наблюдения и установите самый тщательный надзор за этими двумя. Хотя бы одно слово, свидетельствующее о понимании нашего дела, — и их придется изолировать.

— Слушаю, сэр! — Помощник заторопился к выходу.

* * *

Пароход ожидался после полудня, но уже на рассвете все было готово, даже палаточный городок свернут и увязан в тюки.

Арестанты лениво лежали на песке, когда помощник инженера вдруг позвал Инценгу и Ауробиндо: техник спохватился, что забыл поставить сигнальный фонарь на северо-западной стороне острова — временный маяк для судов наблюдения. Оба товарища были несколько встревожены тем пристальным вниманием, которое проявлял к ним в последний день молодой помощник, и поэтому вздохнули с облегчением, узнав о задаче. Навьюченные фонарем, батареями, тросом и блоками, они поспешили на северную сторону рифа. Товарищи скоро достигли мангровой заросли и тут поняли, что им досталось труднейшее дело. Бесчисленные корни, то густо переплетенные, то стоявшие частоколом, уходили глубоко в вонючий черный ил. На дне, под грязью, множество нагроможденных подгнивших столбов и корней образовывало опасные капканы. Товарищи углублялись все дальше в непролазную чащу, где померк дневной свет, и в темноте передвижение стало еще труднее. Балансируя с тяжелым грузом на скользких корнях, срываясь в вязкую топь, Ауробиндо и Инценга продвигались вперед очень медленно. В недрах зарослей пришлось зажечь электрический фонарь будущего маяка, чтобы найти проход. Чьи-то глаза загорелись красными огоньками из-под темного свода корней.

— Это крокодилы, у них глаза горят красным... — пробормотал зулус, вытягиваясь во весь свой шестифутовый рост и высоко поднимая фонарь.

Теперь падение с корней вниз угрожало смертью, но, к счастью, мангровая заросль, достигшая наибольшей густоты в этом месте, скоро окончилась, и товарищи добрались до намеченного мыска. Поспешно обтесав ствол самого высокого из деревьев, друзья прикрепили к нему толстую дюралевую трубку с гнездом для фонаря, установили фотоэлектрический выключатель и соединили контакты батарей. Все было кончено, и можно было идти назад — скорее, как можно скорее: солнце перевалило за полдень. Смутная тревога владела обоими товарищами: ведь пароход должен был уже подойти к острову. Их, конечно, подождут, но мало ли что может случиться!

* * *

Инженер быстро шел по опустевшему берегу.

— Как у вас, Фредди?

— Готово, сэр. Только нет двух рабочих. Знаете, тех, о которых мы вчера говорили. Я отправил их на ту сторону острова для установки временного маяка.

Инженер выставил растопыренные пальцы, как он делал всегда, когда хотел остановить своего помощника, немного подумал и спросил:

— Вы установили сигнал возвращения для отправившихся?

— Да, сэр, четыре гудка. Но они еще не могли окончить работу...

— Так дайте скорее гудки. Удобный случай...— Инженер криво усмехнулся, пряча глаза.— И заодно, поскольку поедете на судно, вот телеграмма, подписанная мной, о готовности острова!

— Но, сэр...— Помощник инженера замялся.— Это станет известно их... их товарищам.

— Оставьте, Фредди! Неужели вы хотите рискнуть своей репутацией, а может быть, и попасть на их место... ради двух цветных преступников? Ошибка не наша, но разве мы тоже не окажемся в ответе, если... Ну что там говорить! Сама судьба идет нам навстречу, и неумно отказываться. А другим скажите... скажите, что их заберет мой катер. Мы уедем после того, как скроется пароход. Не медлите, Фредди!

Помощник послушно повернулся и побежал к дождавшейся на берегу шлюпке. Гудок всхлипнул, прервался и сейчас же громко заревел. Четыре раза рев уносился вдоль по пустынному берегу, отражаясь эхом от мрачных скал...

Инценга и Ауробиндо услышали гудки, едва успев установить фонарь. С головы до ног покрытые грязью, измученные, они пробивались назад сквозь громадное болото. Пот струился по их лицам, в глазах мутилось, ноги были изранены. Ауробиндо провалился в скрытую яму и ушел по плечи в черный вонючий ил. Зулус, напрягая последние силы, вытащил товарища и опустил на груду ослизлых корней, нагроможденных вдоль глубокой промоины. Товарищи поняли четыре гудка как сигнал скорого отхода, и все же еще целую вечность боролись они за каждый фут. Топь кончилась внезапно. Едва отдышавшись, Ауробиндо и Инценга вросли по воде, потом побежали, обогнули поворот берега и... замерли. Пароход виднелся маленькой черной лодочкой в нескольких милях от острова. Светлый дымок вился над его трубой — словно судно, издеваясь над оставшимися, махало им платком. Оглушенные случившимся, друзья недоуменно оглядывались и не сразу услышали стук мотора. Большой морской катер нырял и сверкал зеркальными стеклами в одной миле от берега, направляясь на юг, перпендикулярно курсу парохода. Инценга и Ауробиндо заскакали по берегу, размахивали руками и неистово вопили. За кормой катера поднялся белый бурун. Маленькое судно пронеслось тридцатиузловым ходом, не меняя курса. Еще немного, и катер исчез в сияющей синеве, там, где у самого горизонта едва виднелся маленький темный купол — соседний остров Клерка.

* * *

В Австралийской пустыне был предрассветный час. Мрак и тишина еще простирались над разрушенной солнцем, мертвой землей. Но в глухом каземате, за шестиметровой толщей бетона, свинца и стали, разливался яркий голубоватый свет. Четырнадцать человек нетерпеливо толкались в просторном помещении. Все с волнением ждали. Стены, заделанные блестящими черными панелями, были усеяны круглыми стеклами бесчисленных приборов. В центре одной стены против входа ма-

тово светилося небольшое квадратное окошечко, затемненное выступающей рамой. Под ним выдвигался широкий уступ. На его наклонной поверхности четырьмя рядами располагались белые шляпки регуляторов и реостатов, кнопки и стрелки. Все сооружение напоминало гигантский радиоприемник. В широком кресле перед центральным окошечком сидел седой человек, нервно приглаживавший волосы. Над ним склонился массивный американец в золотых очках — главный инженер строительства. Стоящие сзади люди представляли виднейших ученых, военных и инженеров двух англосаксонских стран. Среди военных и инженеров явно преобладали американцы, державшиеся очень уверенно, с видом хозяев. Англичане стояли несколько особняком и поглядывали по сторонам с оттенком робости, как будто им не по душе было то дело, ради которого они собрались здесь, в ночной пустыне. На круглом столике рядом с креслом в ящичке красного дерева под толстым стеклом бежала по кругу длинная тонкая стрелка хронометра. Главный инженер не отрывал от нее глаз.

— Заряжено три боевых гнезда, — полупшепотом объяснял группе из четырех военных ведущих конструктор. — Честь пуска первой ракеты принадлежит... — Конструктор еще более понизил голос и назвал знаменитого физика, лауреата Нобелевской премии и члена Королевского общества. — Вторую ракету выпустит главный инженер, третью — я.

Главный инженер выпрямился:

— Осталось пятьдесят секунд, сэры. Сэр, включите экран и доску радиолокаторов...

Свет потух. Ярче выделилось квадратное окошечко и черное длинное стекло под ним. Стрелки бесчисленных указателей настороженно трепетали, как будто охваченные нервной дрожью.

— Ноль секунд! — прогремел голос главного инженера.

Тонкая рука, бледно выделявшаяся в отблеске освещенных циферблатов, нажала круглую кнопку.

Стрелки приборов прыгнули в разные стороны. Здание содрогнулось, глухой низкий рокот проник через толщу стен. Присутствовавшие замерли. Здание продолжало содрогаться, но тяжкий гул постепенно замирал, удаляясь. Физик, нажавший пусковую кнопку, невольно съежился, представив себе, что творится снаружи, на подъемной

площадке ужасной машины. Раздался тихий звонок. На черном стекле осветился маленький квадрат с цифрой 1. Шумный вздох облегчения вырвался из груди главного инженера. Еще звонок — вспыхнул второй квадратик, за ним третий, четвертый... Это сигнализировали локаторы, установленные на столбах, двумя рядами протянутых до побережья. Они точно фиксировали момент прохождения ракеты над ними, когда ее металлический корпус пробивал незримую преграду радиоволн, протянутую на громадной высоте, отвесной плоскостью в небо.

— Она летит, сэры! Летит точно по заданному направлению! — гордо повернулся к присутствующим главный инженер.

Ведущий конструктор в это время возился с вычислительной машиной.

— Сигналы локатора дают увеличение скорости, — объявил он. — Еще через шесть минут можно будет сказать, какова максимальная. Тогда же установим момент, когда ракета должна достигнуть острова.

— Опыт исключительно удачен! — отозвался главный инженер. — Серия предварительных испытаний с меньшими снарядами обеспечила успех.

Взволнованные военные, ученые и конструкторы придвинулись к столу. Все глаза были устремлены на ленту черного стекла, освещенная часть которой быстро удлинялась. Прошло восемь минут. На самом конце ленты зажглась цифра 92, звонок прозвенел в последний раз, и прибор прекратил работу.

— Ракета над океаном, — объявил конструктор. — Через пять минут следите за локатором самой ракеты.

На экране возникло мутное, дрожащее пятно. Оно слегка двигалось в разные стороны, следуя колебаниям несущейся в бездонной глубине неба ракеты. Немного спустя пятно потемнело, края его обрисовались резче — на экране возник темный плоский холмик, увенчанный пирамидальным возвышением. Если бы в комнате мог присутствовать кто-либо из работавших на далеком острове, он без труда узнал бы очертания горы Русалки чьего рифа.

* * *

Мрачные ребра горы заиграли красноватыми отблесками. Инценга и Ауробиндо проснулись. Жестокая тревога не давала им покоя. В надежде, что за ними вернет-

ся какое-нибудь судно, товарищи спали на берегу бухты — единственной, куда мог подойти корабль. Но восходящее солнце освещало все такое же пустынное море, без малейшего признака какого-либо судна.

— Нас бросили. И бросили с целью! — гневно заявил зулус. — Нужно спасаться самим, пока не поздно: ведь мы на мишени и сами тоже мишень. Должно быть, они заметили что-то... Эх, как глупо, что мы согласились идти устанавливать маяк!

— Если бы не согласились, тогда с нами расправились бы другим способом, — спокойно ответил Ауробиндо. — Но я все-таки думаю, что за нами придут. Ведь тут установлено много приборов. Кто-нибудь должен наблюдать за ними...

— Наблюдать после обстрела, — мрачно возразил Инценга. — И боюсь, они скоро соберутся стрелять сюда. Вспомни, как торопились наши начальники. Это плохой признак для нас: это значит, что там все готово. Нет, нужно бежать отсюда немедленно! Пойдем опять на северную сторону острова — стрелять ведь будут оттуда. — Зулус показал на юго-восток. — Кажется, с той стороны у них был сторожевой пункт с лодками. А я что-то не видел, чтобы их грузили на пароход. Возможно, они забыли или нарочно оставили их. Еды наберем в поселке из разных отбросов и остатков в домике инженера — вчера мы там нашли достаточно — и переправимся на другой остров.

Ауробиндо колебался. Он очень хорошо помнил заключение с акулой. В глубине души индус надеялся на скорый приход катера, надеялся, что их оставили по ошибке. Слишком жестоко было бы намеренно оставить их здесь на смерть, их, невинно осужденных и отбывших свой срок, работавших старательно и безупречно.

— Идти на ту сторону нужно, но кому-нибудь одному. И один все узнает. А другой останется здесь на случай прихода катера.

Инценга согласился. Предложение индуса было разумно. Идти на север вызвался зулус — он был великодушным ходоком и бегуном, и путешествие должно было занять у него гораздо меньше времени, чем у индуса. Инценга немедленно пустился в путь, забыв о еде. Он вскарабкался на крутой склон, перевалил через гору и скрылся из глаз. Ауробиндо остался в одиночестве перед пустым морем, на берегу бухты. Солнце, поднявше-

еся уже высоко, стало жарким. Ауробиндо огляделся и заметил небольшую лощину, заросшую лесом. Лощина врезалась в юго-западный склон горы и уходила в глубь ее, за ребро западного отрога. Там не производилось никаких работ, и Индус направился в лощину, надеясь найти тень и собрать каких-нибудь съедобных плодов. Устье лощины оказалось заваленным громадными камнями, и Ауробиндо с трудом перебрался через них. Позади глыб оказалось что-то вроде пещеры, на углубленном дне которой среди замшелых камней стояло небольшое озерцо. Впереди поднимались пологие скаты, поросшие густым кустарником. Ауробиндо забрался в прохладную пещеру, напился и стал на плоский камень, чтобы осмотреться и выбрать направление. Он не беспокоился о катере: стоило ему вскарабкаться на глыбы и выглянуть из-за ребра горы, как сразу же открывался вид на весь берег.

* * *

— Пора! — отрывисто крикнул главный инженер, и рука ученого послушно нажала вторую кнопку.

С невообразимой быстротой радиоволны догнали бешено несущееся стальное чудовище и произвели сложную работу в его механизме. Изображение на экране исчезло, и перед затаившими дыхание зрителями экран засветился ровным матовым светом.

— Ракета упала! — воскликнул главный инженер. — Сейчас поступят сообщения с наблюдательных судов и станций.

* * *

Ауробиндо заметил недалеко от себя маленькое дерево с темными круглыми листьями. Меж листьев покачивались мясистые плоды. Индус поднял голову вверх. Немыслимо яркий свет ударил в небо, мгновенно разлился по голубому куполу, погасив солнце. Краски чудесной чистоты и неполиньской яркости сменяли друг друга, как несущееся с быстротой мысли волны. Этот свет, в котором не было ничего земного, знакомого человеку, ударил в глаза Ауробиндо, проник в самую глубину мозга, вонзился в нервы раскаленным острием. Индус упал навзничь назад в пещеру, и в тот же момент громовой

Свистящий рев потряс все клеточки его тела, погасил сознание. Ауробиндо не видел, как за каменистым мысом взвился столб песка, воды и пара, подобный громадной колонне правильной круглой формы, встал на высоту трех миль над океаном и, как бы ударившись в небо, стал расплываться исполинским грибом. Ножка этого чудовищного гриба, толщиной в две мили, была плотной на вид, хотя по ее поверхности вихрились крутящиеся массы раскаленных газов и пыли. Индус не чувствовал, как над ложиной пронесся вал адского пламени, от дыхания которого испарился кустарник на склонах, треснули скалы и с грохотом обрушились каменные лавины. Неподвижное тело Ауробиндо распростерлось на дне мшистой пещеры, в воде озера.

...Зулус был застигнут взрывом на той стороне горы. Адское пламя не ослепило чернокожего, укрытого зеленым покровом леса. Оно потеряло здесь свою все сжигающую силу, отброшенное в небо склоном горы. Только взрывная волна повалила деревья, сбила Инценгу с ног и осыпала дождем мелких камней. Неимоверный грохот оглушил зулуса, потоки горячей воды хлынули с неба. Счастье благоприятствовало Инценге. Он отделался незначительными царапинами и сильной головной болью. Зулус сразу понял, что в остров попал атомный снаряд, и первая его мысль была о товарище.

Индус находился с другой стороны горы, там, где проявилась вся адская сила атомного взрыва. Опомнившись от контузии, под непрекращавшимся горячим дождем зулус повернул обратно. Он читал в описаниях действия атомных бомб о смертоносном остаточном излучении на месте взрыва, но не думал об этом, спеша на помощь своему другу. Не думал он и о том, что мог последовать второй выстрел. Сильнее всех страхов и чувств сейчас была дружба. Она гнала его вперед, вверх по крутому склону, заставляла пробираться через груды поваленных деревьев, нагромождения остроугольных глыб.

Ауробиндо очнулся от страшной боли, терзавшей его внутренности. Абсолютный мрак и тишина окружали индуса. Ауробиндо не сразу понял, что он ослеп и оглох. Но когда ужасная истина проникла в сознание индуса, дикий, нерассуждающий, животный страх охватил его. Весь мир оказался где-то по ту сторону бытия, а он лежал, совершенно беспомощный, на дне черной бездны, откуда не было возврата, но не было и смерти. Почва

палила снизу его тело, как раскаленная плита, и Ауробиндо пополз. Минуту назад он не мог двигаться сам, но теперь полз вперед и вперед, слепой и обезумевший, сдирая о камни сожженную кожу. Индус стонал и кричал, сам не сознавая этого. Так дополз он до моря. Теплая вода показалась холодной, набегавшие волны окатывали индуса с головой, мокрый песок был райским ложем после раскаленных камней, и мысли Ауробиндо стали проясняться...

Теперь он знал, что стал первой жертвой нового изобретения — атомной ракеты, — и знал, что ему немного осталось жить. Жгучая боль внутри переходила в лихорадку, странно возбуждавшую и обострявшую мысли. Мозг работал четко, с необыкновенной яркостью, быстротой и уверенностью заключений. Мысль Ауробиндо словно хотела вырваться из непроглядной темницы изувеченного тела и подняться на крыльях муки, перед тем как погаснуть навсегда.

Индусу казалось, что за несколько мгновений он просмотрел всю жизнь, побывал в звездных пространствах и вернулся, одаренный нечеловеческой мудростью. И эта мудрость властно приказывала ему во что бы то ни стало открыть людям глаза на тот тупик, куда заводит человечество дикая власть войны и наживы, наука, служащая войне, философия торжествующего капитала... Но кому он сможет передать свои мысли, полные великолепной ясности, мысли, которые помогут людям понять то великое, чего он достиг в момент необычайного взлета и напряжения его мозга, в последние часы жизни! Инценга погиб, а если и спасся, то найдет его уже мертвым. Вокруг него только вода и сожженные адским пламенем скалы. Но гордая мысль, раз взлетевшая, не признавала никаких препятствий. Индус стал писать на песке свое завещание миру, не сознавая, что всплески волн непрерывно смывают написанные строчки. Призывая к себе человечество, Ауробиндо упорно писал, борясь со смертью, уже всползавшей вверх по его ногам...

Инценга добрался до перевала. Но здесь герой-зуду вынужден был отступить. Дыхание колоссального пожара было нестерпимым. Нечего было и думать пробраться через пепел сгоревшего леса и поля оплавленных камней. Вместо привычного зрелища рифа, с его перламутровой грядой кораллового известняка, с действительно зелеными склонами горы, с поразительно чистой,

прозрачной водой, зулус увидел потрясающее разрушение. Серая грязь бухты, дымящиеся, абсолютно мертвые, спаленные камни, тусклый красный свет солнца, едва пробивающийся через завесу дыма и пара...

Острые глаза зулуса различили с высоты на узкой полосе песчаного берега крохотную фигурку. Неутомимый зулус снова пустился в путь, проделывая головокружительный спуск по северному отрогу, и достиг берега. Теперь он мог без труда пройти по мелкой воде до лощины на юго-западном склоне, против которой лежал Ауробиндо. Зулус увидел, что Ауробиндо шевелился, и громко позвал друга, но тот не откликнулся. Зулус подбежал и приподнял товарища, придя в ужас от его истерзанного и опаленного тела. Ауробиндо крепко схватил руки Инценги — он все еще находился в невероятном возбуждении. Зулус тревожно ощупывал индуса, пытался спрашивать. Не получая ответа, Инценга стал кричать Ауробиндо прямо в ухо, пока не убедился, что друг его ослеп и оглох... Ауробиндо поднял руку, как бы призывая к спокойствию, и заговорил, торопясь, пропуская отдельные слова, потому что речь не успевала за полетом мысли. Индус спешил передать товарищу все великие мысли, окрылившие его на пороге смерти, в слепой и безотчетной надежде, что зулус передаст их людям.

Инценга слушал, поддерживая друга за плечи, исполненный мрачного гнева.

* * *

Главный инженер отошел от телефона.

— Прошу внимания, джентльмены! Передали обобщенную сводку всех наблюдательных станций. Ракета не попала в гору, она взорвалась в двух милях от склона, на отмели. Мы поспешили на секунду... — Инженер помолчал и торжественно закончил: — Сила взрыва, как доносят, колоссальна! Ракета достигла острова. Значит, новое оружие создано. Я счастлив поздравить вас, сэры, с крупной победой нашей науки...

Аплодисменты, восторженные вопли наполнили помещение, прервав инженера. Важные генералы, серьезные ученые, озабоченные инженеры запрыгали, как ребята, обнимаясь и целуясь, неистово били друг друга по спидам и свистели. Можно было подумать, что все эти люди выдающегося ума и знания приветствуют великое, благо-

детельное открытие, несущее счастье человечеству. Главному инженеру с трудом удалось снова заговорить.

— Сэр Халлес считает, что нужно сейчас же выпустить вторую ракету. Погода благоприятна, и мы сможем в первый же день испытаний определить, насколько трудна корректировка прицела... Я приветствую это решение, тем более,— главный инженер широко улыбнулся,— что мне предоставлена честь второго выстрела...

Присутствующие одобрительно загудели.

— Дайте сигнал опасности наверх! — решительно бросил инженер и опустился в кресло перед экраном.

Зазвенели телефоны, раздались отрывистые распоряжения. Синяя лампочка вспыхнула над экраном. Главный инженер подождал у хронометра, затем уверенной рукой нажал кнопку. Снова задрожали толстые стены: там, на пусковой площадке, в оглушительном реве пламенного вихря взвилось в высоту второе чудовище. Сопровождаемое сигнальными звонками и вспышками на доске локаторов, оно помчалось опять к океану из глубины красной пустыни.

Там, на мокром песке у воды, умирал Ауробиндо. Голова его запрокинулась на колени зулуса, и широко открытые глаза вперились в глубину высокого неба, свет которого не мог проникнуть в бездну мрака, окутавшего умирающего. Руки Ауробиндо судорожно цеплялись за товарища.

Далекий грохот наполнил небо и мгновенно растаял вдали. Инценга изумленно осмотрелся. Море перед ним было по-прежнему тихо и пусто, ничто не нарушало грозного покоя опаленных утесов горы.

* * *

— Все наблюдательные станции сообщили, что ракеты нет,— хмуро возвестил главный инженер и с оттенком смущения добавил: — Непонятно, куда она девалась. Локаторы показали ее нормальный полет до девяносто второго номера, а над океаном ракета исчезла. Или она упала недалеко от берега вследствие какой-либо порчи?

— Я предупреждая о необыкновенной трудности точного прицела на такие расстояния,— вдруг проговорил маленький человечек с всклокоченными волосами, скромно стоявший поодаль у стены.

— Э, да ведь мы не дураки! — почти грубо отрезал главный инженер. — Восемьдесят опытов с меньшими моделями...

— Наш старый спор: я говорю, что между малой моделью и настоящей ракетой есть глубокое качественное различие, — перебил человек. — Ваши прежние опыты...

— Пустое! Мы сейчас всё выясним, — не сдавался главный инженер. — Сам создатель ракеты выпустит третью! Может быть, это я неудачлив, ха-ха!

Стоявший у стены скептически покачал головой, но отвернулся, поймав злобный взгляд главного инженера.

Снова сотрясаясь земля, раздались звонки локаторов. Сбившиеся в кучу люди затаили дыхание, следя за полетом ракеты. Она вышла на океан, но радарный экран не показал очертаний островной горки. Конструктор закусил губу, брови его сдвигались и раздвигались. Наконец, решившись, он нажал кнопку, обрушивающую снаряд на цель...

* * *

Передовой крейсер «Принцесса Шарлотта» бороздил двадцатиузловым ходом голубую воду. Грозные орудия прицеливались в морскую гладь океана. На траверсе корабля, в полумиле, шел второй крейсер того же класса, а далеко позади виднелся дымок третьего. Капитан-коммодор Чепин, сложив рот в брюзгливые складки, недовольно оглядывал с мостика спокойное море.

Командир корабля вышел из ходовой рубки и приблизился к коммодору, стараясь с высоты своего роста смотреть почтительно на коротконового и толстого старшего начальника.

— Мы радировали миноносцам ваше приказание, сэр. Получено подтверждение приема.

— Хорошо, — угрюмо ответил коммодор, продолжая мерить капитана недовольным взглядом.

— Еще что-нибудь, сэр? — осторожно спросил тот, угадывая желание начальника поговорить.

— Нет! Эта старая калоша нас задерживает! — Коммодор кивнул назад, за корму, на дымок третьего крейсера. — И без того тошно: погнались зачем-то в Австралию встречать дружественную эскадру янки...

— Правда, сэр,— охотно подхватил капитан корабля,— после стоянки на острове Бали...— Лицо моряка приняло мечтательное выражение.

Начальник молчал, и капитан продолжал в том же тоне:

— Этот остров — мечта. Какая природа, какие красивые женщины!..— Капитан смолк и испуганно покоился на начальника: всей эскадре стал известен его неудачный роман с красивой малайкой.

Коммодор покраснел и рассердился еще больше.

— Мне нет дела до ваших воспоминаний! Я говорю — поднимите сигнал с выговором этому размазне Уорбертону! Больше ход! — рявкнул коммодор, окончательно озлившись.

Капитан поднес руку к козырьку, но не успел повернуться. Случилось что-то невероятное. Вдали, на северо-западе, из моря встала мгновенно и бесшумно испанская клубящаяся башня. Из башни вылетело гигантское белое облако, взвившееся в небо и одновременно широко раскинувшееся в стороны, как будто кто-то раскрыл невероятной величины белый зонт. Страшный рев, гул, свист — корабль рывком подбросил корму и повалился на бок. Ноги коммодора мелькнули через перила мостика — начальник полетел на палубу. Капитан ошалело ринулся вперед, но тут солнце затмилось, новый тупой толчок страшной силы потряс крейсер, и все же корабль выпрямился. Вой и вопли ужаса влились в гремящую кругом мглу, потом целый океан горячей воды хлынул с неба, и все замолкло. Капитан валялся на мостике оглушенный. Медленно, едва соображая, что он жив и цел, капитан поднялся на четвереньки. С палубы внизу неся пронзительный визг коммодора:

— Эй, сюда! Всех под суд! Сигнальщиков! Капитана!

Через несколько минут все опомнились. Коммодор был отнесен в рубку; зенитная артиллерия готова к бою. На весь мир загрело сильное радио крейсера, оповещающая о чудовищном нападении. Сквозь облака тумана и пара сверкали вспышки выстрелов и доносился грохот орудий — второй крейсер бил по неведомому врагу.

* * *

В недрах бетонного каземата разрастался ученый спор. Третья ракета тоже не попала на остров и не была отмечена наблюдательными станциями. Главный инже-

нер потерял значительную долю своего апломба, но беднягу ожидали еще более крупные неприятности. В разгар спора, когда скромный противник инженера убедил всех в том, что прицельность еще далеко не разрешена конструкторами ракеты, зазвенел телефон.

Конструктор схватил трубку, выругался и внезапно побелел. Отозвав в сторону главного инженера, он принялся, захлебываясь, шептать:

— Эскадра коммодора Чепина... близко... Кажется, утопили концевой корабль... двести миль от цели...

Главный инженер смяк. С минуту он стоял неподвижно, неопределенно вертя рукой, затем упавшим голосом объявил о конце испытаний.

* * *

Инценга осторожно снял голову индуса со своих колен и медленно поднялся, расправляя онемевшие ноги. Он отнес тело друга повыше на берег и стал на колени, прощаясь с верным товарищем.

— Бедный мой Ауробиндо,— тихо сказал чернокожий,— как торопился ты выразить мне свои предсмертные мысли!. Ты не знал и не узнаешь больше, что то же самое, только гораздо яснее и подробнее, написал далеко на севере, в России, сорок лет назад Ленин...

Рокот мотора оборвал размышления Инценги. Катер шел полным ходом к скалистому мысу. Молниеносная догадка пронеслась в голове чернокожего. Он упал на песок, лежа выждал приближение судна, приподнялся, взмахнул руками, снова упал и пополз к воде, навстречу катеру.

* * *

«Заклученный Инценга, находившийся на острове вместе с другими осужденными, в момент разрыва ракеты подвергся тяжелой контузии, лишившей его слуха и речи. Кроме того, названный заключенный выказывает признаки поражения других мозговых центров, выражающиеся в частичной потере памяти и аграфии, хотя в остальном жизнеспособен. По всей вероятности, больной должен вскоре погибнуть от биологического действия излучения атомного взрыва, тем более что находившийся вместе с ним другой заключенный умер на острове еще

до прихода судна. Вследствие своего состояния заключенный Инценга не представляет никакой опасности в отношении вашего секретного запроса № 32-94-76/2. Инценга может быть освобожден и переведен в гражданскую больницу, пока не сможет вернуться на родину...»

Начальник лагеря отложил заключение врачебной комиссии и подписал лежавшую перед ним бумагу.

* * *

Инценга вышел на палубу и остановился у перил. Свежий ветер озорно и вольно носился над морем, рвал пену с гребней хмурых валов. Сильное тело зулуса переполняла энергия, он нетерпеливо ждал конца пути. Военные песни зулусского народа сами собой рвались из широкой груди, могучие руки крепко держались за поручни. Инценга овладел собой, закурил трубку и стал обдумывать свою речь на Конгрессе защитников мира.

Зулус ехал на съезд друзей человечества, простых людей — черных и белых, желтых и краснокожих. Ехал, чтобы поведать борцам за мир новую злобную затею врагов человечества.

1948

*Посвящается инженеру
А. В. Селиванову*

ЮРТА ВОРОНА

Поздняя тувинская весна уступала место лету. Койка стояла у западного окна полупустой палаты. Солнце глядело сюда с каждым днем все дольше. Новенькая больница белела свежим деревом, сладковатый аромат лиственничной смолы проникал всюду — им пахли подушки, одеяло и даже хлеб.

Инженер Александров лежал, отвернувшись к окну, глядя сквозь прозрачную черноту металлической сетки на голубые дали лесистых сопок и слушая глухой шум влажного весеннего ветра.

Четыре дня назад здесь побывал знаменитый хирург из Красноярска и погасил последний огонек надежды, еще теплившийся у Александрова после полугода страданий. Никогда больше крепкие ноги с широкими ступнями, с узлами верных мышц не понесут его по горам и болотам, через бурелом и каменные россыпи к заманчивым и непостоянным целям геолога — на поиски новых горных богатств. Так сказал хирург после изучения рентгеновских снимков, мучительных осмотров и совещаний с местными врачами. Александров и сам это чувствовал, доверяя врачам больницы и вызванному из Кызыла специалисту-невропатологу. Но человеческая вера в необычайное неистребима, и... почему бы известному хирургу не знать нечто новое, только что открытое, что смогло бы вернуть его неподвижным, расслабленным, как тряпка, ногам былую неутомимую силу?..

Хирург — небольшой, быстрый, суховатый, с острым лицом и острым взглядом — не понравился геологу. Может быть, потому, что, прощупывая позвоночник и сверяясь со снимками, которые высоко поднимал, закидывая голову с вызывающе торчавшим подбородком, хирург вяло спросил стандартными «докторскими» словами:

— И как это вас угораздило?

Александров, скрывая раздражение, рассказал, как он осенью проверял разведку интересного месторожде-

ния, увлекся и забыл, что запоздалые проливные дожди размочили пласт мылкой глины в старом шурфе. Туда ему понадобилось спуститься испытанным горняцким способом — в расклинку. Но глина подвела, и он рухнул на дно шурфа, на глубину двадцать два метра, сломав ноги и переломив позвоночник.

Геолог повторял эту историю уже много раз и говорил сухо и равнодушно, как будто речь шла о ком-то совершенно ему безразличном. Он лишь не мог вспоминать о пережитом ужасе на мокром и темном дне шурфа, когда, очнувшись, он понял, что ноги у него парализованы и сломана спина. При этом воспоминании он и сейчас содрогнулся. Хирург, положив ему на плечо твердую руку, тем же «докторским» тоном посоветовал не волноваться.

— Давно перестал, — с досадой ответил геолог. — Только зачем вы спрашиваете? Я вижу, что вам неинтересно.

— А я не для праздного интереса, — сухо возразил хирург. — Мы, врачи, не должны упускать ни малейшей подробности, когда даем ответственное заключение. Вы понимаете, к чему я вас должен приговорить?

Александрову стало жарко.

— Кое-что с годами восстановится, — продолжал, помолчав, хирург, — но ходить не придется... А мне нужно, чтобы вы ходили, и потому каждая деталь важна, даже то, в каком настроении вы упали: да, не удивляйтесь. Если, например, вы просто свалились на улице, оступившись, но бодрый, подтянутый, с крепкими мускулами, — ничего не случится. Но если в тот момент вы шли удрученный, больной, расслабленный — грохнулись, как дрова, — вот, по пословице, много дров и получится. И чтобы разбираться во внутренних повреждениях, наблюдать заживление которых трудно, то ваше состояние в момент падения немаловажно.

— Ну, так я именно свалился, а не грохнулся, а бодрости было хоть отбавляй! Вспомнил вдруг, что этот сорок первый шурф пересек край порфириновой дайки, и поспешил за контрольным образцом... проверить свою догадку!

— Так, так! А лет вам сколько?

— Сорок один.

— Ого, сорок один год, и шурф тоже сорок первый — для суеверного человека тут...

— А я не суеверен! — ответил геолог с едкой насмешкой, встретил пронизательный взгляд врача и понял, что хирург изучает его психологически, вероятно, чтобы убедиться в отсутствии мнительности или истерии. Александрову стало неловко, и он угрюмо отвернулся.

В последующие два дня повторялись рентген, спинномозговая пункция, надоевшие поиски чувствительных точек на пояснице и омерзительно недвижных ногах. Настал час, который запомнился геологу на всю жизнь. Хирург пришел вместе с тремя врачами больницы. Низко склонившись над распростертым на спине геологом, он взял его за руку. Александров почувствовал, что рука хирурга чуть заметно дрожит. Сердце замерло в ощущении непоправимого. Как ни готовился геолог к этому удару, он оказался слишком тяжел. Ему пришлось долго лежать, отвернувшись к окну, борясь с душившим его комом в горле, а четверо врачей молча сидели, избегая взглядов друг друга.

— И это... навсегда? — еле слышно произнес геолог.

— Я не могу вас обманывать, — угрюмо сказал хирург, — однако наука развивается сейчас быстро! Мы спасаем от таких болезней, в которые двадцать лет назад даже не смели вмешиваться...

— Двадцать лет... — беззвучно шепнул Александров. Но хирург расслышал.

— Почему обязательно двадцать? Может быть, пять. Но если вы хотите, мы отправим вас в Москву, в институт Бурденко...

— Вы же считаете это напрасным, я вижу.

— Собственно, да! Операция и повторная операция были проведены правильно. Повреждение нервного ствола — куда денешься, если раздроблен один позвонок и второй сместился. Счастье еще, что так! Одним позвонком выше, и... вряд ли бы удалось вас спасти!

— Счастье? — звенящим от боли голосом спросил геолог. — Вы считаете — это счастье?

Врачи переглянулись, и тотчас за ними возникла медсестра со шприцем в руках. Оглушенный морфием, Александров смирился.

И теперь улетел хирург и с ним все былые надежды. Геолог молча лежал, пытаясь найти свое место в жизни, которая предстояла ему. Точно громадная пропасть отделила от него прежний мир увлекательного и нелегкого

труда, уверенной силы ума и тела в борьбе с бесчисленными препятствиями, радости мелких и крупных побед, огорчений и последующих утешений, жизни, согласной с природой человека и природой сурового таежного края, поэтому полной и здоровой. Никогда Александров не задавался мыслями о перемене профессии — она была интересна и в голых горах Средней Азии, и в болотистых лесах Якутии, или здесь, в Туве, где он закрепился еще до войны. Он был прирожденным геологом, полевым исследователем и так упорно отказывался от всех предложений переехать в крупный центр и занять руководящий пост, как надлежало ему по опыту и заслугам, что начальство перестало его тревожить.

И вдруг нелепый случай, неверный расчет, один миг отчаянной борьбы, и вот шестой месяц он лежит на койке и никак не может привыкнуть к своей ужасной беспомощности, к нечувствительным, неподвижным ногам. Испытанные верные друзья — ноги... Какие они жалкие, как беспомощно волочатся они мертвым грузом, когда он учится ходить! Нет, кощунство назвать это ползание на костылях ходьбой! И это будет всегда, до конца жизни, если то, что будет дальше, можно назвать жизнью. Жизнь, которая хуже смерти... Как найти в ней себя?

Его утешали примером Николая Островского. Действительно, положение этого стального коммуниста было гораздо тяжелее. Слепой, с окостеневшими, неподвижными суставами, он боролся до конца и создал бессмертную книгу, а своим примером — неумирающий образ комсомольца-героя. Но Александров, простой геолог, был силен лишь в борьбе с природой выносливостью и сноровкой опытного путешественника. А на борьбу с ужасом вечной постели, с ничем не чувствующими, точно чужими, ногами у него не хватает мужества. Нет никакой зацепки, опоры, будто летит он в черноту бездны и нет ей конца! Написать книгу — о чем? Даже если бы у него вдруг оказался талант, его жизнь так же проста, как у многих сотен тысяч жителей Сибири. Хорошо было Николаю Островскому, вся жизнь которого — непрерывный революционный подвиг. Впрочем, как это хорошо? Что за глупость лезет в голову! Слепота — что могло быть страшнее для него, сильного, жизнелюбивого человека!..

Стискивая зубы, Александров старался прервать думы, клубок которых ощутимо душил, давил его. Не мигая,

геолог смотрел в окно, гипнотизируя себя видом меркнувшей на закате горной дали, и наконец заснул.

Александров очнулся в сумерках и почувствовал присутствие жены. Почти каждый день в эти бесконечные полгода, едва окончив работу, Люда прибегала сюда, сидела у его изголовья, страдающая и молчаливая.

Веселая и здоровая, яркая спортсменка, Люда привыкла на все в мире смотреть с уверенным эгоизмом красивой молодости. Она оказалась совсем не подготовленной к удару, поразившему ее умного и сильного друга — мужа. Катастрофа надломилась ее. Люда растерялась, не зная, как лучше ей поддержать любимого в тяжелом несчастье. Пропливая потоки слез от жалости к нему и к себе, она продолжала искать в нем прежнюю верную опору, не ощущая или не понимая, что он нуждается или в уверенной поддержке, или хотя бы в покое от ее страданий и забот. Люда мучилась сама и терзала мужа, полного острой жалости к своей подруге, хорошей и верной, только лишь оказавшейся неумелой и слабой в час испытания. Но постепенно геолог привык к тому, что Люда приходила то наигранно-бодрая, невольно раздражавшая его своим цветущим здоровьем, то печальная, очевидно решив, что показная бодрость не дает нужного результата и лучше быть самой собой. И сейчас она тихо сидела на белом табурете, не сводя грустных голубых глаз с постаревшего лица мужа.

Александрову не хотелось расставаться со сновидением. Он увидел себя молодым студентом третьего курса, приехавшим на Урал для геологической съемки. Неудомимо лазал он по обрывам холодной Чусовой, ночевал или прямо на берегу реки, или поднимался по шатким лестницам на душистые сеновалы. Засыпал накрепко, полный беспричинной радости и ожидания всего интересного, что обещал ему следующий день. Хозяйки встречали его приветливо, пригожие девушки улыбались, когда, усталый, он появлялся в той или другой деревне, прося ночлега и пищи. Захватывающе развевывалось перед ним давнее прошлое Уральских гор — тема его будущей дипломной работы. Как всегда бывает во сне, этот кусочек прошлой жизни казался особенно легким, светлым, и он отчаянно цеплялся за него, чтобы не очутиться в безрадостном настоящем.

Жена встревожилась, коснулась губами его лба, опеределяя жар, и шепнула осторожно:

— Что с тобой, мой Кир?

Юной практиканткой Люда приехала в его партию. Александров показался Люде похожим на древнего владыку и тайно назывался царем Киrom. Прозвище сделалось нежным именем мужа.

— Я видел хороший сон,— тоска заставила дрогнуть его голос,— как будто я молодой, и лазаю по обрывам Чусовой, и брожу сам по себе от села до села, и...— Геолог умолк и лежал молча, не глядя на жену, слыша лишь ее участвовавшее дыхание.

Слеза капнула на подушку рядом с его ухом, потом и на ухо. Жалость, горькая в своей беспомощности, стеснила его грудь. Александров открыл глаза и положил руку на плечо жены.

— Не плачь, мне было хорошо. Почаще видеть сны и подольше бы спать — время шло бы скорее...

Люда заплакала навзрыд, и он смущенно улыбнулся.

— Ну вот, хотел тебя утешить, а ты — что ж? Кстати, я сегодня думал о тебе и...

Жена настороженно выпрямилась, утирая слезы.

— Я никуда не поеду, я тебе сказала раз навсегда.

— Если ты хочешь, чтобы мне было еще тяжелее,— безжалостно сказал Александров.— Надеяться больше не на что. Перевезешь меня домой, Феня будет присматривать, а я... учиться жить по-новому. Время уходит, твоя партия в поле, и ты теряешь драгоценные дни! Нечего скрывать, я ведь знаю, что в этом году надо защищать запасы твоего Чамбэ, разведки которого ты добивалась шесть лет...

Люда упрямо мотала головой, всем видом показывая, что не хочет слушать.

Александров рассердился:

— Смотри, я ведь могу и прогнать тебя!

— Нет! Я уеду, но не сейчас. А сейчас я нужна тебе. Ты еще должен поехать в санаторий под Кызылом...

— Нужен мне этот санаторий!

— Только для перемены обстановки, милый! Уйти от всего, что здесь выстрадано, найти себя снова...

— Меня, геолога Кирилла Александрова, уже полгода как нет и не будет больше... не будет и твоего Кира, таежного владыки. Оба умерли, будет теперь кто-то другой, обитающий в четырех стенах...

Люда резким движением откинула со лба волосы.

Дверь палаты распахнулась, и дюжие санитарки внесли носилки с больным. Сестра обогнала их при входе и приблизилась к койке Александрова.

— Не возражаете, если положим рядом с вами? Больной стал просить, как только узнал, что вы здесь.

— Кто это? Впрочем, конечно, не возражаю. У окон лучше!

С носилок поднялась голова с взлохмаченными седыми волосами.

— Кирилл Григорьевич, вот где пришлось встретиться!

— Фомин, Иван Иванович! Как хорошо! Но что же это с вами? — обрадованно и встревоженно воскликнул Александров.

— Со мной малая беда — ревматизм одолел, — ответил старик, подпирая голову согнутой в локте рукой, — а вот с вами, я слышал, большая. Да, большая... Сколько мы не виделись? Скоро уж лет двадцать?

— Двадцать, точно. Люда, это Иван Иванович Фомин, мой старый забойщик, с которым я сделал свои первые таежные экспедиции. Сразу же после окончания института...

— О, я много о вас слышала! Кирилл любит про вас вспоминать. Первая геологическая экспедиция — первая любовь!

Сестра сделала Люде знак, и та заторопилась.

— Ухожу! Действительно, поздно. Но сегодня я спокойней тебя оставляю.

Приветливые серые глаза старого горняка чем-то успокоили Люду.

* * *

— Это что же за специальность такая — забойщик? — спросил скептически молодой сосед по палате, радист, сломавший руку при падении с верхового олея. — Шахтер, что ли, по углю или по руде?

— По старому счету — горняк на все руки: и по углю, и по руде, хоть по соли, а золота-то не миновать стать! — весело ответил старик, с кряхтеньем поворачиваясь к собеседнику.

— На все руки — это хорошо. А разряд какой?

— Что тебе? — не понял Фомин.

— Разряд, спрашиваю, какой? Ну, ставка тарифной сетки.

— Вот ты про что,— протянул старик.— Ставки бывали разные, и малые и большие, только интерес непременно большой.

— И много ты заработал с этого интереса — койку в больнице?

— Между прочим, и Ленинскую премию,— спокойно сказал Фомин.

— Как это — Ленинскую? — остоленел молодой радист.— За что это?

— Стало быть, есть за что,— не скрывая насмешки, ответил Фомин.

— Погодите-ка, Иван Иванович,— вмешался Александров,— я припомнил, читал в приказе по министерству. Вас представили к премии за открытие важного месторождения вместе с инженером... забыл, как его...

— Васильев Семен Петрович. Это точно, мы с ним вместе!

— Пофартило, значит, в тайге,— с завистью сказал радист.— Конечно, горняку лучше, не то что нашему брату. Больше десятипроцентной надбавки не выслужишь!

— Фарт — не то слово, паря,— недовольно возразил забойщик.— Фарт — когда дуrom наскочишь на шальное счастье. Как назвать его, если долго ищешь, ниточку найдешь, потеряешь, обратно найдешь, и так не один год. Да и не в тайге вовсе, на угольных шахтах это было!

Александров, по-настоящему заинтересованный, попросил Фомина рассказать, и старик охотно согласился.

— Встань-ка, паря,— обратился он к радисту,— да окошко отвори. Продух будет, я покурю тишком.

Старик молниеносно свернул самокрутку, чиркнул спичкой и выпустил густую струю дыма. Радист последовал его примеру, извлек из-под тюфяка измятую пачку сигарет и уселся на койку в ногах у Фомина. Тот поморщился и пробормотал:

— Сел бы ты, паря, лучше к себе...

— А чем я тебе помешаю? — оскорбился радист.

— Не то дело, паря, уважения в тебе к старшим нету: не спросясь — плюх на чужую койку. А мне с тобой панибратствовать ни к чему: еще невесть какой ты человек.

Молодой радист обиделся, отошел к окну и стал выдувать дым сквозь сетку, внося панику в ломящуюся

спнаружи тучу комаров. После утреннего обхода и процедур в больнице стало тихо. Во дворе негромко переговаривались няни.

— Рассказывать тут долго нечего,— начал Фомин.— Утомился я от таежного поиска, ребята подросли, надо было учить их в хорошем месте. Словом, я вышел в жилуху и стал работать на угольных шахтах, да не год, не два, а девять кряду. Сначала вроде в тайге вольнее казалось, а потом попривык, обзавелся домом, детей выучил и сам умнее стал — книжек-то побольше, чем в тайге, читать довелось. Кирилл Григорьевич знает: такая у меня манера — доходить до корня, везде интерес иметь, к чему, казалось бы, нашему брату и не положено. Узнал я много преудивительного: как столь давно, что и представить не можно, был на нашей земле сибирской климат вроде африканского и повсюду громадные болота, а в них леса, тайги нашей гуще. Росли тогда деревья скоро, пропадали тоже скоро, и гнили они тыщи лет. Торфа из них пласт за пластом впереслойку с глинами накладывались, прессовались, уплотнялись — так угли наши и получились. Сам я стал присматриваться к углю и находить то отпечатки невиданных листьев, как перья павлиньи, то стволы с корой точно в косую клетку, то плоды какие-то. Иногда встречались нам в подошве пласта высоченные пни с корнями, прямо в ряд стоят, будто заплот, а в кровле то рыбки попадутся, то покрупнее звери, вроде зубастые крокодилы, только кости расплюснуты и тоже углем стали. Меня уж стали знать на шахте. Сначала смешки, горным шаманом прозвали, а потом стали мне диковины приносить и расспрашивать. Я, конечно, писал о находках в Академию наук, оттуда приезжал молодой парень. Видит-то плоховато, а все досконально знает, наперед говорит, что где должно быть. Подружился я с ученым, он мне книжки, опять же как приедет — лекции для всей шахты. Куда как интересней стало работать, как понимать начал я эту угольную геологию...

— За это и премию сгрел? — недоверчиво хмыкнул радист.

— Заполешный ты какой! — рассердился Фомин.— Это я свой путь рассказываю, чтоб тебе легче понять, откуда что взялось... Ну вот, пошел в эксплуатацию западный участок — там угли длиннопламенные, хороши для отопления, их в город больше брали. Заметил я, что уголь местами изменился. Конечно, ежели без внимания,

то, как ни смотри, все такой же он. Знаешь, если длиннопламенный, то на изломе восковатый и не так в черноту ударяет, но и металлом не блестит, как сухой металлургический. Приметил я в угле светлые жилки, короткие и тоненькие совсем, иногда и частые. В котором слое словно сеткой подернуто. Этот уголь по всему западному участку, на втором и третьем горизонте, в разных лавах. Только слойки с жилками где потоньше, а где и во весь пласт. Чем-то поманили меня эти светлые жилки, собрал я изо всех забоев, нашел такие, что не как волоски или сосновые хвоинки, а будто тоненькие веревочки. Дознавался я, что это такое, да наш штейгер и начальник участка только мычали: бывает, мол, в угле всякое и раз угля не портит, то какое нам дело.

Стал я жечь этот уголек у себя в пещке и на дворе. Уголь как уголь, только от него дымок голубоватый, с белесым поддымком и запах другой, нежели у простого угля. На вьюшках от него налет тоже сизый. Покрутился я со светлыми жилками — нет ходу, не пробьюсь. Знания нет, чтобы определить, что не годится, и чтобы доказать, что годится. Решил рукой махнуть. Светлые жилки эти мне покоя года полтора не давали. Металлургический уголь стали работать на северном, тут бы всему и конец, не вмешайся инженер Васильев как снег на голову.

— Это кто же, новый какой назначенный? — спросил радист, заслушавшийся старика так, что забыл про папиросу.

— Вовсе нет! Никакого отношения он к шахтам не имел, жил в городе, за триста верст от наших шахт, и не горняк он, а химик.

— Как же это он сквозь землю смотрел?

— Сквозь землю это я смотрел, на подземной работе, а он, наоборот, в небо и там второй конец моим светлым жилкам нашел.

— Ого, как интересно! — воскликнул Александров. — И меня забрало!

— Инженер Васильев, — продолжал Фомин, ободренный вниманием слушателей, — хоть и городской житель, но по зоркости не хуже любого таежника. Живет он в большом доме, на десятом этаже, из его окон — весь город как на ладони. На отдыхе сживал он у окна, любясь городом и раздумывая о том о сем. И вот как мне светлые жилки, так и Васильеву приметилась дымка над городом, белесая или голубоватая; когда она есть, а ког-

да и нет. И запах тоже в воздухе, когда дымка, особенный, не сильный, а заметный. Помогло Васильеву, что он химик, знал: такой дымки ни от какого завода в городе быть не могло. Раз так, то, значит, дело в угле. Инженер рассудил, что дымка похожа на окисел какого-то металла, и решил дознаться, нет ли чего в угле. Собрал он палет с трубы какой-то — и под прибор. А прибор такой, что, будь там самая малейшая крошка какого металла или состава, такая малость, что ни на вкус, ни на запах, не говоря уж про химию, никак не возьмешь,— прибор берет. Инженер Васильев мне показал. Что нужно разведать, то в пламени жгут, пламя в трубу зрительную смотрят, а в трубе какие-то там линии...

— Да как он называется, твой прибор? — не утерпел радист.

— Это тебе знать, небось десятилетку кончил, а у меня нет памяти на мудреные слова. Постой-ка, записал я его название: думаю, не раз еще пригодится! — И забойщик с кряхтеньем полез в тумбочку у постели.

— Не трудись, Иван Иванович,— вмешался Александров,— прибор этот — спектроскоп, а то, что сделал Васильев,— это спектральный анализ.

— Ну, точно,— успокоился старик,— я и говорю. Пехтоскоп показал: есть признаки металла, и не одного, а трех. Васильев Семен Петрович стал дознаваться, с каких шахт, с каких участков уголь в те дни, когда дымка. Сейчас вам рассказать — оно быстро, а потратил он, пока дошел, тоже, почитай, два года: ведь занятый человек, когда не додумал, а когда и упустил... Ну, короче, приехал он на нашу шахту и стал дознаваться насчет угля. А у нас западный участок давно прикрыли. Показывают ему металлургический с северного. Он анализ за анализом берет — ничего. Да и не могло быть. Так и не вышло бы, да тут один молодой парень присоветовал ему со мной потолковать. И пяти минут мы не проговорили, как понял я, куда мои светлые жилки ведут. Полззли с ним в западный участок — к тому времени я все свои образцы уже извел. А там и крепь вынута, и кровля обрушена. Повертелись туда-сюда. Вижу, что и человека могу погубить, и времени у него не хватит. Отправил его в город, а сам думал неделю, пока не сообразил. С третьего, незатопленного горизонта спустились мы — ребят у меня подручных набралось чуть не вся шахта — по восстающим на пятый, прошли совсем ма-

ленький ходок и добрались до пласта со светлыми жилками. Набрал я образцов — и в первый же выходной в город. Васильева дома не оказалось. Я пакет в два пуда ему оставил и расписал, откуда взято. Не прошло и недели — телеграмма мне, чтоб немедленно приезжал. Поехал. Васильев встречает и прямо облапил меня, крепко стиснул и в обе щеки целует.

«Ну, если бы не вы, Иван Иванович, все бы пропало!» — «А теперь?» — спрашиваю. «А теперь сделали мы Советскому Союзу и нашей стороне сибирской преболющий подарок: в угле-то, в светлых жилках ваших, — целое месторождение». Три металла — германий и ванадий, это я точно запомнил, — добавил Фомин, как будто опасаясь, что собеседники усомнятся в его знаниях, — а вот третьего никак не помню и не записал сдуру, на радостях. Спрашиваю: «Для чего они, металлы эти?» Васильев объясняет, что очень важные металлы. Нужны они для самых что ни на есть сложных машин. «И много этого германию?» — спрашиваю. «Не так чтобы очень, даже совсем мало. Но угля количество огромное, миллионы тонн, и германий с ванадием пойдут как попутные продукты, когда уголь начнем на химическое сырье перерабатывать. А эти попутные продукты сами по себе всю стоимость добычи окупают... Теперь без германия ни один телевизор или радиоприемник не обходится».

— Слыхали, — важно сказал радист, — из него полупроводники делают.

— Полупроводника или даже целый — не в этом дело, а в том, что этот металл сейчас самый нужный, а ведь с ним еще и ванадий. Но вот для чего ванадий, запомятовал.

— Я подскажу, — откликнулся Александров. — Сталь ванадиевая — самая нужная для автомобилей и вообще тех машин, где требуется высокая прочность. Жаль, что забыли третий металл, — тоже, наверно, полезный.

— И очень даже нужный, но хоть убейте — не помню. Названия все мудреные...

— Как, такое добро — и в простом угле оказалось? — Тон радиста стал гораздо более уважительным.

— Это самое и я спросил у инженера Васильева. Тот мне объяснил так: когда угли эти еще были в незапамятные времена как громаднейшее торфяное болото, то сквозь них сочились воды. Воды, ручьи или речки, что ли, размывали горы, где залегали металлы, раство-

ряли их понемногу и переносили в торфа. Торфа гнили, и металлы эти осаждались на них, накапливались. Целые тысячелетия прошли, воды всё протекали и протекали, и так исподволь накопилось и германия, и ванадия, и того третьего.

— А потом как?

— Потом торфа заносило песками и глиной, они затвердели, оборотились в уголь, получился диковинный уголь со светлыми жилками.

— За это премию Ленинскую получили? Вдвоем, что ли?

— Вдвоем, пополам, потому один без другого ничего не нашел бы. Как сказал уже: я под землю смотрел, а он — по небу.

Три собеседника в палате долго молчали. Фомин взялся было за самокрутку, но, услышав голос дежурного врача, спрятал свои присноспособления. После короткого обхода принесли обед, и разговор возобновился лишь во время мертвого часа, когда больница опять притихла.

— Да, хорошо светлые жилки найти, — мечтательно произнес радист, поднимая глаза к потолку. — И как это вам удалось уцепиться?

— Светлые жилки должны быть у каждого, — ответил Фомин, — без них и жить-то вроде принудительно. Не ты своей жизни хозяин, а она тебя заседляет и гнет куда захочет.

— Вот и я про то же, — подхватил радист, — схватишь полста тысяч, ну, пусть вы тридцать семь получили, тут жизни можно не так опасаться, не согнет!

Старик даже сел, с минуту мерил глазами невозмутимо лежавшего радиста и упал на подушку.

— Подсчитал уже, сколько я получил, уголовная твоя душа! — вымолвил он с горьким негодованием.

Настала очередь подскокнуть радисту.

— Как — уголовная душа? — завопил он, поворачиваясь то к Фомину, то к Александрову, будто призывая геолога в свидетели. — За что же вы оскорбляете меня, дядя? Я что, блатюк, что ли?!

Старый горняк уже остыл.

— Не знаю я тебя и никаких прав блатюком счесть не имею. Однако сам ты меня обидел... Всё на деньги да на фарт меряешь. А я тебе про интерес, про заветные думки, без которых человеку жить — будто скоту бессмысленному...

— Дак разве интереса к фарту быть не должно? Что я, на счастье прав не имею? Мудрите, дядя... Конечно, жизнь ваша уже недолга осталась и заботы меньше. А мне еще жить и жить, и что плохого, если лучшего хочется?

— Кому не хочется,— уже спокойно отвечал Фомин,— дело не в этом. Ежели ты себя в жизни так направишь, чтобы вместе со всеми лучше жить, и на то удаешься, тогда ты человек настоящий. А мне сдается: ты как есть только о себе думаешь, себе одному фарту ждешь — тогда тебе всегда к старой жизни лепиться, на отрыв от всякого нового дела. Может, и сам того не осмыслив, ты хочешь перед другими выделиться, не имея за душой еще ничего. Вот тут и приходится о фарте мечтать. Встречал я вашего брата. Уголовными душами их зову — сообрази-ка, в чем сходство с блатюками.

— Никакого сходства не вижу, выдумки одни! — зло ответил радист.

— Самое прямое. Уголовник почему на преступление идет? Да потому, что хочет хватануть куда как больше, чем ему по труду, да по риску, да и по соображению полагается. Человечишко самый негодный, а туда же: хочу того да сего. Опять же, другой и способность имеет, и силу, и риск, а записывал — работать скучно, не для меня это, не желаю. Однако деньги-то, и побольше, между прочим, подай. Вот в чем уголовная-то суть. Ты хочешь себе не по заслугам, не по работе, а о фарте мечтаешь — тот же уголовник ты! Только закону боишься и хочешь, чтоб само свалилось.

— Один я, что ли, так? — уже тише отвечал радист.

— Горе, что не один. Таких, как ты, есть еще повсюду и середь нашего брата рабочего, и середь кого хошь — инженеров, артистов, ученых... Эту уголовную болезнь и надо лечить в первую очередь, чтоб скорей в коммунизм войти...

— А лечить чем?

— Ну, «чем, чем»... Сызмальства воспитанием настоящим, учением, а потом знанием. Только знание жизни настоящую цену дает и широкий в ней простор открывает. А то бьешься, бьешься, чтоб понять, как я со своими жилками!

— Это вы правильно,—покорно согласился радист,— с образованием куда легче. Диплом — он цену человеку поднимает, разряд, так сказать.

— Кто тебе так мозги повернул? — снова начал сердиться старый горняк.— Только разряд у тебя в голове. Книг, что ли, таких начитался, было их раньше много. Вывели те писатели так, что без высшего диплома и не человек вроде... девку замуж не возьмут без диплома. А для какого лешего ей диплом, ежели она к науке склонности не имеет? Вот и явились теперь такие, с порченными мозгами. Какая ни на есть работа через силу вами делается, а почему, ты мне ответь!

— Не могу ответить, только верно, есть люди без интересу к своей работе.

— А все потому, что не на месте они: один в науку ударился, как баран в чужой двор, другая — инженер, электрик или химик по диплому, а по душе — самая хозяйка толковая, и мужа бы ей хорошего да ребятишек пяток и по сельскому хозяйству фрукты какие сажать да птицу разводить. Вот оно и получается, что работа не мила, а немилая работа хуже каторги, если ты век свой должен на ней стоять. За дипломом погонятся, а себя вроде как к каторге приговорят, несмышлениши. Писатели, опять же,— где бы добрый совет подать — лупят без разбору: гони диплом, а то и герой не герой, и женщина не женщина, а вроде быдло отсталое. Неправильно это, и ты неправильно рассуждаешь со своим дипломом!

— А как же правильно?

— По-моему, вот как: знание — это не то, что тебе в голову в обязательном порядке набьют, а что ты сам в нее положишь с любовью, не спеша, выбирая, как цветы или камни красивые. Тогда ты и начнешь глядеть кругом и с интересом и поймешь, как она, жизнь-то, широка, да пестра, да пресложна. И житишко твое станет не куриное, а человечесьё, потому человек — он силен только дружбой да знанием и без них давно бы уже пропал. Житья бы не стало от дураков, что ничего, кроме своего двора да животишка, не понимают...

Радист умолк и долго не подавал голоса. Старый забойщик удовлетворенно усмехался, поглядывая в сторону Александра, как бы призывая его в свидетели своей победы. Геолог кивнул ему, слегка улыбаясь. Он смотрел мимо старика и ничего не сказал.

— Вот, Кирилл Григорьевич, верно я говорю? Каждому надо свои светлые жилки искать...

— Это так. Только всегда ли найдешь? Да и каждому ли дано?

— Знаю, о чем думаете, Кирилл Григорьевич! Как вам теперь быть без тайги, без гор... Оно понятно! Только найдете вы свои жилки непременно, другие, но найдете.

— Других не хочу, не верю! А если не верю, то как пойму я, что другие — настоящие? И где искать, куда кинуться... мне? — Геолог кивком показал на свои ноги, аккуратно уложенные под одеялом.

— Конечно, трудно, особо если подумать куда. Ну а насчет того, настоящие или нет, на то есть верная указка, и вы ее знаете...

— Нет, не знаю!

— Указка одна — красота. Это я хорошо понимаю, да объяснить не сумею, однако вам надо ли... разве ему... — И забойщик ткнул пальцем в радиста, ничем не отозвавшегося на выпад.

— Красота... правильно. Но мне... ползучий я, будто гад!.. Сейчас для меня все серым кажется, потому что внутри серо!

— Неправильно, Кирилл Григорьевич! Вспомните, как шли мы в тридцать девятом от шиферной горы сквозь тайгу голодом. Припозднились на разведке, продукты кончились, снег застал...

— Конечно, помню! Тогда мы лунный камень нашли.

— Так я насчет его. Помните, перевалили мы Юрту Ворона и двое суток шли падью. Мокрый снег с дождем бесперечь, ватники насквозь, жрать нечего...

— Да, да, и вечером... — встрепенулся геолог. — Расскажите, Иван Иванович, я не сумею. А наш Алеша пусть послушает, — кивнул он радисту. Скептически настроенный юноша старался скрыть свой интерес.

— Точно, вечером поперли мы из пади через сопку. Крута, ичиги размокли, по багульнику осклизаяешься, а тут еще навстречу стланик разрогатился, хоть реви. На гребнюшке ветер монгольский морозом хватанул. Покатились мы вниз едва живы. Тут место попало, жила или дайка стоячая, вдоль нее склон отвалился, и получилась приступка, а далее, в глубь склона, пещерка не пещерка, а так, вроде навесу. Забились мы туда, дрожим, огонь развести — силов нету, дальше идти — тоже, и отдыхать невозможно — холодно. Тут уж мы не серые ли, по вашему слову, были? Куда серее, насквозь. Оно получилось наоборот. Помните, Кирилл Григорьевич?

Геолог, ушедший в прошлое, кивнул забойщику:

— Все помню, рассказывайте!

— Холод потому сильнее прихватывал, что разъясневать стало. Тучи разошлись, и над дальним западным хребтом солнышко брызнуло прямиком в наш склон. Глаза у меня заслезились, я отвернулся — и обмер. Нора наша продолжалась узкой щелью, а в той щели, на выступе, будто на подставке какой, громаднейший кристалл лунного камня, с голову... да нет, побольше! Засветился огнем изнутри и пошел играть переливами, струйками, разводами... Будто всамделе взяли лунный свет, из него комок слепили, ограничили, отполировали да еще намешали туда огней разноцветных: синих, сиреневых, бирюзовых, багряных, зеленых — не перечеть. И не просто светит, а переливается, гасится да снова вспыхивает. Тут мы — шестеро нас было разного народу, молодого и старого, ученого и неученого, — как есть голодные и мокрые, про все забыли и перед кристаллом замерли. Будто теплее стало и есть не так хочется, когда глядишь на такую вот вещь... — Фомин заволновался и ухватился за свою жестянку для махорочного курева.

Александров прикрыл глаза, так остро возникло перед ним воспоминание о редчайшей находке — огромном кристалле особой разновидности прозрачного ортоклаза, внезапно представшего перед ними в расщелине обвалившейся жилы пегматита.

— И что дальше? — понукнул радист.

— Дальше вот что. Откуда силы взялись — собрали топливо, развели костер, обсушились да обогрелись, чайник кипятку выдудили. Топор да молоток геологический изломали; как сумели из крепчайшей породы волшебный кристалл вырубить целехоньким, до сих пор не пойму! Поволокли его в заплечном мешке попеременке, а он весом поболее чем полтора пуда. Судьба переменилась — конечно, это мы ее переменили, как приободрились. К ночи доперли мы до зимовья, кое-какие продуктишки там нашли, а лучше всего — положила там добрая чья-то душа пачку махорки. По гроб буду того человека добром поминать!

— А потом?

— Потом всё! В зимовье день отдохнули и через сутки пришли в жилое место.

— А камень?

— Камень там, где надлежит ему быть: в музее московском альбо ленинградском. Может, вещь драгоценная из него сделана и цены ей нет! Вот никогда не говори: красота — пустяк. Вовсе она не пустяк, а сила большая, через нее и жизнь в правильное русло устремляется!

Александров приподнялся на локте. Воспоминания давно забытого таежного похода, стертые множеством последующих впечатлений, встали перед ним остро и ярко. Забракованное месторождение шиферной горы, странное место — перевал Юрта Ворона... Юрта Ворона — «Хюндустыйн Эг» по-тувински... Это широкое болотистое плоскогорье на голом хребте, использовавшееся как перевал аратами, перегонявшими стада из монгольских степей и обратно в конце июня — начале июля, в период гроз. Перевал издавна известен по необычайно частым и мощным грозам. Много скота погало здесь от молний. Трупы, валявшиеся постоянно на перевале, служили пищей целой колонии обитавших тут же воронов. Вот откуда возникло странное название местности. Александров отчетливо вспомнил унылую вершину перевала с белесоватыми глыбами камней, выступавших там и сям среди редкой зелени мхов подобно костям и черепам погибших чудовищ. В пологих промоинах, спадавших на юго-восточную сторону хребта, росли корявые, полузасохшие деревья, побелевшие от помета птиц. Дальше вниз, к долине, болотистый купол полумесяцем охватывала темная тайга — вековые ели с древним буреломом, покрывшимся светлым и пухлым покровом мха. Там, должно быть, гнездились вороны, если только они не прилетали из скалистых монгольских гор на время гроз, когда появлялась добыча.

Двадцать лет назад молодой геолог долго ломал голову над вопросом, почему это место, казалось, ничем не выделявшееся среди тысяч таких же в море сопок и хребтов тувинской тайги, разрезанной клиньями монгольской лесостепи, странным образом притягивало грозовые разряды — молнии. В полевой книжке — дневнике того времени — Александров вычертил план Юрты Ворона и записал родившиеся в пути догадки. И в памяти возникли не мысли, не ощущения, а страницы дневника. У геологов обычно хорошо тренирована зрительная память, и Александров не составлял исключения. На плане перевала Александров обозначил направления летних ветров — гигантских потоков нагретого воздуха, приле-

тавших из Монголии. Среди десятка хребтов, загораживавших им путь на север, был выбран именно этот, не выделявшийся высотой. Уже двадцать лет назад Александров понял, что если скопище гроз над Юртой Ворона не вызвано географическими причинами, то должны быть другие, так сказать, внутренние или геологические причины. В составе пород, или геологической структуре района перевала, крылась сила, заставлявшая грозовые облака, прилетавшие из далеких пустынь, отдавать свои колоссальные электрические заряды только здесь, на этом пологом перевале, а не рассеиваться по бесчисленным толпам тувинских гор.

Большое скопление минералов с хорошей электропроводностью — металлических руд, скорее всего железа, — могло скрываться под покровом обширного болота, редких кустов и замшелых каменных россыпей. Состав горных пород хребта, в общих чертах известный, не противоречил такой возможности. Накануне войны по заявке Александрова и просьбе Тувинской Народной Республики — тогда Тува еще не входила в состав Советского Союза — была произведена магнитометрическая авиаразведка хребта новыми, только что созданными приборами. Полнейшее отсутствие признаков железных руд дало повод к недовольству геологического начальства и дружеским насмешкам товарищей-геологов. Но напряжение военной работы сразу отбросило в далекое прошлое все удачи и ошибки довоенного времени. Забыли о Юрте Ворона и неверных догадках и сам фантазер-исследователь, и его товарищи.

А теперь, в особенной обостренности воспоминаний о счастливом, здоровом прошлом, Александров вспомнил еще одно соображение тех времен, заставившее его сжать кулаки в напряжении раздумья. «Если бы кто-то, не побоявшийся смертельной опасности, смог в разгар сильной грозы проследить места непосредственных и наиболее частых ударов молний и остаться в живых, то, пожалуй, так можно было бы добиться разгадки Юрты Ворона дешевым и простым способом. Ведь, кроме железа, там могли залегать немагнитные руды цветных металлов, особенно такие электропроводные сульфиды, как галенит — свинцовый блеск, аргентит — серебряный блеск, сфалерит — руда цинка. Мощные жилы этих руд должны притягивать молнии тем сильнее, чем больше масса руд, залегающая под землей, чем длиннее и глуб-

же жилы. Что-то похожее сохранилось в глубине памяти из старинной истории свинцовых месторождений и горных разведок в Германии». Геолог закрыл глаза, сосредоточиваясь.

«Свинец... поверхностное и большое месторождение свинца... этого столь необходимого в эпоху атомной энергии металла... Если бы свинец! Давно уже выработаны его мировые поверхностные месторождения, а потребность в нем все растет... Впрочем, и цинк или серебро тоже неплохо, но лучше всего свинец!» Александров представил тяжелые слитки-чушки серого мягкого металла, сверкающе-синеватые на разрубе,— металла, так хорошо знакомого каждому промышленнику Сибири, каждому охотнику, вселяющего уверенность в успехе охоты, в борьбе с опасными зверями, добыче сторожкой дичи. Ленты и диски пулеметных патронов, готовые к отражению врага... детали для технических приборов и аппаратов, приготовляющих и исследующих ядерную энергию. С ними дело обстояло хуже: геолог смог вообразить лишь толстые листы и пластины свинца — могучую броню от вредного излучения.

— Кирилл Григорьевич, чего задумались? Застыли, будто на подсадке... Небось вспоминали тот поход? Расстривал я вас, каюсь. Вот в окно вижу: жена ваша идет и с ней еще кто-то.

— Один мой сотрудник,— ответил геолог,— бывший мой,— поправился он, нахмурившись.

Привычка все замечать и мгновенно отдавать себе отчет в увиденном помогла разглядеть усталую походку и опущенную голову Люды. Она шла медленно, будто обремененная заботами старая женщина. Снова жалость больно уколола геолога. Не только забота, хуже — обреченная безнадежность, бесплодные усилия помочь любимому человеку. Нет, кажется, он начинает нащупывать почву в дне безысходного болота, в котором барахтается уже много месяцев.

Старый забойщик по-своему понял хмурую сосредоточенность Александра.

— Мало ли, что теперь не с вами работают, небось часто бегает за советом?

— Ходят, а что?

— Я к тому, что советами тоже можно большую пользу принести... у вас опыт-то вон какой!

— Эх, Иван Иванович, добрая душа! — улыбнулся геолог. — Только советами не проживешь. Может, будь я очень старым, когда душе и телу мало чего нужно, тогда бы я жил... Посоветую дельное — и доволен! А сейчас хоть половина меня мертвая, зато другая — полна жизни по-прежнему... Да что говорить, ревматизм вас скрутил, а разве вы думаете на пенсию? Вы-то сами советами проживете?

Фомин насупился, вздохнул и, чтобы перевести разговор, спросил:

— Жена ваша, она тоже геологом работает?

— Да, — улыбнулся Александров, — настоящая геологиня!

— Как это вы сказали — геологиня? — переспросил Фомин.

— Это я выучился называть от студентов. Мне нравится, и, кажется, так правильнее.

— Почему правильнее?

— Да потому, что в царское время у женщин не было профессий, и все специальности и профессии назывались в мужском роде, для мужчин. Женщинам оставались уменьшительные, я считаю — полупрезрительные названия: курсистка, машинистка, медичка. И до сих пор мы старыми пережитками дышим, говорим: врач, геолог, инженер, агроном. Женщин-специалистов почти столько же, сколько мужчин, и получается языковая бессмыслица: агроном пошла в поле, врач сделала операцию, или приходится добавлять: женщина-врач, женщина-геолог, будто специалист второго сорта, что ли...

— А ведь занятно придумал, Кирилл Григорьевич! Мне в голову не приходило...

— Не я, а молодежь нас учит. У них верное чутье: называют геологиня, агрономиня, докториня, шофериня.

— Так и раньше называли, к примеру: врачиха, кондукторша...

— Это неправильно. Так исстари называли жен по специальности или чину их мужей. Вот и были мельничиха, кузнечиха, генеральша. Тоже отражается второстепенная роль женщины!

Старый горняк расплывался в улыбке.

— Геологиня — это как в старину княгиня!

— В точку попали, Иван Иванович! Княгиня, графиня, богиня, царица — это женщина сама по себе, ее собственное звание или титул. Почему, например, краса-

вица учительница — это почтительное, а красотка — так... полегче словцо, с меньшим уважением!

— Как же тогда — крестьянка, гражданка?

— Опять правильно! Мы привыкли издавна к этому самому «ка», а в нем, точно жало скрытое, отмечается неполноценность женщины. Это ведь уменьшительная приставка. И женщины сами за тысячи лет привыкли... Разве вам так не покажется — прислушайтесь внимательно, как звучит уважительное — гражданин и уменьшительное — гражданка. А если правильно и с уважением, надо гражданства или гражданца!

— Верно, бес его возьми! Чего же смотрят писатели или кто там со словами орудовать обязан? Выходит, что они о новом не думают, какие настоящие слова при коммунизме должны быть.

— Думать-то думают... да неглубоко, пожалуй,— вздохнул Александров.

В этот момент дверь палаты раскрылась и вошли посетители.

По обыкновению Люда уселась поближе к голове Александрова, предоставив товарищу стул в ногах постели. Пришедший геолог развернул профиль, и они занялись обсуждением наиболее экономичной разведки недавно найденного месторождения «железной шляпы».

Когда молодой геолог ушел с извинениями, Александров откинулся на подушку, чтобы дать отдых уставшей шее. Люда воспользовалась этим, чтобы уловить взгляд мужа.

— Кир, ты сегодня другой, я это услышала, когда ты говорил с Петровым.

— Не слишком ли ты изучаешь меня? — деланно усмехнулся Александров.

Молодая женщина глубоко вздохнула:

— Родной мой! Я чувствую у тебя в глубине глаз твердую точку, этого давно не было. Что случилось? Или этот славный старик,— она перешла на шепот и оглянулась на койку Фомина,— сумел чем-то подействовать на тебя? Почему у него вышло так легко? Я не могла...

— Фомин тут ни при чем, хотя он гораздо больше, чем просто славный... Но я думал, думал и понял, что должен сделать все, что могу...— Геолог умолк, подбирая слова.

— Что можешь, чтобы поправиться?..— Голос жены дрогнул.

— Ну, хоть не поправиться, но нервы привести в порядок — это прежде всего! Я слишком много бился о непроходимую стену... слишком долго переживал свое несчастье. Это не могло не сказаться, и я калека не только физически, но и духовно. Так надо попробовать вылечиться духовно, если уж физически нельзя!

Люда низко опустила голову, и слезы часто закапали на край подушки геолога. Александров погладил жену по горячей щеке.

— Не горюй, Людик! Как врачи отпустят, поеду в санаторий. Еще недельки две... Хорошо будет переменить место.

— Я не от горя, Кир. Я оттого...— жена громко всхлипнула и сдержалась отчаянным усилием,— что ты как прежний, не сломанный.

— Вот и хорошо. Теперь ты тоже можешь поехать...

Люда с острым подозрением посмотрела на мужа. Тот спокойно встретил ее испытующий взгляд. Жена молчала так долго, что Александров заговорил первым:

— Люда! Обмана нет, сама видишь, все чисто.

— Д-да... у тебя твердые глаза и вот морщинка,— Люда провела мизинцем около рта мужа,— горькая, усталая, но больше не жалобная... Все так внезапно...

— Всякий перелом внезапен. Но ты ничем не рискуешь — я буду в санатории, никуда не денусь, если что — приедешь.

— Будто ты не знаешь, что там у меня со связью неважно. Пока туда и назад — целый месяц.

— А я в санатории должен быть три месяца!

— Хорошо, поговорим потом.— В тоне жены Александров уловил нотку неуверенного согласия.— Я хочу расспросить Ивана Ивановича, чем он на тебя подействовал.

— Светлыми жилками! Еще, Люда, чтобы не позабыть: в моем столе в нижнем ящике — знаешь, где старые материалы,— мои дневники тридцать девятого года. Принеси, будь добра!

— Хорошо. Что-нибудь вспомнилось?

— Иван Иванович напомнил насчет лунного камня... Надо найти характеристику пегматитов той жилы...

— Значит, уезжаете, Кирилл Григорьевич?

— Завтра! Вы что-то задержались здесь, Алеша!

Унылый радист по-детски обиженно сложил губы.

— Черт, не зарастает рука, и держат и держат...

Иван Иванович уехал в прошлую среду, завтра — вы. Совсем пропаду тут один. Привык я к вам, а Иван Иванович уехал — так что-то оборвалось во мне, будто отца проводил.

— А сначала-то спорили!

— Так ведь от неосмыслия. Какой старикан хороший! Около него и жизнь полегче кажется. Было бы таких людей побольше, и мы побыстрей до настоящей жизни доходили...

— Это вы правильно, Алеша! Молодец, что поняли...

— За вами кто приедет, тетя Валя?

Александров представил себе маленькую, очень молодого выглядящую женщину-шофера и улыбнулся. Валя всегда казалась ему девчонкой по первой их встрече.

— Какая же она тетя? Разве вы ее не видели?

— Видел. Кто ее не знает! Она, как вы, еще в республике начала работать. Только ведь женщина на возраст, неудобно Валею называть. Это для вас — другое дело, уважает она вас очень здорово, сама говорила. Чем-то вы ей помогли.

— Да ерунда, ничем не помог. А возраст ее разве такой большой?

— Тетя Валя и не скрывает: она двадцать четвертого года рождения.

— Ну, понял теперь! Если вы — сорокового года, тогда она для вас тетя.

— Точно, сорокового. Как вы угадали?

— По разговорам вашим с Иваном Ивановичем.

Радист хотел что-то спросить, но вошедшая сестра позвала его на рентген.

Александров, оставшись один, с удовольствием подумал о завтрашней встрече с Валею. Геолога и шофера связывала крепкая дружба, не ослабевавшая, несмотря на годы и редкие встречи. В разгар Отечественной войны в далекой тайге они встретились — девятнадцатилетняя девушка, ставшая шофером, чтобы заменить ушедших на фронт, и геолог, исполнявший правительственный приказ: найти нужное для войны сырье. С тех пор прошло шестнадцать лет, очень многое изменилось в жизни

и в республике, теперь ставшей областью Советского Союза. Валя — твердый и верный человек, и она вспомнит, как когда-то сказала, что все бы сделала для него. Теперь пусть сделает!

* * *

Валя согласилась. Весь персонал больницы вышел провожать геолога, когда тот, неуклюже переставляя кофты, влачил свое огруженное и ослабевшее тело через залитый солнцем двор, наотрез отказавшись от предложения внести его в машину. Опечаленный радист нес в здоровой руке небогатый скарб Александрова. Короткое сердечное прощание, и зеленый «ГАЗ-69» понесся по гладкому шоссе в направлении поселка. Александрову надо было заехать на квартиру, чтобы взять нужные вещи. Никто не мог помешать ему: Люда уже около двух недель находилась в тайге. Валя отвезет геолога вместо санатория... так близко к Юрте Ворона, как сможет подойти машина. Александров помнил избушку промышленника, стоявшего всего в шести километрах от перевала. Правда, это было в тридцать девятом и зимовье давно могло разрушиться, но наверняка появились новые. Конец не близкий. Пока он будет собираться на квартиру, Валя договорится с начальством. А санаторий получит телеграмму с извещением, что больной приедет с опозданием недели на три из-за большой слабости.

Простой план удался, как был задуман. Асфальтовое шоссе сменилось гудроном, гудрон — серой щебенкой, а «газик» бежал и бежал, взвывая редкую пыль, на юг, к желтоватому небу Монголии, переваливал хребет за хребтом. Геолог молчал, сидя в неудобной позе. Сильно согнувшись, он вцепился в дужку на переднем щитке и смотрел на дорогу. После шестимесячного заключения в постели ход машины казался полетом, а таежные сопки, оголенные хребты и степные долины — родным домом, более приветливым, чем удобная квартира в городке.

Александров не замечал, что Валя искоса следила за ним, насколько позволяла дорога. В серых добрых глазах молодой женщины иногда показывались слезы. Слишком велик был контраст прежнего, мужественного, полного веселой энергии геолога и молчаливого беспомощного человека с бледным, одутловатым лицом и рыхлым, располневшим от лежания телом. Где он, тот сильный друг, к поддержке которого она прибегала в такие минуты

жизни, когда каждый, а женщина в особенности, нуждается в ощущении верной руки, в надежной помощи и правильном совете? Никогда не забудет Валя их первой встречи. Она вызвалась сама в далекий рейс по глухой таежной дороге — прииск нуждался в муке, но больше одной машины по военным условиям не смогли выделить. Старенький «ЗИС» нагрузили добросовестно—едва не четыре тоннами, и Валя пустилась в пятисоткилометровый путь с бодрой независимостью своих девятнадцати лет и годового стажа. Мороз свободно проникал в щелястую, расхлябанную кабину. Солице яркого зимнего дня пригревало, сгоняя серебристый узор изморози с пожелтевших от времени триплексных стекол. Лишь потом Валя поняла, что подобный рейс зимой на старой и одиночной машине был нелегко и для опытного шофера. Видимо, уж очень был умучен и задерган их большой завгар, что уступил Вале и согласился отправить ее одну. Выносливый «ЗИС» старательно преодолевал подъем за подъемом, и только гулкий треск мотора и надсадный вой передач свидетельствовали о том, как тяжело трудится машина. С перевалов машина мчалась бесшумно, но Валя, понимая, что не сможет удержать «ЗИС» его ненадежными тормозами, опасалась давать машине сильный разгон. И снова выла первая или вторая передача с самого начала следующего подъема, грелся и дымил старый мотор и требовал добавочной порции масла. Валя проехала двести восемьдесят километров. Кончились последние придорожные избушки — зимовья, где у обитавших в них охотников или лесных объездчиков можно было обогреться и выпить чаю, перекусив простецким шоферским запасом. Солнце село, глубокие синие тени стали заполнять пади и распадки, огоньки звезд зажглись над почерневшими хребтами справа. Мороз крепчал, тонкая пленка ледяных кристаллов стала затягивать стекла кабины, вынудив Валу приоткрыть ветровое стекло. Ветер резал как нож, глаза слезились, лицо ломило, и застывали руки в вытертых меховых варежках. Дорога скрылась в сумерках, и Валя зажгла фары. Фары и тормоза — два недостатка старой, во всем остальном превосходной машины. Слабый желтый свет не доставал до изгибов дороги — казалось, что накат исчезает в неведомом направлении, сливаясь на ровных участках с поверхностью снега. Откосы вставали внезапными чернеющими громадами, склоны долин вдруг обрывались в загадочную глуби-

ну. Ели, покрытые толстыми снежными шапками, стояли, будто не тронутые веками. Опасение стало закрадываться в отважную душу девушки. Как никогда, отчетливо почувствовала она полную зависимость от исправности своей машины. Она прошла уже много десятков тысяч километров, много раз ремонтировалась. Кто может определить, какая часть мотора или шасси сейчас находится на пределе износа или усталости металла? Любое повреждение грозит тяжелыми последствиями. Валя не думала о себе, а о людях, которые ждут муки на затерянном в тайге, среди жестокой стужи и снега, прииске. Она старалась представить себе суровых приискателей, их озбоченных женщин, в ожидании слушающих машину — звук мотора в молчаливой зимней тайге разносится на десятки километров. Валя знала, что транспорт муки запаздывал — нередкое событие во время военных трудностей. И если могучая сила ее машины застынет на зверском морозе здесь, где сто пятьдесят километров от жилища в ту и в другую сторону, найдутся ли у нее силы дойти до прииска за помощью? Девушка почувствовала настоящий страх — впервые ответственность водителя в дальнейшем зимнем рейсе представилась ей с полной ясностью.

Валя остановила машину. Не выключая мотора, она долго прыгала и бегала по узкой дороге, чтобы хорошенько согреться. Потом зажгла переноску и тщательно осмотрела машину. Мотор тихо урчал на малых оборотах, будто радуясь отдыху.

Валя с нежностью погладила облезлый широкий капот, укутанный двойным утеплителем. Бензина оставалось не больше полубака, и девушка решила заправиться. Чтобы скорее налить ведро, она попыталась повернуть бочку в задке машины, открыла борт и упустила ее. Бочка слетела на дорогу, и девушка оказалась не в силах поставить ее обратно без накатных жердей. Идти далеко по глубокому снегу за жердями девушка не решилась, боясь оставить работающую машину. Однако Валя быстро сообразила, что, залив полный бак, она может оставить бочку у дороги, с тем чтобы взять ее на обратном пути. После второй заправки Валя смогла бы втащить ее в машину. Ободренная найденным выходом, девушка тронулась в путь. Недавний снег, рыхлый и крупный, покрыл дорогу неглубоким слоем, искрившимся в свете фар, предательски скрывая границу твердого наката. Чуть в сторону — и машину цепко захватит мягкий снег, по-

тащит с дороги. Для одинокого водителя это будет равносильно серьезной поломке. Валя крепко сжала негладкий черный руль, удерживая тяжелую машину по углубленным канавкам наката, намечавшимся под пушистым сверкающим одеялом. Рыхлый снег скрадывал звуки, машина будто погружалась в бездну молчания, и даже громкий сухой треск, столь характерный для «ЗИСа» с его легким глушителем, не разносился более по распадкам и склонам. Свет фар низко стелился по широкой канаве дороги, точно стекая по ней в чернеющую впереди пропасть. Над этой световой речкой нависало угольно-черное от контраста небо, вызвездившееся от свирепого мороза, крепчавшего с каждым часом. Ни огонька, ни дымка, никакой жизни в оцепенелой череде лесистых сопок и заметенных ущелий!

Час-другой машина упорно шла. Спидометр давно был испорчен, и Валя могла лишь приблизительно оценивать пройденное расстояние по времени. Увы, оно не могло быть велико — необходимость осторожности на узком накате горной дороги заставляла ехать со скоростью около тридцати километров. Но и такая скорость требовала большого напряжения. Стекла кабины покрылись слоем намерзши, но Вале было жарко от волнения и тревоги. Темное чувство близкой беды не отступало, а усиливалось, как будто на этом перегоне машиной владела не она, а недобрые силы горных высот, снегов и мороза. Но машину одолели не силы таежных просторов, а крохотные частицы воды и грязи в плохом горючем военного времени. Оно выдержало сотни переливов, прежде чем попало в старую бензобочку в кузове Валиной машины. Уронив бочку на дорогу, девушка взболтала отстой, прибавив еще ржавчины со дна бочки.

Когда лучи фар уперлись в очередной подъем, сократив видимость, ближе придвинулась стена темноты. Мотор дал первый перебой. Неровные, резкие выхлопы учащались, сила двигателя падала, машина начала дергаться, будто спотыкаясь. Валя включила первую передачу, вытянула подсос и прибавила оборотов, надеясь прочистить подачу собственной тягой мотора. Несколько минут, закусив губы, девушка маневрировала скоростями и оборотами, надеясь дотянуть хотя бы до вершины перевала. Если бы дойти туда, тогда не страшно остановить мотор и прочистить подачу: потом, на спуске, легко завести мотор накатом машины. Старый, разваливающийся аккумуля-

лятор обладал малым запасом электрического заряда, а старый мотор с подношенными контактами заводится нелегко — это девушка хорошо знала и знала еще, что для ручной заводки «ЗИСа» надо иметь мужскую силу.

Худшие опасения Валя оправдались. Мотор окончательно заглох, так и не подняв машину на перевал. Валя выскочила и подбросила под колеса поленья, которые возила с собой вместо горного упора. Экономя заряд, она, не пользуясь переноской, сняла отстойник, продула бензопровод и как бешеная скакала на темной дороге, хлопая себя застывшими руками. Потом, забравшись в заледеневшую кабину, Валя с замирающим сердцем нажала на стартер. «В-ввв... В-вввв...» — лениво, точно спрсонок, завращался двигатель, другой, третий раз. Валя скупилась расходовать драгоценную зарядку. Мотор не пошел. Девушка прижала кнопку подольше, глухо зашумел набирающий обороты двигатель, но даже не чихнул. А свирепый мороз старался забраться под накрытый Валиной шубой капот и сделать двигатель таким же недвижимым и застылым, как все на огромном пространстве в зимней ночи, среди тувинских гор.

Девушка действовала с быстротой отчаяния, думая лишь о том, как успеть в состязании с жестоким холодом. Чтобы не рисковать больше, продула карбюратор, еще раз проверила бензопередатку, прочистила контакты прерывателя. И опять попытка завести мотор кончилась протяжным звоном отказавшего стартера. Еще раз... еще... Больше нельзя было рисковать разряжать аккумулятор на морозе, и оставалась надежда только на ручку.

Напрягая все силы, обливаясь потом, замерзавшим по краю шапки, с растрепавшимися и заиндевевшими волосами, девушка вращала рукояткой неподатливый шестицилиндровый двигатель, упрямо не заводившийся. Только один раз он слегка фыркнул и осторожно повернулся, как поворачивается, пытаясь подняться, тяжело упавший человек, но тут же затих, уступая цепенящему холоду.

Валя выбилась из сил. Где ей, самонадеянной, слабой девчонке, завести могучий мотор! Где ей выполнить важное назначение — доставить муку голодным работникам прииска! Как глупо было браться за это суровое дело! Вот что получилось — она наедине с застывающей машиной, без сил, без настоящего умения. Придется сливать воду и масло, разводить костер, греть то и другое, а у нее лишь одно ведро. Затем снова пробовать крутить

двигатель, задыхаясь и надсаживаясь, а он поворачивается так медленно! Будь сила, рванула бы рукоятку покрепче, завертела быстро-быстро, как это делают товарищи-шоферы. Нет сомнения, что мотор уступил бы и налился теплом, дал заряд в чуть живой аккумулятор... Почему мало силы у нас, женщин? Есть же такие, которые не уступят любому мужчине... Почему она так постыдно слаба?! И почему это должно было случиться тут, где нет ни одной живой души на сотню километров? Как злобна судьба! Мог бы встретиться охотник, проезжать другой водитель или любой путник-мужчина...

Валя вытерла затвердевшим рукавом слезы и пот с лица, зябко вздрогнула всем телом. Мороз одолевал ее, обессилевшую, а шуба лежала на моторе, спасая последние крохи оставшегося в нем тепла.

Опасное оцепенение вкрадчиво охватывало девушку, такую маленькую, бессильную, бесконечно одинокую в грозную зимнюю ночь у замерзающей машины.

Опомнившись, Валя стряхнула забытие и, едва дыша, заметалась перед машиной в попытке согреться. Она хотела только одного: чтобы сейчас здесь оказался путник. Он помог бы ей, и она исполнила бы свой долг!

Невозможная мечта, неисполнимое желание! Здесь, далеко от всякого жилья, даже от избушек охотников, ночью, в такой мороз, кто мог быть он, тот безумный путник? Что могло заставить его появиться, откуда?

Но девушка, загипнотизированная своим желанием, сжимала остро болевшие, засунутые под мышки кулаки, твердя: «Приди, приди сюда, помоги...» Она громко повторяла свой призыв, и ей показалось, что тягостно молчавшая тайга откликнулась. Валя замерла, вслушиваясь в тишину звездной безветренной ночи. Но безмолвие чаще голых лиственниц и заснеженных камней убило ничтожную искорку надежды. Валя умолкла, порыв ее угас. Несколько минут девушка еще вслушивалась в ночь, затем повернулась и понуро пошла к мрачно черневшему грузовику. Достала ведро, сдернула шубу, закуталась в нее и стала открывать капот, чтобы добраться до спускных краников радиаторов. Внезапно едва слышный звук привлек ее внимание. Слева, откуда в долину, по которой вилась дорога, впадал широкий распад, раздалось слабое пощелкивание. Вне себя девушка отпрянула от машины. Да, слабое пощелкивание!.. Серд-

це Вали остановилось. Задыхаясь, она втянула ртом жгучий морозный воздух и снова вслушалась.

Легкий хруст и пощелкивание, хруст и пощелкивание... Тупой деревянный удар! Валя достаточно долго работала в Туве, чтобы понять эти звуки — приближение оленьих нарт. Езда на нартах мало принята у местных охотников, предпочитающих зимой и летом верховой способ передвижения. Нартовая езда практиковалась работниками Севера: геологами, прискателями, геодезистами.

Сдавленный вопль вырвался у девушки. Боясь, что неведомый ездок свернет куда-либо в сторону, она закричала испуганно и дико. Совсем близко, за темной стеной леса, громкий мужской голос ответил ей. Высокие беговые нарты вылетели из распадака и раскатились по непривычно широкой для них дороге. Белый беговой олень шарахнулся от черневшей на дороге машины. На таких оленях ездили в одиночной запряжке. Трудно было подобрать пару этим сказочным пожирателям таежных пространств, легко проделывавшим по сто двадцать километров в день сквозь тайгу, замерзшие реки и ледопады, крутые горные тропы.

Крупная фигура в собачьей дохе вывалилась из нарт, проворно ухватившись за задние копылья. Первобытный тормоз действовал надежно. Еще минута — и ездок приблизился к девушке, держа за спиной повод и загораживая путь рвущемуся вперед оленю, нетерпеливо толкавшему его мордой. Это был геолог Александров, тогда двадцатитрехлетний начальник партии, бешено мчавшийся сквозь тайгу с важными пробами из только что пройденной разведочной штольни. С полуслова геолог понял, что случилось. Александров умел водить машины и действовал быстро. Белый бегун, по имени Высокий Лес (все беговые олени имели собственные имена, в отличие от безыменных трудяг, ничем не выделявшихся из общей массы), был отведен подальше и крепко привязан. Остывший мотор еще не успел замерзнуть, и Александров не стал терять время на его разогревание. Пользуясь своей незаурядной силой, геолог принялся неистово крутить рукоятку, едва только убедился в исправности подачи и зажигания. Все было так, как представлялось Вале в ее мечте. Могучая, широкоплечая фигура, свободно и быстро вращавшая заводную ручку, такую неподатливую для слабых рук девушки. Мотор сначала не отзывался даже силе геолога, но потом, как бы очнувшись,

фыркнул раз, другой, громко чихнул и вдруг бодро пошел. Работа двигателя выравнивалась, и, пока он разогревался, геолог заставил измученную девушку выпить немного спирту и поесть. Александров отвернул пробку бензобака и слил весь нечистый бензин с иголками льда, скопившийся на дне бака, чтобы исключить повторение инцидента. Геолог действовал так уверенно, говорил так весело, что все происходившее полчаса назад показалось девушке приснившимся кошмаром. А сейчас разогретый мотор ласково журчал на малых оборотах, путь до прииска был для исправной машины не столь уж велик, и поздняя ущербная луна поднималась из-за хребтов.

Валя совершенно ободрилась, даже усталость прошла под спокойным и приветливым взглядом геолога. Тот обтер руки поданными Валею концами и протянул девушке крепкую горячую ладонь. Валя схватила ее и, волнуясь, не зная, как выразить переполнившее ее чувство, негромко сказала:

— Нет такого, чего я бы не сделала для вас! Спасибо вам, хороший!

— Зачем, Валя! А вы? Разнес бы меня Высокий Лес, и сидел бы я на дороге со сломанными нартами... и тут вы с вашей машиной! — Геолог обвел взглядом девушку, такую маленькую, хрупкую рядом с огромной машиной, заразительно рассмеялся. — Будете трогаться — не забудьте, что мост застыл, да и коробка...

При лунном свете Валя видела, как он отвязал оленя, и тот сразу же понесся с места, взяв разманистой иноходью. Геолог едва успел укрепитсь на сиденье, как нарты скользнули за гребень увала и скрылись в темноте.

— Счастливой дороги! — донесся из мрака голос, абсолютно уверенный, что никакой другой дороги и не будет, только счастливая.

Этот одинокий геолог с похожим на белый призрак высоким оленем, как сказочный герой, несущийся в царстве снега и гор, через сотни километров замерзшей тайги, передал девушке свою уверенность. Крикнув что-то прощальное, Валя влезла в кабину. С минуту она вращала мотором застывшую коробку, потом осторожно включила скорость, дав побольше оборотов. Медленно струнулась тяжелая машина, раза два буксанула на подъеме и пошла послушно преодолевать перевал за перевалом. Угрюмая луна освещала такую же мертвую тайгу, но все было уже по-другому. Сзади мчался, уда-

ляясь, приветливый сильный геолог, а впереди с каждым перевалом близился прииск. Еще не погасли звезды, а Валя явилась туда в облаках пара и, несмотря на крепчайший предрассветный мороз, была встречена всем населением прииска. Сердечное спасибо суровых приискателей и ласковое гостеприимство явились наградой за пережитое...

...Валя очнулась от воспоминаний. Дорога свернула в широкую степную долину, и машина выбросила налево хвост густой пыли. Жаркий день морил дукотой, предвещая дождь, и Валя с тревогой посмотрела на Александрова. Он совсем навалился на скобу, почти прижимаясь к ветровому стеклу мокрым от пота лицом. Валя сообразила, что геолог удерживается на сиденье лишь руками, потому что вся нижняя часть его туловища лежит, как неживой тюк.

— Может быть, остановимся? — предложила Валя.

— Как хотите... Вы устали?

— Немного, — солгала Валя.

Александров вздохнул с облегчением. Машина остановилась на сухой просторной поляне, под сенью темных кедров. Валя поставила кипятить чайник, а геолог, шатаясь и вихляясь на костылях, углубился в заросли кустов. Его неважное состояние усугублялось тем, что некоторые естественные потребности превращались в нечто сложное и постыдное из-за тягостной беспомощности.

Валя украдкой посмотрела ему вслед, и жалость снова резнула ее по сердцу. Стараясь отвлечься от невольного сопоставления двух обликов Александрова, она захлопотала с едой. Геолог вернулся багровый от усилий и почти упал на траву у костерка. Валя постелила пальто, положила под голову мягкий вещевой мешок, и геолог, полежав на спине, постепенно ожил. Чашка крепкого чая — и Александров закурил папиросу.

— Вы раньше не курили вроде? — спросила Валя, чтобы как-нибудь нарушить непривычное для нее молчание.

— Всего месяц, как курю... раньше не требовалось, — натянуто усмехнулся Александров.

— Вы зачем едете так далеко? Поискать что-нибудь по вашей части?

— Вы угадали, Валя!

— Я так и знала, что вы иначе не сможете... Только как теперь-то?..

— А ползком! — улыбнулся геолог, и в его лице

мелькнула прежняя непобедимая уверенность хозяина тайги.

Сердце Вали радостно ёкнуло. Сквозь незнакомую маску она распознала дорогие черты старого друга.

— Но так ведь нельзя!

— Всем нельзя, мне можно,— в прежнем тоне продолжал геолог.— Сейчас все зависит от вас! Довезите и помогите разыскать промышленника или лесника поблизости от Юрты Ворона.

— Чего вам дался этот перевал? Там, говорят, грозы страшные, нынче как раз время...

— Дело не в перевале,— уклонился Александров.— Ну, это впереди, а мы еще не поговорили о вас. Как вы, Валя?

— У меня по-старому, Кирилл Григорьевич! Работаю, много читаю, опять же общественные дела... Словом... без перемены,— ответила Валя на недосказанный вопрос геолога.

— Жаль! Очень вы хорошая, Валя... и хорошенькая,— грустно и серьезно сказал Александров.

— А мне не жаль — я вам раньше объясняла. Дружья и товарищи мужчины, кто по возрасту бы мне соответствовал,— двадцать второго, двадцать третьего, двадцать четвертого года рождения. Это те самые годы, что приняли на себя в войну первый страшный удар врага. Мало их осталось в живых, ну а нас, их подруг, слишком много...

— Ну, а если постарше, разве плохо?

— Кто постарше, вот как вы, например...— Валя вдруг покраснела,— они давно женаты, кто порядочный, а кто меж двор шатается, за тех и идти ни к чему. Как иначе? Хороший, да женатый, да с детьми — я так не могу. Свое счастье с чужого несчастья начинать — не выйдет у меня, а уж если детишки, то и говорить не о чем. Выходит, на нашу долю, кто одного со мной возраста, остались мальчишки — тьфу, ерунда! — либо кто неприканный, пьяница да бабник остался! Сами видите, получается такое замужество... только себя уронишь...

— Но ведь может же встретиться подходящий и... не женатый еще, а то и вдовец хороший.

— Может, само собой, да не встретился. Ну что говорить, судьба не привела,— лицо молодой женщины посуровело,— но впереди большая радость намечается. Жду ее нетерпеливо!..

— Что же такое? — даже приподнялся на локте Александров.

— Решило наше государство важнейшее дело: чтобы каждый мог получить знания, какие хочет, по собственному желанию и вкусу, — я про народные университеты. Это дело громадное, и тяга у народа к тому, чтобы искусство, книги, науку понимать, несказанная. Не для звания там какого, а для себя, чтобы жизнь интересней стала...

— Эх, Валя, вам бы с Фоминым повстречаться, есть такой старый горняк, вы ему прямо родная душа... я в больнице лежал с ним.

— С горняком вашим когда встретимся, а в университет этот мне поступить сейчас — самая большая работа. Говорят, заявлений столько, что надо еще десять других открывать...

— Я могу написать письмо в Кызыл, чтобы вам помогли. Не помогут поступить, так посоветуют, где добиваться, а это уже полдела, самое важное — знать, куда правильно удариться!

— Ой, Кирилл Григорьевич, дорогой, напишите! У меня есть всякие рекомендации, но у вас будет по ученой линии.

— Напишу сейчас! — Геолог извлек из полевой сумки конверт и бумагу и принялся писать.

Валя с загоревшимися глазами следила за размеренным движением его руки.

* * *

Машина вырвалась наконец из зарослей после долгого мотанья на ослизлых корнях, буксовки в чернеющих торфяной грязью мочажниках. Прекратилось тарахтенье веток по кузову, замолк и мотор. В наступившей тишине стал слышен слабый шум перегретого радиатора.

Александров, едва живой после езды по бездорожью, с облегчением увидел дымок, поднимавшийся из железной трубы низкого, добротного срубленного зимовья. Качковатая поляна с севера точно забором огораживалась «флажными» лиственницами — толстыми деревьями, лишёнными веток с одной, наветренной, стороны.

На жердинной лавке у входа в зимовье сидел, видимо, давно поджидавший машину пожилой тувинец. Едва «ГАЗ-69» остановился, как, собрав в приветливой улыбке все морщины обветренного лица, хозяин поспешил навстречу гостям.

— Хорош машина, куда заехал... их! Баба-шофер... хорош! А я чай готовил.— Тут он увидел тяжело вылезавшего на своих костылях Александра и замолк от удивления.

— Ну, Валя, дорогая, спасибо вам! Жив буду — век не забуду! — Растроганный тон геолога был несозвучен полушутливым словам.— Только вы это смогли сделать. Теперь мое дело выйдет: отсюда до Юрты Ворона не больше десяти километров...

Молодая женщина смутилась, покраснела и, ласково взявшись за локоть геолога, сказала:

— Я так рада! Только не понимаю я, что вы тут будете делать, не вижу, чего задумали. Скрываете вы от меня серьезное что-то... Раньше вы так не делали! Значит, дружба дружбой, а табачок — врозь?

— Ладно, Валя, вам я скажу... Но никому ни слова! — И геолог рассказал о своем плане поисков месторождения на перевале Хюндустыйн Эг.

— А вы-то сами?.. Как решились! — В тоне молодой женщины звучал явный испуг.

— Ну, что я? А ваши сверстники, что лежат в украинских степях и лесах Прибалтики,— они могли, если нужно!

— Я не о том. Если это так сильно нужно, то почему же раньше...

— А, понял! Раньше простой расчет, да, расчет, а не чрезмерная осторожность. Результат очень сомнителен, риск безусловно велик, а другого, не менее важного дела — невпроворот.

— Ясно,— протянула Валя.— Теперь вам такому можно идти на очень сомнительный результат. Какой угодно риск, пусть все сто против одного — вдруг да выйдет. Вот как вы себя цените. А о близких вам людях — о жене, о друзьях — подумали?

— Подумал. Жена, друзья — это геолога Александра, которого уже нет, и только вопрос времени, на сколько у кого хватит памяти.

Валя, словно подхлестнутая, отстранилась от геолога:

— Вот как! Спасибо, отблагодарили! А я сейчас кто? И впредь буду то же, не беспокойтесь!..

— Поймите меня верно, Валя. Если я выиграю этот один шанс... тогда... Ведь я человек самый обыкновенный, со слабостями, и мне нужно выздороветь... душев-

но. Посмотрите на меня — разве вы не видите, после какой я передрыга?

Валя опять залилась краской и вдруг обняла Александра, всхлипнула и, стыдясь своего порыва, бросилась в машину.

— Я приеду... когда дадите знать... Только, только... берегите себя, как сможете... Я хочу сказать, чтобы вы не смели нарочно...

— Обещаю вам, Валя! — твердо ответил геолог. — Только куда же вы? Сейчас будем чай пить, потом отдохнуть надо.

— Не надо! Боюсь, что просрочила я путевку. И... я, я... реветь буду! — заключила молодая женщина, прикрывая глаза; на руль закапали слезы.

Зафырчал мотор, и не успел геолог двинуться, как машина развернулась и умчалась по извилистой тропе в заросли. Александров долго смотрел ей вслед, слушая замирающий вдали шум мотора.

Хозяин зимовья решил нарушить этикет, заговорив первым:

— Зачем ссорились? Шибко худо получилось — машина уехал, ты остался... Что делать будем? А я чай готовил! Почему не приказал бабе оставайся?

Геолог успокоил лесника. Выпив положенный чай, Александров повалился на нары и забылся тяжелым сном. Он проснулся, когда солнце уже садилось. Дверь в зимовье была открыта. Пучок багульника, глевший на угольях в старом тазу, распространял резкий аромат, оборонявший спавшего геолога от комаров. Хозяин сидел на пороге с деревянной, окованной медью трубкой в зубах и смотрел на юг. Там громоздились тяжелые тучи, густолиловые в свете зари. Сеть далеких молий внезапно зазмеилась в лиловых громадах. Как будто из-под земли донесся дальний раскат, и в нем было столько угрозы, что Александров вздрогнул. Устремленное вдаль лицо лесника было бесстрастно и так неподвижно, что казалось в сумерках деревянным. Даже трубка не дымилась, крепко зажатая в лежавшей на колене руке. Александров подполз к двери. Хозяин зажег погасшую трубку и поднес спичку к папиросе геолога. Оба молча курили, пока Александров не решился наконец задать важный вопрос о коне для поездки к перевалу. Непроницаемые глаза хозяина тщательно оглядели гостя.

— Не понимай я, кто пускал?

— Как — кто пускал? — переспросил геолог.

— Тебя кто сюда пускал? Совсем не можешь ходить, совсем плохой, ай-ай! Зачем приехал? Пропадать приехал, однако!

Геолог стал объяснять цель своего приезда, не говоря правды. Ему надо наблюдать грозу на перевале Юрта Ворона, чтобы понять, откуда приходят тучи и как предсказывать непогоду для путников. Он двигаться не может, но сидеть в шалаше, смотреть и писать может...

Хозяин слушал, не перебивая.

— Кто тебя посылал, все путал, — заговорил тувинец, когда геолог кончил свою речь. — Теперь через Хюндустыйн Эг десять лет скот не ходит. Наша республика, как в Союз вошел, тогда и кончал. Такой опасный дело напрасно получается. Почему так, какой дурак думал?

Александров сообразил, что этот мифический дурак — он сам. Обмануть сына природы с его серьезным отношением к жизни и вдумчивости таежника оказалось делом не столь простым, как сначала представилось Александрову. Стыдясь своей ненужной лжи, геолог сказал леснику все, как старшему брату или отцу, не утаивая более ни своей болезни, ни конечной цели.

В сгустившейся темноте он не мог разглядеть лица тувинца. Хозяин долго набивал трубку и возился с отсыревшей спичкой, потом курил длинными и резкими затяжками. Вспышки трубки освещали его нахмуренный в усилии мысли лоб и опущенные в землю, прикрытые веками глаза.

— Я тебе помогать буду, — спокойно произнес он, и Александров облегченно вздохнул. — Я думаю, ты правильно живешь. Сам тебе помогал бы... да вот один только сынка у меня был, да помер, баба оставил и два ребята. Теперь мне думать надо, опасное дело ходи! Еще сколько лет помогай им надо.

Александров протянул руку и положил ее на костистое, со сморщенной, шероховатой кожей запястье хозяина. Тот понял этот жест безмолвной благодарности и теплово сказал:

— Теперь чай пьем, потом спи надо. Утром рано пойду за конем. Вещей тебе мало, продукты и тебя сразу свезем, конь сильный. Устал, однако, давай ложись!

Хозяин ловко устроил для геолога удобное ложе, настелив на дощатые нары толстый слой душистых ветвей.

Лесник быстро уснул, а геолог еще долго лежал в темноте, с благодарностью думая об исполненной уважения к чужим чувствам и думам бескорыстной помощи.

Ни Валя, ни лесник не произнесли сакраментальных слов: «Потом отвечай за тебя», — слов, которые так часто попадались в книгах, что он начал думать, будто фальшивый страх ответственности составляет чуть ли не главное ощущение многих людей. А в жизни случилось как раз наоборот. Никто не старался приписать ему свои случайные домыслы и, заподозрив его в нелепых намерениях, обнаружить свою мнимую проницательность. Даже хозяин, который имел бы на это право после того, как геолог пытался солгать ему, сразу же поверил настоящему объяснению. Александров понял, что чуткость помогавших ему людей выработалась в суровой жизни, где каждый немедленно отвечает за свои личные промахи перед самим собой и ближайшими товарищами. Эти люди привыкли полагаться прежде всего на себя и, главное, доверять себе. Геологу привиделась поддержка не двух, а тысяч таких людей, готовых ежеминутно прийти на помощь. Уверенность в невиданной силе коллективов, способных выполнить любую сказочную задачу и составить опору нашего общества, как-то ободрила Александрова. Нервная усталость последних двух дней от огромного напряжения бессильного тела и тревоги за выполнение намеченного отошла, сменилась покоем, растворилась в крепком сне.

* * *

— Э-эээй, э-ээээй! — Надрывный крик разносился по пустому плоскогорью Юрты Ворона.

Александров узнал хозяина, выполз из растрепанного ветром шалаша и попытался откликнуться. Простуженное горло издавало лишь сиплые, слабые звуки, но слух таежного охотника не упустил их. Скоро тувинец показался у шалаша Александрова. Он внимательно оглядел обросшего геолога, закопченного, в отсыревшей и прожженной одежде, изорванной судорожным ползанием по кочкам и багульнику.

— Плохо тут тебе, инженер. Я продукты привези, еще вот — куртка мой. Смотри, совсем рваный стал. Табак вот... Ой, какой ты, паря! — сморщился он от огорчения, когда геолог подполз к уступу, где стояли прислоненные костыли, и поднялся, цепляясь руками за кустарник.

— Ничего,— бодрился Александр,— все в порядке...

За этими незначащими словами стояли две недели жизни на перевале Хюндустыйн Эг, настолько странной, что Александр вряд ли смог бы рассказать о ней.

В знойные дни и душные ночи геолог бодрствовал, поджидая очередное полчище грозовых туч, уже издали возвещавших свой приход тяжелым, вибрирующим грохотом. Днем тучи ползли, как стада воздушных китов, набрасывая на горы серую тень тревожного ожидания. Ночью нечто бесформенное закрывало звезды, словно подкрадываясь для нанесения внезапного и свирепого удара. Страшные удары раскалывали воздух, горы и весь мир, слепящие вспышки учащались, переходили в непрерывное полыхание извилистых полос огня, бороздивших небо по всем направлениям. Иногда гроза была настолько сильной, что от грома и сотрясения почвы мутилось в голове, уши переставали слышать.

Вертикальные столбы молний стояли повсюду, огораживая перевал, как страшную западню. Александр полз туда, где сверканье и грохот превращались в сплошной огонь и рев. Странное покалывание пронизывало все тело, в ноздри бил резкий, кружащий голову запах озона, тело, поливаемое потоками ливня, коченело под порывами ветра. Скоро геолог понял, что его, казалось бы, простая задача очень трудна. Он передвигался ползком слишком медленно, несмотря на лихорадочные усилия. Костыли не держали на скользких камнях и кочках, зацеплялись в путанице жестких веточек багульника, травы и корней. Он подбрасывал свое полуживое тело резкими толчками рук, устремляясь навстречу молниям. Словно по заговору обернувшейся против него природы, скопление молний оказывалось в таком отдалении, что он не успевал доползти, или близкие разряды прекращались слишком скоро. Александр сам себе напоминал черепаху, гонящуюся за быстрыми птицами. Насмешливо и свободно молнии уносились вдаль в тот самый миг, когда он, казалось, уже приблизился к месту их страшного буйного танца. Много раз геолог, совершенно выбившийся из сил, впадал в полубеспамятство и лежал, поливаемый холодным грозовым дождем, пока резкий ветер не приводил его в себя. Александр полз к своему шалашу, разжигал дымный костер и кое-как сушился. Несмотря на тучи комаров, он забывался лихорадочным

сном, пока грохотанье, от которого содрогалась земля, не возвещало ему о прибытии нового отряда туч. Воля к борьбе не иссякала, но, может быть, только насыщенная электричеством атмосфера гор спасала геолога, когда, казалось, он обязательно должен погибнуть от холода, сырости, переутомления и недоедания. Три-четыре раза молнии ударили так близко от него, что Александров на время слеп и глух. Окружающее неистовство грома и слепящего огня ускользало из его сознания. В этих случаях Александров упускал возможность проследить за повторными ударами молний и заметить место колышками, связка которых висела у него на шее. Назревала трагедия, сулившая бесплодный конец его усилиям. Близкая молния лишала возможности наблюдать, а только с помощью близких молний геолог мог нащупать место залегания рудного тела.

Наступили ясные, солнечные дни. Александров отдохнул от полубредового напряжения и преодолел странный гипноз горной грозы. Он смог поразмыслить над результатами своего двухнедельного житья среди молний. Геолог уверился, что под болотистыми кочками Юрты Ворона залегают металлические руды. Почти не было сомнения в большом количестве рудных жил, рассекавших в глубине плоскогорья, слабо выпуклым куполом протянувшееся далеко на запад по направлению широкой складки метаморфических сланцев, слагавших хребет перевала. Пляска молний, метавшихся между удаленными друг от друга участками, внешне абсолютно неотличимыми друг от друга, показывала широкое распространение рудных жил. Возможно, главная масса руды залегала в ядре складки, как в некогда знаменитом богатейшем месторождении свинца Брокен-Хилл в Австралии. Александров покончил с зарисовкой распределения частых ударов молний на площади перевала. Постепенно, день за днем, ночь за ночью, нащупывалось место наибольшего скопления молний при всякой грозе. Там можно было рассчитывать на самое неглубокое залегание воображаемых жил. Геолог переносил свой шалаш поближе к молниевому центру и с каждой грозой приближался к нему. Но дни шли, период гроз мог внезапно окончиться — Александров жил во все увеличивающемся нервном напряжении. Четвертый день не было настоящей грозы, а мелкий моросающий дождь только порождал тревогу, свидетельствуя, что время гроз про-

ходит. В таком состоянии и нашел геолога хозяин, разыскавший новое место его шалаша, в двух километрах к западу от прежнего.

— Ничего,— повторил геолог, избегая укоризненного взгляда лесника,— теперь уже скоро!

— Почему скоро? — оживился тувинец.— Нашел чего?

— Нет, не нашел, скоро грозы кончаются.

— Да-а,— разочарованно протянул лесник.— Скоро, неделя, я думаю.

— Ну, вот, через неделю и приезжай за мной. Еще смотреть буду.

— Пх, пх! — качал головой тувинец, ожесточенно затягиваясь из трубки, но ничего не возразил геологу.

Они выпили чаю с лепешками и медом, привезенными из селения как подарок лесника. Затем тувинец взгромоздился на коня, и Александров остался снова наедине с шелестом ветра на пустынном перевале, с неотвязной болью в пояснице и привычными невеселыми мыслями.

Прошло еще два дня — солнечных, сухих и ветреных.

Александров уныло отлеживался в шалаше, поддаваясь гнетущей усталости, не покидавшей его со времени отъезда лесника. Боль в сломанной спине не давала спать, бессонница усиливала дикое нервное напряжение, Александрову казалось, что, если только на секунду он даст себе волю, тогда мрачное душевное угнетение одолеет. Он закричит, завоет, начнет кататься, кусать и царапать землю, поддавшись темному чувству ярости и бессмысленного отвращения к себе и всему миру, не выдержав отчаянной, безысходной тоски. Геолог вцепился пальцами в кочку под головой, чтобы не поддаться накипавшему в душе жуткому желанию, и замер, не обращая внимания на комаров и залепившую глаза и уши мошкарку. Александров не знал, сколько времени прошло, когда услышал знакомый грохот. Судьба оказывала ему маленькую милость. Как корка, брошенная умирающему от голода, поможет лишь отдалить смерть и тем продлить ненужные мучения, так и приближающаяся гроза уведет его от тоски. Еще два-три часа он будет жить полно и радостно, в стремлениях и борьбе исследователя, в напряжении поиска, этого могучего, глубокого и древнего инстинкта, всегда живущего в человеческой душе!

Александров выполз из шалаша. Тусклая серая пелена затянула восточную половину неба и погасила утреннюю зарю. Ее краски померкли, ветер взвыл, покатылся по плоскогорью и вдруг утих. Остановленная ночь стала безмолвной, прекратился отдаленный гром. Железное небо тяжко навалилось на придвинувшиеся к перевалу чугунные хребты. Давящая тишина заставила геолога содрогнуться. Надежда на грозу, на возможность забыться в борьбе покидала его в момент, когда дальнейшая жизнь казалась безнадежной и невыносимой. Он отвернулся и хотел заползти в свою сырую нору, как умирающий зверь, для которого отвратительны зовы жизни и свободный простор природы. Чудовищная вспышка и сразу же последовавший за нею оглушительный удар пришпорили его, как смертельная опасность выбившегося из сил коня. Александров рванулся навстречу зеленоватым слепящим столбам, которые встали там, где он ожидал. Гроза была особенно сильной, или он сразу попал в ее центр. Непрерывный грохот будто вдавливал Александра в землю. Он крепко зажмурился, чтобы не ослепнуть от встававших перед ним гремящих столбов электрического огня, плясавших, извивавшихся исполинскими бичами, хлеставших по всем направлениям, сотрясая небо и горы. Казалось, все дрожит в ужасе перед силой этих многокилометровых электрических искр.

Геолог упорно полз, обливаясь потом под струйками холодного дождя. Оглушительный треск разодрал окружающий мир, и Александров перестал слышать, ощущая раскаты грома лишь по сотрясению тела. В глазах за плотно сжатыми веками струилась светящаяся пелена. Он потряс головой, раскрыл глаза, но пелена не проходила, и геолог лишился ориентировки. Это был конец. Как мог он теперь достигнуть своей цели? Детская обида на нелепую несправедливость судьбы, продолжавшей бить его, нанося удар за ударом, потрясла до глубины души. Александров всхлипнул, опуская отяжелевшую голову на мокрую землю, вжимаясь в глинистую почву пылающим лбом. Прикосновение к земле исцелило его, струящаяся пелена неожиданно отошла от глаз. Геолог поднял взор и увидел совсем близко целый пучок зеленых молний, ударивших в ничтожный бугор, заметный по тонкому пруту засохшей лиственницы. Там! Ловя ртом воздух пополам с пахнувшей озоном водой, охая и

всклипывая от усилий, геолог рывками бросал свое гнусно тяжелое тело, цепляясь за кочки, щебень, кустарник ободранными в кровь руками. Гремящий и светоносный удар отшвырнул Александра прочь от желанной цели, но не причинил ему ощутимого вреда. Пусть, ничего не страшно! Стена за стеной огня вставала перед геологом, земля непрерывно тряслась, ночь качалась между нестерпимым сверканием и мгновенной глухой чернотой. Но он достиг заветного холмика, разорвал шнурок на колышках и глубоко вонзил один в почему-то теплую мокрую землю. Сознание мутилось. Медленно ворочая мыслями, геолог подумал о совершенной им ошибке. Где же записка на случай, если он не переживет этой рассветной грозы? Едва он полез негнушимися пальцами за отворот куртки, как оно случилось... Все его тело до кончиков пальцев пронзило ужасающее ощущение — обжигающее, рвущее и в то же время оглушившее смертным покоем. Он не увидел и не услышал ничего, а только вытянулся в сильнейшей судороге, когда десятикилометровый искровой разряд ударил в почву рядом с ним, может быть, прямо в него. Геолог застыл ничком, обхватив обеими руками заветный колышек...

Но молния в несчетный раз пощадила его. Александр очнулся под теплым высоким солнцем. Ветер, высушивший одежду на спине, нес свежесть монгольской степной поляны. Пригретое плоскогорье расстилалось под голубым небом. Невозможно было поверить в безумный разгул космических сил, пылавших и грохотавших здесь несколько часов назад. Но колышек торчал тут, воткнутый косо и неуклюже под самым носом геолога. Александр пошевелился, приподнялся и посмотрел вокруг. Слева, всего в километре, виднелся его шалаш. Кто сможет поверить случившемуся, почувствовать бесконечный путь, который привел его сюда в грозном мраке?

Тулая боль в левом колене удивила его. Посмотрев вниз, геолог потерял дыхание. Приподнимаясь, он сделал то же, что и всякий нормальный человек, но чего не мог сделать парализованный калека! Он подогнул под себя ногу и уперся коленом в землю! Острый камешек под ним дал знать, что нога чувствует! Хрипя разом пересохшим горлом, Александр попытался снова пошевелить ногами. Они работали, двигались! Безмерно слабые, с блягающимися, как тряпки, мышцами, они жили! Александр боялся поверить себе. Прошло с четверть

часа, прежде чем он решился на вторую попытку двинуть ногами, и она опять удалась! Смутное понимание вселило робкую уверенность в потрясенную душу геолога. Один ли убийственный разряд, или неоднократные удары молний, или страшное нервное напряжение, но что-то сделало свое дело — поврежденные нервы ожили. Внезапно Александров попробовал встать, не смог и тяжело упал на бок. Но секунду ему удалось постоять на коленях... постоять на коленях... Мысли оборвались, и прерывистые рыдания огласили безлюдное плоскогорье. Безлюдное?.. Нет, там, вдали, — всадник, это едет лесник. Почему на три дня раньше? Как он узнал?..

— Утром такой гроза был... я подумал, ехать надо, тебя смотреть. Живой ты, инженер, хорошо...

— Живой я, живой! — так закричал Александров, что тувинец вздрогнул.

— Большой, что ли? Собирайся, повезу наш поселок!

— Повези, только сначала прошу: копай тут. — Геолог показал на колышек.

— Нашел? — широко осклабился лесник.

— Нашел! — с непобедимой уверенностью ответил геолог, и тувинец поехал к шалашу за лопатой.

* * *

Александров, опираясь на палку, приковывал к столу и достал из заплечного мешка тяжелый блестящий кусок свинцовой руды — галенита.

— Из жилы нового месторождения «Юрта Ворона», — с торжеством сказал он начальнику управления. — Есть смысл ставить там основательную разведку.

1958—1959

АФАНЕОР, ДОЧЬ АХАРХЕЛЛЕНА

Пламя убогого костра мерцало. Огромная равнина — рег Амадрор, обдутая, казалось, до последней пылинки, все же доставляла ветру достаточно песку, чтобы подпортить скромный ужин. Маленький лагерь геологов прижался к склонам песчаных холмов на краю сухого русла уэда. Тонко шелестели, напевая звонкую и унылую песню, пучки сухого дрина — жесткого злака Сахары. По склонам дюн с заметным шуршанием скатывался песок, смешанный с кристалликами гипса. Шестеро людей растянулись вокруг костра в одинаковых позах, прикрыв лицо от ветра кольцом рук. Только один, закутанный в просторные складки темной одежды, лежал на животе в свободной позе, высоко подперев голову, и смотрел не мигая в темную даль над костром. Отблески слабого пламени плясали в его больших темных глазах, едва различимых под покрывалом, надвинутым на лоб и закрывавшим рот. Узкая рука с длинными пальцами лениво перебирала застежки седельной сумки, подложенной под голову. Другая небрежно держала сигарету высшего сорта.

— Тирессуэн! — окликнул его низкорослый плотный человек в защитной рубаше и шортах. — Будет ветер ночью? Надо ли ставить палатки?

— Не надо, капитан, — ответил Тирессуэн, — ветер утихнет через час.

Капитан удовлетворенно хмыкнул и щелкнул портсигаром.

— Почему ты так уверен? — спросил юноша, лежавший рядом, поднимая угловатые брови и щуря от пыли бледно-голубые глаза.

— Дрин прощается с ветром, — отвечал, не поворачивая головы, Тирессуэн, — он поет гуще тоном. Послушай сам!

Юноша приподнялся и громко обратился к капитану, перейдя с арабского языка на французский:

— Не могу поверить, что этот важный черт действительно прав! Очень он уверен и быстро находит на все ответ...

— Полегче, Мишель, туарег знает наш язык!

— Как бы не так! Он говорит с нами только по-арабски или на своем ужасающем тамашеке.

— Туарег без крайней необходимости не будет говорить на языке, которым плохо владеет. Гордость и застенчивость этих детей пустыни еще надо понять,— скороговоркой ответил капитан, искоса поглядывая на неподвижного, как темно-синяя статуя, туарега.— Наш проводник окончил начальную школу в Тидикельте и, без сомнения, знает французский. Новые веяния коснулись его — видишь, он курит сигареты и не таскается с вечным копьём и щитом. Но уж что касается Центральной Сахары, тут нам очень повезло. Для поисковой экспедиции такой проводник — клад! Знающий всю страну и много ходивший с экспедициями — следователю, понимающий, где могут идти автомобили...

— Мне не верится, чтобы такую проклятую богом местность можно было помнить во всех ее подробностях, убийственно однообразных...

— Только на ваш взгляд, Мишель, но не для сахарского кочевника и даже не на мой. Здесь судьба каждого путника и каравана всегда зависит от точности следования по маршруту. Впрочем, устройте пробу, убедитесь.

— Каким образом?

— Ткните пальцем в первое попавшееся место карты и спросите о нем Тирессуэна.

— А! Интересно! Я сейчас! — Юноша пошел к машине, угрюмо черневшей силуэтом в стороне, и вернулся с кожаной сумкой.

Лежавшие у костра сели, поджав под себя скрещенные ноги.

— Тирессуэн, можно тебя спросить? — вкрадчиво начал по-арабски Мишель, прижимая указательный палец к смутному узору горизонталей, в то время как другой геолог подсвечивал карманным фонариком.

— Спроси, я отвечу,— не меняя позы, согласился туарег,— если смогу.

— Ты был в Анахаре?

— Был.

— Знаешь ли там гору Исседифен?

— Горы Исседифен там нет, — спокойно сказал Тирессуэн, — есть гора Исадифен против адраара Незубир, в центре Анахара, и есть гурд Исседифен южнее, в Хоггаре, на юге адраара Тенджидж...

Растерявшийся Мишель увидел широкие улыбки своих товарищей и вспыхнул от необъяснимой злобы.

— А дальше? — пробормотал он.

— Дальше на юг? — переспросил туарег. — Там будет широкое тассили...

— Какое тассили?

— Тассили Тив-Эгголе.

— Ты что, и там был?

— Был, шесть лет назад. С профессором Ка-Пю-Рэ... — Тирессуэн замолчал и замер, прислушиваясь.

Французские путешественники последовали его примеру.

— Мотор, — первым нарушил молчание Мишель.

За черным обрезом низкого плато на севере разлилось туманное облачко света, стало ярче и превратилось в два пучка желтых лучей, ударивших в звездное небо. Машина поднималась по крутому северному склону плато. Еще несколько минут — и глухое урчание мотора превратилось в звонкий гром. Лучи фар пронеслись над головами ожидавших, метнулись вниз и слепящим пятном пробили темноту. Огромный белый грузовик, завывая передачами и тяжело переваливаясь, всполз на бугристые пески, окружавшие лагерь. Он замер в полусотне шагов от костра, дыша жаром натруженного двигателя, запахом горячего масла и резины. В широкой кабине зажегся тусклый свет. Оттуда, устало потягиваясь, вылезли трое. Самый высокий и тучный бодро зашагал к костру, и к нему устремился капитан.

— Кто это? — на ходу спросил его Мишель.

— Археолог, профессор Ванедж, кто же еще! — вполголоса буркнул капитан.

— Кого ждали?

— Черт вас возьми, конечно! Скажите Жаку, чтобы он развертывал рацию. Сообщить о встрече наших отрядов... Рад встретить вас, господин профессор!..

— А я еще больше! — громко и весело заявил археолог. — Крутясь в лабиринте тассили, я боялся вас не найти. Но вы оказались точно в намеченном на карте пункте...

— Мы с Тирессуэном.

— Это очень важно. Вы говорили с ним... предварительно?

— Нет, ждал вашего прибытия. Успеем. Хотите ужинать? Но вода плохая...

— Благодарю, мы ели три часа назад. Могу вас угостить холодной содовой или лимонадом. Сегодня из отеля месье Блэза!

— О, вы посланец небес!

— Всего лишь Сахарского комитета исследований!

Долговязый радист Жак возился у станции, устроившись на широкой плите песчаника, наполовину погруженной в дно узда. Разноязычный говор, треск, мгновенно обрывавшиеся музыкальные аккорды — вся сумятица эфира, пронизанного десятками тысяч передач, в суровом молчании пустыни, заглушенная рыхлыми обрывами сухого русла, казалась жалкой. Костра достигал лишь неясный шум. Профессор и капитан негромко разговаривали, прибывшие с археологом делились новостями. Туарег вытянул свое длинное тело поодаль от французов и, глубоко задумавшись, неторопливо курил, освободившись от лицевого покрывала и поднося ко рту сигарету плавными движениями обнаженной до плеча руки. Каменный браслет охватывал руку выше локтя — дань старине, прежде служившая защитой от сабельных ударов.

— Интересно, о чем он может думать? — спросил Мишель, глядя на противника, когда новости и сплетни были исчерпаны.

— Что тебе за дело? — лениво ответил один из собеседников. — Мало ли о чем может думать туарег!

— Он молчит, пока едем, молчит на привалах. Но не спит и не дремлет — очевидно, о чем-то думает. Я наблюдаю за ним!

— Мишель, у вас странный интерес к Тирессуэну, — вмешался вдруг капитан. — И, мне кажется, с изрядной долей неприязни. Смотрите, чтоб дело не кончилось каким-либо конфликтом. Мне не хотелось бы лишиться... вас!

— Ах, вот как! — вспыхнул Мишель, но сдержался и, стараясь казаться спокойным, добавил: — Честное слово, мой капитан, я только любопытствую. Я впервые в Сахаре, и этот народ интересует меня: прежде знаменитые разбойники, рабовладельцы, говорящие на неведомом никому языке, с тифинарской письменностью, которую хорошо

знают у них только женщины. Женщины у них главенствуют в роде, свободны и не закрыты, как у окружающих мусульман. Туареги живут в самом сердце Сахары и, вместо того чтобы превратиться в дикарей, усвоили манеры под стать нашей аристократии — смотрите, сколько важности в Тирессуэне! А помните: там, на юге, юлемидены, так, кажется, зовут это племя. У них, как у всех здесь, отняли рабов, так они — ха, ха! — пасут коз сами, подгоняя их своими длинными мечами. Смешно! А мне хочется знать, о чем все думает наш проводник! Об оставленной где-то в пустыне жене или о былом раздолье грабежей?

— Вы не представляете, молодой человек, — внезапно сказал высоким голосом археолог, — какой богатой фантазией обладают эти сыны пустыни. В их шатрах — кстати, у них не арабские шатры, а кожаные палатки — вы услышите такой букет сказок, легенд, притч и пословиц, какого нет, пожалуй, у всех других кочевников мира, тоже немалых фантазеров. Вот хорошее дело, если хотите послужить науке и сами прославиться... Изучите язык туарегов-тамашек и займитесь собиранием этого фольклора. Я писал в Академию наук, что надо немедленно браться за это дело — туареги, по-моему, быстро исчезнут, отдельные племена уже сейчас насчитывают по несколько десятков человек; например, кель-ахнет — их осталось двадцать три человека. И на каждого примерно по тысяче квадратных километров пустыни! Или вот Тирессуэн — он соседнего с ними племени тай-ток, их не более ста человек вместе с их имрадами — вроде вассалов, что ли. Они ненадолго переживут двадцатый век!

— Будь я проклят, если когда-нибудь... — начал Мишель и осекся под осуждающим взглядом ученого.

Тирессуэн не прислушивался к болтовне беспокойных и истеричных европейцев.

Он думал об Афанеор и о том, как совершить для нее невозможное. Афанеор — луна, богиня со странной властью над бесконечными просторами пустыни. Знакомые с детства места становятся какими-то другими с ее появлением на небе — она приближается к земле и сливается с ней. Холодный свет луны ложится покровом тайны на любую местность. Даже безрадостный Танезруфт кажется серебристым морем, а черный панцирь тенере становится призрачной сокровищницей — необозримой россыпью кусочков серебра. И Афанеор, девушка, его избранница, то-

же обладает непонятной властью над ним, как луна над землей. В ее присутствии он изменяется, открывая в себе необузданные мечты, звучащие песнями, томящие жаждой прекрасного, не менее острой, чем жажда в пути сквозь песчаную бурю.

Не колдунья ли эта невысокая девушка? Она происходит из племени тиббу, родом из южного Феццана, но воспитана туарегами — злой старухой могущественного племени кель-аджеров. На юг от Феццана, не в душных оазисах, а среди низких разрушенных скал и в горах Тибести, живут «люди камней» — тиббу, потомки очень древнего народа гарамантов, не покорных никому волшебников и наездников, которых боялись и старательно истребляли древние римляне и арабы. Кель-аджеры тоже считают себя потомками гарамантов, но у них он не видел ни разу такого цвета кожи, как у Афанеор и ее соплеменниц, — светлой красно-коричневой с характерным металлическим отблеском.

Тирессуэн достал новую сигарету и покосился на своих французских спутников, следивших за действиями ради-ста, быстро стучавшего ключом позывные. Перед мысленным взором кочевника пустыни, цепко схватывающего малейшую подробность местности, пронеслась картина первой встречи с Афанеор.

В стороне от торных троп и дорог пустыни, в малоизвестной впадине, стоят развалины древнего города. На каменистой, окруженной изрытыми ветром холмами равнине неожиданным лесом поднимаются остатки колоннад и обрушенные стены. На окраине поля развалин находится большой, выложенный камнем квадрат, обрамленный белыми плитами. С северной стороны на плитах уцелели восемь колонн из белого камня — высоких, необыкновенно стройных и красивых. Некоторые колонны еще поднимают в бледное слепящее небо свои резные верхушки, подобные распускающимся вершинам молодых пальм.

— Здесь, где съехались на ахаль — музыкальное собрание — окрестные туареги кель-аджер, случилось быть и ему, одинокому тай-току.

В ярком лунном свете между светившимися белизной колоннами расположились темные закутанные фигуры мужчин — зрителей и гостей, потому что собранием руководили женщины и они же начинали первые выступле-

ния. Мать Тирессуэна советовала ему при каждом удобном случае посещать эти собрания.

— Эти песни, музыка и танцы объединяют и поднимают женщин,— говорила она,— а вас, мужчин, учат любви. Туарегская женщина непроста, и, если ты хочешь долгого счастья, умеи обращаться с ней, сделать совместную жизнь как сможешь легче и... интереснее. У нас, кочевников, много свободы, много времени на мечты, сказки и песни. И только подруга жизни должна быть товарищем в мечтах, а не только работницей или наложницей, как у других народов. Посещай же эти школы любви, где бы ты ни был!

Тирессуэн, как и всякий туарег, привык слушаться простой и доброй мудрости матери.

Женщины — благородные ихагаренки, бедно одетые имрадки и даже темнокожие рабани в своих белых одеждах — составляли немногочисленный оркестр, играя на амзатах — однострунных скрипках, флейтах и отбивая ритм на маленьких барабанах. На середину квадрата вышла высокая девушка. Ее гибкая фигура в синем плаще казалась черным силуэтом на серебряно-белых камнях плит и колонн.

«Песни дрина!» — подумал Тирессуэн, примаскиваясь поудобнее и стараясь не шуршать своим жестким плащом о шероховатый ствол колонны. В самом деле, как в зарослях дринна, звенящих под ветром в уздах, музыка казалась хором колокольчиков, то приближающихся, то удаляющихся. Звенел высокий и чистый голос девушки; как стебель дринна, гнулась ее тонкая фигура в темных складках свободной одежды. Медленно тянули флейта и скрипка грустную, монотонную мелодию. Изредка глухо ударял барабан. В ответ ему руки девушки вздымались плавными взмахами крыльев большой птицы, начинающей свой полет и еще плененной тягой земли. С надменной важностью переступали ноги в цветных, украшенных бусами сандалиях.

Ласковая, грустная песнь, медленные движения убаюкивали Тирессуэна. Он оперся затылком о колонну и впал в приятное оцепенение, следя за певицей из-под опущенных век. Четыре женщины сменили выступавшую. Они выстроились в ряд, то приближаясь к сидевшим у колонн зрителям, то пятясь спинами к хаосу белых плит и камней, оставшихся от римского города. Женщины пели в унисон ритмическую былинку о небесных людях —

звездах, слетающих ночью к бесстрашным воинам на их длинном и опасном пути через пустыню. Тирессуэн знал некоторые стихи с детства, и его сонливое состояние усилилось воспоминанием о матери, склонявшейся над его детской постелью в тихие вечерние часы, когда смолкает блеяние коз, удаляются от палаток верблюды и замирает на закате вечный спутник кочевника — ветер. Чтобы не вызвать насмешек соседей, Тирессуэн надвинул край покрывала пониже на глаза.

Должно быть, он проспал какое-то время и очнулся от наступившей тишины.

Произошла заминка — женщины кончили выступления, а мужчины еще не воодушевились на свои воинственные танцы. Там, в тени выступа обрушенной стены, где сидели женщины, послышалась возня. На залитую лунной площадку была вытолкнута среднего роста девушка в одежде, не похожей ни на длинное темное одеяние благородной ихаггаренки, ни на светлое покрывало имрадки, оставляющее открытыми плечи, ни на тонкую дешевую хламиду рабыни-харатинки.

Грубое шерстяное одеяние, по-видимому темно-голубого цвета, подхваченное на бедрах узкой перевязью, спадало широкими складками до щиколоток. Выше перевязи одежда разделялась на две широкие полосы, закрывавшие грудь и спину и соединенные на плечах большими серебряными кольцами-застежками. Руки и бока девушки оставались открытыми, маленькие, белые от пыли ноги были босы. Густейшие черные волосы, схваченные по темени шелковой головной повязкой, низко спускались на широкий лоб. Узкие, широко разделенные, прочерченные прямыми линиями брови, длинные, тоже узковатые глаза, прямой красивый нос, в котором не было ничего от сухости черт туарегов, небольшой рот, добрая округлость лица — да, девушка казалась чужеземкой. «Не арабка, не кабилка...» — заинтересованно думал Тирессуэн, разглядывая ее из-под покрывала. Девушка повернулась, отвечая кому-то позади себя, и подняла правую руку жестом шутильной мольбы, блеснув в лунном свете гладкой, как полированный металл, кожей, показавшейся Тирессуэну очень темной. Линии ее рук, очертания тела, сквозившие в разрезах одежды, были чеканны, как у французских бронзовых статуэток, виденных им в Таманрассете, и так красивы, что у Тирессуэна захватило дух. Он выпрямился. Дробно и неровно запели струны, казалось ведомые

смятенной рукой. Голос девушки, сильный и глубокий, заставил вздрогнуть туарега, потянул, повлек за собой. Песня — полная противоположность только что слышанному! Скачущая, мятущаяся, почти неуловимая мелодия, звенящие болью и тоской вскрики, угрюмо зовущие страстные и низкие переливы, тревожные замирания... Гулкий и зловещий грохот неведомо откуда взявшегося большого барабана, тупые и отрывистые удары маленьких. От этого странно замирает сердце, нарастает дикое желание вскочить, рвануться куда-то!

А волшебство звучного голоса все сильнее томило и волновало Тирессуэна. Песня металась, как преследуемый беглец в поисках выхода. Торжество, призыв, дикая радость сменялись яростными и тревожными вскриками, стихавшими в мелодии тихой беспомощностью, и опять нарастало яростное сопротивление в резкой смене высоких и низких нот. В такт этой бурной, мятежной и страстной песне девушка, не сдвинувшись с места, отвечала быстрым спадам и переходам мелодии такими же движениями рук, раскачиваниями и изгибами тела.

«Что это? — думал Тирессуэн. — Куда мчится эта песня юной жизни? Что хочет она, кого зовет с собой? Или, как вырвавшаяся в пустыню арабская лошадь, она несеется, не разбирая куда и зачем, наслаждаясь своей силой и быстротой скачки?..»

Ошеломленные незнакомой песней, мужчины не успели опомниться, как певица исчезла в тени. С началом мужского танца Тирессуэн не мог более оставаться в неведении. Он незаметно скользнул за обрушенную стену...

— Тирессуэн, тебя зовет начальник! — С этими словами туарег снова очутился в действительности. Он оглянулся, приходя в себя, и спустился с пригорка.

Костер догорел. Капитан и профессор, сидевшие у замолкшего ящика радиостанции, казались суровыми и величественными в свете высокой поздней луны. Туарег уселся на предложенный складной стул и стал ждать. Что-то нужно французам! Они не звали бы его так торжественно сюда, в сторону, только для обсуждения завтрашнего пути.

— Тирессуэн, профессор Ванедж — знаменитый ученый не только в нашей стране, но и во всем мире... — Капитан сделал паузу, собираясь с мыслями.

Профессор оказался нетерпеливым, как того и ожидал туарег от европейца — новичка в Сахаре.

— Слушайте, Тирессуэн,— вмешался он на отличном арабском языке,— вы можете оказать большую услугу Франции и всему миру... науке. Как-то вы обмолвились капитану, что знаете в глубине Танезруфта, в месте, где не бывал никто из европейцев, древние развалины города. Надо думать — это ключ к древней истории Сахары, всей Северной Африки. Мы проверяли их сведения, никто не смог подтвердить или отвергнуть их. Но такой знаток Центральной Сахары и такой проводник, как вы, Тирессуэн, не мог ошибиться, и мы хотим, чтобы вы провели нас туда.— Профессор выпалил всю тираду одним духом, словно боясь, что Тирессуэн не будет слушать, и выходяще умолк.

— Мои знания Танезруфта малы,— спокойно возразил туарег.— Я не был там и не видел города. А по рассказам — есть остатки построек... Но где в Сахаре не говорят о развалинах?

— Но вы проведите нас к тому месту, о котором говорят! — настаивал археолог.

— Я не могу вести к месту, которого не знаю. Танезруфт — это слишком далеко без воды. Опасно.

— Тогда покажите на карте, где эти развалины, мы... — Профессор осекся от резкого толчка капитана.

Наступило неловкое молчание.

— Теперь говорю я,— начал капитан на ахаггарском диалекте тамашека.— Пятую экспедицию мы делаем вместе, Тирессуэн. И до этого ты ходил с хорошими людьми, большими учеными моей страны. Ты проводил наши машины далеко на запад и на юг. У горы Таманат, близ гурда Дьявола, вы нашли залежи соды в стране Эль-Масс. Еще дальше от гурда Дьявола, в семистах километрах отсюда, ты прошел через опасную себхру Мекерране весной, когда страшные бури песка сменяются наводнениями. Вы тогда пересекли ее по всей длине до уэда Ин-Рарис. Со мной ты работал в Тифедесте от Тни-Фидияджа до Амсимассена. Мы с тобой четырежды пересекали Аретхум, и в сердце Ахаггара — Атакоре мы ходили в Тахат и Таэссу и нашли ценную руду всего на одном переходе от Таманрассета. А помнишь тяжелый путь в Танезруфт в прошлом году? У нас сломалась машина в Тассили-тан-Адрар, но мы на верблюдах пошли в Тахальру и

потом на юг до уезда Танеруэльт... Ох и досталось нам тогда!

Улыбка осветила суровые глаза Тирессуэна в тени покрывала.

— В Танезруфте мы работали успешно лишь благодаря тебе, твоему опыту, уму и отваге. И ты не бывал до того в Танеруэльте. Скажу еще: ты взялся вести ученых в Тибести — крепость племени тиббу, и вы нашли эннери с красными землями и скелетами огромнейших слонов и этим открытием прославились на весь мир.

— И я тоже? — с оттенком наивности спросил туарег.

— И ты, конечно, — не сморгнув, солгал капитан. — О тебе написано в книгах.

— Я что-то не слышал! — равнодушно сказал Тирессуэн. — Тогда мне обещали много: медаль, деньги... как это... выкуп... нет, по-другому. — Проводник залпнул подростки беспомощно, и оба начальника увидели, что этот знаменитый водитель экспедиций еще очень молод. — Ничего не прислали, даже фотографий...

— Люди бывают разные и здесь и у нас, — нахмурился капитан. — Я говорю и вспоминаю это потому, что ты сможешь, если захочешь, вести экспедицию туда, где сам не был. Ты понимаешь местность, ты знаешь, как идут автомобили, а не только верблюды. Тебе за это платят много денег, больше, чем другим проводникам. И мы хорошо заплатили бы... очень хорошо!

— Зачем мне много денег? — беспечно ответил туарег. — У моей матери есть все, что нам нужно.

— Действительно, чем их соблазнишь? — негромко спросил по-английски археолог. — Автомобиля или особняка с клочком земли им не надо... Если бы он был оседлым, тогда...

— Тогда он не знал бы Сахару!.. Но ты не прав, Тирессуэн, деньги всегда понадобятся. Знаю, у тебя нет жены, но будет... Может быть, ты хочешь поехать к нам, во Францию, Европу, посмотреть все чудеса нашего мира... увидеть Париж, театры, рестораны, миллионы красивых женщин, поехать на море!

Внезапно глаза туарега блеснули.

Капитан опять слабо толкнул профессора и, протягивая Тирессуэну сигареты, закончил:

— Подумай над этим, Тирессуэн, завтра скажешь свое решение. А сейчас надо пользоваться прохладой ночи, она — увы! — коротка.

Туарег закурил, слегка поклонился и в задумчивости пошел к холмику, где поодаль от лагеря он расстелил свою нехитрую постель.

Лукаво улыбаясь, капитан посмотрел ему вслед, а профессор радостно хлопнул начальника по плечу.

— Ну, кажется, вы проняли невозмутимого сахарца! Неужели им всем так хочется в Париж или Ниццу?

— Поверьте мне, никто из них не может устоять перед тягой города. Где здесь, в Сахаре; эти простодушные и симпатичные дикари смогут увидеть всю мощь соблазнов нашей цивилизации? Я изучил кочевников за десять лет скитаний по пустыне. Но действовать с ними надо осторожно — вы чуть не испортили дела. Они медленно живут и медленно соображают, а наша обычная спешка кажется им просто безумием. Вот почему я дал затравку и предложил подождать с решением. И нам, я думаю, тоже лучше отложить все остальное до завтра. Спокойной ночи...

Вопреки мнимой прозорливости капитана, туарег не думал мечтать о Париже и прелестях европейской культуры. Растянувшись на тонком тюфяке, положенном на коврик, тканый из жесткого верблюжьего волоса, защиту от «слюны злого духа» — скорпионов и фаланг, — Тирессуэн закрыл глаза. Волнение не дало ему заснуть, и он опять закурил. Как это он не догадался раньше! Слова капитана о жене, мгновенно вызвавшие образ Афанеор, совпали с предложением поездки в Европу. Только тогда Тирессуэн сообразил, что мечта Афанеор, может быть, не так уж невозможна. Ему следует попытаться. Ценой похода в безжизненный Танезруфт — гигантскую мертвую равнину в центре Сахары — он может поставить выполнение желания Афанеор.

В Танезруфт есть только два пути — автомобильный и караванный, пересекающие его с севера на юг почти рядом, и более ничего. Когда-то очень важная караванная дорога для вывозки соли из Тауденни в Судан ныне заброшена, как почти все важные караванные пути прошлого. Лишь тысячи скелетов погибших животных, а подчас и людей отмечают белыми пятнами эти занесенные песком старые дороги. Умерла слава азалаев — огромных сахарских караванов, снабжавших страну черных драгоценной солью и доставлявших хлеб и просо не знавшим земледелия кочевникам. Умерла и доблесть туарегов, защищавших караваны от своих же собратьев и облагав-

ших данью купцов, караванщиков и оседлых жителей оазисов, добывающих в поте лица сладкие прозрачные финики. Теперь огромные автомобили привозят все нужное откуда угодно, а на долю верблюдов осталась лишь доставка товаров от торговых складов и баз поближе к временным стоянкам кочевых племен. В Сахаре появилось больше пищи, уже не грозят смертью пятые голодные годы, хотя по-прежнему женщины собирают мелкие беловатые зерна дринна и по-прежнему в Атакоре собирается чуть ли не весь народ Ахаггара в период созревания гауита — низкорослых пучков травянистого растения с мелкими, как манная крупа, зернами. Собирают и терфас — род подземного гриба, вырастающего ранней весной, после дождей. Хлеб из пшеницы гораздо вкуснее, чем даже просяная каша, но за это надо платить! Где возьмешь денег, если французские власти всячески препятствуют караванным перевозкам, справедливо видя в них объединяющее людей Сахары дело. Мир туарегов, суровый, бедный и свободный, умирает под пятой наступающего нового мира, непривычного и неприятного... Так говорила ему и Афанеор!

Вторая встреча с Афанеор произошла в исконных кочевьях племени кель-аджеров — необъятном лабиринте обрывов, ущелий, останцов и плоскогорий Тассили-дез-Аджер. Окончив экспедицию в Аире, он поехал на север по уэду Тафассасет. От палаток к палаткам нес его высокий белый мехари, нагруженный всем нехитрым скарбом путешественника пустыни. Чем ближе, по уверениям местных туарегов, становилось кочевье старухи Лемта, тем большее нетерпение охватывало Тирессуэна. Его мехари, по имени Агельхок, — один из знаменитых в Хоггаре бегуиов, часами несся, мерно покачиваясь, по плотным, как цемент, глинам солончаков-себхр, осторожно ступал по раскаленным черным камням и щебню, покрывающим плоскогорья, нырял и скользил по склонам песчаных холмов, в узких проходах — таяртах. Жестокий пламень дней, режущие холодом ночные ветры, бесконечное одиночество странника, идущего напрямик не по проторенным путям, — все это, привычное туарегу, совсем не замечалось Тирессуэном. Он сетовал лишь, что верблюд не обладал неутомимостью автомобиля. Впрочем, какой автомобиль мог бы пройти здесь? Путь удлинился бы на тысячу километров, и в конечном итоге неизвестно, кто бы пришел к цели раньше.

Наконец он достиг впадины Тирхемир и указанных ему трех палаток у подножия горы Амарджан.

Какое вещее чувство предупредило Афанеор о его приезде? Он ехал так быстро, что устная почта пустыни не могла обогнать его. Но едва он завидел вдалеке черные точки палаток и верблюдов стал подниматься на пологий каменистый склон, как девушка возникла перед ним из-за груды каменных глыб. В пламенном свете солнца ее блестящая кожа была теперь совсем светлой. Синие цветы камнеломки, воткнутые над ухом, оттеняли иссиня-черный цвет ее волос. Жемчужинки пота выступили над чертой бровей, когда Афанеор, учащенно дыша, подбежала ближе. Тирессуэн с удивлением заметил у нее в руках пучок мелких цветов горячего красно-оранжевого цвета. Мехари возвышался над девушкой, как боевая башня, и туарег сильно нагнулся с седла. С неизведанным удовольствием он принял редкие в Сахаре цветы из рук Афанеора — подносить их воинам было не в обычаях туарегов. Тирессуэн почувствовал, как запах цветов смешался с собственным запахом девушки — чистым и солнечным, жарким, как могучий полдень пустыни, заставляющий людей склонять головы и прятать глаза под навес покрывала.

Три недели оставался Тирессуэн гостем палаток Лемта. Все сильнее становилась его любовь к Афанеор, вспыхнувшая внезапно на музыкальном собрании у римских развалин. Женщины туарегов, владевшие языком и тайнами тифинарского письма лучше мужчин, свободные спутницы жизни, превосходные воспитательницы детей, были гораздо выше женщин арабов — все еще пленных узниц женского отделения шатра или половины дома, невежественных, придавленных тяжелой пятой военной религии.

Где плен и насилие, там становятся шатки устои морали. Только в свободе человек понимает необходимость строгих правил жизни. Сын Сахары женится на женщинах своего народа или дочерях родственных берберских племен — кабилов, но избегает женитьбы на чужеземках, инстинктивно чувствуя, что ему нужна взращенная пустыней ее неприхотливая дочь. Афанеор была чужеземкой из страны Тиббу. Однако Тирессуэн видел, что она ни в чем не уступает женщинам туарегов. Она даже превосходила их, эта наследница волшебников — гарамантов, — древних эфиопов эллинских мифов.

Откуда были ее познания, он не успел еще расспросить ее, больше рассказывая о своей жизни. Он родился в исконной земле тай-токов Ахенете. Потом, когда колодцы Ахенета иссякли и дыхание смерти пронеслось над страной, тай-токи ушли вместе со своими имрадами на юг — в Акаггар и Адрар-Ифору. Но его родители, у которых он остался единственным сыном, переехали в Тидикельт, а маленького Тирессуэна выучили западной мудрости и языку в начальной школе. Едва подросши, Тирессуэн начал скитальческую жизнь вместе с отцом — проводником караванов, который научил его всей древней мудрости путей через пустыню. Отец так и погиб в пути, и Тирессуэн заступил на его место. Отец был из тех горных тайтоков, которые не считали себя ни владельческими ихаггаренами, ни подневольными имрадами. Таких бедных, свободных, трудно живущих туарегов насчитывалось по несколько десятков в разных небольших племенах. Они добывали средства к существованию работой проводников или перегонщиков стад на новые далекие пастбища и становились самыми закаленными кочевниками Сахары, не уступавшими даже племени тиббу с их сказочной выносливостью в беге, езде и охоте.

— Но Тирессуэн не имя? — лукаво поглядела на него Афанеор.

— Не имя, название места, — признался он. — Это для французов.

— А настоящее имя? — настаивала девушка.

— Иферлиль.

— Мне нравится оно. Мое имя тоже мне нравится, и жаль, что это всего лишь прозвище... Его придумала старая Лемта, когда меня взяла.

— Она хотела назвать тебя древней богиней луны нашего народа?

— Вовсе нет. В честь Афанеор, дочери Ахархеллена.

— Ахархеллена, большого вождя кель-аджеров? Я слышал о нем!

— Да, он правил здесь пятьдесят лет назад. И у него была дочь Афанеор, прекрасная и мудрая девушка. Первая женщина туарегов, которая стала думать о прекращении исконной вражды кель-аджеров и кель-ахаггаров и вообще всех племен туарегского народа, белых и черных...

— Разве это было возможно?

— Французы сделали это силой и унижением нас.

А если бы мы сами? Нет нигде народа, подобного туарегам. Несмотря на войны, на древние обиды и кровь, разве не считают себя туареги потомками мудрой царицы Тин-Хианн, могила которой в уэде Абалесс и сейчас, полторы тысячи лет после ее смерти, священна для всех племен. Разве не считают себя и тай-токи и юлемиддены одним народом? Туареги — путники и воины, не привязанные к домам и вещам, — глядят широко в мир; вот за что я люблю наш народ. Наша жизнь не сходится в одно место, где есть вода и растут пальмы или просто где жили родители и предки.

— Ценой трудной жизни в пустыне, страдая от жары и холода, от жажды и малой еды, мы приобрели большую свободу, — ответил Тирессуэн, не понимая, куда клонит девушка.

— Да, ушли в сердце пустыни, чтобы сохранить свободу. Вокруг, будто волны моря, текли, сражались, покоряли один другого, избивали друг друга разные народы — на плодородных, удобных для жизни землях, на берегах моря и больших рек. Но чтобы жить в пустыне, надо было воспитать себя для этого — вот в чем были преимущество и сила туарегов...

— Были? — быстро спросил Тирессуэн.

— Да, его теперь нет. Автомобили и самолеты дают возможность проникнуть в глубину Сахары любому европейцу. Изнеженные французские женщины посещают теперь страшный Тифедест, когда-то недоступное непосвященным обиталище духов, и пьют ледяные напитки у черных скал с загадочными рисунками и письменами. Чужая жизнь, совсем не похожая на нашу, властно ломится в пустыню, и ей нет преграды.

— Может быть, наша сила в том, что мы рассыпаны по необъятной пустыне, не зная болезней, тесноты и мелководушья, как в оазисах. «Отдадите ваши шатры, приблизьте ваши сердца» — хорошая старая пословица, — рассмеялся Тирессуэн. — Все равно владеем пустыней мы.

— Напрасные слова! Рассеявшись, мы потеряли силу! Нас становится все меньше, а жизнь делается труднее детям, чем отцам. Теперь европейцы заразили нас желанием легкой жизни. Но, добывая деньги, мы потеряли половину стад. Даже топливо не стало в пустыне — сожгли, приготовляя дорогую пищу, на кухонных кострах...

— Плохое будущее! — нахмурился Тирессуэн.— Я тоже его вижу в своих скитаниях. Но зачем затеяли мы этот разговор? Будто нет слов о другом?

— Я вспомнила об Афанеор, дочери Ахархеллена.

— Зачем? Умерший человек — высохший агельман.

— Нет! Пройдут дожди — и агельман наполнится, придет нужда — и человека вспомнят! Старая Лемта сказала мне... — Девушка осеклась, чуть было не обмолвившись о тайном союзе женщин, который создавала Афанеор.

Женщины у туарегов — гораздо большая общественная сила, чем у других народов Сахары. С их помощью хотела умная дочь вождя возродить древнее единство туарегов времен царицы Тин-Хинан.

— Сказала тебе? — повторил Тирессуэн.

— Она рассказала мне об Эль-Иссей-Эфе, об Афанеор и о великой северной стране. И я решила, что всю жизнь буду искать человека, который может побывать там.

— И ты его нашла?

— Еще нет, — протянула Афанеор, отвернувшись от туарега.

Тому стало жарко под низкой палаткой.

— О какой стране говорила старуха? — нетерпеливо спросил Тирессуэн.

— Не одна она! Есть предание... Поедем на могилу Афанеор, к горе Атафайт-Афа. Хорошо? — Внезапно девушка обвила руками шею Тирессуэна и притянула к себе так сильно, что он уперся ладонью, чтобы не упасть.

Молодой туарег забыл про невзгоды и удачи. Все необъятное пространство пустыни исчезло в глубине темных глаз, широко раскрывшихся навстречу его взгляду...

Два верблюда мерили размашистой иноходью пустынное плато, начисто сожженное солнцем. Ярко-желтые песчаники, плитами и уступами выступавшие из-под крупного гравия и щебня, покрылись коричневой блестящей коркой. Мехари осторожно обегали эти уступы, скользкие для их широких мозолистых ступней. Афанеор, закутанная до глаз в темно-синий плащ, казалась незнакомой и отчужденной. Молча всматриваясь в какие-то ей одной известные приметы, она ни разу не заставила мехари замедлить свой бег. Гора приближалась. Верблюды пошли по твердому дну крутого узда, лавируя между остроугольными обломками скал. Гора вознеслась над уздом отвесной стеной, расщепленной посредине, будто врубом ги-

гантского топора. Вздрыбленные и отогнутые назад пласти плотного темного камня выступали на отвесной груди горы грубыми продольными ребрами, срезанными и стертыми наверху многими тысячелетиями песчаных бурь. Моряк сравнил бы выпуклую стену горы с надутым парусом, но туарегу она казалась крепостью злых духов, властвовавших здесь в незапамятные времена. Всадники на высоких верблюдах казались перед зловещей горой ничтожными букашками. Ветер ударял с разлету в накаленную беспощадным солнцем стену и упруго отскакивал назад, закручиваясь вихрем на дне узда и усыпанной обвалом каменных глыб подошве. Гора отбивалась от людей, приближавшихся, несмотря на вихри песка и раскаленное дыхание темной стены. Афанеор повернула мехари, поднялась со дна сухого русла и въехала на закругленный бугор. Отсюда пологий склон плавню спускался на северо-запад к просторному регу, границы которого тонули в зыбкой дымке горячего воздуха, струившегося по раскаленной щебнистой равнине. Холмик гладких, одинаковой величины камней, обнесенный овалом из синевато-серых плиток кварцита, увенчивал бугор.

Столообразная глыба базальта, несколько палок и сучков, украшенных выгоревшими, истрепанными ветром лентами, означали могилу Афанеор, дочери Ахархеллена. Живая Афанеор встала в седле, чтобы миновать очень высокую, украшенную крестом луку, и спрыгнула с верблюда, даже не заставляя его сгибать колени. Тирессуэн придавил поводья животных тяжелой глыбой и осторожно подошел к могиле. Девушка молча достала из-за пазухи пучок разноцветных лент и стала обновлять убранство. Туарег принялся помогать ей и получил полную любви улыбку.

— Теперь садись и слушай,— Афанеор ловко поднесла зажженную на ветру спичку к его сигарете.

И Тирессуэн узнал старинную легенду о путешественнике Эль-Иссей-Эфе, приезжавшем в страну туарегов более семидесяти лет назад из очень далекой и холодной северной страны России. Он был врачом и художником, жил в Гадамесе и оттуда совершал поездки по пустыне, где и подружился с туарегами кель-аджер. По их приглашению он совершил тайную поездку в глубь Сахары, и впервые кочевники пустыни увидели европейца, не преследовавшего никаких иных целей, помимо знакомства с народом пустыни и с ее природой.

Русский врач пришел, полный уважения к туарегам, их обычаям и суровой жизни. Он отличался удивительной в чужеземце глубиной понимания и чуткостью. С ясной и высокой душой, он, слабый и непривычный, одолевал трудности дорог через пустыню и завоевал путь к сердцам кочевников. Эль-Иссей-Эф скоро уехал в свою страну. Осталась легенда о том, что далеко на севере живут люди, не похожие на других европейцев, но обладающие всей их мудростью, более добрые к чужим народам, которых они считают равными. Память о русском враче сохранилась в народе, и неудивительно, что когда в гости к могущественному Ахархеллену прибыл другой русский путешественник, писатель, по имени, кажется, Немирдан, то Афанеор позвала его на ахаль и сама пела ему. После музыкального собрания Афанеор долго говорила с чужеземцем и окончательно уверилась в правоте легенды об Эль-Иссей-Эфе. Далекая и недоступная кочевникам пустыни страна стала для Афанеор и ее друзей той страной мечты, какая есть у каждого хоть сколько-нибудь знающего мир человека.

Дочь Ахархеллена и ее отец понимали, что прежняя жизнь кончается, что народ туарегов не сможет вечно скрываться в пустыне, избегая культуры Запада. Но помочь в овладении этой культурой могли бы лишь та страна и тот народ, намерения которого чисты и бескорыстны, иначе вместе с чужой культурой придет гибель туарегов как народа.

Афанеор мечтала сама увидеть Россию, но умерла, не выполнив намерения. Эта мечта продолжала увлекать тех женщин и девушек, которые знали легенду. Так же увлекла она и новую Афанеор.

— Известно,— закончила девушка,— что никто из туарегов или других народов Сахары еще не был в России. Но это нужно сделать! Я тоже поклялась в память дочери Ахархеллена просить своего будущего любимого побывать в этой стране. Мне посчастливилось — меня полюбил самый лучший путешественник Сахары.— В го- лосе девушки зазвучала гордость. Она подняла голову и сделала шаг к Тирессуэну.— Перед могилой Афанеор я прошу тебя — поезжай в страну русских, посмотри этот народ, расскажи нам, есть ли правда в легенде об Эль-Иссей-Эфе!

Необыкновенная сила убеждения была в словах девушки. Тирессуэн вздрогнул. Ему почудилось, что с ним

говорит не его порывистая и задорная возлюбленная, а сама дочь Ахархеллена, вышедшая из могилы, чтобы заставить его исполнить ее желание. Туарег смущенно отступил и пробормотал:

— Никто из нас не был в этой стране. Даже если смогу я добраться туда, что я увижу и пойму в чужой жизни? Без знания языка, обычаев, природы, я пройду там тенью, не в силах даже расспросить тех людей, ибо не знаю, что спрашивать...

Афанеор опустила на землю перед Тирессуэном и обняла его ноги.

— Теперь не то, что было во времена дочери Ахархеллена. Люди летают быстро на большие расстояния, страны приблизились друг к другу. Приезжают из Франции люди, знающие не только арабский, но и наш язык. Может быть, и в России ты встретишь таких людей. Но главное, даже не владея языком и не зная обычаев, просто заглянуть в душу русских, почувствовать силу знания, искусство этого народа! Я женщина, я не могу поехать, потому что бедна и невежественна, потому что это не в обычаях даже европейцев — они считают нас за темных затворниц ислама! — Слезы покатались по гладким щекам Афанеор, а глаза на поднятом вверх лице смотрели с такой мольбой, что сердце Тирессуэна сжалось.

Он сделал еще попытку образумить девушку:

— Но ты сама даже не принадлежишь к нашему народу. Что заставляет тебя страдать с ним вместе, думать о нем и посылать меня в такой путь, какого не проделывал еще ни один из туарегов?

Девушка медленно поднялась и опустила глаза.

— Я сирота, вскормленная туарегами, живущая одной с вами жизнью, одними стремлениями... Только, может быть... — голос девушки вздрогнул, — мои чувства просто сильнее ваших. Как и моя тяга к широкому миру без вражды и невежества, к ласке и красоте...

— Я вижу, — ласково сказал Тирессуэн, — но я вспомнил, что мне говорили французы. Страна русских стала другой, там правят свирепые люди, захватившие власть и угнетающие народ. Эта страна грозит сейчас всем, и европейские страны должны вооружаться до зубов, чтобы не попасть под тиранию русских.

— Почему же ты веришь в этом французам? А говоришь, что тебя и нас всех часто обманывали. Может быть, обманывают и с Россией?

— Может быть,— согласился Тирессуэн и умолк.

— Ты, наверно, считаешь меня безумной,— воскликнула Афанеор.— Едем!

Девушка, сделав земной поклон могиле, поставила на колени своего мехари. Перед тем как взобраться на седло, девушка обернулась к Тирессуэну. Ее правая рука поправила повод на шее верблюда, левая подбирала складки одежды. Спина прикоснулась к шелковистому белому боку мехари, голова откинулась назад. Туарег навсегда запомнил печальный и полный надежды взгляд Афанеор. Еще миг — и ее верблюд бешено рванулся с места. У Тирессуэна был превосходный мехари, но мехари девушки не уступал ему.

Тирессуэн вернулся сюда, в геологическую экспедицию капитана. И вот судьба сама идет ему навстречу! Недостойно воину прятать лицо и убегать от нее. Завтра он согласится вести ученого в Танезруфт.

Весь следующий день потратили капитан и профессор, чтобы уговорить туарега отказаться от его желания. Тирессуэн был непреклонен, требуя письменного условия. Капитан уверял, что в Алжире идет война, что власти не разрешат кочевнику Сахары ехать в страну смутьянов. Да и сами русские никого не впускают к себе без особенной надобности — какая же надобность у Тирессуэна? Угрюмый туарег спокойно говорил, что русские обязательно впустят его.

Истратив все красноречие, капитан зло плюнул и приказал радисту связаться с Таманрассетом, а туарег величественно удалился в тень под обрывом, не замечая насмешливых взглядов и оживления людей обеих экспедиций. Особенно ярился Мишель, предлагая арестовать Тирессуэна, доставить в Таманрассет и держать, пока не расскажет дорогу к развалинам.

Никто не знал, какой ответ пришел от больших начальников, только капитан заключил с проводником письменное соглашение, по которому Комитет сахарских исследований обязывался вознаградить туарега туристской поездкой в Советский Союз. Обе автомашины взяли курс на Таманрассет. Шоферы ехали по знакомой дороге, и машины уверенно ныряли в рытвины и сухие русла, вертелись между каменными глыбами, ускоряли ход на

талаках — ровных площадках сцементированных солнцем глин.

Часами метались фара по бесконечному щебню и песку, вырывая из теплой тьмы скалистые, присыпанные песком холмы или заостренные скалы из отшлифованных ветром черных пород. В широких сухих руслах появились правильные ряды деревьев: тамариски и колючие акации — тальхи. На холмах торчали кустарники — машины углублялись в горную страну Ахаггар. Уныло завыли передачи на тяжелом подъеме по широкому уэду, стиснутому хаосом острых скал и осыпей растрескавшегося камня. В отдалении высились конические горы, как гигантские кучи угля. Черные хребты Хоггара становились все выше, все больше встречалось груд и полей каменных обломков, дорога извивалась, то спускаясь, то поднимаясь. Угольно-черные горы сливались с мраком ночи в единую бесконечность каменной бездны, поглотившей машины.

Внезапно с последнего перевала через очередной хребет сотни электрических огней вспыхнули впереди и внизу в огромной долине, окаймленной хребтами, отдельными пиками, плоскогорьями и острыми, как иглы, вершинами, обрисовывавшимися в отдалении на зареве поднимавшейся луны.

Тирессуэн постучал по кабине, подавая сигнал остановки.

Капитан распахнул дверцу и заглянул в кузов с подножки.

— Ты хочешь сойти, Тирессуэн?

— Да! — ответил туарег.

— Поедем с нами в город. Тебе дадут комнату в отеле, охлажденную льдом, где в самое жаркое время дня будет прохладно, как ночью. Ты сможешь пить ледяные напитки, есть много мяса, по-туарегски жаренного над углями в течение трех часов. Здесь готовят и отличный кус-кус со свежими овощами и крупной цельной пшеницей! Тебе не придется шагать в темноте несколько километров, пока найдешь палатку. Здешнее племя дагхали бедно, возможно, у них не окажется еды... Почему ты боишься города?

— Я не боюсь, капитан. Подумай сам: если я выйду к охлажденной комнате, к обильной еде, как пойду я отсюда в зной и пламень Танезруфта? Я не смогу более делать длинные переходы, не выдержу знобя-

щие зимние ночи. Мне не захочется больше возвращаться в пустыню, и тогда что я? Презренный бродяга, ничего не умеющий, живущий воровством или подачками в грязи городских стен. Воздержанность моего народа не суеверие и не прихоть — это его жизнь. Прощай!

— На рассвете третьего дня приходи в гостиницу! — крикнул капитан в темноту, в которой мгновенно исчез туарег...

Таманрассет — новый город в центре Сахары, на месте, где когда-то стояли маленький форд-бордж и часовня миссионера. Скопление красных и оранжевых построек выросло в кольце бесплодных гор, посреди искусственно орошенной долины. Зелень ее полей всегда свежая и поражает путника контрастом с морем черных скал Хоггара. Каждое строение, планированное военными архитекторами, вливается в общий ансамбль особенного модернизированного стиля старинных городов Судана. Широкие улицы чисто выметены и, так же как просторные дворы, обрамлены высокими красными зубчатыми стенами. Свежая поросль небольших акаций, обложенных кольцевыми решетчатыми стенками из больших кирпичей, подрастает в каждом дворе, на каждой площади. Но еще более разительна щедрая тень высоких деревьев, выросших за несколько лет под жарким солнцем, кажущаяся совсем черной на залитых ослепительным солнцем площадях. Этот городок — удобное и тщательно содержащееся жилище французских офицеров, просторные виллы которых составляют большую часть городских строений.

Вернувшись возрожденными из плавательного бассейна, профессор и капитан наслаждались отдыхом, едой, новостями широкого мира в отличном отеле. Археолог, попивая кофе и покуривая, в несчетный раз возвращался к загадочному желанию проводника.

— Туарег — и Советская Россия! Немыслимо! Откуда могло явиться у нашего Тирессуэна такое несуразное, а главное, настойчивое желание? Держу пари, что он не слышал про Советскую Россию и кто такие коммунисты, да и русского-то не видел даже на картинке. Чушь какая-то, ха-ха-ха!

— Напрасно смеетесь! — сердито возражал капитан. — Это слишком нелепо и потому серьезно. Кто-то его распропагандировал!

— Агенты Кремля — в Сахаре! Капитан, вы образованный, умный человек, как же вы можете верить в эти сказки для новобранцев и фашиствующих юнцов?

— Э, не с того конца, профессор! Идеи самоопределения народов разносятся по всей Африке не хуже чумы. Пришло время, и с этим ничего не поделаешь — знамение века. А умная политика Советов делает так, что все они смотрят туда... И вот вам самое убедительное доказательство — туареги!.. А я бы голову дал на отсечение, что туареги меньше всех знают о том, что делается в мире.

— И потеряли бы голову! Но как же будет с поездкой Тирессуэна? Обмануть мы его не можем.

— Не можем. Что-нибудь потом придумаем... неизвестно, какие там еще будут развалины. Да, по-моему, пусть едет, только ненадолго — ничего не сможет понять сахарский кочевник в столь чуждой стране. Скоро зима, пусть там промерзнет как следует... Войдите! — прервал он свою речь.

Щеголеватый адъютант вытянулся, шагнув за порог, и, козыряя, протянул пакет. Капитан извинился и вскрыл тщательно запечатанное короткое сообщение.

— Прошу передать — явлюсь в назначенное время! Адъютант вышел.

— Что-нибудь важное? — спросил археолог.

— Не знаю. Через час буду знать, а пока давайте пить кофе, и черт с ним, с Тирессуэном. Есть интересные новости в «Ла трибюн де насьон».

Капитан вернулся через полтора часа другим человеком, угрюмым и встревоженным, и резко постучал в номер профессора.

— Так и знал, — упавшим голосом встретил его тот, — что-то случилось, и мы не едем!

— Вы отгадали! Мне придется направить свою экспедицию в другое место. Выезд сегодня ночью, и я вынужден покинуть вас. Поверьте, я огорчен не меньше и еще более встревожен. У меня совсем отказала радиостанция, и я не смею не выполнить приказа, но и ехать без радио тоже нельзя!

— Может быть, возьмете мою?

— Черт возьми, это спасение для меня, профессор! Однако вам ехать в Танезруфт на одной машине, без радио рискованно. Не будь у вас такой хорошей машины и, главное, Тирессуэна, я ни за что не воспользовался бы

вашей любезностью. Но с таким проводником есть возможность рискнуть, если хотите...

— Конечно, хочу! А что это за внезапное назначение... Простите за бестактность, я часто забываю, что вы военный геолог.

— Видите, теперь без Тирессуэна вовсе не обойтись, даже знай мы место развалин. Пусть едет хоть в Японию, хоть в Тибет, все равно! До свиданья, профессор, я должен идти. Примите еще раз мои искреннейшие сожаления и самую горячую благодарность. За радиостанцией подьедет Жак.

Капитан вышел, проклиная все на свете отборными словами сахарских сержантов. Полученное из Парижа распоряжение не только нарушало все его собственные планы — оно было противно душе любителя природы, всем сердцем привязавшегося к пустыне. Его небольшая экспедиция получила сверхсекретное, почетное в глазах записных вояк поручение: наметить и предварительно обследовать место для ядерных испытаний, запроектированных в Сахаре французским правительством.

В разговоре с генералом уже определилось это место — рег Амадрор, огромная мертвая равнина в семь тысяч квадратных километров к северу от Атакора, там, где он обрывается крутым уступом на тысячу метров. Но капитан предложил более изолированное, хотя и менее доступное место — пустыню Тенере. Это абсолютно голая и безжизненная равнина, простирающаяся на двести пятьдесят километров между Ахаггаром и Аиром. Даже в Таиезруфте в руслах уэдов изредка встречаются тальхи или пучки чахлой травы и редкие антилопы, но на тысячах квадратных километров Тенере вряд ли найдется заметная растительность или признаки животных.

Тенере дальше от населенных мест и дорог, чем Амадрор, и гораздо больше его по площади — вот чем руководствовался капитан, предлагая перенести испытания в эту местность. Однако сила взрывов современных термоядерных бомб так велика, возникающая радиоактивность так сильна и распространение ядовитых продуктов распада так широко, что испытания безусловно нанесут вред всей Сахаре.

Это казалось капитану преступлением, недостойным человека высокой культуры — европейца, в миссию которого он верил. И сам он, выполняющий хотя бы самый

начальный этап отвратительного дела, чувствовал себя предателем. Да, он тоже предаст этот свободный мир, широко раскинувшийся в горячем пламени солнца и мягкой ласке поразительно ярких звездных ночей. Мир, который он, как и все обитатели пустыни, чувствовал похожим на небо, близким вечному сиянию космоса. Капитан лихорадочно обдумывал возможность отказаться или саботировать поручение. И, как бесчисленное количество раз до этого, во все времена и во всех странах, услужливая мысль подсказала ему, что он не сможет задержать даже на день то, что совершается. Не он, так другой, третий, десятый, двадцатый — у военных начальников и у правительства было даже слишком много отважных и достаточно умных людей, готовых на все.

И еще задолго до зари машина геологической экспедиции покинула чистенькие улицы Таманрассета и направилась к юго-востоку, туда, где за горами Хоггара и оживленными растительностью долинами Аира распростерлась мертвая Тенере, скрытая крутящимися вихрями горячего воздуха и призрачными стенами миражей.

А еще через день большой белый автомобиль профессора, глухо ворча, одолевал длинный подъем на хребет к западу от Таманрассета. Тирессуэн беззаботно восседал на своем обычном во всякой экспедиции месте — у передней стенки кузова, над открытым окошком водителя, готовый в любой момент указывать направление.

Острые пики Хоггара медленно отступали назад, сменялись более светлыми, округлыми, будто гигантские валуны, горами. В ущельях прекратились каменные потоки с обрушенных крутых склонов. Твердое дно сухих русел стало рыхлым. Гулкое эхо сильного мотора загрохотало по всем направлениям, достигая отдаленных хребтов, чьи ощеренные скалы и пильчатые спины резко обрисовывались позади, на загоревшемся востоке.

Машина раскачивалась, ныряла, содрогалась всем корпусом на сыпучих песках, отчаянно колотилась и дрожала на мелких рытвинах. Пассажиров мотало, бросало и раскачивало, но это был привычный народ, с телами, приобретшими ту автоматическую способность приспосабливаться к любым рывкам машины, какая еще развивается у моряков с многолетней привычкой к качке.

Широкими ступенями спускалась к Танезруфту горная страна. Алый огонь восхода вспыхнул над стеной гор, и от него устремились вниз гигантские косые покровы

вы розовых сумерек. Слойми, один над другим, чередовались разные оттенки розового света, розовато-пепельные внизу, на дне ущелий и у подножий уступов, все более яркие и чистые вверх. По мере того как поднималось солнце и уходила вниз машина, розовый свет, заливший пустыню, бледнел и как бы сдувался жарким дыханием дня. Совершенно черные плато из лав перемежались с утесами розовых гранитов. Темные вулканические пики горели фиолетовым светом в лучах зари. Путешествие всегда облегчается, если местность разнообразна. Скалы Атакора с причудливыми фигурами выветривания, фантастическими обрывами и утесами дают волю фантазии не занятого в медлительном пути ума. Странные лица, маски, враждебные лица глядят сверху, с обрывистых стен, на поворотах ущелий внезапно вырастают чудовищные звери; заколдованные башни и осыпающиеся склоны кажутся развалинами неведомых городов. В знойном солнце черные камни раскаляются, как чугунные котлы. Горячий воздух струится над ними синеватыми озерами-призраками, а его восходящие потоки заставляют предметы расплываться зыбкими, неверными очертаниями, в которых глаза, уставшие от слепящего света, могут увидеть невероятные вещи. И европейцы — те, которые приходят к кочевникам Сахары внимательными друзьями, — не перестают удивляться беспредельной фантазии туарегов, черпающих ее из природы своей страны — неиссякаемого источника вдохновения. Пески становились рыхлее, чаще попадались обширные конусы размывов глин, сцементированных жаром солнца. Понижались, отходя назад, горные кряжи; светло-желтые плащи песка всползали выше по их склонам. Казалось, что каменные щупальца горного массива, тянувшиеся вдогонку за путешественниками, бессильно погружаются в море рыхлых песков, мелкого щебня и пестрых глин со сверкающими выцветами горьких солей. Утопавшие в песке пустыни кряжи расходились все шире, пока не разделились на отдельные увалы и останцы, каменными островами поднимавшиеся на равнине. Пояса рассыпавшегося в щебень камня окружали эти острова как свидетельство жестокой борьбы твердой формы с бесформенной рыхлой материей.

Жара усиливалась, высокое солнце изливало поток света, сиявшего так, что он казался серым и ощутимо тяжелым, как свинец. Свинцовой тяжестью он оседал на

головы путешественников, сопротивлявшаяся ему кровь бурно стучала в виски, теснила череп нестерпимой болью. Глаза ощутимо вспухали в орбитах, яркие цветные пятна крутились за темными стеклами защитных очков. Водитель и профессор, овеваемые в кабине специальным вентилятором, были вынуждены с усилием прогонять этот цветовой бред перегретого мозга, чтобы следить за дорогой. Но страшная мощь солнца то застилала дали завесой горячего воздуха, то неправдоподобно приближала отдаленные холмы, гряды и песчаные дюны. Все мелкие рытвины, впадины и промоины казались однообразной серой поверхностью, стелившейся ровным ковром. Это затрудняло выбор пути. Машина моталась и завывала еще сильнее, а сила перегретого мотора падала с каждым часом пути, несмотря на радиатор двойной емкости и восьмилопастный вентилятор.

Вняв жалобам водителя, профессор обратился к Тирессуэну, как ни в чем не бывало покуривавшему на своем посту в кузове.

— Не пора ли остановиться и подождать спада жары?

Туарег покачал головой.

— Надо беречь машину! — воскликнул профессор. — Почему мы не можем ехать вечером?

— Вечером сюда придет сильная буря, — отвечал Тирессуэну. — Вода в бочках будет высыхать... и придется стоять на месте. Нужно сейчас ехать дальше!

— Почему ты знаешь, что будет буря?

— Здесь всегда бури. Такое место. Горы Ахаггара сражаются здесь с Танезруфтом.

Профессор приказал водителю ехать дальше.

Танезруфт — страна гибели, жажды и миражей — расстелился необъятной равниной. Когда-то доступный караванам не во всякое время года и лишь по единственной дороге через колодцы Ин Зиза и эрг Афараг, страшный Танезруфт оказался удобным путем для быстроходных автомобилей. Правда, автомобили в Судан ходили по той же старой караванной дороге, снабжаясь привозной водой на промежуточной станции Бидон-5. Одинокая машина археологической экспедиции везла в двух белых бочках солидный запас в триста литров воды и могла не заходить на станцию. В середине дня бензонасос грузовика стал отказываться подавать испаряющийся бензин. Пластмасса рулевого колеса стала обжигать

руки водителя, и он обернул руль тряпкой. Пора было сделать остановку. Неглубокое сухое русло приютило путешественников, растянувшихся на песке под машиной. Это единственно возможная в Танезруфте тень — маленький прямоугольник, которого едва хватало на пять человек. Было жутко отойти на шаг от нее, в неистовствующий пламень солнца. Будто все живое исчезло с лица земли и пятеро путешественников остались последними людьми в море слепящего зноя на песке, сверху присыпанном мелким серым щебнем.

Пустыня огнем веяла в лица пришельцев, и от ее дыхания трескались губы, лопались кровеносные сосуды в глазах и в носу, становилось все труднее разлеплять отяжелевшие веки. Во рту появилось отвратительное ощущение — точно язык, покрытый ранами, касался сухой бумаги или ткани. От смачивания водой боль проходила, но вскоре появлялась снова. Люди были испуганы Танезруфтом, но слишком отупели и измучились, чтобы роптать на судьбу, как неминуемо делают европейцы во всех трудных случаях своей жизни.

Незаметно бесконечный день перешел в вечер, и ярость опустившегося солнца наконец ослабела. Машина выбросила длинную тень, в которой укрылось бы полсотни людей, но теперь в ней не было нужды. Все кругом приобрело отчетливость очертаний, стали видны и пологие волнообразные всхолмления пустыни, днем размытые в сероватом тумане раскаленного воздуха. Вялые и ослабевшие люди расселись по своим местам, водитель, проклиная день и час своего рождения, запустил мотор, и белый грузовик принялся покачиваться и нырять по пологим буграм. Проплыли мимо узкие уэды с одним-двумя пучками иссохших трав. Экспедиция углубилась в Танезруфт — вокруг не было ничего, кроме уплотненного бурями песка, иногда прикрытого полосами и клиньями темноватого гравия и дресвы. Насколько хватал орлиный взор туарега и даже десятикратный бинокль профессора, стелилась равнина, вдали, у горизонта, тонувшая в пылевой дымке.

Внезапно люди встрепенулись. Очень четкие, совершенно прямые линии прорезали равнину Танезруфта на всем ее видимом протяжении, от северного края горизонта до южного. Ближе линии разбежались, разъехались, как пути на железнодорожной станции, и превратились в широкие следы могучих машин. Профессор остановил

автомобиль. Путешественники невольно застыли перед величественным зрелищем. Что такое след автомашины на избитых дорогах между деревнями и заводами родной Франции? Совсем обычное дело, не привлекающее ничьего внимания. А на асфальтовых или бетонных шоссе след машины едва заметен и нужен разве лишь расследующему происшествию специалисту.

Но здесь, в глубине страшной пустыни, совсем другое! Вот главный след, глубоко раскатанный широкими шинами тяжелых автобусов и грузовиков, с четкими рисунками протектора. Он уносится вдаль, узорчатый, прямой и непреклонный. Две его колеи постепенно сближаются и наконец сливаются в одну узкую ленточку там, в мутнеющей ровной грани пустыни и неба. Рядом идут еще следы, более старые, частью уже сглаженные ветром, иногда перебрасывающиеся с одной стороны на другую, описывая красивые пологие кривые. Иногда неведомые водители предпочитали свой собственный путь — тогда, отделенный полосой нетронутого песка от главной дороги, рядом тянулся неглубокий, но отпечатанный во всех деталях протектора след, также прямо несущийся через Танезруфт к невидимой цели. Вся мощь нашего времени, казалось, сосредоточилась в этих стремительных, слишком прямых линиях, знаках победы машины над пустыней, над самой недоступной и опасной частью Сахары, которая не смогла ни задержать, ни замедлить бег железных верблюдов двадцатого века.

Отважные водители жарили яичницу прямо на капотах своих машин, раскалившихся под солнцем Танезруфта, и упорно пробивались вперед, борясь с пугающими миражами. Если туареги видели в зное страшной пустыни Деблиса — демона Танезруфта с пустыми глазницами, одетого в черное покрывало, восседавшего на скелете верблюда и кружившего около обреченных путников, — то шоферы рассказывали иное. У вежи 285, где на строительстве дороги погибло множество осужденных за бунт солдат Иностранного легиона, за автомобилями гнались их призраки — тонкие извивающиеся фигуры, вертевшиеся вокруг машины, с какой бы скоростью она ни шла. Они звали хриплыми голосами, и единственная возможность спасения от них заключалась в жертве бурдюка с водой. Его надо было бросить им, и тогда они отставали, а машина уходила на полной скорости.

Многое чудилось изнемогающим от зноя людям — перегретый мозг вызывал в глазах самые чудовищные видения. И все же прямые линии машинных следов чертили пустыню гигантской линейкой!

Машина археологической экспедиции, постояв немного, пересекла поперек путь транссахарских автомобилей и пошла печатать свой, здесь, на ровном участке, такой же прямой и отчетливый. Путешественники встретили дорогу между станцией Бидон-5 и вехой 540, далеко к северу от оазиса Тессалит — преддверия уже менее пустынных степей Судана и Нигерии. Одинокая машина долго шла в розовой мгле заката, затем по узкой дорожке света фар в однообразном море ночной тьмы. Короткий ночлег, и снова путь с остановкой задолго до наступления жаркого времени дня, под высоким обрывом у начала большого эрга Аземнези. Отсюда дорога сделалась тяжелой — рыхлые пески покрыли всю площадь эрга волнистой чередой. Машина продвигалась в ней на подстилаемых «лестницах» из связанных цепью деревянных плашек, сделав за вечер лишь несколько километров.

На утренней заре грузовик, словно отдохнувший за ночь, быстро вылез на сыпучий подъем окраины эрга. Дальше на запад местность была усеяна конусовидными холмами неска, тупо срезанными на верхушках и покрытыми удивительной рябью — сеткой чашеобразных углублений. Тирессуэн повел машину в обход этих холмов, на подъем к каменистой гряде, внезапно возникшей среди песчаного пространства.

— Далеко ли развалины, Тирессуэн? — окликнул проводника профессор, с тревогой подсчитывавший в уме, сколько литров бензина ушло на борьбу с песчаным дном эрга Аземнези.

— Уже близко, там. — Туарег показал на юго-запад, где на пологом скате гряды виднелось множество закругленных ветром черных глыб, издалика казавшихся толпой каких-то черепахообразных существ.

Ученый вздохнул с облегчением.

— Почему здесь такие странные холмы? — спросил он, указывая на конусы песка с их скульптурной поверхностью.

— Ветер, — лаконично сказал туарег, описывая рукой несколько кругов, и все поняли, что он говорит о крутящихся вихрях, вздымающих столбы песка на вы-

соту в полкилометра и сокрушающих все, что не камень или не вросшее в землю двадцатиметровыми корнями растение пустыни.

Снова медленно ползущие, уподобляясь машине, часы. Опять свинцово-серая мгла тяжкого зноя, звонкий стук пальцев перегретого двигателя, едкий дым горящего масла. Но вот машина поднялась по твердому скату, давируя между изъеденными ветром валунами. Круглые глыбы, пирамидальные навесы, острые выступы сменялись стенами, башнями, воротами... Острая, тревожная догадка заставила профессора встрепенуться. Неужественные и фантазирующие сыны пустыни иногда принимают эти причудливые скалы за развалины. Неужели и его экспедиция сделается жертвой подобной ошибки? Ох, ублюдож дьявола, так и есть!

Туарег властным жестом остановил машину в тот момент, когда водитель собирался заявить профессору о необходимости остановиться и переждать жару.

Вне себя от ярости, с помраченными жарой и тяжелой дорогой чувствами археолог выскочил из кабины.

— Куда мы приехали? Где развалины? — завопил он.

Ясные серые глаза Тирессуэна блеснули гневом под навесом головного покрывала. Неторопливо подняв левую руку с широким кожаным браслетом, за который был заткнут кинжал с крестообразной рукоятью, туарег показал вниз.

Машина остановилась на краю склона плато, заваленного сплошной каменной россыпью. Черными контрфорсами спускались вниз сглаженные ветром обрывы, прорезанные глубокими и короткими оврагами, придававшими всей скалистой стене фестончатый контур, будто выполненный руками человека в затейливом архитектурном замысле. Под обрывом стелился небольшой серир — равнина, покрытая обломками отглаженных ветром кремнистых сланцев с углублением древнего озера, от которого осталось круглое пятно островерхих дюн.

А на равнине, отчетливые даже в дымке горячего воздуха, виднелись обрушенные стены, сложенные из глыб красного камня, какие-то пересекающиеся выступы, проходы ворот и улиц. Вот и несомненные башни — только кретин может их спутать с нерукотворными созданиями ветра! Площадь развалин была невелика, но постройки очень массивны и обладали чертами большой древности, распознаваемой опытным взглядом археолога.

Французы закричали. Секунду назад готовые смотреть на Тирессуэна как на идиота и преступника, они наперебой хвалили проводника.

— Зачем же стоять здесь? — воскликнул профессор. — Осталось несколько километров. Развалины совсем близко! — И археолог перевел свой вопрос на арабский для Тирессуэна.

Проводник объяснил, что дальше дорога очень плоха. Будет лучше пойти к развалинам пешком и осмотреть их.

— Нам не смотреть надо — изучать их, — возразил археолог. — Надо пробыть там дня три, сколько хватит воды.

— Лучше посмотреть, потом приезжать снова. Привозить запас воды, пищи...

— Сначала надо выяснить, стоит ли. Бессмыслица — ходить отсюда по жаре, будто мы на курорте... — Профессор спохватился, что туарег не понимает его и смотрит с вежливым, чуть снисходительным любопытством. — Надо подъехать. И сейчас же. Незачем терять время на остановку, а нужно окончательно расположиться на месте исследования! — настаивал археолог.

Туарег послушно полез на свое место у кабины. Машина долго заводилась и наконец тронулась. Проводник, умело выбирая путь, повел ее направо, где плато плавно понижалось и фестоны крутых ущелий превращались в широкие углубления промоин.

Визжа тормозами, машина спустилась по плитам песчаника в углубление, крупный щебень заскрежетал под массивными шинами. Грузовик пересек промоину. Форсируя мотор, водитель кинулся на штурм подъема. Гром мотора, вой низшей передачи и обычное раскатистое эхо. Вдруг стрелка масляного насоса упала налево, к нулю, слабый хруст послышался в недрах двигателя, и побелевший шофер выключил зажигание. Машина поехала вниз, скользя на крупном песке, катавшемся, как дробь, под неподвижными колесами. Все метнулись к бортам в опасении, что грузовик опрокинется. Но машина медленно сползла к промоине и задержалась, упершись в выступ каменной плиты.

— Что, что случилось? — выдавил из себя археолог. (Ответственность начальника, до сих пор существовавшая лишь в плане исследования, вдруг стала огромной перед лицом опасности.) — Попробуйте... — начал он.

Водитель мотнул головой и, запустив мотор, сразу

же выключил его. В гнетущем молчании все сгрудились около машины, в то время как шофер полез под капот. Тирессуэн уселся на камнях и переводил взгляд с одного лица на другое, стараясь понять случившееся.

Скоро выявилась вся серьезность повреждения. Маленькая шестеренка масляного насоса разлетелась на куски, повредив вторую. Ошибка ли, небрежность изготовления или плохое качество материала, там, во Франции, угрожавшая лишь волочением на буксире или несколькими часами ожидания, здесь, в Сахаре, для одинокой машины стала смертным приговором. Только профессор и радист знали, что они отдали радиостанцию капитану, понадеявшись на прочность своей машины и обилие запасных частей. А среди всех этих частей не было нужной, ибо поломка масляного насоса — редкий случай для современного автомобиля.

Пока сотрудники экспедиции осознавали положение — с проклятьями, молчаливой тоской или в трусливом смятении, профессор и туарег, согнувшись над картой, старались как можно точнее установить место аварии. Самое близкое и самое надежное — линия транссахарской дороги, которую они пересекли. Это сто двадцать километров на восток. Если идти прямо в Бидон-5 — сто сорок пять километров. Зато там можно достать шестеренки или вызвать срочную помощь. Европейец в Танезруфте вряд ли пройдет и шестьдесят километров. Это значит: если за эту попытку не возьмется туарег, то все они погибли.

Европейцы резко изменились. Шумные и нетерпеливые, заносчивые и мелочные, они стали медлительны и суровы. Полные тревоги, они зорко следили за Тирессуэном. Так мелкие хищники сидят вокруг льва в ожидании, какое решение примет могучий зверь. Так следят обвиняемые за судьей, вышедшим огласить приговор.

Туарег курил, бросая мимолетные взгляды на карту и снова уходя в неподвижное созерцание чего-то, проходящего перед внутренним взором. Все участники экспедиции знали, что Тирессуэн призвал на помощь всю свою колоссальную память и опыт, все рассказы товарищей и старинные предания, чтобы решить, куда идти. Сто сорок пять километров — это было слишком много и для тиббу, не только для туарега, но Тирессуэн считал себя равным этим замечательным властелинам пустыни. Властелинам, завоевавшим ее без технической муд-

рости европейцев — единственно с помощью своего выносливого тела и стойкой души!

День клонился к вечеру. Тирессуэн словно очнулся. Он откинул назад головное покрывало, тяжело вздохнул и застенчиво улыбнулся. И европейцы увидели, как еще молод и добр этот суровый кочевник, становившийся таким грозным с закутанным лицом, в своих темно-синих одеждах.

— Пойду на Бидон-Пять! — объявил туарег.

К нему бросились, пожимая руки, заискивающе хлопали по плечу, предлагали любые консервы, вино и сигареты. Туареги не едят ни рыбы, ни яиц, ни птицы, и Тирессуэн опасался консервов. Он согласился взять флягу с водой, немного шоколада и соленых галет, а также набил пазуху сигаретами.

— Возьмите мой компас, Тирессуэн, — предложил шофер.

Но кочевник отказался и от карты и от компаса.

Звезды и солнце — вот безошибочные путеводные маяки туарега, а небо пустыни почти никогда не бывает закрытым.

— Мы так благодарны тебе, Тирессуэн! — воскликнул растроганный профессор. — Мы, если епасемся, никогда не забудем, что ты делаешь для нас...

— Я еще ничего не сделал, — туарег снова стал суровым, — и не для вас — ведь я спасаю и самого себя. Если я буду ожидать счастливого случая, то погибну наравне со всеми. Воды — на пять дней... Что случится за это время?

— Да, да, конечно, — поспешно согласился археолог.

Сомнение метнулось в его следивших за Тирессуэном глазах, губы дрогнули. На лице стоявшего рядом шофера отразился еще более откровенный испуг. Тирессуэн понял. Как все мелкие люди, считающие себя проницательными, они думали прочесть в Тирессуэне собственные мысли и скрытые чувства. Они боялись, что туарег, спасая собственную шкуру, сбежит куда-нибудь.

Подозрение спутников рассердило Тирессуэна, но он поборол себя, сказав:

— Теперь надо спать — до наступления ночи!

Отойдя за каменный выступ, он принялся расстилать плащ на маленьком пятнышке тени. Не успел он сделать это, как услужливые руки раскинули брезент, по-

ложили мягкий туфяк. Спутники ходили тихо, разговаривали шепотом. Туарег лежал и думал, почему европейцы могут действительно хорошо относиться к жителям пустыни, лишь когда приходит беда и необходимость в помощи. Европейец становится по-настоящему человечным в тисках жестокой нужды — это туарегу казалось низостью.

Тирессуэн проснулся, как назначил себе — в вечерних сумерках. После молитвы, напившись вволю и немного поев, он повернулся к востоку.

— Барак аллах фик! (Бог да хранит вас!) — сказал туарег и неторопливо зашагал, напутствуемый ободряющими криками оставшихся.

Профессор долго смотрел туда, где растворилась в прозрачной темноте высокая фигура проводника. Снедаемый опасениями, он в сотый раз клялся щедро наградить туарега, если тот вернется... Но ведь если он не вернется, некому и не за что будет награждать. Их найдут, конечно, но какое это будет иметь значение для всей его небольшой экспедиции! И снова археолог проклинал себя, что поддался на просьбу капитана. Никакая опытность не может противостоять случайности, и это он, как ученый, должен был бы знать! К дьяволу эти терзания — радиостанции-то нет!

Молодой ассистент профессора неслышно приблизился.

— Ваши распоряжения на завтра, шеф? — Ассистент был англофилом.

— Подъем до зари. Пойдем на развалины — надо же осмотреть это трижды проклятое место! Огюст, шофер, останется с машиной и приготовит обед. Отправимся мы трое — вы, я и Пьер.

Развалины отстояли дальше, чем показалось профессору. Они были к тому же захватывающе интересными, и, когда археолог спохватился, что пора возвращаться к машине, солнце поднялось уже высоко. Обратный путь показался профессору настоящей пыткой. Борясь с желанием выпить весь остаток воды во фляжке, грузно шагая по хрустящему грубому песку и перекатывавшемуся под ногами черному щебню, археолог чувствовал, что его тело ссыхается в палящей печи. Мысли мутились, назойливо возвращались то к ледяной шипучей воде отеля в Таманрассете, то к сказочному разнообразию напитков на любой из улиц Парижа, то просто к холодным ручьям и рекам, которыми он так пренебре-

гал в Европе, не подозревая, какую живительную силу таят в себе эти потоки обыкновенной воды...

— Воды! — Профессор громко произнес последнее слово, слегка всхлипнув от мысленного зрелища холодного и чистого горного потока, так невыносимо чудесно журчавшего по камням.

— Сюда, шеф, — окликнул его молодой помощник, указывая на небольшой песчаный холм с обрывистым восточным склоном. Растянувшись на земле, за этим склоном можно было укрыться в спасительной тени.

Ассистент посмотрел через плечо на горный уступ, где засел автомобиль, взвесил на руке фляжку и со вздохом положил ее обратно под бок.

— Кажется, мы никогда не дойдем, — промямлил студент-радист Пьер, перехватив взгляд ассистента. — Время тянется так же медленно, как тащишься сам. И с каждым шагом теряешь силы. Знал бы, взял на плечи ведерный термос...

— И тащился бы с его тяжестью еще медленнее! — возразил ассистент.

— Зато пил бы! Пил! Представляешь, сейчас литра два холодной воды...

— Довольно! — оборвал его сердитый окрик профессора. Археолог лежал ничком, и его голос шел будто из-под земли. — Я запрещаю разговоры о воде, о лимонадах, о Париже с его кафе и пивными, где на каждом шагу можно пить сколько угодно. Хватит болтать о реках, о купании!

Молодые люди переглянулись. Никто из них и не думал говорить ничего подобного. Ассистент покрутил пальцем у своего виска.

— Где-то сейчас Тирессуэи? — вдруг спросил студент. — Что он делает? Нам идти осталось километров шесть, а сколько ему?

Профессор повернулся на бок. Он отчетливо представил себе высокую синюю фигуру, безмерно одинокую среди палящего океана Танезруфта, такую слабую перед чудовищной силой пустыни.

— Пойдемте, друзья, — твердо произнес он, вставая.

— А что там, профессор? — вдруг спросил студент, показывая на запад.

— Очень далеко до помощи! Огромные эрги и себхры, древняя караванная дорога в Тимбукту и знаменитые соляные копи Тауденни, в которых обитает кучка людей.

— Соляные копи в центре Сахары! Кто же копал там!

— Раньше рабы, а потом и свободные люди, согласившиеся прожить там от одного каравана до другого.

— А если караван опаздывал?

— Все погибали, что и случалось не один раз. Погибали и караваны в пути из Тимбукту в Тауденни. Например, в тысяча восемьсот пятом году караван из тысячи восьмисот верблюдов и двух тысяч людей погиб от жажды до последнего человека. Никто не спасся! Небольшая ошибка проводников или пересохшие от бурь колодцы — и все...

— Золотая соль доставляется в страну черных!

— Вы правы, соль прежде ценилась на вес серебра. Чернокожие люди защищены от ультрафиолетового излучения солнца, зато получают больше нагрева от инфракрасного и сильнее потеют, чем белые. Потребность в соли у них выше. Многие путешественники описывают страшный соляной голод, который мучил чернокожих земледельцев и в лесах и в саваннах...

Ассистент, жадно прислушивавшийся к разговору, остановился.

— О, я понял важную штуку, шеф! Вот почему наш Тирессуэн и все туареги закутаны в свои темно-синие покрывала. Они белокожие, и им надо защищаться от вредного ультрафиолета сахарского солнца!

— Совершенно верно! И добавлю: знаете ли вы, что есть так называемые белые туареги? Это чернокожие, которые носят белые покрывала, проницаемые для ультрафиолета, который им не страшен, но отражающие инфракрасные тепловые лучи, которые слишком нагревают темную кожу. Прежде эти чернокожие были рабами. Им запрещалось законом носить синее, и они ходили в белом — то, что им и было нужно. Пусть-ка поразмыслят над этим господа медики — они мало думают о таких вещах...

Последние сотни метров по крупному булыжнику у подножия обрыва были настоящей мукой. Вода была выпита, и жажда терзала горло, заволакивала красным туманом глаза. Хватая ртом раскаленный воздух, три исследователя вскарабкались на обрыв, одолевая его на четвереньках, и повалились в тень машины, пока Огюст торпливо наливал большие суповые чашки. Жажда не голод, и напившийся человек быстро оживает. Остается лишь клонящая в сон усталость. Охотники за древностями задремали в тени тента, который Огюст растянул

у борта грузовика. Это была уже реальная защита от солнца Сахары, и европейцы скоро ободрились. По обе стороны промоины, в которой засела машина, выпячивались закругленные склоны утесов белого песчаника. Камень покрылся темно-коричневой, почти черной корой, блестящей на солнце, как броня. Остывание скал в холодные ночи покрыло склоны широкими трещинами, по которым черная корка отслоилась исполинской шелухой. Ослепительно сверкали белые камни там, где отваливался черный покров. От резкого контраста блестящей, как черное зеркало, коры и спящих белых пятен рябило в глазах. Бескрасочный серый свет над пустыней тоже не давал отдыха зрению. Только глетчерные очки спасали европейцев. Они лучше стали понимать, что обычай туарегов-мужчин чернить краской веки возник вовсе не как требование моды или своеобразной эстетики.

Каждая ночь оживляла путешественников после дневного отупения. Если день казался океаном зноя и слепящего света, необъятная звездная ночь Сахары становилась бездной бесконечного неба, уносившего человека в такие глубины и дали чистой прозрачной темноты, что невзгоды, опасности и даже сама смерть начинали странным образом мельчать, уподобляясь исчезнувшей во мраке грозной пустыне.

В Европе кончалась осень. Здесь это время выражалось лишь в наступлении холодных ночей, казавшихся ледяными после адского дневного жара.

Было невыразимо отрадно лежать на спине, закутавшись в шерстяное одеяло, и отдаваться гипнотизирующей власти бездонного неба, погружая свой взор в звездные рои Млечного Пути.

Украдкой подступали мысли о Тирессуэне. Туарег не взял с собой одеяла, и если он не сгорел в огненной печи дня, то неминуемо должен был замерзнуть ночью. А с ним и возможность легкого спасения для тех, кто остался у бочек с водой, под спасающим от убийственных копий солнца тентом, кто укрывался теплыми одеялами в знобящей ночи.

Только на третий день стоянки исследователи отважились на вторую экскурсию к развалинам. Двадцать километров пути туда и обратно были бы не страшны для ночного похода. Но изучать развалины ночью, как на грех безлунную, было невозможно. Волей-неволей археологи задерживались до знойного времени дня, и

поход становился для них мучением. Решено было отправиться на развалины к вечеру, успеть там немного поработать, переночевать и воспользоваться всем временем от утренней зари до девяти часов, когда следовало быть у машины.

Никогда исследователи не решились бы повторить ночевки. На свет костра из развалин выползли тысячи скорпионов и ядовитых пауков — фаланг. Все это скопище ринулось к расположившимся на ночь людям. Костерок из жалких стеблей, принесенных с собою щепочек и бумаги быстро догорел, и люди остались во тьме в неравной борьбе с ползучей и ядовитой гадостью. Единственным спасением было поспешное бегство в серир, как можно дальше от развалин. Всю ночь в шорохах ветра людям чудились ползущие скорпионы. Опять не хватило питья, хотя Пьер и ассистент сдержали обещание и тащили в заплечных мешках большие термосы. В третьем походе, снова днем, профессор получил легкий тепловой удар, пренебрегши солевыми таблетками. Его молодые помощники ушли в четвертый поход на развалины, а ученый, ослабевший телом и духом, лежал под тентом. Молчаливый Огюст хмуро поил его бульоном из концентратов. Несколько раз археолог заставлял его измерять воду в последней бочке, с ужасом убеждаясь, что они израсходовали ее слишком много в походах сквозь палящий зной Танезруфта.

Профессор обратил взгляд на восток. Черная россыпь обточенных ветром пирамидальных камешков полого поднималась к серому, угрюмому, без единого облачка небу, сокращая видимость постоянного горизонта до нескольких километров. Туарег должен был появиться неожиданно через несколько минут или дней или не появиться совсем. Профессор вспомнил свои опасения, что Тирессуэн может бросить их на произвол судьбы, но все, что он знал об этих детях пустыни, противоречило такому предположению. Но Тирессуэн мог погибнуть, как, безусловно, погиб бы любой из них, отправившийся в подобный поход. Если туарег погиб, то все равно идти придется, идти всем! Это будет скоро. Если проводник не вернется через два дня, то надо бросать все, нагружаться водой и шагать по следу своей машины. Археолог представил себе этот безнадежный путь и содрогнулся.

Свинцовое небо душило его, угасавший после полудня ветер шумел по камням назойливо и безотрадно. Край тента размеренно хлопал по застывшей машине. Застыв-

шей безнадежно, как эти источенные ветром и почерневшие от солнца скалы, как весь этот сожженный и мертвый мир, поймавший в западню его экспедицию.

Пятый день! Никто уже не ходил к развалинам, экономя воду. Люди валялись, курили, без охоты играли в карты. Профессор заметил, что во всех разговорах старательно избегалась одна тема — предположения о Тирессуэне. Видимо, слишком серьезен был этот вопрос для каждого из путешественников, чтобы обсуждать его в праздной болтовне. Лагерь, автомашина — все предметы кругом создавали привычную походную обстановку, ничем не напоминавшую о беде. Но пустыня вокруг, мертвая, угрюмо шуршавшая ветром, стояла настороженно враждебная, словно готовясь к решительной атаке на горсточку привязанных к машине людей. Будто они перенеслись на другую планету — настолько не похоже здесь было все на мир, с детства привычный европейцу. Пустыня воспринималась как некая нереальность, изменчиво проплывавая мимо в быстрых автомобильных маршрутах. Но теперь, окружая маленький бивак уже несколько дней, она стояла неизменной, как вечная угроза всему живому, бесконечно удаленная от многообразного существования людей, от их труда, развлечений, радостей и горя. Никак нельзя было поверить, что на востоке, всего в полтораста километрах от лагеря, бегут через пустыню быстрые машины. Любая из них перенесла бы всех путешественников туда, где их жизни не будут более качаться на зыбких весах неверной судьбы. Там пролетают аэропланы... Стоит любому из них немного отклониться от обычного пути, тогда их заметят с воздуха, и помощь придет через несколько часов!

Шестой день — последний день возможного ожидания. Готовясь к гибельному походу, молодежь не выдержала. Люди напились вина, пытаясь успокоить напряженные нервы и легче свыкнуться с неизбежным.

Начавшийся день был особенно жарким, точно пустыня, предчувствуя наступающий период прохладных ночей, изливала днем весь запас своей огненной ярости. Профессор, еще не вполне оправившийся от теплового удара, лежал в полузабытьи. Медленно, точно увязая в жаркой смоле, ворочались мысли в болевшей голове. Лежавшие вокруг спутники противно храпели, сопели, тяжело вздыхали, беспокойно дергаясь во сне, измученные зноем и тяготевшим над ними сознанием обречен-

ности. Мрачный Огюст изредка стонал, а Пьер жалобно всхлипывал, выдавая свои чувства в пьяном сне.

Профессор приподнял чугунную голову и механически огляделся по установившейся за пять дней привычке, ничего более не ожидая от изученного до отвращения ландшафта. Вдруг археолог дернулся, провел рукой по лицу, прогоняя сон. Поодаль от машины, на заваленном черными камнями плоском дне промоины, росла небольшая тальха. За ней виднелось нечто высокое, белое... Неужели? Да, это мехари! Громадный верблюд приближался к лагерю, неся закутанную в обычное темное одеяние фигуру. Переметные сумки из узорной кожи свисали с убранныго серебром седла с лукой в форме креста. К левому боку верблюда была приторочена винтовка дулом вниз.

Комок, подступивший к горлу профессора, помешал ему закричать. Археолог вскочил на ноги. Мехари подошел вплотную. Иногда не думал археолог, что туарег на верблуде окажется таким гигантом. Величественная фигура рыцаря пустыни наклонилась с высоты мехари. Он, Тирессуэн!

Ужасный крик раздался над ухом археолога, заставив его пошатнуться: это увидел туарега проснувшийся ассистент. Его товарищи, не успев подняться, завопили, точно орда людоедов. Все побежали навстречу туарегу, который опустил верблюда и медленно, видимо от большой усталости, слез с седла. На молчаливый вопрос путешественников Тирессуэн порывлся за пазухой и протянул на раскрытой ладони две маленькие шестерни, завернутые в промасленную бумагу. Огюст схватил их, всхлипнул, потряс руку туарега и бросился к машине, так ничего и не сказав. За ним поспешил его всегдашний помощник Пьер. Минуту спустя они уже открыли капот и полезли под машину.

Тирессуэн устало потянулся, уселся под тентом и закурил обычную сигарету. Будто и не было серьезного несчастья, не было шести тяжелых дней, полных тревоги и опасности. Туарег по обыкновению ожидал, пока его спрысят.

— Бидон-Пять? — Профессор показал на восток.

— Да.

— Как дошел, тяжело было?

— Да. Много солнца. Торопился!

— Устал?

— Да.

— А верблюд откуда?

— Ездили со станции на машине в кочевье знакомого. Взял доехать.

Археолог прекратил расспросы и предложил Тирессуэну отдохнуть. Через час Огюст и Пьер переминались на месте от нетерпения скорей завести машину, но профессор яростным жестом запретил их попытку. Только когда солнце склонилось к горизонту, проводник проснулся. В тот же миг заревел мотор, будто тоже очнувшийся от долгого сна. Все путешественники, не исключая профессора, принялись поспешно свертывать лагерь, а Тирессуэн долго пил теплый чай, заедая финиками, которые он отламывал от комка, извлеченного из седельной сумки, и совал по обыкновению под лицевое покрывало, чтобы не показывать рта. Французы подошли приласкать спасшее их животное — и отшатнулись: от мехари исходил отвратительный запах. Тирессуэн заметил недоумение спутников.

— Если верблюд долго идет по жаре и не пьет, он пахнет очень плохо! Я должен был ехать днем, зная, сколько у вас воды.

Профессор, так же как, наверно, и другие члены экспедиции, испытывал желание крепко обнять Тирессуэна, высказать ему горячую благодарность за выручку, за тяжелый, для европейца невыполнимый поход. Но туарег сидел с прежним спокойным достоинством, будто ничего не случилось. Археолог чувствовал перед ним смущение, заставлявшее его сдерживаться.

— А как же верблюд, Тирессуэн? — подошел к проводнику шофер.

— Да, совсем забыл, как же мехари? — спохватился профессор.

— Напоите верблюда, дайте мне запас воды и отправляйтесь, — ответил туарег.

Медленно, обходя каждую выбоинку, грузовик поднялся на плато и повернул на восток по собственным следам. Огюст ехал с предельной осторожностью, твердо решив ничем не рисковать, пока они не выберутся из этой западни и не наполнят водяные бочки. Сверху они еще раз увидели белого верблюда и едва заметную фигуру туарега, улегшегося в тени скалы в ожидании ночи. Тирессуэн явно находился на пределе усталости, и его европейские спутники опять ощутили угрызения совести за поспешность. Но после всего пережитого казалось невозможным остаться здесь лишний час. А туа-

рег... что ж, для него пустыня — родной дом. Их женщины ездят в гости к подругам за двести — триста километров, а мужчинам ничего не стоит провести несколько суток в пути, чтобы услышать новости. Все это так, но если бы это произошло в другом месте, а не в Танезруфте, тогда бы они уехали со спокойной совестью.

Но машина перевалила за гребень плато, проклятое место скрылось из виду, и оставшийся позади проводник перестал смущать европейцев. В конце концов, до Бидона-5, где они должны его дожидаться, не так уж далеко для быстроходного мехари!

* * *

— Я прошу вас срочно связать меня с министерством, генерал!

— Полно, профессор, стоит ли вам так волноваться из-за какого-то туарега с его бешеными претензиями!

— Поймите, что я и вся моя экспедиция, мы обязаны этому вовсе не какому-то, а замечательному человеку жизнью!

— Он только выполнял свои обязательства!

— Я тоже только выполняю свои. Это для меня вопрос чести. У вас, военных, есть свой кодекс чести, у нас, ученых, свой. Позор, что проводник третью неделю ждет разрешения пустякового вопроса. Болтается где-то около Таманрассета. Хорошо еще, что туареги терпеливы, он не надоедает мне. Наш брат француз...

Генерал поморщился.

— Вопрос вовсе не пустяковый, профессор. Поймите, что у нас непопулярная война в Алжире, чуть ли не с родственниками Тирессуэна...

— Положим, арабы и туареги — мне ли вам говорить...

— Есть еще одно обстоятельство, неизвестное вам. Под честное слово, профессор! Ни одному человеку, ни при каких обстоятельствах!

Заинтересованный ученый согласно склонил голову.

— В Центральной Сахаре проектируются испытания нашей, французской, водородной бомбы. Понимаете всю сложность обстановки, которая получится, как только секрет станет известным? И он неминуемо станет известным! А мы отправим туарега в Советскую Россию!

— Испытания... здесь... в Сахаре! — Археолог был ошеломлен и потерял все возобновленное после возвращения из Танезруфта достоинство. — Вы будете проводить испытания!

— Да где же еще нам найти столь подходящие условия, черт возьми! Ну вот, вы теперь сами убедились! Еще бокал, профессор?

Археолог молча выпил придвинутый ему аперитив, закурил и решительно выпрямился в кресле.

— Я все же буду настаивать, мой генерал!

— Что ж, я предупредил вас, мой профессор! — кисло усмехнулся генерал. — Я позвонил начальнику южных территорий генерал-губернаторства, директору Службы сахарских дел и военнослужащих, но...

— Очень сложный титул, — усмехнулся профессор. — И он отказал, конечно?

— Да!

— Что ж, одна надежда на Париж!

* * *

Профессор вернулся в свой комфортабельный номер с чувством досады, бóльшим, чем того стоило упрямство генерала. На полированном столе лежали куски древней керамики из развалин в Танезруфте. Археолог задумчиво поднял тяжелый кусок изделия двадцатипятивековой давности, чтобы в сотый раз полюбоваться находкой, предвкушая сенсационное сообщение в печати. Но странное дело, победные результаты экспедиции, чуть было не оказавшейся роковой, как будто потускнели. Прежней светлой радости исследователя, открывшего для мира новое, не было у археолога. Ему показалось, что поездка туарега в Россию чем-то важнее для него, чем древности, извлеченные из забвения в глубине пустыни. Заинтересованный собственными ощущениями, ученый вытянулся в кресле и зажег сигарету. Может быть, дело в том, что подсознательная благодарность Тирессуэну еще очень сильна после пережитых испытаний? Нет, не в этом дело! И не в том, что совесть человека науки, поставившего целью жизни раскрытие и отстаивание истины, была более неуступчивой, чем у политика и военного. Генерал пытался сыграть на его патриотизме. Он сын Франции, не меньше любящий ее, чем этот властный генерал! Но

не к лицу ему, человеку мыслящему и к тому же историку культуры, дешевая военная демагогия, высокие слова о миссии европейца, несущего культуру дикарям-туземцам. Вторая четверть двадцатого века наглядно показала человечеству, что все это навоз для почвы, на которой пышно зреет фашизм. И тут еще эта бомба — готовится великое отравление Сахары! В этом случае судьба сахарских кочевников, и без того трагическая, станет попросту ужасной!.. К дьяволу эти мысли! Если он может помочь, то Тирессуэну, но не туарегам вообще. И тиббу, и западным берберам, и арабам севера. Он только археолог, не политик, не финансист, не военный... Ага, пожалуй, вот в чем дело — у него тоже была с детства лелеемая мечта, сказочная страна детских книг, потом романов и кинофильмов, потом и строгого научного интереса — Северная Африка. Родом из департамента Нор, он неудержимо стремился к заветной стране, казавшейся ему — что уж скрывать от самого себя — гораздо прекраснее, чем он нашел ее, впервые попав сюда тридцатипятилетним человеком.. Может быть, потому, что он был не молод, получил уже от жизни изрядную долю усталости и скептицизма? Но туарег молод и тоже стремится в страну своей мечты. Чепуха, что он подвергся пропаганде каких-то таинственных коммунистов в центре Сахары! Как ни мало еще он знает туарегов, бессмыслица очевидна. Может быть, у Тирессуэна есть возлюбленная, такая же необузданная фантазерка, как и он сам? Она говорит ему о загадочных странах севера, о самой таинственной для Сахары далекой и холодной России... просит поехать туда... Она готова на разлуку, на опасность, на долгое ожидание... Все может быть, и он поможет Тирессуэну не только из-за данного обещания, не в благодарность за спасение, но прежде всего как человек, знающий, что такое мечта!

Судьба покровительствовала археологу (или, может быть, Тирессуэну). Министерские знакомства сделали свое дело. Профессор вручил туарегу билет на трансафриканский самолет Аулеф — Марсель и квитанционную книжку Международного союза сахарского туризма.

В зимнее время туристские группы в Россию ездили редко. Туарега должны были присоединить к торговой делегации, отправлявшейся в Ленинград на четыре дня для участия в пушном аукционе. «Хватит с него!» — так звучало решение власть имущих.

Мехари, сильно раскачиваясь, продолжал свой неутомимый бег, как будто Афанеор только что начала свой пятисоткилометровый путь. Это был лучший беговой верблюд старухи Лемты, по прозвищу «Талак» — «Глина», указывавшему на светло-желтый цвет его короткой шерсти.

Незримая почта сахарских кочевников передала Афанеор зов Тирессуэна. Девушке предстояло разыскать его на окраине эрга Афараг. Она не знала, что заставило Тирессуэна не вернуться к ней после приезда из России.

Каменистое пустынное плоскогорье — тассили — было сплошь покрыто воронками, вырытыми хозяином пустыни — господином ветром. Дальше тассили, понижаясь, переходило в аукер—лабиринт обрывов, промоин, останцов и отдельных крутых, как стены, гребней. Это означало близость большой впадины — эрга. Афанеор никогда не бывала здесь, но выбирала дорогу, ориентируясь безошибочно, с тем почти бессознательным чувством, которое кажется европейцу чудом. На самом же деле кочевник Сахары, с детских лет странствуя по пустыне, научается выбирать наилучший путь при одном взгляде на местность. Этот путь выберут также и другие кочевники — вот почему туарег легко находит след другого туарега, не говоря уж о проходе целой семьи со стадами и вереницей груженных верблюдов. Несколько самых общих указаний о местопребывании Тирессуэна было достаточно для девушки, выросшей в кочевье.

Красными воротами, пробитыми в сияние солнца, протянулось впереди глубокое ущельице. Массивные каменные столбы, высеченные древними волшебниками, шли чередой по обе стороны ущелья и загораживали весь мир своим гигантским частоколом. Косые выступы почерневших твердых плит прорезали каждый столб примерно на середине его высоты. Девушке казалось, что это стоят арабские воины, одетые в красные бурнусы, с патронными перевязями через плечо... Заколдованные воины замерли в молчании — сюда, на дно ущелья, не доходил неизменно свистевший по пустыне ветер. На каждом повороте вставали новые воины, и в этом их обязательном появлении было что-то угрожающее, невольно действовавшее на Афанеор. Она возвращалась к мыслям о том, что же случилось с Тирессуэном, раз он не смог

примчаться к ней на своем Агельхоке. Что-то случилось! Тирессуэну надо удалиться от людей и дорог... Может быть, он провинился перед властями? Может быть, не следовало ему ездить в Россию, а ей — просить его? Скорей бы! Чем ближе к указанному ей месту, тем длиннее кажется путь и тише бег верблюда.

На дне ущелья выступали плиты камня. При таком крутом спаде ущелье не может быть длинным... Это тин-рерт — боковой «приток» уэда. Скоро красные стены сделались серыми, понизились, разошлись в стороны, и Афанеор выехала в ираззер — главное «русло» уэда Тин-Халлен.

Уэд расстелился полосой плотного песка не меньше двух километров ширины, быстро расширявшейся к северо-западу, к впадине эрга Афараг. Весенние дожди пропитали песок водой — свежая трава, низкая и редкая, покрывала все просторное русло уэда. Издалека ее тонкие стебли придавали дну уэда вид пушистой шкуры, испещренной пятнышками синих, оранжевых и розоватых цветов. Ветер свободно разгуливал здесь, налетая могучим валом с запада. Нежная трава не могла просуществовать и недели под наливающимся злой силой весенним солнцем. Это эфемерное пастбище — ашеб — должно было исчезнуть раньше, чем к нему подошли бы стада. Солнце сильно склонилось к западу и теперь слепило глаза верблюду, по-прежнему бежавшему неторопливой широкой иноходью. Мехари сердился, вскидывал гордую голову с презрительно сложенными губами и, пронзительно вскрикивая, старался дать понять своей всаднице, что надо переменить направление. Но девушка, опустив покрывало на левый глаз, слегка дернула за поводную веревку, и желтошерстный бегун покорился. Ветер дул все сильнее, прижимая мягкую траву к почве. Казалось, что гигантская рука гладит зеленую шерстку уэда Тин-Халлен... Низкие, сильно разошедшиеся берега вдруг совсем потерялись — начался эрг Афараг. Несколько размашистых шагов верблюда — и, будто заколдованная, исчезла зеленеющая трава.

Занесенная песком, изрытая бурями поверхность эрга казалась на всем огромном пространстве совершенно мертвой. Ветер озлобленно ревел, обнажая кое-где иссохшие корни или переметывая трухлявые остатки стеблей — призраки когда-то зеленевших здесь растений. Ни кустика тамариска, ни пучка дрина, ни тальхи — ни-

чего живого. Свирепая засуха умертвила эрг. Афанеор сообразила, что Афараг сейчас надежное убежище для человека, не желающего лишних встреч. Солнце садилось в красной пылевой дымке западного горизонта, длинные тени ползли по необитаемой равнине, чередуясь со вспышками красного света на острых гребешках песчаных дюн, невысоких тут, неподалеку от устья уэда.

Девушка устала и приуныла. Пугающим владычеством смерти веяло от громадного выжженного эрга, чувство одиночества стало гнетущим. Даже презрительный Талак замедлил свой бег, часто озираясь и сбиваясь на рывке. Ветер бросал в лицо горсти песчаной пыли, трепал одежду, бил по щеке краем покрывала. Тягостное предчувствие давило Афанеор. Чтобы отогнать невеселые думы, девушка отвернула лицо от ветра, стараясь перебить веселой песней его унылый свист. Афанеор не могла ехать ночью по незнакомому месту и разыскивать приметы, а ночлег тут одинок и уж очень печален... Что это с ней? Или пятисоткилометровый путь слишком утомил ее? Где-то здесь должна быть высокая, отдельно стоящая дюна — гурд... Надо ехать на нее и затем правее... Ох, аллах велик, то Тирессуэн!

Белый Агельхок был замечен на бледно-серой поверхности эрга только глазам кочевника. Девушка погнала своего верблюда. Талак, заметив собрата, понесся во весь опор, раскачиваясь так сильно, что моментами казалось, будто мехари свалится на бок. Ветер донес зов Тирессуэна. Радостно прозвучал звонкий отклик Афанеор. Не помня себя, девушка спрыгнула на землю, не опуская верблюда. Башней вознесся над ней подлетевший Агельхок. Ноги белого мехари зарылись в песок, и Тирессуэн соскочил с седла. Афанеор была поднята сильными руками и прижата к патронным сумкам на груди туарега.

Эхен — кожаный шатер из шкур диких баранов, со столбом в центре по обыкновению был обмазан изнутри и снаружи светлой глиной. Надежно укрытый на окраине эрга, шатер Тирессуэна был велик, и девушка сразу поняла, что ее любимый пользовался помощью друзей. Друзья Тирессуэна — кто они? Какие они? Афанеор, только сейчас спохватилась, что она не знает никого из близких ее жениха. С кем живет ее Иферлиль — с матерью, родственниками? Девушка знала, что отец Тирессуэна умер, утонув во время внезапного наводнения, какие случаются в Сахаре после ливней...

Коротки были их свидания между поездками Тирессуэна. Она не успела ничего расспросить, слушая рассказы любимого и отвечая на его вопросы. И сейчас он вернулся из России... ему угрожает какая-то опасность! В конце концов, не все ли равно, какие есть у него родственники и где он живет! Ее Тирессуэну покорна вся пустыня, а для нее нужен только он сам...

Холодная ночь высыпала ворохом ледяные далекие звезды. Тусклый огонек маленького костра едва мог согреть скудную пищу. Темнота ночи побеждала жалкий красноватый свет, необъятная пустыня стала невидимой.

Двое молодых людей сидели во мраке перед лицом великого нового мира, открывавшегося им в словах и памяти Тирессуэна, в ответном воображении Афанеор. Туарег сбросил свое покрывало. В широкой синей рубашке без рукавов, туго стянутой у пояса, знаменитый проводник казался совсем юным. Горячее возбуждение от воспоминаний об увиденном покрыло темным румянцем его бронзовые щеки, заставило засветиться, как у мальчика, его суровые серые глаза.

Туарег говорил о том, как он поехал через Тидикельт и Ин-Салу в Аулеф, где находился большой аэродром. Огромный самолет, перелетевший море, доставил его в Марсель. Потом его везли в большом автобусе, связанном с целым десятком таких же. Вся связка неслась с чудовищной скоростью и поразительным грохотом. Он был привезен в небольшую гостиницу на окраине города, превосходившего своими размерами всякое воображение, около поля с целый эрг величиной, на котором день и ночь ревели такие громадные самолеты, что в них поместился бы десяток самых больших сахарских грузовиков. Не в пример другим туарегам, считающим, что всякое закрытое помещение — местопребывание злых духов, Тирессуэн не боялся комнаты. Хотя жизнь в гостинице угнетала его, он ожидал там в уединении и молчании три дня. Потом его посадили в один из огромных самолетов, и он снова летел, глядя вниз, но ничего не увидел, кроме бесконечной равнины из белых облаков, в пропывах которых иногда блистала большая вода. Дважды адился самолет в каких-то неведомых странах, но Тирессуэна не отпускали далеко от самолета. После короткого дыха снова ревели моторы, и самолет опять поднимался а облака. Путь был совсем недолог — меньше дневного ерехода. Самолет опустился в туман и сел на гладкое,

как талак, место, покрытое снегом. Стало очень холодно. Приветливо улыбавшиеся девушки, подобные служившим в самолете, только говорившие по-французски медленно и понятнее, отвели его с пятью спутниками в холодный, как палатка, автобус и повезли в громаднейший город. Долго ехали они по улицам, покрытым снегом. Их привезли к большому серому дому на площади, украшенной статуей всадника на коне, а поодаль — неопи-сваемо великолепным зданием из полированного серого камня с золотым куполом и высокими колоннами из цельных кусков красного гранита. Тирессуэн привык к домам и более не задышался под потолком в клетке из каменных стен. Все же он не стал спать на мягкой кровати, вделанной в углубление стены, а улегся посреди комнаты, на ковре, где было прохладнее и больше воздуха. На следующий день его повезли через весь город к еще большему зданию, тоже серого цвета, с широкими лестницами, наполненному шкурами невиданных зверей. Покупать эти шкуры съехались купцы разных стран, в том числе и те, которые доставили его сюда. Тирессуэн молча сидел в зале такой величины, что туда вместился бы дом губернатора в Таманрассете, наблюдая как на необъятные столы вываливались связки шкур и седовласый человек что-то кричал, стучал молотком, а купцы писали и тоже кричали. Разве за этим приехал Тирессуэн? Что увидит он здесь, в доме шкур? Туарег медленно встал, оглянулся и, видя, что на него никто не обращает внимания, вышел. На лестнице к нему подскочил какой-то человек, показывая на стоявший поодаль черный автомобиль. Туарег отмахнулся от него и пошел пешком, осторожно и недоверчиво разглядывая встречных. Тирессуэн старался запомнить дорогу между хмурыми громадами бесконечных каменных домов, таких высоких, что даже большие кипарисы в ущельях Тассиля едва достали бы до крыш.

Прохожие встречали его изумленными взглядами — сразу видно было, что они никогда не видели туарегов. Но взгляды их были приветливы, молодые мужчины и женщины весело улыбались, мальчишки некоторое время бежали за ним, как это делают все мальчишки городов Сахары, Нигерии и Франции. Его поразила одежда женщин — голову и шею они кутали в меха, оставляя обнаженными стройные, покрытые загаром ноги, не боявшиеся резкого, секущего сухим снегом ветра...

Тирессуэн дошел до огромной реки. Исполинские мосты горбились над ней, позади высилось необычайно красивое желто-белое здание, с золотой иглой, вонзившейся в низкое, хмурое небо. Не обращая внимания на ветер, туарег пошел через мост и повернул по набережной. Река покрылась толстым льдом, местами изломанным и торчащим остроугольными прозрачными глыбами, похожими на кристаллы горного хрусталя, которые находят в скалах Тифедеста. Ниже второго моста река была свободна на всю ширину и быстро несла свою чистую воду цвета стали, покрытую рябью под ветром. Туарег облокотился на загородку из глыб красного камня, закурил и начал раздумывать. Громадный город был прекрасен особенной, хмурой красотой. Люди, в нем жившие, казались приветливыми и несердитыми, но крепче всякого забора отделяло от них Тирессуэна незнание языка и обычаев. Кочевник Сахары, тысячи раз пускавшийся в одиночку в самые далекие поездки по мертвым пространствам пустыни, почувствовал себя здесь забытым, чуждым всем и никому не нужным. Даже мехари не было с ним, чтобы разделить его бесконечное одиночество...

Вот она перед ним, легендарная страна русских, мечта его Афанеор. Но что же он расскажет, вернувшись в Сахару? Бесполезен его сказочный путь по воздуху, бесполезны усилия, приложенные, чтобы попасть сюда.

Французы хитры — они сначала не хотели пускать его, потом разрешили поехать на четыре дня с купцами, засевшими в доме шкур. Они знали, что он ничего не поймет, не узнает, не поговорит ни с одним человеком. Афанеор просто сказала: «Поезжай, посмотри и расскажи, что увидел!» А что он увидел?

Тирессуэн осмотрелся. Город, стынущий на морозном ветру, был запорошен чистым белым снегом — праздничным цветом Сахары. Там, на юге, белое трудно сохранять таким безупречно чистым — это стоит дорого: белоснежные дворцы и дома, автомобили, ковры и диванки. Самые лучшие мехари тоже чисто белые... А здесь белый снег щедро сыплется с неба и не тает, придавая всему нарядный и богатый вид! Небо низкое, будто потолок в большом доме, — сплошная пелена серых туч. Поразительно, но небо здесь более темное, чем земля в ее праздничном наряде!

Нежный сумеречный свет, рассеянный, будто жемужный, трогательно мягкий, ласкающий, а не убивающий человека, настраивающий его на тихое, грустное размышление. Ночь наступает здесь рано, тянется долго, но она гораздо светлее, чем ночи Сахары, хотя тяжелые облака лишают ее звезд и луны.

Эта страна — полная противоположность пламенной пустыне, сгорающей в неистовом буйстве солнца, сухой и каменной, ночью тонущей в черной тьме бесконечного пространства под шатром серебряных звезд или сплошь залитой ярким светом луны, накладывающей на все кругом печать волшебства и несбыточных грез...

Тирессуэн закурил снова и повернул к гостинице близ храма с золотым куполом. Туарег закоченел: несмотря на всю его закаленность, одежда была слишком легкой для такой холодной страны. Кончился день — четверть всего срока его пребывания в России. Едва он появился в нижнем зале, как к нему подошла маленькая девушка, служившая переводчицей для приезжающих французов. Широко расставленными глазами и мелкими кудряшками светлых волос она напоминала туарегу молодую овечку. Кочевник, с молоком матери всосавший любовь к домашним животным, никогда не евший их мяса, может быть, потому относился к переводчице с симпатией. Волнуясь, девушка стала говорить Тирессуэну. Она заметила полную отрешенность туарега от торговых дел и поняла, что он приехал просто посмотреть ее страну. Однако он очень плохо знает французский язык, и, чтобы помочь ему в знакомстве со страной, нужен человек, знающий арабский. Языка туарегов, прибавила девушка, она думает, никто здесь не знает. Но ее друг изучает арабский язык, был в Египте и сможет быть полезным Тирессуэну. В тот же вечер явился молодой веселый человек с рыжими волосами и лицом, усеянным, несмотря на зиму, веснушками. Французские спутники туарега отнеслись к новому знакомству неодобрительно. После ухода студента они до ночи объясняли ему козни коммунистов и их умение обманывать и опутывать неопытных людей. Но, в конце концов, навязанный им туарег только мешал. Они были довольны, что его смогут занять осмотром Ленинграда и они избавятся на оставшиеся три дня от сурового чужака, который не пил вина, ничего не смыслил в еде и почти все время молчал. На следующее утро студент явился за Тирессуэном:

Судьба помогла ему, одинокому и невежественному страннику, хоть немного узнать страну, в которую он попал по просьбе Афанеор...

Туарег замолчал и задумчиво стал подгрести несгоревшие стебли на середину костра. Ветер упал — подошел самый поздний, предрассветный час безлунной ночи, когда ложится лошадь и встает верблюд. Звезды померкли, будто стихший ветер перестал раздувать их огоньки, и на небе едва обозначилась уходящая за горизонт волнистая поверхность эрга. Афанеор воспользовался задумчивостью Тирессуэна и задала ему вопрос, который сейчас интересовал ее больше всего.

— Это очень важно, — нахмурился Тирессуэн, — и я должен был бы пояснить тебе ранее, но увлекся рассказом. Большая беда надвигается на нас, худшая, чем голод, засуха или война!

— Что же может быть хуже всего этого?

— Помнишь у могилы дочери Ахархеллена наши думы? Как мы, туареги, сделали владыками пустыни? Ценой отрешения от благ оседлой жизни, закаленным во множестве поколений, привычным к лишениям, скудной пище, жаре и холоду, нам удалось победить пустыню и сделать ее местом своей жизни, недоступным гораздо более многочисленным и могущественным народам. Сравни нас с жителями оазисов — те измождены нездоровым воздухом, поголовно больны лихорадкой, запуганы. В тесноте они начинают и кончают свою жизнь. То же я видел на берегах Нигера, и правы наши отцы, говорившие: «Бойся страны без скал, где растут большие деревья, — там ты умрешь, а с тобой твой верблюд». Теперь подходит расплата: отказавшись от оседлой жизни, мы отбросили и возможность получить большое знание и остались такими же простыми воинами и скотоводами, какими были предки наших предков...

— Но ты ведь учился во французской школе, усвоил их мудрость! — не сдержалась девушка.

Тирессуэн рассмеялся и ласково убрал со щеки Афанеор непослушный завиток ее иссиня-черных волос.

— Меня только выучили говорить на их языке, и то плохо. Может быть, я неспособный? Французы не верят нам, они следят за нами, всегда судят о нас с подозрением... По-своему они правы! Но все знания о мире и жизни были в их руках, ибо только через них мы узнавали дорогу к мудрости мира. Теперь я понял, какая

большая беда, если дорога к знанию находится во власти военных начальников, пренесполненных лжи и трусости! Мы можем знать лишь то, что разрешат нам! И мы живем на острове невежества среди громадного мира, в котором, как в пустыне после дождей, бурно растет могущество знания.

— Только в этом беда?— ласково усомнилась Афанеор.— Уйдем с тобой через Ливийскую пустыню к арабам— там, говорят, новые государства, освободившиеся из-под власти европейцев. Там ты получишь знания и... научишь меня. И мы вернемся, чтобы показать этот путь всем. Кто удержит верблюда в песках или туарега в пустыне?

— Беда в другом! Придуманно небывалое оружие — бомба, которую сами европейцы называют адской. Взрыв ее может уничтожить в мгновение ока самый большой город; такой, как Париж или город Ленина, в котором я был в России. Мало того. После взрыва на сотни и даже тысячи километров разносится ужасная отравка. Она проникает в кости человека, заставляет его умирать в мучениях, лишает силы. Она делает мужчин и женщин бесплодными, а нерожденных детей — уродами. Никто не может спастись от яда — он в земле и в воздухе, в огне и воде, в пище, даже в молоке матери!

Афанеор в испуге отшатнулась:

— Это так ужасно, что кажется сказкой о злобных джиннах.

— Горе, но это правда! Джинны действительно создали эту страшную штуку. Весь мир в большой опасности; а теперь эта опасность подошла и к нам. Чтобы сделать эти бомбы еще страшнее и ядовитее, они устраивают пробы. Для этого выбирают пустынные, ненужные им места, отдавая их в жертву отраве, и вот французы выбрали Сахару!

— Но ведь не будут делать пробу там, где есть люди?

— Нет, конечно. Я думаю, что они возьмут самую мертвую местность пустыни.

— Танезруфт?

— Нет, там проходит большая автомобильная дорога в страну черных. Они, наверно, выберут пустыню Тенере или рег Амадрор. Я не знаю, только думаю так!

— Но там и в самом деле никого нет!

— Но яд разнесется оттуда по всей Сахаре!

Афанеор опустила голову и молчала. Тирессуэн за-

курил, устремив взор в розовую мглу, заливавшую эрг с востока. Девушка, помолчав, сказала:

— И ты, узнав об этом, рассказал другим? И за это военные стали преследовать тебя?

Туарег кивнул, зорко взглянув на Афанеор.

— И ты чувствуешь, что обязан это делать... я то же сделала бы на твоём месте и... буду делать с тобой или одна!

Тирессуэн порывисто поднялся.

— Ты хочешь мне помочь? Ты будешь со мной? Это так хорошо, что даже трудно сказать! Французы — они думают, что наши женщины такие же пленницы мужчины, какими они представляют себе арабов! Поэтому ты не будешь у них на подозрении, а то, что знают женщины, будут знать все!

— Да, я постараюсь — и дети узнают от матерей, мужчины — от возлюбленных, внуки — от бабушек!

— Но ты будешь в большой опасности. Если узнают, то не пощадят тебя!

— А ты что хочешь делать? — упрямо нахмурилась девушка. — Расскажешь все... а потом? У французов — броневики, самолеты, они сотрут с лица земли горстку туарегов... Неужели возможно сопротивление?

— Спротивляться безнадежно — пустыня вся открыта с воздуха, и мы на ней как на ладони для самолетов. Но весь народ уничтожить не дадут — это я тоже узнал! Теперь другое время, и каждая страна уже не может делать все, что хочет, в своих владениях. Есть собрание союза стран, есть твоя заветная Россия — она уже выступала в защиту арабов. А мы не дадим привезти ядовитую бомбу ни в Тенере, ни в Амадрор! В пустыне есть тайные источники, не отмеченные на французских картах, есть и хорошие убежища. Если аллах судил нашему народу умереть, то он умрет с оружием в руках, а не подохнет от отравы, как облезлый пес жителя оазиса!

Девушка прильнула к Тирессуэну, обвивая его шею своими смуглыми тонкими руками.

— Ты дашь мне, — горячее чистое дыхание ласково коснулось лица туарега, — это... — девушка показала на винтовку, прислоненную к опорному столбику шатра, — я умею стрелять!

— Потом! Сейчас нужнее твое слово и твои песни.

— Я поняла! Но как ты узнал о низком деле, задуманном французами? В России? «Поселитесь под кры-

шей в городе, и низость войдет в ваши сердца!» — верна старая поговорка.

— Нет! Была верна для прадедов в маленьком нашем мире! Я узнал обо всем не в России — во Франции. И там есть люди, много людей с чистым сердцем. Они защищают нас, они пишут, кричат, рисуют — делают все, чтобы не дать отравить Сахару. И еще множество людей во всех странах...

— Тогда почему же не запретят совсем эти адские бомбы?

— Есть страны, где народ под гнетом власти, тем более сильной, чем выше стало могущество оружия. Когда-нибудь, если смертельная опасность наступит им на горло, народы поднимутся, презирая смерть, и никакое оружие не спасет зарвавшиеся власти. Найдут самую глубокую на земле пещеру и закопают там навсегда ужасное порождение злых джиннов.

— А сейчас?

— Прости их, они не воины! Еще очень плохо — людям так много лгали, что они не верят друг другу более, не верят никому, хотя бы тем, кто пришел открыть им глаза и спасти их. Это самая большая беда для народов Европы.

— О да! Лучше сто раз ошибиться, поверив в благородную сказку, чем отвергать все, стараясь быть умнее сердца! Но что же увидело твое сердце в России? Теперь я знаю о тебе, иду с тобой, но ты мне не сказал еще всего о путешествии...

— Очень поздно. Завтра мы поедем к ихаггаренам твоего племени. Путь длинен, и ты узнаешь все, что я видел.

Верблюды выбрались из уэда и пошли по длинной гряде над морем высоких дюн. Острые, изогнутые верхушки песчаных холмов были окрашены солнцем, как тысячи кривых сабель из сверкающего золота, разбросанные по равнине. Горячий ветер немного умерял зной солнечных лучей, лившихся на землю потоками огня. Мехари не любят бежать вплотную. Тирессуэну приходилось напрягать голос, продолжая свои рассказы. Под свист ветра пустыни он говорил о молодом друге из русского города, который не задавал ему назойливых вопросов, какими досаждали ему французские газетчи-

ки. Он охранял Тирессуэна от излишнего любопытства, вызываемого его необычным нарядом, и старался лишь показать ему побольше.

Туарег запомнил посещение громадного завода, где люди в промасленных костюмах ловко повелевали непонятными машинами. Металлическая пыль въелась в их лица и руки, отчего все они казались более черными, чем другие люди русского народа. Там, где плавилась сталь, работа показалась таурегу достойной духов ада — джиннов. Но там были не джинны, а приветливые люди, которые встречали Тирессуэна так просто и открыто, что таурегу казалось, будто он давно знает их.

Тирессуэн запомнил также гигантский дворец, наполненный картинами. Туарег долго шел по бесконечным высоким залам, увешанным картинами от пола до потолка. Картины походили одна на другую, изображая темными, тусклыми красками людей громадных размеров, почему-то голых, некрасивых, с дряблыми и рыхлыми телами. Эти люди то убивали друг друга, то униженно валялись в ногах у свирепых владык, то объедались невероятным количеством пищи. Нередко на картинах размерами больше эхена была изображена только пища — отвратительные груды зарезанных животных, мерзких рыб и больших пауков, фрукты и хлебы...

Недоумевающий Тирессуэн попросился уйти отсюда скорее, но юноша, весело смеясь, повел его дальше. Они проходили по красивым, как в раю, мраморным белым лестницам, между высокими колоннами из розового или серого полированного камня. Он видел комнаты, сплошь отделанные темным деревом или пластинками прекрасного голубовато-зеленого камня, оправленного в золото (бронзу, как сказал его спутник — студент). Белые статуи нагих женщин чудесной красоты стояли и лежали в галереях и казались вылепленными из затвердевшего неяркого света, лившегося от серого неба через громадные, наглухо закрытые стеклами окна...

Окончательно примирил Тирессуэна с дворцом северного города зал в самой глубине сказочного здания. Отделанные серебряной краской белые полированные стены казались жемчужными. Высоко вверх уходили круглые арки, с которых свисали сверкающие люстры из тысяч граненых кусочков хрусталя, переливавшихся всеми цветами радуги. Блистел гладкий пол из кругов серого и белого мрамора. В нишах справа и слева по резным из

мрамора раковинам, вделанным в стены, прозрачными каплями спадала вода. Во всех стенах были вставлены большие зеркала не с обычным резким и мертвым блеском, а бледного, чуть сероватого отлива, который дает лишь настоящее серебро. Высокие окна выходили на широкую реку. Простор льда и снега и свет неба за окном соединялись в одно с серебряно-белым хрустально-зеркально-мраморным залом. Это было такое неописуемо чудесное зрелище, что туарег долго стоял в молчании, и его проводник забеспокоился. Тирессуэн почувствовал, что через этот зал он впервые вошел в душу северной страны. Туарег понял неведомых строителей и их великую любовь к этому прозрачному миру бессолнечного жемчужного света, холода и чистоты, такой высокой, что она казалась неземной...

Афанеор вскрикнула от восхищения, и Тирессуэн вернулся к действительности. Далеко вперед уходила золотисто-бурая пустыня, и двумя слепящими пятнами горели поодаль маленькие озера.

— А наши мерая,— воскликнула девушка,— отдают тот же могучий свет, какой низвергает солнце нашей страны! И в нем понятная нам красота и сила...

— У нас свет слишком беспокойный. Он не дает думать, чувствовать, так же как дышать — глубоко и долго. Здесь человек размышляет, поет, собирает мудрость в счастье по ночам, там, на севере, это делают днем, и времени на труд и мысли у них больше...

— И потому они достигли большей мудрости и искусства, чем мы! — добавила Афанеор.

Тирессуэн остановил мехари.

— Здесь надо повернуть на восток, туда.— Он показал на отдаленный горный уступ, один из северных отрогов Тифедеста, окутанный в дымку горячего воздуха, невероятно искажавшую его очертания.— Там проходит автомобильная дорога,— продолжал туарег,— и мы пересечем ее ночью. Сейчас найдем убежище на время полдневной жары. Поедем направо и спустимся в аукер.

...Афанеор лежала на жестком верблюжьем одеяле и слушала Тирессуэна под аккомпанемент стонов, вздохов и треска, похожего на хлопанье бича. Это звучали камни, лопавшиеся от солнечного нагрева,— хор жалоб мертвой материи на неумолимое разрушение.

Тирессуэн продолжал говорить о России. Мощь памяти человека побеждала природу и переносила Афанеор за тысячи километров, в страну, где впервые побывал человек Сахары.

В день посещения серебряного зала — третий, предпоследний день его пребывания — к проводнику Тирессуэна присоединились еще трое молодых людей. Они повели туарега вечером на ахаль — музыкальное собрание в особом храме, который был так же огромен, как и все, что встречались Тирессуэну в городе Ленина. Тысячи людей участвовали в собрании, но только как зрители. На ахальях в России поют и танцуют тщательно обученные и особенно одаренные люди, которые живут на деньги, полученные за право присутствия на собрании.

За Тирессуэна заплатили его провожатые и усадили его в белом ящике, отделенном от всего зала обитой красным бархатом загородкой. Провожатые объяснили туарегу, что здесь собрался вовсе не весь город, а меньшая тысячная часть его взрослых жителей. Количество людей вселяло в Тирессуэна удивление, смешанное со страхом. Если бы собрать всех взрослых людей племени кель-ахаггаров, то они поместились бы в этом белом зале, отделанном резной позолотой и красным бархатом...

Спутник Тирессуэна стал объяснять представление — сказку о девушках, превращенных в лебедей злым волшебником и освобожденных любовью юноши к царице лебедей. Туарег понял из объяснений, что лебеди — это большие белые птицы, похожие на гусей, только более величественные и красивые. Тирессуэну приходилось слышать и видеть диких гусей, пролетавших над западной частью Сахары.

Потух свет. Оркестр из сотни людей с какими-то сильно и красиво звучащими инструментами начал пленившую туарега мелодию. Звонким призывом грянули серебряные трубы. Тревожные и тоскливые, потянулись в бесконечную даль зовы, будто в самом деле прощальные крики летящих гусей. Они слабели и становились всё более звенящими, теперь напоминая Тирессуэну те таинственные зачаровывающие звуки, означавшие для некоторых людей их смертный час, — пение песков перед сильной песчаной бурей. Слышал их и Тирессуэн — звонкие вопли серебряных труб, несущие оцепенение и со-

знание обреченности. Здесь же могучие трубы подхватывали и несли как на крыльях, томили ожиданием чего-то прекрасного и тревожного. Скрипки хором поддерживали их стремление и превращали его в вихрь бурных чувств — исканий и непокоя...

Туареги — музыкальный народ, и Тирессуэн, впервые узнав, что на свете есть такая музыка, забыл о самом себе.

Ожидавший несколько насмешливо европейского ахалая, думая, что европейцам несвойственно увлечение сказочными фантазиями, распространенными среди кочевников Сахары, туарег был захвачен врасплох и побежден русской музыкой.

Все было необыкновенно в поразительном представлении — и яркие сцены придворных балов, и замечательные декорации, делающие сказку действительностью. Но туарег весь превращался в слух и внимание и не мог отвести глаз от девушек-лебедей и их царицы. Раньше Тирессуэн видел в Бу-Сааде знаменитых танцовщиц племени улед-наиль с гор Любви — девушек, о которых по всей Африке говорят, что у них глаза как огненные мухи, ноги газелей, а животы подвижнее и быстрее, чем язык хамелеона. Танец живота выражал неутомимость и гибкость, поразительную подвижность всех мышц тела, яростные, почти гневные порывы страсти и также удивлял поразительным искусством. Но туарег не мог представить, чтобы искусство танца могло быть доведено до такого совершенства. Стройные девические тела в тысячах отточенных движений выражали все оттенки чувств, владеющих человеком. Не надо было даже слышать музыки, чтобы понять происходящее. Тирессуэн видел, что красота человеческого тела может быть такой же чистой и светоносной, как беломраморные создания искусства, виденные им во дворце-музее. Нет, неверно, во сто раз более прекрасной, потому что здесь — сама жизнь в неисчерпаемом богатстве движения ее гибких форм!

Музыка и танец сливались воедино... Протяжное и грустное пение скрипки улетало ввысь, как луч одинокой звезды, и белая девушка-лебедь тоже стремилась унести за ним в томлении пробуждающейся любви и тоске, что не сможет осуществиться запрещенная ей страсть...

И звенящая музыка, и прозрачный свет над ночным

озером, и белые девушки-птицы сливались в такую же гармонную хрустально-серебряной белизны, как необыкновенный зал во дворце странных картин, как сам заснеженный северный город на широкой заледенелой реке.

Другая музыка, такая же певучая, но более глухая и низкая, остерегающая проскальзывавшими недобрыми нотами резкого диссонанса, сопровождала танец черного лебедя. Обтянутое черным бархатом точеное тело девушки изгибалось в призыве темных чувств, прорвавшихся в насмешливо-торжествующей музыке удавшегося обмана... Размеренно стонала и билась в отчаянии мелодия утраченной надежды и обреченности, легкие взлеты скрипок отражали певучие жалобы девушек-лебедей, склонявшихся перед судьбой в голубом лунном свете...

И возрождение былой любви в том же стремлении поющих скрипок, закончившееся победой над глухими диссонансами обмана и насилия...

Тирессуэн был потрясен невиданным музыкальным собранием. Кристально-чистую музыку сопровождал столь же совершенный, как граненый самоцвет, танец. Ритмически сменявшиеся позы царицы лебедей чудились туарегу буквами таинственного тифинара, вещавшими ему особенную, полную неожиданностей судьбу. Ему трудно было поверить, что девушки-лебеди — простые смертные, а не волшебницы или гурии, ниспосланные с неба в северную страну. Провожатые уверяли туарега, что единственным отличием танцовщиц от всех других людей было лишь долгое — с пятилетнего возраста — обучение искусству танца.

Тирессуэн попросил показать ему одну из этих девушек, а если бы это было возможно, то он мечтал бы поглядеть на саму царицу лебедей. Провожатые посоветовались и обещали, что попросят ее об этом завтра, но не теперь, после трудного представления. Тирессуэн напомнил, что завтра — конец его пребывания в России. Но молодые люди не обманули его. Туарега пригласили на поездку в парк на острова, и сама царица лебедей согласилась принять в ней участие. Тирессуэн изумился, увидев невысокую светловолосую девушку, такую простую и скромную, что с первого взгляда он не мог найти в ней ничего общего со вчерашней волшебницей танца и красоты. Серое толстое пальто, перехваченное в

талиии широким поясом, задорная детская шапочка на густых светлых стриженных волосах, большие, чуть грустные серые глаза... Только необычайное изящество и легкость движений, какая-то не покидавшая девушку внутренняя сосредоточенность могли подсказать наблюдательному взору, что перед ним — выдающаяся артистка. Душевный огонь, сделавший девушку царицей лебедей, как бы просвечивал изнутри, выдавая долгие годы физической и духовной тренировки, воздержания в пище и удовольствиях — то, что было близким и понятным туарегу.

Автомобиль шел вдоль неоглядной снежной равнины, как сказали потом — замерзшего моря, под раскидистыми соснами с красно-лиловой корой. Потом они шли пешком по протоптаным в снегу тропинкам и попали в рощу огромных серебристо-белых деревьев. Всюду, куда только хватал взгляд, стояли белоснежные, украшенные черными штрихами стволы. Тонкие черные веточки наверху были без листьев. Они опали в долгое и суровое холодное время года...

Внезапно покров тяжелых туч распахнулся, открыв небо очень яркой голубизны. Солнце зажгло миллионами сверкающих искорок крупный снег.

— Смотрите, смотрите! — воскликнула царица лебедей.

И Тирессуэн обернулся, поняв восклицание чужого мелодичного языка. Девушка показывала вверх.

Заледенелые белые деревья начали оттаивать. Высоко в ясном голубом небе их ветви переплелись серебряной, унизанной жемчугом пряжей. На гибких веточках повисли капли воды — в солнце они горели алмазами над другими темными и колючими деревьями, покрытыми пухлыми тюрбанами снега.

Вдруг сверкающая, шатром раскинутая в бездонной голубизне жемчужно-серебряно-алмазная сеть угасла. Низко опустилось закрывшееся облаками небо, более темное, чем земля. Зелень колючих конических деревцев сделалась совсем черной. Призрачными полосами убежали вдаль голые кустарники. Крупные блестящие хлопья падали медленно, крутясь в безветренном воздухе, полные немислимого в Сахаре покоя.

Но ярче созданного морозом алмазного шатра засветились серые ясные девичьи глаза, поднятые к Тирессуэну. Снежинки блестящим венцом легли на выбившие-

ся из-под шапки волосы, таяли на кончиках длинных ресниц, на алом изгибе губ.

Свежий, особенный запах тающего снега шел от разругавшегося лица, а напоенные морозным воздухом волосы издавали теплый аромат жизни. И туарег, любуясь этой чужой и бесконечно далекой девушкой, ощутил контраст холодной зимней красоты, сотканной бесплотным светом, и человеческой живой прелести. Теперь Тирессуэн понял все до конца. Бессолнечная и холодная страна, засыпанная снегом, скованная морозом, порожидала таких же живых, горячих людей, полных стремления к прекрасному и способных создавать его, украшая жизнь, как пламенная сухая земля юга. Права была дочь Ахархеллена, устремляя свои мечты вслед за Эль-Иссей-Эфом к России. Трудно было жить русским в такой суровой земле, но они не ушли никуда от своей доли, как то сделали и предки туарегов. Они закалили тело и душу в морозной близине севера, как туареги — в пламенной черноте гор и равнин Сахары! Вот почему душа русского человека смотрит глубже в природу и чувствует богаче, чем душа европейца, вот почему Эль-Иссей-Эф так хорошо понимал кочевников пустыни, а те — его!

Четыре дня в России пролетели мгновенно, но он все же успел почувствовать, понять страну сердцем, а не разумом, как то и советовала ему Афанеор. Он вернулся вестником правоты дочери Ахархеллена!

И еще узнал Тирессуэн совсем странные вещи. Будто бы есть такие догадки или легенды, что народы тиббу и туарегов — близкие родичи и оба составляют самый конец тоненькой ветки, протянувшейся из ночи прошедших веков. Другой конец той же ветки тянется в обширные степи к северу от Черного моря — прародине русского народа. А оба конца сливаются в общем основании — общих предках где-то в степях Средней Азии и предгорьях громадных хребтов за Ираном.

Тирессуэн умолк и закурил, вновь переживая все врезавшееся в его острую память. Афанеор молчала, лежа у ног Тирессуэна, пока тот не погладил ее растрепавшиеся волосы. Девушка подняла к нему свои огненные глаза и смущенно спросила:

— Они очень красивы?

— Кто?

— Девушки-лебеди и она... их царица?

Туарег рассмеялся.

— Очень красивы. И в жизни и в музыкальном сод-
брании. Красивы так, что трудно поверить. Но мою чер-
ную, насквозь сожженную солнцем Афанеор я не отдам
за всех них. Ты сама мое солнце, и такое же пламенное,
какое оно здесь, на нашей с тобой земле. Ты моя из-
бранница, а значит, лучше всех женщин на земле, хотя
их очень много и все они разные. Но я люблю тебя и
жизнь буду делить только с тобой!

Ночь была безлунной и безветренной, как там, на
далеком севере. Но воздух пустыни был прозрачен, как
темный свет, и вечно безоблачное небо приближало
звезды к земле, отчего земля как будто сливалась с
бесконечным пространством. Когда-то, очень давно,
древние египтяне поклонялись всеобъемлющему прост-
ранству, называя его Пашт, и всепоглощающему време-
ни — Шебек. Оба божества олицетворялись пустыней,
как бы соединявшей их в одно целое, бездонное и мол-
чаливое, в котором тонули все мысли, усилия, жертвы
и сама жизнь бесчисленных и безымянных поколений
людей. Современные обитатели Сахары не знали об
этом, но, как и древние египтяне, чувствовали свою связь
с бесконечностью пространства и времени, уносясь взо-
ром и мыслью в ночную пустыню. Только теперь пусты-
ня уже не казалась им всеобъемлющей. Как озеро мерт-
венного покоя и молчания, она была окружена жизнью
множества стран, стремившейся все заполнить и все
подчинить себе.

Туареги знали теперь, что все грознее становится
могущество человека и все больше — его слабость пе-
ред лицом им же созданных опасностей, каких еще не
существовало в прежнем мире. Что на всей огромной
планете идет борьба за справедливость и счастье, что
непоборимая европейская цивилизация сама подтачива-
ет себя изнутри и ее полный противоречий мир дол-
жен уступить место другому, более совершенному.

Белый и желтый мехари отдувались после долгого
бега, медленно поднимаясь на широкий уступ отрога
Тифедеста.

— Сегодня ночь холодного огня! — воскликнула Аф-
анеор, проводя рукой по шее своего верблюда и вызывая
этим множество голубых искр.

Электрические ночи нередки весной в горах Сахары.
Чем выше поднимались всадники на гору, тем сильнее:

сыпались искры с шерсти животных и с их собственной одежды. Ущелье, служившее тропой на плоскогорье, вилось синеватой мерцающей речкой в непроглядном мраке среди черных стен.

Оно привело путников в небольшую циркообразную впадину со ступенчатыми краями, обставленную заостренными скалами отполированного ветрами и солнцем черного диорита. Каждая скала была окутана слабым голубым мерцанием, на острие верхушки уплотнившись в факел синего огня. Глубочайшая тишина нарушалась только легким шарканьем верблюжьих ног. Афанеор и Тирессуэн молчали, чувствуя себя в запретной стране заколдованного Тифедеста, принадлежащей иному миру, чем тревожная и мечтательная ширь Сахары.

Медленно поднялись они на плоскогорье, и в темном просторе мгновенно исчезло колдовство снних факелов. Тирессуэн остановил мехари, сбросил головное покрывало и прислушался. Издалека, с дороги, которую они только что пересекли, нарастал мерный грохот. Разлилось, приближаясь, сияние автомобильных фар. Девушка хотела спешиться и положить верблюда, но туарег остановил ее:

— Они ослеплены собственным светом!

Внизу, из-за поворота, вынырнула первая машина. Длинная, на шести высоких колесах, с низким корпусом из броневых плит, она отличалась от своих мирных собратьев, как отличается крокодил от рабочего быка. Что-то рептильно-злое и тупое было в ее плоской передней части с горящими, широко расставленными фарами и боковым прожектором. Броневая машина металась по извилистой дороге, хлеща фарами по сторонам, будто выслеживая кого-то. Следом один за другим появлялись такие же крокодилообразные броневики, так же металась из стороны в сторону и уносились к югу в клубах золотившейся в свете их фар пыли. Глухо, назойливо и упрямо ревели моторы, громко шуршали по щебню широкие шины, угрожающе торчали вперед дула пулеметов и скорострельных пушек. Сила Запада, непреклонная и безжалостная, тянулась стальной вереницей по пустыне. Афанеор тревожно посмотрела на Тирессуэна и замерла. Голубое холодное пламя обтекало туарега с головы до ног; струилось по верблюду, горело высокими огнями на ушах и носовой палочке мехари.

Бронзовое лицо туарега в рамке голубого свечения казалось отлитым из чугуна и приобрело нечеловеческую четкость и твердость. Тирессуэн почувствовал взгляд девушки и положил на ее отставленный локоть свою сильную руку. Афанеор взглянула и поняла, что сама облита таким же голубым огнем.

«Не боишься?» — взглядом спросил ее туарег.

«Нет!» — так же ответила Афанеор.

Два всадника на высоких, как башни, верблюдах стояли меж черных скал над проползавшей внизу вереницей броневиков.

1958—1959

ПЯТЬ КАРТИН

Крес — оператор головной антарктической станции ППВ — склонился над графиком, когда голос друга позвал его из глубины экрана. Обрадованный и немного ошеломленный внезапностью, он всматривался в лицо школьного товарища. Такой же — и не такой... Они всегда в чем-то изменяются, возвращаясь из далей космоса. Это не штрихи резца времени, неизбежно оттеняющие лица оседлых жителей Земли.

Что-то как бы оттиснутое на самой сущности человека, отчего иначе складывается улыбка и смотрят глаза.

— Не ждал тебя так скоро. Всего два дня, как показывали ваше прибытие. Почему вы сели на старинный космодром Байконур вместо Эль-Хомры?

— Расскажу после. Меня включили на четыре минуты — узнать шифр твоего гостевого канала.

Крес назвал необходимые цифры и добавил:

— Мы можем увидеться сегодня же в двадцать часов по среднепланетному Восточного полушария. Подошла моя очередь посмотреть пять картин, а ты их тоже не видел. Мне откроют гостевой канал, хоть это и совпало с дежурством в направляющей башне. Кстати, увидишь еще двух старых друзей. Я пригласил нашего Алька — он так и остался художником. И еще будет Та...

— Она уже вернулась с Пяти Темных Звезд? И ты все же продолжаешь называть ее по-школьному? А где же Не Та?

— И ее увидишь, потому что она, ее группа, нашла пять картин. Она даст объяснения на выставке в Совете звездоплавания.

Скупые отмеренные минуты истекли. Крес вернулся к графику транспортировки. Громадность задачи не смущала его, участвовавшего в затоплении пустынь Калахари и Намиб в Южной Африке. Теперь предстояло перебросить целое море пресной воды на материк Австралии. Там сотни лет назад нерасчетливое орошение пус-

тынь подземными водами привело к массовому засолению почв, а недра материка могли дать лишь сильно минерализованный кипяток.

Опреснение морской воды не составляло проблемы, но ядовитая дистиллированная вода должна была подвергаться сложной химической обработке. Давно стало известно, как много веществ, хоть и в самых ничтожных количествах, было растворено в сложной структуре воды — минерала, когда-то считавшегося самым простым. Без этих веществ вода не могла служить жизни, а колоссальные ее количества, нужные для орошения целого материка, требовали столько труда, что не оправдывались ни земледелием, ни скотоводством Австралии.

Как всегда, выход из тупика нашелся раньше, чем думали, и в неожиданном направлении. Изобрели способ переноса водяных молекул в потоках заряженных частиц. Создавалось нечто вроде ураганного ветра, поднимавшегося исполинской дугой в стратосферу и переносившего любые количества воды. А здесь, на ледяном щите Антарктического материка, небольшая термоядерная станция давала кубические километры пресной воды.

Совет экономики планеты торжествовал, что отказался в свое время от проекта растопления антарктических льдов и повышения уровня океанов. Незачем было мешать пресную воду с соленой, когда теперь стало возможным излить любое ее количество в любую точку планеты. После промывки засоленной почвы Австралии предстояло затопление Сахары, промывка Большой Соляной пустыни Ирана, создание пресноводных озер-морей в Центральной Азии.

Крес соединился со станцией, запрятанной глубоко в толще льда. Все было готово для создания заряженного потока. Непередаваемо низкое гудение излучателей затрудняло разговор даже в хорошо изолированном помещении главного пульта. Крес включил сигналы предупреждения.

Через пятнадцать минут полоса атмосферы между Антарктикой и Австралией в две тысячи километров шириной станет опасной для самолетов на высоте теплой зоны стратосферы. Западная часть Австралийского материка, и без того обезлюдившая, была эвакуирована несколько дней назад.

Крес еще раз проверил настройку и вошел в крохотную кабинку, молниеносно взвившуюся на 1600-метро-

вую башню наблюдения. Некогда люди старались упрятать все наиболее важное под землю — отголосок эпох опасностей и войн. Теперь большинство наблюдательных и управленческих постов находилось на высоких башнях. Считалось, что человек, вознесенный над землей, лучше чувствует себя и как бы стягивается в узел напряжения и внимания:

Комната на башне раскачивалась, но не дрожала под нескончаемым ветром Антарктики. Гасители вибраций надежно охраняли человека и его приборы. Крес удобно уселся, окинув взглядом четыре больших экрана. В двух крайних виднелись похожие на медленно качавшиеся цветы направляющие башни на островах Макуори и принца Эдуарда. Их отделяло от Креса больше четырех тысяч километров. Кривизна земной поверхности не позволяла на таком расстоянии увидеть даже высочайшую гору мира — Джомолунгму, но сеть спутников-реле, вращавшихся синхронно с планетой, обеспечивала любую дальность телепередач.

Долгий вибрирующий сигнал — и башня все же вздрогнула. Крес всем существом почувствовал, как ураганный поток воздуха понесся над голубым озером растопленного льда, подхватывая воду и взмывая вверх с нарастающей скоростью.

Через несколько минут животворный ливень обрушится на пустыни Западной Австралии. Одна за другой башни сообщали о прохождении потока. Макуори, Тасмания, Балларат, Мосгрейв... Замыкающая башня на Гранитах докладывает о разрядке потока. Непрерывный каскад льет с неба над половиной материка. Лишь в конце дежурства можно будет снизить интенсивность наполовину, меньше нельзя. Еще не достигнута возможность работы на любом режиме.

Крес оглядел ленты графиков, медленно проползавшие в окошечках приборов. Мелодично и ритмично пели охранители-автоматы. Все хорошо! И оператор переключил боковые экраны на свой личный канал. Ровно в двадцать часов его приветствовали возникшие на экранах друзья.

Только что вернувшийся звездолетчик Ниокан, художник Альк со своей ласковой и беспомощной повадкой удивленного ребенка. Круглолицая Та с контрастом смешливо приподнятых уголков губ и тревожно сосредо-

точных глаз. Едва успели они рассмотреть друг друга и обменяться несколькими словами, как на четвертом экране появилась Не Та. Она стояла в круглом помещении под сверкавшим тысячегранником многоканального приемника ТВФ. Это была запись, сделанная около двух месяцев тому назад, и Не Та, конечно, не могла увидеть своих друзей. Она не изменилась. Может быть, стали немного резче ее аскетические черты и ярче горящие глаза библейской пророчицы.

Исследовательница древнего искусства не скрывала своего счастья. Действительно, найти среди миллиардов произведений живописи, накопившихся за столетия всеобщего мира на планете, когда ничто не могло разрушить творения искусства, нужные картины было исключительной удачей.

В прошлом искусство сильно отставало от жизни. Было поразительно, с каким упорством художники на пороге выхода людей в космос продолжали писать свои ландшафты и натюрморты или забавлялись пустяковыми открытиями в перспективе или игре цветов, которые временами достигали полного отрицания содержания и формы. Годы поисков не помогли найти даже одной-единственной космической картины, написанной по канонам того времени — на холсте, прочными минеральными красками на масляной основе.

Было известно множество черно-белых графических изображений, служивших иллюстрациями древних книг о будущем, которые считались второсортной беллетристикой и печатались на самой скверной бумаге, не позволявшей давать хорошие репродукции и рассыпавшейся в прах через тридцать лет. Только обложки этих дешёвых книг печатались в красках, и для них создавались цветные иллюстрации — видимо, единственный вид спроса на фантазии о далеких мирах.

Ни музеи, ни специальные художественные издания не занимались подобными картинами, очевидно, весьма низко оценивая этот круг человеческих мечтаний. Это было тем более поразительно, что как раз в этот период истории художники создали колоссальное количество нелепых произведений. Орнаментальное искусство соответственно распространившимся психосдвигам вдруг стало расцеиваться как выражение глубочайших идей, под названием абстрактной живописи или скульптуры. В подобную же форму облакалось множество подделок под

искусство, ибо в те времена жило множество людей с плохо развитым вкусом, но гнавшихся за так называемой модой, то есть массовыми увлечениями в музыке, одежде, искусстве и даже облике человека.

Не сразу было понятно, что дробление и искажение формы, перспективы и цветопереходов представляют собою закономерное в шизоидной психике стремление к извращению окружающей реальности. За это время миллионы нелепейших картин и чудовищных скульптур, больше похожих на обломки утилитарных деталей, заполнили музеи, наравне с произведениями противоположных направлений — ничем не прошибаемого натуралистического плана. Среди них потонули картины и скульптуры подлинных художников, искателей новых выражений человеческого духа в наступающую новую историческую эру.

Наконец, перебирая микрофильмы старых альбомов, исследователи нашли художника, специально посвятившего себя космосу.

Эксперты разошлись во мнениях относительно его имени. Некоторые думали, что это был «сокол» — русское название хищной птицы. Другие основывали имя на другом русском слове — «сок», означавшем жидкость из растений или плодов.

Не Та упорно продолжала поиски, и так были найдены пять картин.

Находка вызвала живейший интерес — был найден единственный русский художник космоса, творивший в самом начале космической эры.

Ему дали нежное прозвище «Сокол Русский», и планета смотрела теперь на цветные электронные репродукции пяти картин.

Сопровожденные объяснениями Не Той пять картин явились на экран во всем блеске своих красок.

На первой картине белый след быстро несущегося звездолета прорезал угрожающе фиолетовое, исчерченное пурпуром небо планеты Венеры. Бледные зелено-голубые огни электрических бурь неистовствовали над фиолетовым океаном.

Вторая и третья картины изображали различные аспекты планеты двойной звезды — красного гиганта и голубого карлика.

Резкие колебания температуры делали невозможной жизнь земного типа, но она тем не менее существовала

в виде кремниевых кристаллов. Одна картина показывала красное солнце, другая — голубое и дисковидный звездолет с Земли, проникший в мир двойного солнца и кристаллической жизни.

Четвертая картина была посвящена первой встрече земных людей и мыслящих существ другого мира.

Художник не попытался изобразить эти существа, вероятно, потому, что тогда господствовали взгляды о множественности форм мыслящей материи. Он написал встречу с творением инопланетной цивилизации — гигантским электронным мозгом, управляющим работой автоматических устройств планеты.

Пятая, и последняя, картина изображала автоматическую станцию, заброшенную на пробу атмосферы Сатурна, на кольцо планеты среди осколков скал — остатков спутников, разорванных ее притяжением.

Медленная череда древних картин повторилась еще раз. Затем экран показал отдельные детали живописи и угас, предоставив зрителям по-своему пережить встречу с картинами русского художника.

— Что поразило меня больше всего — это буйство воображения! — воскликнула Та. — Ведь они еще ничего не могли видеть в космосе, исключая свою собственную планету, конечно, да еще Луну. Но смотрите, как многое здесь передано верно. Какое вдохновение мог получить этот землянин, который не был никогда на других планетах, и он мог написать на картине то, что реально люди увидели лишь сотни лет спустя!

— Я также удивлен, — присоединился Алык. — Особенно когда я понял, что это было тогда, когда человек уже потерял свое первобытное чувство восприятия... И в то же время еще не достиг синтеза эмоций и интеллекта.

— Но я могу понять, — возразил Крес. — Человеческий мозг, отражая необъятные просторы космоса, инстинктивно схватывал его законы, воспроизводя их в изобразительном искусстве. Вот и вышло, что художник предугадал изумрудные оттенки дисперсного сияния ледяных просторов Сатурна, так же как лиловое небо Венеры и ее электрические бури.

— Научная фантастика того времени показала еще более поразительную способность видеть то, что еще не видели тогда, — задумчиво заметил Ниокан.

— И все же ни одна из пяти картин не передает ощущения первой высадки на неизвестную планету. Я под-

разумеваю восторг ожидания плюс тревогу возможной опасности, вероятность ужасного разочарования.

— Особенно если ожидаете встречу с разумной жизнью,— вмешалась Та.

— О да, когда вам мерещатся строения и мосты в горах и оврагах или каналы и поля на равнинах. И чем ближе вы подходите, тем яснее становится, что эти дела рук человеческих — иллюзия, игра переинапряженного воображения.

— Или вспомните особенные, странные планеты, на которых даже облака кажутся угрожающе нацеленными на вас копьями. Плотный туман вьется гигантским драконом и смотрит на вас упорно и слепо, скрывая под собой мрачные, зловеще выглядевшие горы.— И Та опустила голову, как бы вспомнив темные планеты, впечатления от которых еще не стерла сияющая, прекрасная Земля.

— Главное все же,— заметил Ниокан,— это общее чувство бесконечности космоса тут, рядом, за порогом нашего земного дома.

— Действительно, нет предела нашему желанию исследовать его бездны, ни границ этого исследования. Разнообразие Вселенной неисчерпаемо! — спокойно заметил Крес.

Его три друга ответили жестом согласия.

— Очевидно, наши предки в начале Космической эры еще не развили то очень реальное восприятие невероятного, которое простирается повсюду в необъятных просторах Вселенной,— начал Ниокан,— даже у нас оно подавляет слабовольных, причиняя агорафобию.

— Я не думаю,— возразила Та.— Вспомните наших пещерных предков, которые смотрели на бесконечную непознанную планету, в которой исчезали и растворялись индивидуальные жизни. Где тогда была для них граница мира? Лишь тысячелетия позднее древние греки изобрели их, заключили в них свой мир и определили тем самым его познаваемость...

Последние слова потонули в громовом эхе резкого звука.

— До свидания, друзья! — закричал Крес, выключая гостевой канал.

Башня задрожала, и на боковых экранах возникли озабоченные лица тасманского и кергуэленского операторов.

— Внезапный ураган? — поспешно предположил Крес.

— Да, на высоте около пяти километров, — ответил тасманец.

— Отлично! Это не нарушит режим операции, — удовлетворенно сказал Крес.

— Надо снять жесткость башен. — И тасманец закрепил свои предохранительные лямки.

Крес повторил его действия и нажал на большой красный рычаг.

Вибрация прекратилась.

Подобно спелому колосу ржи, башня нагнулась, падая к земле, качаясь упруго надо льдами, смутно белевшими сквозь мглу бури. Оператор приспособил свое сиденье к наклону башни. На неукрошенной ледяной шапке Антарктики такие внезапные бури продолжались недолго.

* * *

Крес усилил подачу направляющего тока и терпеливо ждал окончания бури, стараясь представить себе людей прошлого, первыми проложивших дороги в космическое пространство, и тех первых устроителей общества, которые начали предвидеть и покорять до этого неустойчивую и неопределенную судьбу человечества Земли.

1965

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
---------------------	---

РАССКАЗЫ

Встреча над Тускаророй	16
Эллинский Секрет	42
Озеро Горных Духов	63
Пути Старых Горняков	79
Олгой-Хорхой	106
«Катти Сарк»	124
Гонец Подлунный	168
Белый Рог	194
Тень минувшего	215
Алмазная Труба	259
Обсерватория Нур-и-Дешт	289
Бухта Радужных Струй	313
Последний Марсель	330
Атолл Факаофо	357
Адское пламя	388
Юрта Ворона	419
Афанеор, дочь Ахархеллена	464
Пять картин	531

Иван Антонович Ефремов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том 1

Редактор Е. А. Мартынова

Художественный редактор Т. А. Серебрякова

Технический редактор Н. В. Яшукова

Корректоры И. Е. Данилина, Т. В. Малышева

Сдано в набор 03.12.92. Подписано к печати
22.03.93. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. №1. Ли-
тературная гарнитура. Высокая печать. Усл.
печ. л. 28,56. Уч.-изд. л. 30,87. Тираж 250 000 экз.
Заказ № 1734

Издательство «Современный писатель»,
121069, Москва, ул. Поварская, 11.

Издательско-полиграфическое
предприятие «Правда Севера»,
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.

Ефремов И. А.
Е 92 **Собрание сочинений в шести томах. Том I: Рассказы.— М.: Современный писатель, 1993.— 544 с.**

ISBN 5—265—02735—1

В первый том собрания сочинений Ивана Антоновича Ефремова (1907—1972) вошли рассказы разных лет. Писатель обращается к непонятым и загадочным явлениям природы, показывает характеры мужественных, деятельных людей.

Е 4702010201—020
083(02) — 93 Подписное

ББК 84 Р7

В собрание сочинений знаменитого писателя-фантаста Ивана Антоновича Ефремова вошли:

в первый том — рассказы разных лет;

во второй том — «Дорога ветров» (Гобийские заметки) и повесть «На краю Ойкумены»;

в третий том — роман «Туманность Андромеды» и две повести «Звездные корабли», «Сердце змеи»;

в четвертый том — приключенческий роман «Лезвие бритвы»;

в пятый том — научно-фантастический роман «Час быка»;

в шестой том — исторический роман «Таис Афинская», который впервые издается в полной авторской редакции.

**Всех тех, кто прочитал шести-
томное собрание сочинений Ивана
Антоновича Ефремова, издательство
просит присылать свои отзывы,
предложения и пожелания по
адресу: 121069, Москва, улица
Поварская, дом 11.**





